Сергей
КРУТИЛИН

Сергей
КРУТИЛИН

Собрание сочинений
в трех томах

2 том

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1984

Р 2
К 84

К $\frac{4702010200-110}{М106(03)-84}$ подписное

ББК84Р1
Р2

Апраксин бор

Военная трилогия

Книга первая

Лейтенант Артюхов

1

В воскресенье было первое после майских праздников увольнение. Перед этим курсантам месяца два подряд не давали передыху — зачетная сессия. А тут вдобавок подоспело время переводить орудия на летнюю смазку. Утром занимались в классных комнатах, а вечерами пропадали в артиллерийском парке — драили пушки.

А в то самое июньское воскресенье, перед выездом в лагеря, начальник училища разрешил лучшим курсантам увольнение в город. Из их учебного взвода увольнялось человек пять. Артюхова назначили старшим.

Как принято, перед отлучкой из казармы старшина долго и придирчиво осматривал их, проверяя, все ли на них по форме. У кого-то не оказалось пуговицы на гимнастерке, кто-то плохо начистил сапоги — то да се. Одним словом, вышли из казармы в начале десятого.

У большинства уволившихся курсантов, как и у Артюхова, не было в городе ни знакомых, ни сколько-нибудь важных дел. Предстояло весь день, до отбоя, слоняться по городу. Посоветовавшись друг с другом, они решили отправиться в городской сад.

От военного городка до горсада — километра три, а то и более. Все равно как-то надо было убивать время, поэтому они шли пешком.

В горсад, к Амуру, они пришли в начале двенадцатого. Было уже очень знойно. У самого входа в парк к Артюхову обратился курсант его группы Анатолий Бойко и стал проситься, чтоб Василий отпустил его одного. Анатолий был сыном военного. Его отец командовал не то полком, не то дивизией где-то тут, в Приморье. Все знали о том, что Бойко — сын полковника, и даже строгий старшина Нидиля делал курсанту всякие поблажки:

разрешал сдвигать голенища сапог гармошкой, не стричься наголо, а носить «ежик», почаще отпускал в увольнение.

Анатолий сказал, что ему надо на почту,— отец обещал «до востребования» подбросить деньжат. Артюхов знал, что почта — это так, отговорка. У Бойко и без того были деньги. А где деньги — там и дружки и подружки. У полковничьего сынка полгорода приятелей; он ловкий был парень: на любой сеанс в любой кинотеатр мог достать билеты. Василий и отпустил его с тем условием, чтоб он достал билеты им в кино часов на шесть вечера.

Анатолий обещал. С этим они и расстались: ребята пошли в городской сад, а Бойко побежал на «почту».

В Москве была еще глубокая ночь, а тут, в Хабаровске, день в полном разгаре. В городском саду сутолока. Все аллеи заполнены отдыхающими. Кучкой, боясь потеряться, Артюхов и его друзья спустились к реке. Направо, за молодыми тополями, виднелась ротонда летней эстрады. Оттуда доносилась музыка и слышался топот перепляса.

Курсанты решили заглянуть на эстраду. Выступал ансамбль песни и пляски гарнизона. Солдатам вход бесплатный. Почему ж не посмотреть? Артюхов и его друзья вошли в калиточку и очутились в зрительном зале. На деревянных скамьях сидели солдаты, моряки Амурской флотилии, девушки-студентки. Одним словом, те, кому нужно было как-то скоротать время. Василий заприметил двух девушек, сидевших на отшибе,-и подсел к ним. Они обе были очень милые. Та, с которой он оказался рядом,— беленькая, с веснушками — грызла кедровые орехи. Артюхов пытался заговорить с ней, но она только улыбалась и трещала скорлупой орехов. Зато другая — чернявая, с косичками — все поглядывала на Василия.

На эстраде девушки в широких ярких сарафанах и вышитых передниках танцевали «Гусачок». Парни в солдатской форме, но не в кирзачах, как бы им полагалось быть, а в легких хромовых сапожках, подпоясанные широкими командирскими ремнями, стояли в сторонке, по правую сторону от баяниста, сидевшего на авансцене, у самого микрофона. Сначала парни хлопали ладонями в такт музыке; потом солдаты пошли в пляс, а девуш-

ки, поводя плечами и бедрами, стояли и хлопали в ладоши.

В общем, было довольно скучно. И девушки, соседки Артюхова, пошептавшись, встали и направились к выходу.

— Паня! Пойдем, попьем, что ли? Я хочу пить,— сказала беленькая.

Артюхов кивнул своим друзьям, и они тоже встали и пошли следом за медичками (Василий почему-то решил, что это ученицы медицинского училища). У выхода, сразу же за калиточкой, они нагнали девушек.

— Мы тоже хотим пить. Пойдемте вместе,— сказал Артюхов.

Девушки промолчали. Курсанты сочли их молчание за согласие и двинулись следом.

Газировкой торговали во многих местах. Но на центральных аллеях возле каждого киоска с прохладительными напитками стояли очереди; девушкам, судя по всему, не хотелось толкаться в очередях, и они свернули с центральной аллеи, ведущей к эстраде, в боковую, всю заросшую цветущей акацией.

Артюхов не любил всякого рода приставаний, которыми обычно грешат уволенные в город солдаты и курсанты. Но на этот раз ему показалось, что девушки нарочно свернули в тень акаций, и он поспешил за ними.

— Девушки, куда вы так спешите? — заговаривал с ними Артюхов, норовя взять под ручку беленькую, постарше.

Та вырывалась, но не очень.

Темная аллея с нависшей акацией привела их к летнему кинотеатру. Перед кинотеатром была разбита клумба; девушки обогнули клумбу с высаженными, но еще не распустившимися петуниями и пошли вниз, к площадке с аттракционами. Все так же глупо заговаривая с ними, Артюхов и его друзья шли следом, поглядывая то на девчат, то на лениво прохаживающихся в тени деревьев патрульных с красными нарукавными повязками.

Перед площадкой с аттракционами рядком выстроились киоски с газированной водой и мороженым. И народу немного, не то что повсюду.

Девушки остановились у киоска с водой.

Продавщица уже наливала им стаканы, но Артюхов оттеснил девчат и, подойдя к прилавку, положил на него рублевую бумажку.

— Мы угощаем! Правда, ребята? — Василий сказал это так, будто бросал сотенную.

— У нас свои есть,— сказала черняевенькая, и на милом личике ее обозначились ямочки.

— Нашли чем угощать! — вступилась ее подруга.— Предложили бы хоть мороженого.

— А-а! Мороженого! За чем же дело! — несколько растерянно проговорил Артюхов.

А ребята засмеялись. Угощать мороженым накладисто для курсантского-то кармана. Девушка, видно, знала об этом, потому и сказала про мороженое, с подвохом сказала.

Друзья замялись. Увольнение только началось — впереди целый день. Надо в кино сходить, пообедать. А тут на тебе — выбросить на мороженое чуть ли не целую трешку!

Но Василию уже нельзя было идти на попятную.

— Мороженым? Прошу! — Он подождал, пока девушки пили газировку, и, как только они поставили пустые стаканы, подхватил под руку ту, беленькую, задиру, и повел ее к соседнему киоску.

За мороженым была очередь, но небольшая, человек пять. Они подошли и встали в очередь. И черненькая, с косичками, тут же следом подощла. Конечно, Артюхову, как кавалеру, следовало бы в очередь встать одному, а девушки пусть подождали бы в сторонке. Но он, видно, стушевался без друзей-то, и получилось так, что они встали все: девушки впереди, а он за ними, рядом.

Василий расстегнул нагрудный карман и достал из комсомольского билета, где он прятал деньги, старую, но тщательно разглаженную трешку. Это было последнее его достояние, все, что осталось у него от месячного курсантского оклада. Зажав деньги в мокрой от пота ладони, он стоял и глазел на девушек. Вернее, он глазел на одну, на черненькую. На ней было простенькое платьице — летнее, светлое, с короткими рукавами и вытачками на груди и на спине. Девушка стояла к нему вполоборота, стояла очень близко, и через легкую ткань были видны бретельки лифчика. Она чуяла взгляд его, но не отодвигалась и не меняла позы, лишь то и дело встря-

хивала косичками и улыбалась — не ему, конечно, а подруге.

— Он мне сказал... А я ему и говорю...— щебетала чуть слышно беленькая, с веснушками.

— Девушки, вечером встретимся — заговаривал с ними Василий.

— Вечером мы ужасно заняты,— отозвалась черненькая.

— Так ужасно, так ужасно! — подхватил Артюхов.— Позвольте узнать: чем?

— Физиологией человека.

И они обе прыснули от смеха.

— Вы медички, что ль?

— Да. Последний экзамен завтра.

Очередь продвигалась медленно. Продавщица ложечкой накладывала мороженое в вафельные стаканчики, потом ставила стаканчики на весы и подолгу возилась, добавляя и отбавляя. Каждый брал по две, а то и по три порции. Василий совсем извелся.

Он был уже у самого прилавка, как вдруг увидел Бойко. Анатолий бежал по аллее от летнего кинотеатра. Видимо, искал их. Пилотка зажата в руке, короткий чуб взлохмачен; вид у него — растерянный, словно за ним следом бежали патрульные.

— Артюхов! Наконец-то! — Бойко передохнул и, взяв Василия за руку, потянул его в сторонку от киоска.— А где все наши?

— А вон...

Увидев Анатолия, подошли и те, что пили газировку.

— Слушайте, ребята... война! — сказал Бойко чуть слышно.

— Да брось ты! — Артюхов хотел было высвободить свою руку, чтоб вернуться к девчатам, недоуменно топтавшимся у киоска, но Анатолий удержал его:

— Да плюнь ты! Не до мороженого теперь! Пойдемте, расскажу.

Он увлек их в боковую аллею, где было мало народу.

— Был сейчас у кореша,— рассказывал он торопливо и сбивчиво.— У киномеханика в ДКА. Да вы, наверное, знаете: носатый, в очках... У него там, в будке, радиола и приемник. Ну, крутил утром: случайно поймал Белград. Югославы передавали: немцы по всему фронту перешли советскую границу. Я, как и вы, не

поверил сначала. Стали крутить — поймали Японию. Япошки города все наши перечисляли: Киев, Минск, Одессу. Да! Еще Ригу, Таллин, Севастополь. Бомбили, знать.

В глазах ребят — испуг.

Василий не знал, что говорить, что делать. В ладони у него — трешка. Ни слова не говоря, он метнулся назад, к киоску с мороженым, и, подбежав к девушкам, которые все еще стояли в сторонке, роясь в сумочках, сунул им мокрую от пота трешку.

— Извините, пожалуйста.

И побежал обратно.

— У вас что: казарма, что ли, горит? — крикнула чернявая.

— Да! — бросил он на бегу.

— Малохольный какой-то! — заключила другая и рассмеялась.

Василий догнал ребят почти у самого кинотеатра. Кончился сеанс, и в сквере перед театром было много народу. Все были веселы и беззаботны. Навстречу им по натоптанной щебенчатой дорожке катился на трехколесном велосипеде мальчуган лет пяти-шести. На нем был морской костюмчик с красными якорями на рукавах. Русый чуб слегка прикрыт бескозыркой; на полосатой ленте бескозырки надпись: «Варяг». Он побибикал им, подражая машине, и курсанты расступились, уступая ему дорогу. Ему и его родителям. Позади велосипедиста шел морской офицер — начищенный и наглаженный, как бывают начищены и наглажены лишь моряки. Он шел под руку с женщиной. Женщина тяжело несла перед собой огромный живот.

— Когда же это случилось? — спросил Артюхов, думая почему-то об этой беременной женщине: как бы не стряслось с ней беды, если сейчас по гарнизону объявят боевую тревогу.

— В половине четвертого.

— А сколько же теперь в Москве?

Анатолий глянул на наручные часы:

— Пять.

— Уже полтора часа, значит, как началось.

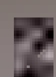
В Хабаровске был полдень. Амур блестел и плескался в знойном мареве.

Из летнего театра, где на дощатой ротонде выступали

участники гарнизонной самодеятельности, долетали слова песни:

Если завтра война...

А немецкие танки катили по Бресту.



2

Когда они прибежали в расположение, тревога по гарнизону была уже объявлена. Из распахнутых дверей казарм выбегали курсанты с винтовками наперевес; застегивая на бегу ремни с пустыми подсумками, выстраивались на плацу.

Артюхов припоздал. Пока он вбежал наверх, пока схватил винтовку — казарма опустела. Он метнулся вниз, а тут тебе опять незадача: курсанты батареи тащили станковый пулемет. «Максим» был как есть в сборе, и они несли его, подхватив за колеса; обогнать пулеметчиков, не столкнув их с лестницы, нельзя было, и Артюхов в сердцах выругался:

— Поторапливайтесь, раззявы!

Но неуклюжий, сухопарый Стручков, мельтешившийся сзади с двумя коробками для лент, не уступил дорогу, и Василию пришлось ждать, пока они не выкатили пулемет на улицу.

На плацу толпились курсанты. Никто не разговаривал. Каждый молча занимал свое место в строю, строже и четче, чем всегда, выполняя распоряжения взводных.

Артюхов встал в строй, огляделся. Не дожидаясь команды, выровнялся. Его сосед справа, Анатолий Бойко,— чернобровый украинец, спортсмен и заводила,— стоял рядом. Крупные капли пота сливались и струйкой стекали по лицу. Вытереть его было некогда: раздалась команда «Смирно!».

В дальнем углу плаца показались комиссар и начальник училища майор Спесивцев.

Василию почему-то казалось, что при боевой тревоге все должны суетиться и бежать, в том числе и большие начальники. Однако майор не бежал. Сухощавый, подобранный, он шел своей обычной легкой походкой, приглядываясь к выстроившимся на плацу курсантам.

Командиры батарей доложили майору, что училище по боевой тревоге выстроено. Начальник поздоровался с каждой батареей в отдельности и прошелся, оглядывая строй.

Курсанты замерли.

Артюхову невольно вспомнились другие, ранние, построения на плацу. В начале службы ни одна неделя не проходила без учебной тревоги. Бывало, поднимут их среди ночи. Выстроят дивизионы на плацу; доложат, как теперь, майору: так и так, мол, товарищ начальник, все в порядке!

Строй замирал. Наступали самые трагические минуты: начинал обход начальник училища. Вот идет он и оглядывает каждого курсанта с головы до ног. Окинул взглядом — и пошел дальше. Значит, бог миловал. Значит, у этого полный порядок. А соседу — коротко: «Вы!» Бросил — и пошел дальше. И опять: «Вы! Вы!» Значит, два шага вперед. Значит, не по форме одет.

Обойдя батарею-другую, майор выстраивает в шеренгу всех провинившихся. «Снимите сапоги»,— приказывает он одному. Курсант нехотя стягивает кирзачи. На ногах у него нет портянок. Другого просит снять шинель: оказывается, курсант впопыхах не успел надеть гимнастерку...

Но чаще майор поступал по-иному: не разоблачал каждого в отдельности. Выстроив провинившихся, он приказывал им, чтобы они в одну-две минуты привели себя в порядок.

Все вмиг разбегались. Одни стремглав бежали в казарму, другие садились тут же, на пыльный плац, доставали спрятанные в карман шинели портянки, поспешно наматывали их и становились в строй.

Уму непостижимо, по каким признакам майор определял промашки того или иного курсанта. Одно дело, скажем, заметить, что курсант встал в строй без ремня или сапоги у него не на ту ногу надеты. Ну а если он без гимнастерки или без нижней рубахи в строй встал... Поди-ка определи!

А майор определял. И надо же быть такому — ни разу не ошибся. Хотя находились храбрецы, которые, будучи вызванными из строя, гордо заявляли: «У меня все по форме, товарищ майор».— «Да?! — Майор еще раз внимательно поглядит на курсанта и обронит чуть

слышно: — П-покажите ваш носовой платок». Курсант туда-сюда, в один-другой карман — нет носового платка. «Старшина! — позовет майор.— Курсанта Щетинина пошлите на кухню вне очереди».

Майор Спесивцев не любил накладывать взыскания, но заносчивости и обмана терпеть не мог...

Майор оглядел строй все так же спокойно, по-деловому, только глаза его, казалось, еще более пристально испытывали каждого курсанта.

— Т-товарищи! — заговорил майор звонким, взволнованным голосом.— Г-гитлеровская Г-германия в-вероломно напала на нашу Родину.

Майор был заика. Может, лишь из-за этого дефекта по выходе из академии его не послали командовать строевой частью, а направили вот сюда, в училище.

Артюхов часто думал об этом — об удивительном педагогическом таланте майора Спесивцева. В училище было немало и других командиров — отделенный, взводный, старшина. Они муштровали, покрикивали, иногда грозились взысканиями. И хотя под приглядом этих младших командиров Артюхов приобретал первые навыки армейской жизни, их влияние на него было незначительным. Спустя месяц-другой по выходе из училища он будет с трудом припоминать их имена. Разве что и вспомнит одного старшину Нидилю, и то лишь из-за его необычной манеры командовать. В случае тревоги Нидиля кричал: «В ружжо!» вместо «В ружье!», а после команды «Смирно!» непременно добавлял: «И не ходы!»

Младшие командиры, которые были с ним рядом от подъема и до отбоя, не оставили воспоминаний, а майор, начальник училища (Василий был уверен в этом), оставит след на всю жизнь. Майор никогда не кричал, как иные старшины и взводные. Кричать и командовать не мог, а рассказывать любил. Вернее, не рассказывать, а беседовать. И не перед строем, и не в Ленинской комнате, а так, между делом, на привале.

Вот, скажем, батарея после стремительного маршброска расположилась на отдых. Кто дремлет, кто курит. Вдруг откуда ни возьмись — майор. Он всегда появляется незаметно. Даже в казарму утром входит бочком-бочком, будто он тут не самый большой начальник, а так — сосед любопытный. Не любил он докладов дневальных или старшин на учениях. Да, значит, лежат курсанты

шовалку на опушке леса, вдруг — майор. К нему командир батареи с докладом, а майор рукой махнет: дескать, отставить — и запросто, без рапорта, поздоровается с курсантами. Поздоровается и тут же: «Ст-т-ручков!» — «Я!» — отзовется, вскакивая с места, курсант. «С-сидите, с-сидите,— предупредительно помашет рукой майор и без всякой тени иронии спросит: — С-скажите, Стручков: вам пристяжного, что ль, прицеплять на марше? Все время тянетесь в хвосте».

«Он рюкзак свой перегрузил за завтраком», — шутят ребята, намекая на обжорство Стручкова.

«Сначала я ничего, товарищ майор... Это уж под конец я сдал»,— оправдывается курсант.

Майор, будто раздумывая вслух, скажет: «На марше важно уметь распределять свои силы. Ни в коем случае нельзя переходить на бег. А вы,— обращается он к Стручкову,— как вон тот фазан: разбежался и полетел...» И майор под хохот ребят демонстрирует всем, как бежал в колонне Стручков.

Тот молчит, только уши его большие краской наливаются. Обрывая смех, майор тихо добавит: «З-запомните, друзья: будут ли ваши пушки на мототяге или на конной — неважно. В бою на орудийном передке не отсидишься. В бою нужна выносливость. А она вырабатывается в таких вот походах».

И так каждая беседа. Начинал он ее будто с шутки, с присказки, а заканчивал самым важным: разговором о солдатском быте, о личной гигиене командира, о его гражданском и человеческом облике. Разговором доверительным и нисколько не обидным.

— Фашисты надеялись застать нас врасплох,— продолжал майор,— но они просчитались. Они узнают почем фунт лиха! Красная Армия даст им достойный отпор... Какова наша задача сегодня? — Его голос зазвучал еще звонче, и лишь в этом заметно было волнение майора.— Н-наша с вами з-задача — быть готовыми к любым н-неожиданностям. Может случиться т-так, что всем вам д-досрочно будут присвоены в-воинские з-звания и вы разъедетесь по воинским частям. Наша задача сегодня — учиться в обстановке, приближенной к боевой.

3

— Доброе утро, лейтенант!

— А-а,— Василий поморщился.— Не очень доброе, Лена.

— У вас опять плохое настроение?

— Да.

— Ну ничего, пройдет.— Официантка вытерла стол и сняла с подноса завтрак: тарелку с картошкой, три ломтика хлеба, чай.

— Спасибо.— Василий взял стакан с чаем, а тарелку с картошкой поставил обратно на поднос.

— И от картошки отказываетесь?!

— Не хочу, Лена.

— А я-то, дура, старалась, выпрашивала у повара. Картошка-то теперь на вес золота...— И безо всякого перехода: — Вы слыхали — наши оставили Полтаву?

— С-слы...ы...— от неожиданности Артюхов поперхнулся и чуть было не выронил стакан из рук. «Опять, черт побери, Полтава! — подумал он и глянул быстро на девушку.— А-а, знает, все, конечно, знает!..»

Официантка была из местных, красногорских. На лицо она ничего, но слишком уж толста. Такие не нравились Василию. Однако девушка не теряла надежды. Первой с ним заговаривала, старалась задобрить всякими вкусными вещами вроде этой самой картошки. Но Артюхова только раздражали ее ухаживания.

— Скажите повару, что картошка недожарена.

— Женитесь на шахтерке — тогда и будете ей указывать! — фыркнула девушка и, подхватив поднос, пошла меж столами к раздаточной.

Вид у нее был обиженный — даже в походке это чувствовалось.

Артюхов выпил не очень горячий чай, неестественно сладкий от сахарина, и встал из-за стола. Девушка наблюдала за ним, стоя у окна раздаточной. Василий знал это. Одернув сзади гимнастерку, он направился через зал к выходу. В коридоре, когда надевал шинель, его поприветствовал какой-то боец — не то дневальный, не то его же рабочий из ночной смены. Но Василий не ответил на приветствие, даже не сказал «здравствуйте!», даже головой не кивнул: настолько он был зол.

На улице моросил дождик. Сопки вокруг — лохматые

и серые, словно мокрые вороны. Артюхов поежился: б[illegible] От одних этих сопок волчьим воем завоешь!

Все раздражало его: и люди, и работа, и сопки.

Василий провел тут, на Красной Горе, уже более трех месяцев. Сразу же, как только началась война, курсантам досрочно присвоили воинские звания. Большинство молодых командиров направили в строевые части и лишь Артюхова почему-то сунули вот в эту дыру.

Поначалу, когда Артюхов еще не знал всего о своей будущей службе, Красная Гора Василию понравилась. Поселок маленький: казарма, офицерское общежитие, столовая. Вышел из общежития и бреди на все четыре стороны, куда глаза глядят.

Говорили, что если перевалить за сопки, которые черной грядой высились на юге, то можно увидеть океан.

Артюхов в первый же выходной отправился в сопки. Хотелось взглянуть на океан хоть издали, хоть одним глазом. Весь день шатался по тайге. Карабкался на вершины; спускался в сырые и мрачные расщелины, заросшие папоротником; снова взбирался на голые каменистые утесы. Изодрал колени и руки в кровь о камни и колючки.

Но впереди было одно и то же: сопки... И никакого океана.

Теперь тот поход казался ему чем-то вроде детской шалости. Даже самому не верилось: неужели он был так наивен?

Теперь он попросту ненавидел эти сопки. Куда ни глянешь — все одно и то же: сопки, сопки, сопки. Когда-то они манили его к себе. Теперь один их вид наводил на него тоску.

Тоскливее всего было в минуты одиночества. Вечером или как сейчас, когда шел в мастерские. Обычно все офицеры, работавшие в одной смене, позавтракав, выходили из столовой и, как табун в ночное, гуртом шли на службу. Сегодня Артюхов шел один. Не потому, что дежурил вчера или задержался перед этим допоздна в цехе,— нет, он попросту опаздывал. Все позавтракали и ушли, а он опаздывал. И, несмотря на это, Василий не спешил. «А-а! Выговор так выговор,— думал он.— Пусть!»

На душе у него было прескверно. Голову ломило. И слабость такая, будто всю ночь камни ворочал.

А он не камни ворочал, а водку пил да с шахтеркой целовался — будь она неладна.

Вчера Артюхов отмечал день рождения. Не обычный день, который случается каждый год, а праздновал юбилей — свое двадцатилетие.

Василий поначалу не думал затевать шумной вечеринки, как оно потом вышло; он считал, что теперь не время веселиться. Он думал раздобыть две-три бутылки водки, выставить их за ужином — пусть ребята разопьют, закусят — и вся недолга. Но друзья, услыхав про двадцатилетие, начали подзуживать: «Скупердяй ты, Артюхов! Двадцать лет! Такой день бывает один раз, и отметить его надо по всем правилам. Так отметить, чтобы запомнился на всю жизнь».

И отметили — нечистый бы их побрал!

Устроили складчину; понакупили водки, портвейну; заказали в офицерской столовой закусок; раздобыли где-то патефон; шахтерок понazвали... Одним словом — дым коромыслом до полуночи!

И это все бы ничего.

Но кто-то из друзей, зная, что у Артюхова нет «зазнобы», попросил, чтобы шахтерки прихватили на вечеринку какую-нибудь из своих подруг — на долю именинничка. Чтобы ему не скучно было. Те, конечно, привели.

Явилась хохлушка — длинная, сухая (или, как метко заметил Саша Колпаков,— воблистая). На вид ей было лет двадцать пять, а может, и меньше: работа в шахте, известно, не молодит. Лицо у нее — худое, поблекшее: ладони рук — сухие и узкие.

Артюхову она не понравилась. Может, отчасти потому ему было не по себе, когда их знакомили. К тому же оба они если не знали, то, во всяком случае, догадывались, что знакомство их — лишь на один вечер, и это было противно, и Василий даже не запомнил ее имя: то ли Ганна, то ли Оксана? Переспрашивать было неудобно да и не к чему.

Шахтерка весь вечер сидела рядом; Василий ухаживал за ней, танцевал, хотя танцевать не любил. Он пытался завязать разговор с нею — и за столом, и особенно когда танцевали. На его вопросы она отвечала односложно: «що?» да «ни!»

«Вы что ж, навалоотбойщицей работаете?» — «Що?» —

«Ну, уголь рубаете?» — «Ни! — Она качала головой. — Вагонетки до пидйомника катаю».

Оксана, или, как там ее, Ганна, приехала сюда по вербовке. Их много на шахте — девушек; есть хетагуровки, что приехали еще перед войной, но их мало осталось: повыходили замуж. Большинство же, как и Ганна, вербованных.

Шахта рядом; лишь поднимешься на сопку, как тут же, в долине, увидишь черные дымящиеся терриконы, и копры, и серые квадраты бараков, крытых шифером.

Девушки живут в бараках; до войны их в забой не пускали. Работали они официантками, воспитателями в детских садах, библиотекарями. А как только началась война и забойщиков забрали в армию, девчата заступили на их место: бьют уголь, катают вагонетки к подъемникам.

Соседство с шахтерками пришлось по душе офицерам из артиллерийских мастерских. Прибегут с работы, побреются, надушатся — и живехонько за сопку, к девчатам. Одна в смене — вагонетки катает, так, глядишь, подружка ее дома. Их ведь по десятку в каждой барачной каморке.

Клуб на шахте крохотный. Пойти, особенно в этакую пору, осенью,— некуда. Рассядутся кавалеры по койкам, каждый рядом со своей «зазнобой», шелушат семечки, рассказывают прошлогодние анекдоты.

У друзей Василия только и разговору что о шахтерках. Шахтерки, мол, такие да сякие, с ними цацкаться долго не надо: постелил шинель под ореховым кустом и...

Артюхову все эти разговоры были противны. Лучше книжку почитать, чем просиживать вечера в душном бараке. Он к шахтеркам не ходил. И его лучший друг — Саша Колпаков — тоже. У Саши невеста была в Хабаровске, и он твердо решил сохранять верность. В свободное от работы время, когда все убегали на шахту, Саша садился за стол и сочинял невесте любовные послания. Вернее, сочинял Артюхов, а Саша лишь переписывал. Не было у Колпакова таланта по этой самой части — по сочинительству. Не дал бог. Двух слов связать не умел. Случись рапорт начальнику подать или ведомость о списании запасных частей составить, так он часа три сидит, весь испариной покроется, сочиняя. А тут и подавно

такое тонкое дело: чувства свои надо объяснить! Целый вечер пыхтит Саша над тетрадкой, а глядишь, написал две-три строки: «Дорогая Танечка! Привет от Александра! Служу я посреди сопок! Начальник меня уважает».

Раз как-то прочитали ребята, и с тех пор чуть что — и ну смеяться над ним: «Саша, друг, прочти свой «рапорт Танечке». Ребята хохочут, а Саша заплакать готов. Танечка его — студентка пединститута, да еще филолог. Письма ее Саше хоть на музыку перекладывай: такие они складные и интересные. И грусть и ласка в них, цитаты из классиков, а Саша в ответ знай свои «рапорты» шлет. Танечка почитала, почитала их, да и замолкла. Саша — вне себя. Почернел парень с тоски. Он ей руку и сердце предлагал, когда курсантом в Хабаровске служил.

Артюхову стало жаль друга. Однажды, когда все ушли к шахтеркам и Саша принялся за сочинение очередного послания Танечке, Артюхов отложил книгу и подсел к нему. Они стали сочинять вдвоем. Письмо получилось задушевное, проникновенное. Танечка сразу же отозвалась.

И теперь они всегда сочиняли письма студентке вместе. Оторвавшись от тетрадки, Колпаков часто говорил с завистью: «Эх, Вася, Вася! И чего ты не ходишь к шахтеркам? При твоем таланте любую небось за один вечер заговорил бы».

Колпакову и в голову не приходило, что его друг, так складно рассуждавший о чужих чувствах, за свои двадцать лет еще ни разу не целовался с девушкой.

До этого вчерашнего вечера...

За двадцать прожитых лет Артюхов редко задумывался над жизнью. Считал: молод, все еще успеется. Но вчера он впервые с горечью подумал о том, что вот годы-то летят, вот уже двадцать стукнуло! — а в сущности, и вспомнить-то из прожитого нечего. Прошла юность, можно сказать, молодость вся прошла. Прошла, пролетела — и не заметил. Так, глядь, не заметишь, как и вся жизнь промелькнет! Да и много ли жить-то осталось? Война ведь. Не сегодня, так завтра настанет и его черед. А попадет на фронт — всякое может случиться. Убьют — и все, крышка. Умрешь, так и не испытав, что это за штука такая — любовь. А ведь многие его ровесники женаты или

якшаются с шахтерками. И он бы мог, как другие, крутить любовь.

Вспомнилось: когда учился в строительном техникуме, была в их группе Дуся Опенкина. Грудастая, шустрая на язычок девушка. Василий вспыхивал, едва увидев ее. Все это замечали, в том числе и Дуся. На лекциях она писала ему записки, а когда он рвал их, строила ему смешные рожицы. Однажды во время коллективного посещения кино ребята так подстроили, что Дуся и Василий оказались рядом.

Василий весь сеанс просидел словно на иголках, не видя, что там, на экране. Дуся что-то шептала ему на ухо, а он горел весь и хмелел, чувствуя ее дыхание. Глуп он был, как телок. Он так и не сообразил обнять ее в темноте или взять ее руку в свою.

А после каникул, поздней осенью, эта же Дуся Опенкина уже ходила под ручку с Ванькой Лосевым — четверокурсником из сантехнического отделения. Они на практике были где-то вместе, там и подружились. Весной Дуся родила. Девушки меж собой собирали деньги на подарки; ребята тоже дарили, и, хотя у Василия не спрашивали, он дал свою долю.

Вспомнив это, Артюхов заключил: «Тряпка ты, Василий!» — и решил: сегодня или никогда! И, решив так, он стал более ласков, более внимателен к шахтерке. Подливал ей в рюмку вина, подкладывал на ее тарелку остывший омлет. Шахтерка улыбалась, благодарила, однако пила и ела мало.

Сейчас, шагая в мастерские, Артюхов все пытался восстановить в подробностях ход вчерашней вечеринки. Но в памяти были какие-то провалы. Он помнил лишь, что, когда по расположению объявили «отбой!», они все еще шумели и танцевали. Вскоре явился дежурный и предупредил, чтобы вели себя потише. Но они не послушались и продолжали накручивать патефон, дурачиться и горланить песни. Снова пришел дежурный и пригрозил вызвать наряд — только после этого они разошлись. Это было, судя по всему, далеко за полночь. Сколько Артюхов ни ломал голову, никак не мог понять, как получилось, что после вечеринки они остались вдвоем с шахтеркой. Ведь выходили из общежития все вместе. Видимо, ребята нарочно подстроили. Не исключено, что когда пошли провожать девчат на шахту, все разбрелись по разным троп-

кам. Как бы там ни было, но они остались вдвоем. Было очень свежо. Свежо и росно под ногами. На полпути к шахте, на самой сопке Артюхов немного пришел в себя после духоты и комнатного гомона. Светила луна, а внизу, где мигали шахтные огни, стлался туман. Василий взял шахтерку под руку. Девушка доверчиво прижалась к нему. Доверчивость эта кружила голову. Доверчивость — и вино. Вино придавало храбрости, которой ему обычно недоставало.

Василий свернул с тропки и, увлекая за собой шахтерку, стал пробираться в гущу орешника.

«Ни! Ни!» — повторяла она, но не упиралась, послушно шла за ним.

Артюхов отыскал укромное местечко, бросил на росистую траву шинель и лег, изображая крайнюю усталость.

Шахтерка постояла с минуту в нерешительности и присела рядом. Он привлек ее к себе и стал целовать. Она не отталкивала Василия, но и не выказывала особой радости от его неумелой ласки.

— Люблю! Люблю! — твердил Василий.

— Ни! Ни! — трясла она в ответ головой.

И тут Артюхов дал промашку. Ему бы вспомнить те слова, которым он учил Сашу Колпакова, когда они сочиняли письма студентке; ему бы словами, лаской больше. А он руками стал действовать. Нетерпелив, неопытен был. На ней была шерстяная вязаная кофта. Василий стал расстегивать пуговицы. Но под кофтой оказалась другая — теплая, бумазейная. А под ней — еще... На шахтерке столько было всего нанизано, что он запутался в застежках и пуговицах. Руки у него дрожали; он лепетал что-то бессвязное, отыскивая все новые и новые застежки. Зачем нужно было перебирать эти кофты — он сейчас сам не мог понять.

Шахтерке, наверное, надоела эта неумелая возня. Она слегка оттолкнула его и сама расстегнула все кофты. И тут он увидел ее груди. И хоть он был пьян, он увидел, что они маленькие, но вислые, как у старухи.

Артюхову представилось вдруг, как девушка катает вагонетки под землей — в темноте, в сырости,— и ему стало стыдно, мерзко. Василий отшатнулся, смешавшись, а она, наступая на него, повторяла одно и то же: «Ну, бачив? Бачив? Добився своего? Добився? Ну, чего еще хочешь?»

Василий ничего не хотел больше. Он вообще-то не очень хорошо представлял себе: а собственно, чего ему от нее надо. Он обнял шахтерку за полуголые плечи и, лепеча что-то извиняющееся, поцеловал ее в щеку. Она затихла. Некоторое время они сидели так рядом, обнявшись.

И вдруг он почувствовал, что плечи ее вздрагивают. Василий подумал сначала, что она смеется. Смеется над его робостью и неумением. Он отстранился, чтобы убедиться в своем подозрении, и с ужасом увидел, что по щекам ее текут слезы.

Артюхов опешил: чего-чего, а слез он не ожидал. Обескураженный, он сидел рядом, не зная, что говорить и что делать. На всякий случай он решил закурить. Мужчина должен быть всегда мужчиной. Бабьи слезы его не волнуют. Он достал папиросу и закурил. Он не столько курил, сколько откусывал мундштук от папиросы, жевал и выплевывал его.

Шахтерка продолжала еще всхлипывать, затихая.

— Слыхав — наши Полтаву оставили? — проговорила она сквозь слезы.

— Слыхал... А ты что: полтавчанка?

— Да. Батько-то в армии. А в Полтаве мать и сестренки меньшие.

— Вон оно что! — только и сказал Артюхов.

И, не зная, чем успокоить девушку, он придвинулся к ней и стал не спеша застегивать пуговицы ее кофточки, расстегнутых минуту назад с таким трудом.

Артиллерийские мастерские, в которых работал Артюхов, были подвижные, сокращенно — ПАМ. Десятка полтора пульманов сцеплены в один эшелон. Каждый вагон — цех. Тут же электростанция, склад-каптерка, штаб. Мастерские могли двинуть куда угодно; могли двинуть на запад, поближе к фронту. Но их задвинули в глухомань, в сопки, на территорию какого-то заштатного склада, упрятали за двумя рядами колючей проволоки, а чтобы рабочим-солдатам было ближе ходить в казармы, наспех оборудовали вахту.

Еще издали, с пригорка, Артюхов увидел эту вахту: ворота и тесовый шатер, в тени которого топтался часовой. При виде вахты стали одолевать заботы. «Все я

там благополучно в ночной смене?» — подумал Василий. Мысль об этом мелькнула лишь на какой-то миг — шахтерка не выходила из головы. Не давали покоя ее слова: «А в Полтаве мать и сестренки меньшие...» Василий представил, что творилось бы с ним, если бы немцы вступили в его родную Орловку, где мать, отец, братья. Как глуп он был вчера в своих приставаниях! И не только в этом. Он и после вел себя не лучше. Вместо того чтобы извиниться, как-то успокоить девушку, он начал молоть ерунду: мол, ничего! Не плачь. Полтаву твою оставили наши потому, что его, Артюхова, там не было. А вот скоро он поедет на фронт и освободит ее любимую Полтаву.

Одним словом, глупо вел себя, как самый распоследний хвастун и мальчишка.

Артюхов решил, что вечером он непременно сходит на шахту и извинится перед девушкой.

— Товарищ лейтенант! — окликнул его часовой, когда он проходил вахту.— Вас просили зайти в штаб.

— Хорошо,— обронил на ходу Артюхов, а про себя чертыхнулся с досады: этого еще не хватало!

Вызов к начальнику не предвещал ничего хорошего. Опять, поди, выговор за какую-нибудь оплошность. На всякий случай Артюхов решил заглянуть сначала в цех — не стряслось ли какой беды в ночной смене, пока они вчера веселились.

Цех, где служил Артюхов, находился в самом конце поезда, рядом с вагоном-каптеркой. Этим соседством как бы лишний раз подчеркивалась пустячность дела, которым он, Василий, занимался. Цех его назывался сабельным.

На складе, куда задвинули мастерские, в тесовых сараях, опоясанных колючей проволокой, хранилось устаревшее и подобранное на поле боя оружие: винтовки, пулеметы, орудийные прицелы, карабины, шашки. Этих самых шашек, сабель — больше всего. Знать, еще со времен Мамая собирали! Ножны изогнуты, на клинках зазубрины, эфесы расколоты. Шашки привозили из складских сараев в полуистлевших от времени деревянных ящиках, и сотни солдат под руководством Артюхова в три смены, день и ночь, драили их, приводя в божеский вид. Мыли клинки в скипидаре, затачивали лезвия, меняли разбитые, истоптанные конскими копытами эфесы. Вместо старинных, тяжелых, с серебряными монограммами

ставили новые, легкие, из березы. Они были выточены в форме лошадиной головы. Эти березовые лошадиные морды даже снились Василию. До того они осточертели. Едва закроет глаза, как перед ним — лошадиная морда. Острые уши, оскаленные зубы. Сначала одна, потом другая, третья... Ряды оскаленных морд!

Артюхов до этого любил лошадей; в детстве ездил в ночное. А тут он просто их возненавидел. С ума можно спятить — три месяца, и все одно и то же: полуистлевшие ящики, скипидар, визг точильных камней, сдирай с клинков ржавчину, ругань по пустякам с военпредом, ночные обходы интенданта.

...И эти деревянные лошадиные головы в сосновых ящиках.

А там, на западе, что ни день, то все новые и новые «направления». Рушатся города, и горят села. Немцы рвутся к Москве. Его друзья по артиллерийскому училищу где-нибудь под Можайском или под той же Полтавой выкатывают пушки, чтобы бить по врагу прямой наводкой. А он, Артюхов, видите ли, в теплом уголочке отсиживается. Ножны сабель моет в скипидаре, развлекается с шахтерками.

Он был мерзок самому себе.

В тамбуре цеха Артюхов столкнулся с рабочими. Четверо солдат несли ящик с отремонтированными шашками. Им помогал Саша Колпаков.

— Тебя интендант вызывает! — сказал обеспокоенно Саша.

— Знаю. Что-нибудь случилось в ночной смене?

— Нет. У нас все в порядке.— Колпаков был его заместителем и вел ночную смену.— Говорят, гульнул вчера? Может, дежурный протрепался.

— А-а! — Василий махнул рукой: все равно, семь бед — один ответ.

В штабном вагоне и днем не выключали электричество. Окна зашторены, а люстры и настольные лампы горят. Для солидности, что ли? Чтобы входивший сюда сразу же мог почувствовать важность и значительность вершившихся тут дел.

Дежурный — лысеющий капитан, начальник пулеметного цеха — даже не поднялся из-за стола при виде Артюхова. Он лишь кивнул головой, указывая на дверь, ведущую в кабинет начальника: мол, проходите.

Артюхов толкнул тяжелую дверь. Он тогда еще не знал, что открывает ее в последний раз...

Начальник сидел за столом, в дальнем углу кабинета. Читал газету. Услышав шорох закрываемой двери, он отложил газету и из-под очков глянул на Артюхова. Начальник мастерских, по слухам, был незаурядный человек. Он собирал и коллекционировал пуговицы от солдатских мундиров. Говорили, что его коллекция — лучшая в мире, что даже в известных заграничных музеях такой нет. У него были пуговицы от одежды воинов египетских фараонов, конников хана Батыя, наполеоновских солдат и совсем-совсем новенькие — споротые с убитых на Хасане японцев. Он не раз бывал за границей — не то военным атташе, не то торговым представителем. Одним словом, культурный и вежливый. Но тут он особой вежливости не проявлял. Даже на вопрос Артюхова: «Разрешите войти?» — он не обронил обычное: «Пожалуйста». Только снял очки и положил их с краю стола, этим жестом как бы говоря: а, лейтенант Артюхов! Давно жду — проходите, проходите.

Артюхов подошел к столу. Начальник откинулся в кресле, но кресло не подалось под ним ни на йоту. Дело в том, что вся мебель в кабинете была привинчена к полу. Как и все прочее оборудование. На случай тряски при движении.

Однако никакой тряски в вагоне не чувствовалось — какая тряска! Даже гула дизеля электростанции не слыхать. Положено было доложить, что, мол, лейтенант Артюхов прибыл по вашему приказанию. И все такое. Но докладывать по форме значило величать начальника полным званием. А звание это — интендант первого ранга — скороговоркой не произнесешь. Еще ни разу не пальнув из пушки, Артюхов по молодости лет мнил себя боевым артиллерийским офицером, а потому считал унизительным выслуживаться перед каким-то интендантом. И не только Артюхов так считал. И другие офицеры за глаза редко называли начальника полным званием, а просто «интендант». Начальник знал об этом, и хотя он старый служака и придира страшный, но тут допускал известную вольность. Давал послабление не только подчиненным, но и себе; «шпалы» носил, а интендантские эмблемы не цеплял — авось кто-либо примет за строевого командира.

— Лейтенант Артюхов...— Начальник придвинул к себе папку с бумагами.

Артюхову было положено сказать: «Слушаю вас, товарищ интендант первого ранга». Но он ничего не сказал, а лишь стукнул каблуками сапог. Он недолюбливал начальника. И, кажется, эта неприязнь была взаимной. Василий и сам не знал, с чего началась эта неприязнь. Ведь были же другие дни — когда только что создавалась часть. Из училища они приехали сюда группой, пять или шесть молодых командиров. Ничего еще не было — ни штаба, ни солдат-рабочих. Только стояли в тупике артсклада вот эти вагоны: новенькие, как портупеи, которыми были перепоясаны новоиспеченные лейтенанты. Потом прибыли рабочие: пожилые механизаторы, служащие, токари; их переодели, помыли в бане; научили кое-как ходить строем — и на этом их солдатская школа кончилась. Потом был вынос знамени, принятие присяги. Первым читал текст присяги начальник мастерских, за ним — комиссар.

В те дни Артюхову и в голову не приходило думать о начальнике: кто он? Почему у него не артиллерийские, а интендантские петлицы? Правда, начальник к тому же мал ростом и сух, как воробушек, и голенища сапог у него выше колен, и фамилия ни то ни се — Цицоев. Но разве во внешности или в фамилии дело? Конечно, хорошо бы оказаться под началом какого-нибудь боевого полковника — с усами и шпорами. Но для мастерских такого, знать, пожалели.

Наутро после принятия присяги сняли с вагонов пломбы, затарахтел движок электростанции — и начались будни. Сабли, скипидар, визг точильных камней, ночные обходы Цицоева, его язвительные укоры на утренних планерках. И в свободные от работы часы — шахтерки, водка и домино.

Артюхов тут же сказал себе: «Баста! Надо удирать из этой богадельни». И Василий написал рапорт с просьбой отчислить его в строевую часть. Интендант вызвал его и устроил молодому лейтенанту экзамен — не столько по уставной части, сколько по орфографии. Затем вернул ему рапорт, где красным карандашом были подчеркнуты все ошибки, и сказал, что он, Артюхов, может обращаться со своей просьбой к вышестоящему командованию, только впредь пусть пишет рапорты без грамматических ошибок.

С этого и началось.

«Сейчас он извлечет из папки рапорт дежурного по поводу вчерашней нашей гулянки, и начнется очередной молебен»,— думал Артюхов, наблюдая за тем, как начальник перебирает бумаги. Руки у него были маленькие, все в желтых пятнах веснушек. И не только руки — веснушками усеяны и щеки и лоб. Издали веснушки казались коричневыми.

Наконец Цицоев нашел, что искал. Достав из папки бумагу, он пробежал ее, прищурившись, и лицо его оживилось.

— Вы подавали рапорт с просьбой перевести вас в строевую часть?

— Так точно!

— Ваша просьба удовлетворена.— Цицоев через стол протянул бумагу Артюхову.— Мне очень жаль отпускать молодого многообещающего офицера, но...— Интендант пожал плечами, как бы говоря: но приказ есть приказ.

Артюхов усмехнулся, услыхав слово «многообещающего», но ничего не сказал, лишь взял предписание. Руки у него дрожали.

— Желаю вам успехов по службе, лейтенант! — сказал начальник и взглядом сказал больше: сказал то, что Василий узнал лишь через сутки.

— Спасибо! — Артюхов пожал протянутую ему руку и, повернувшись, пошел к выходу.

У самой двери он вспомнил, что не спросил, кому передать цех. Он остановился и спросил.

— Передайте лейтенанту Колпакову.

— Хорошо.

Артюхов еще раз щелкнул каблуками и, бесшумно прикрыв за собой дверь, взглянул на предписание.

«Командиру 316-го стрелкового полка,— прочитал он.— Для продолжения службы в Ваше распоряжение направляется лейтенант Артюхов В. А.».

4

Всю ночь Артюхов промаялся в общем вагоне. Он то засыпал под размеренный стук колес, то просыпался, разбуженный толчками на стрелках и разговором случайных пассажиров. Дорога шла на Хасан, к границе. На редких полустанках, хлопая дверьми, входили и выходили солдаты; кричали и матерились старшины,

тороня своих подчиненных. Старый вагон скрипел, как телега. Сквозь сон Артюхов слышал одно и то же слово «Можайск»...

Утром, когда еще чуть-чуть заголубел рассвет, Василий вышел из вагона. Полустанок лежал в глубокой расщелине. Вокруг громоздились сопки, вершины которых исчезали в тумане. Никаких станционных построек вблизи железнодорожного полотна не было, лишь жались к подножию горы три или четыре красных вагончика.

В одном из них помещалась комендатура.

Артюхов зашел в вагончик, чтобы узнать, где ему искать свою часть. Комендант, белобрысый, с тремя кубиками на малиновых петлицах, напирая на «о», кричал на кого-то в телефонную трубку:

— Кто вам приказал? Какой капитан?! Гоните его в шею! Я вам повторяю: в каждом эшелоне должно быть не менее пяти платформ.

Старший лейтенант разговаривал по железнодорожному аппарату, висевшему над столом. Аппарат был громоздкий, с большими, словно тарелки, звонками. А на столе, сбоку, стояла коробка полевого армейского телефона. Моток провода от него висел на стене, под картой европейской части страны, испещренной линиями фронтов.

Комендант, по всей видимости, ругался с кем-то из железнодорожников — то ли дежурным, то ли диспетчером. Тот в чем-то оправдывался. Старший лейтенант слушал минуту-другую, а чтобы не терять времени понапрасну, взял протянутое Артюховым предписание. Лицо у коменданта было небрито; глаза запали от бессонницы.

В вагончике жарко пылала «буржуйка». На нарах, прикрывшись шинелью, спал напарник коменданта — знать, привык к ругани и звонкам.

— Умрите, а чтоб в каждом эшелоне платформы были! — закричал в трубку комендант.— Эшелоны не могут следовать без прикрытия зениток! Ясно? Выполняйте! — И, повесив на рычаг трубку, повернулся к Артюхову: — Значит, вы направляетесь в триста шестнадцатый? Так... Вам надо пробираться в Карповку.

— Это далеко?

— Километров шесть. Тут две дороги: морем и через Тигровую. Но побережьем ближе.

На нарах зашевелился помощник, скинул с лица шинель, проговорил хриповатым голосом:

— Старшой! Да не путай ты человека. Триста шестнадцатый уже грузится в Бамбурово.

— Спишь — и спи себе! — огрызнулся комендант.— Сарычев со штабом еще на месте. Так вот... Вам лучше идти берегом. Выйдете сейчас из вагончика, тут тропка. Перевалите через сопку и по берегу — вправо. Да там увидите сами.

Артюхов поблагодарил, но не спешил уйти.

— Ну, чего еще? — нахохлился старший лейтенант.— Продовольственного склада у нас нет. Сам вот всю ночь без папирос.

— Нет,— усмехнулся Артюхов.— Хотел спросить, что нового в сводке?

— Немцы прорвали нашу оборону под Можайском...

«Вон оно что!» Василий не стал больше ни о чем расспрашивать, захлопнул за собой дверь, перехватил чемодан в правую руку и зашагал в горы.

Тропинка круто сворачивала влево и наизволок вела в лес. Она была камениста и узка настолько, что Артюхов то и дело цеплялся чемоданом за придорожный кустарник. Желтели увядшие листья орешника, а колючий шиповник был еще зелен; среди зеленых листьев и желтых плодов алели редкие и мелкие бутоны. Но чем выше в гору, тем меньше кустов. На смену им все чаще из тумана выступали низкорослые дубки и чахлые березы. А над ними, над их голыми вершинами, высились черные кроны кедрача и пихт. Поначалу каждое такое дерево Артюхов принимал за скалу и, лишь подойдя поближе, с удивлением останавливался и разглядывал: экая силища! Выше риги, поди!

Стволы деревьев были увиты побегами дикого винограда. Оранжевые листья и сизоватые гроздья плодов взбирались высоко-высоко, до первых сучьев, и свисали гирляндами. Все тут было необходимым — и похожим и непохожим на тот лес, который знал Артюхов с детства. Дуб кустился, как орешник, а такой обыкновенный с виду орешник прятал свои плоды в колючих коробках, которые не вдруг раскроешь голыми руками.

Было тихо невероятно, и трудно было поверить, что где-то идет война, горят города и деревни, умирают люди. Но война шла. «Триста шестнадцатый уже грузится»,— вспомнил Артюхов слова помощника коменданта. Нетрудно было догадаться, куда и зачем грузится полк. Но так

уж устроен человек, что ему не хочется думать о плохом. Не думал об этом и Артюхов.

«Какое утро! — вздохнул он.— Тихо. А лес-то, лес... Сказка просто».

Ему захотелось запомнить это утро, вобрать в себя все-все: и краски его, и звуки.

И вдруг на смену этому радостному чувству пришла тревога: «А что, если я погибну?! Погибну — и никогда уже больше не увижу ни рассвета, ни тумана, ни такой вот узенькой, хоженной многими человеческими ногами тропинки». Он даже остановился от этой мысли, настолько она потрясла его.

Какой-то зверек, шурша листьями, метнулся прочь. Пробежал — и спрятался под кустом орешника. Некоторое время они глядели друг на друга, потом зверьку это надоело — он подпрыгнул и тут же вскарабкался на верх кустарника; с него на лиственницу. Был он мал, полосат и очень смешон в своей любознательности.

Тропинка становилась все круче и круче. Все чаще приходилось обходить стороной огромные каменные глыбы, изъеденные дождем и ветром. Несмотря на высоту, местами было сыро. Светлый ручеек, журча, бежал навстречу ему — с сопки, вниз.

Чем выше забирался Артюхов, тем шире открывались перед ним дали. Лес мало-помалу редел; стали видны вершины соседних сопок, все еще подернутые туманной дымкой. Густая, сизая на западе, дымка эта чуть розовела слева, где всходило солнце. Подъем становился все круче и круче. Кое-где приходилось карабкаться, цепляясь за выступы камней. Наконец и деревья оказались где-то позади, внизу. Вдоль голого каменистого откоса горбились прижатые ветрами к земле низкорослые, корявые сосенки. За ними — ровная каменистая вершина. В лицо пахнуло сырой прохладой. И вместе с бодрящей свежестью, идущей откуда-то снизу, до него донеслись какие-то странные звуки. Будто кто-то там, внизу, молотом дробил неподатливую утробу сопки.

Артюхов остановился, пораженный.

Перед ним лежала серая, плоская равнина. Казалось, и без того низкое октябрьское небо опустилось совсем на землю и все поглотило — и лес, и сопки, и тропу, по которой он шел. Ничего не видно — ни горизонта, ни туманных лесных хребтов,— лишь глухой размеренный шум

доносился оттуда. Шум этот временами то нарастал, то гас, приглушенный.

Артюхов, ничего не подозревая, вглядывался в эту серую равнину: «Может, заблудился, зашел куда не надо?»

И вдруг что-то поразило его. На гладкой поверхности равнины — от самого того места, где выкатывалось солнце,— шли розовые полосы, вернее, валы, будто рядками лежало скошенное сено. «Неужели?» — он шагнул вперед раз-другой, к самому обрыву, и тут только заметил, что валки эти живые: они медленно катились сюда, к обрыву скалы, на которой он стоял. «Постой, постой...— чуть ли не вслух произнес Артюхов.— Да это же... да это же океан!»

От солоноватого ветра у него слезились глаза. Ветер трепал полы шинели. А он все стоял всматриваясь.

Василий знал, что перед ним — море. Далекое русское море, прозванное почему-то Японским. И даже не самое море, а какой-нибудь залив. Может, не заходят сюда, в этот мелководный залив, большие океанские корабли и не плавают тут ни киты, ни акулы. Но для Артюхова, не видавшего на своем веку и сколько-нибудь путной речки, это был океан. Он так давно мечтал увидеть его, поклониться ему! Василий долго не мог оторвать своего взгляда. Он глядел с высоты на валки волн, и губы у него шевелились:

— Океанище. Великий. Здравствуй!

Миг тишины — и снова: ш-шу-у...

Артюхов сорвался и побежал вниз.

Тропинка кончалась круто; камни срывались из-под ног и катились, обгоняя его. На каждом шагу можно было оступиться, а оступишься — вместе с камнями полетишь в пропасть. Но Василий не думал об опасности. Ему не терпелось как можно скорее очутиться там, внизу, где бьется прибой и кружат над волною чайки. Спустившись с обрыва, он бросил чемодан у подножия скалы, а сам налегке побежал навстречу волне. Вдоль всего берега громоздились черные глыбы. Замшелые, засиженные чайками, они стояли неровным строем, словно поредевшая в бою солдатская цепь. Сколько веков охраняют они нашу матушку-землю от сварливого океана. Их порядком пообтесало водой и ветром; волны вымыли из-под них более слабые породы; и многие воины, не устояв, упали. Распластавшись, они лежали теперь среди гальки, и море, не

имея зла к поверженным, нашвыряло на них водорослей, присыпало их камушками — и они спят себе спокойно под размеренный плеск волн.

Ничего не поделаешь — передовая. Граница океана и суши. Даже чайки и те не осмеливались разгуливать по этой полосе земли, где идет извечная борьба двух стихий. Лишь изредка, завидя добычу, они с криком бросались вниз, на лету подхватывали какого-нибудь рачка или остатки краба и, бесшумно паря на кривых крыльях, садились на камни, чтобы спокойно насладиться своей добычей.

Чайки знали силу стихии.

А откуда было знать ее Артюхову? Ему все нипочем. Он спокойно шагал по мокрой гальке, меж мрачноватых черных глыб, наблюдая за сновавшими тут чайками. Навстречу ему не спеша и как бы даже лениво катился вал зеленоватой воды. Солнце, только-только выглянувшее из тумана, слепило, множилось в пене и брызгах, и Артюхов не сразу заметил белые барашки на гребне приближающейся волны. Он заметил их, когда волна была уже рядом. Василий попятился, но не успел отступить и двух шагов, как его обдало водой с головы до ног. Чертыхнувшись, он выплюнул соленую воду, огляделся.

Увлекая за собой гальку, вода — так же не спеша и лениво — отступала. И на поникшей вершине волны, слегка покачиваясь, уплывала его серая шапка. Василий погнался за ней, схватил. Пока, чавкая по мокрому песку сапогами, возвращался назад, к скале, сзади его вновь хлестнула волна.

— Тьфу, черт!

— Что ругаешься? Сам залез! Ха-ха! — услышал Василий.

Под скалой, в том самом месте, где он бросил чемодан, стоял «желтопуговник». Так дразнили лейтенантиков, только что выпущенных из училища. Шинелей настоящих, командирских, у них еще нет, не успели пошить. А на офицера походить хочется. И они срезали со своих грубых солдатских шинелей белые алюминиевые пуговицы и пришивали на их место желтые, командирские. И вот теперь этот желтопуговник не то чтоб смеялся, а просто ржал.

Желтопуговнику, конечно, смешно, а Василию обидно.

Шинель намочил — ничего, хуже, что в сапоги вода залилась.

— Умора! Нашел время купаться!

— Ну, чего зубы скалишь?! — безобидно сказал Артюхов, присаживаясь на камень, до которого не докатывалась волна.

— Вижу: что-то там, в море, барахтается. Дай подойду — не дельфин ли?

— Сам ты дельфин! — сказал Василий, оглядывая парня.

Это был здоровенный детина — худой, рыжий. Шинелишка на нем коротковата и замызгана — видать, ничего служака, доставалось ей. Старшине, наверное, тоже хватало с ним мороки: не так-то легко подобрать амуницию на такого мерина!

Парень хоть и был высок и сухопар, но во всей фигуре его угадывалась сила. Он как-то сразу понравился Артюхову. Наверное, оттого, что напомнил ему Стручкова — был такой курсант у них в батарее. Тоже как этот: худой, высокий, ел за двоих и спал на ходу. Болезнь у него была, что ль, такая, но только есть и спать этот Стручков мог сколько угодно. Насчет еды — известное дело — есть норма, курсантский паек. Правда, батарейцам, дежурившим на кухне, иногда удавалось раздобыть для Стручкова добавку. Но чтобы управиться с добавкой, требовалось время. В столовой лишнюю минуту не засидишься. Чуть что — и сразу: «Встать, выходи!» Возле столовой, на стуже, еще одна батарея стоит, очереди ждет. Добавку надо было уплести в срок. Стручкову это легко удавалось. Хуже со сном: подъем — для всех подъем. Однако и с этим Стручков устроился. Он натренировал себя так, что мог засыпать, как лошадь, стоя в строю, сидя на занятиях. Даже под пушечную пальбу спал — на учебных стрельбах!

Поначалу все над ним потешались. В классной комнате Стручков садился за первый стол. Преподавателю кажется, что Стручков внимательно слушает. А он полуприкрыл глаза и спит. Вот лекция подошла к концу. «Встать!» Все курсанты встали, а Стручков сидит себе, как сидел, чуть слышно похрапывает в обе ноздри.

И хотя Стручков ел и спал за двоих, силенки у него было мало. На перекладине ни разу подтянуться не мог — всем взводом помогали.

А этот, судя по всему, не чета Стручкову. Хоть и высок, как жердина, но все у него соразмерно росту: руки так руки, нос так нос — длиннющий, с горбинкой; глаза — большие, чуть-чуть навыкате, губы — толстые.

— Ну, чего ржешь? — огрызнулся Артюхов, стаскивая мокрый сапог.— Помог бы лучше...

— Я к тебе в денщики не нанимался.

— Ну зачем же обижаться, стручок?

— Стручок в огороде: кто идет, всяк сорвет.

— Это я к слову,— пояснил Василий миролюбиво. Был у нас курсант в батарее. Стручков. Такой же, как ты, жердь.

— У меня своя фамилия есть.

— Ну?

— Малахов.

— Псковской, что ли?

— Сам ты псковской! — с обидой в голосе отмахнулся парень.— Я вятский. Когда-то наши бочки, дуги и игрушки по всему миру славились. В Париж, на выставку возили.

— А тебя, случаем, в Париж не возили? — отжимая портянки, спросил Артюхов.— Вполне мог бы медаль отхватить.

— Да ну тебя! — Малахов повернулся и пошагал вдоль берега. За спиной у него болтался туго набитый вещевой мешок.

«Ишь ты — запасливый»,— подумал Артюхов. Ему стало вдруг как-то не по себе, что обидел парня своим шутливым тоном, и он окликнул его:

— Эй, бочарник! Куда топаешь-то?

— В Карповку.

— Обожди. По пути.

Малахов остановился. Сбросив с плеча вещмешок, он порылся в нем и протянул Артюхову шерстяные носки:

— Переобуйся!

— А ты, гляжу, запасливый.

— Не к теще на блины собирался, а воевать.

— А ты откуда узнал, что воевать едем? — спросил Артюхов, примериваясь к широкому шагу своего попутчика.

— Ты что — слепой, что ль? Вся армия наша грузится. Когда меня с курсов провожали, командир так и

сказал: «Ну, Малахов, если ты с немцем не справишься, тогда жди нас. Мы на помощь приедем».

— А я думал, ты из училища.

— Нет. Я с курсов. Три года в батарее, а война началась — взяли на курсы. А ты?

— Я служил в мастерских.

— А-а...— протянул Малахов; взгляд его говорил больше, чем это «а-а». Взгляд его говорил: «А-а! Знаем вас — складских крыс!»

Замолкли и долго шли молча.

Солнце уже поднялось. Туман стал заметно редеть. Временами разволакивало настолько, что виден был горизонт: впереди — все расцвеченные желтым сопки, а слева — то розовый вдали, то бирюзовый, до черноты океан. И видно было, как оттуда, издали, спешили и спешили к берегу волны. Они рождались буквально на глазах. И непонятно — зачем? Большинство их гибло тут же, едва родившись, и лишь немногие достигали берега. Грозные, с белой пенистой гривой, они, шипя, подступали к черным базальтовым скалам. Удар. Еще удар. Брызги, как сполохи орудийных выстрелов ночью, неестественно яркой белью возникали впереди. Сполохи эти были очень живописны на фоне черных глыб и желтых сопок. Перемена красок была такой резкой, что рябило даже в глазах. Но куда более стремительно, чем эта перемена красок, сменялись мысли в голове Артюхова. То побеждало в нем радостное чувство, и все играло внутри лишь при одной только мысли о том, что наконец-то он избавился от этих чертовых сабель. Что наконец-то он, как и все люди, будет заниматься настоящим делом. Но тут же на смену радости приходила тревога. Что его ожидает там, на фронте?

И радость сразу гасла.

Нет, Артюхов не боялся смерти. Василий не допускал даже мысли о том, что он — такой молодой, еще ничего не успевший сделать — и вдруг погибнет. Его пугало другое: за свою короткую жизнь он и воробья не убил, а должен будет убивать людей.

Немцы-то поднатаскались, попривыкли к войне. А нашим бойцам, да, знать, и командирам не хватает опыта. Не было его и у Артюхова. Василий не был уверен в себе. Как ему казалось, он плохо знал свое дело. Да и что можно было узнать за те восемь месяцев, которые Артюхов провел в училище? Ну, умел он кое-как хлопотать возле

полковушки. Даже раза три пальнуть успел — разумеется, холостыми. Вот и вся его наука. Ну, не вся: майор Спесивцев дал им всем многое. Волю свою передал. «А-а! — Василий отмахнулся.— Может, для того чтобы мыть в скипидаре клинки, науки этой было достаточно. Но воевать с такой наукой, отвечать за себя и за жизнь людей...» Он готов был рисковать собой, но командовать подчиненными, посылать их на смерть... Имеет ли он право на это?

Артюхову наскучило идти молча; он спросил у своего попутчика про службу — чем занимался в батарее?

— Наводчиком был,— сказал Малахов характерным вятским говорком, нараспев растягивая слова.— А теперь вот четыре месяца на курсах — и, как у нас шутили ребята, наполовину капитан.

— Хоть пушку знаешь. А я — так, недоучка,— признался Артюхов.

— Обрабатывать данные умею. А дадут взвод управления, что с ним? — Малахов помолчал и добавил тише, словно про себя: — Осенью должен был демобилизоваться. Думал: поеду в деревню, женюсь.

— У тебя невеста, что ль, есть на примете?

— Какая там невеста — три года не был дома! Семья большая, а я — старший.

Артюхов промолчал, ничего не сказал в ответ.

Туман уже развеялся, и лишь вдали, где море сливалось с небом, темнели широкие фиолетовые полосы. Тропинка, по которой они шли, петляла, огибая заливы и скалы, но от берега не отдалялась. Казалось, сколько ни иди — не будет конца этой хоженой, извивающейся меж каменных глыб дороге. Но вот сквозь привычные, ставшие незамечаемыми вздохи моря донесся еще какой-то посторонний шум. Скалы, что сплошной грядой тянулись справа, становились все ниже и ниже. Тропка стала заметно уходить от моря. Открылась широкая долина, или, как тут принято говорить, падь. Посреди неширокой каменистой расщелины, преграждая дорогу, стремительно бежал ручей. Неширок, нешумен, а вброд переходить — так, пожалуй, разуваться надо.

— Полезай. Тебе по привычке купаться-то,— пошутил Малахов.

До самого дальнего поворота искрился и пенился на бегу поток. Ни мостка, ни переезда. Лишь кое-где, посре-

ди воды, обрамленные белой пеной, виднелись черные, замшелые валуны. Не прыгать же по ним, как зайцам.

Решили подождать оказии.

Малахов бросил на землю вещмешок и, присев на него, стал свертывать самокрутку.

— Дай и мне щепотку,— попросил Артюхов.

— Только у меня махра злая.

— Злая — это ничего.— Артюхов опустился рядом, на траву.— Хоть и кашель от нее, но зато хорошо пробирает.

— А-а! — Малахов тряхнул кисетом.— Может, и кашлять-то осталось недолго.

Самокрутку он мастерил старательно, подправляя края газетного клочка языком. Смастерив, чиркнул спичку и поднес ее сначала Артюхову, потом прикурил и сам. На крупном лице его не было ни тени задумчивости или грусти.

— Я стараюсь не думать об этом,— сказал Артюхов.

— Думай не думай. А они вон как — целые армии наши перемалывают. Слыхал сегодня сводку? Нет уже ни Брянского, ни Вяземского направлений. Выходит, немцы в Можайске.

— Да, что-то стряслось под Москвой. Не зря же нас снимают!

Малахов пускал дым колечками.

— Ну что — мы?! Капля в море,— проговорил он задумчиво.— Как вот этот ручеек для океана, так и наши две-три дивизии для фронта.

Артюхов представил себе фронт. Представил так, как мог, не видав еще ни разу, что это такое. С юга, от окруженной врагом Одессы, и до Заполярья, до Мурманска. День и ночь гудит канонада. Горят города. Гибнут люди. Если дивизия в этой стихии — капля в море, то человек и подавно. Один человек ничего изменить не может. Подумав об этом, Артюхов лишь вздохнул.

— Не страшно помирать, когда что-то сделал. Когда знаешь, что после тебя хоть что-то останется,— помолчав, продолжал Малахов.— Дети хотя бы. А то умрешь — и как не бывало тебя. Вырастет трын-трава на могиле — и все. Зачем родился? Болел ветрянкой. Учился. А-а! Ты как думаешь?

Артюхов слушал молча, думал.

Случись, убьют — от него тоже ничего не останется.

Правда, успел начудить: построил жилой дом без входных дверей. В Урюпинске. Не где-нибудь, а в самом центре города, на базарной площади. На последней, преддипломной, практике он был начальником объекта. Строил жилой дом. Выложили каменщики все три этажа, до самой крыши. Пришли штукатуры — начали искать входные двери, а их нет. Окна есть, а дверей нет. Нет, и вся недолга! В дверных проемах были поделаны стремянки для подъема кирпича и раствора. Каменщики посчитали, что тут должна быть глухая стена, и по мере подъема стремянки тихо-тихо заделывали проем. Василий по неопытности не проследил. Прораб прибежал — кричит, ругается. А Артюхов смеется. Ну как же: первый дом в жизни — и вот те на, без дверей! Пришлось ставить каменщикам поллитровку. Задержались после смены, раздолбили кладку, сделали проемы.

Артюхов и сейчас, лишь при одном воспоминании об этом, заулыбался.

Малахов все время рассуждал, кому легче на войне, молодому или тому, кто уже пожил, у кого семья и дети. Артюхов считал, что им, бобылям, все-таки легче, а Малахов доказывал обратное. Но Василию почему-то не хотелось спорить — не было настроения.

На поляне, в затишке, где они сидели, морского прибоя почти не слышно. Слышно было только, как журчит ручей да еще вверху шелестит ветер листьями березы.

Солнышко пригревало, и было очень спокойно, и не хотелось ни говорить, ни двигаться, ни думать — тем более о плохом. Артюхов загасил недокуренную самокрутку, привалился бочком-бочком к малаховскому вещмешку и закрыл глаза...

— Но-о, заснули, дьяволы!

Василий вздрогнул, приподнялся.

Из-за скалы, направляясь к ручью, тарахтела по камням двуколка. Двуколка новая, лошади выхоленные, упитанные. На узенькой перекладинке, брошенной поперек бортовых досок, сидел возчик в шапке и стеганой куртке, помахивая длинным ореховым прутом, кричал на лошадей:

— Но-о, заснули, дьяволы!

Василий вздремнул. Он не успел еще глаза продрать,

а Малахов, подхватив свой вещевой мешок, уже бежал к двуколке наперерез.

— Эй, дядя, подвези!

— Сам ты дядя...

Возницей была девушка, хрупкая, черноглазая. Шапка великовата ей, и, когда она тряхнула головой, поворачиваясь, шапка слетела. Пока девушка ловила ее на лету, Артюхов успел разглядеть косички, связанные бантиками из марли.

«Медичка небось»,— подумал Василий.

— Далеко вам?

Малахов сказал.

— А-а... к Сарычеву! Садитесь! — Она пошевелила вожжами, и лошади тронулись.

Погромыхивая коваными колесами, двуколка покатилась с обрыва к ручью. На камнях трясло и подбрасывало. Посреди ручья лошади остановились, уткнулись мордами в воду и начали пить. Пока они пили, девушка посвистывала: негромко, совсем так, как дед, бывало, когда в Орловке поил у колодца свою кобылку. И оттого, что этот озорной ее свист напомнил Артюхову детство, девушка неожиданно тронула его. И он начал присматриваться к ней. Она была ничего: нельзя сказать, что уж очень смазлива, но симпатичная. Когда она улыбалась, на щеках ее обозначались продолговатые ямочки.

Лошади попили и без всякого понукания тронулись дальше. Шли они дружно, фыркая и спотыкаясь на валунах. Вода булькала под их копытами, двуколка качалась из стороны в сторону и скрипела, колеса дрыгали, перескакивая с камня на камень, но лошади будто ничего не замечали. Все так же медленно и спокойно тянули они повозку — наискосок ручья, к морскому берегу.

— Вы что ж, хозяйство санроты, что ль, возите? — заговорил первым Малахов.

— Хозяйство наше уже в вагонах. Послали за капустой. На дорогу.

— И откуда возите?

— Из Карповки.

— Там колхоз, что ли?

— Колхоз.

— И хороший? — Малахов был разбитной парень, разговорчивый.

— Такой же, как и всюду... Но-о! — Девушка огре-

ла хворостиной обеих лошадей по очереди, и они побежали рысцой. — Солдаты-шефы помогают. Весной сеяли и сажали, а теперь вот убирают. Ребята рубят, а я отвожу.

— Давно вы тут?

— Как началась война, нас сразу из медучилища — и сюда.

— Небось успела уже охмурить какого-нибудь капитана? — Малахов сидел на вещмешке, привалившись спиной к бортовой доске двуколки, и говорил это с совершенно серьезным видом, словно справлялся о здоровье.

— Женихов будем выбирать, когда война кончится.

— У-у! Тогда не придется выбирать. Кто после войны останется? Одни калеки. За любого небось согласна будешь. Выбирай, пока рядом... А-а? — Малахов подмигнул Артюхову: смотри, мол, друг, как надо обходиться с этими бабами! — Только не его выбирай,— он указал на Василия,— а меня. Я страсть как люблю черненьких.— Он обнял девушку за плечи и привлек к себе.

— А ну убери руки, жених! — Она сбросила его руку с плеча и обернулась, сверкнув глазами.— Не то вот огрею арапником!

— У-у, какая ты строгая. Маша, да не наша.

— Не Маша, а Паша.

— Паша, Паня... О! Мне это имя больше нравится.

Малахов сделал вид, что испугался угроз. Но именно сделал вид, в действительности же не собирался оставлять в покое медичку. Он переменил лишь тактику. Начал говорить всякие хорошие слова про ее глазки да ямочки на щеках. «О, какие у вас ямочки на щеках! Они так вам идут...» Говорит, а сам — снова руку на ее плечо, и девушка — ничего, лишь улыбается. Но вот она почувствовала, что рука парня с плеча соскользнула на талию. Паня вздрогнула, обернулась и — раз! — вдоль спины Малахова арапником.

— Сдурела девка! — Он вжал голову в плечи и отстранился.

А она тем же хлыстом огрела коренника.

— Но-о, шевелись!

Лошади начинали вышагивать побыстрее, каменистая дорога петляла меж сопок — то приближаясь к морю, то удаляясь.

Василий все время приглядывался к девушке. Ему ка-

зались знакомыми улыбка ее и эти ямочки на щеках. И он все силился припомнить: где он встречал ее? Но так и не вспомнил.

Наконец впереди завиднелся поселок. От самого берега и до вершины невысокой сопки белели домишки. Они разбросаны были просторно, без особой строгости, меж ними желтели пирамидальные тополя, наполовину оголившиеся.

— Штаб вон там, у сопки! — указала девушка.— Берите все время правее.

Расправляя затекшие от неудобного сидения ноги, Артюхов спрыгнул на землю.

Малахов не спешил.

— Милочка, скажи хоть, из какого полка? — выпытывал он. у девушки.

— Много будешь знать — рано состаришься.— Возница повернулась к сошедшему с двуколки Малахову, шутливо стеганула его орешиной по плечу.

Он хотел еще раз обнять ее, но не успел: девушка замахнулась прутом на лошадей, и они понеслись.

Артюхов не глядел вслед удаляющейся двуколке.

Он глядел на море.

Море в заливе было спокойно. Оно все играло, искрилось на солнце. Яркие блики на нем до рези слепили глаза.

5

Штаб полка находился на окраине села, в глинобитном домике.

Первыми поселенцами Карповки были украинцы; то, что Артюхов издали принял за дома, оказались хатами: глинобитные, крытые камышом; стены хат — выбелены, словно к празднику.

Видимо, полк стоял тут лагерем — ни казарм, ни складов поблизости не было. У подножия сопки, вдоль дорожек, посыпанных морским песком, темнели квадраты выбитой земли на месте палаток; будто оставленные в спешке окопы, зияли врытые в землю бочки — места для курения.

Было пусто на плацу; и лишь тут, возле штабной хаты, все еще суетились люди. У коновязей, под самыми окнами, стояло пять или шесть оседланных коней. Возле

крыльца, загораживая вход, припил грузовик. Задний борт его отброшен; четверо бойцов — без ремней, красные от натуги — втаскивали в кузов тяжелый металлический ящик. Бойцами распоряжался капитан с нарукавной повязкой дежурного.

Артюхов, как старший по званию, обратился к капитану и спросил, кому предъявить служебные предписания. Капитан сказал, чтобы они шли прямо к командиру.

В узеньком коридорчике полковые связисты наматывали на катушку провода полевого телефона. Двери штабных кабинетов были открыты настежь, на столах валялись обрывки бумаг и газет. В одной из комнат человек пять командиров — все в шинелях и с противогазными сумками,— столпившись возле стола, рассматривали карту.

И снова, как и ночью в вагоне, Артюхов уловил лишь одно слово в их разговоре: «Можайск».

В углу, направо от двери, сложены были вещи — ранцы, чемоданы, узлы с постельным бельем. И к каждому чемодану или узлу приторочена каска. Бросив сюда чемодан, Артюхов подошел к столу и козырнул. Он не успел произнести обычное: «Разрешите обратиться?» — как кто-то из командиров, оторвавшись от карты, кивком головы указал ему на дверь: мол, к чему эти формальности! Входите, докладывайте с а м о м у.

Дверь, на которую им указали, была обита черным дерматином и, словно красногвардеец, какими их рисуют на плакатах, крест-накрест перетянута, тесьмой старых, отслуживших свой срок пулеметных лент.

За столом, в дальнем углу кабинета, сидел полковник. Был он грузен, широк в плечах, короткие волосы топорщились ежиком.

Увидев незнакомых командиров, он оторвался от бумаг, которые просматривал, и окинул взглядом вошедших.

Артюхов доложил. Выслушав доклад, полковник вышел из-за стола.

— Сарычев! — представился он.— Здравствуйте, здравствуйте! — Взглянул на их предписания, радостно добавил: — А-а, к Лысенко! Ждали, ждали вас. Садитесь.— Он указал им на легкие плетеные кресла, стоявшие у стола, а сам вернулся на прежнее место.— Извините. Одну минуту.— И снова погрузился в бумаги, то вычеркивая, то дописывая что-то карандашом.

В окно был виден борт грузовика; через борт со всего маху солдаты бросали командирские узлы и ранцы. Стальные каски, ударяясь друг о дружку, глухо позванивали.

— Как бы и наши шмотки не увезли! — Малахов кивнул на окно.

Артюхов не отозвался. Он думал совсем о другом: о своем новом командире.

Майор Спесивцев был первым командиром, который пробудил в Артюхове любовь к армии. Могло случиться так, что, выйдя из училища, Василий навсегда связал бы свою жизнь с армией. Но началась война — и на смену майору Спесивцеву пришел Цицоев.

Цицоев, надо полагать, тоже считал, что он воспитывает. Но у него — свои понятия о воспитании. Он всех подозревал в нерадении, из-за каждой мелочи выговаривал, норовя при этом унизить человеческое достоинство подчиненного. Будь Артюхов попокладистей, он, может, и сносил бы унижения ради того, чтобы отсидеться в тылу, в мастерских. Но Василий, несмотря на свою внешнюю мешковатость,— человек легкоранимый. Он начал строчить рапорты, чтобы его перевели в строевую часть. Начал искать нового себе начальника.

И вот он нашел его.

«Нашел ли?!» Приглядываясь к командиру полка, Артюхов мучительно думал: «Кто он, этот полковник Сарычев — Спесивцев или Цицоев?»

Майор Спесивцев — сухощав, подобран, а этот толст и грузен. Грузен и грубоват с виду, не было в нем мягкости, мудрой доброты майора. Лицо у полковника — мясистое, но не изнеженное, не то что у Цицоева. Щеки и шея задубели на солнце — видать, в кабинете сидеть не любит.

Судя по всему, полковник — старый вояка. Догадаться об этом можно было бы и не по одной лишь юбилейной медали, висевшей у него на груди. У него другая была «медаль» — глубокий шрам прорезал все его лицо, от верхней губы и до уха.

«Саблей небось рубанул какой-нибудь белополяк»,— подумал Артюхов.

— Начбой! — крикнул полковник. Покончив с бумагами, Сарычев устало откинулся в кресле и тут же заметил на себе изучающий взгляд Артюхова.— А-а, смотрите на мою отметину! — добродушно протянул он.— Да-а...

всю гражданскую прошел — ничего. А вот тут, на Хасане, уже батальоном командовал... И, понимаете, какой-то сумасшедший япошка в рукопашной тесаком чиркнул. На всю жизнь изуродовал.

Поначалу Артюхову показалось, что шрам этот нисколько не безобразил лица полковника. Наоборот, придавал ему мужественный вид. Но теперь, приглядевшись, Василий отметил изъянец. Он касался всего-навсего лишь одной верхней губы. Рассеченная надвое, губа искажала рисунок рта, особенно когда полковник говорил. Тогда обе половинки усов шевелились как бы порознь, и это производило неприятное впечатление.

— Начбой! — позвал еще раз Сарычев.— Никифоров!

Вошел старший техник-лейтенант. Молодой, наглаженный, он был затянут портупеей и обвешан со всех сторон планшетками и сумками, так что двигаться ему было трудно.

— Слушаю, товарищ полковник!

— Чем вы там заняты, что вас не дозовешься?

— Да все гадаем, куда нас бросят.

— Куда надо, туда и бросят.

«Пожалуй, интендант,— решил Артюхов, почуя в последних словах полковника недовольство и раздражение.— Видимо, какой-нибудь неудачник. В его звании и возрасте дивизией бы командовать, а он засиделся на полку».

— Вот боекомплект. Проследите, чтобы все было погружено в точности.

— Есть!

Начбой щелкнул каблуками.

— Идите выполняйте!

— Есть выполнять! — Никифоров повернулся и, бережно неся свои планшеты и сумки, направился к двери.

— К пятнадцати ноль-ноль все должно быть погружено! — добавил Сарычев и, разом позабыв о воентехнике, обратился к сидевшим возле стола командирам: — Так вот, друзья. Значит, будем воевать вместе...

Артюхов вздохнул: «Ну что ж, воевать так воевать».

В кабинет вошел дежурный офицер, а следом те самые бойцы, которые втаскивали в кузов грузовика сейф.

— Книги тоже грузить?

— Отберите уставы, остальное пусть остается наследникам.

Солдаты распахнули дверцы книжного шкафа, стоявшего в простенке, и стали выкладывать на круглый столик книги. Капитан просматривал их и складывал в две разные стопки: что брать и что оставлять. Книг набралось много. Солдаты перетянули одну из стопок шпагатом и, грузно топая, вышли.

— Когда все погрузите, доложите,— сказал Сарычев дежурному.— Заберите товарищей в батарею к Лысенко.— И, не дожидаясь обычных формальностей со стороны дежурного, полковник сел и еще раз пристально поглядел на Малахова.— Вы завтракали?

Малахов отрицательно покачал головой.

— Я тоже, признаться. У нас тут ничего не осталось. Склады и кухни в эшелоне. Но все ж давайте что-нибудь придумаем,— добавил полковник, оживляясь.— У меня должны быть кое-какие резервы.

Сарычев нагнулся и выставил на стол начатую бутылку коньяка. Потом достал из тумбы стола тарелку, на которой лежало два или три пирожка и несколько бутербродов с сыром. Полковник протер листком бумаги стаканы, налил коньяку.

— Будем считать, что это первая фронтовая,— пошутил он, подвигая стаканы молодым артиллеристам.

Малахов повернулся к столу; плетенка под ним затрещала.

— За победу! — Сарычев поднял стакан, чокнулся сначала с Малаховым, затем с Артюховым.— Чтобы наш полк славой покрыл свое боевое знамя!

Полковник выпил.

Малахов не очень стеснялся: опорожнив стакан, крякнул, потянулся за пирогом. Артюхов медлил. Он ни разу в жизни не пил коньяка — слышал от других, что есть такой напиток, но пробовать не приходилось. Пригубив, он выпил один-другой глоток и отставил стакан.

— Пироги с вареньем?! — Малахов ел и похваливал: — Хороши! Люблю сладкие пироги.

— Да, с вареньем! — подхватил полковник.— Приезжала вчера жена. Привезла.

Сарычев вздохнул, лицо его погрустнело.

«Все-таки пожилым, семейным, труднее на войне, чем холостым,— подумал Артюхов, заметив, как погрустнел полковник.— Где-то, может в той же Раздольной, у полковника семья, дети. Вероятно, по вече-

рам командир полка приходил домой, снимал портупею и форму, надевал полосатую пижаму или теплый халат, садился за стол и пил чай. Дети показывали ему школьные тетрадки; жена хлопотала, разрезая сладкий пирог. Вчера она приезжала сюда проститься. Может, плакала, даже наверняка плакала. Оттого-то и взгрустнул полковник. Да и там, на фронте, он часто будет вспоминать эти зимние вечера в кругу семьи, последний приезд жены сюда...

А мне и вспомнить нечего,— заключил свои мысли Артюхов.— Некому меня провожать, и плакать, и печь пироги. Пироги! — усмехнулся он.— Какие там пироги!» Не помнит, когда и ел-то их в последний раз. Как уехал в шестнадцать лет из деревни, так все на казенных харчах, все по столовкам скитался. И в техникуме, и в училище, и хоть в тех же мастерских.

Правда, мать любила печь — не пироги, конечно, в их деревне пироги не пекли, а всякие там куличи, блины, каравайцы. И еще дрочены. Это среднее что-то между пирожком и блином. Если, скажем, растолочь в ступе пшено да разбить штук пять яиц и все это взбить, а потом бросать пахучее тесто большой деревянной ложкой на раскаленную сковороду, стоящую на казанке, в устье русской печи, то со сковородки будут слетать рябые, ноздреватые оладьи. В Орловке их зовут дроченами.

Артюхов ощутил даже запах дрочен. А с ним, с этим запахом, вспомнилось раннее детство. Именно в раннем детстве мать пекла дрочены да блины. А когда он подрос, то зачастую и куска хлеба-то не было. Приедет, бывало, на каникулы. Мать засуетится, забегает вдоль порядка то к одной, то к другой соседке. Хочется ей угостить Васю чем-нибудь этаким, деревенским. А чем угостишь, если в доме ни щепотки муки? Побежит к соседкам; у одной яиц десяток взаймы возьмет, у другой — мучицы. Сядет, натрет картошки, отбросит крахмальцу, испечет тонких, прозрачных, как осенний лист, каравайцев. «Ешь, Вася! Кушай, соколик...» — угощает мать. Он начинает есть, а рядом сидят меньшие братья, сидят и смотрят, глотая слюну. Каравайцы — колом в горле. Съев один-другой, Василий отодвигает глиняную миску: «Спасибо, мама, сыт. Пусть ребята едят».— «Им толькой дай — они все готовы слопать! — говорит мать.— С утра отбоя от них нет. Ну, чего глазеете? Берите, уж коли так». И, глядя

на то, с какой жадностью голодные дети налетают на каравайцы, мать отвернется и поспешно уйдет в чулан. Ей не хочется, чтобы Василий видел ее слезы...

— Вы почему не едите? — неожиданно оборвал его раздумья Сарычев.— Времени у вас мало. Батарея грузится. Ешьте — и марш-марш.

Артюхов выпил остатки коньяка, взял бутерброд и, прижимая сухие, с поднятыми кверху краями полоски тонкого сыра, стал не спеша жевать.

— Сколько же вам лет? — спросил командир полка, обращаясь к Малахову.

— Двадцать, товарищ полковник.

— А вам? — Сарычев открыл коробку «Казбека» и протянул ее Артюхову.

— Одногодки,— сказал Василий и сделал было движение, чтобы взять папиросу, а потом передумал вдруг, покачал головой, отказываясь.

— Что, не курите?

— Да нет...— смущенный своей нерешительностью, проговорил Артюхов.

Малахов взял папиросу и прикурил даже, но дымить тоже почему-то стеснялся, и она вскоре погасла.

— Двадцать лет...— словно про себя повторил полковник.— Да-да, хорошие годы.— Он раскурил папиросу и добавил с грустинкой: — А я в ваши годы рядовым всю гражданскую. Ватник, обмотки, вместо ремня — пулеметная лента. И лишь в двадцать пять лет — курсант пехотного училища. Такая-то она, жизнь... А вы какое училище окончили? — И он снова с нескрываемым любопытством поглядел на Малахова.

Тот отложил папиросу и начал рассказывать: в каком полку служил батарейцем, когда, после каких курсов присвоено звание. Судя по всему, Сарычев ожидал от него большего. Ну хотя бы два года нормального училища! Однако, выслушав, полковник ничем не выдал своего разочарования. Он лишь отложил в сторону его предписание и тут же повернулся к Артюхову, как бы говоря: ну а теперь слушаю вас.

У Артюхова послужной список оказался еще беднее: год в училище и три месяца в артиллерийских мастерских.

— А в качестве кого вы работали в мастерских?

— Начальником цеха,— сказал Артюхов.

Он нарочно умолчал, начальником какого цеха работал. Неудобно было перед балагуром Малаховым. Придется служить в одной батарее — засмеет. А полковник и в бумажку может заглянуть: там небось все написано.

Сарычев так и сделал: взял его, Артюхова, предписание, повертел в руках, почитал. Однако ничем не выразил своего отношения. Помолчав, командир заговорил о батарее, что бойцы полковой батареи народ обученный, кадровый. Три года прослужили, осенью должны были демобилизоваться.

— Комбат капитан Лысенко,— добавил полковник,— командир необстрелянный, но выдержанный, знающий дело. Было такое мнение: оставить его тут, для учебы прибывающего на смену нам контингента. Но я не согласился. Хороший командир и на войне нужен.

Сарычев пояснил, что Ставка решила снять отсюда, с востока, ряд дивизий и перебросить их на фронт. Сюда на смену им прибывают старички, народ серый, необученный. С ними придется немало повозиться, пока они станут настоящими солдатами. Приказано для натаскивания их оставить кадровых командиров — из стрелковых батальонов, минометных рот и батарей. Из полковой батареи остаются командиры огневого взвода и взвода управления.

— Жаль, хорошие товарищи. Но, я думаю, вы — достойная замена.— Сарычев погасил папиросу и, обращаясь к Малахову, словно бы уговаривая, а не приказывая, добавил: — Вы, Иван Григорьевич, были наводчиком. Вам, думаю, ближе взвод управления. А вы,— полковник бросил взгляд на Артюхова,— пойдете на огневой.— И, не дожидаясь ни возражений, ни обычных «Есть на огневой!», взял из пластмассового стаканчика карандаш и написал на их бумагах свое распоряжение.

Возвращая документы, Сарычев добавил:

— Штаб уже в эшелоне. Сейчас дежурный повезет на станцию вещи, отправляйтесь с ним. Он представит вас капитану Лысенко. Тот в курсе всего. Времени у вас не так уж много. Спешите!

Полковник поднялся, давая знать, что разговор окончен.

— Я не прощаюсь с вами. Ваша батарея следует вместе со штабом. Там увидимся.

Стоя навытяжку, Артюхов смотрел не на лицо командира, а на край стола.

С краю стола лежал кусок хлеба с сыром, который он в разговоре так и не успел съесть...

6

Этот кусок ржаного хлеба, оставленный им на столе командира полка, Артюхов вспоминал потом не раз в течение дня. А день казался вечностью: столько он вместил в себя событий.

Спустя каких-нибудь полчаса после беседы с полковником Артюхов и Малахов были уже на разъезде.

Крохотный полустанок, затерявшийся в сопках, в стороне от главной хасанской ветки, напоминал военный лагерь, поднятый по тревоге. На всех его путях стояли составы; солдаты и старшины, суетясь, набивали утробы вагонов ящиками, бочками, повозками; кричали командиры, понукая подчиненных; тарахтели двуколки и машины, подвозившие имущество; ржали лошади; свистели маневровые паровозы, чудом прокладывающие себе дорогу среди шумящей, ругающейся, двигающейся толпы.

Казалось, в этом шумном муравейнике невозможно отыскать не только одного какого-то человека, но и целое подразделение. Однако дежурный, шагая вдоль эшелона, очень скоро нашел командира батареи.

Капитан Лысенко — рябой и носатый — показался Артюхову малосимпатичным. В шапке, в ватной стеганке, какие носит лишь низшая артиллерийская прислуга, он стоял на платформе и, стараясь перекричать свистки сновавшего туда-сюда маневрового паровозика, командовал солдатами, втаскивавшими на платформу зарядные ящики:

— Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!

Увидев дежурного, знаком указывавшего ему на пришедших с ним, капитан спрыгнул с платформы, поздоровался; не расспрашивая ни о чем, взял их предписания, посмотрел и сунул в боковой карман куртки.

— С начштаба я потом все утрясу. Теперь некогда. Вы,— он кивнул на Малахова,— отвечаете за погрузку коней и фуража. Вы, Артюхов,— комбат сразу же запомнил их фамилии,— давайте к полковушкам. Быстро! Впрягайтесь!

— Есть впрягаться! — отозвались они в один голос

и побежали в разные стороны: Малахов — в самый дальний тупик, где бойцы, пригнувшись под тяжестью, носили в вагон тюки спрессованного сена, а Артюхов — к платформам, где грузили полковушки.

С той самой минуты, как Артюхов сказал «Есть!», он стал частицей этого серошинельного, горланящего людского водоворота, который бурлил возле эшелона.

Железнодорожная ветка, проведенная сюда, в район Хасана, была новая. Надо думать, что она строилась для того, чтобы по этой ветке можно было быстро перебрасывать войска. Но именно для этого — для разгрузки и погрузки войск — она и оказалась не приспособленной. На разъезде была всего лишь одна крохотная погрузочно-разгрузочная площадка. С этой площадки заводили в вагоны лошадей и закатывали на платформы тяжелые орудия полка резерва Главного командования, приданного дивизии. А все остальное: легкие пушки, походные кухни, двуколки,— все это с неизменным: «раз-два, взяли!» неслось, двигалось, катилось через придорожные кюветы сюда, к вагонам и платформам.

Свистел паровоз, суетились майоры и капитаны, кричали во все горло сержанты и старшины, и в этом всеобщем оре никто не обратил внимания на невесть откуда появившегося молодого лейтенанта, который, подбежав к бойцам, катившим полковушку, взялся за станину и заорал, стараясь перекричать других:

— Раз-два, взяли!

Десятка полтора бойцов — артиллеристов и пехотинцев — подкатили пушку к платформе. Борта платформы были опущены, и к ним приставлено два кругляка. По этим бревнам бойцы, судя по всему, намеревались вкатить орудие. Но едва они приподняли его, как колеса тотчас соскользнули с кругляков; орудие накренилось, ударив кого-то из бойцов щитком.

— Стой, так не пойдет! — крикнул Артюхов.

— Пойдет! Раз-два...— командовал щупленький с виду старшина.

Бойцы снова взялись было за пушку, но Артюхов подал команду: «Отставить!» — и только тут все заметили, что среди них появился новенький, лейтенант.

— Старшина батареи Тябликов... А вы кто такой?

«Не хватало еще, чтоб старшине представляться!» — подумал Артюхов, разглядывая Тябликова. Старшина

батареи, по всему видно, был из сверхсрочников. Немолодой, сухощавый; лицо симпатичное, даже красивое, если б не след от ожога, зиявший красным рубцом на правой щеке. Тябликов, в свою очередь, тоже изучал Артюхова, глядя на него коричневыми, как корье кедра, глазами.

Артюхов не выдержал этого взгляда, назвал себя.

— Очень рад...— Тябликов небрежно козырнул, ухмыльнулся, как бы говоря: «А-а, видали таких!» — Ну что ж, вы — старший, командуйте.

— Ребята! — сказал Артюхов.— Давайте сдвинем бревна — и юзом!

Два-три бойца не очень охотно взялись переставлять бревна. Остальные смотрели, выжидая, чем кончится это представление. Тябликов закурил — сделал вид, что занят. Другие тоже закурили.

— Вот положить бы нашего Котка да по Котку...— пошутил долговязый сержант.— Коток?!

— Ну?

— Ложись.

— Ложись сам. У меня живот болит,— отозвался низкорослый, квелый на вид боец.

Ребята рассмеялись.

Наверное, не один десяток новых, незнакомых лиц промелькнул перед Артюховым с тех пор, как он очутился тут, возле эшелона. И все-таки лицо этого щупленького солдата чем-то поразило его. То ли своей бледностью и болезненностью, то ли своими узко посаженными глазами и резко очерченными скулами. Василий не мог сказать чем, но он отметил бойца с такой необычной фамилией.

— Раз-два, взяли! — скомандовал Артюхов, едва лишь ребята сдвинули бревна.

Команду слышали все, однако за орудие взялись те же два бойца, что сдвигали бревна, да сам Артюхов. Остальные, посмеиваясь над шуточками старшины, продолжали курить. Втроем пушку на платформу не втащишь.

Артюхов обернулся к Тябликову.

— Старшина! — еле сдерживая себя, обратился к нему Василий.— Вам что, особое приглашение требуется?!

— Пошли, что ли! — сказал долговязый сержант и, бросив папиросу, взялся за орудие.

— Последняя затяжка, товарищ лейтенант.

Старшина, покуривая, что-то рассказывал батарейцам; те смеялись, как гуси на водопое, запрокидывали головы.

Артюхов понимал, что Тябликов хотел проявить характер; ему не терпелось показать Василию, что он, старшина, хозяин в батарее. Артюхов знал, как поступать в таких случаях, но начинать со скандала — значит противопоставить себя авторитету старшины. А Тябликова, судя по всему, любили ребята.

Артюхов не одернул старшину. Василий достал пачку папирос, закурил и подошел к бойцам.

— Ни у кого на весь полк нет такой фамилии, чтоб она одинаково читалась как спереди, так и с конца,— рассказывая, Тябликов все время пожимал плечами.— «Что за фамилия?» — спрашиваю. А он и говорит: «Коток». Ну, думаю, нельзя упустить такого оригинала. Возьму в батарею. А худущий был. Мощи одни! Помнишь, Коток?

— Помню. Как привел в батарею, так каши гречневой полный котелок мне — ешь!

Бойцы негромко посмеивались.

Заметив, что лейтенант тоже стоит слушает, Тябликов растоптал сапогом окурок, сбросил с себя шинель и, озорно поплевав на руки, шагнул к орудию:

— А ну, братва, взяли!

Артюхов не спешил, наблюдал со стороны. Орудие, сдирая кожуру с сырых бревен, медленно поползло вверх. По выражению натуженных лиц, по тому, с какой хрипотой каждый выдавливал из себя: «Взя-ли-и!», «Дружно-о-о!», Василий безошибочно определял, кто и в самом деле вкладывал силу, а кто орал и мельтешил под ногами так, для виду.

Старшина под самую ось поставил свое плечо; и сержант Верхогляд, что поначалу подсмеивался над Котком, тоже выкладывался весь, даже на выкрик духу не оставалось. А узколицый, юркий Коток хоть и кричал громче всех: «Взяли! Взяли! — но нисколечко не пособлял, лишь просто держался за сошник.

— Коток, не сори! — прикрикнул на него Тябликов.

Артюхов подбежал, подставил плечо под станину.

— Ты, друг, из блатных, что ли? — спросил Василий, вглядываясь в красное от натуги лицо Тябликова.

— Изволите шутить, гражданин начальник.— Старшина улыбнулся, показывая Артюхову золотые зубы.

Артюхов втаскивал на платформы пушки и зарядные ящики, бегал, как и все другие командиры, в поисках проволоки и упорных клиньев, чтобы орудия не катались в дороге; он взмок, как загнанная лошадь, порвал в двух или трех местах шинель, охрип, еле стоял на ногах, а все орал и бегал. И лишь в редкие минуты передыха, когда батарейцы шли за очередным орудием, Василий вдруг начинал чувствовать, что устал, что чертовски голоден, и тогда ему вспоминался кусок ржаного хлеба с сыром, оставленный им на столе полковника, и он в душе чертыхался и честил себя почем зря: «Дурень! Отказался от бутерброда с сыром! Вот бегай теперь с пустым-то желудком. Так тебе и надо».

За весь этот суетный, невесть когда начавшийся день Василий присаживался всего-навсего два раза: на берегу ручья, когда ожидали подводу, да еще в кабинете Сарычева. Третий раз он присел лишь теперь — на исходе коротких осенних сумерек.

Пушки были погружены, орудийные передки, словно зенитки, дышлами кверху стояли на платформах, новых приказаний не поступало, и Артюхов, чувствуя, что вот-вот свалится от усталости, присел на одно из бревен, по которым вкатывали орудия.

Сержант Верхогляд с бойцами своего расчета задраивали пушки брезентом, а остальные тоже присели, кто на бревно, а кто прямо на истоптанный ногами песок железнодорожного полотна. Артюхов достал пачку «Норда» и, потряхивая ею, предложил бойцам папиросы: мол, закуривайте, ребята. Не успел глазом моргнуть — пачка пуста! Василий сам себе не поверил. Думал сначала, что показалось. Еще раз заглянул, потряс — не оставили даже и ему, вот черти! Скомкал пустую пачку, бросил под платформу. Другой нет — в чемодане, да где он еще, чемодан-то? Лысенко приказал кому-то из бойцов отнести в вагон, а в какой, где он, этот вагон, леший его знает.

— Разрешите поделиться, товарищ лейтенант? — Тябликов протянул Артюхову папиросу.

Помимо той, что старшина возвращал, у него уже дымилась одна во рту да за каждым ухом торчало еще по папиросе. Как он успел их заграбастать? Ведь столько глаз доглядывало.

— Ловкость рук, и никакого мошенства,— пояснил старшина.

Ребята посмеялись.

С сумерками суета на полустанке стала затихать. Командиры поуспокоились, не бегали взад-вперед, не слышалось больше надрывных «раз-два, взяли!», лишь маневровый паровоз-работяга, посвистывая, сновал по путям. И теперь, едва они расположились на перекур, паровоз прогромыхал мимо, обдавая курильщиков паром и теплом топки. Ребята встали и, сбившись в кучку, глядели на проходившие мимо вагоны. В больших, четырехосных, везли лошадей — орудийную тягу. Оперев груди на березовые кругляки, которыми они были закрыты в закутках, лошади тоскливо глядели на волю.

Люди-то знали, куда и зачем они едут. А глупые животные ничего не понимали, ни о чем-то не догадывались.

— Ландыш поехал! — сержант Верхогляд кивнул на пульман.

— Значит, все. Сейчас прицепят вагоны с лошадьми — и тронемся,— сказал Тябликов и, ссутулившись, засеменил вдоль эшелона.

— Старшина! Надо бы подзаправиться на дорогу-то.

— Может, по фронтовой у капитана выпросишь?! — донимали его шагавшие следом бойцы.

Возле теплушек и груженых платформ суетились солдаты. Задраивали брезентом зенитные установки, крепили растяжками санитарные автобусы. Из полуоткрытых вагонов доносились говор, окрики командиров, глухо позванивали каски и пустые котелки. По ту сторону эшелона, в соседнем тупике, судя по всему, все еще шла погрузка. Оттуда доносилось такое знакомое «раз-два, взяли!» и слышался стук ящиков и грохот катаемых по платформам орудий. Навстречу, толкаясь, спешили солдаты, несшие термосы с едой. Пахло борщом, густо приправленным лавровым листом. «Им-то что! — думал Артюхов о батарейцах.— Им и горе не горе. Смеются, балагурят. И то: на миру смерть не страшна. Они три года вместе прослужили. Считай, по пуду соли съели. Сдружились. Старшина лишь головой кивнул — они пушку разом!» А его, Артюхова, слушать не захотели. Не только характер и повадки один другого знает, но и капризы каждой пушчонки, каждого коренника. Нишь

как Верхогляд о лошади-то ласково сказал: «Ландыш поехал...»

— Лейтенант!

Артюхов остановился: кто-то окликнул его из теплушки, мимо которой он только что прошел. (Негромко окликнул и даже, как ему показалось, с какой-то робостью.)

Артюхов уже миновал теплушку, но, услышав оклик, оглянулся.

В дверях теплушки стояла та самая Паня-медичка, что подвозила их утром до Карповки. Руки ее лежали на березовом кругляке, загораживающем дверь, и, облокотившись, она стояла и улыбалась, покачивала из стороны в сторону носком кирзового сапога. Сапог был новый, не по-солдатски маленький, и шинель новая, приторoченная в талии, и вся она, Паня, так и светилась.

Василий постоял в нерешительности: подойти или нет? Он, пожалуй, и подошел бы — настолько неожиданно было ее участие (хоть один знакомый человек!), но боялся отстать от ребят.

— Что же вы один? А где ж ваш жирафоподобный друг?

«Соскучилась?» — хотел спросить Василий, но сдержался и сказал, что Малахов грузит лошадей.

— У Лысенко с его лошадьми вечно такая карусель. Пехотинцы давно уже в теплушках, а капитан со своими коренниками все еще грузится...— Пане хотелось поболтать: она была уже в вагоне, и спешить ей некуда.

— Пехоте — что: подхватили котелки да вещмешки — и марш-марш! А у нас — орудия.— Василию стало обидно за капитана.

— У майора Звездина вон тоже орудия, а он уже все свое хозяйство погрузил.

Артюхов не знал, кто этот майор Звездин, и потому промолчал. Ему очень хотелось поглядеть ей в лицо, но он почему-то стеснялся и стоял потупившись.

Паня перестала качать носком сапога из стороны в сторону. Не потому, что ей надоело, а просто ее отвлекли. Одна из подруг-медичек что-то сказала ей, видимо, спросила, с кем она болтает. Паня ответила и снова заговорила с Артюховым:

— Вы прошли мимо... Гляжу: у вас такой грустный вид. Мне вас жаль стало.

Артюхов помялся с ноги на ногу, но не подошел к теплушке ни на шаг.

— Заходите к нам. Дорога-то дальняя.— Она улыбнулась.

— Спасибо. Я передам Малахову.

— Я вас приглашаю.

Василий пожал плечами.

— Увидимся еще,— сказал он и пошел.

— Лейтенант! — снова окликнула она его.— Вы в Хабаровске служили?

— Да. А что?

— Так, ничего.

Василий недоуменно пожал плечами и пошел дальше. Это было неучтиво с его стороны: не подойти и не сказать что-нибудь этакое, хорошее. Ведь она-то заметила, что он грустный. «Вот женщины! — думал Артюхов с удивлением и с благодарностью одновременно.— Весь эшелон пройди из конца в конец — и никто из мужчин не остановит тебя, чтоб спросить: отчего ты грустный? А женщина сразу обратила внимание... И потом: почему она спросила о том, служил ли я в Хабаровске?»

В задумчивости Артюхов не заметил, как пробежал почти вдоль всего эшелона. Поглядел — штабной вагон. Штабной вагон — громоздкий, пассажирский... Возле него толпилось очень много командиров: и Сарычев был тут, и еще какой-то майор в очках, и даже генерал. И комбат Лысенко — тоже. Увидев Артюхова, капитан тотчас же отделился от толпы и подошел к нему.

— Ну, как орудия?

— Все в порядке, товарищ капитан.

— Закрепили?

— Да.

— Добре! — Комбат взял Артюхова под руку. И, как бы прогуливаясь, они прошли немного вперед — к соседнему со штабным вагоном пульману.— Поднимемся сюда на минутку!

В пульмане, куда следом за капитаном забрался Артюхов, было уютно; на него так и пахнуло старым дедовским сараем. Не тем сараем, что стоял на улице, рядом с мазанками, где дед спал и столярничал, а тем, что был по соседству с конюшней. Как и тот, дедов сарай, вагон был забит всякой всячиной. В углу штабелем лежали хомуты, стояли кованые колеса двуколок, ведра,

бутыли, коробки с артиллерийскими прицелами. Словом, все батарейное хозяйство было тут.

Двое бойцов катили от двери в угол огромную оцинкованную бочку. Когда они поставили бочку в углу на попа, капитан приказал бойцам заложить ее хорошенько ящиками и хомутами.

— Откатная жидкость,— пояснил он, возвращаясь из угла.— Узнают хлопцы — опорожнят за дорогу.

Отпустив бойцов, Лысенко сам еще раз проверил, все ли на месте. Положил поверх бочки пару хомутов, накрыл куском брезента. Капитан был человеком хозяйственным.

— Ну вот так! — Комбат доволен был своей конспирацией.— А теперь пойдем ко мне. У меня в купе есть свободное место. Специально для вас приберег.

— Товарищ капитан, разрешите мне ехать в теплушке вместе с бойцами,— попросил Артюхов.

— Почему? — удивился Лысенко.— Две недели трястись на нарах!

— Я никого не знаю в батарее. За дорогу хоть пригляжусь к ребятам.

— Хм! Пожалуй, вы правы.— И капитан почесал ладонью щетину на подбородке.

Подбородок у комбата, как и все его лицо, был коряв, словно пень, изъеденный червоточиной. Тогда, при первом взгляде на него, Артюхов испытал какое-то неудобство, стеснение, что ли: будто бы он, Артюхов, виновен в его уродстве. Но сейчас, оставшись с ним один на один, Василий поборол в себе это чувство и поглядел на Лысенко пристальней. Поглядел — и ничего! Оно хоть и коряво, не очень-то красиво — лицо комбата, но в нем было что-то симпатичное. Открытая улыбка, глаза хорошие: большие, с едва заметным лукавым прищуром.

— Пожалуй, вы правы,— повторил комбат.— Я и сам предпочел бы ехать с ребятами. Но командирам подразделений и начальникам служб приказано находиться при штабе. А вы — вольный казак. Пошли, я устрою вас.

На улице было сумеречно. Накрапывал дождь. Пока они возились в вагоне, эшелон, стоявший на первом пути, отправился, и на разъезде стало как-то пустынно. Открылась сопка, вернее, не вся сопка, а лишь голый, каменистый бок ее, нависавший над деревянным вокзальчиком. Самой

же сопки с покатыми лесистыми увалами уже нельзя было различить — она как бы слилась с небом.

Из-за сопки, с океана, ветер гнал облака. Над перевалом, у самой вершины, они клубились, дыбились. Но, миновав перевал, опускались до самой земли и тотчас же растекались туманом. Накатанные до блеска рельсы, брезентовые чехлы пушек и шинели на бойцах — все мигом темнело, покрылось как бы изморосью.

С крыш вагонов падали на землю крупные капли. Они ударяли по плечам, по лицу, и Артюхов, шагавший рядом с комбатом, поеживался и вздрагивал при их ударах.

В теплушке, где расположились батарейцы, уже светился огонек. Фонарь был подвешен к потолку, и тени бойцов, занятых устройством ночлега, виднелись в освещенном квадрате двери. Поднявшись в вагон, Лысенко, как и в первый раз, протянул руку Артюхову, но Василий сделал вид, что не видел протянутой руки, и взобрался сам, без помощи.

Бойцы где-то раздобыли тюк прессованной соломы и теперь растаскивали его, расстилая солому поверх жестких нар. Пахло чем-то очень мирным, добрым — хлебом, ригой,— чем пахнет лишь солома. И этот запах напомнил Артюхову раннее-раннее детство.

За их избой — не за новой, в которой жили теперь мать, отец, братья, а за старой дубовой избой, которую давным-давно разломали,— была широкая непаханая полоса — гумно. Полоса эта простиралась до середины огорода, где стояла рига. Возле риги — ток. Тут, на току, осенью, едва управившись с делами в поле, дед молотил рожь. Всю осень посреди гумна высился стог золотистой соломы. Малышом Василий любил вместе со своими друзьями-одногодками играть на гумне в «хоронючки». Они делали в слежавшемся стогу лазы, похожие на медвежьи берлоги. В них прятали брюкву и морковь, добытые во время набегов на соседские огороды.

Вспомнив это, Артюхов заулыбался: захотелось вместе с бойцами швырять охапки пахучей соломы на нары, взбивать ее и застилать байковыми одеялами.

В суете батарейцы не сразу заметили комбата. Увидев наконец капитана, кто-то из младших командиров подбежал к нему с докладом, но Лысенко отмахнулся: не до формальностей, мол.

Комбат представил бойцам Артюхова. Представляя, капитан предупредил, «щоб слухалы комвзвода, як мене». Артюхов заметил, что когда Лысенко говорил всерьез или что-либо приказывал, то никогда не употреблял украинизмов. Судя по всему, комбат давно в армии и порядком поотвык от родного языка. Но когда капитан был в хорошем настроении, тогда он балагурил по-своему, по-украински; потому каждый знал, что капитан сказал всерьез, а что — в шутку.

Так и теперь — пошутив, он тут же добавил вполне серьезно:

— И никаких мне фокусов! Слыхал, Тябликов?

— Старшина ушел за ужином,— ответил кто-то из ребят.

— А где Верхогляд?

— Тут!

С верхних нар свесились длинные ноги, и тотчас же перед капитаном, вытянувшись, встал долговязый сержант. Артюхов узнал его. Это был тот самый сержант, который первым откликнулся на его приказ, когда грузили пушки.

— Верхогляд,— капитан положил руку на плечо сержанта,— в дороге будешь у комвзвода за ординарца. Чтоб одна нога тут — другая там! Ясно?

— Ясно.

— Пойдем, принесешь лейтенантовы вещи.

Лысенко и Верхогляд ушли. Оставшись в вагоне, Артюхов огляделся. Слева и справа, в два яруса друг над другом,— нары. Посреди теплушки — «буржуйка»; рядом — грубый, сколоченный из неоструганных досок стол. У противоположной двери, которая была закрыта,— пирамида с карабинами.

Никто не обращал внимания на нового лейтенанта: все занимались своим делом, устраиваясь в дорогу. «Классные» места на нарах были уже захвачены, а может, распределены старшиной; и теперь каждый спешил поуютнее устроить свое ложе, на котором предстояло проваляться по меньшей мере недели две. Слышался стук коленей и каблуков по дощатым настилам, возня, шуршанье соломы. В этом шуме Артюхов не сразу расслышал, что кто-то зовет его с верхних нар:

— Товарищ лейтенант... лейтенант!

Артюхов поглядел наверх. В темноте не угадаешь сразу, кто там — не Малахов ли?

— Товарищ лейтенант, залезайте сюда. Устраивайтесь.

Сверху на него глядел незнакомый артиллерист. Лицо немолодое, широкоскулое; ватная куртка, какие носят обычно саперы и ездовые, застегнута на все пуговицы, серая шапка нахлобучена на самые глаза.

— Вот ваше место, товарищ лейтенант.— Он отодвинулся от стены, освобождая Артюхову угол.— Залезайте, располагайтесь.

Артюхов забрался наверх. Место, которое уступил ему батареец, было просто великолепное. Можно сказать — самое лучшее. Возле стены, у окна. Приподнялся, сел — и хоть весь день гляди на волю: на сутолоку станционных платформ, на тайгу, на облака. Правда, рама не открывается, но через стекло мир виден.

Артюхову стало совестно, что потеснил батарейца: он начал было отговариваться — мол, к чему стесняете себя и все такое. И об окне, конечно, что глядеть на мир можно.

— Я с самых пяти лет на паровозе с отцом ездил. Надоело глазеть.

— В таком случае спасибо!

Поддаваясь общему настроению, Василий тоже начал суетиться, устраиваясь. Хотя, собственно, что ему было устраиваться. Ни ранца у него, ни чемодана. Да и чемодан принесет Верхогляд, что в нем толку? Ни простынки, ни одеяла — одни книжки. Их под бок не постелешь. Что у него есть — все при нем. Артюхов снял шинель и бросил в угол: хоть место занять — и то хорошо. Бросив шинель, он начал взбивать солому и, взбивая, все норовил как можно побольше нагрести себе под бок. Захватит со стороны — и под себя. Полегоньку, чтоб сосед не заметил. Но тот заметил и, не желая смущать Артюхова, стал помогать ему.

— Берите, берите! — говорил он, сдвигая солому к окну.— Тут старшина поначалу пристроился, но потом решил перекочевать вниз. Не беспокойтесь, Тябликов понатаскал сюда с запасцем.

Василий готов был сквозь землю провалиться — из-за какого-то клочка соломы жмотом прослывешь.

Устраиваясь, Артюхов исподволь наблюдал за со

седом. Тому досталось совсем мало соломки. Как он ни пытался сгрести в изголовье, чтобы в головах было повыше, ничего не получалось. Тогда батареец, не долго думая, снял с себя шапку, положил поверх сторновки. Голова у него была здоровенная, широколобая, русые волосы курчавились. Артюхов насторожился: уж не сверхсрочник ли? Тем временем сосед снимал стеганку. Вытянул один рукав, другой... И первое, что увидел Артюхов,— это красную звездочку на рукаве. Он глядел на петлицы: три кубаря. Чувствуя, как краска стыда вдруг прилила к его лицу, Василий проговорил:

— А-а, политрук...

— Будем знакомы: Зотов.— Политрук протянул руку.

Поздоровавшись, Артюхов назвал себя.

— Я слыхал — комбат представлял,— пояснил Зотов.— Значит, вы вместо Кислицына. Та-ак. Кислицын был хороший командир. Но ничего не поделаешь! Еще Маркс по этому поводу говорил...— балагуря, политрук не спеша складывал ватник: рукав к рукаву, борт к борту. Сложил его вдвое, чтобы бокам было помягче, и, разглаживая ватник ладонью, добавил с улыбкой: — Шучу, шучу! Маркс по этому поводу ничего не говорил. Говорил наш комбат, капитан Лысенко: «Щоб Кислицына замениты, надо героем быты». На батарею парня выдвинули! Вот так-то. Ну, свили гнезда, а теперь вроде бы и пора подзаправиться на дорогу. Старшина. поди, волнуется, что ужин стынет.

Политрук спрыгнул с нар. Следом за ним спустился вниз и Артюхов. На столе стояло ведро с борщом и термос с кашей, но никто из батарейцев не спешил с ужином. Ребята толпились возле двери.

«Наверное, отправляемся»,— подумал Василий и, увидев возвышавшегося на целую голову Малахова, обрадованный, поспешил к нему. Впопыхах чуть не упал, споткнувшись о какой-то ящик. Глянул: тьфу, черт! Его же собственный чемодан. Знать, Верхогляд поставил тут, на самом ходу. Сунул его ногой под нары и, налетев сзади на Малахова, обнял за плечи.

— Отправляемся?

— Все! — обронил Малахов.— Потеснись-ка, корешок...— Он грубовато потеснил кого-то из бойцов, высвобождая место для Артюхова.

Василий прильнул к влажному березовому кругляку, загораживающему вход, и выглянул наружу.

На улице быстро темнело. Ни сопок, ни деревьев, ни крохотного вокзальчика, прижавшегося к скале,— ничего уже нельзя было различить. Лишь слева, где пыхтел паровоз, время от времени вспыхивали огненные отсветы, будто кто-то баловался там, чиркая без нужды спички. При каждой такой вспышке зеркально поблескивали рельсы соседнего пути, а падающие с крыши вагона капли прочеркивали светлые полосы.

Возле эшелона, на путях,— ни души. Никто не плакал у вагонов, никто не обнимал солдат, желая скорой победы. Только сполохи огней паровозной топки да какие-то неясные, глухие выкрики — там, в самом хвосте эшелона. Но вот и сполохи погасли; и в темноте — все громче и все отчетливее — голос дежурного: «Старший по вагону! Личный состав?» И не очень ясный ответ из вагона: «Все на местах». И опять: «Старший по вагону!»

С каждым окриком все ближе и ближе.

Наконец совсем рядом послышалось похрустывание песка под ногами.

— Батарейцы! Личный состав?

— Все на местах! — ответил Тябликов.

И снова все глуше шаги дежурного, все неразборчивее ответы. Еще минута-другая — и совсем стихло. Лишь где-то в дальнем тупке, где грузились на платформы орудия артполка, урчали тягачи, но вскоре и эти звуки замерли, погасли — знать, все пушки вкатили.

В наступившей тишине раздался грустный, сиплый гудок паровоза. Его раз-другой повторило эхо, звякнули буфера, вагон вздрогнул и тихо, нехотя покатился.

Покатился ровно, мягко; потом ударил на стыке рельсов: так-так. Ударил раз-другой, от минуты к минуте все четче, все чаще...

7

После ужина все быстро угомонились. Наломались, видно, за день на погрузке.

Артюхов тоже едва держался на ногах, но не спешил залезать на нары. Он да еще сержант Верхогляд: только двое их и не спали в вагоне. Верхогляд мыл и прибирал посуду, а Артюхов стоял возле двери. Василию не терпе-

лось взглянуть в последний раз на эти прекрасные, но в общем-то грустные для него места.

Недалече тут, перед Уссурийском, должен быть разъезд, где он работал на стройучастке. Отсюда, с железной дороги, должен быть виден тесовый барак, в котором помещалась контора. Там же, в комнатушке по соседству с конторой, жил Артюхов. В каморке было всего-навсего одно оконце. Оно находилось так низко от земли, что куст шиповника, росший перед ним, закрывал его наполовину, и в каморке — даже в самые ясные дни — стоял полумрак.

Василий не любил бывать здесь. Он приходил сюда, как в ночлежку, чтобы скоротать ночь. После работы деть себя было решительно некуда. Тайга вокруг — даже на строительной площадке порхали фазаны. Особенно тоскливо было длинными летними вечерами. Бойцы строительного батальона, производившие дорожные работы, слонялись без дела меж палаток, в которых они жили, или же танцевали под гармошку — рядом с тем же бараком. В стоптанных кирзовых сапогах, в гимнастерках с белыми разводами на плечах от выступившей соли бойцы стройбата танцевали друг с другом — так же, как носили камень и гравий на работе: медленно, нехотя, с отчужденным выражением на лице. Что ж, на всем стройучастке не было ни единой женщины: ни учетчицы, ни уборщицы!

На работе с носилками на пару — и тут.

Глаза бы не глядели.

Артюхов уходил на берег Суйфуна, куда не долетали звуки гармошки. Садился на вершине сопки, под одиноким кедром, и сидел до темноты, мечтая. Внизу, пенясь на перекатах, нес свои желтые воды Суйфун. Повторяя капризные изгибы реки, поблескивали на солнце рельсы железной дороги. А за Суйфуном, за широкой правобережной низменностью, заставленной стогами сена, высились сопки. Издали они походили на те же стога. Склоны их были так же покаты и приглажены, как бока стожков; и так же, как стога, сопки голубели днем, на солнце, и темнели в сумерках, когда за их спинами, на той, корейской, стороне, опускалось солнце.

Иногда внизу прогромыхивал поезд. Если шел он на восток, к морю, то это еще ничего. Если же на запад, то Василий долго-долго провожал его взглядом. Пока поезд не скроется за поворотом. Пока не рассеется, не погаснет перестук его колес.

И долго-долго не давала покоя щемящая тоска.

«Через десять дней этот поезд будет в Москве,— думал Артюхов, вслушиваясь в перестук колес.— А от Москвы до Орловки я и пешком бы дошел. Да что — от Москвы? Скажи теперь мне начальник стройучастка: «Так и так, мол, товарищ Артюхов. Мы в вас больше не нуждаемся. Можете брать расчет и идти на все четыре стороны» И я пошел бы. Даже если б денег ни копейки не дали на дорогу — пошел бы! Пешком, по шпалам».

В отчаянной тоске Василий начинал считать, за сколько дней, месяцев он проделал бы этот путь. «Если в час проходить по пять километров. Если каждый день топать по десять часов. Сколько же времени надо? За год, пожалуй, не дойдешь».

Теперь те далекие мечты казались Артюхову наивными и смешными. Год, проведенный им в армии, выбил из головы всю эту дурь. И все-таки воспоминания о днях, проведенных им на глухом таежном разъезде, были дороги.

Оттого-то и не спешил он на нары. Ему хотелось напоследок хоть мельком взглянуть на поселок, который строил, на тот одинокий кедр, под которым любил сиживать. Но поезд тащился медленно, то и дело останавливался, подолгу стоял на крохотных, неосвещенных полустанках. Знать, не хотелось ему выбираться на простор большой магистрали.

Давно уж наступила ночь — черная и сырая, какие бывают лишь в Приморье, а моста через Суйфун еще не видно.

Верхогляд помыл миски и, закурив, подошел и стал возле двери.

— Не спится, товарищ лейтенант?

— Да. А вы чего не ложитесь? — спросил Артюхов.

— Отоспаться еще успею.— Верхогляд вздохнул.— Поглядеть хоть напоследок. С родными местами прощаюсь.

— Вы что ж, местный?

— Да. Из Даубихе. Слыхали?

— Ну как же! — Артюхов прикурил от сержантовой папиросы.— А дома знают?

— Нет.

— Дали бы телеграмму.

— Да так, одно расстройство.

Ветер раздувал огонек папиросы, и лицо сержанта, обращенное в черноту ночи, изредка освещалось. Лицо это было красиво: чуть-чуть продолговатое, с гладкими, слегка запавшими щеками, оно поражало строгостью линий. Глаза не то голубые, не то рыжие; взгляд спокойный, внимательный. И не только лицо, но и внешность у сержанта была приметная: высокий, подобранный; Артюхов сразу же выделил его из числа батарейцев.

— Еще вчера мы не знали об отправке.— Верхогляд откусил и выплюнул изо рта разжеванный мундштук папиросы.— Подняли по тревоге — и на разъезд.

— Немцы прорвали нашу оборону под Можайском,— пояснил Артюхов.

— Да. Говорят, нас под Москву бросят.— Верхогляд помолчал и, как бы рассуждая сам с собой, через минуту-другую добавил: — Надо же: каких-нибудь четыре месяца воюем, а сколько потеряно! Раз нас решили бросить на запад, значит, плохо дело. Двое Верхоглядов уже там: отец и старший брат. Я буду третий. Так, глядишь, и ни одного мужика к концу войны в поселке не останется.

— Ну, ваш поселок большой.

— Я ведь не из самого Даубихе. Наше село километрах в сорока от города. На перевале.

— У вас любят повторять, что сто верст не расстояние.

— Это присказка такая. Что, мол, у нас на востоке сто верст не принято считать за расстояние. Когда в тайге зверя выслеживаешь, то, понятно, километры эти не считаешь. Но случись к председателю за лошадью пойти — в больницу или еще по какому делу,— так он тебе каждым вершком в глаза тычет. Скажет: «Нечего тебе, Варвара, делать, что ли? Потащишься ты в Манзовку Сеньку своего встречать. Жив будет — вернется».

Артюхов от природы был человеком необщительным. Но случаются, видимо, в жизни такие минуты, когда самые замкнутые люди ищут внимания и участия. Неизвестность, необычность обстановки, новизна — видимо, все это располагало к откровенной беседе, и Василий стал расспрашивать сержанта: давно ли их семья тут, в Приморье, чем заняты родители, то да се.

Верхогляд рассказывал. Корень их пошел тут, в Приморье, от деда. В начале века, когда еще не было железной дороги, дед перебрался сюда с женой и тремя сыновьями. Он приехал откуда-то из-под Воронежа.

Дед был наставником раскольнической секты: не то прыгунов, не то молокан. Их начали притеснять там, под Воронежем, и они решили всей небольшой общиной уйти в дальние земли и поселиться в глуши, среди тайги. По рассказам отца, ехали они сюда три лета. Зиму пережидали: нанимались к богатым сибирским мужикам молотить хлеб; подзаработав денег, покупали новых лошадей, обновляли одежду и утварь и, как только наступало тепло, двигались дальше. Забрались в самую глухомань. Срубили избы на берегу Даубихе и с тех пор живут — охотой, пчелами, лесом.

— И ты ходил в тайгу?

— С десяти лет,— сказал Верхогляд без всякой рисовки.— Мать не пускала — мал, в школу надо ходить, а отец — ничего, брал. Ему помощники нужны в тайге. Вот через месяц-другой наступит зазимье и начнутся сборы. Вьючат лошадей: мешки с мукой, тулупы, лыжи — и в тайгу. Сначала без нас, ребят. Одни охотники едут рубить зимники. Зимники ставят в самых глухих местах. В распадке или на берегу речки... Вам не приходилось бывать у нас, на Даубихе?

— Нет.

— Тогда вы не знаете, что такое настоящая уссурийская тайга. Разве тут тайга? Повырубили, загадили все. У нас иное дело. У нас просто сказка! А орехов, кедрача, винограда, дикой груши! Бери — не хочу. Теперь и в наших местах не то, конечно, что было десяток лет назад. Но все же раздолье.

Паровоз пофыркал-пофыркал и остановился. Не видно было ни станционных построек, ни семафора — все так же горбатились вдали черные сопки да однотонно гудели где-то рядом телеграфные провода. В желтом пятне света, падающего из двери, виднелась мокрая, пожухлая трава, росшая на откосе неглубокой выемки. Стучали по песку дождевые капли, падающие с крыши вагона.

— Видать, встречный,— проговорил Верхогляд.— Пойду-ка схожу к Ландышу. Погляжу, как там лошади. Задам корм на ночь.

Сержант взял из пирамиды карабин, закинул его за плечо и, пригнувшись, юркнул вниз, под перекладину.

— Смотрите не отстаньте от эшелона,— напомнил Артюхов.

— Ну что вы!

...Шорох песка под ногами глуше, глуше — и стихло все.

Только пофыркивал впереди паровоз.

* * *

Прогромыхал встречный.

Прогромыхал, высветил на миг фарами какую-то будку, пологий скат выемки, нагородил причудливых теней от теплушек — и снова ночь и тишина.

Прошло верных четверть часа.

Сержант не возвращался.

На землю лег туман; стало зябко и сыро. Артюхов прикрыл дверь, оставив самую малость, чтобы пролез Верхогляд, и потихоньку прошел к столу. Фонарь, висевший под самым потолком, был пригашен, в теплушке стоял полумрак. Все спали. Кто-то прерывисто похрапывал в углу нижних нар. Слева, у пирамиды, где облюбовал себе место старшина, слышалось какое-то торопливое бормотание. «Тябликов и во сне командует»,— подумал Артюхов. Василий взял с печки жестяной чайник, налил себе кипятку. Алюминиевая кружка быстро нагрелась; он обхватил ее ладонями и, присев к столу, стал пить кипяток маленькими глотками: сахара не было, он съел свой кусочек рафинада за ужином.

Печка давно прогорела; красноватые угли осели на колосники.

Возле «буржуйки», в ящике из-под снарядов, тускло поблескивал антрацит. Артюхов, не выпуская из рук кружки, перешел от стола к печке, присел на чурбак, раздобытый где-то старшиной, поковырял кочережкой угли и подбросил в «буржуйку» несколько кусков антрацита. Запахло серинстым дымком; уголь мало-помалу стал разгораться. Глядя на фиолетовые огоньки, пробивающиеся снизу, из-под углей, Артюхов задумался. Сначала он подумал о Верхогляде. Оказывается, сержант — местный. Вот оно что! За два года, что Василий прожил тут, на востоке, ему мало привелось встретить местных, коренных жителей. И курсанты в училище, и рабочие стройбата, и офицеры, с которыми ему до сих пор приходилось сталкиваться,— все это был народ приезжий; одни больше прожили здесь, другие меньше, но все они мечтали о том дне, когда представится возможность вернуться на родину, на запад. И теперь все ехали ближе

к дому, а Верхогляд расставался со своими родными местами. «Видно, нелегко ему,— думал Артюхов.— А ведь вот какой: виду не подает». Один ли он дальневосточник или еще кто есть? Наверняка есть и сибиряки и уральцы. Просто Василий их не знает. Он пока никого не знает — ни в батарее, ни в полку. И бойцы его не знают. Всю дорогу небось будут к нему приглядываться: деятелен ли он или ленив, строгий или только для острастки на них покрикивает?

Артюхов невольно стал перебирать в уме события этого первого дня — как он себя проявил? Василий подумал, что на погрузке он зря уступил старшине. Надо бы тогда одернуть Тябликова, чтоб бойцы почувствовали характер. Далее — более: сегодня ослушался старшина, а завтра, глядишь, и рядовой вздумает не выполнить твоего приказания. Он решил про себя, что отныне будет строже, требовательнее к подчиненным. И еще было одно упущение, которое не мог он себе простить. Жадности не мог себе простить, когда дергал солому из-под бока политрука. Нехорошо получилось. Небось политрук подумал: «Ну и ну! Ишь, молод, а захватист!» Хорошо, что оказался политрук. С ним можно объясниться; он поймет. А если б на его месте был боец? Тогда вообще хоть уходи из батареи.

Так, сидя возле «буржуйки», рассуждал сам с собой Артюхов. Пригрелся, ушел в свои думы и не заметил, как тронулся поезд. Василий не поверил своим ушам, услыхав стук колес. «Как — едем?! А Верхогляд где? Черт возьми, вот если отстанет! Скажут: ты отпустил. Отстал — это еще полбеды. А что, если умышленно? Если... сбежал? Сказал: пойду корм лошадям задать, а сам юрк в кусты, перевалил через сопку — и был таков. Дед был какой-то беспоповец. А может, и сам...» У Артюхова выступила на лбу испарина. Разом выскочило из головы то, из-за чего не ложился спать,— желание повидать знакомые места. «Надо разбудить старшину,— подумал он.— Разбудить и спросить: приказывал ли он Верхогляду, чтобы тот посмотрел за лошадьми?»

Василий отыскал среди спящих Тябликова. Старшина спал в углу, у самой стены. Байковое одеяло, которым он был укрыт, завернулось, и виднелись ноги, и на них чуть повыше щиколотки, болтались длинные бретельки солдатских подштанников. Ноги у старшины были не-

большие, а с этими тесемками, аккуратно завязанными в петельку, и вовсе казались детскими. Артюхов постоял, глядя на эти ноги, поджатые калачиком, и ему почему-то стало жаль будить старшину. Он надумал действовать через политрука. Начни он теперь укладываться, Зотов обязательно проснется. И тут Василий поделится своими подозрениями.

Артюхов снял сапоги, сунул под нижние нары, но так, чтоб носки слегка выступали, прикрыл их сверху портянками (Спесивцев приучил к аккуратности) и полез наверх.

Политрук лежал, распластавшись навзничь, и чуть слышно посапывал. Курносое лицо его во сне было очень серьезно.

Артюхов долго возился, снимая галифе и гимнастерку, потом стал расправлять шинель, чтоб прикрыться ею, толкнул, будто нечаянно, Зотова. Тот — ничего, хоть бы пошевелился! Видно, политрук тоже намаялся за день: из пушки пали — не разбудишь. Василий кашлянул, повздыхал и улегся, втиснувшись в ту крохотную, узенькую полоску, которую оставил для него политрук возле самой стены.

Как ни старался Артюхов подгрести под себя побольше соломки, все равно лежать на нарах было жестко. Доски — они и есть доски! А тут еще стук колес. Никогда он не думал, что даже наверху, под потолком, так отдается во всем теле каждый удар колес на стыках.

Долго-долго лежал Артюхов, прислушиваясь к этому стуку, ворочался с боку на бок, но заснуть не мог. Снова принимался он перебирать в уме все события дня: встречу с океаном, знакомство с Сарычевым, погрузку, стычку со старшиной. И о чем бы ни думал, мысли его непременно сходились на Верхогляде: а ну как если сержант того — удрал? И едва он начинал думать об этом, как ему уже и в стуке колес чудилось: сбе-жал, сбе-жал, сбе-жал...

Повалявшись, повздыхав час, а может, и больше, Василий встал, снова надел гимнастерку и брюки (ему казалось унизительным для себя предстать перед старшиной в нижнем белье) и, спустившись с нар, подошел к спящему Тябликову.

— Старшина!

— А-а. Что такое? — Тябликов вздрогнул и привстал — А-а, это вы, лейтенант! — Он глядел спокойно, будто не спал, а лежал так, притворившись.

Артюхов посчитал бестактным сразу же спрашивать о Верхогляде. Извинившись, он сказал, что ложится, а дневального по вагону нет. За печкой кому-то надо приглядывать, и вообще...

— Ну что ж.— Подобрав ноги под одеяло, старшина почесал спину, подумал, оглядывая нары: кого будить?.. и толкнул соседа.— Бутин, вставай.

Бутин чмокнул губами.

— Ну?

— Не ну, а вставай. Дневальным пойдешь. Через два часа разбудишь Максимова. Ясно?

— Нет на тебе креста, старшина,— в шутку сказал Бутин, поднимаясь.

— Я т-те покажу крест! — пригрозил ему Тябликов и, поправив шинелишку, добавил, обращаясь к Артюхову: — Спасибо за напоминанье, товарищ лейтенант.

— Старшина,— проговорил Артюхов.— Вы приказывали сержанту Верхогляду приглядеть за лошадьми?

— А что?

— Понимаете: ушел.

— Ну-у?!

— Он сказал, что будто вы приказали.

— Бутин, слышишь? Верхогляд сбежал.

— Брось! — отмахнулся Бутин, слезая с нар.

Бутин был маленький, тщедушный; редкие русые волосы отросли, и он не постриг их; они топорщились, как иглы на ежике. Лицо у него болезненное, широкоскулое, со следами оспин.

— Вон лейтенант докладывает.

— Было уже две остановки, а его нет и нет,— пояснил Артюхов.

Обуваясь, Бутин чиркал острыми своими глазками то на Артюхова, то на старшину. Или до него спросонья не доходило, или он догадывался о подвохе и ждал теперь, чем все это кончится.

Тябликов покачал головой и, не сдержавшись, рассмеялся:

— Ой, лейтенант, лейтенант! Ложились бы вы спать — Старшина еще раз почесал спину, фыркнул, усмехаясь подозрительности молодого лейтенанта: — Верхогляд — сбежал?! Ну и чудак вы, товарищ лейтенант!

Артюхов еще не успел залезть к себе и раздеться, как старшина уже мирно и беззаботно похрапывал.

8

Солнце слепило глаза.

Проснувшись, Артюхов с оторопи не мог сразу понять: откуда столько света?

Дверь теплушки была открыта настежь.

Бойцы умывались возле вагона. Слышался плеск льющейся воды, веселые возгласы.

Город? Большая станция?

Василий оделся, словно бы по тревоге, и готов был уже ринуться вниз, с нар, как вдруг прильнул к запыленному окну. Ему показалось, что когда-то он видел эти отоленные кроны тополей, и этот поселок, и сутолоку станционных путей. И едва он прильнул к окну, как чуть не вскрикнул от радости: ведь это Уссурийск! Боже мой, он проспал Уссурийск — город, с которым связана вся его жизнь тут, на востоке. Тут был их строительный трест. Тут он встречался со своими друзьями — однокашниками по техникуму во время совещаний; тут его призвали в армию.

Призывной пункт находился в школе. Было воскресенье. По обе стороны гулкого коридора — классы, наспех переоборудованные под врачебные кабинеты. Призывников стригли; потом, постриженные, изменившиеся до неузнаваемости, они ходили из кабинета в кабинет, и врачи, как барышники на ярмарках, выслушивали, выщупывали их, разглядывали зубы и ступни ног, выворачивали веки глаз, стучали молоточками по коленям... Вечером их команду выстроили на пыльном пятачке школьной спортплощадки и под музыку духовного оркестра Артюхова вместе с другими призывниками повели на вокзал. Проспать Уссурийск?! Нет, этого он не мог себе простить!

Артюхов спрыгнул с нар и выглянул из теплушки.

— Лейтенант, идите умываться! — позвал его Зотов.

Политрук стоял, окруженный бойцами; рукава гимнастерки засучены выше локтей; ворот нараспашку.

— Что ж вы меня не разбудили? — сказал Артюхов вместо приветствия.

— Спал больно сладко. На! Бери! — Политрук протянул ему мыльницу.— Верхогляд, полей-ка лейтенанту!

«А-а, и беглец тут!» — Василий встретился взглядом с сержантом, и ему стало не по себе за вчерашнее, оттого

что подумал о парне так нехорошо. Отбиваясь от ребят, тянувшихся с кружками к ведру с водой, сержант подошел к Артюхову, поставил ведро на песок, зачерпнул кружку и стал сливать на руки Василию. Намыливая руки, Артюхов поглядывал на Верхогляда: знает ли о его разговоре со старшиной или нет? Но сержант как ни в чем не бывало молча черпал кружкой воду и лил, а когда кто-либо из ребят намеревался украсть воды из ведерка, он переставлял ведро поближе к себе и бросал умоляюще:

— Друзья, оставьте хоть каплю Ландышу.

— Ничего, пусть берут. Сейчас умоемся и все отправимся поить лошадей,— сказал политрук.

Умывшись, Артюхов спросил у Зотова о новостях — что там, на западе? Политрук сказал, что еще не видел свежих газет.

— Ребята побегут сейчас поить лошадей, и вы отправляйтесь с ними за старшего,— добавил Зотов.— А я схожу в штаб. Может, раздобуду свежую газету. Почитаем потом.

На улице было ясно, но довольно свежо. Прыгнув из теплушки, как и все, в гимнастерке, Артюхов теперь поеживался и покряхтывал от холода. Пульман с лошадьми находился чуть ли не в самом хвосте эшелона, и, пока дошли, прохватило насквозь. Шагая вместе с бойцами вдоль эшелона, Василий все приглядывался, узнавая знакомые места.

«А-а, переходный мост сделали! И платформы заасфальтировали»,— отмечал он про себя.

Станционные пути были забиты эшелонами. Стояли углярки: порожние — в Сучан и груженные углем — из Сучана; платформы с лесом, с машинами, но больше всего было воинских эшелонов. Важно расхаживали штабные офицеры, бегали старшины с термосами и ведрами, и тут же, прячась за колесами углярок, сидели бойцы, справлявшие свою нужду.

Наблюдая за Артюховым со стороны, можно было подумать, что он давно уже в полку. Василий охотно отвечал на приветствие каждого бойца. Бежавшие навстречу, поравнявшись с Артюховым, приостанавливались; такое внимание нравилось ему. Оно говорило также о том, что в полку — порядок, почтение к командиру,— неважно, знают его бойцы или нет.

— Эй, Коток! Почему сел без карабина? — шумнул

Артюхов.— Отстанешь, в другой части тебе оружия не дадут.

— Не отстану, товарищ лейтенант! — застеснявшись, отвечал боец.— Я смотрю на светофор. Как зеленый дадут, я разом в вагон.

— Ну разве что так. Тогда можно и без карабина.

Лошади помещались в двух четырехосных пульманах.

— Наша мотомехтяга! — шутили ребята.

Бойцы разделились на две группы и стали носить воду из раздаточных колонок. Поили лошадей и в других эшелонах. У колонок выросли очереди. Громыхая ведрами, ребята бегали туда-сюда. Абдуллин и Бутин подхватывали ведра и исчезали в вагоне.

— Ахмед, ты поил Ландыша? — спросил Верхогляд.

— Мал-мал поил.

— Много сразу не давай.

— Говори мне! Моя лошадь знает.

Абдуллин — татарин, невысок ростом, крепок, кривоног. Когда он нагибается под березовый кругляк, чтобы принять ведро, то, согнутый, с этими кривыми ногами, очень походит на таганец, который ставит мать в загнетке, когда печет на сковороде блины. Так же как и таганец, Абдуллин низок, коряв и черен.

— Сейчас побачимо! — сказал Верхогляд, подражая комбату; сказал в шутку, так как они с Ахмедом были в одном звании.— Товарищ лейтенант, хотите, я познакомлю вас с Ландышем? — добавил сержант, поднимаясь в пульман.

Артюхову очень понравилось тут, в вагоне. Тепло и пахло доброй животиной. Оттого ли, что тут не было нар, вагон казался высоким и просторным; и еще чувствовалась во всем какая-то торжественность. Эта торжественность исходила от животных — чистых и выхоленных.

Лошади стояли по обе стороны от двери, отгороженные тесовыми щитами. Середина вагона оставалась свободной, если не считать бочки с запасом воды и разваленного тюка сена — очередной дачи корма.

— Ну что, Ландыш! Напоил тебя Ахмед или нет? — Верхогляд приласкал коренника.

Это был крупный жеребец серой масти. Широко раздвинутая грудь, тонкая красивая шея, широкий, угловатый круп — все в нем выдавало силу и характер. В ответ на ласку он шустро повел ушами, словно нож-

ногами: одним — вперед, другим — назад, как бы приветствуя этим сержанта.

— На! — Верхогляд достал из кармана кусочек сахару и, положив его на ладонь, подал Ландышу.

Ландыш подхватил губами сахар и постучал по гулкому полу копытом.

— Что, друг, застоялся? — Сержант погладил жеребца по холке.— Привыкай. Долго еще стоять

Абдуллин и Бутин, поставив ведра на борт, начали поить лошадей. Ожидая своей очереди, кони пристально наблюдали за тем, как пьют соседи, и у них было такое кроткое и выжидательное выражение в глазах, что Артюхову стало жаль их. Он тоже подхватил у кого-то из бойцов ведро и стал поить тех, что ожидали.

— Кончай водопой! Отправляемся! — крикнул, подбегая к вагону, Тябликов.

Крикнул — и был таков, даже в вагон не заглянул. Напуганные окриком ребята побросали ведра и побежали в теплушку.

— Паникеры! — ворчал Верхогляд.— Лошадей половина не поена. Сена в запас не принесли. Сорвались побежали.

Несколько ведер оказались с водой. Артюхов решил освободить их; он стал поить лошадей, а Верхогляд и Бутин отправились за сеном. Только Василий отставил ведра подальше от двери, чтобы они не мешались у входа,— глядь, а эшелон тронулся. «Вот незадача!» — подумал Артюхов. Он не боялся, что его посчитают отставшим, за ребят беспокоился: успеют ли добежать?

Он отставил ведра и выглянул из вагона.

Поезд только-только тронулся, и у многих теплушек еще шла обычная в таких случаях суета: кто-то садился на ходу, кто-то бежал, отыскивая свой вагон, и ему кричали и махали руками. Но суета эта продолжалась недолго. Минута-другая, и вот уж зашелестели, как сухая листва тополиная на ветру, углярки соседнего эшелона.

Вдруг Артюхов увидел Малахова. Он выскочил из-за эшелона, стоявшего на соседнем пути, и побежал, надеясь догнать свою теплушку. Он бежал без особого напряжения, широко размахивая руками. А в двух-трех метрах позади, едва успевая за ним, бежали девушки-медички — та, что их подвозила на двуколке, и ее подруга.

— Малахов, Иван! Давай сюда! — кричал ему Артюхов.

Но Малахов или не слышал, или не понял, откуда кричат: он продолжал бежать, поглядывая на проплывающие мимо вагоны. Он заметил тормозную площадку на платформе с пушками и, не долго думая, подхватил одну из медичек, втолкнул ее в тамбур. Пока возился с ней, та, другая, совсем отстала. У девушки не было сил бежать. Малахов пытался помочь ей, но она, отчаявшись, махнула рукой и пошла шагом. Видя такое, Малахов оставил медичку, а сам вскочил на тормозную площадку.

Артюхов встал на скобу-подножку и, держась одной рукой за березовый кругляк, наклонился вниз.

— Держись! — крикнул он девушке.

Напрягаясь из последних сил, она вновь приударила, побежала; и тут он подхватил ее и приподнял — сначала на подножку, а потом в вагон. Василий даже не знал толком, кто это: Паня или ее подруга? И только в вагоне, когда испуг прошел, он увидел, что это та самая, черненькая, которая перевезла их через ручей.

Паня едва переводила дух.

— А-а... Это вы, лейтенант! — сказала она, чуть-чуть отдышавшись.— Спасибо.

— Где ж вы были? Ведь объявляли, что отправляемся.

— Клавка все! Она работала тут, в Уссурийске. Ну и утянула. Пойдем да пойдем. Ей хотелось поглядеть.

— Выходит, чуть не проглядели.

— Вот если б отстала? Что б тогда было?

— На первый раз, может, и ничего. Теперь тут много наших эшелонов...— Артюхов хотел добавить, что, мол, отстанешь — подберут, но не договорил: кто-то сорвал «стоп-кран», поезд резко затормозил, и Василий по инерции полетел в угол. Едва удержался, чтоб не упасть.— Ну и тормознул! — Артюхов больно ударился боком об угол кормушки.

— Там что-то случилось! — Паня выглянула из вагона.— Какой-то ротозей чуть не угодил под колеса. Да это ваш Коток! Тябликов на ходу успел его подхватить! Прямо из-под колес!

Подергав, пошипев тормозами, поезд тронулся. Промелькнули выходные стрелки, и депо, и скучные станционные пакгаузы с жирными голубями на крышах. Вдоль

полотна побежала стежка. Пожилая женщина вела по этой стежке козу; коза упиралась, не хотела идти.

Так и не взглянул на город! Василий вздохнул и отошел от двери. Он взял ведро: надо было напоить лошадей, которым в спешке не досталось воды.

— У меня ноги свело. Настолько я испугалась.

— Ничего, привыкайте. Дорога дальняя. Всяко придется.

— Нет уж! Больше отставать не буду. А то Михалыч обидится.

— Это кто такой?

— Начальник наш. Командир санроты. Вы не знаете его? В очках такой, близорукий. На мишку косолапого похож. Мы его в шутку Михалычем и прозвали. Он никогда, чтоб строго, как по уставу положено. А все: «Девочки, девочки!..» А вы чего это делаете?

— Да вот не успели напоить лошадей.

— Давайте вместе!

— А сказали: «Ноги свело, боюсь, упаду».

— Прошло уже.

— Нет, вы лучше уж отдыхайте. Вон развалите тюк сена да присядьте. Попою сейчас вот этих, последних, да к вам, под бочок. Укроете шинелькой? А-а? А то выбежал в одной гимнастерке. Продрог.

— Ужасно не люблю нахальных! Я могу обидеться на вас.

— Не любите? А мне казалось, наоборот.

— Это вы судите по тому случаю, когда на повозке ехали?

— И когда ехали, и вообще: женщины больше любят нахальных.

— Значит, я не женщина. Вот ваш друг — он нахальный.

— Я пошутил, Паня. Берите сено и разносите по кормушкам. Вы когда-нибудь задавали корм?

— Кому?

— Ну хоть тем же лошадям?

— В детстве никогда близко не подходила. А в армии всему научилась.

— Значит, горожанка?

— Да. У меня отец был врачом.

— Почему: был?

— Да так! — Она подхватила охапку сена и, помес-

лив, добавила: — Все было — дружная семья, квартира. И в один миг ничего не стало.

Она замолкла, не договорив. Артюхов не стал расспрашивать. Он знал, что случаются всякие несчастья в семьях: мужчины оставляют женщин и наоборот.

И чтобы как-то сгладить заминку, вызванную ее молчанием, Василий стал рассказывать о себе: про Орловку, про техникум, про то, как построил в Урюпинске дом без входных дверей. Рассказывал он в шутливом тоне, а она хохотала и долго никак не могла успокоиться, даже сено из рук у нее повыпало, когда он стал показывать, как пришли штукатуры, ходят вокруг дома, а дверей найти не могут.

— У нас в медучилище был старичок латинист,— заговорила она.— Он ужасно любил слово «казус». Чуть что, опоздаешь на урок, он: «Ну, Зайцева, какой такой казус с вами случился?» Всякие казусы случаются, но дом построить без дверей?! Это надо уметь.

— Прораб ругается, а меня, помню, смех душит.— Пегая коняга, которую Василий поил, отдуваясь и фыркая, глотала воду; Ландыш — пятнистый красавец — через три или четыре головы поглядывал на Артюхова, и выражение у коренника было такое, будто Василий для него все это рассказывает.

Василий сказал Пане о своей догадке.

— А они все понимают,— подхватила она.— У нас в санроте ужасно мало ездовых — часто девчатам самим ездить приходится. Животные сразу понимают, у кого вожжи в руках. Меня, к счастью, слушаются. А иная — хоть в слезы: ни в какую! Она за правую вожжу тянет, а лошади идут себе влево, и вся недолга!

— Значит, характер у вас!

— Характер?! Ну что вы! Они доброту чуют.

Паня рассовала сено по кормушкам и подошла к разбитому тюку, чтобы захватить новую охапку. Покончив с водопоем, Артюхов решил помочь ей. Он тоже взял сена и шагнул к кормушке. Как-то само собой получилось, что, когда он подошел к кормушке и, нагнувшись за щит, стал трусить сено, его рука коснулась руки Пани и, словно школьник, озорничая, он взял ее ладонь и попридержал не выпуская. Паня не вздрогнула, не испугалась и даже не попыталась вырваться; она обернулась к нему, и на ее милом личике обозначились ямочки. А глаза — не

то наивные, не то уж слишком плутоватые — сразу и не понял Василий. Он выбросил из рук сено и попытался было обнять Паню, но она увернулась и, отодвинувшись, погрозила ему пальцем:

— Не смейте!

Ландыш фыркнул и поскреб копытом по полу.

— Вот видите, даже кони не одобряют ваш поступок.

— Ландыш-то?! А может, одобряет. Может, он хотел сказать: правильно, лейтенант!

— Лошадь так зовут — Ландыш?

— Да.

— Хорошая кличка.

— Ужасно хорошая!

— Почему вы так сказали: «ужасно»? Я часто произношу это слово, да?

— Я не думал передразнивать вас,— признался Артюхов,— слово само выскочило. Хотя Ландыш действительно очень похож на настоящий ландыш. Особенно вот эти серые полосы на передних ногах. Они как листья.

— А мне больше нравятся белые пятна вот тут, на груди. Только у настоящего ландыша они как колокольчики, а у него — крупные, грубее.

— Может быть, но все равно красиво.

— А вы любите ландыши? Цветы, конечно.

— Да как вам сказать! — Артюхов замялся: возле их села Орловки лесов совсем нет, а ландыш — цветок лесной, и Василий, право, мало их видел, настоящих-то ландышей.

— Я ужасно люблю! Они строгие и хорошо пахнут.

— Роза лучше.

— Ну что вы! Я вообще садовых цветов не люблю. Полевые — это да.

Разговаривая о всяких таких пустяках, они увлеклись и забыли все; забыли, что не всем лошадям задали корм, не думали также о том, что батарейцы могут подумать о них черт знает что. Волнение, которое охватило сначала Василия, когда они только-только очутились вдвоем, теперь прошло. Василий не то что успокоился — нет! Он по-прежнему горел весь и волновался, но это было совсем иное волнение. Никогда еще он не чувствовал себя так непринужденно, никогда ему не было так хорошо с девушкой.

— Паня! — Артюхов пристально поглядел на нее.—

А почему вы спросили тогда: не служил ли я в Хабаровске?
— Да так! — Она отвела свой взгляд.— Мне казалось...
— Что «казалось»?
— Медучилище я кончала тоже в Хабаровске.
— Да?! — воскликнул удивленно Артюхов.
Какая-то смутная догадка зародилась в его сознании: неужели девушка, которой он любовался тогда в городском саду, была Паня?

9

Дорожный быт наладился быстро. Уже на второй день пути появились и дежурный по эшелону, и караульные на тормозных площадках, и дневальные в каждой теплушке. Одним словом, все было так, как заведено в казармах. Даже команды к подъему и отбою. И завтрак был вовремя, и обед, и ужин.

Все как заведено.

Только с одной разницей: нечем было занять бойцов от подъема и до отбоя. Нет в эшелоне ни плаца, где маршировали, ни артиллерийского двора, где батарейцу всегда найдется дело: если не чистить пушки, так белить известью подставки; если не белить подставки, так надписывать таблички.

Здесь же, в эшелоне, бесхлопотно бойцам, скучно командирам. Позавтракают — и начнет их одолевать зевота. Один позевает-позевает — да и опять на боковую. А другой сядет с уголка нижних нар, поближе к полуприкрытой двери, и глядит себе весь день на волю.

Любил сиживать так и Артюхов.

Он не впервые проезжал по этой дороге, но на нарах ему не лежалось. Судьба не раз мотала его туда-сюда, из Уссурийска — в Хабаровск, из Хабаровска — в Уссурийск. Не одну ночь провел он тут без сна, обдумывая свое будущее. Среди этих ночей ему особенно памятна одна: когда его, остриженного наголо, везли в училище. Еще в Уссурийске, где они допоздна ожидали поезда, он узнал от ребят, куда везут их команду. Василий тогда очень переживал, что не на запад везут, а всего-навсего в Хабаровск. Узнает строительное начальство — и из училища отзовут. Уж очень осточертела ему строй-

ла. Когда учился в техникуме, мечтал о великом: стать зодчим, возводить дворцы, как те храмы, украшенные дорическими и коринфскими колоннами, простоявшие тысячелетия. Время было созвучно его мечтам. В журнале печатались многокрасочные картинки. На них изображались великие стройки эпохи. Самый большой в мире канал. Самый большой в мире вокзал. Самый большой в мире дворец.

Все было самое большое, самое великое!

Артюхов готов был созидать.

Но после окончания техникума он оказался на берегу Суйфуна, в тайге; сотни молодых людей, его ровесников, которыми он руководил, были заняты тем, что долбили камень, но не для возведения бессмертных колонн, а просто чтобы превратить его в бут. Потом булыжником устилали дорогу. Может, для тайги дороги и бараки были необходимее, чем мраморные колонны дворцов, но Артюхов не понимал этого. Труд его подчиненных, весь день долбивших на жаре камень, казался ему бессмысленным. И его труд — тоже. Вот почему он с радостью ожидал призыва в армию. Ему было все равно, в какие войска его зачислят,— лишь бы не возвращаться назад, в тот барак над Суйфуном.

Теперь он ехал этой дорогой в последний раз. Но даже сознание, что проезжает эти места в последний раз, не вызывало в нем грусти. Потому не вызывало, что не оставалось у него тут ни любимой, ни друзей. Все, что передумано, что выстрадано в одиночестве, он увозил с собой. Даже любимые книги взял.

Иногда воспоминания о прошлом сменялись тревогой за будущее. Прошлое казалось таким ничтожным перед тем, что ожидало его на фронте. Что такое он, Артюхов, с его житейским эгоизмом, с желанием подсунуть под свой бок побольше соломки, чтобы мягче спалось? Что значат все его мелкие невзгоды рядом с тем великим несчастьем, которое обрушилось на его народ?

Еще вчера он следил за войной по карте, висевшей над его столом в сабельном цехе. Война и теперь была еще за девять тысяч верст. Но Артюхов знал необратимость этого пути. Хотелось одного: не дрогнуть, устоять, и если уж суждено умереть, то без позора. В себе он был уверен — во всяком случае, ему так казалось,— но устоят ли ребята? Ведь им стрелять-то!

Артюхов не знал своих бойцов: кто из них дрогнет, а кто нет. И, сидя теперь возле двери, на краю нижних нар, он не столько глядел на сопки, на пожухлую отаву лугов, а скорее — незаметно, от нечего делать — наблюдал за бойцами, стараясь по их разговору, по манере держаться угадать главное: их повадку, их характеры.

Было время завтрака, все толпились возле стола. Артюхов не позаботился о себе — не оказалось у него никакой утвари, ни котелка, ни миски. Волей-неволей пришлось ждать, пока у кого-нибудь из ребят освободится посудина.

Максимов, сержант из взвода управления, узколицый, прыщеватый, в белом переднике, делавшем его похожим на повара, черпал большой деревянной ложкой из помятой коробки заплечного термоса гречневую кашу. Весь стол был уставлен котелками и мисками. Выпростав ложку из душистой, круто сваренной каши, Максимов стучал по краям посудины ложкой и бросал туда маргарин, который заранее был нарезан на клочке газеты мелкими кусочками. Поделив таким образом еду, он вытер руки о передник и бросил чуть слышно: «Разбирай!»

Сразу же к столу потянулось с десяток рук: бойцы забирали свои котелки, командиры — миски. Ребята доставали из-за голенищ сапог ложки и принимались за еду. При этом каждый вел себя по-особому. Заряжающий первого орудия Солод и телефонист Чихачев предпочитали есть на глазах у всех, за столом. Ездовой Сабиров и Коток относились к еде как к некоему таинству: подхватив котелки, они забирались в темный угол нар, оттуда доносилось вскоре довольное чмоканье губами да старательное постукивание ложки по алюминиевому котелку.

— Товарищ политрук! — Максимов бросил в миску два или три кусочка маргарина, помешал кашу ложкой, чтобы ребята не заметили этих лишних кусочков, и протянул посудину политруку.

— Ешьте, ешьте! Я потом,— отмахнулся Зотов; политрук сидел тут же, за столом, шуршал свежей газетой.

— Ну хорошо.— Максимов воровато огляделся и сунул миску старшине.

Тябликов принял посудину небрежно, как должное. Но без жадности, словно в посудине той была не еда, а бог весть что, ему совсем ненужное. Он взял, подбросил миску на три пальца и, подняв руку, как официант,

прослуживший не один десяток лет в каком-нибудь фешенебельном ресторане, пошел с нею к нарам; миска все время вертелась, как детский волчок, пока он шел. И когда Тябликов бросил ее на нары, она все еще кружилась, ползала, а сам старшина тем временем искал ложку сначала в своем ранце, потом зачем-то полез совсем в другой угол, куда только что юркнул Бутин. Пробыл там недолго. Когда он вылез, задорно крякнул и глянул в сторону политрука: заметит тот или нет? Нет, Зотов ничего не заметил — сидел с краю стола и читал газету. Тябликов взял миску, пристроился в уголке на нижних нарах и стал с аппетитом уплетать кашу вприкуску с хлебом.

— Ну ты чего, Ахмед! — Старшина подмигнул Абдуллину.

Сержант стоял возле стола, раздумывая. Котелок он взял не за дужку, а обхватил его с боков руками. Пальцы рук у Ахмеда были короткие, ладони напоминали медвежьи лапы; он и сам был мешковат, медлителен, но за этой внешней медлительностью угадывалась основательность всего: знаний, умения разбираться в людях и обстановке. На этого татарина, решил про себя Артюхов, в любом деле можно положиться. Этот снарядов зря тратить не станет. И весь его расчет небось такой же: все у них пригнано, понимают друг друга без лишних слов.

Василий доволен был командирами своих орудийных расчетов: и Верхоглядом, и Абдуллиным. Ребята хорошие, надежные. Особенно Ахмед, татарин, ему понравился: спокойный, аккуратный.

Только подумал так Артюхов — глядь, что такое? Оказалось, что и у Абдуллина, как и у старшины, запропастилась куда-то ложка. Ахмед поставил котелок на стол, покопался для виду в своем вещмешке, потом, улучив минуту,— юрк! — туда же, куда лазил и старшина, к Бутину.

Вылез оттуда, сел за стол и, пока ел, аж разрумянился!

«Что это они вдруг все растеряхи такие,— подумал Артюхов,— ни у кого нет с собой ложек?» Но спустя какое-то время он заметил, что даже и те, у кого и ложки на месте, засунуты за голенища сапог, и те все равно лазили искать их к Бутину. Только один Коток, кажется, не навестил Бутина. Коток вообще несколько сторонился своих товарищей. Ему и котелок достался последний. О

взял его жадно: видать, проголодался за ночь. Схватил и, обжигаясь, понес его к себе. Место, где он располагался, неудобное, у двери; забился Коток в угол и затих, как сурок.

Артюхов заметил, что Степана ребята как бы не замечали — особенно после того, что случилось утром. Ведь это из-за него, из-за Котка, останавливали в Уссурийске эшелон. Чуть не угодил под колеса.

Неожиданно за спиной у себя Артюхов услышал какое-то бормотанье. Прислушался: Коток. Чего он шепчет — трудно понять. Слышится только: «Господи! Господи!»

«Что за чертовщина?!» — Артюхов хотел повернуться, взглянуть, в шутку все это или всерьез, но тут к нему Верхогляд подошел, отвлек.

— Берите, товарищ лейтенант! — Сержант подал Василию свой котелок — чисто сработал Верхогляд, ни крупинки на стенках. Вылизал так, будто водой сполоснул.

Артюхов поднялся и с пустым котелком пошел к Максимову, за своей порцией каши. А Верхогляд примостился на нарах позади политрука и, заглядывая через его плечо в газету, спросил:

— Ну что там, товарищ политрук, слыхать про второй фронт?

Зотов сложил газету пополам, чтобы она не мешалась на столе, и ткнул пальцем, указывая на снимок:

— Второй фронт будет! Вопрос только времени.

Газета была старая, двухнедельной давности. Но сюда она только-только дошла. На первой полосе — большая фотография: подписание англо-советского коммюнике.

Верхогляд любил снимки, на которых всякие великие люди сняты. Он завел даже особую папочку, куда прятал вырезанные из газет портреты известных артистов, маршалов, снимки, изображающие парады на Красной площади.

Верхогляд еще не видел снимка лорда Бивербрука, хотя о его неожиданном визите в Москву и о нашем союзе с англичанами разговоров среди бойцов было много. Теперь он с любопытством разглядывал снимок.

— Сталина, значит, не было,— проговорил Верхогляд, и в голосе его прозвучало разочарование.

— При подписании Сталина не было,— сказал по-

литрук.— Но он давал в честь гостей обед. Так что за обедом они могли все обговорить.

— Вот бы на какой обед попасть! — сказал Ахмед, засовывая ложку в голенище сапога (отработался, значит).— Небось лорда-то этого не гречкой угощали?

— А может, и гречки той не было,— возразил Верхогляд.— Сейчас и в Москве не жирно с харчем-то. Приедем — увидишь.

— Лорд знал, куда ехал,— вступился Тябликов.— Англичане — они аккуратный народ. Небось с собой закуску привез. А водка, известно, наша: лучше русской горькой во всем мире нет.

Старшина вытирал миску хлебным мякишем.

— Не злословь, старшина. Грех! — сказал политрук, оторвав взгляд от газеты.— Разговор идет об очень важном для нас — о втором фронте. Дипломаты, конечно, ездят не с вещевыми мешками, как мы, грешные, а с портфелями. Важно, что́ в этом самом портфеле! А в портфеле лорда Бивербрука — союз с англичанами, а может, и с американцами. И смеяться над этим не надо.

— Старшина не смеется, а завидует,— сохраняя серьезность в лице, проговорил Ахмед.— Он о портфеле мечтает. Начбой с его сумками покоя не дает ему. Как суббота, так старшина во Владивосток, на барахолку. Портфель искать. Да так вот и не нашел подходящего.

— Ничего! Жив останусь, из Германии кожаный привезу.

— Может, Геббельс тебе свой откажет,— подал из угла голос Бутин.

— Ха-ха! — засмеялись ребята.

И пошло — ха-ха да хи-хи!

Даже те, что по темным углам попрятались, и те, не опростав мисок, из углов своих укромных на божий свет повылезли. Все придвинулись к столу, хохочут, и как-то все необычно оживлены и уж очень, очень веселы. Абдуллин даже потом покрылся, маленькие глазки блестят. Бутин то и дело оголяет мелкие зубки и все вытирает лицо рукавом гимнастерки.

Артюхов ест, а сам то на ребят, то на политрука поглядывает. Чего-то Василий никак не поймет. Политрук им про серьезные вещи говорит: про союз с англичанами, про то, что немцам, как в империалистическую, придется воевать на два фронта, а ребятам смешинка в рот

попала. На все у них один ответ — смеются, и вся недолга!

— Жди от Черчилля второго фронта! — сказал Абдуллин.— Черчилль — лис хитрый. В гражданскую не удалось ему придушить нас. И теперь, видишь, хвостом виляет.

— У него хвоста не осталось,— вступился Малахов.— Отрубили немцы под Дюнкерком.

И снова смех. Смотрел-смотрел Артюхов — и вдруг его осенило: а ведь ребята-то того, навеселе. Да не как-нибудь, а по хорошей мерке хватили! Но откуда они достали водки? И когда успели распить ее? И тут только понял Василий, зачем они лазили к Бутину, в темный угол нижних нар...

Зотов ничего не замечает. Уткнулся в газету — даже не видит миску с кашей, которую ему настойчиво подставляет Максимов:

— Ешьте, товарищ политрук! Остынет.

— Сейчас, сейчас. Вот дочитаю.— Заметив, что Артюхов с полуулыбкой наблюдает за ним, Зотов пожал плечами и добавил, как бы извиняясь: — Понимаете, я человек испорченный. Если утром не прочитаю газеты, весь день хожу больной. По-иному все предметы окрашены. Ей-богу.

— Конечно,— согласился Артюхов.— Но когда она свежая. А ведь эта вышла небось до прорыва немцев под Можайском. Теперь совсем иная обстановка.

— В смысле информации — да! Но газета дает не только информацию,— пояснил политрук.— Она дает установку. Вот прочитал и вижу, что установка на длительную войну.

— Для этого не надо читать газет,— мрачновато заметил Малахов: у него манера говорить негромко, напирая на «о».— Немцы под Москвой и на Украине. Их разом обратно с нашей земли не выбросишь.

— Вот в том-то и дело! — подхватил Зотов.— Ведь мы как воспитывали бойцов? Война на чужой территории и все такое. А теперь обстановка иная. Вот, читаю — статья... Ученым дано задание вывести зимостойкие сорта пшеницы для Сибири. Выходит, на Украину мы уже не рассчитываем.

— Ну и загнул политрук! — сам того не ожидая, со смехом выпалил Артюхов.

— Да вот почитайте.

— Нечего мне читать. Это какой-нибудь прохвост сочинил. Полсотни лет украинцы-переселенцы бились над этим. Чтоб озимую пшеницу выращивать в Сибири. А этот ученый в один год, что ли, обещает вывести!

— Время другое.— Политрук придвинул к себе миску, начал есть. Ел он машинально: бросал ложкой кашу в рот, а глаза блуждали по газете.

— Политрук,— пошутил Артюхов,— глядите в тарелку, а то ложку проглотите.

У Василия было хорошее настроение. В другое время он ни за что не позволил бы себе шутить над политруком в присутствии подчиненных, а тут из него просто лезло веселье наружу. И каша показалась вкусной, и день — солнечным, и люди — добрыми. Может, обманулся он, подумав, что ребята выпили? Может, сам он пьян? Отчего бы ему так весело? Неужели оттого, что где-то в соседней теплушке вместе с санротой ехала девушка, у которой такие теплые руки?..

Эта встреча, их разговор с Паней, пока они ехали какой-нибудь час в пульмане, не выходили у Артюхова из головы. «Неужели это она — та девушка, которую я хотел угостить мороженым?» Василий начал вспоминать ту чернявую, с ямочками на щеках, но встреча в парке была такой мимолетной, что ничего, кроме этих ямочек, он не помнил. «Ужасно»! — невольно повторил Василий ее любимое слово.— Все-таки в ней есть что-то привлекательное,— заключил он.— Не случайно она остановила меня, когда я грустный шел мимо их санбатовской теплушки. И смеялась она хорошо, когда рассказывал ей про дом без дверей. А я, между прочим, набитый дурень! «Розы... Мне нравятся розы». Да где ты их видел, эти розы?! Сам себе противен стал из-за хвастовства!» И тут же вспомнилось: «О, я люблю ландыши». Вспомнил ее слова — и так ясно представил себе весну, крохотный лесок, что в километрах в двух от Орловки. Бабы называли это место Дубками; все Дубки да Дубки, хотя дубов там и в помине не было — так, на горке березовая рощица. Весной, в солнечный день, она вся насквозь просвечивается, и тени пятнами, и тишина! Он давно не был в том лесочке. В детстве любил бегать туда с братом. Особенно помнится канун троицыного дня. Мать посылала их наломать березок к празднику. Березы в рощице были курчавые, но не высо-

кие. Он подымал брата; тот цеплялся за гибкую вершину и пригибал березку к земле. Они резали ветви с пахучими, чуть-чуть клейкими листочками, связывали и несли домой. Тропинка среди начавшей выходить в трубку ржи еще не просохла после недавнего дождичка; и сколь видно, до самого села идут по ней мужики и бабы, и у всех за плечами вязанки этих гибких побегов.

Наутро Орловка, обычно серая и скучная от соломенных крыш, вся сияет и лучится изумрудом молодой зелени. Березовыми ветками украшены наличники окон, двери мазанок, темные стены изб. Торжественно в церкви: пахучими ветками устлана паперть, гирляндами зелени увешан иконостас.

В лесочке было много цветов, особенно барашков. Выйдешь на поляну — травы не видать, одни лишь желтые козелики. Василий, как и все деревенские ребята, любил жевать их. Набьет ими карманы портков и, пока идет из лесу, достает; головку желтого цветка — долой, а сочный стебель — в рот. Вся тропинка от рощицы до села, бывало, усеяна головками этих самых козеликов. Так их много было в лесу. А вот росли ли там ландыши, Василий, право, не знал...

— Товарищ лейтенант! Поели? Давайте я помою котелок.

— А-а! — Василий встрепенулся от неожиданности. Он даже не сразу понял, чего хочет от него Верхогляд,— вот до чего крепко задумался.

10

Помыв котелок, Верхогляд вытащил из-под нар громоздкий фанерный ящик и водрузил его на стол. Ящик чем-то походил на этюдник, что носят художники,— такой же плоский и так же раскрывался на две половины, и с лямками, чтобы носить на плече. Водрузив ящик на стол, сержант открыл его, а в нем настоящая походная типография: краски, кисти, бумага, плакатные перья. И та самая папка с вырезками из газет, которые так любил сержант.

Верхогляд был редактором батарейного боевого листка, ребята в шутку прозвали его корреспондентом. Они с политруком задумали рассказывать бойцам о тех местах, которые проезжали. Политрук развил даже по этому

поводу свою теорию. Что, мол, рассказывая о городах, лежащих на их пути, газета будет еще раз напоминать солдатам: глядите — вот что мы едем защищать! Артюхову затея политрука не очень нравилась. Ему за рощица в Орловке, где весной цвели барашки, может, дороже всего на свете! Но Василий возражать не стал и согласился написать заметку о том, как он участвовал в первомайском параде в Хабаровске.

Разложив лист бумаги, Верхогляд малевал заголовок. Никто из ребят не мешал ему: одни писали заметки, другие чистили и протирали карабины.

Артюхов с затаенной улыбкой наблюдал за сержантом. «Доброе, милое время!» — подумал он. Когда приедем на фронт, решил почему-то Артюхов, то первое, что будет брошено,— так вот этот ящик. Останется он под нарами, забытый в суете. Хотя Верхогляд — парень цепкий, может, не оставит его, а сунет куда-нибудь в обоз или приторочит к зарядному ящику и будет возить с собой, но потом придет разъяснение, что боевые листки выпускать запрещено, так как они могут попасть к немцам. Однако Верхогляд даже и тогда не бросит коробку и будет хранить ее до тех пор, пока не угодит в зарядный ящик мина. В пути теплушка жила привычной, мирной жизнью, и Верхогляду не приходила на ум всякая чепуха вроде той, что придумывал Артюхов. Сержанта беспокоило лишь одно: у него не было картинок с видами Хабаровска. В папочке среди вырезок оказались только портреты. Портреты, конечно, хорошая вещь: они нужны и к Дню Армии, и к Дню печати, и ко всяким иным «дням», но никак не подходили к данному случаю.

— Я пороюсь в своем чемодане. Где-то у меня должны быть открытки с видами города,— сказал Артюхов.

Ему было жаль видеть погрустневшего из-за такой мелочи Верхогляда. Василий полез наверх, за чемоданом. Только он забрался на нары, к нему придвинулся Малахов.

— Ну как? — спросил шепотом.

— Что как?

— Брось притворяться! Я о Пане спрашиваю. Целый перегон один в вагоне... Ты ее хоть поцеловал?

Артюхов замер от неожиданности.

— Ты что!

— Да брось, друг. От кого скрываешь! Я же вижу: помечтаешь о ней все утро.— Малахов лег навзничь,

тянулся.— Мой тебе совет — не спеши. Она, знаешь, из тех, что любят разводить всякие философии. Это не баба. Тут я еще с одной медичкой познакомился — Клавочка. Сразу же рассказала, что была замужем — и все такое... Негде только пристроиться. Вот жизнь!

— Да уж, какая тут жизнь,— посочувствовал Артюхов, скрывая раздражение.

Малахов вздохнул; понял, что Василий не настроен говорить об этом.

Артюхов открыл чемодан. И только стал перебирать книжки, как впервые понял ясно, насколько он наивен. Наивен до глупости! Верхогляду могли и приказать, чтобы он пер с собой этот неуклюжий ящик с бумагами и карандашами. А он, Василий, сам набил свой чемодан невесть чем. Куда он везет книги, тетради с записями, письма друзей? Ведь под первой же бомбежкой все это полетит в тартарары. Однако и выбрасывать почему-то было жаль, и Василий снова и снова перекладывал «Записки охотника», «Витязя в тигровой шкуре» и другие книги, тряс и листал их, отыскивая, в какую из них он сунул открытки с видом Хабаровска. Наконец нашел. Открытки были фотографические, довольно примитивно выполненные; он купил их, будучи курсантом, в первое свое увольнение в город; их было штук десять — целый набор. Но тогда же часть из них он разослал друзьям: младшему брату, учившемуся в Ногинске, Косте Набокову — товарищу по техникуму, служившему в Забайкалье, еще кому-то — теперь и не вспомнишь. Несколько открыток все же осталось. Причем Василий оставил себе самые памятные: сквер на улице Пушкина, площадь над Амуром, где всего лишь шесть месяцев назад, в ночь под Первое мая, стояли они, курсанты, в ожидании парада.

Эту открытку Василий и отдал теперь Верхогляду.

— Отлично! — воскликнул сержант и принялся водить по листу карандашом.— Так!.. Тут будет статья комбата. Тут — историческая справка политрука. Внизу — кому что снится. Вам, товарищ лейтенант, остается вот этот уголок. Тридцать строк — не больше. Пишите!

Тридцать строк?! Не очень-то щедр Верхогляд. Нелегко в тридцатистрочной заметке рассказать о тридцати днях изнурительной строевой муштровки, которая предшествовала параду.

Начальник училища, майор Слесивцев, муштры не

[illegible] проводимый в армии после финской кампании, майор понимал по-своему. Он любил марш-броски, причем непременно с полной боевой выкладкой. Погода ли, ночь ли, зной на улице или лютый мороз — при броске майор всегда впереди. Он поблажек себе не давал: ни себе, ни другим.

Марш-броски была первая любовь майора. Вторая любовь его — оружие. Бывало, обратится ли кто в его присутствии без разрешения к командиру батареи, собьется ли курсант на смотру — это ничего. Но не дай бог, если он обнаружит грязь в стволе винтовки или орудия: всей батарее прикажет чистить и драить до семи потов.

И еще: любил майор копать землю. Сам любил и у курсантов такую привычку воспитывал. Всякие учения начинались с подготовки огневой позиции. На один ли день, на час ли установили орудие, а только и знай — копай землю: и окоп защитный рой, и бруствер насыпай. Не то нагрянет майор, будет взбучка — на всю жизнь запомнишь!

На разборе учений только и слышишь: «Солдат должен любить землю. Никто в бою не спасет и не прикроет ни мать родная, ни командир. Т-только земля — его единственная защитница».

Майор в душе не любил парадов. Но что поделаешь? Не он их придумал. С тех пор как существуют войска, с тех пор бытуют и парады. Надо же когда-то себя показать, чтоб враги знали и видели нашу силу!

Правда, курсанты, отобранные для участия в параде, под началом самого майора маршировали немного. Занятия на плацу проводились только по вечерам. Но вот начались репетиции сводной колонны. Сводной колонной командовал генерал, инспектор пехоты. Тут уж и майор наравне со всеми топал впереди.

Генерал был подлинный поэт шагистики. Сухопарый, подобранный, как петушок, с подоткнутыми за ремень полами шинели, он появлялся то по одну, то по другую сторону колонны и без устали повторял, отбивая ритм взмахом руки: «Р-р-раз-два, левой! Р-раз-два... Выше ногу!» И так с утра и до вечера. То побатальонно, без музыки, то всей сводной колонной, под духовной оркестр. К вечеру оркестранты устанут, надорвут глотки, дуя; устанут командиры; одеревенеют ноги у бойцов. Каза-

лось, ничего уже более нельзя выколотить из солдат. Глянет Артюхов: локоть к локтю, штык к штыку, будто не дюжина их в той самой шеренге, а один-единственный — так четко и слаженно все топают.

А генерал-инспектор все недоволен, все знай свое: «Выше ногу!» И чуть слышно: «Увальни». Выведенный из себя, генерал останавливает колонну. Остановив, указывает на трех-четырех бойцов: «А ну, пойдите сюда!» Те выходят из строя. Генерал командует им: «На руку!» Не дай бог хоть одному из них замешкаться, нечетко сделать прием. До тех пор будут выставлять винтовку вперед и приставлять обратно к ноге, пока сам генерал не устанет подавать команду. Наконец: «Шагом марш!» Пошли... Сводная колонна развернута фронтом, и перед фронтом, чеканя шаг, идут эти четверо. Можно представить себе, как стараются ребята. Земля дрожит под ними! Асфальт под каблуками плавится! Ноги они подбрасывают так высоко, что носками чуть ли не касаются дула винтовок.

А генералу все мало. Семенит он рядом с ними — то сбоку на их шаг поглядит, то наперед забежит — и все: «Р-раз-два, левой! Р-раз-два, левой!», и все: «Выше ногу!»

Остановив колонну, злой, недовольный, генерал подбегает к бойцам. Он подолгу разглядывает каждого, стараясь по выражению их лиц определить — ленивы они или просто плохо воспитаны?

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать, товарищ генерал.

— А вам?

— Одногодки.

— Девятнадцать! — патетически восклицает генерал.— Подумать только. Да я в ваши годы на пятый этаж взбегал одним махом! А вы боитесь приподнять ногу на четверть от земли! Вы... вы...— Он не мог продолжать, задыхался. Не от быстрой ходьбы, не от шести своих десятков лет задыхался генерал, а от беспомощности своей, от бессилия вдохновить бойцов на такую ходьбу, которая бы достигала вершин его представления о парадном марше.

И тогда генерал решался на крайнюю меру.

— Вот как надо ходить! — говорил он, и если полы шинели не были у него подоткнуты под ремень, то он

…дыкал их, а если с утра было грязно на шоссе и он заранее их приподнял, то тут же кивал капельмейстеру: — Начали!

Оркестр начинал играть его любимый марш — «Скорый № 6».

При первых же звуках марша генерал вздрагивал и, вытянувшись в струнку, замирал: голова повернута к строю, руки накрепко прижаты к бедрам. Но стоял он так, на изготовку, лишь какой-то единый миг; и вдруг, с первым ударом барабана, словно подхваченный вихрем, пошел и пошел, чеканя шаг.

Он был красив в эту минуту, просто неподражаем — генерал-инспектор. Туловище держал прямо. Ноги выбрасывал на уровень пояса. Казалось, не сам он шел, а какая-то невидимая пружина подбрасывала его хромовые сапожки, только и слышалось: чек, чек, чек... И если бы не эти четкие удары подошв по асфальту, можно было бы подумать, что генерал не шел, а парил, подобно птице, по воздуху — настолько легкими и плавными казались его движения.

Зрелище было величаво и красиво — только непродолжительно очень. Генерал проходил каких-нибудь метров двадцать — двадцать пять. Остановившись, он повертывался к строю. Обветренное, в глубоких морщинах лицо его было одухотворено.

— Ф-фу-ух! — Генерал снимал картуз с высоким красным околышем, и его шишковатая, чисто выбритая голова — белая в отличие от обветренного лица — покрывалась крупными каплями пота, и от нее шел пар, словно от утюга, на который брызнули воду.

Достав из кармана носовой платок, генерал вытирал пот с лысины. Платок темнел на глазах, становился мокрым, хоть бери и отжимай.

— Вот как надо ходить! — ронял генерал, обращаясь к оцепеневшим от восторга бойцам.

Надо ли удивляться тому, что на параде курсанты прошли хорошо. Все части сводной колонны, вымуштрованные генералом, прошли хорошо. По-другому и быть не могло. Все это знали — от командиров частей до самого рядового участника парада,— и все-таки все волновались. Особенно запомнились часы, которые они провели на площади в ожидании начала парада.

...Их привели на площадь задолго до рассвета. Тут уже стояли полки Краснореченской пехотной дивизии. Курсанты заняли свое место в сводной колонне — впереди пехоты. Батальон командного состава гарнизона, открывавший парад, пришел много позднее, а все остальные части: парашютисты, артиллеристы, танковый полк и курсанты — стояли с ночи.

С Амура дул пронизывающий ветер. Лед на реке еще не прошел, и сверху, с крутого берега, виднелись льдины; они неясно белели в черной амурской воде и скрывались вдали, под железнодорожным мостом.

Форма парадной одежды — летняя, и, хотя на Артюхове, как и на каждом участнике парада, было надето теплое белье, все равно через час стояния на юру он продрог насквозь. Ничто не спасало от холода: ни курево, ни толкотня, ни приторно-сладкое какао, которое разносили повара.

— Чем этой баландой поить, лучше поднесли бы «наркомовский паек»,— шутили ребята.

Все с нетерпением ожидали солнца. Только солнце могло обогреть эту многотысячную толпу, заполнившую площадь. Но солнце, как назло, не спешило. Оно подымалось лениво, нехотя, будто ему не под силу одолеть толщу мрачноватых облаков. Мало-помалу, часам к восьми, просветлело. Просветлело, но солнце еще не показалось — только ходили по всему небу оранжевые сполохи, как при северном сиянии.

— Смотрите, какой чудный восход! — сказал Артюхов.

Однако никто из ребят не разделял его восторга. Пожалуй, наоборот: и восход их не веселил. Анатолий Бойко, сосед Артюхова по шеренге, глянув на небо, сплюнул и выругался чуть слышно.

— Война на носу,— заговорил он ворчливо,— а мы целый месяц баклуши бьем. Лучше б дали хоть раз пальнуть боевым. Хоть послушать, как свистит настоящий снаряд. А генерал-инженер этот знай свое: «Раз-два, левой!»

«Как же я был наивен!» — думал теперь Артюхов, вспоминая тот разговор.

Василий сидел на верхних нарах и, положив на колени чемодан, сочинял на тетрадном листке заметку для Верхогляда.

Вспомнив разговор на параде, Артюхов ясно представил себе Бойко — чернобрового, смуглолицего парня. Вообще-то Артюхову выхоленный полковничий сынок не очень нравился. Но Анатолий был начитан, хорошо играл в шахматы, и они часто встречались за шахматной доской.

— Ты думаешь, что Гитлер осмелится напасть на нас? — спросил у него тогда Артюхов.

— Ну и чудак же ты, Василий! — отвечал ему Бойко.— Гитлер захватил всю Европу. Неужели он на этом успокоится? Еще до стычки в Югославии можно было предположить, что Гитлер захочет сначала разделаться с Англией. Но после того как он нас турнул из Югославии, каждому ясно, к чему дело идет*.

— Да, немец силен.

К их разговору начали прислушиваться, и вскоре вокруг них собралось десятка два курсантов; каждый стал высказывать свои предположения: будет война или нет? Одни поддерживали Артюхова, что, мол, Гитлер не осмелится напасть на нас, силы нашей побоится, другие брали сторону Анатолия, полагая, что нам не миновать драки с немцем. Однако и те и другие сходились на том, что Гитлер еще не готов к войне с нами, что годик-другой передыха у нас еще есть.

В споре и про холод даже позабыли, и про голод, и про осторожность. Начали кричать, перебивать друг друга, доказывая свое.

— Разговорчики! — крикнул старшина.

Оказалось, что уже прибыл генерал-инспектор и команда «Смирно!» уже была, да они в споре не слышали. Генерал был при полном параде — начищенный, наглаженный. В сопровождении командиров частей и подразделений он в последний раз осматривал своих питомцев.

И с того самого мгновения, как объявился генерал, и до конца торжественного марша не было уже ни минуты покоя. Их куда-то водили, перестраивая колонну всякий раз по-новому. Стало совсем тепло. Василий думал, что это от беготни по площади, но потом огляделся и увидел, что день-то, оказывается, солнечный. Улицы, спускаю-

* В конце марта 1941 года в Югославии вспыхнуло восстание против вступления страны в «тройственный пакт». Советский Союз заключил с новым правительством Югославии договор о дружбе и ненападении. Сразу же после подписания этого договора Гитлер напал на Югославию и немецкие войска оккупировали страну.

щиеся вдоль сопок к Амуру, заполнены демонстрантами. Играли гармошки, кто-то плясал, подбадриваемый женскими выкриками и хлопками ладоней.

И, глядя на эту веселую, по-праздничному разряженную толпу, разогретый солнцем и ходьбой, Артюхов тоже поддался праздничному настроению. Словно и не было спора с Бойко. Он орал во все горло, встречая командующего. Старый, прославленный еще в гражданскую войну генерал, непривычно и неуклюже сидя в седле, объезжал выстроенные на площади войска. Рядом с ним на вороном с белыми бабками коне — генерал-инспектор, маленький и цепкий, как галчонок. Они останавливались перед каждым подразделением; командующий здоровался, поздравлял воинов с праздником. В ответ над Амуром неслось громкое «ур-ра!».

Потом фанфаристы заиграли «Слушайте все!», и Артюхов, стоя перед трибуной, слушал речь командующего. Командующий говорил о нашей силе, о том, что наша армия готова сокрушить любого врага. Враг, понятно, не назывался. Здесь, на востоке, японцы после Халхин-Гола будто угомонились. Всего лишь две недели назад был подписан с ними договор о нейтралитете. Японцы не назывались, а до немцев далековато, и командующему ничего не оставалось, как говорить об успехах новой тактики. Основу ее составлял курс на индивидуальное мастерство.

Артюхов, слушая командующего, ждал лишь минуты, когда бы он мог показать всем свою силу и окрепшее в нем индивидуальное мастерство. При первых же словах команды: «Побатальонно!.. Равнение на линейных!» — он замер, чувствуя себя частицей той грозной силы, которой страшится враг.

И вот наконец марш.

Артюхов не шел, а летел на крыльях. Напряжение было столь велико, что он толком ничего не видел вокруг себя. Он видел лишь, как при ударе ногой по асфальту вздрагивал и клонился вниз кончик штыка винтовки — его и соседа по шеренге, Анатолия Бойко. Даже трибуны он не видел и очень удивился, услыхав команду: «На плечо!» Напряжение разом спало. Но переставлять ноги было почему-то очень тяжело. Еще когда спускались вниз, с улицы Карла Маркса,— ничего, а стали подыматься в гору — ну одеревенели ноги, не идут.

Но тут откуда-то появился оркестр — их, училищный. Оркестр заиграл, все вдруг подтянулись, выровняли строй — и усталости как не бывало. И вот уже в первых рядах кто-то запел любимую «Партизанскую»:

По долинам и по взгорьям..

Все подхватили песню. Бойко свистел в такт; штыки поблескивали на солнце; льдины плыли по Амуру; жаворонки трепыхали и пели в небе.

Мир был полон света, радости, счастья.

11

Вокзал в Хабаровске высоко, среди сопок; даже если выйдешь на привокзальную площадь, то и тогда не увидишь ни Амура, ни центральных улиц. Увидишь деревянные дома, заборы, выкрашенные охрой, дальние сопки за Красной речкой, и вот, пожалуй, все. И хотя Артюхов уверен был, что не встретит никого и не увидит ничего нового, ему все ж хотелось сбегать на привокзальную площадь, глянуть в последний раз на город.

В Приморье было тепло, а тут, в Хабаровске,— хмуро, ветрено, сопки припорошены снегом.

Василий загодя надел шинель и, ожидая остановки, топтался возле двери. Низкорослые лесные полосы, шедшие вдоль полотна, совсем уж оголились, и сквозь их ветви виднелись дома и заводские трубы. Город лежал на холмах — свободно, разбросанно: места много, порядку мало.

Как только поезд остановился, Артюхов выпрыгнул из вагона и побежал. Побежал, в общем-то, сам не зная куда. Эшелон их опять, как и в Уссурийске, загнали на крайние пути, поближе к водораздаточным колонкам, даже к переходному мосту не подтянули.

Бойцы повысыпали из теплушек. Лениво потягивались, курили, осматриваясь. Город не город — клеточки огородов вдоль откоса сопки, деревянные домишки. Расталкивая зевак, Артюхов добрался до переходного моста; взбегая наверх по ступенькам, приглядывался: сменился паровоз или нет? Паровоз еще не сменился — значит, четверть часа у него в запасе есть. Василий взбежал на эстакаду и тут на узеньком дощатом помосте, содрогав-

шемся от множества сновавших туда и сюда людей, он увидел Паню. Она стояла, облокотившись о перильца, и глядела в ту сторону, где был город. Отсюда, с высоты, виднелась излучина Амура, и голые деревья городского парка, и какая-то улица, петлявшая с одного холма на другой.

Артюхов узнал Паню сразу, но не окликнул ее, а подбежал и, полуобняв, сказал радостно:

— Здравствуйте!

Она не испугалась, не вскрикнула даже и даже ничуть не удивилась, словно ждала его. Когда она обернулась, в глазах ее Артюхов заметил растерянность, которая тотчас же при взгляде на него растаяла, исчезла.

— А-а, это вы, лейтенант?! Здравствуйте!

— Вы чего здесь? — любуясь ею, спросил Артюхов.

— Смотрю вот. Прощаюсь.

— Извините, я позабыл, что вы здесь учились.

— Сначала работала. А потом училась в медицинском училище.

— И любили, конечно?

Улыбка вдруг погасла на ее милом, округлом личике; Паня отвернулась — туда, к перильцам,— и сказала глухо:

— И любила.

Артюхов не сразу нашелся что сказать.

— Давайте сбегаем на вокзал,— предложил он.— Поглядим напоследок. Я ведь тоже люблю этот город. Учился здесь в артучилище.— Он взял ее за руку.

— Я уже раз бегала. Больше не хочу.

— Но паровоз еще не сменился. Бежим!

— Уже отцепили...

Отсюда, сверху, все пути были видны, как морщинки на ладони. У самого вокзала стояло два или три пассажирских поезда, и по платформам сновал народ. Потом — эшелон углярок, цистерны с нефтью, и уж совсем внизу, под ними,— воинские, с солдатами. От их эшелона и вправду отходил паровоз.

— Но все равно, пока сменится, пройдет минут десять. Бежим, а? — Он потянул ее за руку.— Я куплю вам чего-нибудь этакого, вкусного. Чего вы хотите?

Паня высвободила свою руку и, поправив выбившиеся из-под шапки косички, снова поглядела на него — пристально-пристально; и в глазах ее, и в затаенной улыбке

Василий уловил не то озорство, не то дорогое для н… воспоминание.

— Купите мороженого,— сказала она чуть слышно и, не сдержавшись, рассмеялась.

— А что — и мороженого достать могу!

И он рванулся было, хотел бежать, но Паня удержала его.

— Я шучу! — сказала она.— Какое теперь мороженое? В такой-то холод. К тому же — война. Конфеты с… вые и те выдают по карточкам. Постоим лучше, поглядим на город.

Доводы Пани показались Артюхову резонными. Он прислонился к перилам и, обняв Паню, повернул ее лицом к городу. Они постояли минуту-другую молча, глядя на город, на дальние сопки, протянувшиеся горбатой грядой вдоль берега Уссури, и каждый из них думал о своем.

Над Красной речкой, над Уссури взлетел гидросамолет и, сделав круг над городом, скрылся за Волочаевской сопкой.

— Летают еще. Значит, Амур не стал.

— Да,— кивнула Паня.

Сменный паровоз уже подошел к их составу, но батарейцы еще носили воду лошадям. Значит, предупреждения об отправке пока что не было.

— Ну, прощай, Хабаровск! — Паня вздохнула и добавила с грустью: — Жили ужасно суетно, ели вприглядь, а как вспомнишь теперь — счастливое время было. Беззаботное.

— Да. И мы в училище жили дружно. С подъема до отбоя — суета. А сколько книг прочитать успел! Жаль только, что так коротко оказалось это время.

— Общежитие у нас было на Пушкинской,— вспоминая, рассказывала Паня.— Бывало, в апреле начнет пригревать солнышко, и уж не сидится в комнате, хочется на простор, к Амуру. Пойдешь в горсад и бродишь весь день. Мы и к экзаменам там готовились! Сядем на скамеечку, читаем вслух конспекты. А ребята ходят мимо, подзадоривают. Знаете ведь, сколько всегда вашего брата там, в горсаду? Морячки, солдаты с Красной речки, курсанты.

Артюхов слушал ее рассеянно: не любил он этих городских парков и садов.

— Вы небось тоже как увольнение, так в горсад?

— Был как-то раза два.

— Да?! — И она снова поглядела на него с милой, затаенной улыбкой, которую он сразу же определил по ямочкам на щеках.

Механик проверял тормоза: один свисток — прижал тормозные колодки, два — оттормозил.

— Пойдемте! — Василий взял ее под руку.— Сейчас отправляемся.

Они сошли вниз. Теплушка, в которой ехали девушки саироты, была у самой лестницы эстакады. Дверь вагона приоткрыта чуть-чуть: девчата берегли тепло. Артюхов откатил дверь пошире и помог Пане взобраться в теплушку. И когда она поднялась и встала, положив руки на перекладину, Василий, не зная, что сказать ей на прощанье, снова полушутливо пожалел, что не удалось угостить ее мороженым.

— Может, я ошибаюсь,— сказала Паня.— Но мне кажется, что вы меня уже раз угощали.

— Я?

— И причем с таким же успехом.— Она положила подбородок на ладони и улыбалась, видя его растерянность и смущение.

— Когда? Я не помню.

— Не помните? Да?! Ну, понятно. Меня так изменила эта форма. Где ж вам узнать! А я узнала вас. Вы почти не изменились.

— Бросьте разыгрывать.

— Нет, серьезно. Вспомните: где вы были в то воскресенье, когда началась война?

— В то воскресенье?

— Да.

Вагоны лязгнули буферами. Василий не слышал даже сигнала об отправлении.

— Бегите! Потом! — крикнула Паня.

Значит, девушка, которой он любовался тогда, в парке,— все-таки она, Паня?

Артюхов никак не мог совместить в единое эти два образа. Настолько та, юная, в простеньком платьице, не походила на теперешнюю Паню — в грубой суконной шинели, кирзачах, в шапке-ушанке, из-под которой торчат коротенькие, такие милые косички, связанные бантиком из марли.

«Неужели? А?» — Василий еще и еще раз перебирал

в памяти тот день и ту их встречу, но, сколько ни старался, не мог теперь вспомнить ни единой черточки той Пани. Он помнил только то ощущение радости, которое он тогда испытывал, любуясь ею. Может, это потом он придумал, но ему почему-то казалось, что от нее, от той девушки, исходил какой-то внутренний свет, именно поэтому и день казался таким ярким и солнечным.

Потом по гарнизону объявили тревогу, и вместе с воем сирен разом повыскакивало из головы все-все, но это ощущение чего-то радостного, светлого осталось, и Василий возвращался к нему не раз.

Поезд давно уже тронулся, а он все стоял возле двери, не в силах думать о чем-либо другом.

Колеса стучали на стыках, и давно уже скрылся из виду город, а Василий все смотрел и смотрел в окно. И лишь когда с ходу проехали Волочаевку, он вдруг ощутил усталость во всем теле и лег, вытянувшись, на нарах. Он лег и, заложив руки под голову, лежал так, может, час, а может, и более. На нарах было пусто. Политрук ушел зачем-то в штаб; Тябликов, а с ним и вся его сторона играли за столом в домино; не было и Малахова: целуется где-нибудь с Клавкой — везучий вятский бочарник! Когда Василий бежал сюда, в теплушку, он видел их мельком. Они сидели на подножке санитарной машины.

Артюхов лежал один, и ему было очень тоскливо. Так тоскливо, как случалось только в детстве, когда из дому надолго уходила мать и он ждал ее, стоя у окна: жужжали мухи, ползая по стеклу, слышалось с проулка, как ревет корова, вернувшаяся из стада, гасли тени от ракит и сараев. А он все стоял, всматриваясь в тропинку, ведущую от соседнего дома к их избе,— когда же наконец придет мать?

И, лежа на нарах, он думал сразу обо всем: и о матери, от которой давно не было писем, и о детстве, и о Пане. Может, и она сейчас думает о нем? Может, она нарочно сказала: «И любила!..»? Чтоб подзадорить его?

И уже не терпелось. Хотелось снова видеть ее, слышать ее голос.

«А я узнала вас. Вы почти не изменились».

12

Где-то около Таптугар дорога долго петляла берегом бурного Амазара. Железнодорожная насыпь то вплотную подступала к самой воде, то уходила в сторону, отдаляясь, и тогда река, широкая вблизи, сужи-валась: она, словно щучья спина, блестела и лоснилась на солнце, едва видимая из-за черных ольховых кустов. Амазар еще не сковали морозы, но в заводях, где поглуб-же, уже появились закрайки. Припушенные снегом, они радовали глаз своей белизной.

За Амазаром — на том берегу — громоздились скалы. У подножия их сизоватыми гривами косматился хвойный лес. Но чем выше, тем заметнее лес редел, и в самое под-небесье глядели островерхие громады.

Немного будто проехали, а все уже совсем иное, чем в Приморье. На побережье океана еще тепло, и росно, и туманы по утрам. А тут уже зима.

Там сопки округлы и всегда полуприкрыты дымкой; тут горы нагромождены с такой бессмысленностью, что понять чередование леса и голых скал невозможно. Вер-шины голы и остры, и жмутся у их подножия жалкие ощипанные березки, как убогие старухи на паперти храма...

Сидят солдаты на нарах и по одну и по другую сторону, глядят в полуоткрытую дверь теплушки и думают.

И первая дума их о том, что ждет каждого впереди — там, на западе?

Час-другой стучат без останову колеса — и все одно и то же: черная лента реки, голые скалы, крохотный кусо-чек серого, зимнего неба. Ни придорожной будки, ни деревеньки, ни захудалого станционного поселка. Пустын-но, безлюдно вокруг. И непонятно было: кто сложил в штабеля шпалы на обочине пути? Чьими руками понаде-ланы оградки, такие аккуратные и трогательные? Они тянулись вдоль полотна, исчезая лишь в выемках, когда дорога врезалась в скалы. Но как только поезд выскакивал из выемки, так его тут же встречали черные, припушенные снегом жердины, словно бы небрежно брошенные в рас-кос скрещенных столбов.

Помнится, сюда, на восток, Артюхов ехал в разгар лета. Березы и пихты были тогда зелены, и все цвело, и вдоль придорожных насыпей и кюветов красовался

иван-чая. Стеблистые побеги его с обильными фиолетовыми метелками цветов закрывали все, и эти полуистлевшие жердочки тоже.

Теперь, в зазимье, было пустынно вокруг: поникла трава, придавленная осенними дождями и первой порошей, березы и лиственницы чернели голыми ветвями, как застрехи после пожара, а от буйных кустов иван-чая не осталось и помину.

Видимо, поэтому, а скорее всего оттого, что тревога за свою судьбу обостряла восприятие, все виделось поиному: четче, зримее. Все хотелось вспомнить, осмыслить, понять.

И эти поникшие к земле жердочки тоже вдруг привлекли его внимание.

Загородки эти напоминали Артюхову родную Орловку. Вот так же наспех брошенными жердочками огораживали в старину поскотины, что начинались сразу же за околицей села. А тут, в Забайкалье, понаделали загородок из жердей вдоль всего полотна.

Вдоль полотна и вокруг клуней.

Да еще вокруг погостов...

Эти грустные, полузабытые погосты почему-то особенно притягивали к себе взгляд Артюхова.

Смотрит Василий: опушка леса, одиноко стоит корявая красноствольная сосна. Красота! Вот на такой бы полянке — утром, в июле, с косой. Наверно, травостой тут хорош. Но только приглядится он повнимательней — ан какой там травостой! — все те же жердочки на жиденьких кольях вокруг черных покосившихся крестов.

«Откуда эти могилы, если нет вблизи ни села, ни станции? — думал Артюхов.— Видимо, откуда-то издалека, из-за сопок приносят сюда хоронить, поближе к людям, к большой дороге?»

...Вот она, человеческая жизнь! Жили, работали, городили заборчики — и все. Нет их — одни кресты. Но и в могиле, знать, человеку страшно одиночество, оттого не хочет он лежать где-то в тайге, в глуши, куда никто не заглядывает. Тут, у дороги, все как-то веселее. Поезда — день и ночь; хоть пассажир какой из окна вагона на холмик взглянет. Взглянет, вздохнет с сочувствием, о своей жизни подумает...

К тому же по путям, особенно летом, ходят ремонтники, связисты, осмотрщики. Может, кто-нибудь из них

завернет на погост, посидит на могильном холмике, прочтет по складам имя, выведенное на листке жести, а там, глядишь, срубит растущую поблизости березу и жердочки, сгнившие в заборе, что вокруг могилы, сменит, положит новые.

И следом тихо подкралась мысль: а где суждено быть твоей могиле? Но мысль эта возникла у Артюхова лишь на какой-то единый миг. «Что за чепуха! — сказал он тут же себе: — Что это я? Молод — еще поживу! Еще повоюю! И потом: не все ли равно, где лежать?»

И едва подумал об этом, вспомнилось:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Где он, этот «милый предел»? Кладбище в родной деревне, заросшее бузиной и вязами?

Как это далеко!

— У нас в Башкирии тоже вот такие погосты.— Бутин, сидевший рядом с Артюховым, кивнул на дверь.

— У нас в Татарии тоже...— сказал Абдуллин.

— А где они в России, хорошие кладбища? — вступился сидевший напротив Максимов.— Разве что в больших городах?

— В Тиме, что ль, твоем? — спросил серьезно Тябликов; старшина сидел за столом, писал рапортичку.

— А что — в Тиме?! И в Тиме знаешь, в старину какие памятники ставили! Особенно купцам и протодьяконам.

— Ну, попам-то и теперь ставят не хуже, чем при царе-кесаре,— проговорил, как всегда с затаенной иронией, Верхогляд.— У нас на все Приморье, может, и остался-то один поп. Так разве паства пожалеет ему денег на камень? Это для нас, простых смертных, и железяк вот этих не наготовишься.— Он вынул из кармана медальон, подбросил его на ладони раз-другой и спрятал.

И только увидел Артюхов жестяной патрончик в руках Верхогляда, так сразу же понял: вот откуда эти мысли, и эти разговоры, и эти бросающиеся в глаза кресты.

Вчера вечером — Василий не помнит, где стояли, то ли в Талдане, то ли в Сковороднне,— Тябликов принес медальоны. Артюхов до этого не подозревал даже, что в солдатском снаряжении по интендантскому ведомству

положено иметь таковой. И ребята, видимо, знали про то понаслышке. И вот когда старшина в Талдане или в Сковородине ввалился в теплушку с газетным кульком, полным медальонов, то ребята подняли его на смех:

— Старшина, угости пряничком!

— Гостинцев для взвода связи раздобыл.

— Родную батарею не забудь!

— Ха-ха!

Тябликов, однако, был сдержан и будто бы даже расстроен. Не отвечая на шутки ребят, он сдернул с плеча планшетку с документами и копиями рапортичек, бросил планшетку в угол нар, снял шапку и вытряхнул в нее содержимое кулька. Посыпались, звеня, блестящие латунные коробочки — не то бабьи наперстки, не то стреляные гильзы.

— Так и есть — пудреницы! — рассмеялся Коток.

— Дурак! — оборвал его старшина.— Зараз медали от похоронной команды. Тащи-ка вот.

Ребята разом притихли.

— Ну, тяни! Чего глазеешь?!

Коток робко заглянул в шапку, как воробей в скворечню.

— Вон Верхогляд пусть.

— Да раздай всем, старшина! — отмахнулся Верхогляд.

— Нет, тащите сами. А то будете потом клепать на старшину, что, мол, Тябликов виноват — подсунул мету несчастливую.

— Хитрый, как лис, старшина! — сказал Бутин.— Первым и тянул бы.

— Что ж, первым — так первым! — Тябликов сунул руку внутрь шапки, достал медальон, подбросил на ладони.— Мне цыганка счастье нагадала. С войны приду — женюсь... Вот эту штучку на память сыну подарю.

— Мой дед Порфирий в таких случаях говорил: «Не кажи «гоп!», пока не перепрыгнул!» — заметил, как бы между прочим, Верхогляд.

— Это тот Порфирий, что тележного скрипа боялся? — съязвил старшина.

— Мой дед на скрипучей телеге всю Россию проехал — аж от Воронежа и до Сучана. А ты — «боялся»! Это твой дед, знать, струсил: застрял на Байкале.— Верхогляд шутливо толкнул старшину в бок и тут же выхватил из

шапки сразу три или четыре стаканчика.— Я заполню на своих,— добавил он.— Расчет мне доверяет.

— Тябликовский дед оттого в Иркутске застрял, что побоялся сесть в омулевую бочку,— пошутил Абдуллин.

— Мой дед на телеге не ехал,— Тябликов протянул шапку Ахмеду.— Его по этапу в Сибирь гнали. Так-то! Бери.

Абдуллин почесал здоровенной пятерней затылок; округлое, грубовато-обветренное лицо его будто вытянулось, стало бледным. Выждав секунду, он засунул руку в шапку и не спеша, позванивая пистонами, стал шарить там, выбирая. Сержант был верен себе: действовал не суетясь, с расчетом.

— О аллах! — покачал головой Верхогляд, наблюдая за Абдуллиным.— Ахмед, ты корову, что ль, выбираешь?

— Коров что? Хуже коров. Хочу как старшина, чтоб мой сын тоже память имел,— проговорил Абдуллин, продолжая позванивать медальонами.

Наконец Ахмед решился, выбрал. У медальона оказался помятым бок и крышечка плохо закрывалась.

— Возьми другой,— сказал Тябликов.— Проникнет влага — надпись не разберут.

— Зачем другой? — Ахмед, судя по всему, был суеверен.— Этот больно хорош: приметный.

Взял и Артюхов себе медальон. Взял, открыл, заглянул внутрь. Утроба пистона была узка, и донышка совсем не видать. И это крохотное отверстие с чернотою на месте дна — все равно как могила. Василий содрогнулся даже; он представил на миг... Вот лежит он где-то на мерзлой земле... Убитый... Чьи-то чужие руки, пошарив, найдут этот наперсток и, открыв крышку, прочтут адрес его родителей. «Хотя нет! — решил он тут же.— Медальоны эти собирают и доставляют в штаб. А там уж...»

— Остался один! Кто еще не взял? — спросил Тябликов.

— Комбату давал? — напомнил политрук.

— С него начал.

— Это мой...— робко отозвался Максимов.

— Тебе что, особое приглашение надо?

— У меня есть.

— Вот ловкач! Где раздобыл?

— Мать подарила.

— А ну — покажи!

Максимов растерянно поморгал белесыми ресницами и, видя, что старшина не шутит, расстегнул ворот гимнастерки. Пошарив рукой, он выпростал из-под нательного белья плоский медальон, висевший на тонкой цепочке.

— Вот...

Тябликов наклонился, положил талисман на ладонь, повертел так и этак, разглядывая.

— Гм! — произнес он удивленно.— Штучка ничего себе! Парижской работы.

— Там прядь волос матери,— как бы оправдываясь, пояснил Максимов.

— Нельзя. Не по форме! — оборвал его Тябликов.— Носить, конечно, можно, но эту железку все равно возьми. На листке напишите фамилию и адрес родителей,— пояснил старшина.— Ясно? Ни номера части чтоб... ни даты никакой. И зашить в кармашек для часов.

— А если нет родителей?

— Это у кого нет родителей?

— У меня, товарищ старшина,— сказал Бутин.

— Он прямо от Евы...— пошутил Верхогляд.

Ребята посмеялись насчет Евы и разошлись по темным углам. Писать адреса.

— Писать только чернилами или химическим карандашом,— предупредил старшина — Ясно?

— Ясно-о!

Одному лишь Бутину было неясно. Он стоял растерянный и подавленный.

— Ну, напиши адрес бабушки! — помягчел Тябликов.

— И бабушки нет.

Политрук подошел к Бутину, положил руку на его плечо.

— Пиши адрес моего батьки: Курган, Трудовая, 24. Зотову Якову Тимофеевичу.

«Да-а! Вот так — мотаешься, мотаешься по белому свету и не угадаешь, где он, этот «предел»,— вдруг подумал Артюхов, зашивая медальон.— Деды и прадеды небось знали: в Орловке родился, час придет — в Орловке и помрешь. Родное село было для них тем «пределом», которым ограничивалась вся их жизнь. А в наш-то век занесет тебя куда-нибудь судьба — и жердочки на могиле некому будет сгородить...»

Василий ехал туда, где жизнь могла оборваться в любую минуту, и «милым пределом», может, станет ему

какой-нибудь полуобвалившийся окоп или заснеженная опушка леса.

«А-а, какая разница! — подумал Артюхов.— Что, разве лучше лежать под боком у деда, на орловском-то кладбище?»

Даже вот таких жердочек не было вокруг их сельского погоста. Был в старину вал — при дедах, когда они знали, что им тут лежать; но внуки их на все махнули рукой — куда-никуда, лишь бы сбежать из Орловки! Дедовский вал обвалился, сровнялся с землей; все лето по погосту, обгладывая молодые побеги ракит, бродят коровы и козы.

Нет! Лежать так уж лежать! Не дураки были русские богатыри. Они заказывали, чтобы их хоронили в приметном месте: на развилке больших дорог или под одиноким царь-дубом. И никаких там дощечек с фамилиями, ни портретиков в рамках под стеклом — естество, природа.

Артюхову и подавно ничего не надо. Потому что не совершил он в жизни ничего такого, за что его должны бы чтить потомки. Даже девушку ни разу не поцеловал толком!

Василий вспомнил шахтерку, вспомнил Паню и поморщился с досады. Может, еще и оттого тоскливо, что уже второй день не мог повидать ее. Правда, дорога пошла скучная: больших станций и городов нет; прут их без остановку, по тысяче километров в сутки. Но паровозы-то все же меняют! Могла бы выйти хоть на минуту? Значит, нет у нее желания встречаться.

Утром сегодня — менялась паровозная бригада в Амазаре — Артюхов не утерпел и раза три прошел мимо санинструкторской теплушки. Девушки толпились возле двери, бегали на станцию за кипятком, но Паня даже не показалась. «Дежурит по кухне? Заболела?» — с беспокойством подумал Артюхов и не удержался, подошел к вагону.

Клавка, ее подруга, мыла посуду после завтрака. Увидев Артюхова, подошла к двери.

— Лейтенант, вы Паню Зайцеву выглядываете? Она теперь в зеленом фургоне едет.

И улыбнулась как-то нехорошо: не то с завистью, не то с намеком.

«Уж не там ли она едет, где видел однажды Клавку с Малаховым?» — мелькнуло у Василия и, пока шел к

[illegible] в окошке, все поглядывал на зеленые санитарные автобусы, стоявшие на платформах. На платформах расхаживали часовые, а окна санитарных машин были задернуты шторами.

«Теперь до Читы не увидимся», — Артюхов вздохнул.

— Что, товарищ лейтенант, грустно? — спросил Бутин участливо.

— Да.

— Когда вам грустно, вы что вспоминаете?

— Когда как,— сказал он.

— Ну а чаще всего?

— Чаще всего вспоминаю мать.

Теперь вздохнул Бутин.

— Я тоже часто думаю о матери,— заговорил он.— Думаю: неужели она меня сама бросила? Или у нее слишком много детей было? — Бутин помолчал и, видя, что Артюхов участливо слушает его, продолжал: — Восьми месяцев не было, когда меня подобрали. Двадцать первый год. Голод. В Белебее, на вокзале... Каменщики клали какую-то пристройку. Пришли утром, а я лежу на куче бута, из которого фундамент делают.

— Понимаю,— Василий кивнул головой.

— Пеленки грязные. Мухи. Ору, понятно... Принесли в детприемник. Чей? Откуда? Рабочие говорят: «Нашли в куче бута». Ну, в буте так в буте! Так и записали: Бутин.— Боец улыбнулся.— Это мне тетя Катя рассказывала. Нянечка была у нас в детдоме. Русская, а нас, башкир, любила, как своих детей. Стригла меня всегда сама, парикмахеру не доверяла. Привечала, одним словом. «Миша,— говорила она часто,— если б я была помоложе, взяла бы тебя к себе. А то старая, и у самой семеро ртов».

— Хорошая женщина,— сказал Артюхов.

— Женщины все хорошие,— уточнил Бутин.— Ведь мать почему меня бросила — так я себя успокаиваю,— сама доходила небось с голоду. Думала: умру, и он умрет. А так хоть люди подберут, отправят в детприемник. Государство же не даст помереть ребенку, выкормит.

— Ты бы адрес тети Кати и вписал вчера в медальон,— посоветовал Василий.

— Она умерла прошлый год.

— Да-а,— протянул Артюхов.

Они помолчали.

Черная лента Амазара все так же петляла у подножия сопок. И все так же, покачиваясь и приседая, бежали мимо жердочки, покоящиеся на скрещенных, приникших к земле столбах.

13

Зотов сидел за столом и, ссутулившись, рассматривал учебные таблицы. Таблицы были на картоне, красочные. На них нарисовано разное немецкое вооружение: танки, самолеты, полевые орудия. Красными стрелами указаны наиболее уязвимые места — куда надо целиться при стрельбе.

Там, на востоке, они изучали самурайскую технику. Теперь надо было в срочном порядке переучиваться. Комбат приносил картонки и, развесив их вдоль всех верхних нар, занимался часа два с ребятами.

Политрук штудировал их особо старательно. Будто именно ему предстояло поражать те места в танках и самолетах, которые указаны красными стрелами.

— Ладно, отдохни, Николай Яковлевич,— сказал Артюхов, подсаживаясь к Зотову. (Они как-то сразу сдружились и чуть ли не с первого дня были на «ты».) — Целый час наблюдаю — сидишь, изучаешь.

— Надо. Мы и так слишком мало знаем их технику.

— Узнаешь, коль приспичит.

— И то верно.

— Давай закурим.

— Махорки?

— Да хоть и махорки!

Завернули самокрутки, задымили.

— Слушай, Николай,— заговорил Артюхов после второй или третьей затяжки.— Все к тебе лезут со своими бедами на исповедь. Ну и я. Можно?

— Пожалуйста, и без этих бабушкиных вступлений! — Зотов отложил в сторону таблицы и помахал рукой, разгоняя от лица дым, чтобы лучше видеть Василия.

— Так вот...— начал тихо Артюхов и смущенно оглянулся: не подслушивает ли их разговор кто-либо из ребят.— Да. Слушай, Николай: если меня, случаем, убьет, то прошу по-дружески, похорони отдельно, не в братской могиле.

Да ты что, Василий?! — Зотов отпрянул даже.— Ты в своем ли уме?

— Да так! — Артюхов вдруг пожалел, что заговорил об этом. Решил обернуть все в шутку.— Вся жизнь прожита в тесноте да суете. Детство знаешь как в деревне,— тут тебе и ребята, тут и ягнята. С братом на полатях спали. Вот как эти нары — только поближе к потолку. Повернуться нельзя. Поехал учиться в город — двадцать коек стояло в нашей комнате, в общежитии. Ну, в армии — сам знаешь: койка над койкой, в два яруса. Вся батарея друг к другу впритирочку. Да еще там, в преисподней, лежать в тесноте! Нет уж... Лучше под березой где-нибудь одному!

— Так. Единоличник, значит! — Зотов прихлопнул ладонью картонки и заулыбался.

А ребята уже обратили внимание на их разговор: притихли, прислушиваясь.

— Чудак ты, Артюхов. Да я еще на свадьбе твоей погуляю! Отвоюемся, а после победы поедем ко мне в Курган. Сестренка у меня — ну, скажу тебе, ты таких еще не видал!

— Курносая, как и вы, политрук? — спросил Тябликов, отрываясь от «строевки», которую он сочинял.

— Курносая,— сказал Зотов и расправил морщины.— Но за тебя, старшина, не отдам.

— Это почему же?

— Зуб у тебя золотой.

— Пока жива сапрота, Тябликов и с золотым зубом не пропадет,— заметил Ахмед.

— Не говори! — Верхогляд, шуровавший в печке, огляделся и, отыскав взглядом Малахова, сказал с ехидцей: — Там конкурент появился.

— Это обо мне! Я вне конкуренции! — отозвался Малахов. Он сидел в трусах, свесив длинные ноги с верхних нар: брюки лежали на коленях — зашивал медальон. Спокойным видом своим и громоздкой фигурой Малахов как бы лишний раз подтверждал, что конкурировать с ним нелегко.

Ребята посмеялись — больше над Тябликовым.

— Не на одной Клавочке свет клином сошелся,— обронил старшина.

Все посмеялись — даже молчаливый Коток и тот улыбнулся. Сабиров вытер рукавом мокрые от завистли-

вых слез щеки, а Солод, довольный, притопнул сапогом.

Тябликов хоть и сдерживался, однако смех этот, как заметил Артюхов, был ему неприятен.

— Поедем мимо Байкала — там у меня на каждой станции по милочке.— Старшина прочертил карандашом графы поперек листа, поглядел, ровно ли, и добавил: — И не надо, товарищ политрук, вашей курносой сестренки! А то: «отвоюемся»! Да кто из нас после войны жив останется, на долю того баб хватит. Я обратно поеду, на каждой станции буду выходить и...

— Это все так, товарищ старшина. Только одно плохо: немногие из нас поедут обратно.— Верхогляд захлопнул дверцу «буржуйки», подсел к столу.— Всю Европу надо пройти. Дорог много. И хоть, говорят, дороги там хорошие, но все равно споткнуться можно.

— Еще и на своих многие споткнутся,— заметил Артюхов.

— И на своих... Так что далеко не надо загадывать.

— Это верно: хоть раненому бы прокатиться — в госпиталь, на поправку,— подал свой голос Бутин.

— Калекой остаться — тоже небольшое счастье. А мне так и вовсе нельзя! — сказал Верхогляд.— Ну, скажем, вернусь я домой без ноги. Какой же из меня к шутам охотник — на костылях-то! В тайгу ведь на костылях не пойдешь. Или без руки... Был, правда, у нас в соседнем поселке дед — партизан бывший. Однорукий. На тигров ходил. Стрелял хорошо! Только пил много.

— С рукой — без руки! — подражая грустноватому голосу Верхогляда, отозвался Максимов.— Чепуха! Главное — выжить.

— Выжить?! — Политрук встрепенулся.— Если каждый будет так думать! Уж тоже живет, ползая. Еще Горький писал...

— «Обратная дорога»! «Горький»! — Покончив с медальоном, Малахов откусил конец нитки, спрятал иголку в подкладку шапки и стал надевать брюки.— Меня, друзья, это не волнует. Мне не ехать обратно.

— Что ж вы, товарищ лейтенант, дали обет: после войны ходить только пешком? — пошутил Тябликов.

— Нет, старшина! Просто я уверен: меня убьют...

Малахов сказал это тихо, но с такой сдержанной суровостью, что даже Артюхов, который сам недавно думал о смерти, и тот вздрогнул от неожиданности. Вздрогнул —

и против своей воли взглянул на Ивана. И не он один: и Зотов, и Тябликов, и Верхогляд... Все испуганно уставились на Малахова. Тот заметил это; он понимал, что все ждут, что он скажет дальше, но он не спешил. Натянув брюки, спрыгнул с нар и как ни в чем не бывало стал накручивать портянки.

Молчание длилось слишком долго.

— Чегой-то вы на меня так уставились? — сказал наконец Малахов, усмехнувшись.— Думаете, суеверен? Нисколько! Я объясняю все по-научному. С точки зрения теории вероятностей. Скажем: бах! — мина. В маленького — один осколок, а в меня, поскольку я занимаю вдвое-втрое большую площадь,— соответственно и осколков... То же и с винтовкой. В Бутина или в того же Котка немцу легче попасть или в меня? То-то! Бутин — он как мышонок. Его из-за щитка орудийного не видно. А я как танк — за пять верст виден.

— А для вас, лейтенант, и пуля соответственно, по росту...

Зотов, видно, хотел обернуть разговор в шутку. Но его никто не поддержал. Теория вероятностей — она ведь и в самом деле штука неумолимая. Малахов ее к себе по росту «примерят», как он говорит по-своему, по-вятски, а каждый всерьез прикидывал: сколько их, солдат, уже полегло? Раз до самого дальнего угла дошло дело, значит, много фашисты нашего брата солдата перемололи.

И политрук понял, что шуточками тут не отделаешься.

— Конечно, друзья,— сказал он,— не всем придется ехать обратно. Кто-то, возможно...— он не сказал «погибнет», а добавил тихо: — ...возможно, и не поедет... Но выбора у нас нет. Или — или! Или мы отстоим Родину и тем воздвигнем памятник своему поколению, или, согнув спины, будем чистить и лизать фашистам сапоги.

— Вот и я так думаю! — поддержал политрука Малахов.— Уж лучше погибнуть, чем с моим-то ростом да нагибаться, чтоб лизать фашисту сапоги.

— Подпишите, товарищ политрук! — Тябликов подал Зотову суточную ведомость — обычную ежедневную сводку в штаб о наличии живой силы и техники. Или, попросту, «строевку».

— Пусть сначала комбат посмотрит,— сказал политрук, разглядывая бумажку.

— О чем разговор! — старшина от удивления пожал

плечами (даже, пожалуй, не пожал, а передернул — была у него такая привычка).— Пойду на остановке в штаб — заодно и подпишу у капитана.

— Ну хорошо! — Зотов вынул из нагрудного кармана карандаш с держателем и стал водить им по бумажке, проверяя.

— Да бросьте вы! Тут все верно,— уговаривал его старшина.— Пока, сами понимаете, товарищ политрук, потерь не имеем. Личный состав, как видите, налицо. Пушки с платформ, я думаю, ветром не сдуло. Кони из пульманов не сбежали. Хозяйство мое — сбруя и тряпки — на месте, вплоть до носового платка.

— Это верно,— согласился Зотов, однако рапортичку прочитал до конца и лишь потом подписал.

Тябликов не спеша сложил листок вдвое и, засовывая его в планшет, спросил:

— Медальоны зашили? Приказ был — проверить и доложить.

— Зашили,— ответил за всех Абдуллин.— Вон Коток даже ширинку зашил по ошибке.

Тябликов неожиданно взъерошился.

— Без шуток, ребята! Товарищ политрук, прикажете проверить или положимся на сознательность?

— Положимся на сознательность,— подзуживал старшину Абдуллин.

— Ты что, Ахмед, политрук?

— Да я так.

— То-то! Раз был приказ, выполни, и вся недолга! — разошелся старшина.— Понятно?

Ребята молчали.

— Вижу: непонятно. Придется объяснить. Поймите, подберет похоронная команда без медальона — что тогда? Сообщат: пропал без вести, коль фамилия не установлена. А раз пропал без вести, то ни пенсии старикам, ни почести тебе самому.

— Пенсия — шут с ней. Главное, не будет почести,— не то в шутку, не то всерьез обронил Верхогляд.

— На ваше усмотрение, старшина,— отозвался наконец политрук. Он был явно недоволен, что Тябликов снова заговорил об этом.

— Сейчас проверять не буду,— успокаиваясь, сказал Тябликов.— Но в Иркутске будет баня — в бане у всех проверю. А теперь хочу по совести спросить: кто не зашил?

— Я! — отозвался Верхогляд.
— Даю тебе, сержант, пять минут сроку.
— Есть пять минут! Ахмед, дай иголку.
— Я тоже не зашил еще,— отозвался Максимов.
— А ты, гражданин третьего города в мире, ты о чем размечтался?
— Не было химического карандаша.
— Не отговаривайся. Пойдешь в Чите лошадей поить!
— Ну что ж.
— Не ну что ж, а отвечай, как положено!
— Есть поить лошадей!
— Так вот! — Тябликов щелкнул кнопками планшетки.— Я с каждым цацкаться не намерен. Сказано: заполнить и зашить — все! Не к теще в гости едем. Ясно?

«Ясно, ясно, старшина»,— подумал Артюхов. Почему-то Тябликов с его ужимками, которых раньше не терпел Василий, теперь вдруг заинтересовал его, и он спросил у старшины, что тот делал до армии.

— Фокусником в цирке служил,— отозвался Тябликов и подмигнул ребятам, которые, очевидно, знали уже о его причудах.— Лафа! Каждый вечер перед представлением в шелковую одежду одевали и, главное, деньги платили — во!
— Брось чудить! — искренне вырвалось у Артюхова.
— Что, не верите? — Тябликов расставил пошире ноги, принимая характерную для жонглеров стойку, взял со стола карандаш и, зажав его двумя пальцами, вплотную поднес к лицу Артюхова.— Глядите сюда! Та-ак...

И когда он приблизился к Артюхову и сказал: «Глядите сюда!», то Василий снова уловил, что от старшины попахивает спиртным.

— Та-ак! — Тябликов начал крутить карандаш, быстро-быстро перебирая пальцами.

Артюхову еще не приходилось видеть, чтоб с карандашом так ловко обращались. Ну как пропеллер у самолета, крутится — совсем не видать.

Перебирая пальцами, старшина приговаривал:
— Зашел я как-то к милочке. Выпил полбутылочки.— По мере того как убыстрялось вращение карандаша, Тябликов убыстрял и произношение присказки, и Артюхов, до этого наблюдавший только за карандашом, рассредоточил свое внимание: и скороговорка была складна, ее

тоже хотелось запомнить.— Зашел я как-то к милочке. Выпил полбутылочки. Милочка тает. Хмель шатает. Зло хватает. Фар! Фар! Фер! Ферт!..

Тябликов протянул руку к Артюхову: карандаш исчез.

Ребята, привычные к проделкам старшины, посмеивались. Зотов качал головой. «И как не надоело тебе потешать!» — говорил его взгляд. Артюхов и Малахов, видевшие трюки Тябликова впервые, сгорали от любопытства.

Выждав, пока любопытство их достигнет предела, Тябликов пригнулся, засунул руку за ворот гимнастерки и оттуда вынул карандаш.

— Ну и ну! — вырвалось у Артюхова.

— Факир! — восторженно воскликнул Малахов.

— Ловкость рук — и никакого мошенства! — с плутоватой ужимкой отвечал старшина.— Ты, что ль, Максимов, просил химический карандаш? На!

Максимов взял из рук старшины карандаш и тихонечко сел с уголка стола, стараясь не стеснить никого. Он достал из нагрудного кармана гимнастерки крохотную записную книжицу, стал на листке писать то, что необходимо для медальона. Писал он не спеша, то и дело поплевывая на грифель химического карандаша.

— Не забудь указать, что ты родился в знаменитом городе! — подсказал ему Тябликов.

— Ну, какой же он знаменитый?

— Все-таки как-никак третий город мира!

В дороге ребята часто подшучивали над ним. «Кто дневалит сегодня?» — «Я!» — ответит Максимов. «А-а, человек, который родился в третьем городе мира! Что-то холодновато: пошуруй-ка печку».

Этим «третьим городом мира», который не давал покоя ребятам, был крохотный курский городок Тим. Видимо, когда-то, при первом знакомстве с батарейцами, Максимов сам рассказал им эту присказку, которая издавна бытует у курян: «Первый город мира — Иерусалим, второй — Рим, а третий — наш, Тим». Ребятам, видать, она пришлась по душе, и они теперь донимали ею бойца.

Поначалу Максимов понравился Артюхову. Он был вежлив, начитан и очень аккуратен. Пожалуй, Максимов был одним-единственным человеком из всей теплушки,

который читал в дороге книгу (не считая, конечно, самого Артюхова и политрука, но Артюхов все читал да перечитывал «Витязя в тигровой шкуре», а Зотов штудировал газеты).

Теперь эта улыбка без искорки как-то насторожила Артюхова. «Тимский мещанин небось». Он заключил так потому, что знал еще один, четвертый город мира — Скопин. Артюхов почему-то решил, что максимовский Тим и Скопин, где сам он учился в техникуме, чем-то очень похожи. Наверное, такой же тихий пыльный городок этот Тим, где весной, как и в Скопине, можно оглохнуть от грачиного крика, а зимой умереть с тоски.

В техникуме на одном курсе с Артюховым училось много местных, скопинских. Они держались обособленно и смотрели на них, деревенских, свысока. В столовку они не ходили, а приносили с собой бутерброды. Все они были детьми местных знаменитостей: врачей, юристов, учителей.

Пожалуй, в любом большом городе, даже в самой Москве, не найдется столько знаменитостей, сколько их в любом провинциальном городке вроде Скопина или Тима. Если есть тут адвокат или попросту защитник, так к нему едут люди за сотню верст. Если в таком городе врачует доктор, то он непременно знаменит на всю округу. Учитель — так он непременно сорок лет служит в одной и той же школе и знаменит хотя бы тем, что обучал грамоте всех горожан — от старого до малого. (Или сам знаменит, или сын знаменитого учителя — в таких городках, как Тим, дети очень часто наследуют профессии отцов.)

Максимов, заключил Артюхов, видимо, тоже сынок какой-нибудь тимской знаменитости. А мать к тому же еще — отпрыск какого-нибудь помещичьего рода: отсюда и «парижское золотишко» у него, этот медальон.

Сочиняя в своем воображении биографию бойца, Артюхов исподволь наблюдал за ним. Максимов, будто почуя, что за ним наблюдают, вскинул глаза и, встретившись с внимательным взглядом Артюхова, тут же опустил их.

— Старшина! — подал он голос.— Не умещается имя и отчество. Можно одни инициалы проставить?

— Лучше полностью. Небось в вашем Тиме Максимовых много?

— Моего отца там все знают.

— Местная знаменитость, значит?

— Да. Он начальник НКВД.

«Ишь ты!» — подумал Артюхов.

Василий посмотрел на Максимова так, будто впервые увидел его.

Этих самых районных начальников Артюхов совсем не знал. В их селе, в Орловке, один был начальник — участковый Игнат Фунтиков. Хоть фамилия у него такая, а росту был Игнат саженного. Бывало, едет верхом на лошади — подошвами сапог пыль с лопухов сшибает. Ну а если на тарантасик свой рессорный сядет, так ноги поперед тарантаса на версту выставит: ничего не поделаешь, не умещаются. Игната, может, за рост его и в милицию-то определили. Фунтиковы эти — самые что ни на есть беднющие в Орловке; детей у них — чуть ли не целая дюжина, один другого меньше. Игнат старшим был. Учился он кое-как, в каждом классе по два года сидел. После школы при сельсовете посыльным бегал: ноги длинные. В ту зиму, когда кулаков из Орловки выпроваживали, сделали Фунтикова участковым. Форму ему милицейскую дали, лошадь, бричку. Через год Игнат женился, ушел от отца, поселился в доме орловского мельника Егора Веретенникова, им же самим перед этим увезенного на станцию, обнес вновь обретенное поместье забором и стал жить себе да поживать, с бабами горемычными войну вести. Неурожаи и недороды случались в Орловке часто. А в такие лютые годы у баб одна надежда: что с поля в подоле принесешь, тем и сыт будешь. Роют, скажем, осенью бабы картошку, соберутся домой в обед — спрячут десяток картофелин в карманы ватника да в подол, загодя подоткнутый за пояс, и гуськом-гуськом тянутся вдоль межи. Идут, судачат меж собой — вдруг, как из-под земли, навстречу им Игнат Фунтиков, участковый. Побросают бабы картошку — и врассыпную. Игнат, понятно, за ними..

Ух и лют был!

— Послушай, старшина! — подступился к Тябликову Малахов.— Будь другом, объясни: ты карандаш в рукаве прячешь или где?

— Что вы? Разве не видели — глотаю.

— Брось!

— Дай-ка! — Тябликов протянул руку к Максимову.

Тот услужливо передал ему карандаш, и старшина снова с тем же совершенством повторил трюк.

— В цирке обманывают — ладно уж! — сказал Малахов.— Но когда вот так, рядом очки втирают...

— Старшина наш еще не то умеет,— обронил Верхогляд.— Он к тому же и алхимик. Пар из воды может делать и воду из пара. Ну и еще кое-что.

Бутин кашлянул предупредительно. Кто-то сдержанно хихикнул в углу нар.

Зотов опять рассматривал таблицу, где красными стрелками были обозначены наиболее уязвимые места немецких танков.

— Факир! — не унимался Малахов.— Вот такого фрицы ни за что не убьют! Оттого — юркий, из любого положения изловчится.

— Я не совсем факир.— Тябликов снял шинель с вешалки, которую он оборудовал в уголке, за пирамидой с оружием, и, одеваясь, балагурил: — Вот если б я умел гадать и глотать сабли, тогда б иное дело! Но вы, лейтенант, правы: меня фрицы не убьют. И не в том дело, что я факир или, как вы там говорите, юркий. Просто я не боюсь смерти.

Ахмед покачал своей угловатой головой.

— Старый татарин говорит,— сказал он,— от стрел щит защищает, а от пуль — мудрость.

— Прав татарин! — подхватил старшина.— От пуль, ясно, никто не застрахован. Но мудрость у генерала, или кто там повыше сидит,— одна, а у солдата — другая: не думать о смерти. Вот я и не думаю. Оттого, признаться вам, не боюсь, что пожил вволю. Ох и вволю! Ну, скажите, что человеку необходимо?

— Скромность,— обронил политрук. Он оторвал наконец взгляд от таблиц и с полуулыбкой поглядел на старшину: мол, подковырнул я тебя, урезонил.

— Скромность — это вещь не материальная,— отмахнулся Тябликов.— Это по вашей части, политрук. А вот так, без дураков! Есть сладко и сытно — раз! — Старшина пригнул палец.— Ел! Сладко и вволю! — Он показал всем золотые свои зубы.— От сладости достукался до золотых! Два: баб любить! — Старшина загнул второй палец.— Любил и люблю. В шелку ходить? Ходил. Водку пить? Пил. В исправилке сидеть? Сидел...— Он не успевал загибать пальцы.

— Вот в исправилке — это совсем не обязательно!

Разогнн обратно палец,— все с той же улыбкой проговорил Зотов.

— Нет, политрук! По моему характеру — обязательно! — не унимался старшина.— Так вот...— Он приподнял руку.— Кругло! Видите? Все знаю, все испробовал в жизни. Оттого мне и умереть не страшно. А что вот они — хоть ты, к примеру, Бутин? Или тот же Коток? Что вы видели такого в жизни? А-а? Как августовские петушки. Только-только голос начал прорезываться. Кукаречут, а с какой стороны к курице подойти — толком не знают.

— Э-э! Татарин не о той мудрости говорил, старшина! — отозвался молчавший все время Степан Коток.

— Это о какой же, по-твоему?

— Ну, я так понял,— постукивая карандашом по тетрадке, в которой он писал что-то, тихо пояснил Коток.— Я так понял: щит — он дурак, он кого защитить может? Только кто вооружен им. Кто в руках его держит. А мудрость — это... Мудрость в том, чтобы войны не допустить. Потому-то эта мудрость многих и спасает от пуль.

— О-о! — удивленно протянул Тябликов.— Это не нашего с тобой ума дело!

— Почему ж не нашего? Все мы люди! — настойчиво, с затаенной верой в правоту своих слов повторил Коток.

И не только Тябликов, но и многие ребята оглянулись, удивленные настойчивостью Степана. Удивился его упрямству и Артюхов. Потому удивился, что более скрытного человека, чем этот Коток, в жизни ему встречать не приходилось. Поначалу Степан производил впечатление робкого, даже несколько пришибленного. Он был малообщителен, очень замкнут, и Артюхов объяснял это отчасти некоторой его ограниченностью. Коток был родом из какого-то рудного поселка близ Семипалатинска, куда издавна подавались из России всякие преследуемые мужики.

Но со временем, приглядевшись к бойцу, Василий отметил, что не такой уж он тихоня, этот Коток, каким показался поначалу. Неброский с виду, не крикун, но на редкость упрямый человек. К тому же — Артюхов не знал, чем это объяснить,— у Степана было немало друзей. Чуть что, остановится поезд — прибегает какой-нибудь пехотинец в мятой шинели, зовет Котка. Тот — юрк! — и глядь, они уже вместе расхаживают по станционной платформе. Возвратившись в теплушку, Коток забивается к себе,

в темный угол нижних нар, подолгу шелестит какими-то бумажками.

Вот почему, когда теперь Коток стал возражать старшине, Артюхов внутренне насторожился: у этого молчуна было что-то сокровенное за душой.

— Все мы люди,— повторил Степан и, словно боясь оговориться, добавил тише: — Если бы мы больше любили друг друга... а то — брат на брата норовим. А уж народ на народ и подавно... легше натравить.

— Чепуха! — отмахнулся старшина.

— Постой, постой! — Политрук почему-то обращался не к Котку, а к Тябликову.— Это не такая уж чепуха! Это — непротивленчество. Этому учению недостает классовости. А война — явление социальное, классовое.

— Это все так...— поспешно, как бы извиняясь, обронил Коток и замолк, и затих в своем уголке.

14

Байкал метался и неистовствовал. Могучие волны с кручеными, пенистыми гребешками налетали на прибрежные камни, били по ним — часто, методично; и удары эти подобны были ударам многотонной кувалды: от них содрогалась земля. Эшелон, составленный из красных теплушек и платформ, казался беззащитным перед этой стихией. Земля изворачивалась, уводила эшелон в сторону, прочь от Байкала; она укрывала его в черных каменных туннелях, заслоняла гранитными глыбами скал. Но даже при этой милостивой защите земли вагоны тряслись и скрипели, как бревна в плохо связанных плотах.

— Лейтенант, вставайте! Байкал! Вы велели разбудить,— толкал Артюхова Верхогляд.

(Сержант ни разу не видел Байкала и, боясь проспать, дежурил всю ночь.)

— Спасибо. Я не сплю.

Василий давно уже не спал, а, прислушиваясь к шуму волн, лежал и думал. О том, что нет, не лучшее место облюбовал он себе. Холодом несло и от окна, и сквозь щели тонкой вагонки; оконные петли, заклепки, угол крыши над головой — все в белых наростах инея. Брр! Зябко было даже и под шинелишкой. Хорошо, что вчера вечером

в Улан-Удэ, укладываясь спать, он натянул на себя гимнастерку и надел носки. А то совсем бы закочерыжился. Хоть и продрог до костей, а слезать с нар не хотелось. Наверху уютнее, чем внизу. Дверь теплушки чуть-чуть приоткрыта, и в щелку виднелась чернота ночи, и снаружи, из темноты, залетали сюда, в теплушку, робкие снежинки; они медленно кружились и таяли на лету.

Видимо, не одному Артюхову не хотелось слезать. С вечера многие наказывали Верхогляду: сержант, разбуди, когда будем проезжать Байкал. А теперь, когда он стал будить, каждый, приподнявшись, снова валился на нары, еще плотнее прижимаясь к теплому боку соседа.

— Бутин. Вставай, Байкал,— тормошил Верхогляд.

— А-а! — Бутин приподнялся, зевнул.— Эк разыгрался как. Шумит! А сюда ехали — тихой был.

И, даже не поглядев в дверь, Миша лег и укрылся с головой.

Артюхов улыбнулся, вспомнив: вот так же в детстве, на пасху. Служба пасхальная начиналась в полночь. Бывало, мать нарядит их загодя, с вечера — Василия и младшего брата. Наряженные, они помаются час-другой, а потом прикорнут где-нибудь на лавке, наказав деду, чтобы он их обязательно разбудил. В избе тихо, пахнет свежеиспеченным куличом, робко горит лампада. Незаметно одолевает сон, и они, наряженные и наглаженные, засыпают. В полночь дед начинает будить их: «Васька, вставай!» Вася спросонья никак не протрет глаза. Он чешет нос, вытирает со рта слюни и снова, как куренок, валится на лавку. «Да оставь ты их, батя! Пусть спят. Как-нибудь и без них Христос воскреснет...» — говорит мать.

Так и теперь: вечером все были возбуждены. Встречи с Байкалом ожидали, как большого праздника. Ну как же! Столько наслышались ребята об этом священном море от старшины, что каждому не терпелось взглянуть на Байкал. Абдуллин вылил остатки кипятка из чайника, чтобы зачерпнуть в него байкальской воды. Бутин обулся с вечера, чтоб не терять зря времени. Однако, как ни тормошил их Верхогляд, не слезли с нар ни Ахмед, ни Бутин, ни Чихачев, ни Сабиров.

Тускло, словно лампада, горел фонарь под потолком, стучала по железной крыше снежная крупа. Откуда-то доносились удары осмотрщиков по колесам вагонов.

— Стоим, что ль? — спросил Ахмед.

— Да.— Верхогляд подошел к двери, приоткрыл ее немного.

— Мысовая?

— Нет, уже Танхой.

— А старшина где?

— Убежал на промысел. Когда-то в этих местах он занимался коммерческой деятельностью.

— Сержант! — Артюхов свесил с нар ноги.— Я давно хотел спросить вас: что он за человек, наш старшина? «Коммерсант», «факир». Всегда какие-то штучки-дрючки.

— Он забавный.

— Забавный-то забавный. Но мы ведь едем не шутки шутить.

— Ну что вы! — Верхогляд повернулся к Артюхову.— Он знает, когда шутка, а когда дело. За это все и любят его — и ребята и комбат.

— Что любят, это я заметил.— Василий слез с нар, обулся и, набросив на плечи шинель, подсел к «буржуйке».— Только не слишком ли?

— Возможно.— Верхогляд прикрыл дверь, оставив едва заметную щелочку, и ногой, не нагибаясь, подтолкнул ящик с углем к печке.— Надо подложить угольку, а то дует ужасно.

— Давайте я подложу.— Артюхов открыл дверцу. Щурясь от пылавших жаром углей, стал бросать куски антрацита в «буржуйку».

Сержант сел на скамеечку рядом.

— Возможно, и слишком,— повторил он, раздумывая.— Но на это есть причины: старшина не любит выставлять себя напоказ. Ведь у нас зачастую как бывает? Лычку ефрейторскую на рукав нашьют, и он уже мнит себя маршалом. Вот поглядите: теплушка наша, уже кажется, чего тут делить? А все-таки двое нар в ней: верхние и нижние. Кто не ездил в теплушке, тот может подумать, что никакой разницы нет. Где б ни лежать, одна цена. А кто ездил, тот знает: наверху и светлей и удобней. Хоть сесть можно. Разве старшина не мог бы выбрать себе самое лучшее место? Но он все-таки не полез наверх — внизу, вместе со всеми устроился.

Артюхов поддакивал, согласно кивал головой. Он давно уже заметил, что среди четырех десятков людей, населявших теплушку, как и в любом коллективе, были свои

друзья и недруги, были свои краснобаи и молчуны, работяги и лодыри. Но кто где спал из них — на верхних или нижних нарах,— этого Василий не замечал, оттого, видимо, наблюдательность сержанта его поразила. А ведь и в самом деле: все начальство позахватывало верхние нары — Зотов, Малахов, сам Артюхов, другие командиры взводов... А прислуга — правильные, наводчики, заряжающие, Коток, Сабиров, Чихачев, Солод ютились внизу. Однако взаимоотношения людей меж собой были сложнее, чем это могло показаться на первый взгляд. Взять хоть того же старшину. Артюхову вспомнилось, как Максимов подсунул Тябликову политрукову миску с тремя кусочками комбижира, и Василий решил, что дело не в том, кто какие нары захватил. Есть тут еще что-то неуловимое пока для него. Политруку или, скажем, тому же Артюхову уступили место наверху из уважения к их званию. Но влияние их на ребят в повседневной жизни теплушки было куда меньше, чем влияние старшины. С Зотовым или тем же Артюховым ребята были почтительны, четко выполняли их приказания, но без расшаркивания и учтивости. Старшину же батарейцы просто боготворили. Он еще пальцем не успеет пошевелить, а уж двое или трое батарейцев спешат исполнить его приказание.

Артюхов сказал об этом своем наблюдении сержанту. Верхогляд не спешил с ответом, глядел на огонь, думал. В тишине слышно было, как гудит ветер в трубе «буржуйки» — тонко, однотонно, а через равные промежутки, прерывая гуденье ветра, доносились глухие удары байкальских волн о близкий берег.

— Проще всего сказать: авторитет,— заговорил Верхогляд.— Но у одних этот авторитет лишь моральный. А у старшины в руках все: от портянок до сухарей. Ослушаешься — он так тебя потом прижмет, что не возрадуешься.

— Значит, животу предпочтенье?

— Выходит, так,— согласился сержант.

Возле двери послышались шаги. В темноте мелькнули руки, и тотчас же бесшумно откатилась дверь. В нешироком просвете ее показалась голова Тябликова.

— Сеня, а ну принимай! — Старшина всунул в теплушку берестовый туесок, за ним — рядновый куль, доверху набитый копченой рыбой, и, пока Верхогляд оттаскивал мешок к столу, Тябликов поднялся и закрыл за собой

дверь.— Дрыхнут, черти? Пусть! Нам больше достанется, правда, товарищ лейтенант? — Он распахнул шинель и из обоих карманов галифе вынул по пол-литра спирта.— Фирменный. Без подделки,— пояснил старшина, ставя бутылки на стол.

Тябликов разрумянился на морозце; плутоватые глаза его с растаявшими снежинками на веках поблескивали.

— Не повезло, сержант! — Старшина снял шинель, бросил ее на нары.— Растерял свою агентуру. Сима вышла замуж, Ивана Ивановича взяли в армию. Остался лишь дядек родной — Яков. Сторожем на коптильном заводе служит. Снабдил меня, чем мог.

В туеске была ягода — черника, или, по-байкальски, черница. Тябликов зачерпнул полную миску влажных ягод, поставил на стол, вынул из куля две или три вяленые тушки омуля.

— Выпить и закусить есть, а чего человеку еще надо? Правда, лейтенант?

— Поздновато. Завтра бы утром.

— Завтра боевой день! В Иркутске выводка лошадей и баня. Переодевать всех будут в зимнее: полушубки монгольские, пимы и все такое. Так что давайте выпьем теперь.— Старшина приготовил кружки.

— Я дневалю.— Верхогляд отставил одну.

— Не отставляй, не отставляй! — раздался глуховатый голос Малахова с нар.

— Давай присоединяйся, товарищ полкапитана! — Тябликов разлил спирт.

— Водой бы развести,— сказал Артюхов.

— Сержант, сбегай. Зачерпни байкальской.

— Поехали уже.

— Ну, поехали так поехали! — Тябликов поднял кружку.— За батарею!

— За Байкал надо,— предложил Артюхов.

— За Байкал так за Байкал! — Старшина выпил, не поморщившись, крякнул и стал ложкой зачерпывать чернику.

Артюхов тоже глотнул, но у него тут же сперло дыхание, и он чуть не поперхнулся.

— А-а, непривычны к нашему, сибирскому-то! — смеялся старшина.— А вы, прежде чем пить, нос зажмите пальцами. Вот так! Малахов — он знает. Из него бы настоящий сибиряк получился.

Василий отставил кружку, стал налегать на ягоду. Черника была пресной, терпкой и очень вкусной. Он зачерпывал ложкой по десятку, а то и более ягод, спроваживал в рот, придавливал губами и, ощущая, как холодный сладкий сок освежает горло, обожженное спиртом, закрывал глаза от блаженства.

— Родные места, старшина? — раздирая руками омуля, спросил Малахов.

— Почти. Родился-то я в Усть-Ордынске, за Ангарой.— Тябликов кивнул в сторону, будто кто-то знал, где этот Усть-Ордынск.— А тут в молодости занимался коммерческой деятельностью.

— Чем-чем?

Старшина уставился на Артюхова: мол, сколько раз можно рассказывать?

— Они ведь новенькие,— подсказал Верхогляд.

— Хотите послушать! Что ж! Сейчас еще одну пропущу, чтоб язык размяк...

Старшина выпил еще, оторвал от тушки омуля кусок, пожевал и начал свой рассказ...

— Дед мой, Терентий Тябликов, пензенский мужик из-под Чембар, был, как и я, великий задира. Зимой девятьсот пятого года подбил крестьян села Горшечного на смуту. Крестьяне сожгли усадьбу помещика и разграбили его пожитки. За это Терентий со всеми своими чадами и домочадцами был сослан на вечное поселенье сюда, в Сибирь. Определили их жить в Усть-Ордынске: у Терентия, как это говорится в старых былинах, было три сына: Яков, Иван и Тихон. Последний, по несчастью, мой отец. Яков, старший, всю жизнь рыбачил. Теперь вот доживает тут, сторожем при коптильном заводе. Иван гонял плоты по Байкалу. А батя мой оказался самым непутевым: промышлял золотишко. Это теперь повсюду вам цивилизация: дороги, шахты, заборы, шмоны, а тогда кто за старателями доглядывал? Самые непутевые, самые забубенные люди были! Чуть потеплеет, бывало, отец отправляется из дому. Где он шляется? Никто не знал толком. Ни поклона от него, ни письмеца все лето. Но только вот, как сейчас, задыбило и лег снег — он тут как тут, заявляется. Заявился — первым делом нанимает кучера. Нас, пацанов, в сани, мать с собой — и на ярмарку. Купцы перед ним так и этак, а он холоден. Только пальцем кажет подать то да

-ке. Кому валенки, кому поддевку. Всех приодел, обдарил саранками... Кучеру на четверть водки — и снова был таков! В Ордынске нет для него размаха. Снимет он лучший номер в иркутском заезжем дворе — и пошел кутить. Скупщики, перекупщики, такие же шатуны, как он сам,— все ему друзья. Гвалт, песни, катанье на санках, одним словом, через месяц гол как сокол Тихон Тябликов. Привозит его какой-нибудь ямщик знакомый; мать дает ямщику чаевые, благодарит. Едва ямщик отъехал от дома, мать скорее на зады, баню топить. Истопит баню, обмоет непутевого Тихона, и тот лежит потом всю зиму на печи, отлеживается. Отлежался и с теплом — опять из берлоги, на волю.

Да так до самой гражданской войны. Каких только правителей не было в Сибири после царя. Но более всех насолил народу Колчак. Этот насаждал свои порядки. Они бате пришлись не по нраву. Подался он к партизанам, стал у них проводником. В девятнадцатом году его схватил колчаковский дозор. Мне было десять лет, когда его расстреляли. Осталось нас у матери чуть ли не дюжина. Съехались братья отцовы, устроили жеребьевку: кому какого?.. Я попал к дяде Якову, в рыболовецкую артель. Пять лет провел вот в этих местах, на Байкале. Самое счастливое время, как вспоминаю сейчас. Кочевали по всему морю. Срубят себе рыбаки хибару, землянки для снасти тут же, на берегу, заведут ставники и до самой поздней осени живут одни, вдали от людей. Артель — это не то что теперешняя бригада: один с сошкой, а семеро с поварешкой. В артель принимали голосованием. И все с утра до вечера работали. Рыбаки выбирают невод, а я завтрак им готовлю. Закидной невод заведут, я лошадей на катушках погоняю. Зато какая радость, когда улов хорош! Навалят в палубницу омуля — не рыба, а серебро! Разве это рыба — копченый омуль? Его живым надо видеть! Разделают тушку да на вентерь. В натуральном соку жарится. Такой рыбы вам и в жизни не пробовать.

Да, пять лет, значит, лямку тянул наравне со взрослыми. Может, и до сих пор рыбачил бы, да подвернулся человек один, Флегонт, брат жены дяди Яши. Прощелыга страшнейший, как теперь я понимаю. А тогда, в пятнадцать лет, какое у меня пониманье было! Стояли мы лето против Боярской — вот тут станция такая, с час назад проехали. Приходит он, говорит: «Чего ты, говорит, Ан-

рюха, к этим троглодитам прибился? Посмотри на них, на рыбаков, кто они? Как есть пещерные люди! Заросшие, грязные, рыбой от них за версту несет. Что, всю жизнь с ними, что ль, будешь? Ты молодой. Тебе в люди надо выходить. Хочешь быть моим коммерсантом?»

Был нэп, и этот прощелыга держал в Иркутске ювелирную лавчонку. «Коммерсантом?! Что ж,— говорю.— А что я должен делать?» — «Ничего особенного: я буду давать тебе свою продукцию, а ты должен сбывать ее на станциях, у дальних поездов. С каждой проданной вещи будешь иметь процент...». И тут же всучил мне, подлец, два золотых кольца. Цену назвал — сколько в случае продажи я получу. Тем же вечером я побежал в Боярскую, к владивостокскому поезду, и продал эти кольца. Продал и тут же получил червонец! По тем временам это были деньги немыслимые. Самый лучший свой улов артель за два-три червонца сбывала. А тут — червонец за один вечер!

С этого и началось. Артель я бросил. Два раза в месяц приезжал Флегонт с крохотным чемоданчиком, отсчитывал мне кольца, серьги, стеклорезные алмазы. Я отдавал ему выручку, получал свою долю — и адье! Через полгода у меня самого была уже целая фирма. Работал я по всему побережью Байкала — от Улан-Удэ до Иркутска. Дорога тут торная. Народ всякий в поездах едет, с Колымы, с Магадана. Особенно я любил обхаживать моряков, рыбаков и военных. Народ денежный, с большим карманом. Такого сразу на платформе отличишь от мелюзги. Стараешься попасть ему на глаза. «Эй парень! — окликает.— Не знаешь, где рыбки, омулька, достать?» — «Да что ты, дядя,— скажешь ему,— на рыбу теперь не сезон».— «А на что сезон?» — «Да есть кое-что».— «А ну покажи!» Достаю из кармана кольцо. У того глаза разгораются: «Золото?! А еще есть?» Я с пассажиром в сторонку, в укромный уголок, достаю из-за спины берестяной туесок или школьный ранец (в зависимости от времени года, от сезона) и показываю товар. «О!! — удивляется вояка.— И почем?» Я называю цену. «Дорого».— «Купите в другом месте подешевле»,— отвечаю равнодушно. «Ну хорошо...— говорит тот.— А не поддельное ли оно, золотце-то? Что-то морда, гляжу, у тебя подозрительная...» — «Ну что вы, дорогой товарищ. У меня кислота есть с собой — проверьте». И достаю из тайника, оборудованного в туеске, пузырек. В нем та еще кислота — сам Флегонт мне ее постав-

[illegible] «А ну!» — пассажир берет пузырек, нюхает, потом осторожно, с крышечки, роняет каплю кислоты на кольцо или серьгу. Все нормально! «Да что вы,— говорю,— товарищ: тут же проба есть». И показываю ему пробу. Убедившись в правоте моих слов, дядек отсчитывает денежки и, довольный тем, что сравнительно дешево отхватил подарок жене, спешит в вагон.

«Счастливого пути, адье!» — машу и я ему рукой с перрона. Да-а... Махал-махал и домахался. Однажды подошли двое: молодые, одеты с иголочки; при деньгах ребята, думаю. Я им свой ассортимент раскладываю. «Так, а еще что есть у тебя?» Я им — и алмазы и кольца... «Ну что ж,— говорит один.— Берем?» И берут сразу пяток колец. Думаю: ай да клиентура! «А золотце-то не того, не поддельное?» — «Ну что вы! У меня кислота...» — «Это ты для себя прибереги. У нас своя есть». И правда: гляжу — достает пузырек. Кап-кап на мое кольцо... И спокойно так пистолетик из кармана: «Следуйте за мной».

Так пришел конец моей коммерции. Уже на допросе я узнал, что у этого Флегонта таких, как я, агентов было чуть ли не с десяток. По всей Сибири. Не знаю, что Флегонту и другим его дружкам закатили. А меня, как несовершеннолетнего, определили на три года в детскую исправительную колонию. Там-то я и научился всему: и циркачить, и спирт из лака получать. В колонии серых не было. Там каждый сам по себе гений. От каждого по одному фокусу переймешь и тогда любому факиру наперед фору дашь. То-то! А теперь — адье! Разобрало, друзья. Спать хочется. А то завтра свалишься с ног.

15

Серенькое октябрьское утро еще только-только занималось над Ангарой, когда батарея в строю, но без песни возвращалась из бани.

За те полтора часа, пока батарейцы мылись и переодевались, эшелон их расцепили: теплушки и платформы с орудиями загнали в тупик, к самому что ни на есть мосту через Ангару, а пульманы с лошадьми оттянули на товарную станцию, к разгрузочной площадке.

Разгрузочная площадка — у самой реки. По обе стороны аляповатого, крытого железом пакгауза — платформы.

выложенные булыжником. Теперь к одной части этой мостовой придвинуты были пульманы с лошадьми, а за пакгаузом, на другой половине разгрузочной площадки, стоял какой-то эшелон из пассажирских вагонов.

Артюхов, назначенный ответственным за выводку лошадей, шел с ребятами от теплушек к пульманам. Радостные после бани и сытного завтрака, ребята затянули «Партизанскую дальневосточную».

Утро было морозное, ветер с реки обжигал щеки. Но батарейцы не боялись ни мороза, ни ветра. В полушубках, в валенках, в стеганных на вате брюках — что им теперь мороз? Ребята основательно подзаправились и, пребывая в хорошем настроении, шли и пели. Вслушиваясь в то, как они пели, Артюхов тоже радовался. Радовался тому, что уже различал их голоса. Вот басовито, низко запевает Верхогляд, ему на подмогу поспешил Абдуллин. Ахмед не пел, а произносил слова отрывисто, будто декламировал; тоненько, пискливо тянул Максимов...

Они были уже у самого пакгауза, когда вдруг песня ни с того ни с сего начала разлаживаться. Что случилось? Василий вскинул голову: впереди, у самого пакгауза, стоял санитарный эшелон. Возле вагонов суетились люди в белых халатах. На булыжной мостовой рядком выстроилось пять или шесть автобусов с красными крестами. Дверцы их были открыты.

— Отставить песню! — бросил Артюхов чуть слышно.

Но ребята еще раньше оборвали песню. Они были встревожены не меньше, чем сам Артюхов.

Из вагонов — не через тамбурные, а через специально проделанные в стенках двери — санитары выносили раненых. Бескровно-восковые лица, осунувшиеся, скорбно-молчаливые. Казалось, на носилках не люди, а их тени. Одни придерживали заскорузлыми руками шинели и ватники, которыми были прикрыты сверху, другие лежали пластом, и только забинтованные головы с открытыми глазами чуть покачивались в такт медленным шагам санитаров. Немногие — по два, по три человека из каждого вагона — сами спускались с подножек и не спеша шли к автобусам. Кто нес перед собой «самолетом» загипсованную руку, а кто и вовсе плелся без руки.

Батарейцы притихли, расступились, пропуская носилки.

В тех местах, которые они миновали за эту последнюю

неделю, война напоминала о себе лишь сводками Совинформбюро, сутолокой на дорогах и вокзалах, хлебными карточками и всякой иной нехваткой. Тут же, у Ангары, они впервые увидели подлинный лик войны — раненых. Вид их был ужасен. И солдаты — только что одетые и снаряженные для фронта, здоровые, сытые, чистые — остановились, пораженные.

Самое страшное было, пожалуй, в той тишине и деловитости, с которой шла выгрузка. Раненые не стонали, не звали на помощь, не спрашивали, что за город и куда их несут. Они молча и сосредоточенно глядели на серое зимнее небо, на черные дома, теснившиеся на берегу реки. Лишь изредка кто-нибудь попросит чуть слышно: «Санитар, потише. Рана болит».

— Глядите, глядите, ребята! Вон у того, обросшего...— Коток указал на носилки.— У него, знать, ног обеих нет. Видите, шинель не топорщится.

Абдуллин сказал сокрушенно:

— Небось и без ног захочется жить.

Степан, бледный и растерянный, смотрел на носилки, не в силах оторвать взгляд. Какой-то боец, в шинели, наброшенной на плечи, подошел к Котку.

— Чего глядишь, браток! Испугался? Дал бы лучше закурить.

Коток не курил, но ему неудобно было отказать раненому, и он остановил Бутина, чтобы тот удружил бойцу щепотку табаку на козью ножку. Миша порылся в одном, другом кармане (в шинельке знал всегда, что лежит, а к полушубку привыкать надо!). Наконец отыскал кисет с махоркой, протянул его бойцу.

— Да ты сам заверни, друг! — обратился раненый к Бутину.— Али не видишь, что окаянный фриц сделал со мной! — и он выпростал из-под шинели коротышки-руки. Культи по самый локоть были завернуты бинтами.

— Где ж это тебя так? — расспрашивал Бутин, закатывая самокрутку.

— Под Ельней.

— Когда сдавали или теперь уж, когда обратно брали?

— Я-то брал. А тут — всякие: и те, что сдавали, и которые брали. Спасибо, браток! — Раненый ловко подхватил самокрутку губами и, пригнувшись, уткнулся небритым лицом в ладони Бутина, зажегшего спичку.— А ты откуда знаешь, что Ельню взяли?

— В газетах писали.

— А-а, в газетах писали! А там не написано было, сколько осталось в живых — из тех, которые, значит, Ельню эту брали? Нет? То-то!

— Что, силен фашист?

— Прет! Особливо страшны танки и минометы. Ну, как посыпет, как посыпет — живого места на земле не остается. И где он мин этих столько берет?

— Вся Европа на него работает!

— Европия! Европия! Аль наша-то страна мала? Вон Сибирью одной, считай, полмесяца ехали.— Раненый закашлялся от первой затяжки.— Вы-то сами издалека, что ль?

— С Посьета, дядя!

— О! Двиньте ему там по морде. За всех нас...— сказал он и пошел, осторожно переступая по выбитой мостовой, вниз, к автобусам.

Артюхов скомандовал батарейцам: «Шагом, марш!» Бойцы, не строясь, а как стояли кучкой, так и пошли. Но хотя ребята послушались и пошли, они то и дело оборачивались назад, туда, где возле вагонов с красными крестами сновали люди в белом и ходили, как тени, раненые в шинелях, брошенных на плечи, внакидку.

— Да-да, вот она — война! — обронил кто-то.

— Разговорчики! — прикрикнул Артюхов.

Напрасно прикрикнул: бойцы молчали.

Ребята все утро были молчаливы. Казалось бы, первая выводка лошадей за столь долгую дорогу, разве это не радость? Кони истосковались по воле, по твердой земле, бойцы — по своим любимым коренникам. Однако радости, против ожидания, не было. Лошади почему-то не хотели выходить из вагонов. А когда их норовили вывести силой, они вставали на дыбы, всхрапывали и рвали уздечки. Бойцы и командиры орудий хоть и истосковались по своим любимым коренникам, но не шутили с ними, не называли их ласковыми именами, а молча дергали за поводья, понукая к выходу.

— Пошли, Ландыш. Ну, чего уперся? Отвык от земли, на дощатом полу-то стоя? — Верхогляд снял кормушку и щиты, отгораживавшие стойло, и потянул за повод своего любимца.

Ландыш тряхнул головой, позванивая удилами, но с места не сошел. Он глядел на сержанта несколько снисходительно, если, конечно, можно сказать так о животном. Не то тоска, не то сострадание выражались в зеленых навыкате глазах. «Ну, чего ты пристал? — говорил этот взгляд.— Мне так хорошо тут: пригрелся, притерпелся. За дверью вагона — холод, снег, грязь. Не дергай за повод, оставь меня в покое». Ландыш потерся ухом о рукав сержанта. Острый запах нового полушубка явственно напоминал ему запах сбруи, которую уже давно не надевали на него. Он соскучился по этому запаху, а также и по делу — по тому суетному, но только одному ему, кореннику, понятному моменту, когда его в сбруе подводят к пушке. Все суетятся, покрикивают что-то, но эти окрики (Ландыш, как никто иной, знал о том) к нему не относятся: они лишь выдают волнение людей. Он же никогда не волновался, и люди, хоть тот же сержант, за это уважали его. Не били никогда и зло не ругали, когда он ошибался в чем-либо. Ну, кричали, конечно, но не так зло, как кричат они друг на друга, когда у них что-либо не ладится: пушку ль к передку приторочить сразу не сумели, или постромки пристяжных запутал какой-нибудь ездовой. Тогда гвалт такой подымется, что и слушать не хочется. Ландыш тогда стоит, грызет удила и стучит по земле передним правым копытом: скорее бы «марш-марш!».

И на этот раз, учуяв запах сбруи, Ландыш обрадовался и стал бить копытом по полу.

Верхогляд, услыша этот стук, повеселел.

— Что, друг, соскучился? — Сержант потрепал коренника по холке.

Ландыш повел острыми ушами и нагнул голову вниз, обнюхивая сержантов карман.

— А-а, нюхаешь, сластена! — заметил его движение Верхогляд.— Ничего там нет. Новый. Не веришь? — Он вывернул карман нового полушубка, сшитый из грубого рядна, и Ландыш, убедившись в том, что от этого кармана не шло и сотой доли тех запахов, которыми были богаты карманы сержантовой шинели, поднял голову и скучающе-безразличным взглядом посмотрел на хозяина.

— Ладно уж, не обижайся! — сказал Верхогляд примиряюще. Он достал из кармана галифе кусочек рафинада, сэкономленный им от утреннего чая, и, положив его на ладонь, поднес к губам Ландыша.— Возьми.

Коренник подобрал шершавыми губами сахар; довольный, тряхнул гривой. Верхогляд подхватил скребок, лежавший на тюке сена, и пошел к двери. Звякнув кованым копытом о бок железной бочки, Ландыш шагнул следом.

В настежь открытых дверях толпились бойцы. Кто тянул за повод лошадь, боявшуюся выйти из вагона на мостовую, кто соскребал лопатой навоз. Увидев Ландыша, все расступились.

Красавец коренник, выйдя на волю, присел на задние ноги и заржал. И тотчас же на его ржание отозвались другие лошади. Вся площадка — от пакгауза и до берега реки — была заполнена лошадьми. Бойцы чистили коней скребками и щетками, водили, разминая; кое-кто ездил верхом.

— Замшел ты, друг! — Сведя Ландыша в сторонку, Верхогляд принялся работать скребком. — Тебя бы, как и нас, в баньку б, в Суйфун. А-а! Так... Ну, теперь вот этот бочок. Стой, стой.

Ландыш слушал голос Верхогляда и, довольный, потряхивал головой.

Артюхов наблюдал за Ландышем с самого начала выводки. Василий был удивлен красотой верхоглядовского любимца. Он впервые видел коренника на воле и смотрел на него теперь с восхищением: до чего ж хорош! И как идет к нему кличка! Был он весь серый, в мелких-мелких пятнышках по животу и по крупу. А ноги потемней, как стебельки настоящего ландыша; зато на шее и на холке с обеих сторон — белые крупные пятна, колокольчики. Он строен, негрузен, и ничего в нем не было лишнего.

— Водите! Водите! — послышался у вагона голос командира батареи.— Разгуливайте! А то времени мало.

— Товарищ капитан, а поить в реке можно?

— Можно. Только нельзя сразу помногу. Это ж Ангара!

— Что, очень холодная вода?

— З Байкала тече.

Бутин повел какую-то рыжую конягу к Ангаре, а капитан, увидя Верхогляда, подошел к сержанту.

— Ну, как он, граф наш: сразу пошел или капризничал? — Комбат кивнул на Ландыша.

— С сахарком, товарищ капитан.

— Хорош ты, друг, но есть в тебе норовок! — Лысенко потрепал коренника по холке.— Это наша недоработка, сержант.

— То ж животина, товарищ капитан.— Верхогляд разогнулся, перестал водить скребком.— Люди вон и то с недоработкой бывают, а мы хотим, чтоб лошадь лучше нас была.

— Ничего! Война всех перевоспитает.

— Не думаю.

— Ты чего, сержант, насупленный такой? «Кыр-кыр»... Как ворон.

Верхогляд промолчал, снова замахал скребком.

— Шли сюда — видели, как выносили раненых из вагонов,— сказал Артюхов.— Вот и попритихли все.

— А-а! — только и вымолвил капитан.

Вымолвил и сам, будто вспомнив что-то, замолк, потирая ладонью корявый свой подбородок.

— Теперь начнется,— добавил он спустя некоторое время.— Теперь на каждой станции будем встречать. Пока раненые, а потом пойдут эвакуированные. Дети да жинки. Увидишь такое, тоже сердце дрогнет. Надо подготовить ребят. Поговорить с ними.

— Политруку одному трудно,— поделился своими наблюдениями Артюхов.— А мы с Малаховым еще плохие помощники: только приглядываемся к людям. Всех нас старшина забивает своими шуточками.

— Тябликов-то? — Капитан заулыбался.— Чудит, да? Я с ним покалякаю,— добавил он просто.

Эта простоватость комбата очень нравилась Артюхову. Она и раньше бросалась в глаза, но теперь и вовсе. После легких, привычных шинелишек все люди в полушубках казались полнее, как-то будничнее. Лоск военный, выправку — все скрадывала дубленая баранья овчина. Ниже пояса она топорщилась, словно кто ее распирал изнутри, и все — от рядового бойца и до командира полка — в этих овчинах чуточку смахивали на баб из придонских сел, особенно когда они едут на базар в Чернаву. Белые шушуны на них — как колокола, не мнутся, и бабы сидят на возах, прикрыв шушунами ноги.

Так и тут: все выглядели нескладно, но комбат — особенно. При его мясистом носе и рябоватом лице ему не шел полушубок. Капитан выглядел в нем мужиковато. И, будто зная это, он и стоял как-то не по-военному ссутулясь,

лясь, жесткие, неразмытые катанки — носами в разные стороны.

Лысенко, уловив взгляд Артюхова, помялся и сказал:

— Только что видел сводку. Вчера наши оставили Таганрог. Значит, в Донбассе уже немцы.

— А вы из Донбасса?

— Да. Мои все в Горловке. Батька на «Кочегарке» отбойщиком. Когда-то в одном штреке работали. А потом вот по комсомольской путевке попал в артучилище.

— Про мои родные места тоже ни слуху и ни духу, — сказал Василий.

— А вы, простите, откуда родом?

— Я рязанский. Но из того угла, что ближе к Туле. Куликово поле. Чернава. Знаете?

— А-а, Куликово поле! — задумчиво повторил капитан. — «Поле, поле! Кто тебя усеял [illegible]» И, помолчав, вдруг добавил своим обычным бодрым говорком: — Артюхов, а вы понравились полковнику. Не раз спрашивал. Заглянули бы как-нибудь ко мне. Попили бы чайку, поболтали.

— Спасибо, — сказал Артюхов, думая совсем о другом: три месяца жил рядом с шахтой и ни разу не видел, как это из-под земли достают уголь. — Взорвали небось шахту-то?

— А чего там взрывать — [illegible]? Шахту водой затопляют.

И они поглядели на воду.

Черная поверхность Ангары лоснилась от быстрого течения, и лишь местами, где вскипали буруны, вода розовела от встававшего над городом морозного зимнего солнца.

Еще не успели бойцы ввести обратно в вагоны лошадей, а уж маневровая «овечка» подкатила к пульманам. Она потолкала их взад-вперед, как бы взвешивая: полегчали они или нет? Машинист дал гудок, поторапливая. Не прошло и минуты — опустела разгрузочная площадка: ни батарейцев, ни коренников.

Комбат поехал до эшелона вместе с бойцами, в пульманах, а Артюхов пошел пешком. Он сказал, что из-за суеты не взглянул даже на Ангару, и это была правда и неправда. Ангару ему действительно хотелось поглядеть, но была и другая причина: он надеялся встретить Паню.

С площадки Василий пошел к берегу.

Санитарных автобусов перед пакгаузом уже не было, и мостовая, что за пакгаузом, тоже была пустынна. Состав с красными крестами и белыми, зашторенными окнами еще стоял, и санитары — без халатов, в поношенных ватниках — мели и чистили вагоны.

Метрах в десяти от воды мостовая обрывалась, по краю ее стояли бетонные тумбы, соединенные между собой металлическими решетками. За решетками виден был пологий спуск, старые, ржавые прутья набережной во многих местах были выломаны. Через одну из таких щербин Артюхов и вышел к самой реке. От стремительного течения, если долго смотреть на воду, кружилась голова, и Василий, поглядев на лоснящиеся буруны, отвел взгляд от реки.

Темнели вдали горы, виднелась стрела какого-то крана, грузившего на платформы не то камень, не то бочки. А ниже по течению, метрах в двухстах от него, стояла группа людей, человек шесть — восемь, в новых полушубках, шапках и валенках. Артюхов решил, что это свои, из их эшелона, и что скорее всего какие-нибудь штабники. Строевому командиру, хоть тому же комбату, на остановках некогда пейзажиками любоваться. Это только штабникам, да еще, может, начальникам разных служб в дороге делать нечего. Высыплют они гуртом из вагона, прогуливаются взад-вперед.

Артюхов не любил попадаться на глаза начальству. Но сейчас, верти не верти, встречи не миновать. Василий шел самым берегом, вглядываясь то в очертания города, раскинувшегося на горе, то на реку, тронутую кое-где, в заводях, первым ледком. Расстояние между ним и группой штабников с каждым шагом сокращалось. Василий и раньше-то не знал толком никого из полкового начальства, пока все носили шинели, на петлицы хоть глянешь, что там — кубари или шпалы? А теперь попробуй угадай, что под полушубком-то. Любого майора,— да что майора! — самого генерала, комдива по ошибке примешь за рядового, только одна надежда: на комплекцию.

Кто-то из зевак бросал в воду камушки. Над водой, как от крыльев чирков при взлете, вспыхивали брызги, вспыхивали и тут же гасли: из-за быстрого течения камушки больше двух-трех раз не подскакивали, и по этому поводу все подшучивали над бросавшим.

— Мало картошки ел!

Подойдя ближе, Артюхов заметил, что камушками баловался капитан Бордадын, уполномоченный особого отдела. А среди тех, кто подшучивал над ним, были Михалыч, командир санроты, старший воентехник Никифоров, начбой, обвешанный сумками. Кто еще тут был, Василий издали узнать не мог. Кажется, и сам командир полка тут — вон, с краю, сутулый такой.

Артюхов решил, что пройдет стороной, тихо-тихо, поприветствует — и все... Однако, когда он поравнялся с командирами, они дружно обернулись, и Василий увидел, что тот, грузный и сутулый, кого он принял сначала за Сарычева, был вовсе не командир полка, а начальник штаба майор Проваторов. Артюхов узнал его по очкам: во всем полку, кажется, двое их было, очкариков,— командир санроты и начштаба.

Василий козырнул, абы козырнуть, с ленцой. И они ему ответили тем же, а кое-кто вообще даже рук из карманов не вынул. Он совсем уже прошел мимо, когда вдруг увидел Паню. Она стояла возле командира санроты и вместе со всеми посмеивалась над неумением Бордадына бросать камушки.

— Паня! — не думая ни о чем, воскликнул Василий и протянул руку.

Она руки своей из кармана не вынула. Сказала небрежно, как говорят случайному знакомому:

— А-а, лейтенант! Здравствуйте.

Неудобство, вызванное его нечаянным, искренним движением, длилось какой-то миг. Но в этот миг он уловил на себе недоуменный взгляд майора: это, мол, кто такой?

— Извините,— обронил Артюхов и прибавил шагу.

— Обожди! — Паня взяла Василия за руку.

Командиры — гуськом-гуськом — потянулись к своему зеленому вагону. Выждав, пока начальство пройдет вперед, Паня и Артюхов тронулись следом.

— Где ты пропадаешь? — вполголоса заговорил Артюхов.— На каждой остановке выбегаю, ищу тебя. На Петровском Заводе, кажется, все побывали у памятника декабристам. А тебя не было. Я до самого отправления стоял. Чуть не опоздал из-за тебя.

— Я... я...— Она выпустила его руку.— Я со штабом теперь еду.

— А-а, со штабом! То-то Клава сказала: «В зеленом фургоне». Что, штабники часто хворают?

— Сказал Михалыч, что прикомандировываюсь к штабу, и все.

— Он тебя персонально послал или вы чередуетесь?

— Персонально.

— Значит, ты кому-то приглянулась?

— Возможно.— На щеках ее обозначились ямочки: Паня сдерживала улыбку.

Штабники шли впереди. Никто из них не обернулся, не поглядел назад. Когда Артюхов подошел к своей теплушке, Паня остановилась.

— Я провожу тебя,— сказал он.

— Не надо.

— Почему?

Она молча пожала плечами: не надо.

— Хорошо,— сказал Василий, а у самого внутри все оборвалось.

Она почувствовала это, резко повернулась и впервые за все время их разговора поглядела в его глаза. Лицо у нее было такое же, как и тогда,— милое и спокойное.

— Пожалуйста, не думай обо мне ничего плохого. Понял?

— А что мне! — Артюхов засунул руки в карманы.— У меня нет на то прав. Просто мне было очень-очень хорошо с вами.

— С тобой,— поправила она.

— Ну, с тобой. Там, когда ехали в пульмане, вместе с Ландышем.

16

Часу в пятом утра эшелон остановился на станции Чулымской.

— Сержант, побудь тут за меня,— сказал Артюхов Верхогляду и, надев полушубок и портупею, вышел из вагона.

На станционных путях было сонно и тихо. Прожекторы еще горели, но небо уже светлело — там, в хвосте эшелона, на востоке; и в этом сером, неярком рассвете все виделось особенно четко: и поезда, которыми забиты были пути, и силуэты построек за ними, и старые тополя с пустыми грачиными гнездами. Все виделось четко и лишь одним цветом. Черными казались и красные теплушки, и грачи-

ные гнезда. Даже небо было одного цвета с крышами станционных построек, только цвет этот на небе размалеван пожиже. Лишь огоньки стрелок и семафоров яркими своими пятнами оживляли картину.

Бесшумно, словно тени, сновали по путям осмотрщики вагонов и смазчики; где-то чуть слышно посапывал паровоз.

Артюхов знал, что тут, на станции Чулымской, должна была меняться локомотивная бригада, и ему хотелось за эти четверть часа, пока будет происходить пересмена, сбегать на кухню — проверить: что там, у поваров, делается, не задержат ли с завтраком?

«Как бы не отстать!» — подумал Артюхов и, прежде чем бежать на кухню, решил разузнать, сменился ли паровоз. Придерживая рукой потяжелевшую кобуру заряженного пистолета, он быстро зашагал в голову эшелона. Бодро заскрипел снежок. Было не так морозно, как в Прибайкалье, но зато ветреней, и Василия тотчас же пробрала дрожь. «Это от бессонной ночи,— решил он и, не сдержавшись, чертыхнулся про себя: — У-у, это чертово дежурство! Хоть бы скорее кончался день».

Артюхов не любил дежурств по части. Казалось бы,— ничего в этом особенного, тягостного. Лоскут кумачовый повязал на рукав — и расхаживай себе грудь колесом, поскольку ты — самый большой начальник. Ну, не самый большой: не больше командира и комиссара, но все-таки! Завидя тебя, каждый спешит вытянуться в струнку. И не только боец, но даже и любой лейтенантик.

Иные любят это: хоть и суетно, конечно, но зато при штабе все время, на виду у начальства. А Артюхов терпеть не мог дежурств. Даже не из-за суеты, не из-за этих ночных бдений, даже не оттого, что все сутки приходится торчать на глазах у начальства, а просто давила на плечи ответственность. Опоздал ли кто к отбою, задержал ли кого городской патруль — вот тебе и ЧП. А раз случилось чрезвычайное происшествие — иди к командиру, докладывай. Войдешь к нему — так и так, товарищ командир! Ты еще рта раскрыть не успел, а он уже по твоему виду догадался: произошло что-то неприятное. И когда докладываешь, он все время смотрит на тебя так, будто это ты во всем виноват. Будто не какой-то там негодник сержант или боец процеловался лишний час с девушкой и прибежал в казар-

му после отбоя, а словно это ты, Артюхов, сам провинился. В каждом слове командира, когда, выслушав твой доклад, он отдает приказание, раздражение и недовольство тобой: мол, эх ты, растяпа! Не мог предупредить беды!

И начинается карусель: опоздавшего к отбою бойца надо водворять на гауптвахту или звонить в город, коменданту, и выручать из беды задержанного в нетрезвом виде сержанта.

Но это еще куда ни шло! Это еще цветики. А то вот в артиллерийских мастерских случались ЧП и иного порядка. Работали день и ночь. Ремонтировали старое, хранившееся долгие годы оружие. Случалось, задремлет ночью боец у станка, сунет нечаянно руку под точило — вот и ЧП. Или на пристрелке оружия: разорвет при выстреле казенник старой винтовки...

И уж если стряслась такая беда в твое дежурство, то целый месяц не видать тебе покоя: затаскают по начальству, писаниной одной замучают.

Помощник машиниста и кочегар шуровали топку, выколачивая шлак из поддувала. Маковые головешки спекшегося угля падали на снег и, шипя, гасли. Яркий, но недолгий свет гаснущих углей отбрасывал причудливые тени от колес паровоза; люди, шуровавшие топку, казались гигантами.

Из-за брезентового полога, прикрывавшего окно, выглядывал машинист.

— Механик, когда мы отправляемся? — спросил Артюхов.

Машинист что-то буркнул в ответ, но, увидев нарукавную повязку, вытянул часы из нагрудного кармана куртки, поглядел время и сказал хрипловатым голосом:

— Минут через двадцать должен быть скорый.

— Мне надо сбегать к поварам. Успею?

— Не могу сказать. Нас могут отправить и раньше скорого. Поглядывайте,— добавил механик.— Как топку шуровать перестанем, так все — едем.

— Хорошо.

Артюхов повернулся назад, чтобы бежать к поварам, но его окликнул кто-то из паровозников, не то помощник, не то кочегар:

— Дежурный!

— Да.

— Не найдется ли у вас махорочки? Курить до тошноты охота.

— Махорки нет, а папиросой угощу.

— Ну хоть папиросу давайте.

Подошел молоденький парнишка. И никакой не гигант, каким казалась тень его, а совсем еще подросток. Черный весь от угля и копоти, в такой же черной, замасленной до блеска телогрейке. Ожидая, пока Артюхов достанет из кармана брюк пачку папирос, пояснил, как бы извиняясь:

— Днем везешь вашего брата — то хорошо. Повысыпят все на остановке. Ну, подойдешь к старшине — так и так, товарищ старшина. Днем мы всегда с куревом. А ночью...

Артюхов сунул две или три папиросы кочегару и побежал вдоль эшелона, к кухне.

Небо вызвездило, подмораживало.

Дрожь пробивала его даже на бегу. «А каково караульным? — подумал Артюхов.— На юру, на открытых платформах. И не четверть часа. Надо сказать Верхогляду, чтобы он сменял их на каждой остановке. А то пообморозятся — наживешь неприятностей. Как это не пришло мне в голову еще вчера, на разводе?»

И вспомнился ему развод. В Новосибирске. Стоянка была большая — поили лошадей. Они вышли тогда из штабного вагона вместе с капитаном Кузовлевым, командиром первого батальона, сдававшим дежурство Артюхову. Верхогляд уже выстроил батарейцев. Было их человек двенадцать; они стояли в одну шеренгу вдоль платформы. Верхогляд, доложив, как положено, скомандовал «Вольно!», и Артюхов стал объяснять часовым, заступающим на караул, их задачу. Чтобы следили за сохранностью техники в пути. Чтобы не подпускали к платформам и теплушкам посторонних. В общем-то он говорил больше для формы, ребята и без того знали обязанности караульных, и, говоря об этих элементарных вещах, Василий приглядывался к батарейцам. Он знал их всех, хотя не все они были из его взвода. На правом фланге Верхогляд — в коротком, не по росту, полушубке — стоял с голыми руками, без рукавиц, и мороз ему нипочем. Бутин — тот съежился, шею втянул в воротник; из-под шапки видны лишь пугливые глазенки да острый, как у воробья, нос. Замыкал шеренгу Коток, наводчик из второго огневого взвода.

У этого всегда трудно понять, в чем душа держится, а теперь и вовсе, как говорится, лица на нем не было.

Артюхов спросил о самочувствии, нет ли у кого из заступающих в наряд жалоб на здоровье; ребята дружно отозвались: «Нет!» — и Василий приказал Верхогляду оглядеть оружие и раздать караульным боевые патроны.

Коток тут же уронил обойму, потом долго заряжал карабин, и все стояли на морозе и ждали, пока он управится. И как только Коток зарядил карабин, так сразу же Верхогляд зачитал инструкцию об обращении с оружием. «Всем ясно?» — «Ясно!» — дружно ответили бойцы, и сержант вместе со старшиной, помощником Кузовлева по караулу, пошли сменять часовых, а они — Артюхов и капитан — отправились, чтобы доложить начштаба о смене дежурства. Кузовлев доложил, что сдал, а Артюхов — о том, что принял. С неизменным добавлением: «Все в порядке!»

Да, черт возьми, скорее бы прошел этот день, чтоб вечером он, как и Кузовлев, мог доложить: «Все в порядке...»

Дверь теплушки, в которой находилась кухня, была закрыта. Артюхов постучал. Открыл повар-армянин, еще молодой, но уже с брюшком; заспанный, зевая, выслушал дежурного и тут же поспешил успокоить:

— Нэ волнуйтесь, лэйтенант! Порядок будэт полный.

— Рабочие по кухне пришли?

— Нэт.

— Как с дровами?

— Маловато.

— Я прикажу разбудить рабочих. На следующей остановке придут. Напилят дров. Воды принесут,— торопливо говорил Артюхов, поглядывая вперед, на черневший вдали паровоз.

Кочегар все еще шуровал поддувало.

Распрощавшись с поварами, Артюхов побежал к теплушке батарейцев — надо было напомнить Тябликову о рабочих для кухни. Теплушка батарейцев рядом с платформами. Платформ пять или шесть. На них пушки и автомашины со счетверенными «максимами».

Артюхов был как раз возле платформы, когда где-то в дальнем конце эшелона, раздирая утреннюю тишину, неестественно громко и сухо треснул винтовочный выстрел.

«Что там такое? Что за идиот вздумал среди ночи баловаться оружием?»

Предчувствуя что-то недоброе, Артюхов чертыхнулся про себя и побежал в конец эшелона, на выстрел. Он не пробежал и двух десятков метров, как навстречу ему — запыхавшийся Абдуллин.

— Что там случилось? Кто стрелял? Это ты стрелял? — наскочил на него Артюхов.

Ахмед — то ли оттого, что спешил и запыхался, то ли от испуга — долго не мог выговорить ни слова. Губы у него тряслись, и он только тянул что-то нечленораздельное: «че-че-че...»

— Да говори ты толком! — крикнул, выходя из себя, Артюхов.

— Ч-че-пе, това-арищ лейтенант! — выпалил он наконец.

— Что такое?

— Он прострелил себе руку.

— Кто?

— Коток...

— Что-что-о? — Артюхов не поверил своим ушам.— Ты сам видел?

— Да. Он там, на площадке.

Артюхов с минуту стоял, не в силах сдвинуть ноги с места. Случилось самое страшное. Случилось то, чего он так боялся.

Послав Ахмеда за помощником по караулу, Артюхов побежал к злополучному тамбуру. Часовых разводил Верхогляд, и Василий не знал точно, на каком посту находился Коток. Пробегая мимо теплушки, Артюхов заглядывал теперь на каждую тормозную площадку: не тут ли? Нет... И бежал дальше.

Возле одного из вагонов, почти в самом хвосте эшелона, стоял железнодорожник — судя по снаряжению, старший кондуктор. Здоровенный стоп-фонарь висел у него за спиной, а другим, ручным фонарем он посвечивал на тормозную площадку. В овальном пятне света, падающего от фонаря, Артюхов увидел Котка. Скорчившись, боец сидел на полу. Он тряс головой и скулил, как щенок, которого выбросили из избы на улицу, в холод, в осеннюю стужу. Он не плакал, не причитал — только чуть слышно тянул на одной ноте: «У-у...» Карабин валялся на полу, кисть

левой руки зажата коленями, и на полу, рядом с ногами, небольшая черная лужица.

Артюхову стало вдруг не по себе, и, чтобы как-то сгладить свое замешательство, он спросил Котка о том, как это случилось.

— Пуговицей... за спусковой крючок зацепился...

— Спал, что ли?

— У-у... — промычал Коток.

Артюхов попросил кондуктора, чтобы тот сделал предупреждение о задержке. Кондуктор посигналил машинисту и, поставив фонарь на ступеньку подножки, принялся заворачивать самокрутку.

— Местный, поди? — Он указал на Котка.— Небось думал: тут, дома, оставят.— Кондуктор приподнял стеклышко фонаря, прикурил от фитиля. Пока он прикуривал, Артюхов разглядывал его. Это был старик, морщинистое лицо поросло густой седой щетиной, задубело от мороза.— Того и гляди духобор.

— Это что такое? — не понял Артюхов.

— Секта такая,— пояснил старик.— Тут их много — сектантов-то. Духоборы — они народ ничего: тихий, уважительный. Вот только ружья им в руки нельзя брать... Оттого они и не охотники. У нас в роте — в ту еще, в империалистическую — их человек пять было. Духоборов и молокан. Как теперь помню: мы, это, «ура-а!» — в атаку, значит... А они — кресты из-под нательных рубах выпростают — и ля-ля... молитвы про себя читают. Ротный, бывало, матом на них! Револьвер из кобуры вытащит. А они как истуканы... Вот так же, как этот, трясут головами и крестятся. Бились, бились — так и отправили домой.

Прибежал Верхогляд со сменным караульным. Спокойствие сержанта поразило Артюхова. Он объяснил сменяющему особые условия поста, сказал: «Заступайте!» И лишь после всего этого поднял брошенный Котком карабин.

— Хватит скулить. Пошли! — сказал Верхогляд.

Коток продолжал скулить и трясти головой. Тогда сержант вскочил на подножку и довольно грубо выволок его с площадки.

— Ну-ну, пошли!

— Сеня, я пуговицей за курок зацепил. Ты ж меня знаешь.

— «Зацепил»! Раз зацепил, то уж сразу в лоб себе

метил бы, дурень! — проговорил сержант, шагая за ним следом.

Чтоб не видеть скулящего Котка, Артюхов обогнал их. Впереди, возле паровоза, уже не вспыхивали искры гаснувших углей. «Значит, все, сейчас отправляемся»,— подумал Василий. Его колотило как в лихорадке. Он проклинал эту ночь! Теперь начнется свистопляска. А что, если этот Коток и в самом деле, как сказал железнодорожник, духобор? Ишь, тоже мне философия: оружия в руки брать нельзя, а стрелять в себя можно?

Артюхов вспомнил, что к Котку часто приходили какие-то люди. Они сдержанно шептались, забившись в угол нижних нар, шелестели бумагой. О чем они говорили? Что это за листки?

— Куда его? — спросил Верхогляд, когда они подошли к штабному вагону.

— Веди в дежурку. Пусть подождет, пока доложу.

Верхогляд помог раненому подняться на высокие ступеньки, и они скрылись в тамбуре. К Артюхову подбежал дежурный по станции и спросил о задержке эшелона: продлевать остановку или нет?

— Отправляйте.— Василий знал, что в его обязанности входит лишь поддержание порядка в поезде, а прав задерживать эшелон у него не было.

Дежурный посигналил машинисту. Эшелон медленно тронулся.

Артюхов постоял на подножке, и лишь когда вагон перестало заносить и покачивать на стрелках, он захлопнул дверь и прошел к себе. В штабном вагоне, старом, как рыдван, и неуютном, первые два купе отданы под караульное помещение. В одном, где обычно находится кондуктор, место дежурного по эшелону, а в соседнем — это и есть собственно караульное помещение. Тут отдыхали и отогревались свободные от караула бойцы. Теперь все они сбились в коридоре и испуганно глядели на Котка. Он сидел в уголочке — не плакал, не всхлипывал, а лишь дрожал весь мелкой дрожью. Кровь из раны еще текла, и брюки и валенки были в больших черных пятнах.

— Перевязать бы его,— обронил Верхогляд.

— Сейчас доложу командиру,— ответил Артюхов.— Может, нельзя трогать до экспертизы.

Он хоть и сказал: «доложу командиру», но не побежал сразу. «Надо прежде снять полушубок — теперь тут тол-

каться придется, а в вагоне душно». Василий вышел к ребятам в дежурку, привел себя в порядок. Он подумал и решил сразу не идти к Сарычеву. Страшновато как-то! Артюхов представил, как, подойдя к двери купе, где едут командир и комиссар полка, он постучит в дверь. Молчание... Спят, конечно. Он постучит еще раз, погромче. «Кто там?» — недовольно спросит Сарычев. «Товарищ полковник! Это дежурный по эшелону лейтенант Артюхов».— «Что случилось?» — еще более раздражаясь, спросит Сарычев. «ЧП, товарищ командир!» В купе послышится покряхтывание, шорох надеваемой одежды. Потом откроется дверь, и в коридор выйдет полковник. Лицо у него помято со сна, вид недовольный. Вытянувшись в струнку, Артюхов доложит обо всем. О том, что боец батареи, находясь в карауле, нечаянно выстрелил и поранил себе руку.

«Что?! — выходя из себя, грохнет полковник.— Самострел!»

«Самострел! — у Артюхова испарина выступила на лбу.— Нет-нет! — тут же решил он.— Командира пока беспокоить не надо. Надо разбудить сначала комбата».

Отыскав купе, где ехал комбат, Артюхов потихоньку приоткрыл дверь. Вчера вечером Василий допоздна сидел у капитана. Они пили чай и говорили о ребятах, гадали — куда, на какой фронт их бросят. И никто из них не мог предположить, что стрясется такая беда.

Оттолкнув дверь, Артюхов переждал, стараясь хоть чуточку успокоиться.

Комбат спал на нижней полке, по правую руку, Василий, нагнувшись, позвал капитана:

— Комбат! А комбат...

— Що трапилось? — Лысенко приподнялся, зевнул, долго скреб пятерней затылок, приходя в себя.

Артюхов торопливо и сбивчиво рассказал о случившемся. Комбат прежде всего крепко выругался, разумеется, по-русски, и, сбросив с себя одеяло, стал натягивать гимнастерку. Одевался он быстро, без суеты; затянув портупею, принялся будить спящего на верхней полке командира санроты:

— Военврач, вставай, друг! Слышь, дело есть.

Военврач почмокал губами, покряхтел и, не открывая глаз, повернулся на другой бок. Видимо, крепок был спать. Капитан тряс его минут пять, пока не разбудил.

Лысенко вышел в коридор, постоял и тоже, знать, не

решился сам зайти к командиру полка. Комбат заглянул сначала в соседнее с Сарычевым купе, и вскоре оттуда вышел адъютант.

Лысенко о чем-то пошептался с ним, и адъютант отправился будить полковника.

Цепенея от напряжения, Артюхов застыл возле двери. За дверью, куда юркнул адъютант, послышались голоса: сначала быстрый и недовольный — Сарычева, а спустя минуту испуганный — комиссара.

Все было так, как и предполагал Артюхов: и недовольные голоса, и покряхтывание, и шелест надеваемой одежды... Василий боялся одного, что от волнения он не сможет толком доложить. Стоя навытяжку, он твердил про себя: «Товарищ полковник... боец полковой батареи...» — и снова: «боец полковой батареи...» Однако, когда спустя минуту-другую в дверях купе, застегивая на ходу ворот гимнастерки, показался Сарычев и Артюхов начал докладывать, полковник отмахнулся от его доклада.

— Где он? — бросил Сарычев отрывисто и резко.

— В караульном, товарищ полковник. — Артюхов не успевал за быстро шагавшим командиром.

— На какой станции это случилось?

— На станции Чулымская.

— Чулымская? — повторил Сарычев. — Значит, мы где-то в районе Барабинска?

— Да, следующая остановка — Убинская.

Сарычев что-то хмыкнул; ссутулясь, грузный, злой, не отвечая на приветствия, он торопливо шел по коридору. Сменные караульные, командиры, разбуженные топотом и шумом, такими необычными в этот ранний час, жались к стенам, уступая командиру дорогу.

Дверь в дежурку была открыта. Увидев вошедшего полковника, Лысенко и военврач, сидевшие напротив Котка, встали. Раненый тоже сделал усилие приподняться, но, стукнувшись головой о верхнюю полку, снова присел.

Сарычев долго разглядывал Котка.

Все молчали. Каждый понимал, что все сейчас зависит от командира. Все зависит от того, какое истолкование он придаст этому случаю. Захочет ли он взять под свою защиту этого жалкого труса или отдаст его в руки правосудия?

— Ты что ж это вздумал позорить знамя полка? А? — сказал полковник.

— Нечаянно я, товарищ командир...

Коток перестал шмыгать носом и принялся теми же словами, которые уже слышал Артюхов, рассказывать о случившемся. О том, как он пуговицей случайно зацепил за спусковой крючок.

— Ну, я дернул, и...— И он замолк на полуслове.

— «Дернул»! — повторил Сарычев.— Ты знаешь, что за это самое «дернул» пойдешь под трибунал? Перевязать! — добавил полковник, обращаясь к командиру санроты. И снова — сухо и резко — к Артюхову: — Лейтенант!

— Слушаю,— отозвался Артюхов, бледнея.

Василий готов был выслушать самое страшное. Полковник мог сказать: «Сдайте дежурство такому-то». Или еще более страшное: «Сдайте оружие». И то и другое означало бы, что ему, как командиру и дежурному по эшелону, выражено недоверие. Он сознавал в душе, что он не заслужил этого. Однако в горячке все может случиться.

— Лейтенант, на пост ставьте по двое, с подчаском. Ясно? — сказал Сарычев.

— Ясно.

— В Убинской свяжите меня со штабом дивизии.

— Есть!

— Разбудите капитана Бордадына,— продолжал командир полка. — Пусть произведет дознание.— И, не ожидая, пока Артюхов повторит еще раз «есть!», Сарычев раздраженно отмахнулся: — Выполняйте!

17

«С Бордадыном шутки плохи»,— подумал Артюхов, растерянно поглядев на комбата.

— Не спеши! Попробую поговорить с комиссаром,— сказал Лысенко и побежал к батальонному комиссару Чуеву.

В купе остался Михалыч, соображая, как побыстрее организовать перевязку. Самому возиться не хотелось, а санинструкторы ехали в теплушке.

— А тут вон краля проваторовская едет,— обронил начбой. Никифоров тоже не спал. Увешанный планшетками и сумками, он толкался по коридору, приставая ко всякому встречному: — ЧП! А-а, какое ЧП!..

— Верно!

Михалыч, обрадованный, вышел в коридор.

Артюхов остался один на один с Котком. Василий чувствовал, что надо что-то сказать раненому, утешить хоть на словах. Но он не мог лгать, а молчание было тягостным, и Артюхов, помолчав, поспешил за командиром санроты. В коридоре было пусто. Лишь кучкой жались возле окна сменные караульные. Они курили и полушепотом переговаривались. Артюхов приказал ребятам, чтобы они шли отдыхать. Батарейцы покорно загасили самокрутки и ушли к себе, в купе-караулку.

Артюхов встал на их место, к окну. Вагон трясло и покачивало из стороны в сторону. Поезд шел очень быстро.

Окно, к которому он прислонился, было чуть-чуть приоткрыто. Легкая полотняная штора, запыленная и помятая, трепыхалась от ветра, как живая. Артюхов отдернул занавеску, сдвинув ее в одну сторону.

За окном серела припорошенная снегом земля, ровная и плоская, как сковорода. Ни лесочка, ни деревеньки вблизи полотна: серая земля и над ней — серое, предрассветное небо.

Василий прильнул к окошку. Поток свежего воздуха и привычный перестук колес успокаивали. Он мало-помалу начал приходить в себя. Достал папиросу, закурил. Закурил — и, затягиваясь горьковатым дымком, начал помаленьку оттаивать. Нервная дрожь исчезла, и вместе со спокойствием, которое он обретал, все отчетливее доходило до него сознание неотвратимости того, что ожидало Степана Котка. Неотвратимости и еще несуразности, что ли.

Почему это случилось именно в его дежурство? Ведь столько сменилось за время пути дежурных по эшелону — и все ничего. А он едва заступил, и сразу же ЧП...

В полуоткрытое окно дуло страшно. У Артюхова закоченели руки, пока выкурил папиросу. Докурив, он выбросил окурок вон и закрыл наглухо окно.

Комбат еще не показывался в коридоре. Видимо, разговор у него с Чуевым не получался. Поджидая капитана, Артюхов прошелся раз-другой по коридору. Василий нарочно приостанавливался возле купе, в котором ехали командир и комиссар, надеясь услышать хоть что-то из их разговора с комбатом. Однако разобрать слова было трудно. Изредка слышался резкий, быстрый говорок Сарычева, и Артюхову казалось, что он начинает улавливать

смысл; однако его тут же перебивал спокойный, глуховатый голос Чуева. Кто-то расхаживал по купе, и Василий всякий раз пугался: могут подумать еще, что он подслушивает.

Наконец в коридоре показался Лысенко. Лицо у комбата было замкнуто, хмуро. Он не сразу заметил Артюхова.

— Ну, как решили, товарищ капитан?

— Решили судить.

— Трибуналом?

Комбат пожал плечами.

— Чтоб другим неповадно было...

— Ясно.

Они помолчали.

— Значит, будить Бордадына? — спросил Артюхов.

Лысенко развел руками: буди.

Артюхов направился в самый дальний конец коридора. Купе уполномоченного особого отдела было вдалеке от рабочего тамбура. Он постоял, чувствуя, как колотится сердце, и, поборов робость, постучал — не громко и не очень требовательно. И хотя он постучал негромко, ему тотчас же открыли. Старший сержант — не то адъютант Бордадына, не то просто сотрудник — оглядел Артюхова.

— Вы чего стучите в такую рань?

Назвав себя, Василий передал приказание командира полка разбудить капитана.

— Что, ЧП?

Старший сержант принялся будить Бордадына. Капитан даже и во сне нес свою нелегкую службу. Спал чуть ли не в полной амуниции: в гимнастерке и галифе.

На столике, у окна, горела ночная лампа, и в ее свете видна была картинка, висевшая над головой капитана. На фотографии — изображена сцена из «Лебединого озера». Артюхов не видел этого балета, но знал, что такая сцена есть. На фоне гор, под четкий, но грустный танец белых лебедей умирает гордый лебедь. Поверх картинки, дулом книзу, висел автомат.

— А-а, самострел! — Капитан выпростал из-под одеяла ноги; спал он в носках — видать, предусмотрителен был. Сунул ноги в валенки и стал надевать портупею. — Этого надо было ожидать. Увидели раненых — раскисли!

Артюхов не перечил, молча наблюдал за сборами капитана.

На вид Бордадыну лет тридцать, не более. Волосы у него курчавились, он знал, что шевелюра красила его, и потому стриг волосы коротко, чтобы кудри были пожестче. Про таких в деревне говорят: курчавым родился — на счастье. «Он, может, и в самом деле счастлив»,— подумал Артюхов о капитане.

— Пошли! — кивнул Бордадын старшему сержанту.

Тот снял со стены автомат и вышел в коридор.

Гимнастерка на Бордадыне — собрана сзади «петушком». Это считалось особым шиком — собирать гимнастерку в короткий хвостик. Не всякому дозволялось такое. Даже Тябликов и тот не решался, опасаясь вызвать неудовольствие комбата. А Бордадын вот носил. И не только в том, как собрана сзади гимнастерка,— шик этот чувствовался у капитана во всем: и в том, как у него подвешена кобура пистолета, и в широченных «бутылках» черных галифе.

Однако, сколь ни широки были эти «бутылки», они не могли скрыть одного немаловажного изъянца, низводящего, по сути, на нет всю его элегантность: у капитана были короткие и кривые ноги. Шагая по коридору следом за Бордадыном, Артюхов почему-то вдруг решил, что хоть капитан и одет с иголочки, а все равно мужицкая порода из него так и прет наружу. Небось рос в большой крестьянской семье.

Проходя мимо караулки, Василий вспомнил, что не успел предупредить Тябликова о рабочих по кухне. Он приоткрыл дверь и сказал поднявшемуся навстречу Верхогляду, чтоб сержант на ближайшей же остановке разбудил рабочих по кухне и еще один орудийный расчет для усиления караула. Сержант, в свою очередь, спросил про разговор комбата с Чуевым — что, мол, с Котком-то решили?

Артюхов сказал.

Разговор с Верхоглядом не занял и двух минут, однако, когда Василий вышел из караулки и направился к себе, в купе дежурного по эшелону, у двери уже стоял старший сержант-особист.

— Посторонних приказано не пускать! — сказал он, загораживая дорогу.

Артюхов пожал плечами: ведь по уставу караульное помещение неприкосновенно, и дежурный по части — полный в нем хозяин. Даже вход сюда только с его разреше-

ния! В купе книга сдачи и приема дежурств, оружие свободных от караула бойцов... Василий опешил от неожиданности.

— Это я-то «посторонний»?! — подступил он к сержанту.— А ну-ка доложите капитану!

Сержант поколебался, но все-таки приоткрыл дверь. Хотел спросить, можно ли впустить дежурного. Но Артюхов опередил его: не дожидаясь разрешения, вошел в купе. Василий еле сдерживал себя, однако перечить капитану не осмелился, решил не задираться.

Бордадын сидел за столиком у окна и что-то писал. У двери, стоя на коленях, девушка-санинструктор перевязывала Котка. Девушка была в белом халате и стояла спиной к нему, но Василий по каким-то едва уловимым движениям рук сразу же узнал Паню. Узнал — и все в нем словно бы оборвалось внутри. «Так это ее, Паню, начбой назвал «проваторовской кралей»! Значит, она «приглянулась» самому начальнику штаба! А я-то, дурень, не догадывался!»

Вчера вечером, сразу же после заступления на дежурство, Артюхов заглянул в купе, где ехали девушки. Их четверо было: машинистка штаба, начальник полевой почты, телефонистка и Паня. Но Пани в купе не оказалось, и Василий успокоился: он решил, что ее снова отправили к девчатам в теплушку. А потом он закрутился по всяким делам, потом его позвал к себе на чай комбат, и они просидели допоздна. Так он и не повидал Паню.

И вот — встреча...

Какое-то мгновенье, пока Паня бинтовала не оборачиваясь, Василий наблюдал за ней. Вернее, за движениями ее рук.

Коток не скулил, как четверть часа назад. Окровавленный полушубок Паня сняла с него, и он валялся на полу. Рукав гимнастерки на раненом был подвернут до самого локтя, и вся кисть руки забинтована. Но кровь, пульсируя, все еще просачивалась сквозь бинт, особенно в том месте, где прошла пуля. И Паня проворно, то и дело перехватывая бинт из руки в руку, мотала, стараясь закрыть это кровавое пятно.

Скосив глаза на дверь, Паня наконец заметила Артюхова. Руки у нее дрогнули, на какой-то миг она остановилась, перестала бинтовать, однако ничего не сказала, даже

не кивнула головой, просто поглядела на него и, потупившись, продолжала свое дело.

— Ишь старается! — Бордадын обращался не столько к Пане, сколько к Артюхову.— Ему и жить-то осталось с гулькин нос. Допрошу — а там трибунал и...

— А кто же из нас знает, кому и сколько жить.— Паня вздохнула, пережидая: выступит кровь на месте раны или нет? — Наше дело солдатское,— добавила она,— приказано — выполняй. Ранен боец — перевязывай.

— «Боец»! Какой же он боец?! Это вражина, самострел. Ты что, и фашиста на фронте будешь перевязывать?

— Такая уж наша профессия, товарищ капитан, гуманная.

Паня закончила перевязку. Порывшись в санитарной сумке, достала ножницы, надрезала бинт, разодрала его надвое и завязала.

Наблюдая за ней, Бордадын покачал кудлатой своей головой, как бы говоря: ну и ну. Распустились, мол! Но вслух ничего не сказал. И то, что капитан сдержался и ничего не сказал, Артюхов истолковал по-своему. Он решил, что Бордадын неспроста сдержался. Капитан знает: раз Паня при штабе едет, значит, она приглянулась кому-то из начальства. А может, и знал точно, кому именно приглянулась. И чтобы, случаем, не нажить врага, Бордадын сдерживал себя.

Приладив раненую руку на широкую марлевую повязку, Паня набросила на плечи Котку полушубок и стала собираться. Сложила в сумку остатки бинта, ножницы, бумагу от индивидуальных пакетов, разбросанную впопыхах, и, ни слова не сказав, бочком-бочком юркнула в дверь.

Артюхов уступил ей дорогу и прошел к столу. Купе было крохотное — двоим развернуться трудно.

— Товарищ капитан,— обратился Артюхов к Бордадыну,— извините, пожалуйста: может, нужны будут свидетели? Тут есть разводящий, боец с ближайшей платформы.

— От вас, лейтенант, мне потребуется только рапорт: на какой станции случилось, время... подтверждение, что разводящий напоминал о правилах обращения с оружием. Поняли? Садитесь и пишите! — Однако места своего Васильию не уступил, а повернувшись к Котку, спросил резко: — Фамилия?

Коток поглядел на капитана, поморгал полуоткрытыми веками и отвернулся. Во взгляде его не было ни озлобленности, ни просьбы, а скорее усталость и безразличие.

— Ты у меня не отмолчишься! Еще раз спрашиваю: фамилия?

— Ну, Коток...

— И без «ну» мне! Это что: фамилия или кличка?

— У деда была кличка. А у меня вот фамилия.

— Имя и отчество? — Бордадын писал на листке.

Коток сказал.

— Национальность?

Степан пожал плечами.

— В паспорте-то у тебя что было написано?

— У меня не было его, паспорта.

— Отец из раскулаченных?

Коток ничего не сказал, только шмыгнул носом и вытер его чистым бинтом.

Воспользовавшись заминкой, Артюхов вновь обратился к Бордадыну и сказал, что сейчас надо менять караул, а оружие бойцов, которые должны заступать на смену, находится здесь.

— Мы не помешаем вам? — очень вежливо и очень тихо спросил Артюхов.

Бордадын взглянул на пирамиду, где стояло пять или шесть карабинов, и, резко поднявшись, захлопнул папку с бумагами.

— Сизоненко! — крикнул капитан.

В дверях появился старший сержант с автоматом.

— Вывести подследственного!

Сержант подождал, пока Коток поднимется, и, как только тот встал, повел его по коридору к себе, в особый отдел.

От окна сильно дуло, так дуло, что шевелились листки тетради, лежавшей на столике.

Артюхов погладил эти листки ладонью, но писать не спешил. В артиллерийских мастерских ему часто приходилось писать рапорты — объяснения к ведомостям на списание запасных частей. Но сочинять рапорты на списание человеческой жизни ему еще не случалось. Верти не верти, а рапорт дежурного по эшелону будет первой бумажкой в судебном деле Котка. В этой бумажке, как говорят юристы, констатируется факт. Василий знал это. Знал, что, напиши он теперь хоть пару слов, хотя бы то,

что приготовился было сказать Сарычеву, поджидая его у двери («боец полковой батареи Коток, находясь в карауле»... и т. д.),— и этого было бы достаточно. Да, но этого было бы достаточно, чтобы потом мучиться всю жизнь: «А может, если бы ты тогда не написал рапорта, то все обошлось бы по-другому?»

Нет, Василий Артюхов никогда не писал ничего подобного! Пусть вызовут, допросят его как свидетеля, и вся недолга!

Василий встал из-за стола, походил, снова сел. И когда снова сел, то подумал, что вся беда в том, что говорить-то он не мастер. Начнут задавать вопросы, что да как? Что говорил Коток, когда в теплушке затевались какие-нибудь споры? Как он вел себя в последние минуты перед заступленьем в наряд, на разводе? Еще обмолвишься, что Коток был бледен, что уронил обойму и долго не мог зарядить карабин, и уж наверняка все эти твои показания потом будут использованы. Пожалуй, лучше все-таки написать, решил Артюхов. Тут он наедине с собой, никто его не сбивает с толку, он может собраться с мыслями и написать все, как было. Но только почему он должен писать объяснение для Бордадына? Он – дежурный по части и подчиняется командиру и начальнику штаба. Им-то он и будет адресовать свой рапорт.

Артюхов стал писать. Каждое слово он подолгу взвешивал и обдумывал.

Василий написал коротко: указал станцию, где случилось происшествие, время; добавил даже свою оценку происшествия, указав, что часовой задремал и случайно нажал на спусковой крючок.

Перечитав написанное, он остался доволен и, вырвав листок из тетради, сложил его поудобнее. Василий решил передать рапорт Сарычеву или Проваторову теперь же, пока Бордадын не вспомнит о нем еще раз.

Спрятав листок в нагрудный карман гимнастерки, Артюхов вышел в коридор. Василий не успел еще закрыть за собой дверь, как столкнулся лицом к лицу с Паней. Она стояла тут же, возле его купе, у окна, и ждала. Он сразу догадался, что ждала: у нее не было с собой санитарной сумки. Значит, отнесла к себе и вернулась, чтобы поговорить с ним.

Василий подошел к ней, положил свою руку поверх ее руки, которой она собрала занавеску.

— Артюхов, дорогой! — Паня порывисто обернулась к нему.— Правда — как это ужасно!

— Да.

— Неужели он нарочно? Он не знал, что надо поставить курок на предохранитель?

— Верхогляд всех предупреждал. Даже инструкцию читал.

— Что ж, судить его будут?

— Наверное.

— Ты хорошо его знал?

— Я его как-то не замечал в дороге. Тихий такой, болезненный.

— Все-таки я ужасная трусиха! — Она прикоснулась к пуговице на его гимнастерке, потрогала ее.— Держится на одной ниточке. Будет минута — зайди, пришью.

Паня не глядела ему в глаза.

— Я заглянул вечером, как только принял дежурство. Но тебя не было.

— А-а! — Она улыбнулась краешком губ.— Я на свиданье ходила.

— К майору?

Она перестала вертеть его пуговицу, резко опустила руку.

— А ты откуда знаешь?

— Тут говорили: «проваторовская краля».

— «Краля»?! — Паня резко повернулась, смерила его долгим, пристальным взглядом.— И ты поверил?

Василий потупился, ничего не сказал.

— Артюхов, милый! — В ее голосе слышалась тоска.— Давай, сменишься, если все это обойдется, пойдем опять в пульман, к Ландышу. Хоть одну остановку проедем вместе! Хорошо?

— Хорошо.

Василий хотел привлечь ее к себе, но она отвела его руку. И молодчина, что отвела, ибо в ту же минуту грохнула дверь и в коридор вышел майор Проваторов.

Артюхов вытянулся по стойке «смирно» и замер; Паня — как стояла, прислонившись к окну, так и продолжала стоять. Только лицо ее вдруг посерьезнело.

Майор поглядел на них, щурясь близоруко из-под очков, и, кашлянув в ладонь, неуклюже пошагал вдоль коридора, от Сарычева к себе.

Артюхов нагнал его у самой двери.

— Товарищ майор! Вот тут я написал объяснение случаю...

Сухощавое и морщинистое лицо майора исказилось болезненной гримасой.

— Передайте его капитану Бордадыну.

— Есть!

— Полковник просил напомнить, чтобы вы связали его со штабом дивизии.

Артюхов не успел еще раз выпалить «есть!», как майор скрылся за дверью своего купе. Все были злы чертовски, будто он, Василий, виноват в случившемся. Есть ли справедливость на земле? Ведь сколько их, лейтенантов, едет в этих красных теплушках, и все они спят в этот ранний час. А он толкается тут, несчастный, стучится то в одну, то в другую дверь.

18

Хозяйство дивизии при погрузке заняло чуть ли не десяток эшелонов. А сколько дивизий следовало теперь по этой бесконечной магистрали — туда, на фронт! Кто ж о том знал?

Может, и знали — Ставка да еще военные коменданты таких вот станций, как Убинская. Ставка — оно понятно: командовала всем этим хозяйством, а коменданты знали оттого, что кормили, обмывали, одевали эту ораву, подбирали отставших.

Чтобы, случаем, не разгласить тайну о дислокации каждой части, двигающейся по магистрали, был присвоен особый знак, шифр. В тетрадь, где Артюхов расписывался о том, что принял дежурство, с грифом «секретно» был вклеен листок, в котором указаны цифры эшелонов полка, а в специальном конверте — шифр эшелона, которым следовал штаб дивизии.

Опасаясь в суете запамятовать цифры, Артюхов загодя выписал на листок шифр штадива и, как только поезд остановился, побежал искать военного коменданта.

— Я — ответдежурный по эшелону эс девяносто два дробь три,— представился Василий, войдя в крохотную комнатку коменданта.— Мне приказано связаться со штабом. - И он назвал шифр эшелона.

— А-а, это у вас там чепе? Знаю. Был у меня капитан

вал. Курчавый такой. Разговаривал по селектору. Приказано ждать прибытия штаба тут, в Убинской.

Комендант — немолодой, в очках, судя по всему, из резервистов. Солдатская шинеленка сидела на нем мешковато, новые кирзовые сапоги поскрипывали при каждом шаге. А он все время ходил: от полевого телефона — к селектору, от селектора — к столу.

Разговаривал одновременно со всеми, кто был в комнате.

— Продовольственный склад за углом! — Это долговязому старшине с большим заплечным мешком.

— Ваша часть проследовала! — Это бойцу в короткой шинели с прожженной полой.

Дверь в комнату ни на минуту не закрывалась: шли и шли люди. Начальники воинских эшелонов. Главврачи санитарных поездов. Солдаты и младшие командиры, отставшие от своих частей. Каждый совал ему свои бумаги, редкий — уговаривал, большинство — требовали. Галдеж, как на колхозном собрании. Звонил, надрываясь, телефон; тут же, между столом и печкой, вповалку спали бойцы, положив под головы вещевые мешки; какой-то пьяный старшина, с летными эмблемами на шинели, задержанный патрульными, методично выкрикивал одно и то же:

— Лонжерон!

Откроет глаза, оглядит всех, руки вверх — и снова:

— Лон-же-рон...

Артюхову обязательно нужно было уяснить: с кем разговаривал Бордадын? («Кудрявый капитан» — это был, конечно, он.) В какое время можно ожидать прибытия штаба дивизии? Но он никак не мог завладеть вниманием коменданта — отвлекали. Тогда Артюхов пошел на хитрость.

— Комендант, вас просят к телефону.— Василий поднял трубку аппарата, стоявшего на столе, и ждал, пока комендант подойдет. И когда наконец тот подошел, он сказал, улыбаясь: — Вот бюрократ! К трубке подходит, а на живого человека — никакого внимания...— И положил трубку, ибо телефон не звонил.

Комендант оценил его хитрость и заулыбался.

— Скажите по-человечески,— воспользовавшись тем, что комендант слушал его, торопливо продолжал Артюхов.— Капитан разговаривал со штабом?

— Да.
— А с кем лично — не знаете?
— Не знаю.
— Командир полка просил связать его. Это очень трудно?
— Просто невозможно! Штаб следует за вами. Эшелон уже вышел с Чулымской. Скоро будет тут. Кормите пока людей. Все?
— Все. Спасибо.
И тут как раз зазвонил телефон. Комендант взял трубку и в ответ на приветствие Артюхова закивал ему головой.
«Кормите людей! — думал Артюхов, шагая по перрону.— До еды ли тут?»
После душной и прокуренной насквозь комендантской каморки крепкий морозец был особенно приятен. Под утро выпал снежок, и теперь он бодро похрустывал под ногами.
Светало.
Небо в вышине было белесым, как много-много раз стиранное матерью рядновое полотнище — подстилка, на которой спал Василий в детстве. Прожекторы на станционных вышках еще горели, и в их лучах, приглушенных рассветом, кое-где мелькали человеческие фигуры.
Переходного моста в Убинской не было. Артюхов пробирался к своему эшелону через пути.
Тамбуры санитарных поездов закрыты. Приходилось, оглядевшись, нырять под вагоны. Двери солдатских теплушек наглухо задраены, лишь столбами поднимаются дымы из труб, и вся станция пропахла этим колчедановым, сернистым дымом.
Все спят в этот ранний час. Спят раненые на белых простынях — на жестких матрацах или в висячих люльках. Спит солдатня на тесовых нарах, подпихнув под бок сенца или соломки побольше, чтоб ребрам было помягче; спят, обогреваясь теплом друга и соседа, прикрывшись сверху новыми, пахучими полушубками.
И чего бы им не спать?
Те, что в санитарных вагонах, сделали свое дело. Сделали или не сделали — кто ж про то знает? Во всяком случае, старались! Старались — и вот теперь отстарались. Коль годны были б после госпиталя снова встать в строй, едва ли везли бы их сюда, в такую даль.
А этим, что в теплушках, им еще предстоит показать свое старание. Пусть и они спят. Сил набирают. Пусть

спят. За них бодрствуют другие. Машинист, ведущий поезд, кочегар, шурующий топку; стрелочник, комендант, часовые. И он, Артюхов.

Сегодня — он; завтра на его место заступит другой. Завтра? Нет, сегодня вечером. Только когда будет этот вечер? Ведь так много еще может случиться в течение этого ужасного дня!

Перед самым их эшелоном остановился состав с эвакуированным оборудованием. На платформах — сверлильные и фрезерные станки; кран-балки с застекленными кабинами, ребристые кожуха электромоторов. Часть оборудования свалена была в углярки; некоторые из них наспех заколочены сверху досками и покрыты толем.

Перебираясь по тормозной площадке к своему эшелону, Артюхов увидел вдруг с торца углярки лаз, прикрытый пологом. Он машинально отдернул дерюжку — и отступил, пораженный.

На деревянном помосте спали люди. Спали вповалку, в одежде. Тут же, меж станками, втиснута была печурка, что-то вроде жаровни. Женщина варила похлебку, помешивая ложкой в котелке. Услышав шорох, она повернулась, и при свете фонаря, горевшего вполнакала, Артюхов увидел миловидное, но усталое лицо.

— Не туляки ли, случайно? — спросил Василий.

— Нет. Харьковский тракторный.— Женщина поднялась и подошла к Артюхову. — Комендант, не будет ли у вас хоть кусочка сахару? Вон, ребенок простыл. Уж какой день мается.

— С собой нет. Пойдемте: тут, рядом, наша кухня. Что-нибудь придумаем.

Женщина растолкала старика, спавшего с краю нар.

— Батя, погляди за печкой. – Она подтянула потуже платок и, пригнувшись, вылезла из-за полога: — Пошли!

— Что ж вы в углярке-то? Или теплушку не могли вам дать? — спросил Артюхов, помогая женщине спуститься с высокой ступеньки тормозной площадки.

— Разбомбил, вражина! — сказала она.— Стояли в Лисках, а он как налетел! Сами-то ничего, разбежались. Станки жалко. Стенд испытания моторов сгорел. Полуавтомат калибровки цилиндров искалечил. Где их раздобудешь теперь, на новом-то месте!

— Далековато вас загнали.

— Теперь немного осталось. Говорят, куда-то за Барнаул нас, в степь. В Лисках-то тепло было. Сгородили нары в углярке. Думали: дальше Урала не повезут. А вот, видите, через всю Сибирь ехать довелось.

Артюхов молча перешагивал через шпалы, покрытые наледью. Женщина шла за ним, не отставая ни на шаг.

— Муженек-то, как и вы — в армии. Тоже офицер, — рассказывала она.— Поначалу писал чуть ли не каждый день. Их часть формировалась в Сумах. Теперь, поди, воюет — давно писем не было.

— А до войны-то муж кем работал? — спросил Василий.

— Он по снабжению работал,— подхватила она охотно.— До войны жили мы хорошо. Завод наш новый. Квартира была со всеми удобствами. А как началась война — подобрали мужиков. Чем жить? Ну, пошла я в цех. Не верите: попервой к станку подойти боялась, а теперь на нас, бабенках, весь цех только и держится. По две смены кряду за ворота не выходим. Да-а... Ну а тут, вражина, немец-то — бомбить стал. Днем — у станка, а ночью — на крыше дежуришь.

— Ночами бомбил?

— Сначала по ночам, а тут приладился и днем. Грузились под бомбами. Думали: хоть в дороге отоспимся. А в дороге вышло хуже, чем под бомбежкой. Вас везут — вам все, пожалте! А на нас, эвакуированных, как на цыган все равно смотрят. Угля для «буржуйки» не допросишься. Кипятку не дают. Да что там — кипятку! — хлеба по карточкам не отпускают. А мы разве виноваты, что немец нас из своих домов выгнал? О себе-то не думаешь: стариков да детей жалко. Он вон, ребенок-то, в жару мается, а я сижу над ним и плачу от беспомощности...

Рабочие по кухне уже пришли. Повар-армянин, раскрасневшийся от жары, прежде чем подойти к Артюхову, вытер потное лицо углом не очень опрятного фартука.

Артюхов попросил повара дать женщине сахару и, пожелав ей счастливого пути, чуть ли не бегом заспешил к теплушке батарейцев.

В теплушке шел обыск.

Бордадын и еще двое каких-то особистов рылись в вещевом мешке Котка. Замызганный, давно не стиранный, вещмешок этот чем-то походил на своего владель-

ца: мал, тощ, в рубцах и складках, как иссохший бараний бурдюк. Заплечные лямки, которыми он был завязан у горловины, кручены-перекручены.

— Телок, что ль, жевал их? — раздраженно обронил Бордадын, распутывая узел на горловине вещевого мешка.

Уполномоченный особого отдела сидел за столом, на том самом «красном месте», спиной к «буржуйке», где любил сиживать комбат, когда приходил к ребятам. Это было, в общем-то, радостное время, когда в теплушке появлялся комбат. Лысенко приходил, снимал полушубок, присаживался к столу и, отыскав взглядом своего любимца, Мишу Бутина, спрашивал:

— Ну, как спалось, Бутин?

— Ничего, товарищ капитан! Что я, генерал какой, что ли?

— А почему генерал-то плохо должен спать?

— У него заботы, — отвечал Бутин. — А у меня какие заботы? Поел — да вон на нары, тес боком гладить.

Посмеиваясь, ребята облепляли стол, и начинался тот непринужденный разговор, когда дело перемежается шуткой, когда время бежит незаметно, а на душе — тепло.

Теперь на «красном месте» сидел Бордадын, а комбат и политрук — на нарах и наблюдали за тем, как следователи трясли вещевой мешок Котка.

Артюхов присел у самой двери. Никто не обратил на него внимания.

Бордадын наконец-то развязал мешок. Помощник капитана — Василий не знал его и из-за полушубка не мог определить звание — вынул тетрадь, готовясь делать опись.

Сверху лежала пара запасного белья: кальсоны и рубашка — казенные, тябликовские. Потом Бордадын выложил на стол полотенце — домашнее, расшитое по концам петухами. Потом — кусок хозяйственного мыла, ножик, коробочку с пуговицами и нитками.

— А запасливый был,— обронил в тишине тот, который записывал.

Бордадыну, видать, надоело выкладывать по одной вещице. Он схватил мешок за дно, тряхнул — и на стол посыпалась всякая мелочь. Выпало, глухо звякнув, крохотное зеркальце, открывалка для консервов, коробок спичек, пара носовых платков.

Ничего особенного.

Ребята молча глядели на неказистые мелочи Степанова быта.

Хмурясь и нервничая, Бордадын стал складывать вещи обратно в мешок. Он взял полотенце с петухами, тряхнул — из него выпала тетрадь, толстая, в черном коленкоровом переплете. Капитан полистал ее, и из тетради на стол посыпались бумаги: конверты, открытки, фотографии.

Бордадын рассматривал каждую бумажку и коротко называл ее:

— Письмо из дому. Фотография девушки.

Второй чекист записывал.

Ребята издали с любопытством глядели на стол. На фотографии — девушка с косой: не то сестра, не то школьная подруга.

— А-а, вот оно! — вдруг вскрикнул Бордадын: он взял в руки какую-то бумажку и, поманив к себе комбата, сказал: — Полюбуйтесь-ка, капитан.

Лысенко взял бумажку. Руки у него дрожали.

Артюхов привстал с нар, заглянул в листок через плечо комбата.

На линованном листке из ученической тетради чернильным карандашом было написано:

«Пирепиши и пиредай товарищу.

И вошел Христос в дом и увидел апосталов своих, и рече им Гасподь Бог наш: «Говорю вам воистену: не убий! Все людие. Пусть рука твоя никогда не подымется на врага твоего. Не подымай с земли камня, чтобы бросить в обидчика твоего. Не натягивай тетивы, чтобы пустить стрелу во врага твоего. Не замахивайся пищалью. Говорю вам: не убий! Все людие твоя. Аминь!»

Читая, Артюхов почувствовал вдруг, что в глазах у него темнеет.

— Религиозный фанатик! — вырвалось у политрука.— Кто бы мог подумать?

— Проглядели парня,— сказал капитан Лысенко, возвращая бумагу Бордадыну.

19

Они сидели на жестком тюке сена. Позади фыркали лошади, а впереди, в каком-нибудь метре от их ног, в желобке швеллера, по которому двигались

дверные ролики, белел снежок. С утра мело и сыпало сверху, и оттого — и равнина, открывшаяся им, и сонные бараки редких полустанков, и горбатые березы колков — все припорошено снегом. Было свежо, бодро и очень-очень хорошо. До того хорошо, что у Василия даже в мыслях не было обнять Паню или приставать к ней, как тогда он приставал к шахтерке.

Ничего этого и в помине не было. Если и было что — так, пожалуй, мальчишеское озорство, причем совместное — и с его и с ее стороны. Озорство во всем, во всем! Начиная с того, как они обвели всех, чтобы уединиться, и кончая тем, как сидели теперь — совершенно по-мальчишески.

Эти дни Артюхов только и жил ожиданием встречи. Они договорились встретиться сразу же после того, как Василий сдаст дежурство. Но на другой день, после ее смены, почти совсем не ехали, а все больше стояли.

Все из-за того же Котка.

Еще в Убинской его сняли с их эшелона и перевели в другой — в тот, которым следовал штаб дивизии. И как только увели Степана, то и сам Артюхов, и ребята, несшие караульную службу, поуспокоились немного: пусть трибунал, разве они виноваты, что так получилось...

Вечером Артюхов сменился, и всю ночь, пока батарейцы, выбитые из колеи этим страшным днем, спали вповалку, эшелон их по-прежнему отмеривал положенные ему километры. Утром, как обычно, встали, позавтракали; политрук решил провести комсомольское собрание. Разговор на собрании был горячий, бурный, и когда выговорились, понемногу начали отходить от вчерашнего. Перед самым обедом на каком-то глухом-глухом полустанке эшелон их загнали в тупик.

Их загнали в тупик, а рядом, освободив два пути для сквозных поездов, понаставили кряду еще три или четыре эшелона: штаб дивизии, два других батальона, разведчиков, минометчиков, саперов — одним словом, собрали весь полк. Собрали разом, и вот уже бежит дежурный:

— Выходи строиться!

А из теплушек:

— С оружием?

— С оружием!

И что-то тревожное было и в том, что собрали весь

полк, и в той торопливости, с какою бежал мимо теплушек дежурный.

Эта тревога сама собой объяснилась, лишь только батарейцы увидели своего комбата.

Артюхову показалось, что капитан за одну ночь постарел чуть ли не на десяток лет. Глаза его ввалились; возле губ и на лбу стали заметны глубокие морщины. Лицо серое, и каждая оспинка на нем обозначилась, словно кто-то нарочно каблуками по нему прохаживался.

Лысенко молча наблюдал за тем, как Тябликов без обычных своих шуточек производил построение, и, как только батарея построилась, не дожидаясь доклада, комбат обронил:

— Пошли...

И они пошли.

В заснеженной степи, за семафором, на самом что ни на есть юру, уже стояли два других батальона их полка. Они построены были в каре; четвертая сторона его, та, что от железной дороги, оставалась незанятой; туда-то, спиной к железной дороге, и встали батальон Кузовлева, батарея, девчата санроты, повара. У ребят были знакомые в других батальонах. С некоторыми из них они не виделись всю дорогу и теперь, узнавая друг друга, сдержанно кивали головами, приветствуя.

Каждый час продвижения эшелонов к фронту был на счету, и, однако, уставной порядок оставался: торжественная встреча командира полка, генерала-комдива. И лишь когда все уставные ритуалы были исполнены, от маячивших вдали красных теплушек отделилась кучка людей, человек пять.

Бойцы застыли в напряженном и мрачном ожидании.

Вскоре из этих пяти можно было разглядеть и опознать каждого в отдельности. Впереди шел Коток — в ватнике с чужого плеча, без шапки. Раненая рука его болталась на белой марлевой повязке.

Артюхов, как только увидел Котка, сразу все понял. Бледный, прикусив до боли губу, стоял Василий впереди своего взвода и твердил про себя одно: «Спокойно, спокойно». Он боялся, что сердце от волнения не выдержит,— так оно стучало.

В степи мела поземка: за спиной все время с грохотом проносились поезда, и было плохо слышно, когда читали приговор. Почему-то Артюхова особенно поразили слова

Максимова, после того как зачитали приговор: «И этот человек ел наш, советский хлеб!» И Василий подумал тогда, что, наверное, в этой степи растут хорошие хлеба...

— Тогда, в самую последнюю минуту, ты глядел или закрыл глаза?

— Я глядел, но ничего не видел...

— А я закрыла глаза. Я ужасная трусиха!

— Не сказал бы. Как ловко ты ему рану перевязывала. И не боялась.

— Крови я не боюсь. А смерти — да! В смерти, да еще молодого человека, есть что-то противоестественное.

— Конечно! Одно дело, когда умирает старик, проживший век, а так вот, глупо...

Они сидели на жестком тюке сена, и то, что произошло тогда, на глухом полустанке, незримо присутствовало здесь, в этом пульмане.

— Говорят, он сектант какой-то?

— Я его мало знал. Он был тихий, неприметный. Забьется на нижние нары и сидит молчуном весь день. Нашли у него записку. Знаешь, как старушки в церкви переписывают поминальники: «Перепиши и отдай другому».

— Ну?

— «Не убий», «не убий»... В общем, чепуха какая-то! Не знаю, чье это дело: сектанты ли виноваты или невежество? Но и без этой записки его все равно бы судили. Вчера, на комсомольском собрании, ребята вспомнили случай в Уссурийске. Когда вы с Клавой чуть не отстали. Эшелон-то останавливали...

— Еще бы не помнить! Если б я тогда не отстала, может, всю жизнь не знала бы, что такое счастье.— Паня улыбнулась, и глаза ее затеплились при одном воспоминании.— Как ты на кормушки-то тогда полетел!

— А тряхнуло-то! И все из-за Котка... Он что сделал? Сделал вид, что отстал. Ухватился руками за скобу, а ноги волочит. Ребята бросились помогать ему. В теплушку норовят втащить... А он — ногу под колесо! «Пошли вы,— говорит,— к чертям!» Откинулся — но ребята все-таки успели его подхватить. Тут как раз остановили поезд, и все обошлось.

— Так и сказал: «Пошли вы»?

— Максимов божился, что сам слыхал. Да как-то не придал значения.

Паня пришла в полк раньше Артюхова. Она знала многих батарейцев, и Максимова тоже. Теперь она ничего про него не сказала, а только резко пожала плечами, когда Василий назвал его. Но по тому, как Паня дернула плечами, Артюхов понял, что она не очень-то доверяет Максимову. Василий и сам думал об этом: помогали Котку многие ребята, и Абдуллин и Верхогляд, а слышал лишь один Максимов. Но Артюхов отнес молчание Абдуллина и Верхогляда за счет ложно понимаемого чувства товарищества: не хотели затевать историю. Наверное, что-то было! Ведь и тогда, когда разговорились про войну, про то, кто останется жив, а кто погибнет, — ведь что он, Коток, сказал тогда? «Если б никто не захотел брать оружия — не было б и врагов...» А кто на слова его обратил внимание? Никто! Один политрук. Зотов еще пошутил: толстовство, мол, и все такое. Но в батарее есть ребята, которые почти три года служат с ним. Неужели он ни с кем не делился своими мыслями?

— Видно, был он очень скрытный,— обронила Паня.

— Может, и скрытный. А скорее всего случилось все это от нашего равнодушия. Нет, ты послушай, не перебивай! Ведь если строго разобраться, то и я виновен в том, что случилось.

— Ну что ты!

— Ведь он, по сути, открыто говорил, что надо бросить винтовки. Гитлер, мол, сам не пошел бы воевать: воюет народ! Политрук возразил, а остальные, в том числе и я, промолчали. Промолчали не только при этом, но и раньше, когда он послал всех к черту,— мол, воюйте без меня.

— Мы мало как-то думаем друг о друге,— призналась Паня.

В тишине слышно было, как похрустывают лошади, жуя сено, да стучит по железной кровле вагона мелкий, колючий снежок.

— В последний раз, в Иркутске,— заговорил Артюхов,— увидел, что ты грустная... весь день не находил себе места, все думал: кто тебя обидел, почему ты мне ничего не сказала об этом?

Паня теплой ладонью погладила его руку.

— Мне трудно было рассказывать.

— Почему?

— Ну как «почему»? Нам, девушкам, вообще-то в жизни труднее, чем ребятам, а в армии, на фронте, и по-

давно.— Она вздохнула.— Мир так устроен, что мужик не может равнодушно пройти мимо бабы. Вдобавок, если она молода и хороша собой.

Артюхову слова эти показались обидными, будто в них был упрек и ему. Он хотел встать, но Паня удержала его.

— Я не о тебе,— помолчав, вновь заговорила она.— Если б я думала о тебе плохо, я бы не рассказывала тебе обо всем. Посуди сам — в дороге и то проходу нет, а что будет там, на фронте?

— В дороге делать нечего. Скучно.

— В дороге скучно, а на фронте — смерть. «А-а, чего ж тут! — думают многие.— Все равно завтра могут убить». А когда начинаешь так думать, то ничего святого уже не остается. Правда, ведь?

— Правда.

— Вы злословите о нас, девчатах? — спросила она.

— Бывает,— признался Артюхов.— Но чаще беззлобно, шутя. Особенно ребята любят подшутить над старшиной. Говорят: «Эх, старшина, старшина! Отбил у тебя Малахов Клавку-то».

— И мы... Как соберемся — так только и разговору о нашей судьбе.— Говоря, Паня смотрела в дверь — на заснеженные степи, на дальние лесочки-колки, которые просвечивались насквозь.— Как соберемся, так: «Ой, девоньки!» Одна умереть боится. Другая...— Она очень хорошо улыбнулась, одними ямочками, и добавила тише: — А другая — боится, как бы не родить.

— Паня!

— Ну, что «Паня»?! Один хорош, а другой еще лучше. Ведь хоть бы вас поровну было! — вырвалось у нее искренне.— А то на каждую по сотне. Девчата, что побольше видели в жизни, считают, что без мужика нашему брату на фронте никак нельзя. Ну необязательно жить с ним, как муж там с женой,— пояснила Паня, понизив голос.— Но дружить... Если это возможно только. Главное — чтобы все знали. Другие приставать не будут. Люба — есть у нас такая хохлушка. Маленькая, забавная... В вагоне причесаться-то толком негде, а она все косы решетом вокруг головы накручивает. «Я,— говорит,— своими косами у Пани вон майора отобью». А майор этот мне нужен, как мертвому припарка!

Василий ничего не сказал, только встал тихо и так же тихо отошел к перегородке, за которой стояли лошади.

Ландыш вскинул голову и поглядел на Артюхова черным, навыкате глазом.

— Игра все это! — Паня поднялась и, подойдя к Ванилию, взяла его за плечи, повернула к себе, чтобы видеть его лицо.— Не дуйся, дорогой, не надо! Женщины бывают и мудрые, и коварные, и лживые. А девушки — они в этих вещах одинаково глупые. И я — не исключение.

Артюхов хотел сказать ей что-нибудь колкое, да не нашелся и только подумал про себя, что дыма без огня не бывает.

— Артюхов, милый!..— Паня смущенно теребила мех на отвороте рукава.— Я тогда, в вагоне, поняла, что ты думаешь обо мне бог знает что. И мне хочется рассказать тебе все-все! Майор этот — очень хороший человек. Эта игра началась у нас с самого первого дня. В часть я приехала без звания, неаттестованной. Ну, решили меня аттестовать. Заполнила я, значит, анкету. Принесла, отдала Михалычу. Военврач написал характеристику: «политически надежна, грамотна, выдержанна». Какое там «выдержанна»! Прошло дня три. Вызывают меня в штаб. Сам Проваторов. Прихожу. Майор очень вежлив. «Садитесь»,— говорит. Ну, села. Он бумаги мои разглядывает, а я потихоньку разглядываю его. Новый человек — приглядываюсь. Ты Проваторова видел близко-то?

— Я и глядеть на него не хочу!

— О, какой злой! — Паня улыбнулась.— Может, мне в таком случае не рассказывать?

— Нет, почему же, рассказывай.

— Да, смотрю я на него, и мне почему-то смешно. У него подбородок вперед выступает, ну прямо ни дать ни взять — носок кирзового сапога! Руки длинные, сутулый. Полистал мою анкету. Потом открывает ящик стола, достает оттуда бумаги. Пошуршал бумагами и глянул на меня этак, из-под очков. А я улыбаюсь. Не то что улыбаюсь, а просто хохот меня разбирает — и все! Никак сдержать себя не могу. Он сделал вид, что улыбки моей не заметил. «Нам прислали кое-какие документы из училища,— говорит.— Оказывается, вы состояли в комсомоле?» — «Состояла».— «А почему в анкете не указали?» — «Но я же исключена».— «Так надо было б и указать, что исключены. И причину указать. А так нехорошо получается». Он снова глянул на меня, и я покраснела до ушей. Не оттого, что испугалась — звания мне не ви-

[illegible], а стыдно стало. Как будто я его, майора, обмануть в чем-то хотела. А исключили меня из комсомола... я тебе рассказывала — из-за отца. В Хабаровске я у тети, маминой сестры, жила. Ну, та меня и научила: «Не пиши,— говорит...— До Озер твоих небось далеко. Кто проверять будет?» Если б я про отца написала при поступлении в училище, то меня бы не приняли. Это уж точно! А мне так хотелось. «Вот, чтобы вы не обзывали нас штабными крысами... Раз-раз! — Майор порвал выписку из протокола комсомольского собрания, бросил в корзину.— Идите!..»— Паня помолчала.— Так между нами возникла тайна — он знал об отце и я. А тайна сближает. Вот хотя бы теперь. Может, больше между нами и ничего не будет. Приедем на фронт — или ты погибнешь, или я... И кто останется в живых, тот и будет вспоминать.

— Не надо об этом,— подал голос Артюхов.— Будем думать о хорошем.

— Да ведь оно само думается,— подхватила Паня.— И о хорошем, и о плохом. После того разговора он стал меня примечать. Встретит: «Как жизнь, сержант Зайцева?» (Он меня по-другому никогда не называет, а только так, официально: «сержант Зайцева».) А я как погляжу на него, так меня смех разбирает — подбородок у него, как носок кирзового сапога... Однажды, за неделю до погрузки, я забежала вечером в штаб. С утра мне надо было получить медикаменты на складе, и военврач должен подписать накладную. Я думала, он там. Но Михалыча в штабе не оказалось, а когда искала, заглядывала в двери, то наткнулась на Проваторова. Он очень обрадовался: «А-а, сержант Зайцева! А ну, красавица...» — и поманил меня к себе в кабинет... вот так, пальцем...— И она показала, как он поманил, согнув указательный палец.

Но Артюхов не глядел на ее палец, он смотрел в полуоткрытую дверь пульмана, на редкие березовые перелески и думал с горечью: «Поманил — и ты пошла!» И щеки его горели — от ревности, от зависти; он ненавидел себя в эту минуту и злился, что не может побороть в себе это чувство.

— Поманил. Я зашла. А у него в кабинете — сам черт ногу сломит. Стол, диван, подоконники — все папками завалено. Перебирает бумаги. Убрал пыльные папки с круглого столика и говорит: «Давайте попьем с вами чаю».— «Давайте»,— говорю, а сама чую — вот-вот снова рассмеюсь. Ничего, сдержалась. Чайник у него на плитке

стоял, сухари какие-то залежалые достал из шкафа... Ну, сели мы пить чай, он и говорит: «Нравитесь вы мне, сержант Зайцева. Но я уже пережил тот возраст, когда мужчина смотрит на женщину только с эгоистической точки зрения...» Он любит выражаться длинно и красиво. Я слушаю, понятно. «Так вот,— продолжал он,— может так случиться, что нас в скором времени перебросят отсюда на запад. Хотите остаться здесь? А-а? На наше место приедут необученные призывники. Будете командиром санвзвода. Подумайте!» — «Я поеду вместе со всеми»,— говорю ему. «Воля ваша, как хотите». Поговорили, попили чаю — и я пошла. И позабыла про него! А тут как-то — не то в Облучье, не то в Бурее — вваливается к нам в теплушку Михалыч: «Зайцева, с вещами на выход!» Ну, собралась я. Приводит меня военврач в штабной вагон. Указывает место. Я своим глазам не верю. На нарах, знаешь ведь как, валялись впритирку друг к дружке. А тут гляжу — батеньки мои! Простыни белые, одеяло. Рай! Удивилась сначала. А вечером является майор: «Сержант Зайцева, с новосельем вас!» — «Спасибо,— говорю,— товарищ майор».

— И говоришь, «хороший человек»?!

— Обожди, послушай! Вот какой ты горячий. Молодые ведь какие? Не признавался еще... слова не сказал, а уж обниматься лезет. Ну, хотя бы как тогда дружок твой Малахов. А если пошел провожать да целоваться полез, а ты оттолкнула, то все: разрыв навеки, обида. Правда ведь?

— Правда.

— Ну вот! А майор — он совсем-совсем не такой. Придет, сядет напротив и смотрит на меня из-под очков. Ласково так смотрит. Отец у меня тоже очки носил...

Посреди заснеженного поля стоял комбайн. Транспортер и мотовильца хедера запорошены снегом. А у самой опушки колка, скособочившись, притулился вагончик механизаторов. Были ли там у вагончика люди — Артюхов не разглядел: почти беспрерывно по линии шли встречные поезда. Углярки, забитые оборудованием эвакуированных заводов, санитарные, с замазанными белилами окнами, цистерны с нефтью. И снова — станки на платформах, красные кресты на санитарных; эвакуированные, раненые. Раненые, эвакуированные...

Сибирь глотала все.

— Паня! А что вы тогда купили на мою трешку? Ну, помнишь, которую я сунул тебе в руки? — И он впервые за все время разговора поглядел на нее — радостно и открыто.

Она тотчас вспыхнула, озаренная воспоминанием о том памятном воскресном дне.

— Мы тогда долго потешались над тобой. Чумной, мол, какой-то. Подарил три рубля — и убежал.

— А знаешь, что случилось тогда? Ну, помнишь, мы стояли вместе у киоска. А потом подбежал курсант и поманил меня. И знаешь, что он шепнул мне? Он сказал, что началась война.

— Да? Откуда он узнал? Ведь по радио объявили только через час.

— Узнал. Иностранное радио один его товарищ поймал.

— А-а!.. А мы,— Паня улыбнулась, вспоминая,— взяли сначала мороженого. И на твою долю тоже. Ходили по аллеям, искали. Потом вдруг загудели сирены, и по радио объявили, чтоб все военнослужащие немедленно явились в свои части. Парк сразу опустел. Мы с Юлей... помнишь, беленькая такая, толстушка! В Камень-Рыболов ее направили, в санчасть... Мы пошли с ней в гастроном, купили бутылку портвейна и всей комнатой напились. Ей-богу, с одной бутылки все были пьяны. Как знали, что через неделю расставаться.

Она смеялась, рассказывая. А он слушал ее и думал: как ему поступить теперь, что сделать? Ему почему-то казалось, что он должен спасти ее, Паню.

А, собственно, что он мог сделать? Кто он такой? Так себе, лейтенантик, очутившийся в полку в последнюю минуту перед отправкой на фронт. Никого толком не знает, и о нем никто не слыхал. Если бы, скажем, на фронте дело было. Скажем, в первом же бою он подбил десяток немецких танков прямой наводкой и вот о нем только и разговор в полку. Пришел бы тогда к этому самому майору: «Товарищ майор, откомандируйте санинструктора Зайцеву в мой взвод. Есть раненые». Майор рад угодить: «Пожалуйста, товарищ Артюхов. Зайцева, марш в батарею!» Это на фронте, а пока — «Кругом!» скомандует, и вся недолга. «Поговорить по душам с комбатом?» — мелькнула было мысль. Но после несчастья с Котком капитан ходит как побитый, тише воды и ниже травы... И сколько

ни думал Артюхов, ничего, абсолютно ничего не мог придумать. Он был полон решимости действовать — и это пока все.

Поезд, замедляя понемногу скорость, остановился на каком-то полустанке. Василий спрыгнул, помог Пане со скользкой железной подножки спуститься на землю и, взяв ее за руку, побежал. Она не успевала за ним. Они добежали до штабного вагона. Ребята еще не успели двери теплушек отодвинуть, а Паня была уже на ступеньках своего «зеленого фургона». Она поднялась на подножку — разрумянившаяся, шапка сбита набок — протянула было руку Артюхову на прощанье, но он, словно не видя ее руки, сам вскочил на подножку.

— Не ходи! — Паня умоляюще поглядела на него.

— Скандала не будет. Уверяю тебя.— Артюхов старался говорить спокойно.— Иди к себе и собирай вещи. Я сейчас...

— Но мы уже тронулись.

— А-а! Мы давно уже с тобой тронулись,— пошутил он.

И то, что он пошутил, несколько успокоило ее, и Паня пошла к себе. Паня пошла к себе, а Артюхов, подтянув потуже портупею, постучал в дверь купе, в котором ехал комбат.

— Входите, открыто! — чужой, не комбатов голос.

Артюхов вошел. На нижней полке слева лежал старший воентехник, начальник боепитания полка. В полосатой пижаме, в шерстяных, домашней вязки носках. Будто не на фронт едет, а в отпуск, на курорт. За столиком у окна сидел военврач, читал книгу. Михалыч был подслеповат малость и, оторвавшись от книги, видимо, не сразу узнал Артюхова — долго глядел на вошедшего, как бы соображая: что тому надо?

— Вам капитан нужен? — наконец узнав его, спросил военврач.— Лысенко в теплушке у ребят.

— Да мне, собственно, с вами об одном деле потолковать надо,— сказал Артюхов, как всегда при волнении косноязычно.— Если можно, выйдите на минутку. Я подожду вас...— И, еще раз извинившись, попятился, выходя в коридор.

Военврач вышел тут же, подтягивая на ходу ремень на изрядном брюшке. Командир санроты был толст для своих неполных тридцати лет, круглое лицо его лоснилось,

вместо кадыка рос второй подбородок. Но он, судя по рассказам Пани, не был лишен доброты и юмора.

— Слушаю вас, лейтенант,— сказал военврач и пристально, в упор поглядев на Артюхова.

У командира санроты не было бухгалтерской привычки глядеть на своего собеседника поверх очков: он глядел через стекла, но пристально, как смотрят в лупу.

Этот взгляд успокоил Артюхова.

— Военврач, у меня к вам щепетильное дело,— заговорил Василий.— Тут с вами едет санинструктор Паня Зайцева.

— Да. А что?

— Нельзя ли вместо нее послать сюда другую девушку?

— Почему «другую»?

— Хотя бы потому, что она давно уже с вами едет. Пора и черед знать. Пусть другая на белых простынях да в тепле поспит.

— Вы так думаете?! — Морщинки на широком лбу военврача сбежались, и Артюхов, наблюдая за тем, как они гасли и возникали вновь, подумал, что Михалыч, по всей видимости, любит шахматы и упрям в игре.

— Военврач, друг! — доверительно и горячо заговорил Артюхов.— Извините. Может, надо бы сразу вас предупредить. Можно мне с вами поговорить не как со старшим по званию, а просто как со старшим товарищем? Наконец, как мужчина с мужчиной? Правда, мы мало знакомы...

— Ну, что вы, пожалуйста!

— Так вот. Представьте себе на минуту, что Паня — ваша жена.

— Жена?!

— Пусть не жена даже,— поправился Артюхов, смутившись.— А, скажем, самый-самый дорогой, самый близкий для вас человек. Могли бы вы жить спокойно, зная, что она едет тут, а не вместе со всеми девушками? И какой-то майор может в любой час дня и ночи, пользуясь своим положением начальника, заходить к ней, распивать наедине чаи, ласково заглядывать ей в глаза. Скажите, военврач, могли бы вы жить спокойно, а?

— Лейтенант, вы потрясли меня! — На лице военврача блуждала ухмылка: вот-вот рассмеется. Но Михалыч не рассмеялся, а сказал серьезно и даже озабоченно: —

Отдежурит неделю — и сменим. Мы санпост при штабе всегда меняем понедельно. Это все?

Артюхов покраснел.

Из своего купе выглядывала Паня и, улыбаясь, строила ему рожицы: показывала язык, укоризненно качала головой, мол, меньше надо болтать!

Она была к тому же еще и озорница, сержант Зайцева... Ну ничего, Василий припомнит ей это!

20

Из четырех десятков батарейцев, ехавших в теплушках, брились только двое: старшина и политрук. У остальных тридцати восьми едва-едва пробивался пушок. Правда, Малахов носил баки, но, во-первых, баки были тощенькие, реденькие, а во-вторых, у него не было своей бритвы, и он всякий раз просил старшину, чтобы тот навел ему фасон.

Тябликов делал это артистически.

Старшина — аккуратист, он строго следил за своей внешностью: брился через день, превращая бритье в своего рода священнодействие, ритуал, что ли!

Утро, еще все покряхтывают и потягиваются на нарах, а Тябликов уже суетится возле стола. Постелил с уголка кусочек газеты, на газету зеркальце поставил, пластмассовый стаканчик, прикрытый чашечкой, помазок, мыльный порошок в высокой картонной коробочке (ни дать ни взять сигнальная ракета, только не в вощеной бумаге), по зеленому полю — белым: «Нега». Выставил приборы, достал небольшую коробочку орехового дерева. В коробочке — бритва. Вот он взял в руки бритву и — раз-раз! — провел лезвием по волосам, над ухом. Проверяет, очень ли затупилось?

Затупилось-таки! Старшина распоясывает ремень, пряжку набрасывает на гвоздь, поверх висящего на нем его же полушубка, и долго смурыжит лезвием по ремню. Да так, что искры мелькают. Наведя бритву, попробует, остра ли, и только когда все готово, он наливает в пластмассовый стаканчик кипятку и подсаживается к зеркалу. Приглядываясь и как бы изучая свое лицо, он долго трет ладонью подбородок и щеки, не то массируя их, не то просто ему доставляет удовольствие ощущение собственной щетины.

Пену старшина взбивал по-особому, не помешивая, а постукивая помазком. Потом начинал бриться. Когда он бреется, то очень смешно гримасничает,— перекашивая рот, подбирая верхнюю губу, закрывая по очереди глаза. Зато пальцами он работает при этом виртуозно.

Побрившись, Тябликов мыл помазок, протирал полотенцем бритву и все аккуратно складывал в чемодан. Бритву и прочий свой приклад он берег и никому не давал.

Совсем по-иному брился политрук.

Если применимо к такому, в общем-то обыкновенному делу, как бритье, слово беспорядочный, то Зотов именно так и брился: без какой-либо системы, от случая к случаю. По праздникам либо когда его светлая и, в общем-то, малозаметная щетина отрастет настолько, что к ней начинали приставать волокна с потертого вафельного полотенца. Тогда он спохватывался, говорил шутя: «Ага, значит, пришла повестка от цирюльника! Ну что ж, надо облагородить себя».

И тут-то наступало самое интересное.

Приготовление к бритью у политрука всегда начиналось с поисков: где безопаска? где помазок? Никогда Зотов сразу не мог вспомнить, куда сунул свои бритвенные принадлежности — бритву или тот же помазок из грубого конского волоса. Всякий раз, когда политруку приходила на ум затея с бритьем, помазок искали всем вагоном. Даже присказку сочинили ребята по этому поводу. «Бутин! — спрашивал кто-либо.— Ты не видал политруков помазок?» — «Видал».— «Ну, скажи же скорей: где он? Сбились с ног все, ищем».— «А вон на платформе, вместе с эвакуированным оборудованием в Сибирь покатил».

И на этот раз все так же было.

Артюхов еще спал; еще чуть-чуть лишь просветлело обледенелое окошечко, возле которого лежал, как вдруг он почуял, что кто-то шарит руками у него под боком.

— А-а! Что? — Василий вздрогнул и, испуганный, приподнялся.

— Да спи ты! Чего вскочил? Рано еще.— Политрук продолжал шарить руками по подстилке.— Василий, ты, случаем, не видал моего помазка? Скоро Курган. Хотел побриться.

— Курган! Что же ты раньше-то не сказал?

— Не знал, какой дорогой поедем. Ночью повернули на Петропавловск. Теперь Кургана не миновать.

— Телеграмму дал старикам?

— Да некогда уже теперь давать! Уже Макушино. Через два часа в Кургане будем. А телеграмму дашь — она придет в лучшем случае к вечеру.

— Пожалуй,— согласился Артюхов. Сон его прошел: Василий привстал на колени и принялся помогать политруку в поисках помазка.— Под головами смотрел?

— Смотрел.

— Может, под бок к Малахову завалился? — высказал предположение Артюхов.— Иван! — Артюхов растолкал Малахова.— Погляди, нет ли у тебя в головах политрукова помазка?

— Чего? — Малахов нехотя приподнялся и стал искать.

Через какие-нибудь пять минут в поисках принимало участие все население верхних нар. Помазок словно сквозь землю провалился. Мало-помалу в поиски включилась и другая сторона. Ребята начали переговариваться, высказывая различные предположения и догадки. Одним словом, из-за этого злосчастного помазка все поднялись раньше времени и стали трясти тулупы и мешки. А помазок оказался в верхоглядовском ящике, в том самом, где хранились карандаши и бланки боевых листков. Видимо, когда Верхогляд в Новосибирске выставлял газету, Зотов брился, и сержант засунул его помазок вместе со своими бумагами.

Все обрадовались находке. Ребята, потягиваясь, слезали с верхних нар.

Начиналось утро.

Как всегда, когда едешь далеко на восток или с востока сюда, на запад, из-за разницы во времени в вагонах царит сумятица. В Посьете, откуда начинался их путь, теперь полдень. А тут, на Урале, едва-едва брезжил рассвет. И ребята, сбитые с толку, вставали загодя, до подъема. Давно уже не открывали дверь во всю ширь, и никто не спешил, не продрав со сна глаз, выглядывать на волю. Умывались тут же, у печки, над ведерком, сливая друг другу воду из кружки. По нужде тоже не надо было бежать далеко. С наступлением холодов Тябликов брезентовым пологом отгородил уголок за пирамидой. В полу проделали отверстие — клозет получился удобный и гигиеничный.

— Отодвинемся подальше, а то мешаем политруку бриться...

Ахмед взял ведерко с водой и отошел от стола, за которым сидел Зотов.

Политрук водил помазком по куску мыла. Мыло плохо пенилось и, как он ни старался нанести пену на подбородок, мыльные пузырьки лопались, вода стекала с него и капала на колени. Зотов поспешно соскребал щетину безопаской, второпях порезался и, чтобы не текла кровь, на каждую ранку приклеил по клочку бумаги.

Когда политрук закончил бритье и встал из-за стола, вид у него был страдальческий. Артюхов, обуваясь, пошутил: «Ну и видик у тебя, как будто побывал в боях под Можайском».

— Ближе! — ответил Зотов.— Бои идут уже под Малоярославцем и Волоколамском.

— Это ж совсем под Москвой! — подхватил Максимов.— В Малоярославце я бывал. У моего дяди там дача.

— Вот и поедешь дядю от немцев освобождать,— не то шутя, не то всерьез обронил Верхогляд.

— Да-а... Как она там, Москва-то наша. Еще держится?

После объявления столицы на осадном положении каждое утро начиналось с разговоров о Москве. С тревогой ожидали прихода комбата. Он всегда приносил из штаба свежие новости: на каком участке фронта появилось новое направление, где идут наиболее упорные бои. Но больше всего бойцы волновались за Москву. Все почему-то были уверены, что дивизию бросят именно туда, на защиту столицы.

— Интересно, а парад на Красной площади будет нонче? — спросил, ни к кому не обращаясь, Бутин.

— Раз Сталин остался в Москве, значит, и парад будет! — Зотов поднялся из-за стола, быстро-быстро запихнул куда-то помазок и безопасную бритву и, отодрав клочок бумаги с кровоточащих порезов, стал умываться.— Может, нас специально для парада и нарядили так...— говорил он, смывая со щек серые разводы мыльной пены.— Еще войдем в историю, ребята!

— Да уж мы и так вошли в историю,— мрачновато пошутил Верхогляд.

— Какой там парад, политрук! — Малахов свесил с нар длиннющие ноги и сидел, почесывая спину.— Для

парада пушки у нас не те. У немцев вон видали картиночки? Орудия на мототяге. А мы за десять тысяч верст с вьючными пушчонками едем.

— Немецкий машина дорог хороший надо! А мы-то свой полковушки на руках до самого ихнего Берлина дотащим,— говорил Абдуллин, надевая полушубок.

Он был дневальным и готовился на остановке бежать за завтраком.

Завтракали молча.

После случая с Котком и разговора на комсомольском собрании ребята как-то сдерживались: у всех были ложки при себе, и никто, перед тем как навалиться на еду, не лазил к Бутину, в темный угол нижних нар.

А на этот раз, перед завтраком, снова заметил Артюхов какое-то оживление. Не успел Ахмед разложить по мискам душистую пшенную кашу, как юркнул в нижний угол нар Бутин; за ним скрылся там и Тябликов.

Артюхова словно кто-то подтолкнул сзади. Он поставил миску с кашей на стол и, пригнувшись, метнулся за старшиной.

Опершись на локти, Тябликов держал кружку. Бутин наливал в нее из фляги спирт.

— Налей-ка и мне, Миша! — нарочито громко сказал Артюхов.

Бутин — шустрый и сообразительный — мигом сунул флягу под вещевой мешок. Правда, закрыть не успел. Жестяная пробка от посудины, глухо звякнув, ударилась о тесовую стену вагона. Бутин пошарил ее, но не нашел.

— Да что вы, товарищ лейтенант! — шепотом отозвался Тябликов.— Оставалась тут капля от моих байкальских подарков. Аппетита что-то нет. Вот и решил подкрепиться перед завтраком.— И он поспешил опорожнить кружку.

— Налей, налей, не жадничай! — Артюхов взял из рук старшины кружку и, придвинувшись к Бутину, настойчиво просил налить ему хоть глоток.

Миша вопросительно уставился на старшину.

— Ну, плесни. Только тихо,— согласился Тябликов.

Бутин, осмотревшись, извлек из-под вещевого мешка флягу и, позванивая горлышком о край кружки, стал наливать. Забулькала голубоватая, лоснящаяся в темноте жидкость.

— Хорошо. Хватит! — Артюхов поднес кружку к губам, глотнул. Но не понял с первого глотка, что это такое. Что-то маслянистое и даже будто бы сладкое. Однако острый запах спирта шибал в нос здорово. «Откатная жидкость!» — мелькнула догадка. Вспомнилось, как комбат припрятывал при погрузке бочку. «Понапрасну старался! — подумал Артюхов. — Разве можно спрятать что-либо от такого проныры, как старшина?»

— Ну как? — Тябликов улыбался — в темноте блестели золотые коронки его зубов.— Рафинировано по лучшим дореволюционным рецептам. Пейте да идите закусывать, товарищ лейтенант.

Все кипело внутри у Артюхова. «Ишь ты, заботливый какой! «Идите закусывать»!» Василий с трудом сдержал себя. И оттого что сдерживал себя, заговорил шепотом, но быстро и отрывочно:

— Старшина! Если я хоть раз еще замечу, что вы пьете эту бурду... Сами пьете да еще подчиненных спаиваете! Я... я... доложу комбату. Вы что? Под трибунал хотите?! Или вас ничему не научил случай с Котком? А-а?

— Так сразу же и трибунал?

— А если ослепнет или отравится кто?! А ну дайтека! — Артюхов выхватил из рук растерявшегося Бутина флягу и вышвырнул ее в полуоткрытую дверь. Алюминиевая фляга, вставленная в холщовый, залоснившийся мешочек с ушком для ремня, глухо ударилась о березовый кругляк и, подпрыгнув, выскочила наружу. Василий так сильно бросил ее, что никто не увидел, как она летела к двери, и лишь когда фляга глухо звякнула, все, кто сидел за столом, резко обернулись на звук, так и не поняв, что случилось.

— С того эшелона чем-то бросили,— сказал Ахмед, кивнув на проходивший мимо поезд.

Артюхов не стал разубеждать. Спокойно, будто ничего не случилось, он подошел к печке, приоткрыл раскаленную докрасна дверцу и выплеснул из кружки в «буржуйку» тошнотворно-приторную жидкость. Поверх углей мигом вспыхнуло голубоватое, в розовом обрамлении пламя, вспыхнуло, взметнулось и тут же погасло.

Артюхов прихлопнул носком валенка дверцу и, поставив кружку на стол, нарочно обошел его с той стороны, от

пирамиды, чтобы поглядеть: не осталось ли там, у старшины, другой?

Бутин и Тябликов о чем-то шептались в углу. Другой фляги у них в руках не было.

— Завтрак ваш остынет, товарищ старшина! — словно извиняясь за свою горячность, обронил Артюхов.

— Спасибо! — потирая ладони, Тябликов прошел к столу и принялся за еду.

Артюхов тоже присел с уголка, где оставил миску. Пока он выяснял отношения со старшиной, каша порядком остыла, и, успокаиваясь мало-помалу, Василий навалился теперь на еду. Так случилось, что старшина оказался как раз напротив, и Артюхов невольно наблюдал за Тябликовым. «Сух, тщедушен, а аппетит ничего себе!» — думал Василий, прислушиваясь к тому, с каким проворством старшина постукивает ложкой о край алюминиевой миски.

В течение всего завтрака старшина ни словом не обмолвился с Артюховым, хотя знал и видел, что тот наблюдает за ним.

Позавтракав, ребята принялись за оружие, а Тябликов уткнулся в газету. Он долго шуршал ею, складывая поудобнее одной рукой (в другой была папироса), и, сложив узенькой, в два столбца, полосой, стал читать.

Ребята драили оружие; Ахмед мыл миски; политрук, сидя у печки, пришивал к гимнастерке свежий подворотничок; Малахов — вот уже какой день кряду — клеил себе калоши из автокамеры, раздобытой в обмен на кусок хлеба у эвакуируемых. В вагоне было тихо, лишь слышалось позвякивание мисок да покряхтывание ребят, разбиравших затворы карабинов.

— Вот гады! — Старшина смял мундштук папироски и придавил окурок подошвой валенка.— Послушайте, что вытворяют фашисты...— И начал читать вслух: — «Запись в дневнике обер-ефрейтора Ганса Риггеля. Двенадцатое октября».— Тябликов приподнял брови, соображая: где же они были в тот день, двенадцатого октября?

— Мы еще не грузились,— подсказал ему Верхогляд.

— Да. К сожалению...— согласился старшина. Голос у него был глуховатый, слова он произносил быстро и как-то нервно, словно молитву или скороговорку сказывал, и Артюхов, не все разбирая, поначалу даже подумал, что Тябликов опять сейчас разыгрывает какое-нибудь «дей-

ство»: присочинит анекдотик либо фокусы примется показывать. Однако старшина вопреки ожиданиям Артюхова и не помышлял ни о каком «действе». Он читал, не кривляясь, а слова проглатывал от сильного волнения, и волнение это по мере чтения передавалось всем, кто его слушал.

— «Чем больше убиваешь,— читал Тябликов,— тем это легче делается. Сегодня расстреляли восемьдесят два человека. Среди них оказалась красивая женщина — светловолосая, северный тип. О, если бы она была немкой! Мы, я и Карл, отвели ее в сарай. Она кусалась и выла... Ее расстреляли».

Тябликов отложил газету и долго сидел молча. И ребята молчали. Слышалось только, как Малахов прихлопывал ладонями никак не приклеивавшиеся к калошам заплатки.

— Как его звали? — спросил Артюхов.

— Ганс. Что — знакомый? — пошутил Тябликов.

Артюхов не ответил. «Надо же! — подумал он.— Тоже Ганс...»

Их сосед — Петр Крысенков — как он сам говорил, «приписной и необученный», в ту, первую, мировую войну, был в плену у немцев. Зашли они с Брусиловым в Пинские болота; увлекли их австрияки да немцы, а потом расчленили армию на части и пошли кромсать. И попал Петр Крысенков в плен. Работал свинарем на ферме у бюргера. Немца-хозяина, как рассказывал Петр Крысенков, звали Гансом. Немец поселил Петра в свинарнике, кормил плохо — Петр ел, по сути, то, что утаивал от свиней.

Петр не любил вспоминать о своем унижении: как-никак в колхозных бригадирах ходил! Но изредка, подвыпив, он начинал жаловаться на свою жизнь. Вон его дружок, Гришка Вараксин, ПЧ на станции, а он, Петр, в деревне лаптем щи хлебает! И все из-за чего? Из-за того, что в революции не участвовал, в плену, на свиноферме у Ганса, самое горячее время, всю революцию, просидел!

Артюхов вспомнил теперь рассказ Крысенкова и невольно подумал о немце, издевавшемся над женщиной: тоже Ганс.

— Ничего! — заговорил Верхоглядт, нарушая молчание.— Будет день, когда и немки — та же мать или жена этого Ганса — увидят нашего брата русского. Как мы потопаем по булыжным мостовым их городков.

— У них мостовых нет. У них асфальт. Мой дядя бывал в Германии,— сказал Максимов.

— Заткнись ты со своим дядей! — огрызнулся на него Бутин.

— Кто-нибудь доживет и будет топать, но я не доживу,— задумчиво произнес Малахов.

— Ишь, помирать собрался, а ноги замочить боится! — пошутил Зотов.

Политрук пришил подворотничок и, надев гимнастерку, оглядывал себя перед зеркальцем.

— От простуды обидно помереть, товарищ политрук,— в тон ему отозвался Малахов.— Одно дело умереть со славой, в бою, а другое — от насморка.

— Если от насморка умрете, мы ваши калоши на обелиск повесим,— подмигнув ребятам, сказал Тябликов.— И надпись на обелиске сделаем: «В сих калошах ходил младший лейтенант Малахов, умерший от насморка».

Занятые чисткой оружия ребята рассмеялись.

Сыпал сухой снежок. Мохнатые крупинки подолгу парили в воздухе: им совсем не хотелось падать на землю, и они, кружась серым пушистым облаком, неслись следом за движущимся поездом. Иные из них — те, что посмелее,— залетали в теплушку, садились на лицо и руки Артюхова и тут же таяли.

Василий сидел на нижних нарах, в самом уголке, у двери, а политрук стоял рядом, облокотившись на березовый кругляк.

— Я долго думал и никак не пойму, что это за народ такой — немцы,— повернувшись к Артюхову, сказал политрук.— Второй раз за четверть века будоражат весь мир. И как быстро этот чумной фюрер вдолбил им в головы свои бредовые идеи — жизненное пространство... расовое превосходство и прочую чушь. Арийцы!..

— Не все немцы такие, как этот Ганс.

— Не все, но многие. Не люди, а машины.

— Им все легко давалось. Два года, как они воюют, а где она, старая Европа? Чехословакия, Польша, Франция, Балканы?

— Но на востоке Гитлер сломает себе хребет! — Зотов стукнул кулаком по березовому кругляку, будто рушил этот самый хребет.— Клаузевиц мудрый был немец. Он все заранее подсчитал: какова должна быть армия, чтобы победить Россию. Он доказывал, что даже если Германия превратит в своих сателлитов все основные страны Евро-

ны, то и тогда ей не осилить русских. Потому, замечал он, что русского мало убить, надо еще повалить. Гитлер не послушался совета Клаузевица, и он поплатится за это.

— Да разве словами их убедишь! — сказал Артюхов.— Им наши земли не один век снятся. Со времен Нибелунгов. Помните их железный желудь, который должен произрасти на вновь завоеванных землях?

— И Нибелунгов желудь не вырос, и Гитлера...— не договорив, Зотов махнул рукой.

В это время, сотрясая землю, пронесся встречный. Пронесся, прогремел, и долго еще снежинки вихрем летели следом за ними. Потом, успокоившись, опять стали падать на лицо и руки. Но Зотов, казалось, не замечал их.

— Вон видишь... не тут, правее,— показывал он рукой.— Видишь, камыш чернеет? Это Лебяжье озеро. Лет восемь мне исполнилось, когда отец впервые взял меня с собой на охоту. Осенью. Зазимка еще не было, но зори уже холодные. Сделали мы шалаш из камыша у самой воды. Туман, сыро, а двигаться отец не велит — можно дичь спугнуть. Сидел я, сидел — и заснул. Слышу вдруг: бабах! бабах! Открываю глаза — утро...

И вот уже мир теплушки — с его большими и малыми тревогами, со всеми этими думами о жизни и смерти — перестал существовать для политрука. Поезд давно шел степью, знакомой ему с детства. Каждый бугорок, каждая придорожная будка вызывали в нем все новые и новые воспоминания.

— Глянь, глянь сюда! — Зотов нетерпеливо подталкивал Василия ближе к двери.— Сейчас будет лесок, вернее, посадочка... Потом овраг и речушка. Видишь? За оврагом сразу — будка. В ней обходчик путевой живет, Еремка Завьялов. С виду так себе мужичишка, а знаешь, сколько у него детей — шестнадцать! Мы, пацаны, всех будочников тут знали. Макушино, та большая станция, что мы проехали,— наше плечо. Ну, оборотное депо там! Наши — к ним, а ихние — к нам... Часто отец брал с собой. Едешь, Еремка с флажком на обочине кювета стоит. Посмеешься над ним, рожицу ему из окна почуднее какую скорчишь. А на днях как-то разворачиваю «Красную звезду» — фотография: «Танковый расчет братьев Завьяловых». Три сына — все танкисты. Герои. Вот те Еремка! Погляди, не стоит ли?

— Будка стоит, а Еремки не видно,— сказал Василий.

— Не видно? — Зотов даже огорчился.— Знать, с другой стороны стоит. Сейчас небольшой подъем, а там и мост через Тобол. Шуруй, шуруй! — крикнул он, как будто кочегар мог его услышать. И тут же, посмеявшись над своей увлеченностью, пояснил: — Люблю паровоз! Силища!

— Что ж не пошел к отцу в помощники?

— Я-то бы пошел! Да мать была против. «Одного,— говорит,— всю жизнь обмывала да чистила, руки отсохли, а что с вами я буду делать, когда оба вы, как черти, грязные домой являться будете? Нет, иди учись». Поступил в педучилище. Окончил его и стал шкрабом. Чудно! Даже позабыл это слово.— Зотов улыбнулся. Нахлобученная на самые брови шапка еще более округляла его и без того округлое лицо.— Тебе не приходилось ни разу вести урок, стоять перед классом?

— Нет.

— Ну а на собрании выступал?

— В техникуме выступал один раз.

— И как?

— Я очень волновался. Не говорил, а, как авиационный пулемет, шпарил.

— А учитель — каждый день. Сорок пар глаз, и все уставлены на тебя. Час, день, двести дней в году. И весь ты перед ними, перед ребятами: ни оговориться нельзя — сразу кличку прилепят, ни задуматься хоть на миг. Я с первого урока понял, что шкраба из меня не выйдет. Нет во мне педагогической жилки. Ребята смеются — и я смеюсь. Проказничать начнут — не могу наказать зачинщика, жалко. Сам таким был. Год с трудом дотянул, а потом — в армию, в политучилище.

Артюхов сказал, что небось опыт шкраба пригодился ему как политработнику. Зотов ответил не сразу. Лицо его потускнело, и то радостное оживление, в котором он находился все утро, сменилось вдруг не то грустью, не то крайней озабоченностью.

— И тут, в нашем деле, талант нужен,— заговорил он, помолчав.— Будь на моем месте другой, возможно, с Котком не случилось бы беды.

— Гадала бабка на киселе.

— Нет, друг! Не на киселе! Политрук на то и есть, чтоб каждого знать... кто чем дышит.

Артюхову хотелось отвлечь Зотова от грустных раз-

думий, и Василий начал ему рассказывать то, что сам когда-то читал и слышал о сектантах.

— Сектанты — очень скрытный народ,— говорил он.— Живут они обособленно, замкнуто. Ни собраний, ни каких-либо политических кампаний. Заем там или еще что — не признают. И детей так воспитывают. Ты видел, сколько в его шпаргалке ошибок? Он небось и четырех классов не окончил.

Зотов слушал рассеянно.

— А-а, и Кончиху с ходу! — обрадованно воскликнул он, когда поезд, не сбавляя ходу, проскочил какой-то неприметный полустанок.— Василий, смотри сюда! Сейчас будет мост через Тобол. Ох и пескарей же было в этом Тоболе! Украдешь у матери катушку белых ниток. Лозину срежешь... крючок... Заледенела небось река-то.— Он открыл пошире дверь и подвинулся, освобождая место подошедшему Малахову.

— Ну, в Вятке нашей пескарей больше! — встрял Малахов.— Особенно в жару, летом. Наловишь их снизку целую. А идти до деревни лугом. Ромашки — белым-бело!

Вдали, среди искрившейся от снега равнины, чернели две или три заводские трубы. Вдоль горизонта цепочкой раскиданы невысокие домишки.

«А Курган-то твой так себе, на ровном месте!» — подумал Артюхов.

Подумал, но ничего не сказал. Не хотелось ему обижать друга.

21

— Колька! Зотов! Черт! Какими-такими судьбами?

Едва Зотов выбежал на перрон и оглядеться еще не успел, как на него налетел какой-то парень в железнодорожной форме. (Вернее было бы сказать — не налетел, а подкатился к нему — настолько парень этот был мал ростом.) В одной руке он держал жезло с обручем, а в другой — набор сигнальных флажков, в чехле. Увидев Зотова, железнодорожник вскинул обруч с жезлом на плечо, подбежал к Николаю и обнял, похлопывая по спине сигнальными флажками.

— Николай!

— Витя! — У Зотова шапка чуть не соскочила с головы — так он рванулся навстречу железнодорожнику. — Какими судьбами?

— Все теми же. Судьба теперь у всех одна.— Освободившись от объятий, Зотов похлопал по плечу парня коротышку.— А ты, Лапка, вырос!

— А то как же! — Тот прихлопнул футляром флажков по форменному картузу с красным верхом.— Дежурным стал теперь.

— Дежурным?

— Да.

— Батя в поездке?

— Часа два назад потянул рудный на Шумиху.

— Не свидимся, значит...

— А ты чего ж не предупредил?

— Не успел. Еще в Омске никто не знал, какой дорогой нас двинут. Часть эшелонов на Тюмень повернули, а мы вот...

— Домой сбегать хочешь?

— Хотелось бы, да не успею. Ты же знаешь, как нас прут! Только и стоим, когда паровозы сменяются.

— Твой эшелон под каким номером?

Зотов сказал.

— Да я только что жезло у него принял! — Дежурный глянул на наручные часы.— Пятнадцать минут на пересмену локомотивных бригад ему положено. Ну, я еще попридержу малость... Так что беги!

— Как, Василий, побежим? — Зотов обернулся к Артюхову, стоявшему в сторонке.

Василий ничего не сказал, только пожал плечами: мол, тебе виднее.

— А тебя не взгреют за задержку? — спросил Зотов дежурного.

— Ну что ты! Ты знаешь: ваши вагоны с самого Омска не осматривали. Прикажу сейчас, чтоб осмотрщики смазали буксы, и все тут.

— В таком случае спасибо! — Зотов еще раз похлопал дежурного по плечу и, мужиковато потоптавшись на месте, решил: — Бежим, Артюхов! Тут близко.

Они побежали.

От радости Зотов позабыл, в какой стороне вокзала выход в город. Он метнулся сначала в сторону кубовой, но вдруг его дежурный окрикнул — не туда побежал, вы-

ход в город с северной стороны. Чертыхнувшись, Николай повернул обратно.

— Коля, только ты, когда вернешься, найди меня и скажи. Что б я знал, что можно отправлять,— сказал дежурный, когда они пробегали мимо.

— Ладно!..

Ступеньки широкой лестницы, которая вела с перрона вниз, на площадь, обледенели настолько, что по ним легче было скатываться, чем сбегать. Артюхов поскользнулся, чуть не упал.

— Ты не гляди по сторонам,— посоветовал ему Зотов.— А то шею себе свернешь.

Артюхов едва успевал за ним. Невысокий, но крепкий, туго затянутый портупеей, Зотов не шел, а словно бы катился.

И в Кургане, как во всяком порядочном городе, много было заборов. И вдоль этих заборов — дырявых и покосившихся — стояли корявые, низкорослые тополя. Их, видать, подрезали часто, чтобы побеги не замыкали телефонных проводов, которыми была опутана вся привокзальная площадь. Редкие прохожие — железнодорожники, школьники, бабы с тощими дерматиновыми сумками — жались в сторонку, уступая им дорогу. Некоторые, особенно женщины, останавливались и глядели им вслед, словно боялись проглядеть мужа или сына.

— Отстанем — вот будет дело! — с беспокойством обронил запыхавшийся от быстрой ходьбы Артюхов.— И не назначил ты за себя никого.

— Не отстанем, не бойся! — Зотов укоротил шаг, и они пошли рядом.— Витька — свой парень. Семь лет за одной партой с ним сидели. Головастый. И учился хорошо. Но росточком не вышел. Оттого, знать, и в армию не взяли. Дежурный, а? А мы его Лапкой дразнили. И не по отцу, а по матери: Енин. Мать у него Еня — бой-баба, а отец — тихий, плюгавенький... Витька в него.

Сразу же, как только кончился забор, отделявший какие-то железнодорожные постройки, Зотов свернул налево. Наискосок, через обширный пустырь, петляла по снежной целине тропка. Она привела их в поселок — несколько улиц было застроено деревянными одноэтажными домами. И чем ближе был этот поселок, тем Зотов все убыстрял и убыстрял шаг. Он остановился лишь у самого дома, поджидая Артюхова.

Зотовский дом — чуть-чуть в глубине улицы, с палисадником. Нестарый дом, ухоженный: видать, семья была в силе и с достатком. Над парадным — навес с резным козырьком, и дымарь над трубой вырезан с любовью — не дымарь, а царская корона.

— Какая-то живая душа есть дома! — сказал Николай, берясь за дверную скобу.

В сенцах висело свежевыстиранное белье. Другая дверь, во двор, была открыта; посреди заснеженного, просторного двора высилась ледяная горка, и на горке, взбираясь и съезжая с нее, катались дети, мальчик и девочка, крохотные совсем, лет пяти.

Зотов остановился, разглядывая пацанят.

— Ты чего? — спросил Артюхов.

— Чьи же это? — Николай был явно озадачен.— Неужто Галкины? Когда ж она успела?.. Не может быть! Она бы написала.

— А сколько лет ты не был?

— Четыре года.

— У-у!

— Курсантом был — каждое лето в лагерях,— словно оправдываясь, говорил Зотов.— А в полку, сам знаешь, прижимают с отпусками, особенно новичков.

Николай открыл дверь в комнаты и, еще не переступив порога, снял шапку с головы, будто опасался, что в шапке его не узнают.

В передней никого не было. На столе, покрытом скатертью, лежал ученический портфель, старый, изрядно потертый. Поверх спинки венского стула наспех брошена шубка с рыжим лисьим воротником. Шаркая смерзшимися подошвами валенок по домотканому половику, Николай прошел в красную половину и остановился в нерешительности.

Перед зеркалом стояла девушка. Галя? Четыре года назад, когда он видел ее в последний раз, сестренка была подростком, а сейчас перед зеркалом стояла стройная, ладная девушка. Она расчесывала волосы. Видимо, Артюхов, входя, неосторожно стукнул дверью. Девушка обернулась. То ли недоумение, то ли испуг выразился на ее красивом спокойном лице. Она стояла так, вполоборота к вошедшим, какой-то единый миг и вдруг подалась вперед всем корпусом, глаза ее осветились радостью, она вски-

нула руки, и гребенка — самодельная, дюралевая — глухо стукнулась о половицу.

— К-к...— Она шла с распростертыми руками, и от волнения все спирало у нее внутри.

— Он самый! — заулыбался Зотов и тоже развел корявые свои руки в стороны.

— К-коля!!

— Галка!

И они обнялись.

Они обнялись, и Галя от радости повисла у Николая на шее, и он стал ее кружить. Она целовала его в щеку и трепыхала ногами, будто ребенок. Платье ее — голубенькое, белым крупным горошком — расправилось и веером плыло по воздуху, как на танцовщице. Распущенные волосы, закрывавшие спину по самую талию, спутались, каштановые пряди заслонили их счастливые лица, но они не замечали этого и все кружились в едином радостном порыве минут пять, а может, и больше, пока не устали. Потом — возбужденные, разрумянившиеся — они стояли друг против друга и, взявшись за руки, молча разглядывали один другого.

— У-у, какая ты взрослая стала! В каком же ты классе?

— В десятом.

— Невеста, невеста! Я тебе жениха приглядел.— Зотов повернулся к Артюхову.— Знакомься, Василий.

Артюхов заулыбался и зачем-то кивнул головой, будто кланялся. Это вышло довольно глупо, и Галя прыснула со смеху.

— Что, или у тебя уже есть? — Зотов подмигнул Артюхову: сейчас, мол, выпытаем!

— Какие теперь женихи! Один Лапка на весь Курган остался.

— А я увидел на дворе пацанов, грехом подумал, не твои ли?.

— Женщину мы пустили... в ту половину. Эвакуированную. Из Ленинграда.

— Тогда прошу любить и жаловать! — Зотов подтолкнул Галю к Артюхову.

Девушка, подавшись вперед, протянула Василию руку.

— Сестрица вашего непутевого друга, который не пишет домой по месяцу,— шутливо представилась она.

Черты лица у нее были потоньше и помягче, чем у са-

мого Зотова. И вообще она была бы очень красива, если бы не лоб. Лоб у нее был, как и у Николая, широкий, очень подвижный, с бугорками вдоль надбровий. Они то вспухали над бровями, то пропадали, отчего лицо сразу же преображалось.

Девушка была в самом начале той короткой, но милой поры, которая случается в жизни каждого человека,— той самой поры, когда из подростка только-только оформляется, как сказал бы комбат, дывчина. Сознание молодости, здоровья, красоты, желания любить и нравиться — все это придает восемнадцатилетним девушкам неповторимое обаяние.

Галя особым женским чутьем догадывалась, что она хороша и что понравилась Артюхову, и ей хотелось скорее всего безотчетно даже, чтобы брат знал, почувствовал это и то, что она совсем-совсем взрослая, хозяйка в доме.

— Чего ж вы стоите? Не на заем же пришли подписывать! — Она схватила со спинки стула шубку, шарф и стала одеваться.— Вы пока умывайтесь с дороги, а я за мамой сбегаю.

— А мама куда ушла?

— В магазин побежала.

— В наш, деповский?

— Нет, мы прикреплены в гастроном на Советской. Там по крупяному талончику вермишель выбросили... Народищу! Вот она и застряла.

— Галя, милая! — Николай подошел к ней, положил руку на ее плечо.— В нашем распоряжении всего-навсего полчаса. Ты в один конец за это время до Советской не успеешь добежать.

Она, кажется, все поняла.

— Вы... ты... ты... на фронт?

Николай кивнул головой.

Сестренка отвернулась и уткнулась лицом в шарфик. Плечи ее вздрагивали мелкой дрожью.

— Володя там... Теперь ты...

Николай подошел к ней, ни слова не сказал, только погладил ее по спине и волосам.

— Все равно я побегу,— продолжала она упрямо.— Мать узнает, что ты заходил... она ж с ума сойдет! У нее сердце почему-то чувствовало, что ты неспроста молчишь. Что и тебя на фронт пошлют. Носки тебе шерстяные связала, варежки, сала кусок у баб на рынке выторговала. Со-

седям всем заказала: день ли, ночь ли, мол, убегу ль куда, чтоб ее отыскали, кликнули. Как все нескладно подошло — и папа в поездке.

— Я знаю. Я разговаривал с Лапкой.

— Разговаривал? Да? И что ж ты не попросил, чтоб он попридержал эшелон?

— Он сделал что мог... Рассказывай, как вы тут?

— Да живы помаленьку.

— От Володи-то давно писем не было?

— Пишет.

— Где он?

— Был под Калинином. А теперь уж в Клину бои.

— На подмогу к нему едем. Что отец? Ходит на охоту-то или забросил совсем свою бердану?

— Какая охота! С паровоза не слезает. Неделями не видим его. Придет, грязное белье сменит — и опять в поездку.

— А ты?

— Я вот в госпиталь нянечкой устроилась. Рабочую карточку дают, и все как-никак помощь раненым.

— А школа как же?

— В вечернюю хожу. У нас все так: и парни и девочки. Людей нехватка. К нам ведь одних заводов с десяток эвакуировали. Ребят — в порядке мобилизации. А нам тоже нельзя отставать. Поступила. Ночь отдежурю в госпитале — день свободна.

— В ночь сегодня?

— Нет, сегодня я свободна. Собралась вот волосы обрезать, да расчесала напоследок, и стало жалко.

— Ну что вы — такие волосы? — вступился Артюхов.

— Вам нравятся девушки с косами? — спросила Галя.

— Не стриги, Галчонок, раз Василию косы нравятся.

— Тяжело с ними управляться.— Она собрала руками локоны и перебросила их вперед, на грудь.— Мыть их нечем. Мыла-то нет! Был кусок в запасе — весь истерла. Тут как-то одна моя подруга каустиком вздумала голову мыть. Да чуть не ослепла.

— Пойдешь меня проводить, раздобуду тебе мыла. У Тябликова небось есть в загашнике.

— А кто такой Тябликов?

— Старшина, батарейный.

— А-а...— И словно опомнившись: — Чего же это я

разболталась-то совсем?! Коль, сними-ка свой тулупище! Я хочу поглядеть на тебя, какой ты стал.

Зотов снял полушубок.

— Ну?

— Хорош. И воротничок чистый успел подшить.

— Пока везут, делать нечего.

— Ох и много везут! Неужели не сдвинут его, черта?

— Сдвинем!

— Я хочу вас угостить чем-нибудь,— засуетилась Галя.— Тут как-то папа по дополнительному талончику — им, паровозникам, дают еще добавку к основной карточке... на восьмой талончик принес патоки. Мама наловчилась крупеник из пшенки с патокой этой делать. Вкусно!

— Мы сыты, Галчонок, не суетись.

Но она не послушалась и все-таки убежала на кухню. И, погромыхивая ложками и тарелками, все продолжала рассказывать, что по каким талончикам дают, что и чем выгоднее заменить. Николай поддакивал, но эта арифметика возможных замен и мнимых выгод была ему незнакома, и не до нее ему было. Бесшумно ступая по половицам, он прошел в красную половину. Ему хотелось оглядеть напоследок отцов дом, заглянуть одному в любимые уголки. Артюхов представил себе на миг, что происходило бы в его душе, если б он был на месте Зотова, если б и ему вот так же удалось вдруг оказаться в Орловке, в родной избе. И Василий не пошел вслед за Зотовым, хотя тот манил его, а, присев на стул, наблюдал за политруком. В той, большой комнате, где Галя расчесывала перед зеркалом волосы, на стенах висели фотографии. Зотов посмотрел на них, снял со стены какую-то рамку, вынул из нее снимок — не то младшего брата, Володи, воевавшего теперь под Клином, не то любимой девушки — и спрятал фото в нагрудный карман.

Галя принесла тарелки и сковороду с крупеником.

Сели к столу. Артюхову крупеник понравился: давно не пробовал домашней пищи. Он ел да похваливал. Николаю, видно, не до еды было.

Галя сидела напротив и, пригорюнившись, совершенно по-взрослому, по-матерински глядела на них, переводя взгляд с одного на другого.

— Спасибо, Галчонок! — Зотов отодвинул тарелку и вышел из-за стола.

— Обожди, Коля, я чайник поставила.

— Будет время — мы с тобой еще почаевничаем. А теперь пора. Мы и так засиделись.

— Что же это мама-то не идет! — Галя повернулась к окну и, наспех заплетая волосы, поглядывала, не идет ли мать.

— Придет — передай, что жив, здоров. И поцелуй ее от моего имени. Вот так — крепко, крепко! — Николай подошел к сестре, откинул назад тяжелую косу, заплетенную лишь наполовину, и, прижав к себе, стал целовать ее — в щеки, в губы, в наполненные слезами глаза.

Поцеловав, резко оттолкнул, боясь сам растрогаться, и коротко обронил:

— Пошли!

— Сейчас... сейчас, Коля. Я лишь мамин узелок поищу.— Галя вытерла тыльной стороной ладони слезы и, как слепая, выставив перед собой руки, пошла в соседнюю комнату, к комоду.

Она выдвинула один ящик, порылась в нем и, глянув украдкой на брата (наблюдает он за ней или нет?), открыла другой, с бельем. Галя, по всей видимости, нарочно тянула время, надеясь, что вот-вот вернется мать. Зотов понял ее замысел, но ему не хотелось обижать сестренку, и он, улыбнувшись, укоризненно покачал головой:

— Галя, не озорничай!

Галя молча задвинула ящик комода и тут же вернулась, неся аккуратно зашитый материнскими заботливыми руками узелок.

Они стояли на перроне, у самых путей, ожидая, пока Зотов отыщет дежурного и доложит, что он вернулся. Галя, разрумянившаяся от быстрой ходьбы, была особенно хороша. Шубка в талию, шапочка с помпоном, как у лыжницы, красные варежки — все строго, просто, со вкусом. Она держала в руках материн подарок Николаю и, не глядя на Артюхова, притоптывала подтаявший под ее валенками снег.

Артюхов тоже молчал, не решаясь заговорить первым, и, любуясь ею, думал о всяких житейских несуразностях. Сталкивает жизнь с хорошими людьми на час-другой — и так глупо и несправедливо разлучает.

— А вы еще не знаете, куда вас бросят? — Галя взглянула на Артюхова и опять потупила глаза.

— Сами гадаем. Может, под Москву.
— А ваши родные где?
— Мои? Далеко! Я — рязанский.
— А-а! — Она снова взглянула на него, валенками шмыгать перестала.— Вы тоже служите в батарее?
— Да.
— Приглядывайте там за Колей.
— Хорошо.
— А вы своим родителям не писали, что на фронт едете?
— Я подозреваю, что наше село заняли немцы.
— Так далеко они уже прошли! Неужели силы у нас нет, чтобы остановить их?
— Сила-то — она есть.— Артюхов кивнул на теплушки с солдатами.— Но собрать ее — нужно время. Россия все ж!
— Да! — с задумчивостью, совершенно по-взрослому отозвалась Галя.— Ни один народ, наверное, не смог бы так. Никто о себе не думает. У каждого одна лишь мысль на уме. Про фронт не знаю, а тут, у нас, в тылу, кто остался? Бабенки, старики да ребята, подростки. День и ночь... ели не ели. Тут как-то на днях пришло два эшелона раненых, а госпитали в городе забиты. Так наши девчонки за одну ночь свою школу переоборудовали под госпиталь. Вымыли все, парты убрали, койки поставили... Все сделали.
— А где же вы теперь занимаетесь?
— Младшие в три смены занимаются. А кто работать может, те пошли работать. Учимся вечерами.
Слушая Галю, Артюхов нет-нет да поглядывал на пути: стоит ли их эшелон? Может, в суете дежурный позабыл про уговор с Зотовым и отправил по ошибке? Но сколько он ни высматривал свой состав, отыскать его не мог. На путях шла своим чередом жизнь. Прибывали и отправлялись эшелоны, сновали туда-сюда маневровые паровозы, слышалось постукивание осмотрщиков по колесам, и в этой сутолоке нелегко было разглядеть теплушку батарейцев, которая за время дороги стала чем-то вроде родного дома.
Василий успокоился, когда увидел наконец на перроне Зотова. Выбежав из служебного отделения, Николай помахал им рукой.
— Быстрей! Отправляемся!

Следом за ним на ступеньках, ведущих на платформу, показался Лапка. Как и полчаса назад, на плече дежурного болталась проволочная дуга с жезлом. Сигнальные флажки засунуты за голенища кирзовых сапог — ни дать ни взять как у солдата ложка, когда он спешит в столовую.

— Ну как, все в порядке? — спросил Артюхов, несколько огорченный тем, что Зотов возвратился так быстро.

— Все в порядке! Буксы смазаны, теперь до самой Москвы можно катить без остановки.— Зотов взял сестренку за руку, и они побежали.

Артюхов едва успевал за ними. «Знать, не впервой им бегать по путям!» — подумал Василий. Ладно Николай — даже Галя так ловко вскакивала на тормозные площадки, что легкости ее и проворству мог позавидовать опытный сцепщик.

Они вышли к эшелону неподалеку от штабного вагона. До теплушки идти еще порядочно. Солдаты от нечего делать глазели на них. Каждый считал своим долгом похрабриться, окрикнуть проходивших шуткой:

— Эй, курносая! Едем с нами.

— Не зови, видишь — под усиленным конвоем!

Галя — молодец; она шла себе, не откликаясь на эти шуточки.

Возле теплушки их встретил Тябликов. Вид у старшины был озабоченный.

— А мы уж хотели вещички ваши сдать коменданту,— сказал он.— Паровоз давно сменили, а вас нет и нет. Ну, думаем, загулял политрук!

Ребята столпились возле двери, каждому хотелось взглянуть на сестренку политрука.

— А ведь верно сказал политрук: курносая! — улыбался своими черными глазами Абдуллин.

— Ничего, зато коса! — сказал Бутин, вытягивая шею. Ему плохо было видно из-за спины Верхогляда.— Куда нам, Миша, с тобой. Там вон комвзвода.— Абдуллин намекал на Артюхова.

— У меня небось адресок в медальоне зашит: Курган, Трудовая... Скучно будет — возьму да и напишу! — не сдавался Бутин.

— Пишите, пишите. Обязательно! — с радостью ото-

звалась Галя.— У нас многие девчата переписку ведут с фронтовиками.

— Да куда ему! Он с ошибками пишет,— хихикнул Максимов.— Вот если б я...

— И вы пишите! Я всем буду отвечать! — Галя не успевала переводить взгляд с одного бойца на другого.

Артюхову стало как-то не по себе. Этим ровным и участливым отношением ко всем Галя, сама того не сознавая, обидела Василия: он-то думал, что она только к нему так ласкова и внимательна. Он понимал, что обижаться за эту отзывчивость глупо, и однако не смог сдержаться — растолкал смеющихся ребят и поднялся в теплушку.

— Пристали, как мухи,— сказал он ворчливо.— Дали бы хоть проститься политруку.

Верхогляд и кто-то еще — кажется, Максимов — послушались, отошли от двери, а остальные сделали вид, будто не слышали ворчливого замечания комвзвода. Наперебой выкрикивали шуточки, смеялись и острословили, стараясь перещеголять друг друга. Заметив, что Артюхов исчез, не попрощавшись, Галя забеспокоилась; во всяком случае, так ему показалось. Она уже не отвечала на шутливые реплики ребят и даже брата слушала рассеянно, стараясь отыскать взглядом Артюхова. Наконец отыскала — и засветилась вся радостно и, не слушая брата, замахала ему рукой. Шапочка на ней, знать, была не зашпилена, и, когда Галя запрокинула голову, глядя на него, помпончик сдвинулся чуть ли не на самый затылок. Смутившись, Галя стала поправлять шапочку, а когда поправляла, то показалась Василию такой милой, такой беззащитной, что ему стало вдруг жаль ее. Еще минута... ну, пусть две, и она останется на этих путях одна, совсем-совсем одна, и ничто не будет напоминать ей об их встрече.

И тут Артюхов вспомнил о книгах, которыми был набит его чемодан. Зачем они ему? Куда он их, собственно, везет? Ведь бросит их так, где-нибудь под первой же бомбежкой. А Галя — выпускница, ей они пригодятся... Василий — как был, в валенках и полушубке,— метнулся наверх, на нары. Он достал из-под изголовья чемодан, волоком стащил его вниз.

...Он не взял с собой смены белья, стараясь засунуть в чемодан как можно больше книг. Пусть они читаны и

перечитаны, но расстаться с ними там, в казарме, на Красной Горке, казалось кощунством. Он привык к ним, привязался, как к друзьям; пока они были рядом, жизнь представлялась ему незыблемой, простой и очень понятной. Но вот все смешалось. Стали совсем иными представления о жизни. Прежние понятия — счастья и любви, добра и благополучия — показались такими крохотными и наивными рядом с великой народной бедой. Как в юности, при повзрослении, когда вчерашние, детские увлечения и игрушки становятся вдруг наивными и смешными.

Такой же данью юности были и эти книги. Волочил их через горы, к океану, вез две недели в теплушке... Куда? На фронт. Зачем?

Артюхов распахнул чемодан, подхватил книги под мышку и спрыгнул вниз.

— Галя, вот вам подарок на память!

Смутившись, она поколебалась какое-то мгновение, потом протянула руки:

— Спасибо. Я их в госпиталь отнесу. А мне надпишите одну, на память.

Артюхов решил подарить ей поэму Шота Руставели. Взял книгу и, повернувшись, пристроился в дверях, у ног ребят, стал писать. Ему хотелось написать что-нибудь шутливое, но, как назло, ничего в голову не приходило. Ему вспомнились слова поэта о доброте людской, и он написал их в самом верху титульного листа:

Что ты спрятал, то пропало,
Что ты отдал, то твое.

А ниже: «Милой Галочке от лейтенанта Василия Артюхова. На добрую память».

Он поставил дату и расписался. Хотел еще написать адрес родителей, но передумал. Спрятав карандаш, Василий шагнул было к Гале — и тут же, у вагона, столкнулся лицом к лицу с Паней Зайцевой.

— Вась, я уже перебралась к девчатам.

— Обожди, Паня...

Он сказал это скороговоркой; за весь день он ни разу не вспомнил Паню, и тут она явилась как-то некстати.

Василий отдал книгу Гале; она прочитала, что он написал, и, зардевшись, протянула ему руку.

— Спасибо.

Она поглядела ему в глаза — благодарно и трогательно.

И он поглядел ей в глаза.

И видимо, по тому, как они глядели друг на друга, Паня поняла, что она лишняя тут. Она резко повернулась и побежала неуклюже, по-девичьи, выбрасывая ноги в стороны.

— Паня! — крикнул Артюхов.

Но она даже не оглянулась.

22

Сразу же за Уралом открылись взору неоглядные просторы России.

Оно конечно: весь путь, который проделали они за эти две недели, пролегал по исконно русской земле. Все, что осталось позади,— и приамурские сопки, и угрюмые горы Забайкалья, и заснеженные просторы Сибири — то ведь тоже была Россия. И однако, там, вдали, не все трогало, как теперь.

И там, хоть в той же Сибири или в дальнем Забайкалье, встречались на опушках рощиц, вдоль заболоченных и светлых речек тихие, грустные клуни. И складывали их, возможно, те же пермские да вятские мужики, сбежавшие в голод и лихолетье в поисках лучшей доли в страну Беловодья, «на вольную». Но то ли они разучились там, вдали от родных мест, обихаживать стожки, как обихаживали их деды на пермских и вятских скупых лужках, то ли обилие всего приуменьшило любовь к делу — как бы то ни было, но те, сибирские и забайкальские, клуни совсем не походили на эти. Там клуни — под стать горам: высоки, шершавы — зиму вози, не перевозишь. Здесь же стожки скупы, но опрятны. Грабельками прихорошены, жердочками липовыми от ветра да чужих глаз укрыты. Не клуни, а молодайки, аккуратные и яркие, как расписные вятские игрушки.

Но более всего поражали избы. Разбросанные вдоль косогора, черные с виду и невзрачные, они жмутся к ветхой, ощипанной церквушке. Церквушка косоглава; купол

се с ободранным, давно не крашенным крестом (а чаще без креста) едва виден над черной кромкой леса. Миг-ся один купол, как впереди, на взгорке, завиднелся другой. И церковка повыше, и деревенька, что при ней, повиднее, побогаче.

И вдруг что-то дрогнет у тебя на сердце. Вспомнится тебе, что ты давно уже не видел исконно русской деревни: с куполом церкви (их так мало в Сибири), с лохматым ветряком, махающим, а чаще не махающим крыльями, с красной крышей школы, с неухоженным погостом в стороне от неухоженных изб...

И дрогнет в тебе сердце при виде с детства знакомой картины, и ты прильнешь к заиндевевшему окошку или открытой двери теплушки и будешь неотрывно, долгими часами глядеть вдаль.

Ни человека вокруг, ни звука...

Лишь вьется, буравя серое, мглистое небо, сизоватый дымок над черными крышами изб.

Ни звука! Только слышится мерный перестук колес. Но, заглушая этот перестук, стучит, бьется твое сердце. И мысли, одна острее другой, будоражат все существо твое. В них и тоска по отцовскому очагу, который ты так рано покинул, и радость от возможной встречи с ним, и воспоминания детства, и сознание родства со всем этим грустным, но милым тебе миром.

Промелькнула станция с голыми тополями и серым элеватором. А за ней — снова деревенька. Но не в лощине, а на горе. И с горы наизволок сюда, к железной дороге, петляя по косогору, змеится наезженный проселок. Чернеют на дороге галки. Ты начинаешь невольно приглядываться к ним и тут вдруг заметишь, что из-под горы к переезду движется обоз. Лошаденки, запряженные в сани, возницы-бабки в стороне от саней.

Теплушка твоя все ближе и ближе, к переезду. Ты замечаешь уже, что сани нагружены мешками с зерном. «Что-то припоздали в этом году с заготовкой-то!» — подумал ты. И едва подумал, как в тот же миг ты увидел баб. Остановив лошадей, они столпились впереди обоза, у самой полосатой перекладины шлагбаума — в ватниках, в стоптанных валенках. Лица их суровы. Бабы стоят и смотрят на проходящий мимо состав. Смотрят долго, неот-

рывно. А мимо — теплушка за теплушкой, сотня за сотней — мелькают лица их сыновей-солдат.

Вдруг отвернулась одна, за ней другая...

И ты понимаешь, что не от жгучего вихря, поднятого колесами вагонов, отвернулись они и не от растаявшего снега мокры их щеки.

И сам ты помимо своей воли отводишь взгляд в сторону, в нижний угол нар, лишь бы не видеть этих баб. Отводишь взгляд в сторону, и закрываешь лицо, и сидишь так, понурив голову, до тех пор, пока не просохнут на ресницах слезы. Твои, сыновьи, слезы.

23

После этой встречи на переезде мысли о доме постоянно преследовали Артюхова.

Уже больше месяца он не имел весточки от матери — и все думал о ней: жива ли? где братья? что с отцом?

Хотя об отце — и это вполне искренне — Василий беспокоился меньше, чем о матери и братьях. Алексей Павлович, как говорится, вышел из призывного возраста. В последнем письме мать обмолвилась, что «нашего отца повысили: из бригадиров сделали председателем». Видимо, война подобрала мужиков, и бабы упросили Алексея Павловича ходить у них в председателях.

Василий знал отцов характер: если уж Алексей Павлович впрягся в упряжку, то будет тянуть воз, пока стоит на ногах. Отец немцам служить не станет. Сам уйдет и скотину колхозную угонит. Мать своей избы не покинет. Да и куда она может уйти с ребятами и больной бабкой?

Иногда Василий успокаивался. Не надо волноваться, думать о плохом, говорил он сам себе. Но день ото дня эшелонов с эвакуированными встречалось все больше и больше. Казалось, что вся страна жила на колесах. И невольно подкрадывалась тревожная мысль: а ну как и в Орловке немцы!

Артюхов набрасывался на газеты, которые приносил политрук. Василий стремился найти в них ответ на свой вопрос. Однако все напрасно: его Орловка — дыра, глушь, нет вблизи нее ни железнодорожных станций, ни большого

города, которые могли бы быть упомянуты в сводках Совинформбюро. Артюхов зачитывал эти сводки до дыр, но они каждый раз так мудро составлялись, что, прочитав их, нельзя было понять, в каком месте идут бои. Долгое время упоминались Вяземское и Тульское направления; и от Вязьмы, и от Тулы до Орловки было сравнительно далеко, и Василий на какое-то время успокоился. Но в Чусовой, где была очередная выводка лошадей, Артюхов случайно повстречал раненых. Бойцы сказали, что Вязьма будто сдана, а Тулу немец окружил с трех сторон и, не в силах взять город, двинул свои войска к Москве — на Каширу и Михайлов.

Василий забеспокоился, решил написать письмо домой. Он прописал, что едет на фронт, но куда их бросят, еще неизвестно; может, добавлял он, придется оборонять Москву, тогда свидимся.

Артюхов исписал листок; сложил его треугольником — как складывали все, наверху надписал: «красноармейское». Теперь оставалось самое главное: опустить письмо в почтовый ящик. Фронту так срочно нужны были свежие полки, что их везли без останову.

В теплушке не было, наверное, бойца, у которого, как и у Василия, не терся бы в кармане полушубка треугольничек с пометкой «красноармейское». До Свердловска многие думали, что их повезут южной веткой, через Казань. Бутин, Абдуллин, а с ними все татары и башкиры надеялись, что им посчастливится повидать родные места. Но в Свердловске их повернули на северную дорогу, и все татары и башкиры, забившись в угол нар, как и Василий, писали домой грустные письма: так и так, мол, едем на фронт, а свидимся теперь лишь после победы.

Радовался только один Малахов: куда ни кинь — выйдет клин! Теперь уж их эшелону Вятки не миновать! Радость преображает человека. Неуклюжий, постоянно грустный, Иван ходил по теплушке взад-вперед, не находя себе места. Он забросил калоши, которые мастерил всю дорогу; то принимался напевать что-то, то часами простаивал возле полуоткрытой двери, присматриваясь к знакомым с детства лесам и перелескам.

В Чусовой он отправил домой телеграмму, чтобы его встречали в Кирове, и даже проставил число, когда приедет. В теплушке каждый знал, что старики его живут в

деревне Цепели, на самом берегу Вятки. В Цепелях пристань на реке, но теперь Вятка замерзла, и пароходы давно уже не ходят, а дорога до города плохая, и все лесом; старики могут приехать, если председатель даст им подводу...

Почтовый ящик висел с торца вокзала. К ящику то и дело подбегали бойцы и командиры; бросали свои треугольнички и торопливо бежали обратно. Эшелон поставили далековато, без дела по перрону не погуляешь.

Батарейцам предстояло поить лошадей. Каждому бежать на вокзал со своим письмом — времени нет. Артюхов вызвался быть почтальоном. Он собрал все письма, написанные батарейцами, и следом за Малаховым, который выпрыгнул из теплушки чуть ли не на ходу, побежал к вокзалу.

Василий опустил письма в почтовый ящик и огляделся. Вокзал большого города жил своей жизнью: сновали военные, железнодорожники в промасленных куртках, эвакуированные с узлами. Артюхов знал, что на станциях, где лошадям предстоит водопой, стоянка эшелона — не менее тридцати минут. Время у него есть, решил он, и оглядевшись, пошел по перрону. За решетчатой оградой, отделявшей перрон от привокзальной площади, сновали машины, спешили люди в гражданском.

В теплушке быт однообразен. Как это всегда бывает в дальней дороге, все уже изрядно наскучили друг другу. Жизнь за пределами этого скрипучего вагона с жесткими нарами казалась новой, необычной, заманчивой, и Василий, возвращаясь к эшелону, неотрывно глядел за ограду. Чудно! Война — эвакуированные, раненые, воинские эшелоны на путях,— а жизнь города шла своим чередом. Пришел пригородный поезд из Чепецка. Кого-то встречали, кого-то провожали... Неподалеку от кубовой в изгороди была калитка. «Выход в город»,— гласила надпись.

Артюхов постоял в нерешительности. Он боялся отстать сам, а еще больше волновался за Малахова: увлечется, потеряет счет времени, отстанет от эшелона — беды не оберешься!

У кубовой толпились дневальные по теплушкам и старшины с ведрами и термосами: спешили набрать кипятку.

— Бр-р! Холодно, товарищ лейтенант! — окликнул его Тябликов. Старшина уже возвращался из города, и тут, у калиточки, они встретились.

— Да,— согласился Артюхов.

— И что за город?! Ни магазина, ни рынка. Одним словом, Вятка! Ссылка! — говорил старшина, а сам боч-ком-бочком — мимо Артюхова.

«Небось обменял буханку хлеба на пол-литра самогону»,— подумал Василий, но не сказал про самогон, а спросил о Малахове: не видел ли?

— А вон — первача пробует! — кивнул в сторону Тябликов.

За кубовой, в затишке, стояло десятка два подвод. Лошади распряжены, укрыты попонами; мужики — в тулупах и подшитых валенках, сбившись в кучки по пять-шесть человек, курили; бабы сидели в розвальнях. Видно, поджидают давно.

Василий издали увидел Малахова.

Иван стоял возле розвальней и что-то рассказывал мужику, видать, отцу, по привычке резко размахивая при этом руками. В передке саней возилась женщина — доставала гостинцы сыну.

Увидев Василия, Малахов окликнул его.

Артюхов подошел.

— Батя,— сказал Иван,— познакомься: мой друг, Васька Артюхов.

«А батя твой — мужик-то так себе!» — подумал Василий, пожимая жесткую ладонь Малахова-старшего.

Отец был против сына вдвое меньше ростом; редкая бороденка и обвислые усы — русые, с пятнами седины — старили его не очень морщинистое лицо, а глаза — светлые, добрые, смотрели на Артюхова с задором, по-молодому.

— Прозябли небось, в теплушке-то сидя,— проговорил он по-чудному, ставя ударение на последнем слоге.— Сичас обогремся. Готова ль, мать?

— Готова, готова...— Женщина постелила поверх сена домотканую покрывалку и поставила на нее большой продолговатый туес, плетенный из бересты.— Командуй сам, Гриша!

Малахов-старший принялся разбирать туесок, а мать подошла к сыну. И когда она подошла и стала возле Ива-

на, Артюхов понял, что его друг пошел не в отцову, а в материну породу. Матушка Иванова была женщина видная — рослая, статная. Руки — ну как есть лопаты... На женщине был старомодный казакин на крючках и со стоячим воротником. Воротник этот и талия со сборками сзади украшены были шитым орнаментом, а подол и рукава — оторочены барашковым мехом.

Во всей фигуре женщины чувствовались сила и какое-то внутреннее спокойствие. Обветренное лицо ее — обыденное на первый взгляд — поражало грубоватой простотой. Видимо, природа недолго размышляла, как бы изваять это лицо поизящнее, а вырубила его единым махом из прочного, грубого монолита — нос так нос: продолговатый, большой, с горбинкой; брови так брови: густые, сросшиеся на переносье; губы — толстые, припухлые, но без своевольного изгиба, который бывает лишь у капризных женщин.

Она пристально глянула на Артюхова большими серыми глазами, и Василий смутился этого ее взгляда: он напомнил ему взгляд матери.

— Это — Артюхов, мой друг,— сказал Малахов.— Тоже командир взвода, а вообще-то рязанец косопузый.

— Здравствуй, сынок! — Женщина поклонилась Василию, но руки не подала: в деревнях не принято.— Рязанец, значит? Рязанцев у нас пока не слыхать. Псковские есть. Новгородские. Ленинградских много, но ваших нет...

— Да что ты, мама! — перебил ее Малахов.— И не будет рязанцев. Вот посмотришь, как мы двинем этого немца!

— Все лето двигаем, а он не очень-то вас пужается.

— Ну это нас с Артюховым не было! — свое волнение Иван хотел скрыть шуткой.

Мать понимала это, однако лицо ее по-прежнему было все таким же — грустным, вернее, страдальчески-грустным.

— Может, и сдвинут его, антихриста! — проговорила она.— Уж очень много везут вашего брата. Нагляделись за сутки, пока ждали тебя. На фронт шлют одну молодежь. Иные — с песнями... А оттуда, с фронта, санитарные. Этих норовят везти ночью, чтоб меньше народу видело. Чтоб нас, матерей, не расстраивать. А разве от сердца

материнского чего-нибудь скроешь? Перед тем, как получить твою телеграмму — вон отец не даст соврать,— ночи три кряду не спала. Только сомкну глаза, слышу твой голос: «Мамка, прощай!» Вскинусь: чур! Почему «прощай»?

Она закрыла лицо углом полушалка; ее давили подступающие рыданья, но ей не хотелось, чтоб сын видел слезы; она уткнулась в его плечо; глухо всхлипнула раз-другой и замолкла.

— Ох уж эти бабы! Одно у них на уме: «материнское сердце»...— передразнил жену Малахов-старший.— А не пора ли нам перейти к мужским разговорам?

Тем временем отец достал из туеска бутылку самогона в берестяном кошеле, четверть домашнего хлеба, ломать сала — и не ошкуренного, как ему бы положено быть, а с опаленной кожицей, и когда стал резать свинину на дольки, то морозный воздух остро отдал чесноком.

— Прости меня, Ваня! — Мать вытерла краем полушалка слезы.— Я не хотела тебя расстраивать. Просто не сдержалась.

— Ну что ты, мама! — Малахов сам был в замешательстве и украдкой от Василия тоже вытирал глаза.

— И то, давайте закусим,— подхватила мать.— Иван, иди! Да зови друга.

Малахов и Артюхов подошли к саням. Поверх домотканого покрывала, разостланного на дне кошевки, стояли глубокие глиняные миски. В одной маслянисто поблескивали моченые грузди, в другой — горкой высились шаньги; сало, нарезанное продолговатыми ломтиками, лежало на деревянной подставке. Тут же были и стаканы, уже наполненные самогоном.

— Со встречей! — Малахов-старший поднял свой стакан.— Ну, солдаты...— Он потянулся через сани и чокнулся с сыном, женой, потом с Василием.— Как, бывало, любил говорить дед Ермила: дай бог, не последнюю!

Все чокнулись и выпили — даже мать Ивана пригубила толику.

— Груздей наших попробуйте,— угощала она Артюхова.— У вас лесов-то мало.

— Нашла чем угощать! — возразил Григорий Ерми-

ловнч.— Груздь — вода и соль, а по-солдатски говоря, ноль. Солдату сало надо! Старшина ваш сальцем вас не угощает, а напрасно. С сала и сила и смелость у мужика.

Выпив, Малахов-старший стал словоохотлив.

— К пасхе резали,— продолжал он.— Боров был. Восемь пудиков потянумши. Думали к Михайлову дню еще одного откормить, к твоей свадьбе, а он, Гитлер, все попутамши. Куда там поросенка, самим хоть до нови коекак дотянуть.

— Что — не уродило? — спросил Иван.

— Ну, что ты?! Уродивши все хорошо. Рожь... такой ржи я и не помню! У Пресницкого подола — это туда, к Семенихе,— по двести пудов с га взяли. Картошку убирали — сборщиц из-за кулей не видать. Все в заготовку пошло: Ленинграду да Москве.

— Буде жаловаться, Гриша! — оборвала его жена.— Нам ли роптать на бога? Корова у нас и подтелок есть. Молоко свое. Груздей намочили две бочки, клюквы... Картошка есть, а с хлебом как-нибудь перебьемся. Разве в хлебе дело?! Замирялось бы скорее. Детей жалко.

— Батарейный-то у вас хороший? — спросил Григорий Ермилович, чтобы потрафить жене и переменить тему разговора.

— Хороший,— кивнул Иван, прожевывая кусок сала.— Хохол. Добрый.

— Эт-та самое главное. От командира вся война зависит,— подхватил Малахов-старший.— У нас в империалистическую ротный тоже был хохол: хи-и-трый. Бывало, на него полковник: «ать-два!»,— а он все потихоньку, вразвалочку. Жалел нас.

— Ту войну разве сравнишь с этой? — горестно заметила мать.— К самой Москве, говорят, прорвались. Народу-то бежит! И псковские, и новгородские, и смоленские. Каких только нет...

— Я думаю, просчет у нас какой-то вышел,— продолжал Григорий Ермилович, заметно хмелея.— Потому как у нас, русских, ни одно дело не может обойтись без просчета! Коровник ставить начнем и то по три раза переделываем. А война, как есть, стихия. Я сам солдатом был — знаю, как эти генеральские просчеты на солдатской спине отзываются. Бывало, наш полковник, граф

Усатов, карту перед собой разложит и командует, куда, значит, какой роте. «Первая рота! — кричит.— Вторая рота!»

— Ну, завел теперь про своего графа! — перебила его супруга.— Лучше налил бы ребятам еще по одной.

— И то! — обрадованно подхватил Григорий Ермилович.

Он налил еще по кружке; мать только пригубила, а мужчины выпили и по другой.

— Ты попробуй наших шанежек! — Иван подставил Артюхову миску.

Василий попробовал вятских шанежек и нашел, что домашняя еда вкуснее нарпитовских пельменей.

— С сеном как обходитесь? — спросил Иван.

— То же и с сеном,— отозвался отец.— У Язевых ям покос был очень хорош. Но косить некому — в бригаде одни бабы. Мы с матерью косами пошмыгали — весь луг заставили копешками. А на днях приходит Данила Охалкин — он у нас теперь в председателях,— жмется. «Армии фураж,— говорит,— нужон». Ну, раз армии нужно, тут уж ничего не поделаешь. Отвезли. А сами без сена остались.

— Перебьемся! — снова бодро отозвалась мать.— Соломы овсяной стожок есть. Да сору я насобирала. Пяток овец придется прирезать — не без этого.

— Батя, ты по-прежнему калымишь? — спросил Иван и, повернувшись к Артюхову, пояснил: — Батя мой — мастер на все руки: и плотник и столяр. Весной отсеется колхоз — батя подберет бригаду, топор за пояс — и пошел. Увидишь в селе новый дом — так и знай: батя мой ставил! По бревнышку. По теснике. А карнизы какие вырезает — любо поглядеть!

— Теперь никто домов не ставит,— отозвался Григорий Ермилович.— На то она и война: людям одно разоренье. Солдатки да старики — такая теперь деревня. Крышу перекрыть у многих силы не хватает. Каждый день — похоронные. Вчера на дружка твоего, Мишку Велегжанина, бумага пришла: убит.

— Мишка?! Когда? — Иван подался к отцу.

— Под Смоленском. Осенью.

— В каких частях он служил?

— Минометчиком. Орденом был награжден. И орден и документы — все командир прислал.

К саням подошла пожилая женщина; на ногах — большие, стоптанные валенки, видать, мужнины; голова укутана черным полушалком. Она постояла минуту-другую, не решаясь вступить в разговор, но любопытство взяло верх над сдержанностью.

— Сынки? — спросила она.

— Один наш-то,— отозвалась мать и кивнула в сторону Ивана.— А это — товарищ.

— Встретили, значит?

— Встретили.

— А я вот своего третий день жду: все нет и нет.

— Где служил? — спросил Василий участливо: что-то тронуло его в этой женщине, ждущей трое суток встречи с сыном.

— В Забайкалье служил, сапером. Недели две назад прописал, что их на фронт посылают. Ждала-ждала от него весточки — все жданки прошли. Взяла вот да приехала. Думаю, может, телеграмма где пропала.

— Он уже давно на фронте, мать! — сказал Артюхов.— Видно, проехал другой дорогой.

— Муж под Могилевом воевал... третий месяц ни слуху ни духу. А теперь и сын ..

— Сын напишет с дороги,— сказал Артюхов, не зная, чем успокоить женщину.

— А вы-то откуда едете?

— Издалека.

— Дальше Забайкалья?

— Дальше. С Посьета.

Женщина, может, первый раз в жизни услыхала про Посьет; она жалобно глядела то на Василия, то на Малахова; чужое счастье всегда больно ранит сердце матери.

Женщина постояла-постояла и, поскрипывая по снегу подошвами подшитых валенок, побрела к своим розвальням.

Несмотря на то что Иван давно не виделся со своими (а может, именно из-за того, что давно не виделся), разговор, как заметил Артюхов, не вязался.

За три года службы в армии Иван изрядно поотвык от

дома, от быта и крестьянских забот. Ему хотелось как можно больше узнать о родных Цепелях, восстановить прошлое, утраченное за время службы в армии. Но за полчаса, отведенных для стоянки эшелона, обо всем нельзя было расспросить, поэтому разговор был сбивчивым, отрывочным.

— Как там поживает Лена? — спросил Иван.

— С нами напрашивалась,— сказала мать.— Серьезная девушка. Ты бы ее не узнал. Работает дояркой и учится.

— Что ж вы ее не взяли?

— Да ты же писем не писал. Может, другую ухажерку себе нашел?

— Угадала: нашел.

— Правда?

— А чего ж...

— Городская или наша, деревенская?

— Городская.

Лицо матери омрачилось. «Городская! Поди, в деревню-то ее не заманишь»! Дети есть дети, даже если они взрослые, они могут шутить, скрывать от родителей свои затаенные мысли, мать же никогда не таит про себя своих дум.

— Оно, конечно, загадывать теперь нельзя,— сказала она,— но женился б лучше на нашей, хоть на той же Аленке. Попадется еще какая нибудь непутевая. А эту мы сызмальства знаем. И детей помогли бы вам вырастить.

— Учтем! — Малахов толкнул Артюхова локтем, как бы приглашая его к этому разговору.

— Да он шутит, — сказал Василий.— Нет у него никого!

Иван нахмурился.

— Жаль, что я раньше не женился,— проговорил он, словно бы раздумывая про себя.— Хоть ребенок остался бы — и то ладно... А то убьют — и все.

— «Ребенок остался»! — подхватила мать.— А легко ли одной бабе воспитать его, сироту? Возьми хоть теперь нашу Парашку.

— А что Параха?

Мать помялась, взвешивая, стоит ли обо всем рассказывать Ивану.

— В положении. Вот-вот должна родить...

— Ну и хорошо! А Яшка где?

— Там же.

— Пишет?

— Писал, пока был на формировании. А тут на днях прибегает Параха, сама не своя... сунула мне в руку угольничек из листа школьной тетрадки, а сама уткнулась в плечо, плачет. Поглядела: адрес — действующая армия.

— Ничего, мама, передай сестренке — пусть не плачет. Все обойдется. Воспитаете! Человек будет — это ведь самое главное!

— Скажу,— согласно кивнула мать.

Иван расспрашивал — отец и мать отвечали. И выходило из их рассказа, что все Малаховы: братья, дядья, свояки, зятья, агрономы и учителя,— все были там, куда теперь спешил и самый младший из них — Иван. Слушая эту своего рода перекличку незнакомых ему имен, Артюхов вдруг отчетливо осознал беду, нависшую над Россией. Пришло, навалилось лихолетье — и весь русский народ, до самых глухих вятских уголков, поднялся на борьбу с врагом.

Из-за угла кубовой вышла женщина в черной шинели; на голове вместо платка форменная фуражка с широким малиновым околышем. Женщина была молода, подобранна; чувствовалось, что ей нравится и шинель, плотно облегавшая ее тонкую талию, и форменная фуражка; нравилось командовать и повелевать: она была помощницей дежурного по станции. Поскрипывая подошвами валенок, помощница дежурного вышла на привокзальную площадь и, чтобы привлечь к себе внимание, подняла футляр с флажками над головой.

— Есть ли тут бойцы с эшелона девяноста два дробь три? — спросила она.

— Есть! — отозвался Артюхов.

— Спешите к теплушкам. Сейчас отправляем.

Мать все поняла. Она не метнулась, чтобы обнять сына, а лишь посмотрела на него, и в этом взгляде было все: и тоска, и мольба, и надежда.

«Эта женщина умеет держать себя»,— подумал Артюхов; но едва он подумал об этом, как на глазах ее выступили слезы. Она не пыталась даже ни сдержать, ни смахнуть их, и они потекли по щекам, заполняя глубокие мор-

щины, которыми было изборождено все ее немолодое, рано состарившееся лицо.

Не в силах выдержать этих слез, Василий поблагодарил за гостеприимство; пожал руку Григорию Ермиловичу — и пошел.

Пошел, чтобы не видеть последних минут расставания.

24

Поезд остановился. Семафор? Полустанок? Никто толком не знал. В просветах двери все тот же лес и морозное, звездное небо.

Последние двое суток ехали только ночью.

В Хвойной, которую миновали в сумерках, представитель штаба армии, встречавший полк, сказал на совещании у Сарычева, что до передовой осталось меньше сотни километров. Там же, в Хвойной, Тябликов притащил в теплушку оцинкованный ящик с боевыми патронами и велел зарядить карабины. Зенитчики расчехлили счетверенные «максимы» и дежурили на платформах.

И хотя приказ о полной боевой готовности касался лишь зенитчиков, тревожное настроение передалось всем.

Как ни старался Артюхов пересилить тревогу и вздремнуть хоть немного, но заснуть не мог. Теперь, в полночь, он сидел вместе со всеми на нижних нарах и зябко поводил плечами. С самого вечера печку не топили из опасения, что искры могут демаскировать эшелон. Холод пронизывал насквозь: даже полушубки не согревали. Потолкаться бы, походить по теплушке! Однако ни двигаться, ни говорить не хотелось. Все сидели молча и глядели наружу.

Ничего не бухало впереди, было тихо, будто эшелон не приближался к фронту, а удалялся от него.

Тихо, морозно и темно. Лишь где-то вдали, за черной кромкой елового леса, вздрагивало — то замирая, то разгораясь вновь — белесое пламя; горела ли там деревня или рыскал по небу прожектор, отсюда понять было трудно.

Неожиданно в тишине раздались слова:

— Командиры и политруки подразделений! Срочно — к первому!

Дежурный шел вдоль эшелона и повторял одно и то же: «Командиры и политруки подразделений...» Он не успел еще поравняться с теплушкой артиллеристов, а Зотов, придерживая рукой кобуру с пистолетом, уже выпрыгнул из вагона в темноту.

— Вот и приехали. Собирай, братва, шмотки! — обронил Тябликов.

Но никто не пошевелился: собирать было нечего. Все, что еще вчера захламляло нары — сумки, каски, одеяла,— все было свернуто, убрано, надето на себя. Каждый боец сидел наготове: сбоку противогаз, за плечами вещевой мешок, каска на голове, карабины зажаты в коленях.

С уходом политрука напряжение еще более усилилось. Становилось невмоготу сидеть неподвижно, глядеть на черные ели, озаренные вспышками дальних огней, и ждать команды.

— Подымить, что ль, пока под крышей? А то на морозе-то и покурить не дадут: скажут, не демаскируй! — Тябликов зашуршал газетой, свертывая самокрутку.

В теплушке приятно запахло махорочным дымком. Ребята курили. Однако даже курево и вызванное этим оживление не внесло обычной разрядки: никто не шутил, не острословил. Казалось, напряжение достигло предела.

И именно в этот миг, когда напряжение достигло предела, у штабного вагона, где помещался «первый», послышались сдержанные голоса. Все разом вздохнули — кончилось совещание у Сарычева. Тотчас же заскрипели ролики откатываемых дверей.

К теплушке подбежал комбат.

— Батарея, строиться!

Погромыхивая котелками, батарейцы устремились к двери. Напропалую, без оглядки, прыгали вниз, в снег.

Прыгнул и Артюхов, радуясь тому, что тягостное ожидание наконец-то кончилось.

На улице было стужно. В сполохах дальних зарниц виднелась обширная вырубка, заставленная полосатыми штабелями дров. Меж штабелей, простиравшихся вдоль всего полотна, виднелись одинокие осинки, уцелевшие при вырубке.

Строились тут же, возле теплушки.

— Разобраться! — Не до формы было, и комбат, не дожидаясь доклада взводных, спросил не очень громко: — Все тут?

— Все!

Прохаживаясь перед строем, он объяснял задачу:

— Дивизионные тылы остаются здесь. Мы вместе с первым батальоном следуем дальше. Двадцать второй полк нашей дивизии, прибывший вчера, уже вступил в бой.

Снежок поскрипывал под ногами комбата. Затянутый офицерским ремнем полушубок топорщился, и с виду ничего в капитане не было воинственного. Вздрагивала планшетка, когда он взмахивал рукой. Ничего лишнего, даже каски, не было на комбате.

И Артюхов, глядя на Лысенко, подумал, что, наверное, оно лучше так безо всего. Он тоже бросил свой чемоданишко в теплушке и теперь рад был тому, что ничем не обременен.

— Выгружаемся на следующем разъезде,— продолжал капитан.— Отсюда десять километров. Всем ехать на платформах. Хоть впереди пойдет дрезина с разведчиками, надо быть ко всему готовыми. Возможно нападение групп просочившихся автоматчиков. Ясно?

— Ясно!

— Выгрузку закончить до рассвета. А не то — с рассветом тут летают немецкие мушки. Ясно?

— Ясно!

— Артюхов!

— Я, товарищ капитан!

Василий сделал шаг вперед.

— Ваш взвод отвечает за выгрузку конского состава. Разгрузочной площадки на разъезде нет. Придется складывать клетки из дров, прилаживать на них щиты и по настилу выводить лошадей. Кузовлев обещал прислать взвод на подмогу. Там, на месте, посмотрим. Понял задачу?

— Понял, товарищ капитан!

— Все остальные — сразу же к пушкам. С платформ их — и на дорогу. Ясно?

— Ясно!

— Вопросы ко мне есть? — как всегда, заключая, спросил Лысенко.

— Товарищ капитан! — Кухня — она как... с нами едет или при штабе остается? — подал голос Бутин.— А то завтра надо бы пораньше подзаправиться.

Лысенко усмехнулся:

— Не хвилюйся*, Бутин! Буде день, буде и харч.

Орудия расклинили; смерзшийся брезент, которым они укрыты были в дороге, сняли, и, отогревшись немного, бойцы толкались на платформах, ожидая сигнала к отправке.

Полустанок, где они теперь стояли, был небольшой — в три или четыре колеи. Слева виднелся крохотный вокзальчик, обшитый тесом; за ним, вдоль лесной опушки, чернели избы пристанционного поселка. Они казались заброшенными и забытыми. Ни лая собак, ни огонька...

Эта заброшенность чувствовалась во всем. На путях виднелись какие-то обгорелые вагоны; перед самым вокзальчиком, в том месте, где должна бы находиться пассажирская платформа, зияла огромная воронка от авиабомбы. Мерзлую землю, вывороченную взрывом, еще не успело запорошить снежком. Значит, бомбил недавно, гад! Может, в сумерках даже, когда их эшелон стоял за Хвойной, в лесу, выжидая час, а то и больше. Взрывной волной с вокзальчика сорвало крышу: листы жести чернели на снегу. В той стороне здания, где находился, по всей видимости, зал для пассажиров, вышибло не только стекла, но вывернуло даже и рамы, и они болтались на петлях, покачиваясь то в одну, то в другую сторону. С торцовой стороны висела сорванная вывеска: «Ходцы».

— Хотца не хотца, а слезать придетца! — пошутил Тябликов.

В каморке дежурного теплилась какая-то жизнь. Сквозь заколоченное горбылями окно торчала труба, и из нее поднимался в морозное небо сероватый дымок. Через неплотно закрытую дверь на снег ложилось желтоватое пятно света.

Туда, на огонек, и стекались люди. Одни обходили во-

* Не волнуйся (*укр.*).

ронку, не задерживаясь, словно не замечали ее; другие, поравнявшись с черной ямой, останавливались и подолгу рассматривали, качая головами.

У крылечка дежурки слышался торопливый говор, то и дело вспыхивали и гасли огоньки папирос. Сновали не только военные, но и железнодорожники. В черных, замасленных ватниках, они переговаривались взмахами рук, и необъяснимо было, как разбирал их сигналы машинист. Паровоз отцеплял вагоны, сортировал их, рассовывал по глухим, уходящим в лес тупикам. От длинного состава остались лишь платформы с орудиями, да пяток пульманов с лошадьми, да теплушки стрелкового батальона. Имущество санроты, зенитчики — все пряталось тут, в тылу. И нет уже дежурного и часовых. Разрушился быт и те порядки, которые успели установиться за время пути.

Одним словом, фронт...

С запасных путей, из-за обгорелых вагонов, вынырнула дрезина с платформой. Остановилась у вокзальчика, как раз напротив воронки. Послышались слова команды; платформу вмиг облепили бойцы из роты автоматчиков, и дрезина тронулась.

Следом за дрезиной, подталкиваемые сзади паровозом, покатились и остатки эшелона.

Сидя на орудийном лафете, Артюхов поглядывал вперед. Там, впереди, в серовато-морозной дали, раз-другой мелькнул сигнальный огонек дрезины, но вскоре и он погас или скрылся за поворотом. Промелькнула будка стрелочника, развороченная взрывом. И тут бомбил... В стороне стоял семафор; огни погашены, провода порваны, лопасть оторвана, повисла вниз, как рука у раненого.

Сразу же за семафором сомкнулся, подступил вплотную торжественно-тревожный мир. Прямо над головой высилось звездное небо, морозное, неподвижное и до неузнаваемости чужое; зловещей стеной стоял лес — темный, без единого просвета внизу и искристый от снега вверху. Особенно много снега лежало на елях. В местах, где ели росли кучно, лес казался заснеженным берегом, а черное небо над просекой полотна — рекой. И потому похоже было, что платформы с пушками, и теплушки, и пульманы с лошадьми — все это не катится по заснеженным рельсам, а плывет по узкой речной протоке.

Навстречу бездне...

Вслушиваясь в размеренный стук колес, Артюхов вспоминал прожитое. Вспомнилась родная деревня, кувшинки над тихой степной рекой и мать, стирающая белье на мостках. Вспомнился и весь этот долгий путь через всю страну, который приближался теперь к концу. Неужели его жизнь должна будет оборваться тут, среди болот и мрачных елей? Его жизнь. И жизнь его товарищей, с которыми он успел уже свыкнуться за время пути.

И Василий оглядел друзей, сгрудившихся возле пушек. Он хотел угадать — о чем они думают в этот час?

Рядом, по другую сторону пушки, стоял Верхогляд. Воротник полушубка приподнят; руки засунуты в карманы. Лицо спокойно, глаза с длинными ресницами, опушенными инеем, слегка прищурены. Сзади него привалился к передку Тябликов. Он, кажется, не думал ни о какой реке...

Никто не курил, не переговаривался.

Ни огонька папиросы, ни шуток, только изредка кто-нибудь кашляет глухо, прикрыв рот рукавом полушубка,— и снова тишина. Было зябко, неуютно, и очень хотелось, чтобы как можно скорее все это кончилось — и эта напряженная тишина, и это гнетущее ожидание чего-то. Лишь бы очутиться на земле, лишь бы действовать — двигаться, кричать, на себе волочить пушку, но только не это ожидание.

Дорога повернула влево, лес отступил, звездная река разлилась шире. И как только отступил лес, так снова, ярче и зримее, завиднелось зарево. Теперь ясно было, что это не сполохи дальних артиллерийских выстрелов. Горела деревня или склады на ближайшей станции. Розоватое, с острыми языками пламя то затихало, то вспыхивало вновь, и тогда от его яркого сияния гасли звезды на небе, а кромка леса с противоположной стороны дороги розовела. Все явственнее становились звуки выстрелов. Уже можно было различить одиночные, винтовочные; строчил «максим», а в промежутках меж длинными пулеметными очередями слышалось карканье чужого, незнакомого оружия: кры, кры...

— Огрызается! — обронил комбат.

Капитан стоял, прислонившись спиной к щитку орудия.

Сполохи дальнего пожара освещали его лицо. Оно было спокойно и сосредоточенно.

И это спокойствие неведомо каким образом передалось и Артюхову.

25

Рассвет еще только рдел, когда завиднелся впереди тот, последний полустанок.

Паровоз, посапывая, тихо толкал вагоны.

Заспанный стрелочник — без фонаря, с медным рожком в руке — встретил эшелон у въезда и стоял до тех пор, пока платформы с пушками проползали мимо него. Было так тихо, что слышалось даже похрустывание снега под колесами.

Их приняли на крайний от леса путь.

По-видимому, на этом пути уже разгружался раньше какой-то эшелон. Штабеля дров были разворочены, раскиданы, а снег до самого леса кучно истоптан солдатскими ногами.

Пожар вдали угасал, и небо, раздвинувшееся во весь свой купол, слилось с лесом.

Звякнули буфера вагонов, просипел беззвучно паровоз, и последний звук — звук скрипящего под колесами снега — погас.

Но люди еще какой-то миг оставались на своих местах: не верилось, что это — все.

— Приехали! — обронил Тябликов.— Кажись, тело довез, а за душу не ручаюсь.

— Артюхов! — окликнул вполголоса комбат.

— Я! — отозвался Василий.

— Подкладывайте пока штабеля, а я побежал за кузовлевским взводом. Надо лес пилить. По круглякам и пушки легче скатывать, и лошадей сводить. Ясно?

— Ясно... Карабины за плечо! Первый взвод, за мной! — сказал Артюхов спокойно и, придерживая рукой противогазную сумку, спрыгнул с платформы вниз, на землю.

Земля была жесткая и неподатливая. Затекшие от неподвижности ноги не гнулись, и Василия покачивало.

Позванивая котелками и касками, бойцы посыпались с платформы. Кто-то, споткнувшись, упал в снег и теперь

матерился, сплевывая и вытирая рукавом лицо. Артюхов не видел в темноте, кто упал и кто помог упавшему подняться,— пригнувшись, то и дело сталкиваясь с бежавшими в разные концы эшелона бойцами, он спешил к пульманам. Березовые кругляки мешались под ногами, и через них приходилось все время перепрыгивать. Верхогляд не отставал, бежал след в след. Подбежав, они вдвоем откатили дверь пульмана, до упора, во всю ширь. Из вагона вместе с острым запахом конского навоза пахнуло теплом обжитого хлева. Лошади фыркали и нервно постукивали коваными копытами по гулкому днищу пульмана.

Подбегавшие бойцы брались сразу за бревна, но Артюхов, опасаясь излишней сутолоки, приказал выстроиться цепочкой и передавать березовые кругляки с рук на руки. Так пошло дело спорее. Верхогляд, не доверяя никому, сам выкладывал штабель возле открытой двери.

Место оказалось низменное, болотистое. За кюветом, где стояли штабеля дров, зыбилась под ногами трясина. Поначалу, в горячке пока обминался снег, никто, в том числе и Артюхов, не придал этому значения. Болотце, мол, осочка. Но вот под ногами у Абдуллина что-то треснуло, и не успел Ахмед отбежать, как возле его ног вспузырилась, разливаясь черным пятном, вода. Пришлось выкладывать лежневку из тех же березовых полутораметровок.

Пока возились с лежневкой, в лесу зазвенели пилы. Это взвод пехотинцев начал валку леса для лаг.

— Верхогляд, Бутин... Выводи! — крикнул Артюхов и вместе с ребятами, царапая лицо о еловые сучья, побежал по настилу в вагон.

В пульмане было тепло, острый запах конского пота смешался с запахом сена, луговых трав. И этот запах душистых трав вдруг напомнил Артюхову самый счастливый час этой бесконечной дороги, а может, и всей жизни — час, проведенный тут с Паней. После размолвки в Кургане они встречались несколько раз и помирились будто, но все-таки в их отношениях уже не было той непосредственности, того радостного восторга, который они пережили, когда сидели тут, на вязанке сена, укрывшись одним полушубком...

— Пошли, Ландыш! — Верхогляд взял коренника за повод и потянул на себя.

Ландыш, как и другие лошади, не понимал, что от него нужно было людям, зачем они убрали щиты и кормушки и ворвались сюда, тянут его за поводья. Какая-то доля людской тревоги передалась и животным. Коренник дернул мордой, но с места не сдвинулся.

— Но! Но!

Бутин хотел помочь сержанту, однако Верхогляд не захотел ничьей помощи.

— Выводите других. Я с Ландышем справлюсь сам.

Первой не испугалась серая кобылка, пристяжная четвертого орудия. Она вышла из пульмана, постояла в дверях на клети, как бы проверяя надежность оказавшегося у нее под ногами сооружения, и, всхрапнув, постучала передним копытом по щиту. Постучала — и медленно пошла вслед за Ахмедом, державшим ее на длинном поводу.

За кобылкой, осмелев, пошли и другие. Только Ландыш упирался, не хотел покидать стойла.

— Ребята, нет ли у кого кусочка сахару? — спросил Верхогляд.

— А ну, чего ты с ним цацкаешься! — Максимов ударил коренника прикладом карабина.— Пошел, черт!

Ландыш попятился, присел на задние бабки, жалобно заржал.

— Дурень! Ты чего делаешь? — заорал на Максимова Верхогляд.

— Не ругайтесь, ребята! Некогда. Выводи, выводи! Пушки уже на земле...— Это комбат. Капитан, видно, совсем забегался — шапка сдвинута на затылок, пистолет, отвисший на ремне, болтался впереди.— Что, не идет?

— Не идет, товарищ капитан!

— Давай помогу! — Лысенко подошел к кореннику и стал тормошить его гриву.— Пошли, друг. Ну!

В суете, в крике понуканий и топоте конских копыт никто не обратил внимания на какой-то странный гул. Сначала еле слышимый, неровный и прерывающийся, он с каждой минутой нарастал, приближался.

— Товарищ капитан, кажись, самолет! — обронил кто-то из бойцов.

— Ничего, это наш! — поспешил успокоить комбат.— Немцы спят небось. Они любят порядок.

Только произнес это капитан, вдруг от будки стрелочника послышались частые-частые гудки рожка: ту! ту! ту!.. В такт рожку загудел паровоз, и кто-то, стараясь перекричать тревожные гудки паровоза, истошно, во всю глотку, завопил:

— Во-оздух!

Артюхов выглянул из вагона.

Небо было все так же темно и звездно, и ни огонька, ни силуэта вражеских самолетов нигде не видать. Слышалось какое-то мерное гудение, но оно было таким далеким, таким безобидным, что волноваться и бежать куда-то сломя голову, как бежали другие, по его мнению, не стоило.

— Ну, что там? — спросил капитан.

— Гудит.

— Пусть гудит. Сейчас выведем Ландыша — и...

И в тот же миг что-то глухо треснуло там, в вышине. И от этого глухого треска небо будто раскололось на две половины. Самый дальний, звездный, купол неба стал непроницаемо черным, а та его половина, что обращена к земле, сияла, освещенная ярким, фосфорическим светом. На земле стало светлее, чем днем, при свете солнца. И в этом неестественно ярком сиянии повисших в вышине осветительных ракет виделось все: и черная труба сгоревшего станционного домика, и орудия, в беспорядке стоявшие на поляне, и лошади, и белые-белые березы на опушке леса... И отовсюду — от черных штабелей дров, от теплушек и пульманов — к этим белым-белым березам по белому-белому снегу бежали люди.

Не помня себя, Артюхов тоже побежал. Он был уже внизу, возле самых штабелей, когда кто-то нагнал его сзади и привалил к земле:

— Ложись!

Василий уткнулся лицом в рыхлый, холодный снег. Падая, он услышал, как по ту сторону вагонов, откуда-то с дальней опушки леса, застрочили счетверенные «максимы». Но тут же, заглушая их стрекот, раздался вой, похожий на рев сотни сирен. Звук этот, слышимый Артюховым впервые, заставил его инстинктивно прижаться к земле. Вобрав голову в плечи, он цеплялся руками за

смерзшуюся траву, рвал ее и опять цеплялся, стараясь как можно глубже закопаться в снег.

Звук рос, близился; казалось, еще миг — и все нутро Василия вывернется наружу. Он приподнял голову, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и в тот же миг где-то очень близко, по ту сторону вагонов, вспыхнуло яркое черно-красное облако. Упругая волна взрыва подбросила его. Но он снова уткнулся лицом в снег.

Трах! Трах! Трах... Треск посыпавшихся стекол, ругань, приглушенные стоны, лошадиное ржанье — и где-то рядом: «Вот те и «наши»!» — сплевывание, упоминание чьей-то матери и снова тишина.

Артюхов хотел уже приподняться, как со стороны леса снова послышался гул моторов. Василий глянул туда и на фоне серого предутреннего неба увидел, как что-то черное, узкокрылое вынырнуло из-за кромки леса и, надвигаясь на него, сверлило небо огненными дугами светящихся пуль: кыр... кыр...

Артюхов уткнулся в обогретую его теплом землю и затих, чуя во всем теле ужас приближающегося конца.

Чох... чох... чох — и опять: трах! трах! — и лишь звон в ушах, и круги фиолетовые в закрытых глазах...

...Артюхов не помнил, сколько минут пролежал неподвижно. Когда он очнулся, то первое, что его поразило,— тишина. Ни гула самолетов, ни стрекотанья «максимов» — все смолкло. «Может, я контужен? Может, оглох от взрыва?..» — Василий приподнял отяжелевшую голову.

Вся поляна перед лесом усеяна была черными трупами. «Почему они черные, в шинелях? Ведь наши все в полушубках? — Вытер ладонью мокрое лицо. Пригляделся.— А-а, поленья!» — Василий чертыхнулся.

Услышав его ворчанье, кто-то выругался отменным трехэтажным матом. И, словно все только и ждали этой своеобразной команды, разом — и тут и там — задвигались люди.

— У-у, фриц! Язви его в душу!

— Бутин!

— Чего?

— Живой?

— Живой.

Крики. Ругань. Ржанье лошадей. Заурчала на путях дрезина — знать, не разбомбило.

Артюхов поднялся с земли. Ломило голову: то ли ударился, падая, то ли стукнуло поленом. Острая боль чувствовалась в правой ноге, в самом суставе. Василий ощупал колено; ватные брюки целы, крови тоже не видно — значит, ударился, когда летел с настила.

— Комбат! Лысенко! — Вдоль эшелона, перепрыгивая через поленья, бежал политрук.

— Он был тут. Помогал лошадей выводить,— сказал Артюхов.

— А-а, это ты, Василий...— Зотов с трудом сдерживался, чтобы не выругаться.— Всего три «мессера», а шухеру натворили! До утра теперь лошадей не соберешь.

— Соберем! — Из-за штабеля дров показался комбат. Лицо и шапка в снегу, низ полушубка почернел от болотной воды.— По местам! Артюхов!

— Я!

— Заканчивайте выводку лошадей.

— Есть!

Артюхов метнулся было в пульман, но два последних щита оказались сброшенными взрывом. Он приказал Бутину и еще двум или трем бойцам, оказавшимся поблизости, установить щиты на место и, не дожидаясь, пока они закрепят их, побежал наверх, в пульман.

Он вбежал в пульман, и первое, что его поразило,— это необычная пустота. Посредине вагона в проходе валялась бочка, в которой держали в дороге запасную воду. Тюк прессованного сена, валявшийся у противоположной двери, распушило вдребезги, только мешались под ногами лохматые травяные клочья. Оглядевшись, Артюхов заметил, что весь угол вагона, где стоял Ландыш, разворочен взрывом. Куски вагонки, висевшие кое-где на железном остове, чернели, словно остатки мяса на обглоданной кости.

Предчувствуя недоброе, Артюхов попятился назад.

— Ве-в-е... Верхогляд!

— Он тут оставался...— Старшина посветил жучком-фонариком.

Прислонившись крупом к торцовой стенке вагона, Ландыш силился подняться на ноги. Красивое и сильное тело его дрожало мелкой дрожью.

В двух шагах от коренника, так и не выпустив из рук повода, лежал Верхогляд. Лежал ничком; правая рука с зажатым в ней поводом откинута в сторону. Рядом со скорчившимся в судорогах телом эта откинутая рука казалась неестественно длинной. Шапку сбило с него, и она отскочила на середину вагона, к бочке; виден был лоб — высокий, гладкий и без единой царапины.

И то, что на лице не было ни крови, ни царапины, успокоило Артюхова. Он шагнул к сержанту и, наклонившись, приподнял его.

Верхогляд глухо застонал.

Артюхов выдернул из его рук повод, мешавшийся под ногами, крикнул:

— Комбат! Сержант ранен.

— Бутин, а ну беги за санинструктором! — Тябликов загасил фонарь и, припав на колено, стал помогать Артюхову.

Они бережно подняли Верхогляда, понесли к дверям. У самой двери на помощь им подоспели комбат, Ахмед и еще кто-то из ребят.

Когда вынесли раненого из вагона, он открыл глаза и поглядел — сначала на небо, а потом на обступивших его батарейцев.

— Товарищ капитан... Надо же... угораздило-то меня...

Он не договорил — кровь тонкой струйкой полилась изо рта: сначала по щеке, потом по белому барашковому воротнику полушубка.

— Ничего, ничего! — Капитан кивнул головой ребятам, и все, кто был тут, молча взяли щит, на котором лежал Верхогляд, и, отнеся в сторонку, положили на штабель.

26

— Артиллеристы, кто у вас ранен?

Артюхов в темноте узнал голос Пани Зайцевой. Придерживая обеими руками санитарную сумку, она бежала впереди Бутина.

— Паня! — Артюхов кинулся ей навстречу.— Верхогляд, сержант наш, ранен. Парень-то какой!

— У-уф! — Паня остановилась; сумка выпала у нее из рук.— Вася! Живой?! А я, как услыхала: «Санитара —

к артиллеристам!» — так о тебе подумала сразу. Думаю: боже! — Она с трудом перевела дух.— Где сержант? Куда ранен?

— Тут он...— Артюхов подхватил санитарную сумку и пошел, указывая Пане дорогу.

Когда Паня подошла, все молча расступились.

— Опустите пониже,— попросила она.

Тотчас же щит с распростертым на нем Верхоглядом подхватили десятки солдатских рук и опустили бережно на землю.

Паня наклонилась над ним, пощупала пульс и, отбросив с испугом сержантову руку, стала быстро-быстро расстегивать на нем полушубок. И когда она распахнула полушубок, все, кто помогал ей, с ужасом отпрянули, а кое-кто не выдержал и отвернулся. Весь мех внутри полушубка был черен от крови.

— О-о! — что-то вроде стона вырвалось у Пани.

По ее лицу скользнула тень — не то испуга, не то растерянности. Но эта растерянность охватила ее лишь на миг. Паня тут же взяла себя в руки и, доставая из сумки перевязочные пакеты, бросила строго:

— Посветите... у кого фонарик?

Бинт, покрывавший рану, тотчас же становился черным от крови.

— Сестра...— Верхогляд дышал и говорил с трудом.— Напрасно стараетесь... Все...

— Ничего, потерпи, дружочек мой! — Паня была ласкова с ним, как с ребенком.— Потерпи немного. Сейчас перевяжем... отнесем тебя в дрезину. В медсанбате сделают операцию. Жив будешь.— И опять: — Поднимите. Так.

— Комбат! — позвал Верхогляд.— А комбат?

— Спокойно, сержант.

— Помру — напишите домой, что в бою погиб... А не так, по-глупому.

— Ну, что ты! Вернешься в батарею. Повоюем еще вместе.

— Нет... видно, отвоевался Верхогляд...

— Готово! — Паня затянула концы бинтов.— Заверните в полушубок — и в дрезину. Там еще есть раненые.

Тябликов завернул сержанта в полушубок; ребята бережно подняли щит с земли.

— А где его шапка?

Комбат стал шарить руками, думая, что завалилась за штабель. Но Артюхов вспомнил, что видел сержантову шапку в пульмане. Он сказал, чтобы ребята несли Верхогляда к дрезине, а шапку он сейчас отыщет и догонит их.

Верхогляда понесли.

Артюхов побежал к вагону. Он поднялся в вагон и посветил. Бочка, в которой всю дорогу держали запас воды для лошадей, лежала посреди пульмана, а шапки возле не было. Видимо, тогда же в суете кто-то отбросил ее ногами в сторону. Василий пошарил фонариком по полу. Шапка валялась в углу, возле оторванной от щита кормушки. Он поднял ее и уже собирался бежать, как увидел тут же, у кормушки, что-то еще — шапка не шапка, валенок не валенок. Артюхов нагнулся, хотел тронуть рукой, но с ужасом отпрянул прочь. То была... нога Ландыша.

Не веря своим глазам, Василий высветил коренника, Верхоглядова любимца. Ландыш стоял возле стены, развороченной взрывом. Он стоял на трех ногах, а правой задней — той самой, на которой у него была белая рубашка над копытом, что так красила его,— этой правой задней не было. По самую голень. Вместо ноги висел кровавый обрубок.

«Эх, Ландыш, Ландыш!»

Ландыш заржал глухо, надрывно; не ржанье вышло, а сдерживаемый стон.

Артюхов впервые слышал, как стонет раненое животное. Ему стало жутко, и он опрометью бросился вон из пульмана. Ландыш хотел, видимо, двинуться за ним следом, но только шагнул передними ногами — и тут же рухнул на пол. Коренник заскреб по дощатому полу копытами, стараясь приподняться.

Огоньки дрезины светились вдалеке, у самой выходной стрелки.

Выпрыгнув из вагона, Артюхов огляделся и побежал на эти огоньки. Впопыхах чуть не завалился, споткнувшись о глыбы смерзшейся земли, вывернутой взрывом. Воронка была небольшая: знать, сыпал осколочные... Торопясь, Василий то и дело обгонял раненых. Кажется, это были легкораненые — с повязками на голове или на руках. Лишь в самом хвосте эшелона повстречал бойца,

которого вели товарищи. У него забинтована была ступня ноги, он не мог идти, и бойцы поддерживали его вместо костылей. Один из них нес под мышкой валенок, и раненый все спрашивал: не потеряли ли?

— Да успокойся! Тут он... несу,— повторял тот, что вел его, и показывал валенок.

Возле дрезины толклись раненые и санитары.

Слышались сдержанные окрики командиров.

— На платформу! На платформу садитесь! — узнал Артюхов голос командира санроты.— В дрезине место для тяжелораненых.

Артюхов взглянул на платформу, где кучкой жалось пять-шесть бойцов с окровавленными повязками; Верхогляда среди них не было. Не здороваясь ни с кем и с командиром санроты тоже, Василий протиснулся к дрезине. Из узких дверей кабины моториста старшина и Абдуллин выносили щит с завернутым в полушубок сержантом.

Рядом понуро стоял капитан Лысенко.

— Товарищ капитан! Отправляйте его со всеми в тыл. Там похоронят,— сказал командир санроты.

— Нет. Мы сами отдадим ему последний долг.

Артюхов сдернул с себя шапку...

Тропинка начиналась от будки стрелочника и, петляя между низкорослыми сосенками, вела в поселок лесхоза, находившийся неподалеку от станции. По этой тропинке и несли теперь Верхогляда.

Артюхов и Лысенко шли позади.

— А где Зотов? — спросил комбат.

— Где-то там...— Артюхов кивнул на черневший в стороне эшелон.

— Найдите его. Проверьте вместе, все ли выгружено, да давайте запрягать. Ему недолго: опять небось прилетит.

Артюхов положил сержантову шапку на щит, свою помял в руках, но не надел. Сказал: «Есть!» — и снежной целиной обходя соснами, пошел назад, к полустанку. Он понимал, что надо спешить, но сил, чтобы бежать, у него не было. От бессонной ли ночи или оттого, что уж очень переволновался, ломило голову. Он с трудом передвигал ноги, и в мозгу была лишь одна мысль: хоть на час,

хоть на четверть часа очутиться бы теперь в тепле. Не в постели, на чистых простынях, как он спал, когда служил начальником цеха в артиллерийских мастерских, а хоть в той же теплушке, и пусть даже не на нарах, пусть на полу, возле «буржуйки». Лишь бы можно было вытянуть ноги и заснуть на четверть часа, забыться на миг, сознавая, что не будет никаких тебе самолетов, не будет этого противного визга бомб и карканья скорострельных пулеметов.

Однако, поборов в себе эту минутную слабость, Артюхов зашагал быстрее.

Дрезина, к которой сносили раненых, ушла, и полустанок казался вымершим. Лишь черный-черный паровоз с затемненной кабиной и погашенными фонарями сыпал на шпалы робкие, красноватые угли.

Вдоль бровки железнодорожного полотна путалась под ногами солома, валялись доски с нар, листы железа, сорванные с крыш вагонов взрывной волной. Еще не все вагоны были выгружены, еще выкатывали повара походные кухни, еще бегали штабники туда-сюда со своими ящиками и бумагами; но не слышалось уже ни громких команд, ни обычной в таких случаях ругани — люди переговаривались шепотом, будто немец сидел рядом, за штабелями дров, и мог услышать, вынырнуть в любую минуту.

Артюхов прошел бы мимо своих, если б случайно не столкнулся с Малаховым, тащившим сразу по меньшей мере пяток хомутов.

— А политрук где?

— А вон...— Малахов кивнул в сторону пульмана, откуда нес хомуты.

Артюхов поднялся в вагон, и острый запах конской сбруи сразу же напомнил ему, что это тот самый пульман, который он окрестил про себя «дедовским сараем». Именно в этом вагоне, среди конской сбруи и запасных колес к бричкам, комбат прятал бочку с откатной жидкостью.

Разгрузку вагона производил взвод Малахова. Политрук, видимо, пришел позднее, после того как скинули пушки с платформ. Зотов работал наравне с бойцами. Ни суеты, ни лишних разговоров, будто и не под вражескими бомбами они трудились, а где-нибудь в тылу.

Артюхову трудно было удержаться — не сказать о Верхогляде, и он сказал. Но оказывается, они уже знали о смерти сержанта — Бутин прибегал. Василий передал приказание комбата: по возможности скорее заканчивать выгрузку. Надо бы собрать взвод да впрягать пушки, но пока хомуты и вальки для пристяжных в пульмане, впрягать не во что, и он стал помогать политруку. Одна половина вагона была уже свободна; осталась лишь та, где стояла бочка с откатной жидкостью, а за ней, в самом углу, поблескивали оцинкованные ведра и штабелем сложены были коробки с артприцелами.

— Артюхов, а ну поди-ка сюда! — позвал политрук.

В самом углу, за футлярами буссолей, на стене вагона висели две коробки от противогазов. Одна над другой, с воронкой в верхней горловине.

— Не понимаю: что это такое?

Артюхов наклонился над ними, понюхал.

— А чего ж тут понимать! — сказал Василий; ему вспомнились слова Верхогляда, оброненные как-то вскользь: «Старшина наш — алхимик. Пар из воды может делать и воду из пара... Ну и еще кое-что...» — Спиртоочистительный завод системы Тябликова. В коробку лили откатную жидкость. Масло оставалось в угле, а чистый спирт стекал в котелок.

— И это пили в дороге?

Артюхову не хотелось рассказывать все, что знал. Не время! Ни к чему шевелить прошлое; к тому же после той стычки в теплушке, когда он «засек» Тябликова, Василий больше не замечал за старшиной грехов. Артюхову-то казалось, что его разговор повлиял на старшину; но когда он стукнул по бочке, то гул ее был звонок: наполовину пуста.

— Ну и ну! — Зотов не мог успокоиться, качал головой.— И ты замечал, что ребята пьют?

Артюхов отмахнулся — дескать, что было, то сплыло. Не те теперь заботы. И, коснувшись рукой плеча Зотова, сказал с грустью:

— Николай! Комбат с Верхоглядом там. При эшелоне ты — старший. Пошли кого-либо из ребят... пристрелить Ландыша. Стоит в пульмане — один, без ноги. Зачем же ему мучиться?

— Ландыш? — только и произнес Зотов и замолк.

— Да. И такая тоска у него в глазах!

— Прости, не могу! — сказал политрук, помолчав.— Не могу приказать нашим! Едва ли кому из них под силу такое. Надо попросить Кузовлева: пусть пошлет какого-нибудь бойца с автоматом.

— Так ты скажешь ему?

— Да.

Батарея стояла за станционным поселком, на опушке. Лошади были впряжены в передки; орудия, замаскированные ветками хвои, прятались тут же, в редком и таком светлом в этот утренний час березнячке. Чувствовалось общее напряжение.

Батарея была готова к выдвижению на первый свой огневой рубеж.

Все были в сборе, не хватало в строю лишь сержанта Верхогляда и Ландыша. Коренника — сразу же, как только пристрелил его автоматчик,— какой-то железнодорожник, не то стрелочник, не то сцепщик, освежевал и тут же, в вагоне, разрубил тушу, забрав себе лучшие куски. Остальным завладели бойцы выходившей из окружения кавдивизии. У них в станционном поселке был сборный пункт. Они уже хлебнули войны, и у них был опыт. Они и живы остались в окружении благодаря тому, что с ними были лошади.

Одним словом, через час от Ландыша не осталось и следа. А сержант Верхогляд — любимец батареи — еще лежал на поляне. Он лежал на поляне, у самой обочины проселка, по которому должна была выдвигаться батарея на свой первый огневой рубеж. Дорога эта вела от полустанка в сторону села Покровского. И тут, метрах в восьмистах от полустанка, под одинокой, корявой березой, пушистой от инея и розовой от отсвета занимавшейся над лесом зари, бойцы артюховского взвода копали сержанту могилу. Абдуллин и Бутин долбили заступами смерзшуюся землю, а Солод подхватывал комья лопатой и швырял их подальше от дороги, потому что тут, возле самой дороги, на которой выстроились теперь бойцы батареи, лежал Верхогляд. Он лежал на носилках из двух березовых жердин, наспех связанных между собой запасными постромками. Самого его не было видно, тело сержанта было укрыто зеленью еловых веток. Видно было лишь его

лицо — высокий лоб, узкий и ставший вдруг длинным и каким-то неузнаваемым нос.

Рядом, под березой, скучившись, понуро стояли командиры: капитан Лысенко, политрук Зотов, Малахов; Артюхов подавал команду — зарядить карабины.

Батарейцы готовились отдать последний долг сержанту.

Осадив коня, к березе подскакал связной:

— Капитан Лысенко — срочно на КП полка!

— Хорошо. Доложите: сейчас буду...— отозвался комбат.

Капитан стоял рядом с политруком, и его лицо, изрытое оспой, осунувшееся после бессонной ночи, мало чем отличалось от желтого, воскового лица Верхогляда.

Связной ускакал.

Верхогляда уложили на дно неглубокой могилы.

Левее березы, над вершинами заиндевевших елей, медленно, нехотя выкатилось студеное, неприветливое солнце.

Грянул залп.

Начинался первый фронтовой день.

Книга вторая

Кресты

1

Орудийное колесо, кованное железом, утопало в снегу чуть ли не по ступицу. Сбоку следа топорщилась трава, густая и серая, как войлок, а по днищу, вперемешку со снегом, пламенели пятна лесных ягод. Раздавленные ободом, ягоды какой-то миг казались черными, но тут же снег пропитывался их соком и становился неприятно розовым.

Шагая по глубокой колее, разбитой орудийными колесами, Артюхов все приглядывался к этим пятнам, стараясь по стеблям и листьям травы угадать — клюква это или брусника? В той, рязанской, стороне, где родился и вырос Василий, лесных ягод мало, и теперь он не переставал удивляться обилию розовых пятен. «Вот так же чернел снег под полушубком сержанта Верхогляда»,— подумал вдруг Василий, и ему стало не по себе. Он свернул с дороги и пошагал стороной, по нетронутому насту.

Батарея не кучно, не спеша и даже как-то непривычно вяло выдвигалась на первый свой огневой рубеж. Выдвигалась не по проселку, а по глухой заснеженной просеке. По обе стороны стоял лес — отчужденный и насупившийся. Темные стволы елей — без единого сучка внизу и без подлеска — жались друг к дружке плотно, как жерди в частоколе. В двух десятках метров от просеки нельзя было ничего различить. Мрачные, замшелые стволы деревьев стояли стеной. Казалось, что батарея движется не по лесной просеке, а по узкому, глубокому ущелью и что по сторонам не лес вовсе, а замшелые глыбы камней. Лишь изредка, на болотце или случайной вырубке, ели отступали. На смену им показывались белые стволы берез, росших вдоль опушки. Лес светлел, и тогда будто веселели не только батарейцы, но и лошади, впряженные в передки. Они шагали более споро и бодро кивали головами.

— Лейтенант, закурить есть? — Абдуллин спрыгнул с передка и, подождав, пока мимо проехало орудие, подошел к Артюхову.— Дайте папиросу. Хоть кишка согреть.

Василий достал из кармана пачку «Норда», протянул ее сержанту. Но сам закуривать не стал — не хотелось.

— Нехорош дорога,— сказал Ахмед, примериваясь к широкому шагу Артюхова.— Случись что — пушку не развернешь.

— Ничего! — отозвался Василий.— Впереди батальон Кузовлева.

— Э-э! — сержант сощурил глаза, и по этому прищуру трудно было понять: от дыма папиросы ли он жмурится или от затаенной мысли.— Тихо больно. Нехорошо, когда тихо.

В самом деле, на передовой было тихо. А само выдвижение батареи происходило как-то буднично. Василий не испытывал ни подъема, ни волнения, которые всегда сопутствуют опасности. Хотя и ощущения опасности не было — как ночью, при выгрузке. Где-то по левую сторону просеки слышались автоматные очереди, тыкали мерзлую землю редкие взрывы мин. Но, скрадываемые чащей леса, и выстрелы, и взрывы слышны были глухо, и не хотелось верить что все это имеет хоть какое-нибудь отношение к нему, Артюхову.

— До передовой еще далеко,— сказал Василий.

— А кто знает, где она — передовая? И там стреляют, и тут...— Ахмед повел головой, прислушиваясь.

Но впереди по-прежнему было тихо, только стрекотала где-то на вырубке потревоженная сорока.

Артюхов ничего не сказал в ответ, и некоторое время они шли молча, прислушиваясь к суетливым выкрикам птицы. Вырубка кончилась, батарея снова углубилась в чащу леса. Все бы ничего, но мрачный частокол елей снова вызывал тревогу и беспокойство в душе Василия. Это был его первый боевой выезд. Как только похоронили Верхогляда, капитан Лысенко ускакал на КП полка, а Артюхов остался за него. «Выдвигайтесь пока потихоньку в сторону Покровского. Я — быстро!» — наказал капитан. Может, Артюхов делал все как надо, но он не был уверен в себе. Василий еще ни разу не командовал: «Батарея, к бою!» и ни разу не стрелял боевыми снарядами, поэтому сомневался во всем. Он даже не знал толком, где его место

на марше, и шел в середине колонны, рядом со своими орудиями.

— В лесу станем или для прямой наводки будем выкатывать? — спросил Ахмед.

— Пока приказано выдвигаться. Там видно будет,— не очень охотно отвечал Василий.— Вернется с КП комбат, тогда уж... Без него начинать не будем.

— Прикажут — будем.

Ахмед хотел еще что-то добавить, но не успел. Впереди, в лесной чаще, что-то резко щелкнуло, лес, разбуженный этим щелчком, отозвался эхом: шу-шу-шу. Василий испуганно вздрогнул — он сразу понял: это винтовочный выстрел.

Впереди колонны разом все смешалось. Ездовые головных упряжек остановились и поспешно, в суматохе стали разворачиваться; шедшие следом напирали на них.

— Что случилось? — крикнул Артюхов.

— Немцы!

— Командиры и заряжающие остаются возле орудий. Остальные — за мной!

Не помня себя от волнения и испуга, Василий выхватил пистолет из кобуры и бросился вперед. Пробегая мимо упряжек, он видел, как батарейцы спрыгивали с передков и зарядных ящиков и, утопая в снегу, бежали за ним следом. Правильные и наводчики на бегу стаскивали с плеч карабины. Слышался мат и щелканье затворов.

С трудом переводя дыхание, Василий подбежал к первому орудию. Прислуги рядом не было — лишь ездовой Сабиров, вздыбив коренника за удила, силился вывернуть упряжку с просеки.

— Где немцы? — налетел на него Василий.

— Да вон...— ездовой кивнул на опушку вырубки.

С краю вырубки, в негустом мелколесье, пестревшем штабелями дров, толпились батарейцы. Они стояли полукружьем: ухоженные, в валенках, в новых полушубках белой дубки. А перед ними, устало опустившись на березовые кругляки, сидели какие-то люди в шинелях неопределенного цвета: не то серых, не то черных. Лица исхудалы, давно не бритые. Глаза потухшие...

«Неужели немцы? Откуда они взялись? Почему наши не стреляют?» — Артюхов вспотел, рука, в которой он держал пистолет, дрожала. Боец, бежавший следом, ма-

терялся, то и дело натыкаясь на заснеженные пни. «Что за чертовщина такая?!» — с каждым шагом на смену испугу приходило изумление. Василий услыхал русскую речь и смех ребят. Он сунул пистолет в кобуру и, успокоенный, пошел шагом.

— Ой, не могу: «немцы»?! А паника-то! Га-га...— смеялся Малахов. Он то запрокидывал голову назад, то наклонялся — и не смеялся, а попросту ржал. «Паня точно окрестила Ивана; он и в самом деле — жирафоподобный»,— почему-то с неприязнью подумал Василий о своем друге, командире взвода управления.

— Это я во всем виноват,— признался телефонист Чихачев.— Вешаю я провода на ели, вижу: люди крадутся лесом. Худые, черные. Ну, думаю, кто тут, в лесу, окромя немцев? Карабин выхватил, и это — бах!

Чихачев, подражая Малахову, тоже захохотал.

— Ну чего вы ржете? — грустно сказал кто-то из бойцов, сидевших на березовых кругляках.— Поешь, как мы, корье древесное да клюкву из-под снега, небось почернеешь!

Артюхов толкнул Чихачева, тот посторонился. Василий окинул взглядом бойцов в потрепанных шинелях. Он уже догадался, кто эти люди с заросшими лицами и лихорадочно блестевшими глазами. Перед выгрузкой комбат собирал у себя командиров взводов и рассказывал об общей обстановке на участке их фронта. Капитан сказал тогда, что при неожиданном прорыве немцев на город Кресты соединения нашей армии, стоявшей на Волхове, частично отступили, а частично были рассеяны по лесам. Отдельные мелкие группы все еще выходят. В случае, если на участке, занимаемом батареей, появятся о к р у ж е н ц ы, говорил комбат, их надо направлять на сборный пункт. В слове этом — окруженцы — Василий почувствовал какую-то неполноценность, ущемленность. Тогда это слово покоробило его. Но теперь, пристально оглядев окруженцев, Василий понял: да, эти люди на какое-то время не вояки.

Их было человек десять, не более. Бойцы еще сохранили свою армейскую форму, но шинелишки на них были так потрепаны и замызганы, что можно понять Чихачева, принявшего их за немцев. Одеяньем своим выделялись только двое. На обоих были барашковые полушубки крестьянской дубки, мохнатые шапки и валенки с высо-

кими голенищами. Поначалу Артюхов решил, что это — начальство. Но, приглядевшись повнимательней, Василий заметил, что начальством мог быть лишь один из них — высокий, сухопарый, с автоматом ППД.

Батарейцы наперебой предлагали вышедшим из окружения свои кисеты с махоркой. Те хватали их и поспешно заскорузлыми, плохо гнувшимися пальцами крутили козьи ножки.

— О, махра! — Белобрысый боец в дырявой, прожженной шинели, сидевший сбоку поленницы, понюхал желтоватую махорку, которую он щепоткой взял из кисета, протянутого ему Бутиным, и, довольный, прищелкнул языком.— Наша, пензенская! — сказал он восторженно.— Я махру эту по запаху определяю. На формировке нам выдавали ряжскую. Но ряжская не то что наша. А вы, значит, нашей, пензенской, удостоились.

— Ну еще бы!

— А кресало есть? — смастерив самокрутку, белобрысый повертел козью ножку в руках, как бы проверяя ее добротность.

— Есть.

Бутин достал коробку спичек, чиркнул и поднес солдату. Тот задвигал скулами, и самокрутка задымила. Окруженец был немолод — видно, из резервистов. На давно не бритом подбородке пробивалась редкая седина; шею изрезали глубокие морщины.

— Кадровые, знать?

— Кадровые.

— На смену нам, выходит?

— Выходит, на смену.

— А что ж это вы — кадровые, а действуете не по-уставному? — вступил в разговор молчавший до этого сухопарый человек в овчинном полушубке.— Двигаетесь без разведки. Без всякого прикрытия. Прямехонько — в расположение немцев.

— А где немцы? — испуганно спросил Малахов: в обязанность его взвода входило обеспечение безопасности батареи на марше.

— На этом направлении группируются большие силы противника.— Человек в мохнатой шапке обвел вокруг себя руками.— Вчера вечером в Покровском хотели заночевать. Наш проводник, партизан, сунулся было в село, а во дворах — полно немцев. И сегодня утром вот тут,

в лесу, тарахтели мотоциклы. А вы — с орудиями, без прикрытия и разведки.

— Кто у вас старший? — спросил вдруг Василий.

Спросил и сам себе не поверил, что это он, Артюхов, произнес эти слова. Он не крикнул, даже не повысил голоса, но вопрос его прозвучал требовательно и строго. Если б еще вчера кто-нибудь сказал Василию, что он сможет так умело владеть собой, он не поверил бы. Выходило — может.

— Кажись, я! — ответил сухопарый в полушубке.

— И без «кажись», пожалуйста! — Василия уже начала раздражать манера, с которой держался и говорил этот человек. «Кадровые, а действуете не по уставу». Какое ему дело?

— Извините, а вы кто, молодой человек?

Артюхов назвал себя. Услыхав слово «лейтенант», окруженец в барашковом полушубке усмехнулся. Блеснул золотой зуб, и блеск этот как-то странно не сочетался с крестьянским полушубком и густой растительностью, которая покрывала его лицо. Распахнув полушубок, он стал рыться в нагрудном кармане френча. На петлицах военного мелькнули большие звезды. Точно такие же звезды были на петлицах инспектора пехоты, который готовил их к параду в Хабаровске.

— Прошу!

Пока Василий сообразил, что к чему, генерал достал удостоверение. Артюхов взял книжицу, раскрыл; долго не мог разобрать фамилию генерала; он понял только одно: перед ним командир дивизии: «Ну, влип в историю!» — подумал он и, возвращая удостоверение, козырнул:

— Простите, товарищ генерал! Малахов,— обратился он к Ивану,— проводи товарищей на КП полка.

— Очень хорошо! — сказал генерал, с трудом подымаясь с березового кругляка.— Так ближе к делу. Хотя у нас уже есть один сопровождающий — партизан.— Генерал кивнул на человека в стоптанных валенках.— Пошли, товарищ Колобов.

Мужичишка, оперевшись на трехлинейку, поднялся. Встали и окруженцы. Обтрепанные их шинелишки прикрывали колени. Кирзачи стоптаны, задники сапог порваны, из дыр торчат клочья портянок.

Сердце у Артюхова смягчилось, стало ему как-то не

по себе оттого, что был не очень учтив и с генералом, и с этими несчастными ребятами.

— Встретишь Тябликова, поторопи его с завтраком,— сказал Артюхов, обращаясь к Малахову.

— Есть! — тот небрежно козырнул и, не глядя на окруженцев, бросил: — Ну, двинулись, что ли? Тут недалеко.— И первым пошел от опушки к просеке. Следом за ним пошагали генерал и бойцы. Кое у кого из окруженцев были за плечами тощие вещмешки. Они болтались на их угловатых, сгорбленных плечах, еще больше подчеркивая мытарства и страдания, которые пришлось пережить этим людям.

Артиллеристы обступили Артюхова, и минуту-другую все молча глядели им вслед.

— Вот славяне. Кавалеристы, что ли?

— Нет, пехтура,— отозвался Максимов: он всегда знал больше других.

— По местам! — скомандовал Артюхов, хотя ребята и без его команды уже возвращались назад к орудиям.

«Прямехонько — в расположение немцев?! — вспомнил Василий предупреждение генерала.— Но ведь впереди — батальон Кузовлева... А-а, у страха глаза велики! Этим окруженцам с перепугу под каждым кустом мерещутся немцы»,— решил он сначала. Но, увидев, с какой неохотой ребята его взвода вытягивают орудия с опушки на просеку, передумал. Ослушаться генерала было рискованно. Артюхов остался за комбата в первый раз. Передовая рядом. Одним нерасчетливым шагом можно погубить всю батарею.

Василий решил не рисковать.

С краю просеки его поджидали Зотов и командир второго взвода Пеканов. По их взглядам Василий понял, что и они беспокоятся.

— Ну что, Николай,— обратился Артюхов к политруку.— Может, вышлем кого-нибудь на связь с Кузовлевым?

— Я тоже так думаю,— согласился Зотов.— Давай команду маскировать орудия.

2

Человек, которого генерал назвал партизаном, чем-то напоминал Малахову его отца Григо-

ря Ермиловича. Он был так же сутул, угрюм с виду и так же, как и отец, покряхтывал при ходьбе. Ивану хотелось заговорить с ним, но все никак не удавалось: судя по всему, мужичишка был неразговорчив. Они прошли уже добрую половину пути — молча и сосредоточенно. Впереди шагал генерал. Засунув руки в карманы барашкового полушубка, он с трудом переставлял ноги.

Малахов и партизан шли следом. Каждый из них норовил идти по колее, проложенной орудийными колесами — не так месился снег под ногами.

— Зима ранняя в этом году,— не теряя надежды разговорить старика, начал Малахов.

— Да, ранняя.

— С делами-то управились, или немец помешал?

— Где там! Он, фашист, нагрянувши, как туча градовая: нежданно-негаданно.

— И ржи не убрали?

— Рожь в скирдах.

— Урожай-то как — ничего?

— Хорош. Оцень.

— А льны?

— Лен положивши на стланцы.

Они снова помолчали. Все темы, казалось, были исчерпаны: Иван — и так и эдак к партизану: и о махорке заводил разговор, и о погоде, и каждый раз партизан отвечал неохотно.

— Сыновья-то воюют или с вами, в отряде?

— С изъянцем я мужик: одни девки у меня.

— Девки — разве это плохо?

— Да оно, может, и неплохо, но обременительно — Партизан поглядел на Малахова, словно изучая, насколько можно доверять этому верзиле. Говорил мужичишка почти по-вятски, напирая на «о», только смешно «цокал».— Парень, он вырос — пошил ему штаны, шлепнул по этому самому месту: вот тебе, значит, родительско благословение, и тоцка! А девку растишь-растишь: одеваешь, уцишь. А замуж выдашь — другие хлопоты объявятца: муженек плохой попался — придет, плацет. Золовка неласкова — плацет.

— И замужем есть?

— Замужняя одна, старшая. А две — со мной. Вот теперя живи да прикидывай: война подберет женихов, девки-то вековушками останутся.

— Если хороши — не засидятся. Найдут себе женихов и после войны.

— Лида, младшая, та — хороша собой. Читальней на селе заведовала,— продолжал партизан, оживляясь.— Мы сами-то хуторские. Хутор Колобов. Может, слыхали? Километров пятьдесят отседа. Наш, фамильный, можно сказать, хутор: все как есть Колобовы. Жили мы богато. Хорошо жили. Скотины много было. У нас корма всегда вдоволь — леса кругом, болота. Я за бригадира ходимши, баба — по дому хлопотала, Антонина, средняя,— та звеньевой по льну, а меньшая, значит, в Горушку бегала, поскольку библиотека у нас при правлении, на селе. Лидка — смазливая. Думаю, придут немцы — досмотрят, заграбастают. Да и взял ее с собой, в отряд. Антонина — зубастая. Ту и немец голыми руками не возьмет.

Чужая судьба тронула Малахова. Слушая рассказ мужика, Иван думал: все смешалось в мире. Не было бы войны, он, наверное, никогда бы не встретил Колобова и не узнал бы его тоску по сыновьям. Не зная, чем успокоить партизана, Иван сказал в шутку, что, возможно, с изъянцем-то не он, а жена?

— Ну нет! — Колобов понял шутку.— Михайловна у меня баба видная. Это я подкачал. У отца-то сыновей полно было. Андрей, старший, в гражданскую погиб, Семка — в двадцатом от тифа умерши. А цетверо — живы.

— И все на хуторе?

— Нет. Двое нас на хуторе осталось: Леванид ну и я, Прохор. Филипп с самого тридцатого года на железке работает. Под немцем теперь. Начал простым ремонтным рабочим, а потом в обходчики выбился. А обходчик по нашим временам все равно как вот в старину был у нас помещик. Изба — казенная, фуражка — с околышем, земли — сколь хочешь. Покос там иль пашня — коси и паши: полоса отчуждения — вся твоя. Так вот и жил Филипп. Скотины, птицы разной полон двор. Днем он, понятно, на путях. Идет себе и молоточком рельсы простукивает. А ночь наступит — что ему делать? Электричества в будке нет, керосину — жалко. Ночью одно дело — в постели ворковать. И ворковал братец. Верите, целая дюжина у него детишек. Под Ноябрьские праздники — снег, мороз уже ударил.

Я это только с поля вернулся: картошку колхозную мы в ямы прятали. Вдруг стучится кто-то в ставни. Вышел — Филипп. Да не один, а со всем своим выводком. «Скрой,— говорит,— брат: на станции уже немцы».— «Как же так,— это я-то ему говорю,— при немцах-то ты остался. Ты ж, Филя, партейный?» А он-то мне: «Не успел на последнюю летучку: депо рвал». Ну, раз депо рвал — живи: изба небось большая. Да все по-худому вышло.

— Дознались немцы? — спросил Малахов; он заметил, что все — и бойцы и генерал — прислушиваются к их разговору.

— Они прежде обо мне дознались. Стали они это поближе к хутору подбираться, я в лес ушел. Ружьишки у нас припасены были, да и хлебушек припрятан на черный день. Шепнул кто-то им, что, мол, Колобов Прохор вовсе не со скотиной колхозной ушел на восток, а в лесу скрывается. И то: со скотом-то я Леванида сопроводил, а сам — в отряд. Михайловна моя отнекивалась, все в точь говорила, как я ей перед уходом наказал: на восток ушел — и вся недолга. Но недаром говорится: беда одна не ходит. Тут слух прошел еще об одном братане — Петре. Он за Волховом на торфу работал. Тихий был, помню. Я, бывало, это, капканы на зайцев да лисиц ставлю, а он все ругал меня. Отпускал зайчишку, если тот бежать мог. А тут, слышу, командир партизанского отряда... Немцы, понятно, взъелись. Семья-то цела, а хутор, сказывают, спалили. Не знаю, где теперь и ютятся мои.

Колобов замолк.

Невдалеке открылась поляна, и посреди поляны одиноко маячил станционный семафор с перебитой сигнальной лопастью.

3

Командный пункт полка расположился в поселке лесхоза.

В стороне от станции, за оврагом, не кучно, вразнобой стояло десятка полтора бревенчатых изб. Издали, от опушки леса, поселка почти не видно: по косогору росли корявые сосны. Черные кроны их смыкались в высоте,

нависая над крышами изб. Издали видны были лишь сараюшки и бани, разбросанные по огородам, да черные жерди заборов, неровно сбегающие вниз, к железнодорожному полотну.

По поселку, меж домов, сновали люди; приткнувшись к сараюшкам и баням, стояли автомашины; к небу тянулись дымки, они обволакивали стволы сосен и тут же таяли, теряясь в заиндевевших кронах.

Мосток через ручей не был разрушен, и капитан Лысенко, скакавший верхом на Красавчике, с ходу перемахнул овраг, подъехал к избе, стоявшей в стороне от дороги.

— Накрой Красавчика. Видно, придется задержаться! — Капитан бросил повод подоспевшему ординарцу, а сам заспешил к избе, возле которой топтался часовой.

— Эй, дружище! — окликнул бойца комбат.— Тут ли Сарычев?

Однако не успел часовой ответить капитану, как на крыльце дома появился воентехник Никифоров.

— Ты к Сарычеву? — Начбой козырнул.— Пойдем вместе.

Воентехник сбежал с крыльца и с деловым, озабоченным видом зашагал вдоль поселка. Дорога была разбита, идти рядом — неудобно, и Лысенко пошел следом за воентехником. Начбой шагал споро — планшет и противогазная сумка болтались при каждом шаге, пистолет и каска оттягивали портупею, и Никифоров то и дело поправлял свою амуницию.

— Ну, дела! — воентехник, попридержавшись, засеменил рядом.— Пуганул нас немец! Ничего себе! Говорят, самого Сарычева забросало дровами. Злой как черт.

— А ты-то чего стирчишь* тут? — спросил капитан, не скрывая своей неприязни к воентехнику.

— Или не знаешь порядок?! Начальникам всех служб приказано находиться при штабе.

Лысенко ничего не сказал в ответ, только чертыхнулся про себя: «Вместо того чтоб заниматься делом, торчишь в теплом углу, да еще часового поставил».

Никифоров появился в полку год назад. О воентехнике говорили, что он — человек обстрелянный: принимал участие в освобождении Западной Белоруссии и, по слу-

* Торчишь (*укр.*).

хам, отличился даже. Никифоров следил за собой: всегда наглажен, подтянут и надушен. У него были пухлые губы и румяные щеки. Видимо, чтобы придать себе больше воинственности, воентехник никогда не расставался с боевым прикладом: планшетом, противогазом, каской... Капитан Лысенко, изодравший не одну пару кирзачей, лазая по приморским сопкам, недолюбливал воентехника. Но они часто встречались по службе, и комбат сдерживал себя, ничем не выдавал своей неприязни.

— Вы штурмуете Покровское? — спросил воентехник.

— Выдвигаемся, но пока боевого приказа не было.

— Забегай ко мне! — начбой хихикнул.— Хозяйка у меня — во! Пальчики оближешь. Бухгалтерша лесхоза. Солдатка. Приветливая.

Капитан потер ладонью небритый подбородок. Он боялся, что сорвется, наговорит этому чистоплюйчику бог знает чего. Капитан нарочно приотстал: то и дело встречались знакомые штабисты. Из крытой машины, стоявшей возле мрачного продолговатого дома, похожего на барак, бойцы выгружали кипы папок с картами. Связисты рогатинами забрасывали на деревья провода. Возле частокола, у поленницы, старшина роты автоматчиков колол дрова — без шапки, в одной гимнастерке.

«Тюхти! — думал Лысенко, наблюдая оживленную и открытую жизнь штаба.— Вам все еще кажется, что вы приехали не на фронт, а на ученья, в летний лагерь». Сам он невольно вбирал голову в плечи и поеживался. Не от холода поеживался, а от нервного перенапряжения, от бессонной ночи.

Штабной блиндаж был открыт не саперами. До войны тут, судя по всему, был погреб при доме какого-нибудь рабочего лесхоза, а саперы лишь наспех подлатали его: обшили стены и потолок горбылем, сколотили стол и нары, сделали вход с улицы, из траншеи. В блиндаже тепло от докрасна раскаленной «буржуйки» и душно от множества людей, сидевших на нарах и на полу. Пахло сыростью и разогретой овчиной. Горел лишь один фонарь, подвешенный к потолку над столом. После яркого уличного света Лысенко долго не мог привыкнуть к темноте. Он постоял у входа, приглядываясь. Кто-то потянул его за край полушубка.

— А-а, Тихон! — Лысенко присел на нары рядом с Тихоном Сыромятниковым, командиром второго батальона. Они земляки и дружили.— Ну, яка тут обстановка?

— Сидай, слухай.

Сарычев, одетый по-обычному — в кителе с юбилейной медалью на груди,— стоял за столом. Полковник был грузноват. Чуб его, зачесанный на косой пробор, касался грубоватой обшивки потолка, и полковник опасливо сутулился. За спиной Сарычева на стене блиндажа, наспех забранной нестроганым тесом, висела карта: схема боевого участка.

Боевых карт у командиров еще не было, и теперь Лысенко, позабыв про все, уставился на схему. Слева голубела полоска Волхова, бегущего с юга на север. А от нее, от голубой линии реки, на восток, глубоко вдаваясь в нашу оборону, чернел клин немецкого прорыва. Он имел форму правильного треугольника. Основанием ему служила широкая лента реки между Новгородом и Киришами, а в вершине его — город Кресты. Тут, вблизи Крестов, где оказалась их дивизия, разноцветными скобами и полукружьями были помечены наши полки, а также вражеские соединения.

— Ну, все в сборе? — нетерпеливо спросил Сарычев.— Звездин тут? Лысенко явился?

— Я! — Капитан привстал.

По левую руку от Сарычева сидел майор Проваторов, без очков, близоруко приглядываясь к собравшимся. Справа — комиссар полка Чуев в неизменном своем кожушке; на груди тускло поблескивал эмалью орден Красной Звезды.

— Тогда начнем.— Сарычев надел очки и, взяв со стола карандаш, повернулся к карте.— Обстановка, товарищи, ясна...— заговорил он глуховатым голосом.— Объяснять вам, много говорить нечего. Да и нет для этого времени. Фашисты рвутся на восток. Неделю назад они взяли Кресты. Это для нас серьезная потеря. Через этот город шло снабжение осажденного Ленинграда. У нас есть сведения, что в день падения Крестов по радио выступал Гитлер. Он сказал, что теперь Ленинград сам поднимет руки. Ленинград, мол, умрет голодной смертью. Мы здесь затем, чтоб не допустить этого. Наша задача — как можно скорее освободить Кресты.

Лысенко слушал полковника, а сам продолжал рассматривать карту. Небольшой городишко этот Кресты, в котором капитан еще вчера ничего не знал и не ведал, входил сейчас в его судьбу. Потому-то он так внимательно приглядывался к карте. Тут, в Крестах, пересекались дороги, идущие с востока на запад и с юга на север. На юге и на востоке была вся страна, а на севере — Ладога, Балтика и город, который дорог каждому,— Ленинград. Если верить схеме, тут было даже два креста, ибо в городишке этом пересекались и железные и шоссейные дороги.

— Наша армия, державшая с осени оборону на Волхове,— говорил Сарычев,— вынуждена была отступить. Соединения армии, расчлененные немецким клином, теперь выходят отдельными группами...— Для Сарычева это была первая боевая оперативка. На Хасане, командуя батальоном, он подобных оперативок не проводил, и у него не было опыта. Сарычев говорил все, что стало ему известно из бесед с представителем штаба армии, встречавшим полк.— Приказ командования: закрыть брешь, образовавшуюся в нашей обороне.— Полковник провел карандашом вдоль нижней стороны немецкого клина, южнее Крестов.— Не допустить неприятеля дальше. Действовать контрударами: днем — бой, ночью — марш. Сегодня мы должны выбить немцев из важного опорного пункта — села Покровского. Ясна задача?

Наступило затяжное молчание.

— Может, сначала сделать разведку? — робко подал голос командир первого батальона капитан Кузовлев.

Сарычев недовольно поджал губы, а когда он их поджимал, то верхняя губа, изуродованная самурайским тесаком, нависала над нижней, и тогда лицо его становилось жестким, неприятным.

— Разведку делали наши соседи: рота автоматчиков двадцать второго полка,— ответил он.— Я думаю, мы можем положиться на их данные.

— Самим бы пощупать надо! — не сдавался Кузовлев.— Выявить огневые средства немцев.

— Делать разведку — значит потерять день-другой,— вступил в разговор майор Проваторов. Он протер очки, надел их и добавил не спеша, как бы раздумывая: — А у нас их нет. Завтра мы должны быть уже под Заозерьем.

— Да сколько их там, немцев-то?! — воскликнул Са-

рычев.— От силы рота — уверяют автоматчики. А мы ударим по ним сразу двумя батальонами. Самураев вон сколько сидело на Безымянной, и то мы их столкнули. Врукопашную на фашистов! На «ура»! Я сам пойду, если надо будет!

— «На «ура», Федор, немцев не возьмешь,— возразил Чуев.— Это не Хасан. Другая война — другие и методы. Да и на Хасане, если ты помнишь, прежде чем штурмовать Безымянную, ее утюжили наши самолеты. А сколько снарядов было выпущено по сопке!

Сарычев болезненно поморщился: комиссар любит это самое... соль на раны сыпать. У самого от избытка желчи — язва желудка, так нá тебе, хочет, чтобы и у других она была.

Чуев на Хасане был всего-навсего политруком роты у него в батальоне, и Сарычев никак не мог смириться с тем, что теперь они — ровня друг другу. Даже при подчиненных комиссар обращался к нему не по званию, а по имени, называя Федором, и Сарычев с трудом сдерживался, чтоб не одернуть его.

— По-моему, Кузовлев прав: надо самим сделать разведку.— Чуев потянулся за стаканом с водой, отпил глоток-другой и, положив сухие руки на стол, бросил взгляд в сторону Сарычева.

Он был болезненный с виду, комиссар. Тихий, даже застенчивый, но его любили в полку. За глаза Чуева никто не называл ни по званию, ни по фамилии, а запросто — Кузьмич. «Наш Кузьмич все еще по-летнему щеголяет. Знать, полушубок бережет»,— шутили меж собой бойцы.

— Так вот...— не встречаясь взглядом с Чуевым, жестко сказал Сарычев,— штурмуем Покровское. Вы начинайте, а я потом подъеду к вам на НП,— обратился он к Кузовлеву.— Небось тут сопок нет. Это не то что на Хасане.

Все знали о слабости Сарычева: хвастаться успехами батальона на Хасане. Бывало, при каждом разборе учений полковник неизменно сводил разговор к атаке сопки Безымянной. Ничего не скажешь, то была, конечно, памятная для Сарычева атака! В трудную минуту, когда бойцы в передних траншеях дрогнули, попятились назад, он, капитан Сарычев, поднял батальон и в рукопашной схватке, длившейся более часа, заставил самураев отступить.

Сарычев сел и склонился над столом. Под глазами полковника обозначились глубокие тени. Видимо, ночью, как и все, он не спал, и усталость давала знать о себе.

— Твои роты заняли исходный рубеж? — Сарычев поднял квадратную голову и глянул на Кузовлева.

— Да.

— А твои, Тихон?

— Подтягиваются. Через час будут на месте,— доложил Тихон Сыромятников.

Сарычев и Проваторов о чем-то пошептались. И пока они шептались, командиры, собравшиеся в землянке, оживились:

— Люди не кормлены...

— Отдохнуть бы с дороги...

Проваторов вскинул голову.

— Тише, товарищи!

Сарычев делал вид, что не слышит этих голосов. Он водил карандашом по карте, лежавшей на столе, что-то соображая и прикидывая.

— Майор Звездин?

— Я, товарищ полковник!

— Сколько вам надо времени, чтоб выдвинуть к Покровскому хотя бы один дивизион?

Майор Звездин — рыжий, курносый весельчак и задира — командовал гаубичным полком. Вообще-то полк был придан дивизии, и полковник командовать им не мог. Но хозяйство Звездина следовало с полком Сарычева, а генерал Ряженцев, комдив, был еще в пути, и Звездин волей-неволей оказался в распоряжении командира пехотного полка.

— К вечеру выдвинемся, товарищ полковник! — Докладывая, Звездин уважительно встал.— Еще не все орудия выгружены. Ребят надо накормить. Трактора надо заправить...

— «К вечеру»?! — воскликнул Сарычев.— Да вы, майор, не на блины к теще приехали! «Надо», «надо»,— недовольно буркнул полковник, и его верхняя губа брезгливо оттопырилась.— Капитан Лысенко?

— Я!

— Выдвигайте орудия на прямую наводку. Начало атаки — в двенадцать ноль-ноль. Сигнал: две зеленые ракеты...— И, отвечая на сдержанный ропот командиров,

Сарычев добавил бодро, со смешком: — А насчет еды скажите бойцам, что они пообедают в Покровском.

4

В это время где-то совсем рядом с блиндажом застучали «максимы» счетверенной установки. Не успела еще захлебнуться длинная, неестественно звонкая очередь, как за брезентовым пологом, закрывавшим вход в блиндаж, послышался теперь уже всем знакомый посвист «хейнкелей» — кр-кр-кр-р... Немецкие летчики обстреливали поселок с бреющего полета. Что-то бухнуло раз-другой и глухо отдалось здесь, в глубине. И нельзя было понять: бомбил ли немец или ухали наши зенитки.

Все замолкли, тревожно прислушиваясь. Сарычев узловатыми руками придерживал лист карты на столе. Однако налет продолжался недолго: четверть часа, не более. Наконец наверху все стихло.

— Кузовлев! — полковник стряхнул ладонью землю, насыпавшуюся сверху на карту.— Ну-ка узнайте, что там?

Кузовлев поднялся и, отдернув брезентовый полог, вышел. Пока он ходил, узнавал, все по-прежнему молчали. Вскоре капитан вернулся, доложил, что бомбили станцию, а поселок лесхоза только обстрелян. Капитан не сказал, есть ли раненые, да он и не мог узнать об этом за какие-то две-три минуты. Важно было одно: немцы пронюхали о прибытии новых частей на этот участок фронта и теперь стараются сдержать их развертывание, наводя панику на необстрелянных солдат.

— Пугают. Да мы не из пугливых! — Сарычев повернулся к Проваторову.— Говори, майор.

Проваторов встал, долго протирал очки, прежде чем надеть их.

— Карты получите сразу же после совещания. Должен предупредить: обстановка, нанесенная на них, самая элементарная. У нас пока нет полных сведений. Поэтому будьте осторожны.

Тут за пологом, закрывавшим вход в землянку, послышался разговор и какая-то возня. Часовой не пускал кого-то, а тот рвался.

— Пропуск?!

— Не знаю никакого пропуска.— Я — с передовой.

— Нельзя — совещание!

— Прости, друг, мне срочно полковник нужен.

Лысенко похолодел: он узнал голос командира взвода управления Малахова. Капитан встал, метнулся было к двери, чтоб предупредить скандал, но Малахов уже отдернул занавеску и, подтолкнув какого-то мужичишку в барашковом полушубке, вошел следом за ним.

— Разрешите, товарищ полковник! — обратился Малахов. (Проваторов, недовольный тем, что его оборвали, снял очки.) — В расположение полковой батареи вышел из окружения генерал Слепенков с группой бойцов. В переходе линии фронта им содействовал представитель партизанского отряда.— Видимо, младший лейтенант все заранее обдумал, как доложить. Говорил он гладко, словно по бумажке читал.

Лысенко, испугавшийся поначалу, порадовался за своего подчиненного.

— Где представитель?

— Вот, товарищ полковник.

Тем временем Прохор Колобов топтался у входа, не зная, садиться ему или стоять. Командиры, сидевшие на низенькой скамье, потеснились.

— Вы свободны, младший лейтенант.

Малахов неуклюже козырнул и, вобрав голову в плечи, чтоб случаем не стукнуться головой о балку, направился к выходу. Лысенко попридержал Ивана и спросил о батарее: где она? — и предупредил, чтоб без него на огневую не выдвигались.

Колобов сел с краю скамьи, зажал старенькую винтовку меж колен и уставился на полковника. Сарычев, в свою очередь, разглядывал партизана. На нем был овчинный полушубок невоенного пошива: куцый, с узеньким вытертым воротником и большими заплатами на боку. Из-под полы виднелись ватные брюки, лоснившиеся на коленях.

— Где ваш генерал?

— Им товарищ один завладевши. По этой части, который...— партизан кивнул в сторону головой.— В соседней землянке.

— Привести! — коротко бросил полковник своему адъютанту. Затем, извинившись перед Проваторовым, наклонился к партизану.— Докладывайте.

— А чего тут докладывать? — неуверенно начал Колобов. — Значит, в Залужье было. Роты две наших бойцов не ушедцы, видать, вовремя. Их окружили немцы, не дают ходу. Патрон у них нет, исхудали. Ну решили мы им помочь. Ночью. Болотцем, болотцем стали их по партиям выводить. А с ними, с бойцами-то, генерал наш оказался. Солдаты, кто с оружием, в отряд влились, а генерала и тех, кто совсем ослабел, командир велел вам доставить.

Адъютант с генералом все еще не появлялись. Все молча глядели на партизана, будто он сошел с небес.

— А как же вы прошли? — Проваторов приглядывался к Прохору с некоторым недоверием.

— Да так и прошодцы...— Колобов немигающе уставился на майора.— Немцы держатся только в деревнях возле дорог, а в лес не суютца. Окруженцы думали, что они сплошной фронт держат. А немцы не распыляют своих сил. Они держат их вот так, в кулаке.— Прохор сжал корявые пальцы вокруг цевья винтовки.— Да этим кулаком — все по шоссе, по шоссе, на восток.

— А что вы знаете о Покровском? — продолжал расспрашивать начальник штаба.

— А че знать? Каждого спроси, скажет: село большое, колокольня, много старинных кирпичных домов.

— Нас интересуют немцы.

— Немцев там много. Неделю назад оттуда пришел один наш разведчик. Сказывал: на колокольне крупнокалиберные пулеметы. И в школе — тоже. Школа большая, каменная. А во дворе — минометы.

— В каких еще селах, по данным партизан, есть немцы?

— В Дуброве есть, но малость. В Горушке, Чаусове, Роще, в Ракони — монастырь такой в лесу, за Заозерьем. По слухам, неделю назад туда пришодцы танковый батальон. Но нашей разведке проникнуть в монастырь не удалось.

Колобов потер ладонями колени, ожидая, пока Проваторов найдет на карте названные им деревни. Майор долго шарил по листу подслеповатыми глазами.

— Только вы их не бойтесь, немцев-то. Не так страшен черт, как его малюют. Немца тоже можно бить.

— Ясно! — оборвал Прохора Сарычев: он не терпел поучений.

Колобов замолк, но не спешил уходить. Он снял мохнатую шапку, потер ладонью лысину, кашлянул: ему хотелось еще что-то сказать.

— Командир просил выдать мне справку,— вновь заговорил он.— Так и так, мол, выдана гражданину Колобову в том, что он доставил генерала как есть в целости: живым и здоровым.

— Зачем вам такая справка? — Проваторов, а заодно с ним и еще кое-кто из командиров посмеялись над чудаковатостью партизана.

— Как зачем? Барана вон в заготовку отвезешь, и то квиток дают. А тут спасен генерал, командир дивизии.

— Ну хорошо, подождите,— обронил майор.

В глаза ударила полоса яркого света. Все обернулись. Край брезента, закрывавшего вход в блиндаж, был приподнят. Его держал адъютант Сарычева. Он пропустил вперед сутуловатого, немолодого человека в потертом полушубке. Из-за распахнутого отворота виднелись петлицы с генеральскими звездами. Последним в блиндаж вошел капитан Бордадын. Однако, войдя последним, уполномоченный особого отдела опередил своих спутников. Склонившись к Сарычеву, Бордадын зашептал ему что-то на ухо.

— Не суетитесь, молодой человек! — сказал генерал с достоинством.— Я сам представлюсь!

Пока генерал доставал свое служебное удостоверение из нагрудного кармана френча, Сарычев приглядывался к пожилому человеку. Что-то показалось ему знакомым в одутловатом, болезненно-бледном лице генерала. «Кажется, где-то встречались?» Но полковник тут же отогнал эту мысль. «Черт возьми! — думал Сарычев.— Как это не вовремя! Теперь придется давать объяснения: что за генерал, при каких обстоятельствах вышел?»

Генерал наконец достал удостоверение, протянул его Сарычеву. Полковник надел очки, прочитал, и в тот же миг тень озабоченности исчезла с его лица.

— Игнат Флорентьевич! — удивленно воскликнул Сарычев.— Генерал...

— Да. Но я... я...— повторял генерал в замешательстве.— Я что-то не могу признать вас.

— Помните, в Могилеве? У вас в батальоне был командир взвода.

— Сарычев?! Федор?

Генерал сделал движение навстречу Сарычеву, но полковник не вышел из-за стола, чтобы обнять бывшего своего командира. И это не было проявлением расчета или холодности. Просто какое-то чувство подсказывало Сарычеву, что следует воздержаться от объятий, хотя он и понимал, что надо быть снисходительным к генералу, надо чем-то ответить за ту доброту, которую проявил тогда, двадцать лет назад, командир батальона к взводному, только что вышедшему из училища. Слепенков гулял у него на свадьбе, выдвинул Сарычева со взвода в ротные. Но все это было очень давно, настолько давно, что сам Слепенков с трудом вспомнил своего любимца.

— Садитесь, Игнат Флорентьевич!

Но генерал не спешил садиться. Он стоял и растерянно глядел на Сарычева, вспоминая... Слепенков помнил Сарычева нерасторопным увальнем, чуточку тугодумом — таким пришел он к нему в батальон. Сарычев воевал в гражданскую, учиться ему было некогда, а в училище не напирали на грамматику. Случись, бывало, написать рапорт, Федор делал по десятку ошибок на страничке. Но он был трудолюбив и напорист. Слепенков заметил его, послал сначала на одни, потом на другие курсы усовершенствования комсостава и в конце концов доверил роту. Когда обострилась обстановка на КВЖД, Сарычев добровольно попросился на восток, и с тех пор Слепенков потерял его из виду.

И вот он, Федька Сарычев, полковник, командир кадрового полка. Будет удачлив, через полгода получит генерала и дивизию. А он, генерал Слепенков, воспитавший не одну сотню командиров, подобных Сарычеву, отступал от самых Барановичей,— и вот тут, в этих новгородских лесах, потерял все: потерял дивизию, штаб, доверие командования. Да что там командования?! Вон его же воспитанник и то подает руку с опаской.

Генерал тяжело вздохнул и сел.

— Артиллерист, сопровождавший меня, сказал, что немцы взяли Кресты?

— Да.

— И давно?

— Неделю назад.

— А командующий?

— Пока нет сведений. Кое-кто из работников штаба

армии вышел, но в северную группу. Ставка назначила нового командующего.

Генерал покачал головой из стороны в сторону:

— Не устояли!

За полгода войны, начиная с того памятного воскресенья, он видел многое. Ему не раз приходилось встречать командиров, испытавших горечь тяжелых потерь. Он и сам терял — и роты и батальоны...

— Кое-какие части вышли,— Сарычев глядел на опущенную голову генерала, и что-то вроде сочувствия затеплилось в его голосе. Сочувствие это влило силы в генерала: он поднял голову, и в глазах его мелькнула радость.

— Да? Кто вышел?

— И полки есть, и дивизии.

— Кто? Может, слыхали — майор Петров? Подполковник Жильцов? Это командиры моих полков.

— Петрова не слыхал. А Жильцов с полком вышел. Наш сосед справа.

— Жильцов?! У вас есть связь с ним?

— Пока нет,— сказал Сарычев.— Но мы, Игнат Флорентьевич, не волнуйтесь. Я сейчас доложу командованию, и мы вас отправим в штаб.

— Спасибо!— повеселел генерал.

— Ну, вот и хорошо! — Сарычев отыскал взглядом стоявшего с краю стола адъютанта.— Лейтенант, принеси-ка нам чаю!

Полковник встал и оглядел блиндаж, словно только сейчас заметил, что при их беседе с генералом присутствуют подчиненные. Не дожидаясь, пока адъютант скажет: «Есть чаю!», Сарычев добавил, обращаясь к собравшимся:

— Вы свободны, товарищи. Приступайте к выполнению приказа.

И к Бордадыну:

— Вы тоже, капитан. Идите. Занимайтесь своими делами.

Все встали, задвигались, послышался сдержанный говор, стук автоматных прикладов, щелкали открываемые портсигары и застежки планшетов.

— Получите боевые карты,— напомнил Проваторов.

Сарычев вышел из-за стола, шагнул к Кузовлеву, похлопал его по плечу.

— Начинай, капитан, я через часик обязательно загляну к тебе.

Все шумно и с видимым облегчением направились к выходу. Только мужичок в полушубке, партизан, с невозмутимым видом сидел на скамейке: он ждал обещанной справки.

5

Морозная дымка, таившаяся в лесах все утро, к полудню растворилась, исчезла. Из-за вершин берез выкатилось огромное, в радужном окружении, солнце. Небо заголубело; над головой оно было по-летнему высоко и прозрачно, и лишь вдали, за еловыми перелесками лежали легкие сиреневые облачка, которые, если присмотреться к ним, двигались, росли, раскидывая во все стороны прозрачные перья.

Было безветренно и студено. Белоствольные березы до боли слепили глаза, наст искрился, и каждая снежинка на нем казалась маленьким солнцем. И если бы не тарахтенье «рамы», то можно было бы подумать, что никакой войны нет, а есть лес, солнце и голубое небо. Но однотонный стрекот странного, похожего на стрекозу самолета, не покидавшего ни на минуту неба, нарушал гармонию. Самолет то взмывал высоко в небо, то, ложась на крыло, спускался до самой земли и низко, на бреющем полете, оглядывал опушку леса возле Покровского. Никто толком не знал, зачем он летает. Самолет не стрелял, не бросал бомб, а парил и парил, однотонно стрекоча мотором. Кто-то из пехотинцев пытался даже палить по «раме» из винтовки. Но, словно в насмешку, самолет спускался еще ниже и летал над самой кромкой леса. Когда он наклонялся, то поблескивали стекла кабин и виднелись головы летчиков в шлемах.

Скоро люди перестали обращать на него внимание. День был хорош, немец вел себя мирно, и бойцы делали все, что положено им было делать перед атакой: рыли окопчики для себя и пулеметов, заряжали диски автоматов, пилили березы — накатник для блиндажа командиру.

— «Рама» летает,— обронил политрук.

— А, нехай! — отмахнулся комбат.

— В таблицах стрельб сказано, что это самый неуяз-

вимый самолет-разведчик из всех имеющихся на вооружении,— пояснил Зотов.

— Да ну?! Что ж ты не сказал раньше-то? Стой! — крикнул Лысенко.

Батарея только что скатилась в неглубокий овражек. Склоны его поросли редкими березами. От берез лежали на снегу тени. Они были сочными и густыми, как и следы от орудийных колес. Вдоль овражка петлял ручей, заросший осокой. Ручей еще не замерз: в кустах осоки маслянисто поблескивала вода и слегка парила на морозе. Ручей сворачивал влево, скрываясь в негустом низкорослом ельнике. Под тенью елочек — неровно, вразнобой — стояли стожки сена.

— Вот тут и есть! — Спрыгнув с Красавчика, Лысенко достал из планшетки карту, повертел в руках, ориентируясь.

Овражек был тот самый, где приказано сосредоточиться, прежде чем выкатывать орудия на опушку. Ездовые спешились. Капитан приказал замаскировать орудия. Пушки тут же задвинули в тень, в сосенки, не освобождая постромок, уносных вывели из упряжи, привязали попарно. Ахмед Абдуллин развалил стожок сена, задал своим лошадям корм. За ним поспешили и другие командиры орудий. Копешку быстро растащили, а остатки перенесли под корявую красноствольную сосну, где обосновался комбат. Капитан приказал поверх сена разостлать брезент, развернул карту и, позвав командиров взводов, стал объяснять задачу.

— Видите: вот опушка. Тут будем стоять. До села — полторы тысячи мэтров.— Лысенко произносил «е» как «э», и Артюхов усмехнулся про себя этому «мэтров», но тут же погасил улыбку: комбат заговорил об особенностях стрельбы.— Встанем повзводно. Главная цель Артюхова — колокольня, а твоя, Илья,— кирпичные дома.

Василий слушал капитана и все смотрел на карту.

Ручей, на берегу которого они остановились, петлял по всему листу карты. Он вбирал в себя еще множество таких же ручейков и родников, бьющих на задах сельских огородов, окольцовывал село, бежал все дальше и дальше на север: по лесочку, по болотцу, и в углу, где кончался лист, это была уже речка. И он вспомнил, что вот так же в окрестностях его родного села — Орловки — начиналась Теменка, крохотная речушка, в которой он купался летом.

Теменка тоже начиналась с родника, бьющего далеко за селом, в Погремке. Ручеек, вытекающий из родника, долго петлял по лугам и болотам, терялся в осоке, разливался бочагами, и в самом селе это была уже речка: был мост на ней и копани, где мужики рыли торф.

— Старшина едет! — крикнул Миша Бутин.

Батарейцы повскакали, выбежали к просеке. По просеке мелколесьем ехал Тябликов. Рядом с ним, уткнувшись в воротник полушубка, сидела санинструктор Паня Зайцева.

— Старшина, есть наркомовский паек?

— Есть, да не про вашу честь!

Тябликов — артист и пересмешник — умел приспосабливаться к любой обстановке. Наблюдая за старшиной, Артюхов заметил, что, несмотря на легкость характера, кажущуюся покладистость, он никогда не спешил и никогда не выказывал подобострастия начальству, а главное — любил пожить с комфортом. Он и сейчас не спешил, хотя капитан после совещания у полковника отыскал его на станции и сделал выволочку за то, что батарейцы до сих пор не кормлены. Старшина выменял в поселке легкие санки с высоким расписным задком и узкими полозьями и, восседая на них, понукал лошадь. Небось до войны на санках этих ездил директор лесхоза. Оно в самый раз Сарычеву бы разъезжать на таких к о з ы р ь к а х, а ехал всего-навсего батарейный старшина.

Тябликов и Паня сидели в задке. В ногах у них стоял ящик из-под снарядов. В ящике — буханки хлеба, термосы с кашей и небольшая канистра.

Санки остановились возле сосны.

— Прошу любить и жаловать: сержант Паня Зайцева! — Тябликов ловко выпрыгнул из санок.— Товарищ капитан, разрешите приступить к раздаче?

Комбат глянул на наручные часы:

— Одиннадцать. Ничего себе завтрак!

— Кухня задержала.

— Небось занимался коммерцией? Откуда санки?

— Все законно, товарищ комбат. Начнутся холода, не всегда захочется вам в седле болтаться. Иногда и в санках неплохо прокатиться.

— Циркач! — сказал Лысенко, но не с осуждением, а скорее с любованием.

— Я так понял, что можно кормить?

— Кормите, да скорее! — и не сдержался, чертыхнулся комбат. Может, и посолонее бы добавил, но постеснялся Пани.

Ребята повеселели, зазвенели котелками и кружками.

— Максимов?!

— Я, товарищ старшина! — Сержант вырос словно из-под земли. Был он очень вежлив и всегда, к кому бы ни обращался, называл того полным званием.

— Командуй,— небрежно бросил Тябликов.

Максимов снял один за другим термосы и отнес их в сторонку. Батарейцы побежали следом.

— Маскировка! — крикнул политрук.

— Пуще всего маскируйте кружки! — своим привычным шутливым тоном подхватил старшина. Он разостлал поверх смерзшегося брезента старенькое, вылинявшее одеяло, выставил кружки — капитану, политруку, командирам взводов. Для себя кружки не поставил.

— Наркомовский. Законный. Будем пить?

— Да, будем! — Капитан был не в духе.

— Максимов, хлеб!

— Он мерзлый, товарищ старшина. Погреть бы над костром.

— Неси, погреем в животах.

Максимов принес буханку. Старшина достал из ножен штык самозарядной винтовки, рубанул им раз-другой по смерзшейся буханке — не разрезал, а расколол. Канистра с водкой была уже рядом. Старшина придвинул к себе кружки.

— А Пане?

— Паня, тебе налить?

— Нет-нет! Делите мое поровну.

— Ну что ж. Поехали!

Комбат, Малахов, Пеканов взяли кружки быстро и с удовольствием, политрук — машинально, а Василий заколебался вдруг.

...Потом он будет привычно брать эту алюминиевую кружку и будет пить до дна, не морщась, повторяя всякий раз, как заклятие, любимую присказку деда Игната: «Дай бог не в последний раз!» Но теперь он повертел кружку в руках, заглянул на дно, где болталась светлая, неприятно пахучая жидкость, и не осмелился поднести ее ко рту, поставил обратно.

— Выпьем, Василий, за удачу первого боя! — политрук чокнулся с ним.— От первого боя многое зависит.

— Да, за удачу! — подхватил Лысенко и, запрокинув небритый подбородок, выпил.

Выпил и Василий, но выпил не до дна: глотнув раз-другой, протянул кружку Пане. Она глянула на него, и в ее серых глазах вспыхнула радость. Паня догадалась, почему он оставил ей глоток. Она взяла кружку, шепнула: «За тебя!» — и выпила. Все видели это, но никто даже шуткой не обмолвился.

Максимов принес котелки с кашей. Василий не любил гречку: в деревне чаще варили белую, пшенную. Особенно хороша пшенная каша с развару. Бывало, мать достанет из устья печки чугунок, поставит его на стол, а сверху — коричневая душистая корочка: молоко чуть-чуть подгорело. Но теперь Василий и гречке обрадовался. Он поставил горячий котелок на колени и, достав из-за голенища ложку, принялся за еду; быстро уплел кашу и обмякшим телом привалился к сосне. После бессонной ночи и выпитой водки клонило ко сну.

Паня с котелком в руках подсела к нему.

— Ты о чем задумался?

— Ни о чем. Спать хочется.

— А я знаю о чем: о сестрице политрука. Как ты глядел тогда на нее! Никогда не забуду.

— А на тебя я разве по-другому глядел?

— Когда? Не помню.

— Ну, хотя бы в пульмане, когда ты отстала?

— А-а! Все равно не так, как на Галю. И не спорь! Меня ведь не проведешь.

Артюхов вздохнул.

— Теперь все это невозвратимо, Паня. Закрою вот глаза и думаю — было ли все это: дальневосточные сопки, и дальняя дорога, и Курган, и Галя?

Паня слушала, соскребая кашу с боков котелка.

— Я рад, что не кто-нибудь другой, а именно ты пришла в батарею.

— Не думай, что я пришла из-за тебя. Мы жребий тянули.

— Значит, мой жребий счастливый.

— Уверен? — Она улыбнулась затаенно, одними глазами.

— Уверен.

Паня промолчала. Лицо ее вдруг погрустнело, глаза погасли. Она отставила котелок, задумалась.

— Ты чего, Пань? — участливо спросил Василий.— Ешь, наедайся на весь день. Сейчас начнется.

— Да так... У меня с самого вечера, как мы проехали Хвойную, кошки скребут на сердце: и радость и горе. Не поверишь: нас завезли в мои родные места. Ну не совсем родные: Озера, где работал отец, за Волховом. Но если мы возьмем Кресты, то я, возможно, побываю дома.

— Какая ты счастливая! — вырвалось у Артюхова искренне, и он добавил тут же в шутку, что она непохожа на новгородских: тут все «цокают»: и партизан, и сцепщик на станции. Старшина вон на лету схватил — еще при выгрузке пустил в ход шутку: «Хотца — не хотца, а слезать придетца!»

— У нас не «цокают».— Воспоминания нахлынули на нее, она совсем забыла про котелок.— Там Ленинград рядом. Место бойкое: станция, депо, районный центр. Но колхозники живут тем же: льном и лесом. И такие же вокруг деревеньки, и избы с дощатыми крышами, и заснеженные дороги в эту пору.

— Я многое бы отдал, чтоб побывать дома!

— У тебя все же другое дело. Может, в твоей Орловке и нет немцев. А я-то точно знаю, что в нашем поселке немцы. Давно, еще в августе, пришли.

Паня встала: все поели, и кому-то надо было помыть котелки.

«Да, Орловка! — вздохнул Василий.— Может, и правда туда не пришли немцы?!»

Неподалеку от сосны, под которой сидел Артюхов, меж двух берез стоял стожок сена — уцелевший, не тронутый ребятами. Стожок стоял не на земле, а на сосновых кругляках. От дождей он был прикрыт шатром, плетенным из ивовых прутьев. Легкая кровелька эта держалась на двух жердинах. По мере того как брали сено, кровля опускалась — стожок всегда был прикрыт от дождя и снега. Видимо, так было заведено в этих местах, и даже теперь, в войну, когда сено косилось и убиралось женскими руками, заведенный порядок поддерживался.

И уж не сиделось Артюхову. Сонливость как рукой сняло. Он встал и словно совсем без цели побрел к стожку. Обошел вокруг, любуясь его аккуратностью, и по другую сторону от леса заприметил лесенку, невысокую, из двух

сосновых жердин, перекладины не прибиты гвоздями, а вплетены. Лесенка стояла под березой. Будто оставлена так, невзначай. Но Василий сразу догадался, что она не случайно оставлена, а всегда тут находилась. Приедет хозяин за сеном, приставит ее к стожку, посбросает сколь надо навилен в розвальни, опустит крышу над стожком, да и снова спрячет лесенку под березой: пусть постоит до другого раза. «Аккуратный был хозяин,— подумал Василий.— Небось тоже воюют».

Из-за стожка вышел комбат.

— Артюхов, пойдем поглядим Покровское. А то скоро выдвигаться.

Ручей, бежавший по овражку,— капризный, заболоченный. Они не сразу нашли место, удобное для перехода. Лысенко тут же крикнул Пеканову, чтоб поверх снега настлали лапника: выкатывать орудия на опушку надо быстро, не мешкая.

Противоположный склон оврага, которым они поднимались,— круче, березы вдоль косогора — редкие, развесистые. Трудно подобрать более удобное место для огневой.

Лес наверху, вдоль опушки, обращенной к селу, казался сухим, незаболоченным. Не было совсем ни ольхи, ни осины; стволы елей — без мха и лишайников. Весь снег истоптан сотнями людских ног. Тут и там слышался говор, стук лопат и заступов по мерзлой земле, звон пил. В ротах шла подготовка к бою. Бойцы наспех рыли окопчики, чтобы спрятаться на случай минометного обстрела; станкачи прилаживали на лыжи «максимы», меж деревьев сновали связисты, разматывая с катушек провода — связь КП батальона с ротами.

— Где хозяин? — Комбат остановил бойца, несшего оцинкованный ящик с патронами.

— А вона! — Пехотинец кивнул в сторону, где бойцы наспех отесывали кругляки.

Кузовлев — без шапки, голенища валенок подвернуты — командовал ребятами, валившими лес:

— Осторожней, осторожней. Придерживай!

— Леша! — окрикнул его Лысенко.

Кузовлев вытер мокрые руки о полу и, перепрыгивая через поваленные хлысты, подошел к нему.

— Ты чего это лесозаготовками занимаешься? — Кошачьи глаза Лысенко под набрякшими от бессонницы веками светились доброй усмешкой. По его взгляду Василий понял, что они давно знакомы и комбат хорошо относится к Кузовлеву.

— Знаешь, чертовщина какая! — Кузовлев разгреб валенком снег, и, когда посторонился, на месте его следа чернела вода.— Видишь: ступить негде — везде болото.

— Што, не замэрзлий?

— «Не замэрзлий»,— передразнил друга Кузовлев, молодое безусое лицо его было грустно.— Я еще вчера, когда выгружались, заметил, что болота тут не замерзают: окопы рыть бесполезно. Вот попросил ребят, чтобы поставили сруб венца в три, а сверху — накатник. Все от осколков защита.

— Значит, готов?

— Если б дали еще денька два, я б это Покровское, может, одной ротой взял. А так, с ходу, не берусь.

— Пойдем посмотрим!

— Я уж смотрел,— неохотно отозвался Кузовлев, но, помявшись, передумал: — Пойдем.

Артюхов мало встречался с командиром первого батальона и теперь исподволь приглядывался к нему. С виду Кузовлев медлителен и нерасторопен. Шагал он как-то по-медвежьи, вразвалочку, то и дело поправляя автомат, сползавший с плеча. Роты уже выдвинулись на исходный рубеж. Командиры взводов находились в цепи, Кузовлева все время окликали, он останавливался, выслушивал, бросал коротко: «Рассредоточивайтесь, рассредоточивайтесь». Бойцы, торопливо рывшие ячейки, здоровались с ним, он шутил с ними и снова догонял Лысенко и Артюхова.

— Ну что, Васюрин, дал тебе повар добавки?

— Каши дал, товарищ капитан. А маргаринчику второй кусок не бросил.

— Вечером бросит,— с грустью отозвался Кузовлев.

Опушка, обращенная к селу, поросла мелколесьем. Подлесок — густой и буйный. Коричневые побеги молодых берез, как метелки, колючие ели — в снегу. Пробирались осторожно, по-пластунски.

Взвод боевого охранения притаился на опушке. Увидев Кузовлева, командир взвода вылез из узкой щели.

— Что нового?

— Спокойно, товарищ капитан,— у командира взвода от неподвижного сидения затекли ноги, и он, пользуясь случаем, разминался, постукивая валенком о валенок.— Только возле церкви все машины гудят.

— Машины, говоришь? А не танки? — Кузовлев опустился на колени и пополз вперед, на край опушки, осыпая снег с низкорослых елочек.

За ним, миновав боевое охранение, ползли Лысенко и Артюхов. Подлесок светлел: с каждой минутой все шире открывалось небо. Раздвинув руками гибкие побеги, Артюхов замер, оглядывая поляну, открывшуюся впереди. Наст блестел и искрился на солнце. Лишь кое-где чернели остатки картофельной ботвы. Значит, картофельное поле!.. Ровное, залитое солнцем, оно простиралось до самого села. Справа из леса выбегала дорога и, петляя, наизволок сворачивала к селу. Чернели брошенные повозки и сгоревшие машины — то ли наши, то ли немецкие. Слева, по ручью, вплотную к селу подступал лес. Хвойный бор синел и за селом, и на фоне этих сияющих далей ясно видны были крыши Покровского.

Село по этим местам видное: дворов сто, а то и больше. Ближе всего стоял приземистый длинный сарай, крытый шифером,— ферма. Справа, где проселок вбегал в село,— красное кирпичное здание с ярко-зеленой железной крышей. Артюхов решил почему-то, что это лавка сельпо. В том же конце села было еще три или четыре кирпичных строения: в прошлом, может, дома кулаков и торговцев, а теперь, видимо,— сельсовет и правление колхоза. Ясно, что эти дома немцы превратили в опорные пункты. В центре села высилась колокольня. Показалось Василию, что на звоннице что-то чернеет: не пулеметы ли? Он сказал об этом комбату, который тоже рассматривал Покровское.

— Нема! Пулеметы вон где — где школа.

У западной околицы села двухэтажный кирпичный дом — школа или МТС. За домом — двор, обнесенный оградой; в ворота то и дело въезжали и выезжали крытые машины.

Немцы чувствовали себя уверенно.

— С чего нам начинать? — спросил комбат.

— Садите прямо по скотному двору!

— Нет, дудки! Немцы тут сидеть не будут. Может, так, заслон — десяток автоматчиков. Главное у них — колокольня да вот эти каменные дома с краю.

— Я до вас ползал тут на брюхе,— признался Кузовлев.— Ведь атака — она как айсберг: над водой — десятая часть. Четверть часа бой, а двое суток — подготовки. Тогда она даст результат.

— Жаль, что Звездин не подоспел. Он колокольню эту сковырнул бы в два счета.

— Надо прорубить просеки для упряжек,— думая о своем, сказал Артюхов.

— Да что ваши пушчонки? Ребята на руках выкатят,— возразил Кузовлев.

Но комбат поддержал Василия: люди и без того устали, выбились из сил.

Они еще лежали в снегу, когда услыхали, как, ломая кустарник, кто-то бежал по мелколесью.

— Товарищ капитан! Кузовлев! Полковник на проводе. Срочно к телефону.

6

Над кромкой леса — робко и невысоко — взвилась сигнальная ракета. Описав дугу, упала на картофельное поле, пошипела, пошипела и погасла. Тут же взвилась другая и не успела еще погаснуть, как вся опушка вокруг Покровского пришла в движение. Все, что пряталось в овраге, просеках и перелесках, вылезло из укрытий и устремилось на картофельное поле.

Увидев ракету, Артюхов не сразу понял, что это — сигнал к атаке. Он еще раздумывал, какую подать команду, а справа, от дороги, уже тявкнула сорокапятка, и звонкий, резкий звук ее выстрела тотчас же заглушила россыпь пулеметной очереди. «Максим» стучал где-то совсем рядом с орудием, и голос Василия, отдававшего команду, потонул в пальбе и грохоте взрывов.

— К бою!

Батарея стояла повзводно; на самой опушке леса в низкорослом березнячке. Артюхов — напротив церкви, а взвод Пеканова — метрах в двухстах левее. Ни наблюдательного пункта, ни связи. Комбат стоял впереди, в крохотном ровике, отрытом боевым охранением, с биноклем, с поднятой кверху рукой. Не сводя взгляда с капитана, Василий по движению его руки угадал команду и, исполняя ее, заорал, стараясь перекричать стрельбу и грохот

сом. Артюхов знал, что за ним наблюдают командиры орудий, и он, повторяя движение комбата, поднял руку и резко взмахнул ею. Положено было выкрикнуть команду полностью. Но даже если б у него было не одно горло, а десять, все равно его команда потонула бы в грохоте и стрельбе. И Василий крикнул коротко:

— По колокольне — огонь! — А тише добавил: — «Давай, братва!»

В тот же миг метелка молодой березки, маячившая перед ним, наклонилась до самой земли. Полета снаряда Василий не слыхал, но увидел только, что березка вновь выпрямилась, а посреди села, над куполом церкви, что-то щелкнуло. Но раньше чем послышался щелчок, высоко-высоко в сером морозном небе, робко и как бы нехотя, в стороне от колокольни вспыхнуло черное облако разрыва.

Это был первый в его жизни боевой выстрел, и Артюхов по наивности своей считал, что после него, после такого грохота и взрыва от колокольни и следа не должно остаться. Однако, когда легкий дымок разрыва отнесло в сторону, Василий с некоторым удивлением увидел, что все оставалось на прежнем месте: и колокольня, и купол, и крест. По выражению лица капитана и по тому, как он замахал рукой, Василий понял, что промазал.

Он не утерпел и метнулся к Абдуллину. Широкоскулое лицо татарина было невозмутимо.

— Сичас, сичас,— повторял Ахмет, наклоняясь к панораме.

Зато командир второго орудия Бутин, назначенный вместо погибшего Верхогляда, чувствовал свою вину. Даже по согбенной спине видно было: переживает.

Миг — и второй выстрел полыхнул зарницей поверх березок. На этот раз, кажется, удачнее: комбат дал знак, чтобы переходили на беглый огонь.

Орудия подпрыгивали, тыкались откатниками назад-вперед; со звоном, слышным даже сквозь пулеметную трескотню и одиночные винтовочные выстрелы, падали на снег стреляные гильзы. Остро пахло пороховой гарью. Дым от выстрелов стелился по опушке леса, церковный купол то застилало черной пеленой, то, словно в насмешку, он снова открывался, дразня своей нетронутостью. Наблюдая за тем, как четко работали батарейцы, Василий решил, что, если сегодня пронесет и все они останутся живы, он

никогда-никогда не выставит их на огневой рубеж без прикрытия. Расчеты не успели даже оборудовать себе орудийные дворики. Не было ни траншей на случай минометного обстрела, ни лобовых прикрытий. Они успели лишь прорубить просеку, чтобы выкатить орудия на опушку и кое-как, наспех, подбить под сошники опорные клинья. Даже снаряды не укрыли: осколочные, приготовленные для пристрелки, стояли на подстилке из лапника, а шрапнель — штабелями в ящиках.

Мимо Артюхова, ломая ветви, бежали пехотинцы. Они выскакивали на поляну, искрившуюся от солнца, и, словно бы ослепленные обилием света, падали, проваливаясь по колено в снег. Взводные чертыхались, покрикивали на них, бойцы подымались и снова бежали вперед.

Немцы молчали. Передовые отделения были уже метрах в двухстах от деревянного коровника, уж кое-где бойцы, ободренные молчанием немцев, встали во весь рост, и над поляной, залитой солнцем, сначала робко, потом все громче, все увереннее вспыхнуло многоголосое «ура-а!».

И в тот же миг, заглушая эти крики и раскаты орудийных выстрелов, с колокольни и из кирпичных домов ударили немецкие крупнокалиберные пулеметы: вот так же стучит картошка, когда ее сыплют по деревянному лотку в закрома погреба,— ту-ту-ту... ту-ту-ту...

Без перерыва.

С колокольни ударили пулеметы, а слева, со двора кирпичного дома, стоявшего особняком, на ряды атакующих посыпались мины. Минометы били кучно: черные всполохи разрывов на какое-то время закрыли и колокольню, и сарай-ферму, и белые шапки изб. Казалось, не мины рвались на заснеженной, залитой солнцем поляне, а будто выскочило откуда-то невидимое чудовище и пошло, и пошло вершить свой шабаш! Черно-огненные хвосты сметали и землю, и снег, и людей, бежавших к селу.

Еще какое-то время, в короткие перерывы между четкими «ту-ту-ту», слышалось наше «...а-а-а!». Но если четверть часа назад «ура!» гремело над всей поляной — от дороги до оврага, то теперь оно потонуло в грохоте, дыме, черном смерче взрывов...

Батарея стреляла уже давно. Первое волнение, которым охвачены были батарейцы в начале боя, прошло.

Расчеты вели огонь спокойно, уверенно. Однако колокольня по-прежнему стояла; с кирпичных домов, что теснились у дороги, удалось снести крыши и обвалить стены. Несмотря на разрушения, пулеметы продолжали стрелять не умолкая. Теперь уже никто — ни комбат, ни Артюхов, ни Пеканов — не командовал расчетом: «Первое!» или там «Беглым!» — опека была лишней. Пекановскому взводу долго не удавалось накрыть минометы немцев, укрывшихся во дворе старинного кирпичного дома. Взрывы мин всполохами поднимали землю, разя атакующих. Мало того, мины стали все чаще и чаще рваться и в самой рощице. Немцы нащупывали ближайшие наши тылы и полковую батарею.

Капитан, выведенный из себя, выругался и бросился к Пеканову.

Осколком мины ранило в голову заряжающего первого орудия Солода. Он был без каски, и осколок, срикошетив от щитка, пробил шапку. Кровь заливала лоб, щеку, глаза. Паня Зайцева отвела Солода в сторону. Увидев, что она достала из сумки ножницы, чтобы выстричь волосы вокруг раны, заряжающий стал ругаться, отталкивать ее и все рвался назад к орудию; кровь текла сквозь ладонь, которой он зажал рану. Заряжать орудие — некому. Видя такое положение, Артюхов подбежал к орудию. Ему бы самому нагнуться к панораме, но он побоялся. Василий не был уверен в себе: ребята лучше его это умеют. Он подхватил из ящика снаряд, дослал его в казенник.

Орудия стреляли беглым.

Звякали, падая на землю, гильзы; подпрыгивали, пятились назад лафеты. Зеленая защитная краска на стволах орудий пожухла, как луговая трава знойным августом, а ненавистная Артюхову колокольня все стояла, и пулеметы без устали сыпали свое «кра-кра».

— Батарейцы — огоньку! — крикнул Кузовлев.

Командир батальона бежал вприпрыжку, пригнувшись, впереди очередной цепи бойцов. Кажется, это была третья рота его батальона. Узнав Кузовлева по голосу, Василий обернулся, и за какой-то единый миг, пока капитан пробегал мимо, заметил, что он тоже без каски. Шапка-ушанка сбилась на затылок, на лбу — мокрая прядь волос.

Первой роте все же удалось выбить немцев из сарая. Автоматчики, отстреливаясь, отошли в глубь обороны, к кирпичным домам. Видимо, появлением своим на поле боя

Кузовлев решился на последнее усилие, чтобы сломить сопротивление немцев.

Артюхов весь отдался бою. С каждым выстрелом его все больше и больше душило зло.

— Получай, гад! — выкрикивал Василий всякий раз, когда выстрел подбрасывал орудие.

Не видя воочию ни одного фашиста, Артюхов, однако, строго очертил себе его портрет. Он очертил его не теперь, а еще в детстве, по рассказам их соседа, Петра Крысенкова. Бывало, подвыпив, Петр стучал кулаком по столу, словно грозя кому-то. «Бюргер! — кричал он.— Большое брюхо! Сало ему подавай!» Немцы, засевшие на колокольне и в подвалах кирпичных домов, представлялись Василию людьми в годах. Каждый из них с брюшком и любит сало и пиво...

— Пришел, подлец?! — в пылу повторял про себя Артюхов, обращаясь к невидимому фашисту.— Чего ты не видал в этих болотах? А-а?! На, получи.

Василий взмок; пот, стекая по лбу, застилал глаза. Разогнувшись, он вытер лоб рукавом полушубка, осмотрелся.

Вдруг он увидел, что Бутин, стоявший в двух шагах от своего орудия, смотрит куда-то вверх. Потом крикнул что-то, сорвался и побежал.

— Куда? Назад! — заорал Артюхов.

Бутин остановился и, вобрав голову в плечи, кивнул на небо. И тут только Артюхов услыхал непрерывный гул, который, нарастая, перекрывал земную трескотню. Василий глянул поверх леса: сквозь метелки берез он увидел что-то черное и желтое. «Так это же фашистские кресты на крыльях!» — догадался он, однако какое-то время продолжал стоять, разглядывая. Гул нарастал. Казалось, самолеты таранили лес — от свиста и гула березы клонились в разные стороны.

Кто-то нечеловеческим голосом крикнул: «Ложись!»

Артюхов упал ничком, сунул голову под станину. Вверху послышался поросячий визг бомбы. Василий обхватил руками голову, чтобы не слышать этого противного визга. Ужасом наполнилось все его существо, каждая клетка тела. Сознание, несмотря на все, работало четко и напряженно: «Черт возьми! «Рама» небось навела. Недаром она утром вертелась».

В тот же миг рыхлая болотистая земля вздрогнула,

сместилась куда-то в сторону; его подбросило раз-другой, и он, чувствуя, что жив и невредим, встал; выплюнул изо рта крошки земли и мха, крикнул:

— По воронкам!

Следом летел второй бомбардировщик. Василий вскочил — метрах в десяти от орудия чернела свежая воронка. Он с ходу прыгнул в нее. Колени у него дрожали: зубы не попадали один на другой — не от испуга, нет, от злости и беспомощности.

— Паня! Ахмед! Сюда! — крикнул Василий, увидев Паню и командира орудия, которые вели под руку Солода. Они тут же скатились в воронку.

Земля, вывернутая взрывом, парила. Удушливо пахло толом. Все были так злы и напуганы, что даже в присутствии Пани не могли сдержаться, матерились.

— Прилетели, б..! Тьфу! — плевался Солод. Ранен он был легко. Паня так ловко перевязала его, что кровь сквозь бинт не сочилась. Но ранение это давало ему повод материться.

— Паня, подбирай ноги,— сказал Артюхов: по краям воронки, поблескивая, струйкой на дно текла вода.

Самолетов было немного — пять-шесть, не более. Они сбрасывали бомбы по очереди. Отбомбившись, разворачивались и, прежде чем скрыться за дальними перелесками, пролетали еще раз над картофельным полем, над атакующими, которые лежали, уткнувшись лицом в снег. Бойцы лежали, а сверху сыпался на них непрерывный свинцовый дождь. Немцы не боялись встречи с нашими истребителями, поэтому расходовали все, до последнего патрона.

В полушубках, с неуклюжими трехлинейками, бойцы тыкались лицом в картофельные межи; если немец давал минуту передышки, все норовили перебежать в воронку, чтобы укрыться и переждать.

Однако передышка была недолгой: на смену улетевшей шестерке прилетела другая, а затем и третья...

Попытки ротных продолжать атаку под бомбежкой были напрасны.

Бойцы не поднимались с земли. Они лежали на снегу четверть часа, полчаса... Вдруг кто-то вскочил и бросился назад, к рощице. Боец словно бы потерял рассудок. Он

спотыкался, падал, но поспешно вставал и продолжал бежать.

— Стой! Назад! — Навстречу ему из воронки — Кузовлев.

Комбат был вне себя. Если б на то была его воля, он ударил бы со всего маху прикладом автомата этого паникера. Но Кузовлев умел сдерживать себя. Ему не приходилось ранее воевать — он пришел в батальон год спустя после событий на озере Хасан. Однако он хорошо знал, что в первом бою со многими такое случается — не выдерживают нервы. Он не ударил бойца, а только выставил перед собой автомат и тут же опустил, удивленный.

— Васюрин, ты?

— Я, товарищ капитан.

— Куда ж ты бежишь, землячок?

Васюрин и в самом деле был челябинцем; правда, Кузовлев — горожанин, а Васюрин родом из Кочкаровского района. За три года, пока Кузовлев командовал батальоном, он успел узнать многих бойцов. Он постоянно был с ними — в казарме, летних лагерях, на учениях. Но Васюрина капитан особо выделял. Увидев его в казарме или на привале, Кузовлев всегда здоровался с земляком, расспрашивал о житье-бытье. Он знал, что до призыва Васюрин работал трактористом в колхозе, что очень сокрушался, попав в пехоту,— хотелось в танкисты. «Обожди,— шутил Кузовлев,— для тебя еще танка не отковали». У Васюрина была невеста — он показывал комбату фотографию, письма, она работала дояркой. И вот этот самый Васюрин стоял теперь перед Кузовлевым — растерянный и подавленный. В глазах его, которые всегда улыбались комбату,— испуг и отчаяние. Он сжимал ручной пулемет и трясся весь как в лихорадке.

Капитан знал, что делать в таких случаях. Трусость — это шок, это такое состояние, когда в человеке инстинкт самосохранения подавляет все: разум, достоинство, волю. В таких случаях человека надо вернуть в реальный мир.

— Васюрин, ты куда подевал диск? — крикнул Кузовлев.

— Я его расстрелял...

— Поставь новый.

— Да, да, сичас. Где первый номер? Суховеров?! — Васюрин взял у помощника тарелку диска и стал досылать

ее на место. Руки у него дрожали, он уронил диск и, нагнувшись, начал шарить рукой в снегу. Он нашел его, вытер полой полушубка и снова начал вставлять в приемник. Их глаза — глаза комбата и бойца — встретились. Во взгляде Васюрина была мольба, надежда, ужас. Но Кузовлев сделал вид, что не видит этой мольбы.

— Вернись назад и займи свое место в отделении.

Васюрин не повторил: «Есть, занять свое место!» Он сжался весь и стал вяло, тихо, как убитый, приседать. Кузовлев схватил его за воротник полушубка.

— Не бойся. Двум смертям не бывать, а одной не миновать!

Над полем низко-низко пронесся «юнкерс», прошивая землю огненными стрелами трассирующих пуль. Кузовлев не упал в снег, не пригнулся даже. Сам не упал и Васюрина удержал на ногах.

— Вернись, приказываю! — Капитан толкнул бойца вперед, в сторону села.

Тот сделал несколько шагов и снова остановился.

— Убьют, товарищ капитан...

— Побежишь — расстреляю как дезертира! — И, видя, что Васюрин вновь повернул к роще, вышел из себя: — Гад! Трус!

Васюрин показал рукой на поле:

— Глядите, товарищ капитан...

Кузовлев оглянулся. По полю бежали бойцы. И бежали они не к селу, а от села, к опушке леса. Капитан приподнял над головой автомат и бросился бегущим наперерез. Он хотел закричать, выругаться, но от досады, от боли, от беспомощности своей крика не получилось. Так бывает только во сне. Наконец он преодолел растерянность, и над полем раздался его голос:

— Куда?! Назад!

Но крик этот потонул в гуле «юнкерса», снижавшегося для обстрела. И странно: никто из бегущих не упал. Никто не хотел падать, ложиться на холодный колючий снег. А кто ложился, тот уж ложился навсегда — ложился, чтоб никогда не встать более.

Бегущие огибали капитана.

Кузовлев остановился, вытер рукавом пот с лица и заплакал — глухо, беззвучно; только плечи вздрагивали.

Наступили сумерки — наступили рано и как-то сразу, без перехода. Еще час назад желтое, морозно-ветреное солнце висело над дальней кромкой леса, и церковные купола, ободранные осколками, тускло светились. Светились и бронзовели стволы сосен, а по насту, испятнанному воронками, змеилась поземка. Серые языки ее лизали землю, словно хотели как можно скорее замести следы того, что совершили люди.

И вдруг все обесцветилось.

Дырявые маковки церковных куполов почернели; стволы сосен слились с лесом, и он — потухший и таинственно-скорбный — стоял, обступив со всех сторон поляну; языки поземки исчезли, и все вокруг в единый миг стало серым, плоским: и колокольня, и лес, и картофельное поле. Было тихо, слышалось только, как в вышине ветер расчесывал голые ветви берез да где-то слева, у ручья, похрапывала и била копытом землю лошадь.

Немцы не стреляли, не стреляли и наши. Всем досталось лиха.

Батарея снималась с огневой. Ребята уже оттянули на себя орудия с опушки, ездовые снаряжали упряжки, а прислуга подбирала оставшиеся снаряды.

— Ахмед! — окликнул Артюхов Абдуллина.— Если спросит комбат, скажи, что я сейчас вернусь.

Ахмед, как и подобает мудрому татарину, все понял с полуслова.

— Паня вернется,— сказал он.— Вы не беспокойтесь.

— Я и не беспокоюсь. Откуда вы взяли?

— Вы волнуетесь. Вот я и подумал, что из-за Пани.

— Оставьте ваши догадки! — в запальчивости бросил Василий и, раздвигая кусты, пошел к опушке.

В мелколесье на краю картофельного поля чернели фигуры людей и слышались приглушенные голоса.

— Давайте в воронку!

— И то! Разройте ее пошире!

В стороне от воронки на пустом снарядном ящике сидел Кузовлев, без шапки, взъерошенный и злой. Зажав в ладони самокрутку, курил. Едкий дым махорки вместе с колючей поземкой уносило в чащу леса. Несколько бойцов, тоже без шапок и полушубков, копались в воронке: расширяли и углубляли ее.

Василий догадывался, что делали солдаты. Час назад, еще засветло, Кузовлев сам обходил роты, судорожно ока-

пывавшиеся в лесу, и вызывал добровольцев, чтоб те подобрали — он не говорил «убитых», а говорил — «оставшихся на поле». Не все, право, Васюрины, нашлись и смельчаки. Сняли они «максимы» с санок, привязали к станкам веревки подлиннее и пошли. С ними напросились три или четыре девушки из санроты, в их числе и Паня. «Может, раненые будут»,— сказала она просто, без рисовки, подхватила свою сумку и пошла.

Сумерки скрывали людей, которые ползали теперь по всему полю, перебираясь от одной воронки к другой. Кто остался на снегу? Многих ли они вынесут или сами останутся?

Однако немцы пока молчали, и у всех была надежда.

Артюхов тоже снял шапку и прислонился спиной к березе, перебитой снарядом. «Паня вернется! Обязательно вернется!» — твердил он. Однако, как он ни успокаивал себя, тревога за нее не давала ему покоя. «А что, если и немцы выйдут на ночной поиск? Устроят засаду? Подберут раненого — вот им и «язык». Да что там раненый — любой в темноте может попасть им в руки! И Паня тоже».

Но вокруг стояла тишина. Ни голосов, ни выстрелов не слыхать.

Кузовлев напряженно вслушивался в шорохи, доносившиеся с открытого поля. Наконец где-то совсем рядом послышался скрип шагов — темная фигура, пригнувшись, пробиралась сквозь кусты.

— Кого подобрали? — спросил Кузовлев.

— Бурмашкина.

— Сеню! Может, ранен?

— Нет, товарищ капитан. Девчата из санроты смотрели.

— Дайте мне его документы. Я сам напишу родителям.

Младший лейтенант Бурмашкин командовал взводом. Он был очень исполнителен, несуетлив. Еще там, на востоке, Кузовлев послал на него аттестацию: Бурмашкину должно быть присвоено новое звание, но приказ из штаба фронта не успел поступить. Капитан взял планшет младшего лейтенанта и стал искать документы. Пока он возился, перебирая бумаги, подошел Лысенко, молча снял шапку.

— Нашего-то возьмете?

— А кто у вас?

— Ездового убило. Понимаешь, нас вот тут, на огне-

вой, целый час утюжил: и бомбил, и из минометов обстреливал — ничего, обошлось. Да по оврагу пролетел какой-то шальной. И сбросил-то две бомбы. Упряжки целы, а ездового убило. Сейчас принесут ребята.

Кузовлев промолчал. Снова скрип санок, и снова кузовлевский окрик: «Кто?» Ответ вполголоса, стук о землю закоченевшего тела — и долгое молчание. Слышно только, как ветер расчесывает голые космы берез.

И вдруг в тишине шепот: «Раненый, раненый».

Паня Зайцева везла санки. На санках, распластавшись, лежал огромный детина. Ноги его волочились по насту. При каждом толчке раненый глухо постанывал.

— Комба-ат!

— Я.

— Фриц, б...— выругался раненый.— Разрывными стрелял. Погляди, как изувечил.

— Качмар?

— Да, товарищ капитан.

— В санбат! Быстро!

— Обожди,— остановил капитана раненый.— Теперь уж спешить некуда. Отвоевался я. Какой уж там вояка — без ноги?

«Без ноги?! — повторил про себя Артюхов.— А ведь и я мог быть на месте Качмара». Василий содрогнулся даже при одной этой мысли.

Человеку, особенно молодому, свойственно думать, что он не такой, как все. До этого дня Артюхову казалось, что гибнут и остаются на всю жизнь калеками какие-то совсем-совсем иные люди. Он не мог сказать точно какие. Иногда ему казалось, что гибнут только трусы; но думать так было жестоко, и на ум приходила мысль, что, наоборот, не страшно погибнуть человеку, который пожил, повидал жизнь. «Как же это так,— думал он,— погибнуть, когда только-только начал жить?! Нет! Я должен жить, я буду жить!»

По молодости Василию казалось, что в нем таится великая сила. Он был убежден, что стоит только ему очутиться на фронте, как все сразу изменится. Просто уверенность в нем была такая. Эта уверенность покоилась на убеждении, что уж он-то, Артюхов, встретит немца достойно! Он не струсит, не задрожит, как осиновый лист, при завывании мины. Он стремился на фронт. Всю дальнюю дорогу сюда, под Кресты, думал вот об этом дне —

о первом бое. Думал: сверну немцу шею! Буду своим орудием косить врагов направо и налево.

И вот первый бой кончился. И что же? Выходит, он ничего не сделал. Он не мог даже свалить купол с церкви... Оказалось на поверку, что он — как и все. Он тыкался носом в снег при звуке мины, вбирал голову в плечи, когда пуля уже просвистела над головой. И главное — он смертен: он мог быть не только на месте Качмара, но и на месте Бурмашкина и других его сверстников, чьи закоченевшие тела ложились теперь на дно братской могилы...

7

В стороне от дороги на просеке стояла «эмка», на которой приехал Сарычев. Фары и подфарники машины закрашены голубой краской — на снег ложились две едва видимые ночью полоски света. Полковник стоял возле машины, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу: объяснял новую боевую задачу. Утром полк должен атаковать Заозерье.

Заозерье — это и на самом деле село за озерами. Вся округа по ту сторону железной дороги, если взглянуть на карту,— сплошные озера и болота; ни тропинок, ни дорог. Единственная дорога — железнодорожная насыпь. По данным разведки, отрезок «железки», километров пять на север от пункта выгрузки, не оседлан немцами. Можно, конечно, попасть под минометный обстрел, но, если двигаться осторожно, то к утру полк будет на исходных позициях.

Ставя задачу, Сарычев напирал на неожиданность.

— Только неожиданное появление двух наших батальонов перед Заозерьем,— доказывал он,— принесет нам успех. Неожиданность и еще раз неожиданность! Мы должны во всем опережать замыслы неприятеля.

Возле машины столпились командиры. Вспыхивал и гас свет фонариков: кто-то смотрел на карту, уточняя маршрут движения. Положив руки на автомат, висевший на груди, Кузовлев стоял, прислонившись к крылу «эмки»; сбоку от него — командиры рот. У всех были усталые, осунувшиеся лица. Наблюдая за ними, Артюхов почему-то решил, что все они думают сейчас об одном — о том, как бы прилечь, отдохнуть.

Василий сам едва держался на ногах.

Сарычев ни словом не обмолвился о первом бое. Он не спросил о потерях; никого не похвалил и не поругал. Сначала Артюхов отнес это за счет натуры полковника — сухой и сдержанной. Но, подумав, Василий решил, что дело не в натуре, а в силе воли: настоящий командир и должен быть вот таким — волевым. Не сокрушаться при неудаче, не смаковать потери; главное — четко и ясно ставить цель. Цель мобилизует силы бойца.

— Противник мобильнее нас,— говорил Сарычев своим обычным резким, быстрым говорком.— Неприятель на мототяге, а мы — на своих двоих! — грустно пошутил кто-то.

Артюхов впервые присутствовал на такого рода совещаниях и теперь особенно чутко и внимательно реагировал на все происходившее. Резало слух слово «неприятель». Однако почему резало, Василий понять не мог. Слово это, решил он, какое-то бледное, вялое; осталось оно от мирных дней. «Приятель — неприятель», «красные — синие»,— говорили обычно при разборе учений. А тут какой, к черту, «неприятель» — просто фашист! Разрывными стрелял. Василий все еще не остыл от боя. Слушая Сарычева, он перебирал в уме, что и как; вспоминал каждую деталь, мелочь; и каждое такое воспоминание обжигало его: не так он действовал, плохо стрелял.

— Гарнизон Покровского оказался сильнее, чем мы предполагали,— продолжал Сарычев.— Оборону тут займет дивизионный разведбатальон. Он только что выгрузился и подтягивается.

— Минометчики? — нетерпеливо спросил кто-то.

— Минометчики, полковая батарея и все другие средства усиления идут с вами.

— Ясно!

Из-за машины вывернулся начбой. Никто еще не видел немецкого автомата, что это за штука такая, а на груди воентехника уже болталась эта чертова железяка.

— Где это ты достал? — спросил капитан Лысенко.

— Трофей!

— Подари!

— К нему патронов нет.

— Достанем.

Воентехник помялся:

— Проваторову обещал.

— А-а, ты все с политикой! — вырвалось у капитана.— Выслуживаешься перед начальством.

Воентехник нисколько не обиделся, только тряхнул своей амуницией. Это означало, что предстоял официальный разговор.

— Ты строевку отослал?

— Да.

— А почему не указал, сколько снарядов израсходовано?

— Завтра укажу. Пока еще сам не знаю.

— Видел, твои ездовые жгут ящики, — продолжал воентехник.— Имей в виду: есть приказ — снаряды отпускать только тем, кто сдаст тару. Ящик в ящик. Без обменной тары снарядов не получишь!

— Дашь, как нужны будут!

Сарычев уже заметил, что кто-то перешептывается рядом, постучал по крылу машины:

— Тише!

Сыромятников спросил о КП полка: выдвигается ли штаб?

— КП полка остается на месте,— сухо пояснил Проваторов.— До выяснения окончательной обстановки. Рации, к сожалению, у нас нет. Приказы и донесения — связными.

— Командование?

— Командование группой, которая выдвигается в район Заозерья,— Сарычев запнулся: видно, об этом был особый разговор,— командование группой возлагается на капитана Кузовлева.

— Ну что ж,— мрачно отозвался Кузовлев.— Разрешите выполнять?

— Выполняйте!

— Построить роты! — приказал Кузовлев.

Роты строились повзводно. Командиры отделений и старшины проверяли наличный состав; батарейцы и минометчики свертывали свое хозяйство.

Кузовлев с командиром дивизионного разведбатальона обходил передовую. Так уж положено: сдать боевой участок заступающему на твое место. Хотя, в общем-то, сдавать Кузовлеву было нечего. Не оставлял его батальон ни окопов, отрытых во весь рост, ни блиндажей в три наката, ни ячеек для пулеметов — оставлял лишь черный могильный холмик на опушке леса да сруб из березовых

рядок есть порядок. Кузовлев указал огневые точки немцев и, пожимая руку новому «хозяину», сказал, что Покровское в лоб не взять: надо в обход попробовать.

Сдача участка заняла не менее четверти часа. Роты успели построиться, и Кузовлев, оглядев строй, дал команду выступать.

Было новолуние; серп луны — однорогий, только что народившийся — повисел-повисел над лесом и затерялся в гуще черных елей. Еще какое-то время небо озарялось бледным, рассеянным светом, но вскоре и это неясное пятно погасло. Темное небо сомкнулось с темным лесом, и лишь глядели с высоты на холодную, скованную стужей землю холодные, немигающие звезды.

Ночью «рама» высмотреть не сможет, поэтому колонна двинулась не по глухой лесной просеке, а по проселочной дороге. Судя по всему, когда-то, во времена земства, проселок был мощен булыжником. Купчишки, промышлявшие в лесном краю, возили по большаку возы с солью, рыбой, льном; в этакую-то зимнюю пору проносились по ней легкие резные санки, вроде тех, которые раздобыл Тябликов. А в к о з ы р ь к а х — баре или их сынки и дочки, едущие к старикам на «вакации». Потом в барском имении организовали МТС. Гусеничные тракторы волокли по большаку цистерны с горючим, неуклюжие вагончики — на колесах и полозьях. От времени и недосмотра мостки через гати и болотца обвалились, пришли в негодность. От прежнего большака остались лишь булыжные плешинки на сухих местах.

Теперь, в трудную годину войны, по старому земскому большаку с лязганьем и грохотом катились пушки, кухни, зенитные установки, полковые минометы. На плешинах, в местах, где уцелела мостовая, стальные ободья орудийных колес выстукивали дробь, и шедшие следом за орудиями батарейцы отходили в сторону, на обочину. А по обочине, перемешивая ногами и без того растоптанный снег, топала пехота. Как всегда бывает на марше, выходили повзводно, но через час все уже спуталось. Один, выбившись из сил, отстал; другой встретил земляка, служившего минометчиком, и они решили хоть на марше побыть вместе. Одним словом, стройная поначалу колонна растянулась на добрую версту, а то и более. Вяло брели усталые, изможденные люди. За плечами — винтовки с

примкнутыми штыками, автоматы, ручные пулеметы с неуклюжими ножками.

— Артюхов, погляди за хлопцами, чтоб не спали! — откуда-то из темноты послышался голос командира батареи.

А через минуту, обгоняя упряжку, верхом на Красавчике проскакал капитан; рысцой скакал, знать, хотел догнать идущего в голове колонны Кузовлева. Василий не успел даже бросить обычное: «Есть!» — комбата и след простыл. Ошметья снега мелькнули из-под копыт меринка, и цоканье тут же стихло вдали. Вслед капитану от каждого орудия неслось:

— Комбат, командуй привал!

— Вторую ночь не спавши!

«Разве вторая?!» — подумал Артюхов.

Василий стал перебирать в уме все, что случилось... Выгрузка. Бомбежка. Смерть Верхогляда. Покровское. Первый бой. Первые страхи и огорчения. Кузовлев и холмик братской могилы на опушке леса... Да, выходило, что и суток не минуло. А казалось — прошла вечность. Невольно подумалось: как хорошо было в теплушке! Где она теперь? Наверное, катит на Ярославль, обратно в тыл? Катит и пульман, в котором стоял Ландыш. Сколько раз они сиживали в этом уютном вагоне вдвоем с Паней!

Василий шел, ухватившись за ствол орудия. Орудие подпрыгивало на выбоинах. Дуло то клонилось к земле, пропадало куда-то, то взмывало вверх, но он не отхватывался от него: так идти было легче. Легче и надежнее. Иногда, когда дорога была без ухабов, пусть на какой-то единый миг, но все же удавалось закрыть глаза. Шел Василий вяло, расслабившись; и хотя в глазах, как только закроешь их, начинали мелькать всполохи выстрелов, он все же не хотел их открывать. Просто не было сил. И лишь когда орудийное дуло ныряло вниз, Василий, вздрогнув, просыпался. Но спустя минуту-другую он снова ощупью находил холодный, намерзший брезент и шел, едва переставляя плохо гнувшиеся ноги.

Был такой момент, когда он шел с закрытыми глазами, как ему показалось, очень долго. Вдруг кто-то снял его руку с надульного чехла.

Он встрепенулся: рядом, фыркнув от смеха,— Паня Зайцева.

— Паня?! — воскликнул Василий.— Как я рад. Какая ты молодец!

— Ты небось не вспоминал обо мне?

— Что ты?! Не веришь, только сейчас думал: какие мы были счастливые там, в пульмане.

— Ну!

— Ты отчаянная, Паня. Я места себе не находил, когда ты ушла на поле.

— Ну уж отчаянная! — Она шутливо толкнула его в плечо.— Просто на меня иногда находит. Хорошо еще, что я раньше не побежала! Был момент — помнишь? — когда всем стало ясно, что атака захлебнулась. Вижу: идет Кузовлев — один, в открытую, не пригибаясь... Увидела я его, и так мне захотелось схватить автомат и выскочить на поляну. Мне показалось, что я во всем виновата. Меня в бою не было. Уж при мне-то все пошло бы по-другому. У тебя бывает такое чувство?

— Когда-то, в молодости, было.

Он сказал это в шутку. Но шутка получилась грустная. Паня поняла, что его угнетает не усталость, а неудача первого боя, и, чуткая к его настроению, принялась успокаивать Василия, уверяя, что никто не виноват в неудаче: все так нескладно получилось. Во всяком случае, батарейцы стреляли хорошо, и минометчики старались. Но что поделаешь — немцы окопались, у них каждый дом — крепость.

— Кузовлев говорит: «Атака как айсберг». В каждом бою — много подспудного. Надо было все подготовить, разведать, пристрелять...

— Значит, все дело в разведке?

— Не все, но от разведки многое зависит.

— А сейчас мы идем с охранением?

— Да, впереди первая рота.

— Я не очень полагаюсь на Барсукова. Не знаю, за что его любит Кузовлев. Форсистый парень, но свистун. Допустил, чтобы при нем ребята побежали.

— Вот бы вас, медичек, в пехоту. Вы бы не побежали.

— Никогда!

— Пожалуй. Давно известно, что женщины выносливее мужчин. Я вот едва на ногах держусь, а у тебя еще хватает сил зубоскальничать.

— Нет, Артюхов, милый,— сказала она ласково.— Просто я поспала часик. Тябликов прихватил из лога воз

сена для лошадей. Я забралась в розвальни, пригрелась да и вздремнула. Так здорово! Иди поспи, а я тут за тебя покомандую. На марше-то небось можно?!

— Привал! — пронеслось по колонне.

Пехота поспешно сворачивала с большака. На обочине дороги стояли Сыромятников, Лысенко и еще кто-то из командиров. На опушке, под елями, дымили батальонные кухни. Кузовлев подзывал к себе ротных; не очень громко отдавал распоряжения: «Пусть ребята отдохнут. Выступаем в полночь».

Узкие ободья колес резали наст. Лошади фыркали, месили снег копытами. Орудия задвинули в чащу леса. Поверх остроконечных елей видны были звезды — как из колодца.

Привал на марше — дело привычное. В любом подразделении всякий знает свои обязанности. Тябликов взял термосы и отправился за ужином. Ахмед разжигал костер. Ездовые высвобождали из упряжки коренников и уносных. Командиры взводов, собравшись вокруг комбата, уточняли по карте маршрут. Но вот управились с делами: задали корм лошадям, поужинали сами, ноги отяжелели от еды и усталости, и всех стало клонить ко сну.

Наступила первая фронтовая ночь.

Каков бы ни был этот день — холодный, ветреный, ты продрог и устал; атака, в которой ты участвовал, не удалась, и ты плакал от своего бессилия, и теперь ты едва стоишь на ногах, но не кляни его, этот ушедший день. Слава богу, ты остался жив. Голоден ты или сыт, хорошо одет-обут или не очень, в селенье ты или в лесу, но пришел срок, наступила ночь: ее надо как-то скоротать.

Жилья человеческого вблизи не было. Был лес. Было небо. Был снег — колкий, сыпучий, морозный. И главное — все были юны, неопытны, никто не знал, как можно устроить ночлег в зимнем, холодном лесу. Бутин повертелся-повертелся около костра — на голый снег не ляжешь, отошел в сторонку к орудиям, присел на лафет, привалился спиной к затвору и затих. Тябликов шел мимо (нес охапку сена Красавчику), остановился, бросил Бутину клок сена: «Подстели под бок». Увидев старшину с сеном, Ахмед, ни слова не говоря, побежал к розвальням. Только начал растаскивать воз — откуда ни возьмись Пеканов.

— А ну-ка, сержант, соберите сено и отнесите обратно,— выговорил ему Пеканов.— Сено надо жалеть. Это государственное имущество. Фураж.

Ахмеда взорвало:

— Сено нужно жалеть! А человека жалеть не надо! Да, не надо, я спрашиваю?!

Смотрел-смотрел на это комбат и вдруг встал: рябое осунувшееся лицо его осветилось улыбкой.

— Не горячись, Ахмед. Пеканов прав. Сена все равно всем не хватит.— И, сам еще до конца всего не понимая, принялся вслух рассуждать: — А давайте-ка такое зробим. Нарубим побольше лапника. Постелем хвою на снег, у костра. Приткнемся все покучнее, а одного заставим дневалить. Накажем, чтобы смотрел, а не то посжигаем валенки и полушубки.

Батарейцы любое слово комбата на лету подхватывают. Сказал капитан: нарубить лапнику — и пошло дело. Топоры, пилы от станин отторочили; кто рубит, кто носит ветки. Стелет сам капитан. Каждую ветку он осмотрит: стряхнет с нее наледь, повертит в руках, прикидывая, как бы так ее положить, чтобы помягче под боком было: «Давай, давай, мало!» Ребята руки искололи еловыми иголками, вспотели, а он знай свое: «Давай, мало!» Наконец сдался — сам устал. Лапника вокруг костра — целая гора. У Тябликова в обозе было десятка два одеял: укрывались ребята в вагоне. Одеяла старые, вытертые. Теперь старшина принес их: поверх лапника разостланы одеяла. Комбат сиял: чем не пуховик!

Костер догорал; жаркие угли развалили пошире, чтоб всем тепла было поровну. Искурили по самокрутке; вскипятили воды в котелках, попили чай. Пора бы и на боковую.

Капитан помялся:

— Вот что, друзья! Кузовлев обещал выставить часовых. Но я думаю: на пехоту надейся, а сам не плошай. Давайте так: ездовые по очереди дежурят у лошадей; командиры орудий — возле пушек: командиры взводов — по расположению.

Абдуллин, ни слова не говоря, поднялся от костра, закинул карабин за спину и пошел к орудиям. Сабиров — к лошадям.

— Ложитесь, я подежурю,— сказал Артюхов.

Никто не возразил. Все молча валились поближе к

костру; покряхтывали, кашляли, толкали друг друга в спину.

— Малахова не пускать к костру! — шутил комбат.— Спина больно разложиста.

— А я, товарищ капитан, не спиной лег к огню, а ногами. Люблю, чтоб ноги были в тепле.

— Смотри: сожжешь валенки — старшина других не даст. Так и будешь топать босиком до самого Берлина.

Засыпая, ребята посмеялись.

На самое хорошее место, к огню, положили раненого Солода. Он отказался уходить в медсанбат, и его оберегали. Кто-то еще посмеивался капитанской шутке, кто-то укладывался, а старшина уже похрапывал. Последним ложился комбат. Он обошел вокруг костра, оглядел всех по очереди, подоткнул одеяла, кому-то поправил подвернувшийся полушубок, бросил сушняку в костер и прикорнул с краю. Наблюдая за комбатом, за тем, как он любовно укрывает ребят, Артюхов вспомнил ночное. Бывало, как только мужики управятся с севом, так лошадям давался передых. На ночь их угоняли в луга. Они паслись на воле, а утром, к началу работы, ребята возвращали их в село. В ночное ездил старший брат Андрей. Но иногда он брал с собой и Василия: так уж заведено на селе — в ночное ездят подростки. Стоянка для ночного всегда выбиралась на самом красивом месте: у Погремка или у Двенадцати родников. Вот так же разводили костер, стелили на землю зипуны и ватники. Андрей укрывал ребятишек, подвертывал им зипуны под бока, а сам ложился с краю. Было росно, гулко на земле. Слышалось лишь, как всхрапывают лошади да где-то в молодой ржи свиристит дергач. В ночном Василий почему-то долго не засыпал. Он лежал с открытыми глазами, вслушиваясь в шорохи ночи, и смотрел на небо, где высоко-высоко мигали звезды.

И теперь на небе были все те же звезды...

Тогда, в ночном, Василия занимали всякие «мудрые» вопросы: почему звезды маленькие, а луна большая? Правда ли, что кукушка отсчитывает годы, которые ему осталось прожить? Кем и когда устроено так, что земля и звезды вечны, а человек — не вечен?.. О многом думал Василий, будучи подростком, и не мог лишь подумать о том, что через десять — нет! через восемь — лет ему придется коротать ночь в лесу, на снегу, в мороз, и над

ним будут все те же звезды, что сияли ему и тогда, в ночном, и те же мысли о загадочности жизни будут волновать его.

— Можно, я с тобой посижу? — Из темноты, от костра, показалась Паня.

— А ты чего не спишь?

— Выспалась.

— Тогда посиди.

— О чем ты задумался? — Паня присела рядом на шершавый, покрытый наледью ствол березы, которую ребята приволокли из чащи для костра.

— Вспомнилось ночное. Бывало, старший брат вот так же, как и капитан, укрывал нас, подростков.

— А где теперь брат?

— На фронте.

— Расскажи о ночном,— попросила Паня.— Я люблю, когда ты рассказываешь.

Василий рассказал о скачках, которые затевали подростки в ночном; как отправлялись в село гурьбой, забирались в чужой сад, опустошали его и с яблоками за пазухой в полночь возвращались к Погремку или Дубу, где был их ночной стан.

Паня слушала, не перебивая. Изредка она вставала и бросала в костер какую-нибудь суковатую ветку, чтоб он не погас совсем; и, когда вспыхивал огонь, в лесу вырастали тени. Виднелись лошади, стоявшие возле привязей, орудия, зарядные ящики.

— Ты счастливый! У тебя хоть есть что вспомнить.— Паня вздохнула.— А мне и вспомнить нечего, кроме больницы. Отец — врач, мать работала медицинской сестрой. Приду, бывало, из школы, поем, что мать на столе оставила, и бегу к ней, в палату. И уроки там готовила, и поспать меня мать уложит, если свалюсь от усталости.

— Хорошая ты, Паня! — Василий хотел привлечь ее к себе. Но она отстранила его руку, встала.

— Вон у Бутина валенок дымит. Пойду поверну парня.

— Тогда давай всех перевернем. Спать нельзя долго на одном боку — простынут ребята.

Они каждого побеспокоили, однако никто не проснулся. Ребята только кряхтели и чмокали губами. «Дети, как есть дети! — Паня прикрыла Абдуллина.— Да они ничего еще в жизни не видели...»

— Паня, я все время думаю о тебе! Я очень хорошо

помню, какой ты была тогда, в Хабаровске, когда увидел тебя впервые. В казарме с утра и до вечера одно и то же: курсанты, стриженные ежиком, гимнастерки, галифе, сапоги. А тут — ты. Такая легкая вся, прозрачная. Тогда, в парке, ты вся светилась.

— Теперь, наверное, вот в этих ватных брюках,— пошутила Паня,— ты б меня и не заметил.— Может, и заметил, но не полюбил бы.

Она засмеялась.

— Ты чего?

— Да так. Знаешь что, Вася,— Паня впервые назвала его по имени,— давай не будем говорить об этом.

— Почему?

— Нехорошо. Война, смерть кругом. Какая уж тут любовь?!

8

Было, наверное, часа четыре пополуночи, но было все так же темно и тихо, как и с вечера, только к утру немного подморозило. А может, это казалось так, ибо батарея шла уже третий час без передыху, и конца этой однообразной и тяжкой дороге не было видно. Железнодорожная насыпь петляла лесом. Шпалы лежали часто, идти по ним — сущая пытка: не шаг, не два. Все время приходилось не шагать, а словно бы бежать вприпрыжку. Бойцы спотыкались, но шли молча: надоело чертыхаться, да и бессмысленно — брюзжание только под нос самому себе — даже соседу не слышно, что ты там бормочешь. Все потонуло в невероятном грохоте и стуке. Тупо топали по шпалам сотни солдатских ног. Скрежетали по песку полозья саней. Ударяя копытами о рельсы, высекали искры кованые коренники и уносные. Но сильнее всего стучали, перескакивая со шпалы на шпалу, орудийные колеса. «Та-та-та! Та-та-та!» — повторяло эхо этот стук.

Четыре часа пополуночи, а все так же, как и с вечера, светили звезды, и было чертовски холодно.

Артюхов, тупо переступая через шпалы, шел поодаль от орудий своего взвода — шел один: все устали, и даже говорить с кем-либо не было желания. Он едва держался на ногах. Валенки намерзли, шагать становилось все

труднее и труднее. «Черт возьми, неужели кто-нибудь еще, помимо русского солдата, способен вот на такое! — подумал Василий.— Спать на снегу. Среди ночи подняться без ропота и идти, идти, идти. Идти до изнеможения! Идти, когда уж нет никаких сил!.. Небось немец спит теперь. Спит в теплой русской избе, на деревянной кровати, на которой спал хозяин, ушедший на фронт. А хозяйка с детьми забилась куда-нибудь в дальний угол, в запечье, и выплакивает слезы, вспоминая мужа, коротающего ночь в окопе, на морозе. Спи, спи, вражина! — заключил Артюхов.— Утром встанешь — на опушке леса, под окнами избы,— два наших батальона. Да, Сарычев прав: главное на войне — неожиданность удара...»

Вдруг впереди возникло какое-то замешательство. Послышались выкрики команды, скрип полозьев, и стук колес стал затихать. В тот же миг по колонне пронеслось: «Капитана Лысенко — вперед! — И тише, почти шепотом: — Погасить папиросы».

Капитан, придерживая рукой бинокль на груди, побежал вперед. На насыпи столпились бойцы. Он расталкивал их, бросая на ходу: «Прошу, прошу!» Невысокая фигура его скрылась среди бойцов, одетых в такие же полушубки.

Вернулся комбат быстро — запыхавшийся и взъерошенный. Командиры взводов тут же окружили его.

— Навстречу нам движется колонна немцев,— торопливо говорил капитан.— Численностью до батальона. Но без усиления. Кузовлев решил атаковать. Задача: как можно ближе подпустить немцев и неожиданно ударить из всех видов оружия.— Лысенко достал из планшета карту, присел на лафет орудия.— А ну, Артюхов, посвети!

Василий нащупал в кармане полушубка «жучок» — механический фонарик, бывший у каждого артиллериста, и посветил.

Комбат шуршал картой.

— Вот видите: насыпь, по которой мы движемся. Это мосток, который только что миновали. Впереди — железнодорожная будка. До нее... до нее восемьсот метров. Наше дело — не дремать! Стреляем сначала по будке. Потом переносим огонь в глубину. Сигнал — красная ракета. Запомните: орудия скатываем вниз, направо. Кузовлев отбирает сейчас группу перехвата. Хочет зайти немцам в тыл. Когда мы тут поднапрем, фрицы побегут. У них один путь — тот, которым они пришли: насыпь,

потом — через хутор Мосин — на Заозерье. И вот тут, на хуторе, он и хочет их встретить. Ясно?

И хотя при тусклом свете «жучка» на карте не разобрать было ни будки, ни Мосина хутора, все дружно отозвались: «Ясно!»

— Действуйте!

Ездовые потянули коренников за уздцы; расчеты обступили орудия и были готовы в любой момент взять их на себя. Рельсы мешали, и скатить орудия с насыпи было нелегко. Колеса ползли по стальным, беспрерывным полосам; коренники всхрапывали от скрежета и бесполезности своих усилий. Как и предполагал Артюхов, орудия и передки пришлось брать на себя.

— Навались! — крикнул Василий. Упершись спиной в щиток, он со всей силой тянул за обод колеса. Рядом пыхтел Ахмед; его широкая спина казалась квадратной.— Раз-два! — и, почувствовав, что орудийное колесо перекатилось через рельс, Артюхов добавил приглушенно: — Держи!..— Он не успел выкрикнуть команды полностью, чтобы батарейцы держали орудие, а заодно и упряжки, которые потянуло вниз, с насыпи, как ошметья снега из-под копыт ударили ему в лицо. Был миг, когда казалось — все: орудие, скользившее вниз, собьет его с ног, и он окажется под колесами; и он только выдавил через силу: — Навались! Навались! — Вдруг — снег по пояс, и — чох! Срезая коробом передка наст, упряжка остановилась.

— Первое скатилось! — крикнул радостно Артюхов.

— Порядок! — раздался с насыпи довольный голос комбата.— Оттягивайте к лесу. Там болото или что?

— Сносно.

— Пошло второе!

Ребята еще пыхтели у насыпи, скатывая второе орудие, а расчет Абдуллина уже снял свою полковушку с передка, откатил в сторону зарядные ящики. Бутин и Безбородко долбили яму для упора сошника, Ахмед расставлял снаряды.

Еще миг — и насыпь опустела. Все стихло: ни топота ног, ни скрипа санных полозьев, ни перестука орудийных колес.

— Артюхов?!

— Я!

— Доложите Кузовлеву: батарея к бою готова.

— Есть доложить! — Василий козырнул и полез наверх, на насыпь.

На насыпи — ни пехотинцев, ни минометчиков — только суетились около «максимов» пулеметные расчеты: торопливо прилаживали стволы на тележки, засовывали ленты в приемники.

Кузовлев стоял в затишке ольхового куста, притулившегося возле самой насыпи. Вокруг капитана толпились командиры взводов и рот. Был тут и командир второго батальона Тихон Сыромятников, которому Василий сдавал то памятное дежурство по эшелону, когда Коток поранил себя. Командиры о чем-то приглушенно совещались.

Не желая встревать в разговор, Артюхов постоял минуту-другую, прислушиваясь.

— Тихон, ты остаешься за меня,— спокойно объяснял Кузовлев.— Связного с донесением в штаб полка я уже послал. Там будут знать о нашем решении. Если возникнет опасность — помогут. Запомните: в случае вынужденного отхода держитесь железнодорожной насыпи. Другой дороги тут нет. Все средства усиления остаются с вами. Я беру с собой только четыре «максима» и взвод автоматчиков. На всякий случай со мной идет Барсуков.

— При атаке кричать или действовать втихую? — спросил кто-то из командиров.

— Ночью как-то не положено кричать,— заметил Сыромятников.

— Кричите! — с каким-то юношеским задором отозвался Кузовлев.— Пусть знают немцы, что вас много. Главное — затаитесь, пропустите боевое охранение, а как только подойдут основные силы, тут и начинайте! Левую сторону насыпи прикрыть одной ротой. Туда они не сунутся — болото. Понятно?

— Понятно.

— Беру с собой только добровольцев.

— Люди отобраны,— доложил Барсуков.

— Кто?

— Изъявили желание пойти пулеметчики Авилов, Краснов, Платонов, Тряпичников...— Барсуков перечислял фамилии бойцов четко, ясно, будто представлял их к награде.

Артюхов слышал, что Барсуков, принявший роту перед самой отправкой на фронт, напорист и крут, и теперь Василий приглядывался к нему.

— Тряпичников?! — Обожди, обожди! — перебил его Кузовлев.— Он всю дорогу плелся в хвосте. Жаловался, что натер ногу. Если так, то надо заменить. Мне нужны только здоровые. За час мы должны выйти в район хутора Мосина, а это километров пять.

— Да нет! Он здоров,— бросил кто-то, видимо, политрук роты.— В хвосте колонны шла Клава, медичка. Вот он и волочился за ней.

— Проверить!

— Есть!

— Теперь автоматчики.

Барсуков перечислил автоматчиков. Поначалу было отобрано лишь двадцать человек. Но все в один голос заявили, что этого мало, и Кузовлев согласился взять еще двенадцать бойцов.

— Передайте автоматчикам, чтобы они взяли по три запасных диска!

— Хорошо.

Кажется, все вопросы были решены. Капитан глянул на часы. Половина пятого. Через час немцы будут здесь.

— Вы свободны. Желаю удачи.

Командиры рот сказали: «Есть!» — повернулись и пошли.

— Можно обратиться, товарищ капитан? — Из темноты выступил боец с ручным пулеметом.

— А-а, Васюрин?! — удивился Кузовлев.— Да, слушаю.

— Товарищ капитан, возьмите меня с собой. Верьте: не струшу боле.

— Не струсишь?! И не побежишь, землячок?

— Никогда, товарищ капитан! Это меня нечистый попутал.

Кузовлев поколебался. Но вдруг шагнул к бойцу, положил обе руки ему на плечи:

— Ну что ж! За одного битого двух небитых дают! Ручники мне нужны. Кто у тебя напарник?

— Суховеров.

— Готовьте диски.

— Есть!

Проводив земляка, Кузовлев заметил сбоку куста Артюхова.

— Что у вас, лейтенант?

— Капитан Лысенко просил доложить, что батарея к бою готова.

— Это по твоей части, Тихон,— обратился Кузовлев к Сыромятникову.— Меня тут уже нет. Я пошел.— Он обнял Сыромятникова и, поправив на груди автомат, шагнул в темноту.

...Они шли глухой, заросшей просекой. Впереди Барсуков с автоматчиками, а следом за ними, на расстоянии сотни метров, Кузовлев с пулеметными расчетами. Им надо было как можно скорее удалиться от насыпи. Тропа эта, если верить карте, должна вывести их к дому лесника — километрах в двух от хутора. Идти было трудно. Просека заросла мелколесьем. Кусты ольшаника и голые ветки низкорослых осин то и дело преграждали путь. Бойцы чуть слышно матерились, подминая и обходя кусты. Гибкие побеги стегали по лицу, цеплялись за коробки с пулеметными лентами. Группа перехвата прошла немногим более километра. Неожиданно Барсуков, шедший впереди, остановился.

— Что случилось? — спросил Кузовлев.

— Болото, товарищ капитан.— Барсуков потоптался на месте. Дернина, покрытая снегом, проседала; под подошвами валенок зачавкала вода.

— Пошли!

Но через сотню метров автоматчики снова остановились: по широкому болоту петлял ручей. Теперь уже у ручья собрались все: подошли и пулеметчики.

— Надо пошукать: нельзя ли обойти? — Авилов снял с плеч тележку «максима». Постоял, осматриваясь.— Пойду погляжу.— И пошел по болоту вдоль ручья.

Кузовлев поглядел на часы: без десяти пять. Значит, они шли уже двадцать минут. Он посветил фонариком, еще раз поглядел на карту. Да, весь этот угол — от железной дороги до хутора — сплошное болото. Капитан был не рад, что Авилов ушел искать брод.

К счастью, пулеметчик быстро вернулся: всюду вода. Капитан постоял в нерешительности. Замешательство его длилось всего лишь какой-то миг, и за этот миг Кузовлев успел осознать все. Ясно было одно: повернуть назад он не имеет права. Нет, нет и нет! За одну ночь он совершил столько нелепостей! Их ему никто не простит. Вопреки приказу Сарычева немедленно выступать и форсирован-

10 Апраксин бор

ным маршем двигаться на Заозерье он дал бойцам три часа отдыха. Если б он не устраивал привала, батальоны были б теперь в Заозерье. Это первое. Второе: он, наверное, не имел права передавать командование группировкой Сыромятникову. Получалось, что он свалил на Тихона самое главное. Ясно, если что-нибудь случится, ему несдобровать. И он сказал:

— Только вперед. Попробуем сделать мосток.

— Так нет же ничего: ни пилы, ни топора.

— Ломайте осинник!

Автоматчики выломали в чаще десяток жердин, бросили их поверх воды. Пулеметчики саперными лопатками рубили кусты ольшаника, стелили их поверх жердин. Пошли. Но уже через пять шагов Барсуков сорвался с жердочек в воду. Ему помогли выбраться. Однако, когда дошли до конца гати, там снова чернела вода. Барсуков и автоматчики, шедшие впереди, подоткнули под ремни полы полушубков и, чавкая ногами, пошли по болоту. «Забирай правее!» Следом полезли и пулеметчики. «Правее! Правее! — шептал Тряпичников. Среди пулеметчиков он шел первым — шел, пыхтя под своей ношей, но останавливался только затем, чтобы передать команду дальше: — Забирай правее!»

Правее воды не было — было довольно сносное болото: мохнатые кочки, метелки осоки, черные, словно стога, кусты ольшаника. Сверху снег покрылся наледью. Когда наступаешь на войлок травы, припорошенной снегом, наст какое-то время держит тебя. Но, зыбкий, он тут же с хрустом проваливается, и из-подо льда струится черная болотная жижа. Каждый норовил идти по нетронутому насту, минуя черные следы. Однако все ровно через четверть часа валенки у всех промокли. Подошвы намерзли, снег налипал к ним неровными комьями. Идти становилось все трудней и трудней. Бойцы останавливались и сбивали лед с подошв.

Спасти их могло только движение. Кузовлев понимал это. Он разделил автоматчиков на две группы. С одной он сам пошел вперед, а другую, с Барсуковым во главе, послал в арьергард — так, на всякий случай. «Подтянуться!» — то и дело бросал Кузовлев, оглядываясь назад, где темнели силуэты бойцов, несших пулеметы. Капитан взмок, нижнюю рубаху — хоть выжимай. Снять бы полушубок, бросить его на снег, да шпарить себе налегке.

А если придется остаток ночи лежать на снегу, поджидая немцев,— тогда как? И он снова подбадривал ребят: «Подтянуться!» Ребята знали: капитан их — семисильный. На ученьях, пока поднимешься на сопку, с тебя сойдет три пота. А он — ничего, да все бегом, да все — «шире шаг!».

Дивизия их стояла в Раздольном. Поселок по тем дальневосточным местам — бойкий, веселый: кинотеатр, танцплощадка, стадион. Каждое воскресенье, бывало, соревнования. В Раздольном были свои чемпионы: волейболисты, прыгуны, метатели гранат. Но по воскресеньям больше всего народа толпилось у футбольного поля. «Давай, Кузовок, жми!» — ревели болельщики. Леша Кузовлев последние три года был капитаном полковой футбольной команды. Правда, команда их редко завоевывала кубки и призовые места. Но Кузовлев был мало повинен в этом. Он шустер, напорист, быстр. Однако болельщики, огорченные проигрышем своей команды, все равно кричали: «Кузовка — на мыло!» «Авилов, тот наверняка кричал,— думал теперь капитан.— Да и Тряпичников тоже. А спроси их сейчас — не признаются». В общем-то ребята напрасно надрывали глотки: на поле Кузовлев работал самозабвенно. Он и теперь действовал самозабвенно. Обливаться пóтом ему привычно, а шум леса только подбадривал: казалось, что это шумят трибуны: «Давай, Кузовок, жми!» И он ж а л.

— Подтянуться! — снова бросил Кузовлев.

Мелколесье кончилось. Вместо кустов ольшаника и гнилых осин из темноты все чаще и чаще стали выступать ели и сосны. Низина сменилась довольно крутым подъемом. Обледеневшие подошвы валенок скользили. Пулеметчики с тяжелой ношей, взобравшись на крутой склон оврага, скатывались назад. Кузовлев остановился посреди склона — стал помогать.

Ветер усилился. Щеки покалывал мороз. Руки у бойцов мокрые.

— Ничего! Крепитесь, ребята...— говорил капитан, помогая бойцам выбраться из оврага.

За оврагом светлела опушка. Автоматчик, шедший впереди, дозором, передал по цепи: «Слева дом лесника».

— Взять правее! — приказал Кузовлев.

Вершины сосен тревожно шумели. Видимо, в открытом поле метет поземка. Изредка с вершин деревьев ветер сду-

вал копны снега. Наледь ломала сушняк. Кто-то из пулеметчиков глухо кашлял в ладонь.

Кузовлев нет-нет да приостановится, глянет на часы. Что же это они молчат? Может, немцы обнаружили засаду? Тогда туго придется.

Дом лесника обошли стороной. Кордон стоял посреди лесной вырубки. Бревенчатый дом — темный, мрачный, но теперь такой желанный. Пробираясь опушкой, бойцы не спускали глаз с белого квадрата крыши: эх, красота! Зайти бы сейчас в избу, затопить печь, обогреться, обсушиться, а там уж пусть и гроб с музыкой!

Но Кузовлев — знай свое: «Прибавить шагу!» Они обогнули вырубку и вышли на лесную дорогу, ведущую к хутору.

В это время за их спиной четко и неожиданно громко ударило орудие раз-другой. Эхо тут же подхватило выстрелы и понесло: у-у-у... «Вот оно!» — с облегчением вздохнул Кузовлев, вслух же снова прикрикнул на бойцов:

— Шире шаг!

А ребята и без того уже не шли, а бежали рысцой. Автоматчики, словно по уговору, подменяли станкачей. «Вот оно! Вот оно!» — повторял Кузовлев в такт каждому шагу. Но на смену радости подкрадывалась тревога: а ну как немцы оставили на хуторе заслон? Выдвинут сюда, на прикрытие дороги, мотострелковую роту — что тогда делать?

Но вот и хутор. Десятка полтора изб свободно, вразнобой разбросаны по косогору. Избы под одной крышей с дворовыми постройками — огромные, будто крепости. На задах чернели баньки, пошатнувшиеся плетни, ракиты. Ни огонька, ни собачьего лая.

Кажется, заслона нет. Отлегло от сердца. Кузовлев даже разрешил ребятам закурить, пока они были еще в лесу. Затем, после сигнала дозорного, сохраняя осторожность, поднялись по косогору к западной околице. Дорога, по которой прошла немецкая колонна, петляла по голому косогору. Капитан сам обошел весь пригорок — от одной опушки к другой; сам все оглядел; указал, где поставить «максимы», где ручники; растолковал Барсукову, как действовать в бою автоматчикам.

Звуки перестрелки приближались. Пулеметчики заскребли землю саперными лопатами — начали окапываться.

9

Бой был коротким.

Немцы не ожидали засады. Они доверились разведке, доложившей, что этот участок железной дороги свободен от неприятеля. К тому же они очень спешили: батальон следовал на усиление гарнизона села Покровского. Основные силы батальона вышли в район железнодорожной будки, когда вдруг вспыхнул залп орудий. Однако первые залпы полковой батареи и минометов были не очень точны, а цену одиночным винтовочным выстрелам немцы знали. Они быстро скатились за насыпь, чтоб организовать оборону.

Но вдруг вверху послышались хлопки, и на кучно залегшие роты посыпался град шрапнели. Батарея стреляла хорошо. И минометчики — тоже. Как потом выяснилось, уже в первые минуты боя осколком мины был тяжело ранен майор Отто Мюллер, командир батальона. Его положили на шинель и понесли — назад, к хутору.

Это вызвало замешательство.

По обе стороны насыпи сплошной черной стеной стоял лес. Из-под каждого куста, из-под каждой ели щелкали винтовочные выстрелы. Высвечивая вершины заснеженных деревьев, бухали орудия и минометы. Трещали сучья в лесу; при вспышках можно было видеть, как за стволами деревьев мельтешили, двигались люди. Миг — и вот совсем рядом, четко, многоголосо пронеслось уже не раз слышанное каждым немцем «ура-а!».

Немцы, отходя, отстреливались. Лес, прочерченный феерическими трассами, осветился, и видно было, как снег слетает с елей и падают сучья, срубленные пулями. Но это страшное, многоголосое русское «а-а-а!» не затихало, а, наоборот, ширилось, росло, надвигалось со всех сторон; даже с той стороны, откуда они пришли.

И немцы не выдержали: побежали.

Как и предполагал Кузовлев, немцы побежали той, единственной дорогой, по которой они шли: через хутор на Заозерье. Не прошло и часа после начала перестрелки, а на восточной окраине хутора уже показались первые автоматчики. К этому времени станкачи успели не только окопаться, но и замаскировать свои позиции. «Максимы» установлены были на самом пригорке. Отсюда, с пригорка, хорошо видна дорога. Внизу, правее хутора, мосток через

ручей. От мостка дорога наизволок поднималась к опушке и за спиной пулеметчиков, петляя по лесу, вела на Заозерье.

Кузовлев находился при пулеметчиках, а Барсуков с автоматчиками — на флангах. Ракетницы не было — условились открывать огонь, по его, Кузовлева, пистолетному выстрелу.

Наконец у ручья показались немецкие автоматчики. Они не бежали, а неторопливо шли и все время о чем-то оживленно переговаривались. У Кузовлева сперло дыхание: а что, если немцы так и будут идти небольшими группами? Но вот спустя минуту-другую валом повалили фашисты, оторопевшие, испуганные. Послышались отрывочные слова команды. Видимо, офицеры пытались приостановить дальнейшее бегство.

Кузовлев смотрел, выжидал. До немцев — метров четыреста. Далековато!

Началось построение. То и дело выкрикивались имена. Зачем? Что задумали враги? Наконец построение закончено. Пора или подождать?

Напряжение достигло предела. Стоя на коленях, Кузовлев выглядывал через бруствер. Пистолет поднят над головой. До слуха долетели гортанные слова команд. Капитан не понимал смысла команд; он только догадывался, что немцы, не зная, что в тылу у них засада, пытаются организовать оборону.

Большая группа солдат кучно, дружно побежала вправо; другие — влево. Немцы бежали на взгорок.

Теперь главное не спешить. Главное — выдержка.

— Пора, товарищ капитан,— нетерпеливо шептал первый номер, сержант Тряпичников.

Рука, державшая пистолет, казалось, онемела.

Триста метров.

Двести.

Сто.

Кузовлев нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел. И еще не погасло эхо его, как с высотки, господствующей над дорогой, четко и звучно застучали «максимы».

Под утро бой затих.

Батальоны, преследуя отступающих немцев, прошли на Заозерье.

У пехотинца сборы короткие: винтовку за плечо — и потопал дальше. Другое дело — орудийные упряжки. Пока батарейцы вновь выкатили орудия на насыпь, пока приторочили их к передкам, пока впрягли упряжки в передки да пока громыхали к хутору — совсем рассвело. Никаких новых распоряжений не поступало, и Лысенко решил дать отдых батарее. Надо было покормить лошадей, да и ребята едва держались на ногах. Капитан подозвал Артюхова и приказал ему сходить на хутор — пошукать, как он сказал, избу, где батарейцы могли бы переобуться и часик-другой подремать в тепле.

Василий взял за ординарца Бутина, и они пошли.

Было начало восьмого. Солнце еще не взошло, над болотистой низиной стлался туман. Туман скрывал вершины деревьев, и видны были только стволы и подлесок. Настил у мостка через ручей во многих местах проломлен, и сквозь дыры маслянисто поблескивала вода. Вдоль ручья чернели ракиты — родное для Артюхова дерево. На Рязанщине все села утопают в зелени ракит, а тут, среди болот, он видел ракиты впервые, и поэтому от хутора повеяло чем-то знакомым. Чернели ракиты. Чернели баньки. Чернели заборы. И лишь крыши изб, высокие, аляповатые, поражали белизной. Избы стояли просторно, вразнобой. Дороги к ним не было, видно, никто не ездил сюда по первопутку. К избам вела лишь тропинка. Дорога на Заозерье круто забирала от мостка влево и, наизволок пересекая поляну, скрывалась в лесу. Взглянув на поляну, Артюхов остановился, пораженный. Вид ее удивил Василия. Так обычно выглядит луговина, вспаханная под зиму. Вспашут, бывало, и лежит она валами: где поблескивает отполированный лемехом чернозем, а где торчит из-под снега луговая щетина. В такую-то пору забьет борозды снегом, заметет поземка — только и виднеются черные спины валков. «Эка напахали!» — подумал он, направляясь к крайней избе.

Однако не прошел Артюхов и десятка метров, глядь — посреди дороги — труп. Нагнулся — немец.

Немец лежал на боку: спиной к хутору, лицом к лесу. Поземка наполовину замела его, и не было ни крови вокруг, ни видимых мучений на лице — казалось, что он не убит вовсе, а просто спит. Правая рука его была откинута, словно он напоследок хотел захватить пригоршню снега. В двух шагах от него валялся автомат, который он, види-

[illegible] взгляд. Пилотка с алюминиевой кокардой тоже соскочила с головы; густые русые волосы занесло, забило снегом.

— Он все еще глядит. Может, ранен? — почему-то шепотом спросил Бутин.

— Нет, не ранен.— Артюхов носком валенка ударил по каблуку сапога. Нога убитого не поддалась.

Это был первый немец, которого Артюхов увидел тут, на фронте. Фашист убит, но он был враг — сильный, во многом загадочный — и Василий во все глаза глядел на него...

Артюхов был человек молодой: он еще не знал, что такое смерть. Она еще не касалась его: и мать, и отец, и братья — все пока живы. Только единственный раз он видел ее близко. Это была смерть деда Игната Михайловича. Дед был старик крепкий — бородатый, большерукий. Он воевал в японскую, был ранен и, несмотря на то что прихрамывал и чуть волочил левую ногу, прожил долгую жизнь. В нем была густо замешена артюховская порода: он никогда не роптал на судьбу, не охал от испуга, не кряхтел под тяжестью и не знал, что такое болезнь и лекарства. Игнат Михайлович всю жизнь пахал землю, сеял, растил и убирал хлеб. Василию он всегда виделся согбенным над сохой или с цепом в руках.

Дед умер неожиданно. Он сторожил ночью колхозный ток. Присел под утро на ворох зерна, прикрытого на случай дождя соломой, да и заснул навсегда. Пришли утром мужики к молотилке (тогда в колхозе и мужики еще были), а Игнат Михайлович сидит себе и даже суковатую палку из рук не выпустил... Деда отпели в церкви и понесли за село, на сельское кладбище. Там, на склоне Морозкина лога, посредине Орловского погоста, где из поколения в поколение хоронили всех Артюховых, была отрыта свежая могила.

Игнат Михайлович был главой семьи. Отец бригадирствовал в колхозе: убежит он с утра на баз — и след его простыл. На плечах деда лежало все хозяйство. Он кормил и поил скотину, косил траву, латал по осени соломенную крышу избы, чинил внукам валенки, носил воду из колодца — одним словом, был опорой семьи. Когда дед был жив, он всегда что-то рукодельничал: если не подшивал валенки, то мастерил кружок для кадушки; если не чистил картошку утром, то плел корзину из ивовых прутьев... Что

очень поразило тогда Василия, об Игнате Михайловиче никто не плакал, когда его несли на кладбище. Чуть покачивался гроб — мужики не всегда шагали в ногу. А дед лежал — спокойный и величавый даже, и спокойно и величаво лежали его огромные, со вздутыми венами руки. Впервые Василий видел их такими — без движения. Как говорили бабы, «дед убрался с богом» на девяностом году жизни. И чего плакать по Игнату Михайловичу? Плакать надо по неосуществленной жизни. А когда исполнено все, что богом положено, чего же тут плакать, гневить всевышнего?

Бабы считали, что Игнат Михайлович свое земное дело исполнил, и как он жил и трудился — величаво и возвышенно,— так спокойно и величаво он должен «преставиться».

«А что в жизни успел сделать вот этот молодой немец — Фриц он там или Ганс? — подумал вдруг Артюхов.— Пахал ли он землю? Или, может, стоял у станка, на их немецком, ухоженном заводе?.. Но если он пахал, то немного,— решил почему-то Василий,— а скорее всего не пахал и не стоял у станка. Вернее предположить, что сразу же после окончания школы надели на него серо-зеленую шинельку, пилотку с кокардой, сапоги на толстой подошве, сунули в руки автомат — и вот он готов: как у них говорится, солдат вермахта. Потом — казарма, ученья, стрельбы, муштра и парады. На парадах ему говорили, что великой Германии нужно «жизненное пространство». Он выбрасывал вперед руки и кричал: «Хайль!» Ему указывали, где это пространство,— и он топал по узеньким улочкам Праги, по бульварам Парижа, по пыльным дорогам Балкан. И вот тут, в глухом, сумрачном углу России, среди болот и хмурых лесов, он споткнулся наконец и лежит...

Интересно, о чем он думал, когда вдруг увидел перед собой огненные всплески «максимов»? Неужели об этом самом «жизненном пространстве»? Вряд ли! Небось прежде всего подумал о матери, которая будет ждать сына и плакать, скорбя о его ранней смерти. Столько дней ждать и плакать, сколько дней будет жить...»

«Ну и поделом ей! — решил сначала Артюхов, но тут же что-то тронуло его, и он смягчился.— На мне полушубок, валенки, шапка,— подумал Василий,— и то я мерзну. А ты лежишь на снегу в вытертой шинельке, без

пилотки. А-з, каково тебе?» — Артюхов нагнулся, поднял пилотку. С кокарды на него глянул орел, держащий в лапах свастику. Василий поборол чувство брезгливости: нагнулся и прикрыл лицо убитого пилоткой.

— А сапоги-то на нем какие! — сказал Бутин.

— Сапоги добрые. Небось всю Европу в них протопал,— сказал Артюхов.— Да и то вот споткнулся.

— Видели, товарищ лейтенант: часы на руке? Ходят.

— У них часы плохие — штамповка.

— Может, автомат взять для вас? — не унимался Бутин.

— Не надо. Пусть начбой с ним щеголяет.

— Смотрите, товарищ лейтенант, сколько их?..

От холода и бессонной ночи познабливало. Очень хотелось в избу, в тепло. Однако, испытывая какое-то неодолимое любопытство, Василий свернул не к хутору, а не спеша пошел вверх по косогору. Вся поляна — от ручья и до западной опушки леса — была усеяна трупами. Припорошенные снегом, они казались серыми в этот ранний рассветный час. Иногда, заглянув в лицо убитого, Василий приостанавливался. «А, вот и старый!» — говорил он самому себе и шел дальше. На снегу лежали молодые и старые; с черными касками и в бабьих платках; в сапогах и ботинках; с лычками на рукавах и без лычек; рядовые, ефрейторы, офицеры; с поднятыми кверху и с поджатыми под себя руками; с открытыми и закрытыми глазами — вот она: смерть. Сотни смертей!

За два дня, проведенных на фронте, Артюхов видел уже столько, что, кажется, должен был ко многому привыкнуть. Однако все существо его противилось этому. Было жутко смотреть на это скопище трупов. Но он шел и шел по полю. В душе он радовался успеху Кузовлева: наконец-то удалось отомстить за Верхогляда, за первое поражение у Покровского. Что, получили?

Сзади тихо плелся Бутин. Они дошли наконец до опушки леса. На вершине холма натолкнулись на окопчик, где стоял наш пулемет. В ровике — ворох стреляных гильз. Гильз было так много, что даже поземка не замела их, и они зеленели сквозь снег. Рядом с окопчиком чернели окурки самокруток: ребята курили после успешной работы.

Артюхов и Бутин постояли тут, оглядывая поляну. Отсюда, с высоты, хорошо был виден хутор: избы, баньки, черные купы ракит. Потеплело. Туман, который утром

выползал из лесов, приподнялся. Синие ели за ручьем стали матовыми, затем и вовсе скрылись из виду. Начался снегопад — шальной и обильный, какие бывают лишь в начале зимы. Крупные снежинки с отчетливо различимым кружевным рисунком сыпались и сыпались с высоты. Небо сомкнулось с землей. Не слышно было ни далекого артиллерийского гула, ни автоматных очередей: только слышался шорох падающего снега.

— Сегодня фриц не полетит,— сказал Бутин.

— Да, видимости никакой,— с неохотой отозвался Артюхов.

Погода его не занимала. Его неотступно преследовали мысли о том, что он увидел. Сколько помнит себя человечество — все войны да войны. Каких только войн не было: Пуническая, Столетняя, Крестовые походы... Вся история людская — сплошные войны. И роптать на судьбу нечего. На долю каждого поколения приходилось свое лихолетье: дед воевал в японскую, отец — в империалистическую; теперь вот подошла очередь и внуков. Конечно, война войне — рознь. Мало таких, как теперешняя: сошлись два мира — кто кого? А больше всего войн из-за грабежа, прикрытого расовой ненавистью. Ненависть эта — как плесень. Какое-то время она развивается скрытно, неприметно; потом вдруг — взрыв бомбы, выстрел, нота, и люди бросаются друг на друга, убивают, сжигают города и села, уничтожают памятники культуры. И тогда уж никакой разум не советчик людям: признается только одно — сила. Вот и Гитлер. Как быстро удалось ему одурманить немецкий народ!

И вот они теперь лежат, обманутые своим фюрером. Сотни их лежат на заснеженном поле, окруженном со всех сторон молчаливыми лесами. Зачем они пришли сюда? Кто их звал?

Увлеченный своими мыслями, Артюхов не сразу заметил, что на поле они не одни. В стороне от дороги, по ту сторону, где было особенно много трупов, ходили какие-то люди. Они то и дело нагибались, переворачивали убитых, копались в их ранцах и полевых сумках. Среди них был один в краснодубленом полушубке. Никто из боевых командиров не осмелился бы надеть на себя такой полушубок — мишень на поле боя. Это мог быть только штабист. «Так это же Бордадын!» — догадался Василий.

— Пойдем,— Артюхов поспешил назад — к избам,

увлекая за собой Бутина.— А то вон Бордадын ходит. Увидит — влипнешь еще в историю.

Высокий боец в кургузом полушубке стоял на крылечке, ведущем в сенцы. В обеих руках у него — по котелку, доверху наполненному мороженой клюквой.

— Эй, друг! Где раздобыл? — окликнул его проходивший мимо связист с катушкой.

— А вон, в подклети! — пехотинец кивнул на дверь, ведущую в сенцы.

— Жаль, что котелок с собой не взяли.— Связист остановился, поджидая своего напарника, который шел следом, забрасывая рогатиной провод на плетни и деревья.

— Да ладно! — отмахнулся тот.

— Что «ладно»? Связь подождет. Вторые сутки впроголодь.— Связист бросил на снег катушку и проворно юркнул в сенцы.

Артюхов, не долго думая, шагнул следом за ним. Василий хорошо знал родные ему рязанские села. Там в сенцах он мог с закрытыми глазами найти все ходы и выходы. А в этих северных, новгородских селах — не дома, а корабли. В сенцах не повернешься от каких-то лесенок, перилец, сходней. Он постоял, приглядываясь, и в темноте увидел двух бойцов, выходивших с котелками из подклети. Избы в этих болотистых местах ставят высоко. Холодное помещение под избой зовется подклетью. Оконца в подклети маленькие. На зиму их закрывают плетенными из соломы матами. Но теперь в эту лихую годину хозяину не до оконцев было, и они остались открытыми. Сквозь заиндевевшие стекла неясно светило утреннее солнце. Остро пахло овчинами и квашеной капустой. Слева у двери был закром с картофелем. Белела деревянная переборка, покрытая плесенью. Прямо под окнами стояли три или четыре бочки с соленьями. Возле бочек толпились бойцы. Их было человек десять, а может, и больше: в темноте всех не видно. Одни черпали котелками клюкву, другие, сняв гнет и кружки, рылись в бочке с квашеной капустой. Толкаясь, бойцы перебегали от бочки к бочке, норовя наполнить котелки тем, чем хотелось. В темноте раздавалось пыхтенье, сдержанная ругань — кого-то, знать, отталкивали от бочки с клюквой, а тот сопротивлялся.

— Кореш! — Связист взял Артюхова за руку, потянул

в темный угол.— Гляди: грузди! Вот это закусочка к нар-комовскому пайку.

— Я те дам «кореш»! Это что вы тут делаете?! — крикнул Василий.

Но на его крик никто не обратил внимания. Бойцы продолжали греметь котелками возле бочек с клюквой. Связист, сунув в рот рыжий груздь, похрустывал им.

— Хорош! — Боец снова было просунулся к бочке, но Артюхов оттолкнул его.

Василий представил на миг, что шуруют в их, артюховском, погребе, и вышел из себя.

— Марш отсюда! — крикнул он и, видя, что ребята притихли, перестали шуровать, добавил спокойно: — Бутин! Очистить помещение!

— Есть очистить помещение! — с готовностью отозвался Бутин и скинул с плеча карабин.— А ну выходи!

— Подумаешь, нашел где выпендриваться! — сказал какой-то боец, неохотно направляясь к выходу; в руках он нес котелок с клюквой.— Во всем хуторе — ни души. Ни кошки даже! Люди все бросили.

— Вернитесь и высыпьте клюкву в бочку! — приказал Артюхов.

Боец остановился.

— В лес ушли, а раз с собой не взяли, значит, немцу оставили,— продолжал он, обращаясь к Артюхову.— Что ж, выходит, немцу можно, а нам нельзя?

— Молчать! — Не помня себя, Артюхов замахнулся ногой и со всего маху ударил валенком по котелку. Котелок стукнулся о высокий порог и, тупо позванивая, покатился в сенцы.

Давя ногами рассыпавшуюся клюкву, бойцы стремглав бросились к выходу.

— Кто там кричит, черт побери?! — Властный голос послышался сверху.

— Я!

— Выйди-ка, я погляжу на тебя!

Артюхов вышел из подклети и поглядел наверх. Наверху, на площадке перед дверью, стоял Бордадын. Полушубок небрежно наброшен на плечи, белоснежные валенки подвернуты.

— Артюхов? — Бордадын узнал Василия, хотя, кажется, после того злосчастного случая с Котком они близко ни разу не сталкивались.— Чего вы там воюете?

— Да вон славяне растаскивают грибы и клюкву. Я их шуганул.

— Дегустируют — не отравили ли немцы? — пошутил Бордадын. И к Василию: — Слушай, Артюхов, ты по-немецки чего-нибудь смыслишь?

— Немного смыслю. Учили дурака.

— Поднимитесь-ка!

Приглашение это не обещало ничего хорошего. Однако ослушаться нельзя было, и Василий, чертыхнувшись про себя, стал подниматься по лестнице. Лестница была крутая, но широкая, еловые ступешки выщерблены — видать, исхожены не одним поколением обитавших тут. «Надо же,— думал Артюхов, глядя на выщербленные ступеньки,— жили в лесной глуши люди, собирали бруснику и грузди, сеяли и рожь и лен, растили детей. Но пришли немцы и разом все порушили. Мужики бросили жилье, все, что было припасено на зиму, забрали с собой скотину, детей и немощных стариков и ушли в лес».

Бордадын поджидал. Артюхов козырнул, но уполномоченный не ответил — молча толкнул дверь. Василий вошел в избу. Он впервые был в северной избе и потому остановился на пороге, оглядываясь. На родине его избы убоги: низкие потолки, подслеповатые окна. «Тут тебе и ребята и телята»,— шутила, бывало, мать. Эта изба поражала простором и обилием света: не изба, а боярские хоромы. Все три окна выходили на улицу. Направо — огромная-преогромная печка с отдушинами для сушки обуви, с высокой заборкой; возле печи суетились бойцы: горел костерок в устье, шипела сковородка, пристроенная на таганце.

Обстановка избы отличалась простотой. Ничего, кроме икон, скамьи, лавки и стола. Но наиболее важной деталью быта был, конечно, стол: громоздкий, из добротных досок, он занимал весь угол до простенка. Видно, семья была большая. И теперь весь этот стол был завален сумками, письмами, записными книжками; бумаги ворохами валялись и на лавке, и на скамейке. Человек пять особистов, среди которых Артюхов заметил и сержанта Сизоненко, потрошили сумки, роясь в письмах.

— Это вы час назад бродили по полю? — Бордадын снял полушубок, бросил его на лавку.

— Да...— отвечал Артюхов не совсем уверенно.

— Простите, чем вы интересовались?

— Ничем особенным.— Артюхов глянул на топтав-

шегося в дверях Бутина.— Любовались работой Кузовлева.

Бордадын пристально поглядел на него.

— Вы не подбирали на поле писем или других документов?

— Зачем они нам нужны?

— Ну хорошо! — Бордадын повернулся к сержанту Сизоненко.— Разобрали?

— Да, товарищ капитан. Обнаружена карта, дневники, письма и вот — целая пачка офицерских карточек.

— А ну! — Капитан взял из рук сержанта карточки и стал перебирать их.— Вот видишь, лейтенант,— подружески обратился он к Артюхову,— готовились к войне на востоке, штудировали замысловатые японские иероглифы, а пришлось возиться с немецкими документами. Может, глянешь? Снимай полушубок, садись.

— С удовольствием! Но некогда: у нас свое задание. Комбат послал приглядеть избу. Ребятам отдохнуть надо.

— Ничего, ребята ваши успеют отдохнуть. Кузовлев туранул немцев до самой Ракони. А нам доложить надо. Вызвали переводчика из штаба дивизии, а он что-то подзадержался.— Бордадын перебирал карточки, разглядывая.— Ну, взгляни хоть на эту! Майор! — Он подал Василию небольшого формата книжицу.

— «Major Otto Müller, Batoillonskommandeur der 20. motorisierten Schützendivision der Wehrmacht»*,— прочитал вслух Артюхов.

— Солдаты тащили его на себе. Видимо, был ранен. Они положили его на шинель и волокли. До самой опушки леса донесли. Тут-то их и скосили наши автоматчики... А дивизия, какая дивизия?

Но Артюхов не успел ответить: над лесом послышался гул «юнкерсов». За два дня, проведенных на фронте, каждый уже имел достаточный опыт, чтобы отличить по гулу истребителя от бомбардировщика.

Василий рванулся к окну. «Юнкерсы» летели низко. Желание немцев отомстить за гибель батальона было столь велико, что они пренебрегли и снегопадом. Самолетов было немного, они летели не стороной, а точно на

---

* Майор Отто Мюллер, командир батальона 20-й мотострелковой дивизии вермахта.

хутор. Первая мысль: метнуться вниз, в подклеть: и все, кто был поближе к двери, в их числе и сержант Сизоненко, так и поступили.

Бойцы, хлопотавшие на кухне, юркнули в устье русской печи: головы спрятали, а ноги, вернее, валенки — торчали на загнетке. Печь в избе была огромная, как корабль. Целое отделение, поди, упрятать можно.

От самолета, летевшего низко над полем, отделились бомбы. Какую-то долю секунды они летели плашмя: одна, другая, третья... «Ложись!» — крикнул Артюхов и упал на пол — там, где стоял, у окна. Бордадын растянулся в ногах у Василия.

Высокий гул моторов стал на какое-то время неслышен. Вместо него, заглушая все другие звуки, выворачивая все внутри, усиливался и нарастал вой бомб. И вдруг пол под Артюховым пошатнулся, вздыбился. Дзинь! — полетели стекла. Снова тишина на миг; снова завыванье бомб и неторопливый, сухой стрекот пулеметов: кры-кры-кры... Шапку с головы Артюхова сорвало взрывной волной. Стукнулась об пол божница. Четко и дробно посыпались кирпичи печи, и кто-то неестественным, нечеловеческим голосом вскрикнул, словно задыхался от удушья. А бомбы все колотили по утробе земной: бум, бум, бум.

Потом все стихло.

Артюхов приподнял голову. Звенело в ушах, ничего не видно из-за пыли и дыма.

— Миша?!

— Живой! — Бутин зашевелился, но подниматься с пола не спешил.

В выбитые окна дуло, пыль быстро улеглась, и первое, что увидел Артюхов, была дыра в потолке — там, где стояла печка. В прорехе обвалившейся кровли виднелось серое небо. Сама печка осела, устья, возвышавшегося над полом на целый метр, не видно вовсе, а на полу валялись две пары рыжих солдатских валенок.

— Сизоненко! — крикнул, приподнявшись, Бордадын.— Документы! Подбирайте документы!

Сержант не отзывался.

Стряхнув с себя осколки стекла, Бутин встал и как-то странно уставился на Бордадына.

— Товарищ капитан, вы ранены?

И тут только Артюхов заметил на полу, где лежал Бордадын, черное пятно крови.

Капитан зажал ладонью щеку. Во всю щеку — маслянисто-липкий сгусток крови.

— Ах ты черт! — сокрушался Бутин.— Карабин с собой, а индивидуального пакета нет.

— У меня в кармане полушубка.

Полушубок Бордадына валялся у самого порога, полузасыпанный кирпичом.

Артюхов вынул свой пакет. Бутин начал бинтовать.

— Хоть что там такое? — Бордадын не охал, не скулил, только вбирал голову в плечи, когда было больно.

— Осколком оконного стекла. Ничего, ничего,— говорил Миша, бинтуя.— Тут близко наша санчасть.

— Какая санчасть?! Ерунда. Сизоненко! — вновь крикнул капитан.— Документы!

Бутин ловко перевязал капитана, и Артюхов стал собираться: надо улепетывать, пока снова не прилетели.

Лестницу разворотило взрывом; добрая половина ступенек повыскочила из пазов, но перила на месте. Бутин помог Артюхову спуститься вниз. Внизу, в подклети, где стояли бочки с соленьем, чернела воронка. Та сторона избы, что выходила во двор, осела, развороченная взрывом. Смрадно и сладковато пахло нитротолуолом, и весь снег во дворе был в красных пятнах: может, не от крови вовсе, может, повыбросило из бочек клюкву.

10

Входную дверь в сенцах сорвало с петель, и она валялась метрах в пяти от крыльца, под ракитой, на которую связисты забрасывали провод. Улица завалена обломками тесовой крыши, невесть откуда свалившимися бревнами. Под бревнами, припорошенные коричневой пылью, чернели трупы связистов; торчмя торчали катушки с синим, неестественно ярким проводом.

Артюхов глянул в сторону связистов: может, живы ребята? Постоял, прислушиваясь,— ни стона, ни зова о помощи. Где-то в другом конце улочки, у моста, послышался дробный перестук копыт. Василий обернулся: от мостка, вдоль изб, скакал сержант Глушков, связной командира батареи.

— Танки! — крикнул он.

Из-за корявых ракит, росших вдоль ручья, показалась

батарея. Впереди — комбат и политрук, каждый на своей верховой: капитан на Красавчике, а политрук — на пегой кобылке, которая не могла бежать рысью, а семенила только иноходью. Упряжки неслись налегке, споро — Артюхов и Бутин взмокли, пока догнали свой взвод. Глубокий снег мялся под ногами; пот катился по лбу и по спине.

«Фу-х! — отдувался Василий.— Подождали бы хоть немного, черти!» — Они, может, и не догнали бы вовсе своих, но тут, на самом горбу увала, случилась заминка. Дорога оказалась сплошь заваленной немецкими трупами. Лошади храпели, фыркали, шарахались в сторону, не хотели идти. Спешившись, ездовые тянули коренников под уздцы: «Но! Но!» Однако лошади упирались, били по рыхлому снегу копытами.

— Чего глядите?! Растаскивайте! — крикнул Сабиров и, оставив упряжку, принялся растаскивать трупы, освобождая дорогу.

На помощь ездовому поспешила прислуга других орудий. Трупы задубели на морозе, вмерзли в снег. Ребята выламывали их и, как ледышки, отбрасывали в сторону.

— Рысью! Чего застряли! — торопил комбат.

Упряжки вновь помчались.

— Илья! — окрикнул Артюхов Пеканова.— Много ль танков? Где они прорвались?

— А я откуда знаю?! — как всегда, мрачно отозвался Пеканов.— Прибежал связной от Кузовлева: спасайте, мол, танки! Ну, мы сорвались и поскакали.

«Ясно! Значит, проняло! — подумал Василий.— Отомстить вздумали. «Юнкерсы» прилетели в снегопад, а теперь и танки в дело пустили!»

— Ахмед, снарядов много у тебя? — спросил Василий, вскакивая на подножку зарядного ящика, где стоял командир первого орудия.

— Только в передке.

— Мало!

— Что? — не расслышал Абдуллин.

— Мало, говорю!

Они миновали поляну и теперь ехали лесом, по узкому проселку, улучшенному грейдером. Коренники и уносные поводили потными боками. Прислуга облепила передки и зарядные ящики. Ребята держались за поручни, боясь свалиться под копыта скачущей следом упряжки, и с тре-

вогой посматривали вперед. В лесу осатанело трещали винтовочные выстрелы и глухо ухали взрывы мин... Храпели лошади, поглядывали с беспокойством по сторонам люди, и только лес стоял спокойный и безучастный ко всему. И, приглядываясь к мрачноватым елям и строгим в своей наготе березам, Артюхов вдруг подумал о том, что судьба занесла его в лесной край. Отныне эти рощи и болотистые перелески навсегда войдут в его жизнь. На родине Василия, вокруг Орловки, лесов почти совсем не осталось: степь до самого Дона да овраги. Хотя, если верить легендам, когда-то, лет триста назад, та сторона, между Доном и Окою, была лесная. Во времена Дмитрия Донского вблизи Орловки проходила «засечная черта». Русские воины рубили лес, делали из деревьев «засеки», и эти «засеки» сплошной высокой стеной простирались на сотни верст, мешая неожиданным набегам конницы хана Батыя. В старину русские воины понимали, что в борьбе с врагом на помощь надо призывать и матушку-природу.

— Отдохнули, называется! — вырвалось у Василия.— Он как долбанул — от избы пыль столбом. Бордадына ранило. А у вас в лесу никто не пострадал?

— Нэт. Он по хутору целил. Фриц хитрый: знал, что людям мал-мал отдохнуть захочется.

Лицо у Ахмеда задубело от мороза, на бровях и ресницах иней, в узких щелках глаз — ни испуга, ни оторопи. Казалось, он заранее знал о возможной встрече с танками, которых еще ни разу не видел, и теперь напрягал зрение. Батарея обогнала какой-то обоз — не то ротный, не то батальонный. Пять или шесть розвальней, уступив дорогу упряжкам, медленно тащились по обочине. Видимо, комбат уже сказал им о танках. Ездовые разобрали карабины с повозок, суетливо смурыгали затворами, проверяя, полны ли магазинные коробки.

— Впереди танки! Сворачивайте в лес! — кричали батарейцы, обгоняя обоз.

— Нэ пугайте мужиков,— успокаивал батарейцев Ахмед.— Наши в монастыре. Может, отобьются.

— В каком монастыре? — спросил Василий.

— Раконь называется.

— Все зависит от того, много ль танков.

— Вряд ли! — отозвался Ахмед.— Немцы слишком завязли в Крестах. Все танки у них там.

Лес отступил — из-за сизого частокола мелколесья

завиднелась деревушка. Батарея растянулась во всю длину улочки. Куры, напуганные тарахтеньем орудийных колес, кудахтая, перебегали дорогу перед скачущими на рысях упряжками. Где-то на задворках лаяли собаки. Мрачные избы, покинутые обитателями, исподлобья поглядывали тусклыми стеклами окон: в этих местах не принято закрывать их ставнями. Раскачивались на ветру деревянные бадейки над высокими срубами колодцев.

Артюхову очень хотелось пить, и он поглядывал на долбленки, забитые снегом и наледью. Но комбат, маячивший впереди, все время привставал в седле, подавая знак подтянуться,— и Василий понял, что напиться не удастся.

На выезде из Заозерья небольшая группа бойцов суетилась на обочине дороги, устанавливая в кювете ручные пулеметы.

Поравнявшись с пехотинцами, капитан попридержал Красавчика, но не спешился.

— Где Кузовлев? — спросил он.

— Впереди,— отозвался один из бойцов.— Он и комроты как услыхали про танки, так побежали на выручку.

Артюхов узнал Васюрина.

Василий ужаснулся решимости бойцов и трагичности того, что тут может произойти, если батарея не успеет вовремя выдвинуться.

— Они прорвались? — продолжал расспрашивать комбат.

— Похоже,— осаживая сошки ручника в снег, рассказывал Васюрин.— Сыромятников со взводом сорокапяток укрылся в монастыре и отстреливается.

— А сколько тут до монастыря?

— Километра три, а может, и того нет.

— Быстро! Быстро! — Комбат вновь пришпорил Красавчика.

Из этого отрывочного разговора Артюхов понял, что немецкие танки смяли боевое охранение пехоты и прорвались в тыл. По четкому выговору «максимов» чувствовалось, что бой — невдалеке, за лесочком. Из осторожности комбату следовало бы выслать вперед взвод управления, а с орудиями повременить. Но капитан только пришпоривал Красавчика. Ошметья снега из-под копыт меринка взлетали вверх, осыпая скачущие следом упряжки.

Ездовые торопили, нахлестывали коренников: «Но, ходи! Быстро!»

Монастырь открылся неожиданно — не маковками золотых куполов, не ажурными арками звонниц, а старой, полуобвалившейся кирпичной стеной. В тени этой стены, на заснеженной поляне, высились нескладные коробки комбайнов, тракторы, сеялки, культиваторы.

Артюхов заулыбался даже, увидев колхозные машины: «А-а, вон какой монастырь — МТС!»

Из-за монастырских стен — с той, западной, стороны — выползал черный шлейф дыма: видно, горел подбитый немецкий танк. Четко, но не очень часто, стреляла сорокапятка: дзинь-дук! дзинь-дук! Знать, пушчонка-то одна осталась. В ответ на ее дзиньканье глухо ухали танковые выстрелы: будто кто-то колотушкой ударял по пустой бочке.

Комбат и политрук спешились. Глушков подхватил поводья их лошадей — и в лес, в укрытие. Батарейцы, словно по команде, соскочили с зарядных ящиков.

— С передков! — крикнул Артюхов.

Ездовые освободили упряжки; чехлы — долой, орудия — на руки и покатили. Батарейцы не прокатили пушки и полсотни метров, как увидели впереди, на опушке леса, группу пехотинцев, суетившихся пообочь от дороги. Бойцы долбили землю саперными лопатами. Одни долбили, а другие руками отбрасывали мерзлую землю на бруствер. В кюветах, с обеих сторон дороги, отрыты были неглубокие ячейки, и в них стояли «максимы». На бровках окопчиков, рядом с жестяными коробками для пулеметных лент, лежали связки ручных гранат. В этих неглубоких ямах, отрытых впопыхах, нельзя было ни встать во весь рост, чтобы бросить гранату незамеченным, ни укрыться, если наедет танк. В этих жалких окопчиках, а больше всего в связках гранат, стянутых накрепко полосами от распоротого вдоль брезентового поясного ремня, была какая-то мужественная обреченность, граничащая с отчаянием. У Артюхова мурашки побежали по телу, когда он увидел это.

— Батарейцы! — Из такого же окопчика, замаскированного лапником, навстречу комбату выскочил Кузовлев.— Лысенко! Черт ты рябой! Дай я тебя расцелую! Фу-у...— Он перевел дыхание.— Успели. Я говорил, что есть бог на земле.

— Вы чего тут, а не в монастыре?

— Мы опоздали. Они уже обложили монастырь.

— Пойдем побачимо! — сразу же внося уверенность этим своим «побачимо», сказал Лысенко.— Артюхов, Пеканов — за мной! Пушки — к бою!

Дорога круто сворачивала вправо, к монастырю. Они вышли на опушку, густо заросшую мелколесьем. Из-за кирпичной стены, обшарпанной и разрушенной во многих местах, выглядывали покосившиеся купола и пустые, без колоколов, звонницы. В отдалении от монастыря, посреди дороги, горел танк. А другой, скрываясь за багрово-черным шлейфом дыма, в упор стрелял и стрелял, долбил и долбил кирпичную стену, за которой скрывалась сорокапятка. Видимо, пушчонка эта подбила уже не одну машину, ибо три других танка, свернув с дороги, пахали снежную целину, обходя монастырь слева.

Артюхов впервые видел немецкие танки, и теперь какое-то странное, смешанное чувство овладело им. Было тут и восхищение силой, мощью траков, перепахивавших снег, и ужас перед надвигающейся опасностью.

— Утюги... как есть утюги! — Раздвинув руками метелки низкорослых берез, Кузовлев разглядывал танки. Полушубок на нем задубел, полы топорщились, рукава не гнулись, настывшие подошвы валенок скользили. Но он все равно не унывал, оставался подвижным и деятельным.— Эк незадача: саперов с нами нет. Сейчас прикопать бы на дороге десяток противотанковых мин — и порядок!

— Товарищ капитан! — окликнул Кузовлева Василий.— Надо завалы делать.

— Завалы?! Какие завалы?

— Ну, как в старину,— засеки. Навалять деревьев на дорогу...

Кузовлев сразу все понял.

— Пилы есть?

— Есть.

— Ребята! Тряпичников, Барсуков... Отторачивай пилы!

Кузовлев метнулся к орудиям. Следом за ним, загребая валенками рыхлый снег, пошел в глубину леса и комбат.

Батарейцы уже развернули орудия и сняли надульные чехлы. В лесу раздавался стук заступов: замковые и под-

носчики снарядов забивали в мерзлую землю опорные клинья. Вся остальная прислуга, подхватив передки, скатывала их с дороги: взвод Артюхова — влево, в ельник, а пекановцы — вправо, в редкий березнячок.

Барсуков и бывшие с ним автоматчики из группы перехвата отторочили от передков пилы — и пошла работа! Еще пять минут назад, когда Василий увидел их впервые, автоматчики — а их было десятка два, не менее,— казались жалкими, усталыми. Беспомощность перед надвигающейся бедой угнетала их. Теперь ребят нельзя было узнать. Пока батарейцы расчищали орудийные дворики и готовили снаряды, пехотинцы завалили дорогу березами и елями. На опушке леса, обращенной к монастырю, выросла баррикада шириной в полсотню метров: попробуй-ка пробейся сквозь нее даже на танке! Пулеметчики, укрывшись за этой зеленой стеной, налаживали свои «максимы», а автоматчики — налегке, где ползком, где мелкими перебежками — пробирались к одиноким елям, росшим вдоль опушки, и валили их. Впереди огневой вырастала засека — высокие пни, а между ними — еловые хлысты, каждый в два обхвата. Но главное — до предела увеличилась зона обстрела. Обзор был великолепный — даже без бинокля все хорошо видно.

Слева, где, обходя монастырь, целиной мчались три машины, оказалось болото. Траки гусениц пробуксовывали, подминая кусты и кочкарник. Почуяв это, головной танк развернулся и, забирая все время вправо, стал выбираться на дорогу. Он шел вдоль опушки, покачиваясь на кочках, и Василий, наблюдавший за ним, подумал, что самое время стрелять. Такого момента больше не будет. Это только на учениях так случается — когда макет тянут перед тобой на тросе. А здесь танк сам повернулся к орудию боком, и видны белые кресты на черной башне и огненные языки вспышек: танк строчил по опушке из пулемета.

— Ахмед! Готово?

— Сичас... Сичас...

За спиной — стук заступов, звон гильз, ударяемых о крышку передка. Миг, а как долго он длится!

— Неужели одни танки, без автоматчиков?

— Перехватили наши! Все-таки впереди два батальона,— отозвался Зотов; помогая ребятам, политрук топором подбивал клинья под сошники. «Вот чем хорош

наш политрук,— решил Артюхов,— он знает, когда словом помочь людям, а когда — делом».

— Отомстить за потерю батальона решили.

— Все проще, чем ты думаешь,— Николай разогнулся, смахнул пот с лица.— Немцы — аккуратисты. Видно, танкистам приказано пробить коридор, чтобы вывезти убитых. А может, их задача и того проще: отыскать и вывезти командира батальона. Они ведь считают его раненым.

Наконец командиры орудий доложили:

— Первое — готово!

— Второе — готово!

Артюхову положено было доложить капитану: «Первый взвод готов!» Но комбат находился по ту сторону дороги, со взводом Пеканова — времени для доклада не было. Василий сознавал, что теперь все зависит от него самого. Он стоял в стороне, неподалеку от первого орудия, от напряжения руки у него вспотели, в бинокль он неотрывно наблюдал за танками.

— По головной машине! — скомандовал Артюхов и обернулся назад, на прислугу.

Все были на местах: и командиры орудий, и наводчики, и заряжающие. Согбенные спины батарейцев парили, как парят бока загнанных в галопе коренников. «Ничего, пар костей не ломит!» — шуткой подбадривал себя Василий. Подбадривал, хотя сердце отчаянно стучало и руки дрожали — не от боязни за собственную жизнь, а от беззащитности всех — и ребят, и орудий, и ротного обоза, и Васюрина, и Бордадына с его бумагами — перед неумолимым движением этих чудищ с белыми крестами на башнях.

— Первое! — крикнул Артюхов, и в крике его послышалось батарейцам не отчаяние, а злоба.

Недолет.

— Второе!

Перелет.

— Взводом!

Василий, не отрываясь, смотрел в бинокль: где снаряды пашут снег? Снова — мимо! Головной танк, заметив, что он под прицельным огнем, резко развернулся — и в тот же миг: чух! — снаряд разорвался посреди завала. Артюхов невольно присел и, сплюнув от злости, закричал: «Первое! Первое!..» Теперь уже все три танка неслись на-

прямик, к опушке. А четвертый, покончив, видимо, с сорокапяткой, вынырнул из-за дымной завесы и, грохая на ходу из пушки, мчался по дороге, мимо монастырских стен. Стреляя взводом, Пеканов очень скоро взял его «в вилку», и как только он поравнялся с полем, на котором стояли комбайны, впереди что-то щелкнуло, потом грохнуло, и у всех на глазах танк завертелся волчком, разматывая гусеницу...

Пеканов перенес огонь на левую сторону опушки. Взвихряя снег, танки неслись на полной скорости. С ходу им стрелять тоже несподручно. Недолет... Перелет... Расстояние между танками и орудиями батареи сокращалось с каждым мгновением! Спешка, которой невольно поддаются люди поначалу, прошла. Орудие Ахмеда Абдуллина наконец пристрелялось к головному танку; раза два снаряды срикошетили от башни.

А Бутин все попусту пахал и пахал землю.

— Бутин! Безбородко! ... вашу мать! — заорал Артюхов.— Так вы разбросаете все снаряды! — Еще вчера, в бою под Покровским, Василий боялся подойти к орудию. «А, зачем, ребята лучше меня знают дело!» Сейчас вдруг в нем пробудилась уверенность: что, или он ни разу не лежал у панорамы?! Но, пожалуй, не это было главным. Главным было невесть откуда появившееся спокойствие. В другое время Артюхов сказал бы: дедовское спокойствие! Бывало, пожар на селе — полдеревни горит, а Игнат Михайлович схватит вилы: «Бог милостив!»

— Чего это у тебя руки дрожат?! — Василий подбежал к орудию, оттолкнул наводчика.— Иди, подавай снаряды...— Он снял с себя полушубок, бросил его на вытоптанный снег.— Все равно, братцы, бежать некуда. Так хоть умереть на мягком! — Бросил и тут же: — Заряжай! — А сам — в гимнастерке, без шапки и портупеи — прилип к панораме.

Глянул в прибор — только неба клок да белый-белый снег. Правую руку — на маховик: бель тотчас же исчезла и на ее место, заполняя весь квадрат выше и ниже перекрестья, выполз танк. Ни неба, ни снега, ни синей кромки леса за монастырем — только кресты на башне танка да живые траки гусениц. Траки словно губы невиданного чудища: подбирают с земли снег и, пережевав его, отбрасывают назад, туда, где за чудищем волочится сизый хвост выхлопных газов.

— Огонь! — крикнул Василий, и в тот же миг резиновый наглазник прицела — тирк! — больно ударил его по надбровью. А впереди: бум! чох... Промах! И снова: Досылай! — Снова руку — на маховик. Губы чудища жуют и жуют.— Огонь! — Голову назад, чтобы второй раз не ударило по надбровью, и снова: бум! — и искры в разные стороны. Но искры не из глаз, а там, впереди, у танка... Приподнявшись, Василий увидел, что башня у танка скособочилась.

— Накрылся! — воскликнул обрадованно политрук.

А у Артюхова — фиолетовые круги в глазах. Скособочившись, танк все еще продолжал стрелять. Р-р-аз! — мохнатая шапка завала взлетела кверху, и то ли сучья, то ли осколки застучали по щитку: чох, чох, чох. «Черта с два!» — думает про себя Василий, тыкаясь головой в подтаявший снег. Переждав минуту-другую, он снова поднимает голову. Он снова готов крикнуть: «Заряжай!», но вдруг видит: губы траков уже не жуют снег, а по закрылкам и по бокам башни нехотя разгорается пламя. По фиолетовому полю — назад к дальнему перелеску — бегут фиолетовые немцы.

Не осознав еще до конца случившегося, Артюхов сквозь шум в ушах слышит команду Кузовлева: «Тряпичников! Огонь!» Но пулемет Тряпичникова, спрятанный в завале, молчит. Какой-то другой «максим» застучал — немцы один за другим ткнулись в снег. Заглушая дробный перестук, бухали из орудий танки; с треском ломались деревья; дзинькали осколки; летели сверху сучья — и снова все уткнулись в землю.

Когда Артюхов пришел в себя, танки были уже на дороге. Они неслись с предельной скоростью и стреляли из пулеметов по опушке леса. Пеканов молчал. «Неужели все?.. Неужели накрыли?!» — На лбу у Василия выступила испарина. «Заряжай!» — крикнул он, но команды стрелять не давал, выжидая: переносить огонь на дорогу было поздно — надо разворачивать орудия и заново подбивать опорные клинья.

Двести метров до завала.

Сто...

И только тут немецкие танкисты разглядели «засеку». Дорогу преграждала стена поваленных деревьев. Немцы поняли: преодолеть ее с ходу не удастся. Танки сбросили скорость. Скрежетнув гусеницами, головной резко развер-

нулся, норовя съехать с дороги на опушку. В это время разом выстрелили оба орудия пекановского взвода. Что-то оглушительно треснуло; танк сполз в кювет и медленно повалился набок. Катки и правая гусеница, повисшие в воздухе, неестественно быстро вращались. Остервенело, не умолкая ни на миг, дундыкал пулемет — по стволам берез, по низкорослым елям, которые падали, подсеченные пулями.

— Ложись! — крикнул Артюхов.

Чох, чох, чох...— чокались пули по закрылкам щита. От орудийных колес и спиц — щепа в разные стороны. Вдруг раздался трескучий взрыв: один, другой — и разом все стихло. Когда Василий опасливо высунулся из-за щитка, то увидел, что танк, словно скорлупу грецкого ореха, раскололо надвое, и траки замерли, и пулемет молчал, лишь внутри танка, в обеих частях «скорлупы», разгоралось розоватое, в черных ободьях, пламя.

Уцелевшая машина, увидев это пламя, развернулась — и наутек.

Но тут вновь ожила сорокапятка, прятавшаяся в развалинах монастырских стен: дзинь-дук! дзинь-дук!

— Заряжай! — скомандовал Василий: теперь уже можно было стрелять не спеша, жалея каждый снаряд.

— Осколочных нет больше!..

— Отставить!..— Василий огляделся. Правый закрылок от щита отлетел; три или четыре спицы на колесе разнесло в щепу. Осколками ли? Пулеметной ли очередью?.. Далеко-далеко, за монастырем, ласково стрекотали «максимы»; копытили землю взрывы мин.

11

— Товарищ полковник, есть связь со штабом дивизии! — Телефонист передвинул громоздкую коробку аппарата и протянул трубку Сарычеву.

Полковник поднялся с табурета (он всегда вставал, когда говорил с генералом) и, взяв трубку, бросил отрывисто:

— Мне первого!

Телефонист штаба дивизии попросил подождать: первый занят. Сарычев раздраженно постучал по столу: гм, занят?! Ему казалось, что нынче — его день. Полку сопутствовал успех, которого он ждал, которого так хотел!

Вчера, после неудачи под Покровским, Сарычев не спешил докладывать генералу. Он тянул до последнего, пока из дивизии сами не запросили о потерях и о готовности полка к передислокации. Сегодня Сарычев оборвал все телефоны в штабе дивизии. Он докладывал уже не раз, уточняя все новые обстоятельства. На рассвете, сразу же как только было получено известие о разгроме немецкого батальона, он позвонил начальнику штаба. Комдив генерал Ряженцев отдыхал, и его решили не беспокоить. Часу в девятом Сарычев позвонил еще раз. К этому времени были уже уточнены потери немцев: батальон разгромлен наголову. Обнаружен труп командира батальона, майора Отто Мюллера, подобраны карты, захвачены большие трофеи. Такого успеха в эти дни не было ни у кого в дивизии, а может, и в армии. Генерал был очень обрадован и пожелал лично поздравить Кузовлева.

Тут же решено было КП полка подтянуть поближе к продвинувшимся батальонам, в дом лесника, на окраину хутора, и все утро ушло на переезд. Теперь же Сарычев звонил, можно сказать, по просьбе самого генерала: у него на КП находился герой дня — капитан Кузовлев.

Капитан, однако, нисколько не походил на героя. Кузовлев сидел на полу, прислонившись спиной к печке,— босой, без гимнастерки и поясного ремня. Волосы взъерошены, лицо — усталое, осунувшееся. Ночью, при переходе болота, капитан зачерпнул полные валенки воды; пока шел бой, они обледенели, и полушубок обледенел, а обсушиться было некогда. Разгромив немецкий батальон, Кузовлев с ходу овладел Заозерьем. Разрозненные группы немцев бежали в сторону монастыря. Кузовлев приказал Сыромятникову продолжать преследование, а сам с бойцами, бывшими с ним в засаде, остался в деревне. Ребята валились с ног, им нужен был отдых. Они заняли избу, растопили печь, поели в тепле, но обсушиться так и не успели. Прибежал запыхавшийся связной: танки! Оставив в Заозерье заслон, капитан бросился на выручку Сыромятникову... Едва пробились к монастырю, тут тебе новый приказ: командиру первого батальона явиться на КП полка.

И теперь Кузовлев, верный солдатской заповеди: из каждого положения умей извлекать выгоду — решил не терять время. Хоть обогреться, обсушиться, пока он в тепле. Дом лесника, где располагался КП, был новый, на

две половины, без подклети. Одну половину занимал штаб, а другую, с печкой в железном кожухе,— Сарычев. Печь была хорошо натоплена, и Кузовлев, сняв с себя свои немудреные доспехи, обвесил ими пузатый кожух со всех сторон. На табуретке, вплотную к топке, придвинуты валенки; на колпаках отдушин висели носки, портянки, гимнастерка; даже полушубок, задубевший на морозе, он пристроил поближе к печке и сидел, радуясь теплу и покою.

Капитан разомлел в тепле, прикорнул даже малость и, когда Сарычев застучал пальцем по столу, проснулся, зевнул в ладонь.

У Сарычева толпилось много народу. Входили и выходили штабисты — кто с докладом, кто за новым заданием. Но майор Проваторов и комиссар полка Чуев постоянно были тут: майор рассматривал немецкую карту, которую принес Бордадын, а комиссар только что вернулся с передовой, из батальона Сыромятникова, и, возбужденный, ходил из угла в угол, все никак не мог успокоиться.

— Удивительный наш народ! — заговорил Чуев, не обращаясь ни к кому в отдельности.— С кем бы я ни говорил, ни у кого из бойцов нет ненависти к немцам... К немцам, как таковым, как к нации. Все только об одном убиваются: о том, что оставили на поругание фашистам своих отцов, матерей, детей. Гитлеровцы дошли до глубины России, до самого сердца. И русский человек ожесточился.

— Да! — отозвался Сарычев.— Немцы никогда не доходили до Волхова. Даже в восемнадцатом году: голодные, разутые, мы не пустили их дальше Нарвы и Пскова.

— Если б только до Волхова! — подал голос молчавший все время Кузовлев.— Но они в Крестах. А за Крестами — Вологда.

— Читали сегодня сводку? — оторвавшись от своих дел, заговорил майор Проваторов.— Бои идут уже под Тулой.

— Вот-вот! — подхватил комиссар.— Под Каширой и Тулой... Значит, немцы дошли уже до древней «засечной черты». Пожалуй, даже татары не проникали так далеко.

— Кстати, товарищ комиссар...— Кузовлев пощупал подошвы валенок, от которых шел пар: не задымили ли? Нет, не задымили.— Хорошо, что вы вспомнили о «засеках»! Эти «засеки» спасли нас от танков.

— Как так? — Чуев от удивления перестал даже ходить взад-вперед.— А я думал, что вас спас Лысенко.

— Лысенко-то Лысенко. Все так. Но нашелся у него какой-то лейтенантик. Я помню его: когда ехали сюда, сдавал дежурство по эшелону. Мы суетимся на дороге, ячейки для пулеметов малыми саперными лопатками роем... А он сразу: «Вали лес!» Я не понял — зачем? А он: «Делай завал! Завал делай!» Пилы у батарейцев были. Навалили мы на дорогу елей, сосен. Перед их огневой — тоже. Танки подошли поближе — видят: а дорога-то завалена. Стоп! Только начали разворачиваться, проход в завалах искать, а батарейцы не растерялись: тут же расстреляли их в упор.

— Сколько было машин? — не отрываясь от трубки, спросил Сарычев.

— Пять.

— И сколько подбито?

— Четыре. Один танк ушел.

— Главное — как подбито! Почти без потерь. Находчивостью! Выдумкой! — подхватил Чуев: комиссар был чуточку романтик.— Как ты думаешь, майор,— обратился он к начштаба,— надо все это отметить в оперативке: о завалах. Лес! Лес! Лес! Мы воюем в лесу, и надо этот факт использовать.

Сарычев, прислушиваясь, не отзовется ли комдив, согласно кивал головой:

— Надо приказать начбою, чтобы в каждой роте обязательно были ручные пилы.

— И вообще, Федор,— задумчиво и тихо продолжал Чуев,— сегодняшний успех Кузовлева преподнес нам один очень важный урок...

— Какой?

— Надо не опекать командиров, а больше им доверять. Доверять и помогать.

Наконец штаб дивизии отозвался: видимо, спросили, кто на проводе?

— Сарычев! — бросил полковник зло. Разумеется, в дивизии у каждого был свой условный шифр для связи. Но, выйдя из себя, Сарычев, в нарушение всех правил конспирации, назвался своим именем. Он знал, что сегодня ему выговора не будет.

— Извините, что заставили вас ждать...— Сарычев по голосу узнал адъютанта генерала.— У нас тут со-

седи: совещаемся. Вот подходит первый. Передаю трубку.

— Федор?! — басом заговорил генерал Ряженцев; казалось, от этого сильного голоса мембрана не завибрировала, а попросту зашевелилась.— Извини, что заставил тебя ждать. Что нового?

— Немцы предприняли попытку контратаковать. Подбито четыре танка. Обнаружен труп командира батальона,— быстрым своим говорком докладывал Сарычев,— и при нем важные документы: карта, записная книжка, письма. Две недели назад майор еще разгуливал по Парижу.

— Новая дивизия?

— Да.

— Хорошо, мы уже направили к вам переводчика. Пусть он не спеша покопается в документах. Где твой герой? Давай его на провод!

— Иди! — Сарычев отстранился и, приподняв трубку над столом, держал ее, поджидая капитана.

Кузовлев поднялся с пола, шагнул было к столу, но потом, видно, передумал: неудобно как-то разговаривать с генералом босиком и без ремня. Вернулся к печке, надел гимнастерку, затянулся портупеей, сунул ноги в валенки.

— Слушаю, товарищ генерал! — сказал Кузовлев хрипловатым, простуженным голосом.

— Доложи! Доложи! — шепотом подсказывал Сарычев.

Докладывать по телефону — дело непривычное; Кузовлев коротко и сбивчиво рассказал о том, как все это произошло. Генерал слушал, то и дело повторяя: «Так, так, молодец!» Кузовлев немного знал своего генерала: бывалый вояка, красногвардеец, затем — ротный, водил в атаки солдат и против Деникина, и против Врангеля. Он был скуповат, не щедр на похвалу.

Когда Кузовлев окончил доклад, Ряженцев сказал:

— Ну что ж, майор Кузовлев! Поздравляю. Благодарю за храбрость и умелые действия. Я уже доложил командующему. Представим вас к высокой правительственной награде. Кого, по-вашему, следует отметить?

— Капитана Сыромятникова, старшего лейтенанта Барсукова, рядового Васюрина...— Кузовлев подумал, помялся, добавил тише: — И посмертно сержанта Тряпичникова.

— Посмертно? — переспросил генерал.

— Да. Сержант прикрывал фланги, когда немцы начали обходить нас. Стрелял до последнего патрона. И остался жив. А потом, при отражении танковой атаки, погиб.

— Понятно. Ну, мы этот вопрос еще подработаем! А теперь — до свидания! Передайте мою благодарность всему составу вашего батальона, майор!

В трубке что-то щелкнуло. И Кузовлев не сразу понял, что разговор окончен. Он еще некоторое время подержал трубку и, убедившись, что больше ничего не будет, передал ее Сарычеву.

— Поздравляю, майор! — Полковник потрепал Кузовлева по плечу.— Это дело надо обмыть. Как ты считаешь, комиссар?

— Я непьющий. Но я просто тронут. И от души поздравляю, Леша! — Чуев вышел из-за стола, обнял Кузовлева.— Только, чур, не зазнаваться!

12

Командование армии, действовавшей в районе Крестов, не сразу распознало тактику немецких войск. На первый взгляд, тактика эта не вязалась с логикой. Не заботясь о флангах, немецкие моторизованные части пробивали бреши в нашей обороне и рвались вперед, на восток. То, что не успевали автоматчики, довершали танки и бомбардировщики. Расчет немцев был прост: неожиданность и стремительность.

Однако их стремительности советские войска противопоставили тактику активной обороны. Наши части атаковали опорные пункты противника, причем удары всегда приходились по флангам. За две недели боев полк Сарычева, помимо Заозерья и Ракони, освободил еще ряд населенных пунктов. И хотя немцам, имевшим значительное преимущество в авиации и танках, удалось захватить Кресты, но развить наступление дальше, в глубь страны, они не смогли.

Коммуникации врага оказались очень растянутыми. Единственную шоссейную дорогу, ведущую от Волхова в Кресты, перемело сугробами; нарушилось снабжение города продовольствием и боеприпасами. Воспользовав-

шись этим, дивизия генерала Ряженцева, куда входил полк Сарычева, начала теснить подразделения немцев с юга, создавая угрозу окружения. Противник вынужден был перейти к обороне. Это дало возможность нашим частям пополниться свежими силами и привести себя в порядок.

В конце ноября наша армия предприняла попытку перейти в наступление на этом участке фронта. Однако все усилия полка Сарычева продвинуться вперед встречали упорное сопротивление немцев. Мало-помалу на фронте установилось затишье. И, как всегда, когда на фронте устанавливается затишье, в дело вступают разведчики. Каждая из противоборствующих сторон стремилась узнать друг о друге как можно больше.

...Он стоял у обочины дороги, посреди молодого березнячка. На нем была мышиного цвета шинель — длинная, с обтрепанными полами и с широкими карманами, которые почему-то свисали наперед; на голове — пилотка с алюминиевой, как и пуговицы на шинели, кокардой. Пилотка тоже диковинная — суконная и с наушниками, которые были опущены. Грубые сапоги с толстой подошвой. У сапог широкие, но короткие голенища и тупые носы.

Немец плечист и высок — истинный ариец. Черный и отчужденный, он стоял на опушке леса среди ослепительного блеска снегов и белоствольных берез. Разведчики в белых маскхалатах посбрасывали лыжи и устало прислонились к стволам деревьев.

Батарейцы обступили пленного; глядели на него, как на чудо. Немец тоже поглядывал на советских бойцов. Руки у него были связаны за спиной поясным ремнем. Переминаясь с ноги на ногу, пленный поеживался и шевелил покрасневшими от холода пальцами.

— Развяжите ему руки. Теперь не убежит! — сказал Малахов. Разведчики вышли рано утром в район батарейного НП. Они с трудом тащили самодельные санки, на которых лежал немец. Иван знал, что ребята не зря мучились — в штабе «языка» ждут — и, оставив за себя Чихачева, сам вызвался помочь выбившимся из сил разведчикам. Малахов спихнул немца с санок, да как тут ранул его — тот с испугу сам побежал. Вот почему Иван считал возможным давать совет: — Развяжите. Куда ему бежать?

— Ничего, пусть привыкает,— неохотно отозвался сержант, командир группы разведчиков.— Связь с КП полка у вас есть?

— Есть.

— Можно я позвоню? Фу! Уморились с этим боровом. Если хотят иметь «языка», пусть присылают за ним машину. Больше мы его тащить на себе не намерены.

Малахов попросил Абдуллина проводить разведчиков к землянке комбата. Ахмед сказал: «Есть!», козырнул и первым пошел вдоль опушки.

— Может, у вас и кухня рядом? — спросил сержант, глянув на Малахова усталыми, провалившимися от недосыпания глазами.— Двое суток грызем одни сухари. Животы бы погреть.

— Водки нет, а каша найдется!

— Наша водка не пропадет. Пошли, ребята! — Сержант взмахнул автоматом; ложа и ствол его ППД были обмотаны бинтами.

Один из разведчиков — неказистый с виду, в потертом полушубке с подвернутыми рукавами, подошел к немцу, толкнул его в спину дулом автомата:

— Комм!

Немец повернул голову, но с места не двинулся. Он, конечно, понимал, чего от него хотели, но, проявляя упрямство, делал вид, что не понимает команды.

— Пошел, Ганс! — не очень злобиво, но настойчиво повторил разведчик.

Немец пошел. Идти так, с заломленными назад руками, было неудобно. Рыхлый снег проваливался под ногами, сыпался за голенища сапог. Однако пленный не обращал на это внимания. Он шел, стараясь ступать в след, проложенный Ахмедом, и, все так же поеживаясь от холода, поводил плечами. За ним, стороной, проламывая наст, спешили батарейцы. Они впервые видели живого фашиста, и теперь каждый из них старался разглядеть его получше.

— Одежонка-то на нем так себе, не по сезону,— заметил Бутин.

— Нашел кого жалеть! — зло огрызнулся Максимов.— Он небось сала вдоволь жрет. Видишь, морда-то какая: зараз не о...!

Эта злость, а главное, нецензурное слово, оброненное Максимовым, покоробили Малахова, но он промолчал.

Пряди волос у немца выбились из-под пилотки на лоб; светло-голубые глаза посажены узко. Лицо его казалось суровым и жестоким. «Да, если такой затащит бабу в сарай, то ей от него не вывернуться!» — подумал Иван, вспомнив заметку в газете, которую читал в вагоне Тябликов, и от одной лишь мысли об этом на щеках у него заходили желваки.

Они прошли вдоль опушки леса. Светлый березнячок остался позади. Лес потемнел: в стороне от дороги, на пригорке, росли низкорослые елочки. Тут, в ельнике, рядком стояли орудия полковой батареи. Пушки спрятаны в капонирах. В этих болотистых местах пушку в землю не укроешь: под снегом болото и вода. Артиллеристы сколачивали из березовых кругляков срубы, подсыпали к нижним венцам снег; укрытие получалось не очень надежное, но от пуль и осколков защищало. Перед каждым орудием на поляне были натыканы в снег елочки, которые при команде «К бою!» убирались. Сегодня еще не стреляли, орудия в капонирах были прикрыты лапником, из-под хвойных веток торчали брезентовые надульные чехлы.

Ахмед, не доходя до артиллерийского дворика, свернул в глубь леса.

Шагая за ним след в след, немец покосился на орудия, засмотревшись, споткнулся.

— Топай себе! Нечего зекать по сторонам! — прикрикнул на него разведчик, шедший позади. Это был щуплый с виду парень. Короткие ноги в серых валенках едва виднелись из-под полушубка. Но он шагал так споро, что Малахов едва успевал за ним.

В стороне от орудий, в березнячке с невысоким еловым подлеском, прятались землянки артиллеристов. Блиндажей не видно было — лишь выступали снеговые шапки поверх накатника. Глядя на них, можно было подумать, что это не землянки, а кучка валежника: прореживали осенью лес и оставили на зиму хворост, сложив его поближе к деревьям, и теперь его припорошило снегом, и лежать ему тут до весны! Ни коновязей, ни дыма из труб. Лишь тропинки, протоптанные в глубоком снегу, выдавали присутствие людей.

Шагая за Ахмедом, сержант-разведчик свернул на одну из этих тропинок; свернул и немец. Возле землянки комбата на посту стоял Сабиров. Увидев немца, он опешил

от неожиданности, выставил вперед карабин. Но тут же смутился, опустил оружие.

Ахмед приподнял брезентовый полог, закрывавший вход в землянку, и, пропустив вперед разведчика, прошел за ним следом.

Все, кроме них, остались наверху. Возле землянки комбата валялись ящики из-под снарядов. Связной капитана Лысенко, сержант Глушков, разбивал ящики и топил ими печку. Ящики сколочены были из сухих еловых досок, горевших, как порох. Разбивать и жечь их запрещалось. Но от еловых досок было много углей, и дух сухой, хороший, и сержант, в отсутствие капитана, успевал-таки расколотить два-три ящика. Аккуратные полешки он уносил в землянку и складывал их штабелем в углу за печкой. Комбат час назад уехал на КП полка. Воспользовавшись этим, Глушков принес ящики с огневой, но разбить их еще не успел. Теперь оба разведчика устало присели на ящики, а немец стоял рядом. Он с отчужденным выражением поглядывал на батарейцев, глазевших на него.

— Жирный гад! — Максимов продвинулся поближе к немцу.— Тьфу, фашист! — сержант толкнул его дулом карабина.— Так бы и разрядил всю обойму!

— Ишь какой прыткий! — Раздобудь, приведи, тогда и делай с ним что хочешь.— Разведчик сидел на ящике, устало расставив ноги. Меж колен стоял ППД, как и у сержанта, обмотанный бинтами.— Вот машина! — Он достал из-за спины немецкий автомат с вынутой кассетой и стал его рассматривать.— Сколько он из него нашего брата покосил? А?

Увидев свой «шмайссер» в руках разведчика, пленный шагнул вперед и сказал что-то гортанным голосом. Слов его Малахов не понял — немец выдавил их сквозь зубы:

— Tut mir leid, daß ich nicht mehr von euch umgelegt habe*.

— Ну-ну! — осадил его разведчик.

Немец словно очнулся, поняв свое положение. Он остановился и, вобрав голову в плечи, потупился.

— Подарок командиру роты,— сказал боец, указывая на автомат.— Мне он ни к чему: патронов ихних мало. А командиру шик важен.— И, усевшись поудобнее, разведчик принялся свертывать самокрутку.

---

* Очень жаль, что я вас мало пострелял (*нем.*).

— Нацист небось? — спросил Иван.

— А то как же? Они все нацисты...— сказал другой разведчик, тот, что сидел спиной к ребятам. Боец распахнул полушубок, порылся в нагрудном кармане и достал какую-то книжицу, завернутую в бумагу. Он долго шуршал, разворачивая прозрачную обертку, и наконец подал книжицу Малахову.

— Вот поглядите: член нацистской партии с тридцать восьмого года.

Иван взял книжицу, и руки у него дрогнули. Никогда он не думал, что ему придется держать билет члена нацистской партии. Бойцы со всех сторон подступили к младшему лейтенанту. Они заглядывали через спину, толкали его, хотя руки у Малахова и без этого дрожали. Иван видел лишь два пятна: черную фашистскую свастику и портрет. На снимке — юношеское лицо: округлая мордочка с едва пробивающимся пушком, узко посаженные глаза; тонкая шея свободно болтается в вороте френча.

«Ганс Риттер» — значилось на карточке. Малахов пристально взглянул на пленного. Взоры их встретились. Юркие, бегающие глаза немца со злобой поглядывали на Ивана. У пленного были синие прыщи на лице, которые пробивались даже через щетину.

— Выходит, он уже тогда был солдатом?

— Да. Теперь — унтер.

— Опытный вояка,— сказал Иван, возвращая книжицу разведчику.

— Сержант, разреши глянуть! Покажи-ка, друг! — загалдели батарейцы. Но разведчик был неумолим.

— Чего глядеть? — сказал он, словно не батарейцев уговаривал, а самого себя.— Не беспокойтесь, поглядят, где надо.— Боец снова расправил целлофан на коленях и не спеша, с той же аккуратностью, с какой разворачивал книжицу, стал завертывать ее.— Опытный бандит,— продолжал он.— Брал Варшаву и Париж. В Африке воевал. Награжден Железным крестом. Если, конечно, верить фотографиям.

Завернув книжицу, он сунул ее в нагрудный карман гимнастерки, застегнул пуговицу и передвинул наперед сумку, висевшую сбоку. Обычно в таких холщовых сумках автоматчики носят запасные диски. Но разведчик вынул из нее какую-то коробку с застежкой-«молнией» посредине. Оказалось, что это несессер. Боец раскрыл его, из

коробочки на снег выпала зубная щетка с розовой ручкой. Он поднял щетку, подул на нее, отряхивая снег, и положил на место. Порывшись в коробочке, разведчик вынул фотографию и протянул ее Малахову:

— Полюбуйтесь!

Края фотографии помяты: видно, унтер носил ее с собой давно. На снимке — автомашина посреди площади; в кузове трое молодчиков в немецкой форме сидят обнявшись — смеющиеся, довольные. Автоматы болтаются за плечами, каски сдвинуты на затылок, воротники расстегнуты, лица потны и лоснятся. Приглядевшись, Иван узнал унтера: тот сидел посредине, положив руки на плечи солдатам. Вся площадь запружена автомашинами, и в кузовах — немецкие солдаты в таких же рогатых касках. И там, где кончалась колонна машин, в туманной дымке высилась ажурная стрела Эйфелевой башни.

Малахов, разумеется, не был в Париже, и если бы немцы сфотографировались в каком-нибудь другом месте французской столицы, скажем, перед зданием ратуши или на площади Бастилии, то даже и не узнал бы, что это Париж. Но редкий человек на свете не знает Эйфелевой башни.

— Разрешите глянуть, товарищ лейтенант! — Максимов выхватил снимок из рук командира взвода.— Смеются, довольны.

— Ну как же: победители!

— Пьяные.

Разведчик доставал из несессера все новые и новые снимки и подавал их Малахову. Тот же прыщавый унтер, но уже с Железным крестом на груди; вот он — подвыпивший, развалился на диване, китель расстегнут на все пуговицы, и видна нижняя рубашка и полосатые подтяжки. На коленях у него белобрысая девица с ярко накрашенными губами. Одной рукой она обняла унтера, а в другой держит рюмку с вином.

— Небось француженка.

— Повеселились они в этом Париже...

Немец видел, что русские копаются в несессере, что-то говорят и смеются. Но он был безучастен ко всему... Он стоял в окружении батарейцев и смотрел куда-то в сторону. Там, куда он смотрел, был лес. Белоствольные березы росли кучно, по три-четыре от одного корня, а меж ними — лапистые ели, тоже белые от снега. Но дальше, в глубине

леса, ничего не было видно: мрачные черные стволы стояли так часто, что казалось, светлая поляна эта окружена частоколом.

— Что приуныл? — сказал Малахов.— Это тебе не Париж...

— Как же вы его взяли? — спросил Бутин разведчика.

— Взяли-то? — подхватил боец и заулыбался большим ртом.— Нельзя рассказать даже: не поверите.

Другой разведчик поднялся с ящика и, подойдя к батарейцам, стал показывать им открытки. Ребята сгрудились возле него, рассматривали и хохотали. «Небось порнографические»,— решил Малахов: похабные картинки находили почти у каждого убитого немца.

— Из-за своей немецкой аккуратности попался! — продолжал боец.— Мы его в отхожем месте взяли.

— Где-где? — Бутин рассмеялся.

— В отхожем месте.— Разведчик спрятал трофейный автомат за спину, уселся поудобнее.— Один мужик — из тех, что живут в лесу,— продолжал он,— указал нам овражек. Этим овражком мы ночью пробрались к немцам в тыл. До самого Заполья дошли — ни одного немца. А в Заполье видим: ночлежка. Немцы культурно воюют — не то что наш брат. Днем — все на передовой, в деле. Ночью — выставят заслон, а сами в тепло, в деревню... Подкрались мы к околице, замаскировались на опушке, наблюдаем. Заприметили сарай на отшибе от домов, на задах. Заметили, что немцы туда зачем-то ходят: то один, то другой. Сержант наш и говорит мне: «Сходи-ка, Петро, разведай!» Ну пошел я. Подобрался к плетню, через какое-то время слышу скрип снега — идут двое. Зашли в сарай, побыли там и вышли. Только они скрылись в избе — я в сарай. Приоткрыл дверь, посветил фонариком и сразу понял, зачем сюда немцы ходят... Ползу обратно, докладываю сержанту. Решили действовать. Мы с сержантом зашли в сарай, а Славка залег у плетня. До избы — метров семьдесят. Машины вдоль улицы стоят, значит, и часовые есть. Спрятались мы в сарае за снопами льна, сидим. Сколько времени прошло — не могу сказать. Вдруг слышим — шаги. Все ближе и ближе. Один идет, не спеша, как хозяин. Вошел. Посветил фонариком. Ничего подозрительного. Автомат у притвора оставил. Поднялся на помост, стал снимать брюки... Мы заранее с сержантом договорились, что с дерьмом брать не будем, пусть опорож-

нится. Ну сделал, значит, немец свое дело. Только стал натягивать обратно штаны, а мы — хоп! Навалились, сержант рукавицу ему в рот. Руки скрутили и поволокли.

— Молодцы! — восторгались батарейцы.— Чистая работа. Не сопротивлялся?

— Струсил! Старый вояка, унтер, а сдрейфил. У него граната была в сапоге, да чеку вынуть побоялся. В лесу опомнился и давай нас мучить. Никак идти не хочет. И так и сяк мы с ним. Здоровяк, боров. Пришлось из двух лыж сани мастерить. Так и везли всю дорогу на самодельных салазках.

— Санько! — послышался голос сержанта от землянки.— Каша горячая. Идите поешьте.

Разведчик отобрал у ребят открытки. Сунул их в карман полушубка. Встал и боец, который рассказывал про то, как они взяли «языка». Они побежали и тотчас же скрылись в землянке.

— Ну что, дозвонились? — спросил Малахов у сержанта.

— Да. Сейчас будет машина. Сам майор Воеводин приедет. Поджидал нас.

— О! — удивился Иван — майор Воеводин был начальником разведки.— Чего он так спешит?

— Не терпится. Ведь первый «язык»-то.

— А ну как «язык» да не заговорит?

— Заговорит! — уверенно отозвался сержант; он был щупленький, остроносый, на вид ему нельзя было дать и двадцати лет. Сержант отогрелся в землянке, лицо его порозовело: видать, Тябликов плеснул-таки ему из фляги, которую прятал от ребят.

— А много ли он знает?

— Много не много, а что-нибудь да знает. Наши хотят зажать немцев. Вот так! — Сержант сжал кулак, поясняя, что наши хотят окружить всю группировку в Крестах.— Для этого надо все хорошенько разузнать. А унтер этот служил в штабе полка. Он кое-что знает.

От опушки рощицы, где стояли орудия, спешил Артюхов. Василий с утра пропадал на огневой. Пришли ребята из артмастерских, и он вместе с ними возился со вторым орудием, пострадавшим в бою с танками. Спицы, расщепленные пулями, решили не менять, а лишь усилить их, оковав железом. Пришлось снимать колесо. Пока возились с колесом, старший мастер обнаружил пулевые вмятины

на откатнике. Начали выправлять, потом зачищать, так и убили все утро.

Подойдя, Артюхов долго-долго разглядывал немца: значит, вот он какой — сегодняшний его враг!

— Мы вчера вечером стреляли,— сказал Артюхов.— Не вам ли проделывали ворота?

— Нет, мы переходили у соседа. В лесу, в глухом овраге, живут мужики и бабы из Заозерья. Они помогли нам пройти в тыл немцев без боя. Командир роты поджидает нас там, а мы вышли здесь, у вас. А-а, идут...

По направлению к батарее от дороги спешила группа командиров. Впереди шагал майор Воеводин; Артюхову приходилось с ним сталкиваться по делу Котка. Рослый, сухопарый майор обычно сдержан и несуетлив. Но на этот раз он спешил.

Сержант крикнул Сабирову, чтобы часовой позвал разведчиков из землянки. Бойцы тотчас же вышли. И как только майор приблизился, сержант доложил ему о выполнении задания.

— Молодцы! — Он похлопал по плечу сержанта, потом не сдержался и обнял.— Карта при нем была?

— Нет, товарищ майор.

— Ладно! Ведите его к машине.

— Ну, комм, Ганс! — сказал сержант довольно миролюбиво, за ночь они привыкли к нему.

Немец, однако, не пошевелился.

— Komm mit schnell*,— прикрикнул на него один из командиров, пришедших вместе с майором, чернявый и узколицый, видимо, переводчик.

— Nein! Nein!** — воскликнул немец. Он сразу же догадался, что узколицый знает его родной язык, и заговорил быстро, громко, отрывочно: — Ich gehe nicht. Ihr könnt mich erschießen, ich sage euch nichts. Hitler hat versprochen, jeder in Rußland gefallene Soldat bekommt ein Denkma gesetzt!

— Что он сказал? — спросил майор у переводчика.

— Он сказал, что никуда отсюда не пойдет, и просил расстрелять его тут: он все равно ничего не расскажет. Он сказал, что каждому немецкому солдату, погибшему в России, Гитлер обещал поставить бронзовый памятник.

* Иди, да побыстрей (нем.).
** Нет! Нет! (нем.)

— Слишком много бронзы надо,— не то шуткой, не то всерьез отозвался майор.— Осиновый крест всем вам — заодно с вашим Гитлером. Скажи ему.

13

Никто из бойцов не знал (и батарейцы тоже), какие сведения сообщил пленный унтер. Но каждый, начиная с комбата и кончая ездовым, чувствовал: наши что-то разведали. По приказу командования в войсках тайно совершались важные перемены. Судя по всему, велась подготовка к наступлению. Догадаться об этом было нетрудно: началось передвижение войск. Одни части забирали влево, другие — вправо. А с передвижением, как всегда, связаны неприятности. Прощайте, обжитые землянки, привычные тропки, пристрелянные реперы! Снова орудия на передки, батарейное хозяйство в обоз — и в путь.

Двигались только ночью по глухим лесным просекам. Снова лес наполнился стуком орудийных колес, лошадиным храпом, треском ломаемых деревьев, скрежетом санных полозьев. Изредка отсвет костра или притушенные фары автомашины высветят стволы сосен, купы черного ольшаника — и снова темень, стук колес, скрежет полозьев да приглушенные окрики командиров и старшин: «Р-р-а-аз-два, взяли!» Это впереди колонны шоферы и подоспевшие пехотинцы вытаскивают из колдобины застрявшую автомашину.

И так три ночи кряду: лес, просеки, сонные хутора и эти истошные крики: «Раз-два, взяли!»

За две ночи дивизия генерала Ряженцева прошла немалый путь. Ее вертели так и этак, и к середине третьей ночи она оказалась выдвинутой на самый ответственный участок, на подступы к Крестам. Батальоны, как всегда, прошли вперед на исходный рубеж, а батарея остановилась на хуторе, километрах в трех от передовой.

Было далеко за полночь. Никто толком не знал: предстояло ли утром выдвижение для стрельбы прямой наводкой, или они так и останутся здесь, на хуторе. Все чертовски устали. Однако комбат сам произвел рекогносцировку и указал, где расположить орудия.

Хутор стоял высоко, на крутом берегу реки. Судя по

всему, освобожден он совсем недавно. Вдоль косогора, избороздив его черным шрамом, виднелись окопы; в стороне от мостка через реку валялись обгоревшие остовы немецких автомашин.

Немцы сожгли хутор. Из построек уцелели лишь банька — внизу, у реки, да два дощатых сарая на горе. Батарейцы оттянули орудия в сторонку — под корявые, заснеженные сосны. Изготавливать к бою не стали: только сняли пушки с передков, закрепили кое-как сошники, и Артюхов пошел к притулившимся на горке сараям устраивать лошадей. Василий всегда сам устраивал лошадей на ночь. Он не заснет, пока не убедится, что коренники и пристяжные накормлены, напоены и в безопасности.

«Это у меня от деда — жалость к ним такая,— думал Артюхов.— Дед, бывало, за ночь-то раза три сходит в котух, все беспокоится, проверяет — есть ли у кобылки в яслях корм, не загажена ли подстилка». Старик старался передать эту любовь и внукам. Василий еще мальчонкой начал водить кобылку к колодцу на водопой, ездил в ночное, бороновал зябь. Артюхов знал, что и здесь, на фронте, лошадь — это все. Что ни день, то бомбежка да артналет. Не будешь укрывать и жалеть лошадей, очень скоро останешься без тяги. На себе пушки далеко не увезешь.

Ворота сарая, куда заводили лошадей, большие, на две створки. Одна из створок сорвана, и под навесом навьюжило. Василий посветил «жучком». Вдоль стен стояли мялки. В проходах между ними, на земляном полу, валялись снопы льна; все дальние углы сарая завалены кучами тресты.

Ездовые убирали с дороги мялки; заводили лошадей. Коренники фыркали и мотали головами; першило от пыли, поднимаемой копытами.

Тябликов привез сена. Ребята растащили воз, задали корм лошадям, а сами облепили розвальни и уехали со старшиной в баньку на ночлег. Безответный Сабиров вызвался покараулить лошадей. Проверив, все ли коренники привязаны, Василий тоже побрел вниз. Над черным частоколом леса висела луна с окалиной по краям, как стреляная гильза. Высились остовы печных труб на месте сгоревших изб. Тени от деревьев, уцелевших в палисадниках, исчертили снег, словно кто-то исполосовал его колесами. У мостка через реку стоял человек. Артюхов подумал, часовой.

— Лейтенант!

— Паня?! — Василий приостановился.

— Да.— Она стояла у перилец, зябко пряча руки в карманы полушубка.

— Ты чего тут?

— Да так.— И то, как Паня замялась и посмотрела на него, объяснило Артюхову больше, чем слова: он понял, что она ждала его. Они не виделись все эти дни. У санроты — свой обоз: палатки, носилки, санки для вывозки раненых с поля боя. Каждый санинструктор имеет свои обязанности, и на марше чаще всего Паня бывает с ротой.

— Давно ждешь? Замерзла? — Василий полушутливо-полусерьезно обнял Паню. Хотел поцеловать, но она увернулась, он чмокнул ее в щеку. Щека была холодная.— Дай-ка я тебя погрею! — Он подхватил ее на руки и закружился вместе с нею. Паня ойкнула, обняла его за шею.

— Ребята укладываются. Я вышла, чтобы не стеснять их,— сказала она, как только он опустил ее на землю.

— Пусть укладываются! А мне что-то и спать не хочется. Ты посмотри, какая ночь!

— Да, ночь чудная,— согласилась Паня.

Они постояли у мосточка. Идти было некуда. В рощице, которая вплотную подступала к баньке,— орудия, и там — часовой; сараи, где Артюхов только что спрятал коренников, сторожат ездовые; куда ни шагни, всюду обозы, пушки, зенитные установки. Но они не могли расстаться, не поговорив,— просто у них потребность была такая: побыть вместе. И они постояли тут, возле мостка.

— Такие вот зимние ночи мне напоминают родную деревню,— заговорил Василий.— В эту пору на селе посиделки. Помню, старший брат, Андрей, влюблен был в Маруську Хитрову. Учились когда-то вместе. Андрей — студент, в Михайлове, в педучилище, а Маша застряла в деревне, невестилась. Бывало, приедет Андрей на зимние каникулы — и все ночи напролет гуляет с этой Машкой. Я подростком был. Мне любопытно, где он пропадает? Вечером поужинаем, Андрей чуб свой гребешком расчешет — в пальто, в штиблетах — форсистый наш старшой, быстро городскую манеру усвоил. Оделся — и на село, на посиделки. Только хлопнула щеколда в сенцах, я пальтишко на плечи, шапку в охапку — и за ним следом...

Обычно Артюхов не любил рассказывать про свое дет-

ство. Но когда он с Паней, его словно бы прорывает: так говорил бы и говорил.

— Посиделки устраивают у какой-нибудь одинокой молодки. В избе — полным-полно. Больше всего нас, подростков. Парни постарше, вроде Андрея, сидят за столом, играют в карты; кто-то пляшет под гармошку. Но вот часу в одиннадцатом хозяйка выпроваживает из избы лишних. Остаются парочки. Нас, понятно, любопытство разбирает: как они там женихаются? Заберемся на завалинку, прилипнем к окнам, смотрим. Вот хозяйка выставляет сбитень — сладость такая, вроде халвы, только из толченного в ступе пшена. Когда сбитень, а когда и самогону бутылку. Ну, выпили — и снова пляски, игры. За полночь — начинают расходиться. Мы, подростки,— врассыпную от окон. Спрячемся: кто под розвальни, кто за угол — и ждем. Наконец появляются Андрей и Маша. Я знаю: Маша живет на самой дальней улице села — на Выглядовке. Андрей будет ее провожать. Вдоль села они идут — все равно как с собрания: каждый сам по себе. Андрей не поцелует ее, не возьмет под ручку. Возле Маруськиного дома, если ночь лунная, как вот теперь, они станут в укромный уголок, в тень, и стоят, разговаривают. Веришь ли — часами простаивали! Бывали случаи, когда подметки ботинок у Андрея примерзали, а он все стоит и стоит.

— Как бы и ты не примерз! — шутливо заметила Паня и первой пошла от мостка к баньке.— Что ж, так и не женился брат?

— Нет. Думал: получит диплом, вернется в Орловку, будет учительствовать... А вышло по-иному. Только он окончил педучилище — освободительный поход в Западную Украину. Потом — война с белофиннами. А тут и вот эта, как говорит мать, планида подоспела.

— И где он теперь?

— В августе был под Ржевом.

Тропинка к баньке, протоптанная ребятами, узкая, идти неудобно, и Паня, чтобы не прерывать разговора, то и дело оборачивалась. Василий видел ее лицо — брови и ресницы, опушенные инеем,— и ему стоило огромного напряжения сдержаться, чтобы не подхватить ее снова на руки.

Подмораживало. Мороз забирался не только под полушубок, но и под кору деревьев: в сосновом бору, где

стояли орудия, то и дело потрескивало, будто кто-то тесаком колол сухую колоду.

— Да, детство! — вдруг подхватила Паня.— Как вчера все это было! Озера — большой поселок, и районный центр, и железнодорожный узел, а вообще-то деревня. Зимой снегу на улицах — ни пройти, ни проехать. Жили мы тут же, при больнице. Больница старая, еще земство строило. Деревянный флигель с резными замысловатыми наличниками. Мы занимали в нем две комнаты. Половицы вытоптаны и скрипят при каждом шаге. Круглая печка-«голландка», на окнах — цветы, не помню теперь уже какие. Отец, бывало, уедет на вызов: к роженице или еще по какому-нибудь срочному делу, а мы ждем его. Мать шьет или штопает, а мы с сестренкой наряжаем Катю: куклу так звали. Сколько помню себя — из игрушек была у меня только одна эта кукла, и мы шили для нее платьица, стирали их, гладили. Чуточку тоскливо. Но вдруг — скрип полозьев у крыльца... Мать отставляет шитье, бежит на крыльцо. Мы с сестренкой следом. Отец вваливается в переднюю: в снегу, в инее весь. Мать помогает ему снять тулуп, и вот он — в валенках, усталый, холодный — входит в комнату, моет руки, и мы садимся ужинать.

— Ничего. Скоро ты побываешь дома,— сказал Василий.— А мне что-то никаких вестей от своих. Видимо, и у нас немцы.

— У тебя хоть есть надежда: может, задержка с письмом. А я редкую ночь, засыпая, не думаю о матери. Тут как-то видела сон: мама сидит в комнате — старенькая-старенькая. Входит немец — рослый, молодой. Но почему-то не с автоматом, а с винтовкой, да длинной, со штыком, как наша. Немец что-то кричит матери, а сам штыком барахло швыряет на пол. Гляжу: платьица, что мы шили для Кати. Я вскрикнула. Проснулась вся в испарине.

— Ничего, скоро мы будем в Озерах.

— Они дальше Волхова нас не пустят.

— Пустят! Явишься в свои Озера: мать, сестру повидаешь. А может, и жених есть.

Паня улыбнулась.

— Чему это ты смеешься?

— Так! Мать, бывало, погладит меня по голове и скажет: «Глупая ты моя маленькая девочка! Ничего я тебе

не желаю — ни богатства, ни золота: дай бог тебе только хорошего спутника в жизни...»

Оконце в баньке еще светилось: значит, не все спали. Отряхнув снег с валенок, Артюхов открыл дверь. Баня была просторная; налево, двумя рядами,— полки, а справа, у оконца,— печка, сложенная из камней,— каменка. Обычно каменки топят по-черному, но эта печь была с дымоходом; оттого, видно, банька и сохранилась такой чистой: ни копоти на стенах, ни сырости. Огонь в каменке уже прогорел, только рдели на поду розовые угли. Ведерный чугун, в котором хозяева держали теплую воду, опрокинут, на днище его поставлен светильник: гильза от сорокапятки с фитилем. Фитиль коптил и мигал; в неровном свете этом по потолку метались тени: батарейцы устраивались на ночлег. На нижних нарах, постелив поверх снопов льна полушубки, уже лежали Тябликов и комбат. Рядом с ними сидел Ахмед.

— Чего же вы Паню-то выставили на мороз? — пошутил Артюхов.

— Что вы, товарищ лейтенант! — отозвался с верхнего полка Бутин.— Мы Паню не обижали. Я ей даже место занял.— Миша указал место с краю, поближе к каменке.

«Хорошее место,— решил Артюхов.— Лучшее». Миша готов всю ночь просидеть на полу, простоять на морозе, лишь бы только ей, Пане, хорошо спалось. Василий уже давно догадывался, что Бутин неравнодушен к Пане: он краснеет при ее появлении, прячет лакомства, которые достает, и потом будто невзначай угощает ее. Паня знает об этом, но ни шуткой, ни жестом не выдает своего отношения к Бутину. «Она вообще очень ровна со всеми»,— думал теперь Артюхов, укладываясь. Может, и он домыслил, что у нее с ним какие-то особые отношения? Артюхов разостлал полушубок на полу и привалился спиной к Малахову.

— Постель сегодня у нас царская! — сказал Василий; сказал в надежде, что, проснувшись, Иван хоть малость потеснится. Малахов и в самом деле проснулся, лег навзничь, вытянувшись во весь свой двухметровый рост. Понятно, что места от этого Василию не прибавилось.

— Царская-то царская,— подхватил Иван.— Только попариться бы! Чешусь, как шелудивый поросенок. Рубашка от пота задубела, срослась с кожей. Видел: нава-

лили барахла на камни, а в рубахах — вшей полно. Такой треск стоит, как в лесу при морозе.

— Помыться б хорошо. Месяц в бане не были!

— Главное — и вода рядом,— подхватили ребята.

— Завтра истопим! — отозвался старшина.

— Завтра иная баня будет,— подал голос комбат: оказывается, и капитан не спал.— Чуть свет прибудут грузовики из автороты. Все отправимся на ДОП* за снарядами. Приказано на каждое орудие иметь по пять боекомплектов.

— Фи-фи! — свистнул Тябликов — хорошо свистнул, хотя у него полон рот не своих, а золотых, вставных, зубов.— Так это же целый вагон!

— Решено штурмовать Кресты!

— Значит, пульнем.

Вошла Паня. Огляделась: все лежат на своих местах. Дунула на фитиль плошки и стала раздеваться. Однако хоть она и погасила свет, но угли в каменке рдели, и в их отсветах видно было, как она раздевалась. Ребята из вежливости прикинулись спящими. Она сняла полушубок — поискала место, куда бы его положить, и, подумав, укрыла им Ахмеда Абдуллина, лежавшего внизу, неподалеку от двери. Затем сняла гимнастерку и не спеша, аккуратно сложила ее, чтоб сунуть под голову. И там, под гимнастеркой, вместо женского белья была рубаха — казенная, тябликовская, с тесемками на груди вместо пуговиц... Тесемки были не завязаны, и в широком разрезе виднелась шея: тонкая, длинная, почти детская. Василий знал, что все видят ее шею и тесемки, и от этого ему стало не по себе. Он повернулся на другой бок.

— Паня! — шепотом позвал ее Бутин.— Я тебе местечко занял. Залезай.

— Спасибо, Миша.— Она сняла валенки, пристроила их на каменку и бесшумно, ловко взобралась наверх, на полок.

Все быстро успокоились, и лишь один Артюхов долго ворочался — никак не мог заснуть. Сначала он думал о Пане. Думал так и этак. Он восхищался ею, и вместе с тем она пробуждала в нем какую-то щемящую жалость. Он восхищался ее выносливостью — ни ропота на свою судьбу, ни попытки «сачкануть». Но только представит он себе этот быт: вши, помятый котелок с кашей; эти

* Дивизионный обменный пункт

ночи, проведенные в сырых землянках,— сон вповалку с бойцами, и, наконец,— вот эта грубая, казенная рубашка с тесемками на шее!.. Было что-то во всем этом противоестественное, и потому Василий жалел Паню.

Потом, мало-помалу, на смену этим мыслям пришли раздумья о доме — о братьях, об отце и матери. Видимо, за счет нервного напряжения, а может, и правда, что человек при определенном настроении излучает какие-то токи, но только с Артюховым часто случалось такое: о чем он начинал думать долго, неотступно, то и являлось ему во сне. В вагоне теплушки, пока ехал на фронт, он часто видел во сне мать. Заснет, бывало, и видит: вот она, молодая, счастливая, в клетчатой поневе и широкой кофте, пришла откуда-то из гостей. Он долго ждал ее, выглядывая в окно, и теперь, увидев в проулке, бежит ей навстречу...

Но чаще мать снилась ему грустной и усталой. Вот он входит в избу — будто бы из техникума, на каникулы приехал: мать сидит на конике и что-то штопает. Седая, остроносая, в руках иголка с ниткой, а на коленях стираные-перестираные шаровары — то ли его, Василия, то ли Николая, меньшего брата. Василий здоровается, а мать не замечает его. «Да чего ты, мама, штопаешь — отнесла бы старьевщику»,— говорит он. А она завязала на нитке узел и отвечает: «Еще ничего, хорошие. Заштопаю — Колька небось целый год в них профорсит».

В семье Артюховых было шестеро мальчиков, и штаны переходили от старшего к младшему по наследству. Почти каждый год кликали к Палаге Артюховой бабу Алену, орловскую повивалку. Приняв очередного младенца, старуха говорила: «Опять мальчик, Палага. Солдат. К войне». Накликала, старая! Теперь на фронте — трое Артюховых: Андрей, старшой, Василий и Николай. Отец воевал в империалистическую и знает, что такое немцы. Он хоть и не партийный, но все последние годы в колхозных бригадирах ходил; он при немцах не останется. Мать — иное дело: ей куда с малыми ребятами?

Уж месяц, как Василий тут, под Крестами. Он сразу же по приезде на фронт написал домой. Почти все ребята получили письма, даже Бутин — детдомовец, у которого нет ни отца, ни матери, и тот получил весточку от коллектива детдома № 1 города Бугульмы, а Василию — ни единой весточки.

Потеснив спиной Малахова, Артюхов снова повернулся на другой бок.

— О-хо-хо! — вздохнула Паня: ей тоже, видно, не спалось.

— Не вздыхай глубоко — не отдадим далеко! — пошутил комбат. Выходило, и капитан не спал. Тоже, знать, мысли всякие в голове не дают покоя.

14

Наблюдательный пункт батареи был оборудован на высокой сосне. Сосна стояла в глубине леса, метрах в трехстах от передовой. На корявый ствол ее, липкий от смолы, наколотили кругляков — получилась надежная лестница. Настолько надежная, что даже ночью легко можно взобраться. Наверху, на разлатых сучьях, лежал щит от немецкого орудия — обгоревший, без закрылок; со стороны передовой, защищая от шальной пальбы автоматчиков, прикручен щит разбитой сорокапятки. В отверстие, предназначенное для ствола, смотрели теперь окуляры стереотрубы.

Обвешанный сосновым лапником, наблюдательный пункт походил на грачиное гнездо. Сидеть на заиндевевшем от мороза стальном щите, поджав под себя ноги, мучительно. Но Малахову нравилось, и он проводил тут, на НП, чуть ли не все дни.

С высоты хорошо видна наша передовая. Вдоль всей опушки чернели завалы из деревьев. После успешного отражения танковой атаки под Раконью этот способ дополнительного укрепления передней линии, предложенный Артюховым, пришелся всем по душе. Теперь батальоны всякий раз устраивали «засеки». Не успели еще роты как следует расположиться на передовой — еще нет ячеек и окопов,— а бойцы уже пилят березы и сосны, стаскивают хлысты на дорогу, прячут в мелколесье. Днем нельзя — работают ночью, и, глядь, к утру вдоль лесных опушек вырастают жгуты вала выше человеческого роста.

За валами, ближе к НП, чернели окопы. В узких щелях копошились люди. Тянулись кверху дымки из командирских блиндажей. Забирая вправо, окопы огибали большую, безлесную поляну, которая горбилась вот тут, перед самым носом. Из-за этого горба, всегда освещенного солн-

цем, виднелись крыши изб и купол невысокой церквушки с серым покосившимся крестом. Это село Горушка. Там немцы.

Когда осматриваешь передовую вот так, высунувшись из-за щита, село кажется вымершим. Но если припасть к стереотрубе и внимательно приглядеться к постройкам села, непременно заметишь признаки жизни. То из-за избы покажется борт автомашины; то от церкви к кирпичному дому, что метрах в двухстах слева, мелькнет черная тень.

Вчера, в эту же послеобеденную пору, третья рота произвела разведку боем. Батарея поддерживала атаку огнем. Но стреляли только первым взводом и с запасных позиций. Немцы не подпустили наших к деревне. Так же как и под Покровским, они принудили пехоту залечь, перепахали поле перед селом минами, и поляна, сиявшая все эти дни нетронутым снегом, почернела от воронок. Но все равно наша атака удалась: немцы выявили свои огневые средства. Оказалось, что основная оборонительная линия их — за селом, вдоль обрывистого берега речки.

Ночью полковая и гаубичная батареи перекочевали поближе к передовой, на основные позиции, и теперь, после обеда, было решено пристреляться к огневым точкам, выявленным во вчерашнем бою. Судя по всему, с часу на час должно начаться наступление. Не напрасно же нагнали столько пехоты, а орудийные дворики заставлены штабелями снарядов! «Скорее бы! — думал Малахов.— Осточертели эти мытарства: ни сна, ни покоя. Уже месяц, как они кочуют по лесам и болотам, и пора бы двинуть фрицев как следует!»

Все эти дни Иван хандрил. Он не признавался себе, но тоскливое настроение было в основном из-за Клавы. Даже на марше ему не удалось повидать ее. После выгрузки эшелона они, по сути, не встречались. Клаву определили в первую роту, и, по слухам, доходившим до Ивана, она закрутила любовь с ротным — Славкой Барсуковым, чернявым, цыганистым с виду лейтенантом, носившим усы и баки. И это походило на правду. С той поры, как Барсуков после ночного боя под Мосиным хутором стал известен в полку, Клава начала избегать Малахова. Хоть Иван и видел ее не раз, но побыть с нею наедине не удалось. «Потаскуха!» — Иван плюнул и поерзал на щите. Сталь-

ной щит заиндевел за ночь: даже сквозь ватные брюки коленям было стужно.

Малахов, припав к окулярам стереотрубы, поглядел в сторону Горушки. Ничего особенного: ни движения машин, ни рогатых касок немцев. На передовой тихо; лишь где-то правее села, в стороне Крестов, глухо бухали орудийные взрывы. Иван подумал: неужели с севера наши уже бьют по Крестам? Он поднял трубку полевого телефона, стоявшего рядом со стереотрубой.

— Ну что, начнем пристрелку? — спросил Малахов, не обращаясь к капитану Лысенко ни по званию, ни по фамилии.

— Начали! — отозвался комбат, и почти тотчас же за спиной Ивана упружисто колыхнуло воздух, и снаряд низко и, казалось, нехотя прошелестел над головой. Посыпался иней, и в тот же миг возле церкви взметнулось черно-красное пламя.

— Ну як? — услышал он в трубке голос комбата.

— Накрыто. Давай вторым! — Малахов по укоренившейся в нем деревенской привычке ко всем обращался на «ты».

Просвистел второй снаряд и разорвался, не долетев до села, посреди поляны.

— Недолет! Накрути им хвосты, капитан! — Малахов выругался, добавив слово посолонее, покрепче.

Снова тупой удар о землю, и знакомое «шу-шу-шу» над головой. На этот раз снаряд рванул по дороге, ведущей из села в немецкий тыл. Одновременно туда же, за село, ударили гаубицы — ухнули, взметнув снежные фонтаны. Звездин тоже вел пристрелку.

И еще не успело погаснуть черно-тротиловое пламя взрывов, как из-за косогора на заснеженную поляну выкатился мужичишка. Иван не сразу его заметил, а когда заметил, глазам своим не поверил: еще раз взглянул в стереотрубу — мужичишка, как есть мужичишка. Вислоухая шапка на нем, барашковый полушубок, валенки с низкими голенищами. За плечами — мешок с сеном; тыкаясь мордой в сено, следом за мужиком шла корова. «Чего это он — с ума спятил? Немцы сейчас же скосят его из пулеметов!» Иван позвонил на батарею, чтоб прекратили пристрелку; свесился с плиты и, нащупав ногами перекладину, стал спускаться вниз. Видимо, пока он спускался, с передовой уже передали по телефону о случившемся на

командный пункт батальона. Едва Иван спрыгнул с сосны, как тут же столкнулся с Кузовлевым. Придерживая рукой на груди автомат, майор бежал щелью. Связной и адъютант штаба едва успевали за ним.

— С коровой, чудак! — не мог успокоиться Малахов.

— Вы его видели? — бросил на ходу Кузовлев.

— Да. Я сказал, чтоб наши не стреляли.

— Срежут немецкие автоматчики.

Они бежали кривой, узкой траншеей, ведущей на передовую. Бойцы, завидя майора, прижимались к стенкам щели, вытирая спинами наросты инея. Лес редел — в траншее светлело. Однако выстрелов на передовой не было слышно. Когда наконец они подбежали к окопчику, где находилось боевое охранение, в нем никого не было — только валялись на примятом снегу окурки да гильзы. Дозорные выбежали навстречу мужику и теперь, отыскав прорехи в завале, вели его в глубь леса. Курносый, с плоским лицом пехотинец держал за веревку корову, а другой, высокий, в маскхалате, выставив на изготовку автомат, следовал за мужиком. Навстречу им вышел Кузовлев. Увидев на незнакомом военном портупею и догадываясь, что перед ним командир, мужик остановился...

— Из Горушки я...— заговорил он торопливо.— Солдаты пытают: кто посламши. Сам себя посламши. Вижу — пуляете вы. Значит, думаю, не знают: ушодцы немцы.

— Ушли?! Когда?

— Сягодня ночью. И в Бору их нетути, и в Кострино. На Ситомлю подались.— Мужичишка указал рукой в ту сторону, откуда доносились звуки далекого боя.

...И понеслась от окопа к окопу радостная весть: ушли немцы! Бойцы вылезали из укрытий и блиндажей, стреляли вверх из винтовок и автоматов: немцы драпанули!

У бойцов радость, а кто повыше, у кого карты в планшетах, те в недоумении: «Ушли?! Куда? Почему без боя?» Узнав из доклада Кузовлева об отходе немцев, Сарычев поначалу не поверил, решил: провокация. Полковник приказал саперам под прикрытием роты автоматчиков проникнуть в село — тщательно проверить: нет ли неприятельских засад и мин на дорогах. Саперы ушли. На опушке леса бойцы жгли костры, ждали белых ракет: команды

для движения. Но ракет все не было, и только в сумерках от саперов пришел связной: на полях и проселках — мины, движение только по дорогам, которые саперы разминируют.

Сарычев связался с Ряженцевым. Генерал уже знал, что на участке, занимаемом полками его дивизии, немцы отступили. Комдив обратился в оперативный отдел штаба армии. Через четверть часа все стало ясно: опасаясь полного окружения, немцы начали планомерный отвод своих войск с севера и юга, стремясь во что бы то ни стало удержать город Кресты.

Кузовлев в полушубке нараспашку, с автоматом на груди бегал по опушке, торопя бойцов: «Скорее! Скорее!» Теперь все определяла скорость: немцы-то небось на машинах драпанули, а у нас — санный обоз.

Связисты наматывали провода на катушки; минометчики помогали друг другу поудобнее взвалить на спины опорные плиты и стволы; бойцы пулеметного взвода прилаживали «максимы» на самодельные сани.

В сумерках вся эта малоподвижная, разноликая масса людей, повозок, тягачей и автомашин — гудя, фыркая, бранясь и толкаясь — стала вытягиваться из глухих лесных просек на дорогу, ведущую в Горушку. Выстроившись на обочине дороги, ждала своей очереди и батарея. Орудия были на передках, все имущество — «буржуйки», светильники, ведра, одеяла — уложено в сани, укрыто брезентом и скручено веревками. Не забыто и «грачиное гнездо». Сняты с сосен оба щита — и немецкий, и от нашей сорокапятки. Уложены в футляры стереотрубы, буссоли, телефонные аппараты. И только снаряды, которым вчера так радовались все, теперь оказались обузой. Штабеля ящиков чернели в стороне от дороги — там, где лишь вчера были огневые.

Комбат и политрук прохаживались по дороге. Зотов курил, зажав папиросу в ладони: где-то стрекотал самолет — не то «рама», не то наш «кукурузник». Над зубчатой кромкой леса, высвечивая небо, метались всполохи дальних огней. Наверное, отступая, фашисты жгли деревни. Слышались людские голоса и скрип полозьев — колонна медленно выдвигалась. За мостом однотонно гудели тракторы: это подтягивался полк майора Звездина. Гаубицы должны были следовать сразу же за полковой батареей.

«Значит, сейчас наша очередь»,— подумал Василий.

Как всегда, перед началом марша все были на местах. Ездовые — в седлах, командиры орудий — на передках, прислуга топталась возле пушек. Сколько ни случалось маршей, а дорога все равно волнует всех своей неизвестностью. Батарейцы нетерпеливо ждали команды на выдвижение.

— Не то время, чтоб таким добром разбрасываться! — долетели до Артюхова слова политрука.— В тылу женщины и подростки по трое суток не отходят от станков. Днюют и ночуют в цехах, работают под бомбежкой. А мы хотим бросить...

— Тогда посоветуй, кого оставить при складе? — напирал на политрука комбат.

— Любой орудийный расчет.

— Ну нет! Ты думаешь, немцы далеко? Они стягивают свои силы в кулак, чтоб дать нам бой в Крестах. Нам дорого каждое орудие.

Похрустывая снежком, комбат и замполит прошли в голову колонны. На дороге все еще толкались минометчики со стволами и плитами.

— А что, если оставить Малахова? — предложил Зотов.— Не весь взвод, а хотя бы связистов. Все равно стрелять будем прямой наводкой.

— Пожалуй,— согласился капитан и, приостановившись, приказал: — Малахова!

— Малахова вперед! — подхватил ездовой первого орудия.

И над колонной понеслось:

— Малахова! Малахова!

Ни у кого этот беспроволочный телеграф так четко не налажен, как у артиллеристов. Спустя минуту-другую в голову колонны пробежал Малахов. Подойдя к комбату, Иван козырнул и уставился на капитана выжидательно. Он доверял своему мужицкому чутью: начальство редко зовет, чтобы сообщить приятное. Раз зовут, значит, жди нотаций. А выговаривать ему было за что. В сумерках, в самый разгар переполоха, ребята его снимали в лесу связь НП с батареей. Нежданно-негаданно увидели на деревьях: синий трофейный провод вел с передовой в тыл. Чихачев, телефонист, с которым любил работать Малахов, от зависти причмокнул губами: хорош! Иван знал: это связь Звездина. Судя по всему, гаубичники за-

[illegible]кались. «Снимай!» — бросил Малахов. Ребята мигом смотали проводку, и теперь в санях батарейного обоза лежали в заначке две катушки великолепного провода. Как оправдаться, если комбат начнет распекать за воровство? На кого свалить? «А-а, скажу, что не знал и не видел»,— подумал Малахов, выжидая.

— Вы остаетесь на охране склада боеприпасов,— сказал капитан.— Ясно?

— Ясно! — с готовностью повторил Иван.

Но в тоне, которым Иван произнес это «ясно», слышалась растерянность. Всегда, когда отрываешься от своих, испытываешь страх. Всегда почему-то кажется: только бы быть вместе! Когда все вместе — ничего плохого случиться не может.

Комбат почувствовал настроение Малахова.

— Не беспокойтесь,— сказал он.— При первой же возможности мы пришлем за вами машины автороты.

— А с харчем как?

Капитан пожал плечами: об этом он не подумал. Лысенко приказал позвать старшину: есть ли у него хоть какие-нибудь резервы? У Тябликова всегда были резервы: и хлеб, и сухари, и концентраты. Одной лишь водки у него в запасе никогда не было.

— Ничего! — ободрил старшина Малахова.— ПФС* останется в Горушке. Сходите завтра. Разыщите старшину Зенкина: он парень сговорчивый.— Тябликов заспешил к себе, чтобы успеть выдать ребятам продукты.

Малахов молчал.

Комбат толкнул его в плечо:

— Ничего, с голоду не умрете! — И бросил, обращаясь к ездовым: — Трогай!

Застоявшиеся коренники рванули с места, и, поскрипывая ободьями, орудия покатились вперед, на дорогу. Капитан всегда любил наблюдать за тем, как снарядилась в путь его батарея. И теперь он стоял вместе с политруком в сторонке, приглядываясь к проходившим мимо упряжкам.

Чуть поодаль от них стоял Малахов. Проезжая мимо, все говорили Ивану на прощанье два-три слова; а он стоял, насупленный, злой, засунув руки в карманы коротенького, не по росту, полушубка.

---

* Продовольственно-фуражный склад.

15

Всю ночь на западе то светились, то гасли всполохи огней, и слышны были звуки артиллерийской канонады. Но к утру все стихло, и, когда Малахов, заспанный и помятый после сна, вышел из баньки, его поразила тишина, стоявшая вокруг. Не бухали пушки, не урчали тягачи гаубичных батарей, не фыркали лошади, не стучали заступами солдаты, отрывая щели для себя и блиндажи для командиров. Было очень тихо. Фронт отступил. Иван знал, что немец отступил недалеко, километров на десять, что сегодня или завтра начнутся ожесточенные бои за Кресты. Но сейчас, в эту вот минуту, он, Иван, в безопасности. Никакая пуля, никакой шальной снаряд не залетит сюда. И вместе с сознанием того, что фронт отступил, отлегло и то тягостное чувство тревоги, которое постоянно преследует на передовой. Даже не думая об опасности, человек инстинктивно вжимает голову в плечи и ложится в снег, прячется за дерево при каждом визге мины, при каждом взрыве снаряда.

Теперь этого чувства опасности не было, и Ивану словно бы прибавило росту. Он стоял возле баньки в наспех наброшенном полушубке, без шапки и, щурясь от яркого света, дивился тишине и покою. До чего же хорошо, черт возьми! Сыпал снежок — несмелый, ленивый, под стать его думам. Еще вчера на поляне наст был исполосован орудийными колесами, истоптан валенками — месиво, а не снег. За ночь следы замело, запорошило, вся поляна искрилась на солнце, и, если бы не штабеля снарядов, черневшие под сосной, можно было бы подумать, что никакой войны и не было.

В затишке, на снарядном ящике, сидел Максимов, подбрасывая в костерок солому, кипятил в ведерке воду.

— Доброе утро, товарищ младший лейтенант! — поприветствовал он командира взвода, однако с ящика не поднялся.

— А-а, доброе утро.— Иван зевнул.

— Как спалось? Чего вы так рано встали? Небось не свистит над головой. Я бы на вашем месте послал кого-нибудь в деревню за харчем, а сам спал бы да спал до самого обеда. Отоспался б за все.

Малахов промолчал. Иван знал, что ребята про себя

зовут сержанта «липучкой» — он в самом деле надоедлив и до тошноты прилипчив.

— Будете умываться? — Сержант был не только вежлив, но и предупредителен.

— Обожди, дай глаза продрать!

— Как хотите: вода готова.

Загребая валенками снег, Иван прошел к речке. Вдоль всего берега чернели из-под снега снопы льна. Стлище* было большое: видимо, бабы не управились со льном осенью. В двух или трех местах ребята расчистили снег и, отобрав мерзлые снопы, унесли их на подстилку и на растопку. Среди следов, запорошенных снегом, был и свежий: знать, утром ходил за снопами Максимов. Иван подумал, что это не дело — воровать и жечь добро. В его родных Цепелях лен тоже возделывали, и он знал, как мать, бывало, дорожила каждым стебельком.

Вернувшись, Малахов сделал замечание Максимову:

— Лен не жечь! Жгите костру — все сараи полны!

— Подумаешь, добро тоже! — Сержант недовольно повел плечами.— Куда он годен — перележавший?

— Не твое дело. Ты его не растил.

— Война все спишет, товарищ лейтенант!

— Я тебе «спишу»! — Манера Максимова держаться и говорить вывела Ивана из себя. Небось с комбатом никто в пререкания не вступает, а Максимов — тем более. «Есть!», «Ясно!» — козырнул да бегом! А тут почувствовали слабинку.— Еще раз увижу, жжешь лен — пойдешь на всю ночь караулить снаряды. Ясно?

— Ясно... Командовать подъем?

— Пусть поспят.

— Командир встал, и им пора.

— На то он и командир!

— Вы же сами вчера приказали: разбудить всех пораньше. Надо перебрать снаряды и снести их в один штабель.

— Ну хорошо, буди!

Сержант побежал будить ребят, а Малахов подошел к костру. Вода в ведерке закипала. Видно, сержант приготовился варить кашу — на снегу лежали мешочки с пшеном и солью. Иван присел к костру, закурил. «Со сна-

---

* После теребления лен выстилают на лугу, чтобы он вылежался. Место это называется стлищем.

«Рядами и в самом деле надо что-то делать»,— подумал он. Дня три назад, когда тут была огневая, орудия стояли повзводно — метрах в четырехстах друг от друга. Каждый командир взвода норовил подвезти снаряды поближе к своей огневой, чтобы не подносить их далеко. Теперь осталось два штабеля, и при каждом надо держать пост. За ночь бойцам приходилось подниматься по три-четыре раза. Это было обременительно. Проще перенести снаряды в одно место. Пусть они потратят на это день, зато им будет спокойнее.

Хлопнула дверь — из баньки на волю стали выходить бойцы. Крякали, разминались, хвалили погоду. Максимов суетился возле костра: посолил воду, насыпал пшена и, морщась от дыма, стал помешивать кашу.

— Сахарку нет,— сокрушался сержант.— А без сахару пшенка всегда мышами пахнет. Позавтракаем, надо идти в деревню: искать ПФС, пока он здесь. А то крупа вся, хлеба мало.

— Пойдем вместе. Ты мастак клянчить,— сказал Малахов и начал умываться.

Привести в порядок хозяйство оказалось не таким уж легким делом, как думалось поначалу. Со снарядами возились весь день, и Малахов с сержантом выбрались в Горушку лишь под вечер. Надвигались сумерки. Лес подернулся сизоватой дымкой, и в этой дымке и березовые рощи, и дальние сосновые боры казались одинаково темными. Проселок был разбит и разъезжен. Сыпучий снег мялся под ногами. По проселку все еще тащились запоздалые обозы, автомашины аэродромного обслуживания, зенитки — идти приходилось обочиной.

Наконец завиднелось село. Сколько раз Малахов высматривал Горушку в стереотрубу, а все равно теперь не мог ничего узнать. Оказалось, что сразу же от церковной площади — вниз, к реке, шла большая улица. И хотя они не раз стреляли по селу и сюда тоже,— большинство изб на этой улице сохранилось. Возле домов стояли санные повозки, крытые брезентом машины, гаубичные тягачи. Так уж всегда бывает в наступлении: батальоны ушли вперед, а тылы не спешат. Неказистый на вид боец — рыжий и веснушчатый,— сидя на приступках магазина сельпо, играл на гармошке. Человек десять тыловиков окружили его: кто сидел, кто стоял; толпились деревенские девушки и подростки.

Молоденький интендант — не то выпивший, не то шалый — мял валенками снег, расхаживая по кругу гусачком.

— И-и-их, ходи-ходи! — подбадривали его бойцы.

Малахов отозвал одного из бойцов; спросил, где находится продуктовый склад. Тот указал на угловой дом с аляповатыми наличниками. Иван заулыбался: Тябликов был прав, когда говорил, что ПФС отыщется. Не всяк знает, где находится боепитание, зато где выдают хлеб и махору — знает каждый. Тяжелые ворота, ведущие во двор, были распахнуты, и в глубине большого, крытого тесом двора стояли повозки под брезентом; меж ними расхаживали люди: катанки на них белые, полушубки новые, словно с иголочки.

— Посмотри, что там в повозках. Я сейчас,— бросил Иван Максимову, а сам побежал в избу, где находилась контора.

Изба была большая, просторная. Стояла она высоко, и подклети не было. Сенцы просторные, с дощатым полом; дверь в избу обита не дерюгой, а клеенкой, и скоба не простая, а медная. В другой избе в эту пору сумрачно, а здесь и без лампы еще светло.

Притворив за собой дверь, Малахов поздоровался.

За столом, в вышнем углу, сидел старшина: немолодой, плечистый, судя по осанке,— сверхсрочник. Старшина пил чай. На столе блестел старинный с медалями самовар. Под стать ему было и лицо старшины: округлое, лоснившееся от пота. В деревне говорят — сумерничал. Устроился старшина основательно, по-домашнему. Ворот гимнастерки расстегнут; на коленях рушник, расшитый петухами. Перед ним на тарелке высилась горка белых сухарей; он брал сухарь, окунал его в кружку с чаем и, ожидая, пока сухарь размякнет, шелестел газетой.

— Наподдавали немцу под зад! — восторженно сказал старшина, разглаживая ладонью газету.— И под Москвой его поколошматили, и мы. Теперь фашисту крышка.

— Дай бог! — Из чулана вышла пожилая женщина в стеганой безрукавке и платке. Она была еще не так стара; лицо красивое и не очень морщинистое.

— Теперь мы ему не дадим передыху до самого Берлина! — продолжал старшина.

«На чужом-то горбу, чего ж, и до Берлина можно»,— решил Малахов.

— Ироды! — возмущалась женщина.— Никого не жалеют, ни людей, ни жилья. Месяц целый в лесу, в землянках мыкались. Вернулись, а хутор наш сожгли немцы. Вот, приткнувшись пока у замужней дочки.

— А старик-то где? — Старшина перестал шелестеть газетой.

— В лесу наш хозяин. Сказывают, скоро вернется. О нем-то не так сердце сохнет: дочка с ним меньшая. Не сплю ночами, переживаючи: как она там? Старику-то что — схватил свою трехлинейку да в лес. А я куда денусь с ребятами?! Благо хорошие люди нашлись. Понарыли землянок в лесу, в оврагах да болотах — спрятали нас. А кто в деревне оставался, тем житья не было. К бабам приставали. Девок-солдаток, которые помоложе,— всех научили повязываться по-старушечьи. Девкам — никакого проходу от них. Младшая с отцом ушодцы, а Тоню, что со мной была, приноровилась сажей мазать. Бывало, придут, а она сидит в углу: голова тряпьем укутана, щеки и лоб в саже.

— Мам, ну к чему это ты? — Из-за занавески, отделявшей чистую половину, вышла девушка: высокая, ладная, личико милое — трудно представить, глядя на нее, что она сажей была мазана.

Старшина перестал жевать и уставился на девушку. Через какое-то время, словно спохватившись, повернулся к Малахову:

— Я вас слушаю!

Иван объяснил: так и так, мол, из-за нехватки транспорта полковая батарея оставила на хуторе Колобовом склад снарядов, а при нем для несения охраны его взвод.

— Аттестаты есть? — спросил старшина.

— Какие аттестаты?! — просто сказал Иван.— Нас оставили в последнюю минуту.

— Без документов обслужить не могу. Много вас тут шляется.

— Кого это — вас?! — Иван повысил голос. Это «вас» вывело его из себя. Он так двинул ладонью по столу, что ведерный самовар подскочил. Из поддувала на стол высыпались красные угли.

— Потише, друг. А не то — вызову наряд,— сказал старшина, косясь на Иванову ладонь. Однако, не очень надеясь на наряд, встал, поспешно застегнул ворот гимнастерки.

— А ну вызови! — напирал Малахов.— Я из тебя, крыса тыловая, все равно, что положено, выколочу!

Тоня прыснула со смеху и, сверкнув глазами, скрылась в своей половине.

— Ладно, ладно. Сходи к майору. Разрешит — мне что: жалко, что ли? — примиряюще сказал старшина.

— А где твой майор?

— Рядом.

Толкнув плечом дверь, Иван вышел в сенцы. Он был так зол, что и в сенцах продолжал почем зря шерстить старшину. «Чаевничает! Подумаешь — шишка!»

— На кого это ты так распалился? — Навстречу ему начбой — побритый, надушенный, со всеми своими планшетами и сумками.

— Да вон, старшина — продуктов не дает.

— Зенкин? А ну пойдем! — Воентехник втолкнул Малахова обратно в избу. Старшины за столом уже не было. Суетилась хозяйка, убирая посуду. За занавеской, на чистой половине,— девичий смех и шепот.— Зенкин! — позвал начбой.

Смех оборвался, послышался шорох, и из-за занавески вышел старшина. На лице его лежала тень неудовольствия: какого черта беспокоят без дела! Но, увидев Никифорова, Зенкин радостно всплеснул руками. Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, помутозили, словно не зная, куда деть избыток сил, и только после всего этого начбой спросил, кивнув на Малахова:

— Ты чего это, друг, батарейцев обижаешь?

— Без документов. Да еще с гонором.

— Это же паства Тябликова.

— Тябликова? А чего же он не сказал? Кипятишься без толку,— смущенно, как бы оправдываясь за свою горячность, буркнул старшина. Он набросил на плечи полушубок и, обращаясь к Малахову, добавил: — Пошли!

Иван пожалел, что не взял с собой еще кого-нибудь из ребят: можно было бы подзапастись на целую неделю. На складе оказался хлеб свежей выпечки, крупы, комбижир, сахар.

У Максимова глаза разгорелись при виде такого обилия. Жадный по своей натуре, он так набил рюкзак, что с трудом приподнял его от земли.

— Муки берите побольше,— раздобрившись, говорил старшина.— Пекарня сделала последнюю выпечку и зав-

тра утром двинется вслед за дивизией. Вам самим придется печь хлеб.

— Ничего,— ответил Малахов,— небось среди людей живем, с голоду не дадут умереть.

Наказав сержанту, чтобы ребята исправно несли службу, Иван отправил его на хутор, а сам задержался. Кто ему за это выговорит? Он старший. К тому же и дело было — оформить накладную на полученные продукты. Максимов взвалил рюкзак на плечи и пошел. Сержант, конечно, догадался, что накладная — это предлог, что младший лейтенант просто решил остаться на вечерок в Горушке.

Четверть часа спустя, когда Иван вместе со старшиной вернулся в избу, там было уже полным-полно народу. Горела лампа-«молния»; занавеска, отделявшая чистую половину, отдернута. Справа, возле печки, на скамейке сидел рыжий боец-гармонист. Он не спеша перебирал лады старенькой трехрядки, ожидая, когда затихнет гвалт.

В чистой половине, на широких лавках, сидели девушки. Они принарядились, а Тоня, хозяйкина дочка, успела даже вплести ленты в косы. Платья свои девчата давно не надевали. Они стеснялись своей неуклюжести, дичились, оглядывая незнакомых парней.

Иван заметил, что рядовых было мало, больше — командиры-тыловики: интенданты, связисты, химики. В дальнем углу, отчужденно поглядывая вокруг, стояли четверо танкистов. Среди барашковых полушубков, висевших на вешалке, чернели их промасленные мазутом куртки. В последних боях танкистам досталось лиха. Их быстроходные танки хороши на дорогах, а не на болотах. Броня у БТ ненадежна: даже крупнокалиберный пулемет выводил их из строя. Немцы здорово потрепали танковый полк, и, видимо, у танкистов поблизости были ремонтные мастерские.

Посреди избы бесом вертелся воентехник.

— Расступись! Расступись! — кричал он, расталкивая зевак, заполнивших избу. Начбой был без полушубка и не в валенках, как все, а в хромовых сапожках. Известное дело: обоз у него большой — возить с собой можно не только сапожки. Кобура и планшетка болтались сбоку, мешали, но он был так увлечен, что не замечал ничего.— Круг! Прошу, расступитесь, дайте круг!

Гармонист заиграл. Некоторые басы старой гармошки

запали, и самые любимые коленца не получались. Боец наклонял голову, прислушиваясь к шипению басов; на лице его выражалось неподдельное страдание.

— А ну, кто из вас самая смелая? — Оттолкнув зевак, начбой подбежал к лавке, где сидели девушки.— Прошу, красавицы!

Воентехник делал вид, что ему безразлично, какая из них отзовется на его призыв; прошвырнувшись петушком перед девушками, чинно сидевшими на лавке, он протянул руки к хозяйской дочке. Та не очень жеманничала: одернула свое давно не глаженное платьице и послушно шагнула вслед за воентехником. Протиснувшись в круг, Тоня поклонилась гармонисту: видимо, в этих местах так заведено — кланяться. Гармонист еще сильнее зашипел мехами. Начбой раз-другой топнул каблуками сапожек и плавно повел Тоню по кругу. Какое-то время воентехник и Тоня танцевали одни. Малахов не мог сказать, долго ли. Он сидел за столом напротив старшины, оформлял накладную:

— Вот тут распишись.— Зенкин бросил накладную на стол, а сам бочком-бочком да в круг.

Подписал Малахов бумагу — глянул, а старшина, сбросив с себя полушубок, уже ведет по кругу девушку с челкой. А за ним нашел себе напарницу и танкист с «Ворошиловским стрелком» на груди. И пошли, и пошли — тесно стало от пар в неширокoм кругу. Все притихли — только и слышалось шарканье каблуков и валенок по дощатому полу да шипение мехов гармоники. Ивана словно бы в бок кто толкнул: а, собственно, я-то чего рот разинул? Мигом стянул с себя полушубок, поискал глазами вешалку — полным-полна. На деревянной переборке, отгораживающей чулан, на гвозде висел рушник, которым, чаевничая, вытирался старшина. Не долго думая, он повесил свой полушубок поверх рушника, одернул гимнастерку, чтобы она сзади собралась петушиным хвостом, и повел головой туда-сюда, оглядывая незанятых девчонок — какую бы из них подхватить? Поглядел на тех, что сидели на лавке, ни к одной не потянуло. У всех какие-то потускневшие лица и постные, как у монашек, взгляды. Нет, с какой-никакой, а лишь бы потоптаться, он не намерен. Взглянул на танцевавших. Но и среди них не было девчонки, которая приглянулась бы. Вот эта курносенькая, что прихватил старшина, кажется, ничего, но огонька

в ней нет; танцует, словно лен на мялке мнет — ни улыбки на лице, ни легкости в движениях. Вдруг мелькнуло знакомое лицо хозяйской дочки, и Малахов вздрогнул даже. Вздрогнул — и подался вперед. Он не в силах был скрыть волнения и помимо своей воли стал неотступно следить за нею. Тоня заметила: этот нескладный лейтенант, что давеча ругался со старшиной, высматривает ее, но она не подала виду. Она танцевала легко, с воодушевлением. Когда воентехник и Тоня не кружились, а шли, взявшись за руки, она не выставляла ноги в сторону, как другие, и не шла, словно ее на поводу тащат, а все время, играючи, подпрыгивала в такт музыке. Четко постукивали по полу каблучки, а косички, завязанные белыми бантиками, подпрыгивали в такт ее упругим шагам. В быстром темпе, когда они кружились, Тоня не прилипала к партнеру, как липли другие девчата, а, положив руку на его плечо, наоборот, откидывалась назад — и тогда была видна ее белая шея и милый, как у ребенка, подбородок с совсем крохотной ямочкой посредине.

Воентехник был хорошим партнером; кружился что надо и все что-то нашептывал ей, а она слушала, иногда улыбалась, но затаенно, одними глазами, и чуть заметно кивала головой. Малахов заметил, что и старшина тоже поглядывает на Тоню. Но Зенкин — увалень, танцор никудышный; все мешался у них под ногами. Иван не спускал глаз с Тони. Наконец их взгляды встретились. Тоня улыбнулась ему открыто, радостно. «Глядишь? — как бы спрашивал ее взгляд.— Ну, гляди, гляди. Вот я какая!» У Тони были смелые серые глаза и широкие брови вразлет. И улыбка хорошая, и большие, работящие руки. Иван представил себе Тоню дома, вот в этой избе, совсем одну, и как она убирает со стола и чистит картошку, и что-то вроде зависти к воентехнику шевельнулось в нем.

Невольно вспомнилась Клава.

У Клавы была короткая прическа. В шапке ее было трудно отличить от парня. Она при разговоре каждую фразу начинала с «ну». «Ну а теперь скажи: ты любил когда-нибудь?» — «Нет, не любил»,— отвечал он. «Ну а меня любишь?» Иван молчал. Нет, он ее не любил. И Лену — чистенькую девчушку, которая сидела с ним за одной партой, он тоже не любил, хотя писал ей письма, а после окончания курсов, когда ему присвоили звание младшего лейтенанта, послал даже фотографию с дарст-

венной надписью: «Лене В. Кого люблю — тому дарю». Лена была как сон из далекого детства. За три года службы он позабыл ее. Даже не мог представить, как она выглядит. Он мог бы полюбить только такую — сероглазую, с широкими, вразлет, бровями и с такими вот, как у Тони, сильными руками.

Малахов решил, что на второй танец он хозяйскую дочку никому не уступит: ни воентехнику, ни старшине. Иван загодя прошел в угол, где сидели девчата. Он правильно посчитал: после первого танца ни одна из девушек не осмелится остаться с партнером, все вернутся к подружкам, и Тоня, конечно. Тут-то он ее и подкараулит.

Все так и вышло, как он предполагал. Танец кончился, и девушки, разрумянившиеся и оживленные, поспешили разойтись. Ребята столпились у печки, за спиной гармониста,— у них одна забота: как бы побыстрее смастерить самокрутку да сделать затяжку-другую.

Судя по всему, Тоня была у девчонок заводилой. Они сбились возле нее — шушукались и приглушенно хихикали.

Тоня вытирала лицо вышитым платочком и согласно кивала головой.

— Хорошо, девочки! — бросила она и, спрятав платок за отворот рукава, проворная и гибкая, никого не задев, подбежала к гармонисту. Что-то сказала ему на ухо: он ответно кивнул головой и заиграл. Не вальс заиграл и не фокстрот какой-нибудь, а их, девичью, плясовую.

Иван еще ушами хлопал, соображая, что это за танец, а девушки уже высыпали в круг и встали попарно. И так все быстро разобрались, так четко заняли свои места — все равно как орудийная прислуга по команде «К бою!». Гармонист пробежал быстрыми пальцами по запавшим и незапавшим ладам, веером растянул мехи гармошки — да как разом переменит ритм! И девчата, хлопая ладонями и негромко топая каблуками, пошли по кругу. Они не шли, а словно бы плыли,— только как плеск воды слышалось: чек-чек, чек-чек — шлепки ладоней. По мере движения они менялись местами в парах, еще более усиливая тем сходство с потоком. Неожиданно Тоня очутилась уже в паре с курносой, в вышитом переднике девушкой, что танцевала со старшиной. И как только произошла эта смена, девушки остановились; словно по команде сдвину-

ли круг. Тоня сложила руки на груди, гармонист заиграл потише.

Поводя плечами, Тоня запела:

Ты военный, ты военный,
Ты военный не простой...

Подхватив припевку, курносая добавила хрипловатым голосом:

Ты на севере женатый,
А на юге холостой...

Похлопывая ладонями, девушки снова двинулись по кругу; и опять бесконечный поток, и ритмические удары рук и каблуков. И новая припевка:

Фриц на улицу пошел,
Фриц уборной не нашел.
За углом штаны он снял,
А навстречу — партизан.

Теперь уже хлопали в ладоши не только девушки, но и столпившиеся вокруг военные. Хлопали и смеялись так, что дребезжали окна. Чувствуя поддержку, девчата запели частушки про военных — фронтовиков-тыловиков: интендантов, химиков, артснабженцев.

Смеялся и Малахов. Иван понимал, что все это затеяла Тоня, и затеяла неспроста. Не все девчата умели танцевать краковяк, фокстрот и иные модные танцы, а сплясать и прибаутку спеть умела каждая — никакой мудрености тут не было. Тоня устроила своего рода смотрины. И она добилась своего: девушек словно подменили — они разрумянились, глаза их горели, от припевки к припевке движения становились все увереннее, все четче, лица светлели, и все они стали красивыми, и словно кто-то разгладил их залежавшиеся платья: они стали и модными, и нарядными. Малахов потерял уже из вида Тоню, он смеялся и хлопал в ладоши и кричал вместе со всеми:

— Про воентехника! Про начбоя!

Девчата прошлись по кругу; остановились, похлопали ладонями, постучали каблучками и запели все разом:

Начбой, начбой,
Ты возьми нас с собой:
Будем правдою служить,
Твои сумочки носить.

16

Разом выплеснулось все: и радость, и надежда, и гордость.

Девушки радовались тому, что наконец-то в их селе не стало больше фашистов; и была надежда, что теперь, слава богу, все наладится. Военные, причастные к этому радостному событию, гордились тем, что это они-де дали немцу по шапке. Причем, заметил Малахов, чем дальше вояка находился от передовой, тем больше он выставлял себя победителем. И то: гимнастерка на нем чистая, подворотничок беленький, грудь колесом. А тот, кто каждый день, каждый час подвергал себя опасности, тот держался в сторонке: гимнастерка на нем мятая, пóтом от него за версту несет, валенки худые, на костре опалены.

Весельем командовали начбой и старшина продовольственного склада.

— Куда прете! — кричал Зенкин.— Здесь служебное помещение, а не клуб.

— Ты поставь часового, а то в избе не протолкнуться,— советовал воентехник.

Хозяйка не знает, как угодить старшине. С подростками она сама справилась: вытолкала ребят, те послушались, ушли. А всякие там связисты или зенитчики потоптались, потоптались возле двери и очень скоро поняли, что непрошеным гостям места тут нет. Все шло так, как это было задумано: после с м о т р и н определились пары. Теперь каждый приглашал на танец только свою избранницу. И лишь Ивану так и не удалось пробиться к Тоне. Воентехник не отходил от нее ни на шаг. Он не оставлял ее даже в перерыве между танцами: угощал конфетами, что-то нашептывал ей на ухо, и она смеялась, откидывая голову назад.

Зенкин вертелся рядом, но и ему не удалось потанцевать с Тоней.

Иван поначалу нервничал, злился на себя за нерешительность. «Трусишка! Рохля! — ругал он себя.— Чего ты боишься этого чистоплюйчика? Подойди, оттолкни его: «Разрешите пригласить?» — и вся недолга». Но как только наступало время действовать, он терялся, медлил. Помятая гимнастерка, стоптанные валенки — разве ему под силу тягаться с щегольски одетым воентехником? «Ну и пусть, как это пели девчата: служит ему правдой, таскает

его сумочки!» Иван пригласил на танец подругу Тони — курносенькую, в вышитом платьице. Он слышал, как к ней обращались: «Аня, пойдем». Девушка была легка в танце, и, когда, неуклюже переставляя валенки, Иван кружил ее, прижимая к себе, она не отклонялась, как Тоня, а льнула к нему, и он ощущал тепло ее ладоней, лежащих на его плече. Ему казалось, что у него никогда не было и не будет девушки ближе и желаннее. У Ани не было кос: она собирала волосы в пучок, в ушах — дешевенькие серьги: они подрагивали при движении, и это забавляло Ивана. Танцуя, он наклонялся к уху девушки, чтоб сказать что-нибудь, а щекой прижимался к завитушкам русых волос, которые Аня нарочно накрутила, и это волновало его еще больше: всякий раз замирало сердце.

— Тоня у вас заводила? — спросил он.

— Откуда вы взяли? Она даже не из нашего села. Она хуторянка. Знаете, в лесу, перед селом, хутор Колобов? Три дома на горе. Теперь сгоревши.

— Мы там стоим.

— Да? Ну вот. Когда-то их четыре брата было. Старший давно, еще до колхоза, на станцию работать ушодцы. Еще один — на торфу где-то... А Тонин отец у нас бригадиром был. Как немцы пришодцы, он в лес.

Так, так: хутор Колобов. Четыре брата — рождалась где-то в глубине сознания смутная догадка: не партизан ли?

— Куда ушодцы? — переспросил Малахов, чтоб подшутить над ее произношением. В этих местах все «цокают». Никто не скажет: «Ванечка», а «Ванецка».

Но Аня не поняла его шутки:

— В партизаны ушодцы. Немцы узнали — спаливши хутор. Рыскали по округе — искали. Но наши заранее попрятавшись. Среди болот, в лесу, вырыли землянки. Там и сейчас полсела: старики, дети, скот. Люди боятца, что немцы снова вернутца.

— Нет, не вернутся! — сказал Иван.— Слыхала: и под Москвой их разбили.

— Слыхала...— Она посмотрела на него снизу и, осмелившись, спросила: — Вы тоже интендант?

— Нет, артиллерист.

— Артиллеристы все ушодцы.

— А мы вот остались.— Иван не стал объяснять, по-

чему остались. Но чтобы покончить с этим, снова спросил о Тоне: почему она в этом доме за хозяйку?

— Сестра ее старшая тут. Замужем за трактористом. Муж — в армии, а она еще в лесу с малыми ребятами.

— А твой батька где?

Аня погасла, ноги перестали слушаться ее, и она кружилась не в такт.

— Последнее письмо было в августе. Воевал под Смоленском. А с тех пор — ни весточки.

— Может, письмо на почте затерялось?

— Нет, у меня мама — почтарка.

Часам к одиннадцати все зеваки разошлись, выпроводили и гармониста. В избе осталось совсем немного народу: воентехник, начхим, Малахов, двое зенитчиков — ни одного рядового, все командиры. И командиры примерно в одном звании; только старшина отчасти нарушал субординацию. Но Зенкин, во-первых, сверхсрочник, а во-вторых, богатый хозяин. Когда все лишние разошлись, он выставил на стол кружки и черную немецкую канистру с водкой.

— Прошу к столу! — позвал старшина.— Евдокия Михайловна, закусочки, закусочки нам.

Хозяйка вынесла из чулана ковригу хлеба, три-четыре миски капусты, тарелки, вилки.

Зенкин разлил водку по кружкам.

— Девчата! А ну подходи! Смелее!

Девушки стали отказываться: и время позднее, и непьющие они — голова пойдет кругом; но у каждой из них и так уже голова шла кругом — от оживления, от радости, от близости этих неуклюжих парней.

— Не обязывать — кто сколько может. Кто сколько может! — твердил воентехник.— Тонечка, ну хоть немного! Хоть пригуби.

— А чего? — Тоня широкой ладонью пододвинула к себе кружку.— Я и выпью на радостях.

— Тонька?! — Евдокия Михайловна, стоя в дверях чулана, с любовью наблюдала за молодежью.

Иван подсказал старшине, чтоб пригласили и хозяйку. Все закричали: «За хозяйку! Просим! Просим!» Евдокия Михайловна подошла к столу, чокнулась со старшиной, воентехником, но, пригубив, тут же отставила кружку. Никто ее не уговаривал — все спешили выпить.

Малахов знал, что, подвыпив, девчонки станут покла-

дистее, и норовил подсунуть кружку своей партнерше. Аня выпила толику, но от второго глотка отказалась и, как ни настаивал Иван, так и не взяла кружки: пришлось допивать самому. «А-а, вот куда наша фронтовая норма идет! Подсовывал сухари да муку, а наркомовский паек захапал, хмырь!» — думал Малахов, хмелея.

В избе стало душно; мужчины, выпив, отвалились от стола, загалдели разом, засмолили самокрутками. Зато девчата, наоборот, сгрудились, и через четверть часа от армейской буханки хлеба не осталось ни кусочка.

— Девочки, давайте сыграем на интерес? — предложил воентехник.

— На интерес! На интерес!

Девчата радостно оживились; подхватили скамейки, поставили их поближе к лавкам — получился просторный четырехугольник. Мужчины, разгоряченные вином, устало садились на лавки рядом с девушками; и кто-то уже норовил обнять свою избранницу.

— Нельзя! Нельзя! — пригрозила Тоня.— Старшина, снимайте ремень.

Зенкин неохотно расстегнул свой широкий комсоставский ремень с тяжелой бронзовой пряжкой, отдал его Тоне. Без ремня старшина был мешковат, и осанка у него мужичья. Он постоял, потоптался среди квадрата, сел на скамейку, на которой было посвободнее.

Видимо, Зенкин рассчитывал, что рядом с ним сядет Тоня. Но она была в таком азарте, что не думала о старшине.

— Все знают, в чем суть игры? — Воентехник повернулся на носочках, огляделся. Наблюдая за тем, как начбой — подобранный и ладный — со всеми своими сумками прохаживался по кругу, Малахов подумал вдруг, что, наверное, на гражданке он был затейником в каком-нибудь доме отдыха.

— Нет! — подал голос Малахов; Иван и в самом деле не знал. У них в деревне по праздникам тоже играли на интерес. Но играли в основном на лужайке. Все становились в круг, руки назад. Маявшийся совал в руки платок кому-нибудь, по выбору, а сам бежал по кругу; и надо было нагнать его.

— Кого ударили, тот должен быстро встать и броситься в круг за ремнем. А на его место садится ударивший,— пояснила Тоня.— Кто замешкается, того бьют.

Начнем! — Не долго думая, подбежала к Ане, ударила ее по коленям; бросила ремень в центре круга, и, едва девушка вскочила, Тоня села на ее место.— Фу! — Она была разгорячена бегом, азартом, но все равно не могла сидеть спокойно и тут же, втиснувшись на скамью рядом с Малаховым, повернулась к нему.— Вы всегда такой скучный?

Говоря это, она почти прикасалась губами к его щеке, настолько на скамейке было тесно. Ее разгоряченность и волнение передались Ивану.

— Скучный? Да? — Малахов повернулся к ней и увидел рядом ее щеку и широкую бровь, дугой убегающую к переносице, и ему захотелось прикоснуться губами к этой щеке; сдавленным от волнения голосом он сказал: — Что же мне делать? Ты меня не замечаешь...

Она засмеялась:

— Разве можно такого не заметить?

— А что?

— Большущий. А все большие — добрые.

— Ты думаешь?

— Не думаю, а знаю. У меня дядя — во! Выше вас.— Тоня подняла руку над головой, и, пока тянулась, лицо ее, освещенное улыбкой, было совсем-совсем рядом, и ему стоило огромного труда, чтоб хоть в шутку не чмокнуть ее.

Аня ударила старшину, а сама села рядом с воентехником. Зенкин мешковато поднялся, постоял в круге, примеряясь, и полоснул Малахова по колену. Иван поднял ремень с пола, постоял, раздумывая: до него не сразу дошел смысл игры. *Интерес* в том и состоял, чтобы, ударив ремнем соперника, вызвать его в круг, а самому хоть какое-то время посидеть рядом с понравившейся девушкой. Иван же, не долго думая, ударил Тоню. Удар его пришелся по ноге. Ему казалось, что он ударил не очень сильно. По горячке Тоня вскочила, но вдруг лицо ее перекосилось от боли, и вместо того, чтобы нагнуться за ремнем, она зажала ладонью колено и выскочила из круга. На глаза ее помимо воли навернулись слезы. Малахов сделал было движение навстречу Тоне, но, увидев, что она вышла из круга, остановился, растерянно глядя на девушку.

За печкой был узенький закоулок, закрытый пестрой занавеской. Тоня метнулась за занавеску. Иван — за ней. Налетел, обнял сзади, стал гладить плечи.

— Медведь! — сказала она в сердцах.— Кто же бьет со всего маху?

Он рывком повернул ее к себе.

Тоня улыбалась сквозь слезы.

Он захватил в ладони ее голову и стал целовать влажные от выступивших слез глаза, щеки, губы...

Они вышли из-за занавески и сели рядом. Игра эта потеряла для них интерес. На скамейке было тесно. Иван взял Тонину руку в свою, гладил ее, и почему-то никто больше не приставал к ним — ни к Тоне, ни к нему. Словно сговорившись, ребята выбирали других девушек; девушки — других парней. То и дело слышались звучные удары ремня, кто-то крякал, смеялся, садился и вставал; девчата бегали с места на место; парни, возвращаясь к скамье, будто нечаянно наскакивали на девчат, обнимали их; девчата взвизгивали, отбивались, но больше для виду: было то самое веселье — юное и озорное, которое и замышляла Тоня.

В разгар веселья распахнулась дверь, и в избу ввалилось сразу три мужика: обросшие, в ватниках, с винтовками за плечами. Но все были так увлечены, что не сразу заметили их появление.

Видя такое дело, кряжистый мужичишка в серой кроличьей шапке снял с плеча винтовку, стукнул прикладом об пол.

— Авдотья! — позвал он хриповатым голосом.

Евдокия Михайловна выглянула из чулана; удивленно и обрадованно всплеснула руками:

— Батюшки! Прохор!

Смех и возня в чистой половине разом смолкли. Все затихли, оглядывая вошедших.

— Батя! — Тоня вырвала из рук Ивана свою горячую ладонь, опрометью бросилась к отцу. Она подбежала к мужичишке в кроличьей шапке, потянулась губами к его заросшему лицу. Однако отец не ответил на ее ласки; вид у него был сумрачный.

— С возвращеньицем...— Евдокия Михайловна вытерла руки о фартук и, глянув на дверь, которую мужики за собой не закрыли, подошла к мужу.

— Не таким, мать, думалось возвращение-то,— Прохор погладил по плечам Тоню и, повернувшись к двери, обронил: — Несите: чего уж тут...

И тотчас же из сеней в избу вошло еще двое мужиков.

На плечах у них торчали неровно срубленные осиновые жердины.

Мужики бережно пронесли сквозь дверной проем жердины, казавшиеся очень длинными и ненужными. Вместе с ними в избу ворвались клубы морозного воздуха. Все с недоумением смотрели, не понимая, что бы это означало. Следом за этими мужиками показались еще двое, и только тогда все поняли, что на плечах у них — самодельные носилки, а на носилках, покрытый полушубком, лежал человек.

Хозяйка скрестила на груди руки и зашевелила губами:

— Ли... ли...— Но выговорить до конца не могла.

Прохор сдвинул полушубки, освобождая лавку.

— Сюда!

Мужики прошли в избу и бережно поставили носилки на лавку. Поставили — и разом сдернули с себя шапки. Малахов не успел еще разглядеть, кто там на носилках, как душу полоснул нечеловеческий крик:

— Лида!!!

Тоня бросилась к носилкам, опустилась на колени и, уткнувшись лицом в полушубок, зарыдала. Прохор поднял ее, она обвила шею отца руками; плечи ее дрожали мелкой дрожью.

Иван взглянул на носилки. На них, поверх подстилки из хвои, лежала девушка. Бескровное лицо было красиво и спокойно; его не исказили ни предсмертные муки, ни боль, ни крик отчаяния: видимо, была убита сразу, наповал. Высокий лоб без единой морщины оголен, и еловые лапы прикрывали лишь волосы, и потому лоб этот — гладкий, не тронутый ни единой морщиной, с густыми и широкими, как у Тони, бровями — казался неестественно большим.

— Дитятко! Родненькое! Отец! Как же это? — причитала Евдокия Михайловна. Она все рвалась к носилкам, но мужики не пускали, удерживали ее.

— Михайловна! Ну, ну, не надо. Возьми себя в руки! — говорил высокий, с залысинами партизан в очках, похожий на учителя.

Военные, бывшие в избе, молча брали полушубки и, не надевая шапок, спешили на улицу.

Малахов понимал, что и он тут лишний. Однако не в силах был сдвинуться с места. Ему казалось, что будет нехорошо, недобро, если он уйдет из избы, не сказав ни-

чего, не произнеся хоть слово в утешение Прохору. Иван сразу же узнал в нем того самого партизана, который вывел из окружения генерала. «С изъянцем я мужик,— вспомнились Ивану его слова,— народил одних девок».

Малахов подошел к Тоне, которая все еще висела на шее отца, и погладил ее ладонью. Руки его коснулись рук Прохора, и тот, вздрогнув, поглядел на Ивана: дескать, по какому такому праву? Но тут же, узнав Малахова, Прохор сказал глухо, с болью:

— Не уберег вот лебедушку, паря. Стадом немцы бежавши. Все дороги запружены. А вас все нету и нету. Мы вон,— он кивнул на очкастого,— решили с командиром ввязаться. Думали: начнем, а армия подсобит. А оно, видать, и вправду: человек предполагает, а бог располагает. Кончились патроны. Стали отходить в лес. Какой-то фашист стеганувши из крупнокалиберного пулемета. Навылет... Да...

17

Серое небо — ровное, без единого просвета. Трудно угадать, куда движется колонна: на запад или на восток? Серое небо, серый снег, серый, застывший в безмолвии лес.

Вдруг где-то слева над вершинами редкого березнячка мелькнула голубая полоска разводья. И даже не голубая вовсе, а как бы с зеленцой. Мелькнула и, глядь, через некоторое время исчезла.

«Может, ничего,— пронесет»,— подумал Артюхов. Василий то и дело поглядывал на небо. Поглядывал с надеждой: а ну как эти серые облака опустятся, и тогда хмарь обернется снегопадом. В пасмурную погоду немцы не прилетят — можно весь день идти по дороге открыто и спокойно. Колонна ускоренным маршем двигалась по проселку. Повсюду слышался скрежет полозьев, стук колес, гуденье моторов.

Забывшись на минуту-другую, Артюхов еще раз взглянул на небо: ан нет,— там, где виднелась только одна щелочка разводья, теперь голубело три полыньи. Они расползлись, раздались во всю ширь неба — зеленые по краям и синие — в вышине, над головой.

Как ни хмурилось с утра, но к полудню хмарь раздви-

нуло, и где-то слева, с южной стороны, появилось солнце. Оно висело над лесом огромным морозным кругом, и круг этот медленно катился вслед за колонной войск — по горбатым увалам дальних перелесков. Но вот солнце выкатилось в одно из голубых разводьев — и сразу же небо разделилось на две половины. Нижняя, что простерлась над кромкой леса, осталась такой же плоской и серой, какой была и утром. Зато верхняя — та, что над головой,— вдруг покрылась барашками: словно невидимый косарь прошелся по небу, как по лугу, и набросал валков.

Освещенные солнцем, засверкали, заискрились снега. Высветились дальние сосновые боры. Даже вечно хмурые ели повеселели от снеговых шапок и мелкой, невесомой изморози, которая кружилась в воздухе. Иногда солнце скрывалось, заходило за валки облаков, и тогда снег на обочине дороги голубел, как в марте. Но это солнечное озарение длилось недолго. Едва показавшись над вершинами деревьев, солнце тут же стало клониться к западу. Склоняясь, оно как бы отодвигало, гнало, прижимало к земле ту первую половину, что густела над дальними перелесками. Лес в отдалении с каждой минутой мрачнел, коричневел и наконец стал черным.

Солнце счищало с неба хмарь, прижимало хмарь к земле, загоняло темень в леса. И от этого вторая половина неба — та, что синела над головой,— словно бы раздвигалась. Валки кучевых облаков ширились, их перья, быстро на глазах, менявшие форму, то густели, становились фиолетовыми, то пылали золотом, а самые дальние отроги блестели, переливались, нежились в ярко-оранжевом разливе, который охватывал уже бо́льшую часть неба.

Так и не поднявшись над лесом, солнце осело на колючие вершины елей. На западе, куда вела дорога, небо багровело. Все говорило о том, что к вечеру ударит мороз.

·

В деревеньке не уцелело ни одной избы. Вдоль дороги стояли лишь черные печные трубы да корявые ветлы. Сучья ветел обломаны, иссечены осколками. Однако могучие стволы деревьев — в каждом не менее двух обхватов — упрямо горбатились по обе стороны шоссе. Пахло гарью, на дороге валялись доски, покореженные листы железа, хрустело под ногами битое стекло. «Вот она — мертвая зона»,— подумал Артюхов. Немцы, отступая,

уничтожали все: дома, колодцы, фермы; уводили с собой людей, способных работать.

Шагая за орудием, Василий поглядывал по сторонам. Повсюду — следы поспешного отступления. По откосам грейдера застыли немецкие автомашины. Вон легковушка «оппель». Ветровое стекло выбито, широкая дверца открыта, и видна черная приборная доска с белой стрелкой посредине. Судя по всему, машина застряла в снегу, а может, кончилось горючее, и какой-нибудь майор, распахнув в последний раз дверцу, побежал дальше на своих двоих. Чуть поодаль чернел грузовик. Кузов его — все равно как огромный улей с сотами. В каждой ячейке — снаряд.

— Ого! — Артюхов, удивленный, толкнул в бок шагавшего рядом политрука.— Ничего себе галушки.

— Двухсотка,— отозвался Зотов: не зря в вагоне он штудировал таблицы немецкого вооружения.— И гляди, как все у них обдуманно. Каждый снаряд заделан в плетенку, словно бутылка французского вина. И крышка у корзинки, и ручка, чтоб удобно было подносить снаряд к огневой.

— Все немец предусмотрел,— поддержал разговор Артюхов.— Одного только не мог предусмотреть — что ему придется драпать вот этой дорогой, единственной среди лесов и болот.

— Как же! — вступил Бутин.— Столько лет он готовился к войне. Вон Ахмед подобрал в машине буханку ихнего хлеба. Безвкусный, как прессованные опилки. Но знаете, когда выпечен? В тридцать восьмом году! Три года лежал завернутый в целлофан и не заплесневел.

— А в Ленинграде опять сократили пайку хлеба,— задумчиво, словно про себя, проговорил политрук.— Скребут отрубя по сусекам, добавляют в муку опилки. Даже наш брат солдат получает по четвертушке хлеба в день.

У него было удивительное чутье, у этого политрука. Какой день — без газет, без радио, но он знал все новости и, главное, знал, когда их надо рассказать ребятам. Впереди были Кресты. Только со взятием Крестов Ленинград мог вздохнуть свободнее.

— Они-то готовились, только мы ушами хлопали...— бубнил Пеканов: он был верен себе — даже первая удача не изменила его постоянно мрачного настроения.

На околице, у выезда из деревеньки, стояло еще несколько немецких автомашин; на снегу валялись матрацы и санитарные носилки. Легкая штабная танкетка, размотав гусеницу, сползла с насыпи; видно, немцы сами же и подожгли ее: на обочине дороги валялась канистра из-под бензина и стояло с десяток мотоциклов, тоже обгорелых. Из-под снега виднелись велосипеды. Они стояли под ветлами, валялись в кюветах. Осенью немцы, наверное, катились по этой дороге кто на чем горазд. Но в конце октября поднавалило снегу, и даже шоссе — одно на всю округу — стало непригодным для езды на велосипедах, и немцы побросали их.

— Это не Франция! В России на велосипеде далеко не укатишь. Вот он, наш велосипед! — Артюхов потопал валенками по разбитому снегу.

— А я в юности мечтал о велосипеде,— признался Зотов.— На Тобол бегать далеко, а так хотелось купаться. Как я завидовал ребятам, у которых были велосипеды!

— За чем дело? Берите, товарищ политрук. Прикажете прикатить?! — с готовностью отозвался Абдуллин.— Вам какой: бельгийский, французский?

— Ему немецкий надо. Что там бельгийский. Немецкий надежней,— в обычной своей манере — то ли шутя, то ли всерьез — сказал комбат. Рябой, носатый, капитан Лысенко оживлялся, когда говорил, «кошачьи» глаза его загорались, и все лицо преображалось от хитроватой, сдержанной ухмылочки.

Велосипеды приглянулись не одному политруку, но и многим бойцам. Отряхнув снег с кожаного сиденья, ребята взбирались на какой-нибудь «шевроле» и катили на нем сотню-другую метров, потом бросали в сугроб. На обочине — то тут, то там — чернели рогатины рулей и ажурные спицы колес.

— Вон подними, Ахмед. Да положи на снарядный ящик. Будэ подарунок политруку,— сказал Лысенко.

— Ничего,— успокоил его Василий,— до Берлина как-нибудь пешком дойдешь, а там новенький подхватишь!

Батарейцы засмеялись. Хотя все знали, что предстоял штурм Крестов, но у ребят было хорошее настроение: немца сдвинули! От Москвы его турнули, теперь вот на очереди и Кресты. Так была желанна эта победа, что и

Берлин казался не настолько уж далеким. Будто и не было бессонной ночи. Все шагали споро, жались поближе к комбату — с ним весело и легко.

Артюхов вспоминал Малахова. Василий привык к Ивану — к его сдержанному ворчанию, грубым шуткам. Своей громоздкостью Малахов как бы подчеркивал основательность окружающего: все казалось ясным, прочным, понятным. Отсыпается небось! Помылся в баньке, поел кулеша, да и валяется на подстилке из тресты. Василий даже завидовал ему: хоть недельку побыть бы теперь в тылу, на покое!

Сразу же за деревенькой к шоссе подступал лес. Дорога была ровная, скучная, батарея двигалась быстро, обгоняя пехоту, шагавшую обочиной. Брели какие-то уже немолодые бойцы из резервистов. Они торопливо уступали дорогу, с завистью поглядывая на батарейцев: на их добротные полушубки, на справных коренников и пристяжных, кативших орудия с видимой легкостью.

— Какой дивизии, ребята? — спросил Артюхов.

— Генерала Слепенкова! Может, слыхали?

— Слыхали! — отозвался Василий, а про себя подумал: «Значит, жив старик».

— А вы гвардия, что ли?

— А то как же! Не вам, славянам, чета,— шутил Бутин.

— Вы где стояли?

— Где стояли, там уж нет.

— Это у вас, гвардия, немец-то из-под самого носа убежал?

— Он ваших обмоток испугался! — крикнул Ахмед.

— Не ершись, сержант! — пожурил его политрук.— У ребят хорошее настроение. Пусть позубоскалят.

Артюхов, слушая, улыбался. Точно сказал об Ахмеде политрук: парень ершистый. Но зато молчун и в отличие от других не «стратег». Василий не знал, как в других подразделениях, но в батарее каждый второй боец был с т р а т е г о м. «Стратеги» знали, когда надо наступать, когда — отступать, откуда лучше нанести удар. Собравшись в землянке или, как теперь, на марше, они затевали нескончаемые споры. Каждый горячо доказывал свое; слушая их, можно было подумать, что это какие-нибудь советники Ставки, а не рядовые батарейцы.

— Кресты надо штурмовать ночью,— сказал Бутин.—

У немцев тут самолетов до черта. Днем они не дадут нам и голову поднять. А ночью мы их осилим.

— Ночью?! — Пеканов резко тряхнул головой, все равно как коренник, когда тянет орудие в гору.— Ночью трудней. У нас нет опыта ночных боев.

— А бой на железнодорожной насыпи? — не сдавался Бутин.

— Случайность. Просто Кузовлеву повезло.

— Ничего себе «случайность»! Одних автоматов немецких подобрано семьсот штук.

— Они тоже наши подбирают...— Пеканов парировал желчно, коротко.

— А пожалуй, Миша прав,— заступился за Бутина политрук.— Ночью сподручнее. Мы выкурим их из кирпичных зданий, а пехотинцы на «ура!».

— Далось вам это «ура»,— мрачно отвечал Пеканов.— Было б побольше танков — дело пошло б и без вашего «ура».

Прислушиваясь к спорщикам, Артюхов заключил, что батарейные «стратеги» четко делились на две категории: на оптимистов и скептиков. Первые безоговорочно верили в нашу скорую победу. «Ничего! — говорили они.— Вон от Москвы-то мы их турнули! Теперь они до самой границы побегут. Небось у Сталина все спланировано». Оптимисты никогда не унывали, ни на что не жаловались, все невзгоды переносили стоически. А скептики, наоборот, были желчны, раздражительны. В нашу победу они тоже верили, но только не в скорую.

— Кресты возьмем — немцы побегут без остановки! — сказал заряжающий второго орудия Безбородко.

— А Волхов? — напомнил Артюхов.

— Подумаешь, Волхов: четыреста метров льда!

— И-и, куда махнули — Волхов?! Да он еще в Крестах устроит нам баню! — не отступал от своего Пеканов.

— Посмотрим, кто кому! — отозвался политрук.

Однако не успел еще он договорить, как из головы колонны, по цепи, передали: «Всем рассредоточиться! Артиллеристы и минометчики — вперед!»

Комбату подвели Красавчика, и батарея на рысях загрохотала по выбитой дороге. Пехота в сутолоке скатывалась с насыпи и растекалась по лесным опушкам. Буксовали машины, застрявшие в кюветах, скрипели санные полозья на гравийной подстилке обочин. Еще четверть

часа назад на дороге нельзя было протолкнуться от людского скопища, от колонн машин и повозок. Теперь на шоссе слышался лишь грохот кованых колес полковушек да легкое скольжение шин минометов. Оголилась дорога, и, как всегда на пустом, незанятом шоссе, стало видно далеко-далеко. Впереди был спуск; серпантин шоссе сначала уходил вниз, затем черно-белой ровной полосой поднимался к небу, разделяя надвое лес, и там, где заканчивался подъем, чернели крыши какой-то деревеньки.

Под гору упряжки бежали легко. Прислуга облепила передки и зарядные ящики, ездовые сдерживали коренников. Подкованные копыта высекали искры; березовые вальки царапали по асфальту — того и гляди в постромках запутается какая-нибудь уносная.

На гору выскочили с маху. Лошади отфыркивались и поводили потными боками.

Деревенька, притулившаяся сбоку шоссе,— небольшая, дворов пять-шесть. Возле крайней избы, в затишке, стояла тридцатьчетверка. Вокруг машины толпились командиры. Среди них грузной своей комплекцией выделялся Сарычев. На гусенице танка белел лист карты: полковник прижимал его ладонью и что-то объяснял окружавшим командирам. Увидев Сарычева, комбат спешился и, бросив поводья ординарцу, подошел к полковнику доложить. Но, судя по тому, как замешкался капитан подойдя, среди командиров был кто-то повыше Сарычева: может, сам генерал; комбат не из робкого десятка, и то замялся, выжидая. Наконец Сарычев заметил капитана, подозвал к себе и стал объяснять комбату задачу, водя рукой по карте.

Пока Сарычев объяснял, батарея, сбившись, стояла на дороге. Все молча наблюдали за комбатом.

Вдруг где-то впереди глухо бухнул выстрел. Бухнул, словно кто-то многотонной ладонью ударил по мерзлой земле. Все разом повернули головы на звук. На опушке березовой рощицы взметнулся черно-красный фонтан земли. Взметнулся — и еще не успело растаять в высоте тротиловое желтоватое облачко разрыва, как с околицы деревеньки дружно, залпом ахнули наши гаубицы.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Вот вам и Кресты! — с ехидцей обронил Пеканов.

«Дурень, над чем злорадствуешь?» — хотел было сказать Артюхов, но промолчал.

Молчал не только Василий, все мрачно и сосредоточенно смотрели на дорогу, убегающую вниз, на реденькую березовую рощицу, где не очень часто, с равными промежутками поднимались над землей черные фонтаны взрывов. Стреляли немцы. Промежутки длились ровно столько, сколько требовалось времени на то, чтобы вынуть снаряд из плетеночки, дослать его в казенник и выстрелить. «Ясно: это — заградительный огонь. Немцы хотят сдержать нас, хотят помешать нашему сосредоточению»,— решил Артюхов. «Стратеги»-оптимисты молча глядели на дорогу. Им нечего было возразить Пеканову; им оставалось лишь засвидетельствовать свое равнодушие к стрельбе немцев. Они головы даже не повернули в сторону взрывов, будто это их совсем и не касалось. Они наблюдали за Сарычевым. Голоса полковника не было слышно. Ветер трепыхал край карты, лежавшей поверх гусениц танка; полковник, горячо жестикулируя, показал в сторону взрывов.

— Есть! Ясно! — Комбат козырнул и, загребая снег короткими ногами, подбежал к ожидавшей его батарее.— Гони!

Он вскочил в седло, и наши орудия снова загромыхали по шоссе.

Артюхов стоял на подножке зарядного ящика; он знал, что это самое удобное место. В случае чего всегда можно спрыгнуть и залечь в кювете. Василий стоял, чувствуя напряжение во всем теле, и внимательно, до рези в глазах, смотрел вперед. Впереди маячила фигура комбата. Капитан сидел в седле сутулясь: голова его подпрыгивала в такт бегу лошади. Василий видел комбатову спину и голову и поверх плеча, левее,— место, где через равные промежутки рвались снаряды. Они рвались не на шоссе, а в сторонке, в сотне метров от дороги, в молодом корявом березнячке. Ясно, немцы нащупывали шоссе. Чтобы накрывать большую площадь, каждому наводчику, видимо, приказано было довертывать маховик, и трудно было угадать, куда ему вздумается повернуть в последнюю минуту.

Капитану хотелось как можно скорее проскочить обстреливаемый участок. Поравнявшись с березнячком, он пришпорил коня. Упряжки катились следом, катились споро, и торопить их было не надо, однако, чтобы скрыть свое волнение, капитан не сдержался и крикнул: «Быстро! Быстро!»

Лысенко, помимо своей воли, вобрал голову в плечи — снаряд взвизгнул и чухнулся в десяти метрах от дороги. Красавчик вздыбился, осел на задние копыта, но капитан пришпорил его, и меринок перешел на галоп. За ним во весь опор помчались упряжки. Теперь уж ничто не могло остановить их, и если снаряд накроет дорогу, то он накроет всю батарею: ни остановить, ни свернуть в сторону уже нельзя. Думая об этом, Артюхов отсчитывал про себя секунды: раз, два, три... Он знал, сколько надо секунд, чтобы перезарядить орудие... Ну а если немцы вели пристрелку не одним орудием?

Колеса стучали: ду-ду-ду...

Зарядные ящики громыхали на выбоинах.

Позванивала чека в ушке хобота.

Но еще громче стучало сердце. Даже сквозь тряску и грохот колес он слышал его стук. Василий говорил себе: «Спокойней, ну спокойней. Так. Немец уже дослал снаряд в казенник. Осталось закрыть затвор. Закрыл. Еще две секунды даю ему на поворот. Готово».

И в тот же миг, заглушая трескотню колес и бешеный стук сердца, над головой просвистел немецкий снаряд.

Василий приподнялся и вздохнул с облегчением: «Жив!» Он хорошо знал, что снаряд, полет которого ты слышишь, предназначен не для тебя...

Сзади звонко треснуло и тотчас же, словно эхо, рвануло еще два или три раза кряду. Стреляла гаубичная батарея; стреляла, судя по всему, такими же снарядами, которые валялись в плетенках на обочине. Взрывной волной чуть было не сбросило шапку с головы Василия, но он вовремя удержал ее рукой.

Комбат по-прежнему скакал впереди. На вершине пригорка маячили опоры высоковольтной линии. И лишь только упряжки вымахнули сюда, на взгорок, как нежданно-негаданно открылась панорама города. Прямо, в конце широкой просеки, где обрывалось шоссе, виднелись замысловатые купола церквей. Десяток, а может, и больше маковок: больших, малых, округлых, вытянутых в высоту. Это тебе не церковь в селе Покровском — собор, и скорее всего — не один, а несколько соборов: так строили на Руси в старину. Левее маячила одинокая заводская труба, и там, в той стороне, освещенной солнцем, пестрело нагромождение кирпичных домов, теперь уже разбитых.

И разом все затаили дыхание: вот они — Кресты! Еще

четверть часа такой же быстрой езды — и батарея на рысях ворвется в город, о котором столько было передумано и говорено. Но впереди, казалось, близко-близко, шел бой. Длинные пулеметные очереди сплетались с беспорядочной и бесперебойной трескотней автоматчиков, крякали снаряды и мины, и земля, окутанная синеющей дымкой, словно бы шевелилась и постанывала, как живая.

Батарея свернула с дороги на просеку, среди которой чернели ажурные опоры высоковольтной линии.

Комбат остановился, подождав политрука, трусившего на костлявой кобылке, поехал с ним рядом.

— Огрызается! — переводя дыхание после быстрой езды, сказал Зотов.

— Недолго ему осталось огрызаться. Видишь?

Весь лес вдоль просеки заставлен был тридцатьчетверками. Танки замаскированы лапником — виднелись только длинные орудийные дула. В глубине рощицы дымили кухни, горьковато пахло осиной. Слышались слова команды: «Взвод — разобраться!» Возле танков мелькали пехотинцы. Видимо, готовился танковый десант.

Снаряды теперь пролетали высоко. Напряжение спало; Артюхов перевел дух и осмотрелся. Солнца уже не было видно, но фарфоровые изоляторы, висевшие на мачтах высоковольтной линии, еще светились. Справа, куда уходили опоры, виднелась черная, прокопченная труба, а за нею, еще дальше, синел бак водонапорной башни с покатой крышей. Там, наверное, был железнодорожный вокзал.

Батарея углубилась в лес метров на триста, если не более. Тут, вдоль опушки, стояло еще три или четыре батареи; орудия были изготовлены к стрельбе, но не стреляли. Снег на просеке был распорот гусеницами. Зарядные ящики бросало из стороны в сторону. Артюхов спрыгнул с подножки и, выбрав глубокий след от гусеничных траков, пошел по нему.

Наступали ранние зимние сумерки. Перестали светиться грозди изоляторов. Курчавые облака, которые теперь были не над головой, а впереди, над лесом, уже не розовели более, не голубел снег, не блестели следы от орудийных колес. Разом все стало одноцветным, серым: и небо, и лес, и снег.

Комбат спешился, сказал негромко:

— Орудия — с передков!

Упряжки стали. Батарейцы подхватили пушки на руки,

сняли с передков и дружно поволокли их под горку, на ту сторону просеки. Подминая копытами гибкий березняк, коренники покатили передки в лес, в укрытие.

Артюхов спустился в овражек — поглядеть, нельзя ли в затишке поставить лошадей на ночь.

В сумерках мелькали силуэты бойцов. Солод расчищал снег для орудийного дворика. Ахмед стучал топором, срубая елку для опорных клиньев. Бутин киркой долбил землю... И не слышно было ни команд, ни окриков, ни сдержанной перебранки бойцов: каждый знал свои обязанности и в точности исполнял их. Война стала для людей привычным делом — как всякая иная работа. Трудная, опасная, кровавая — но работа. Война становилась ежедневным трудом, и, как от всякого труда, от того, насколько проворно и сноровисто исполнишь его, зависело все: и жизнь и смерть.

18

Из Горушки на хутор Малахов возвращался грустный и подавленный. Веселая вечеринка, которую так здорово придумали Никифоров и Зенкин, окончилась неожиданно трагически. Это смятенное и подавленное настроение усиливалось еще зловещими всполохами зарниц — в той стороне, куда ушли наступающие войска. Сомнений не было у Ивана: то шел бой за Кресты. Малахов впервые видел бой издалека, со стороны, и теперь с беспокойством и тревогой поглядывал на небо. «Вот как это бывает!» — думал он, шагая по разбитой дороге. Земля в стороне Крестов содрогалась и гудела. Небо пылало багровыми всполохами; когда пламя дальнего пожара разгоралось, вершины сосен и елей освещались, как днем, становилось жутко. Не попив чаю, Иван лег спать. Но заснуть долго не мог: Максимов каждый час будил очередную смену караула, ребята подолгу кряхтели, ворочались.

Утром, наспех позавтракав, Иван взял с собой Чихачева, и они пошли в Горушку.

Деревенька оказалась пустым-пуста: ни машин, ни зениток, ни обозов. Укатили вслед за наступавшими частями и продовольственный склад, и боепитание: танкисты отбыли к месту формирования новой части; в доме Колобовых не было уже ни расторопного старшины, ни воен-

техника, только стоял на столе гроб с телом Лиды. В избе толкались бабы да старики. «Эх-хе,— горестно вздохнул Прохор.— Вот до чего изверги село довели: некому могилу вырыть».

Малахов взял все на себя. Оставив двух бойцов для охраны склада, Иван приказал всему взводу явиться в село; его ребята копали могилу, и несли гроб, и отдали погибшей последние воинские почести. Друзья Прохора, партизаны, уже сдали свое оружие. Даже у командира отряда, секретаря райкома партии Похвистнева, не было ни автомата, ни пистолета, и полушубок черной дубки, в котором видел его Малахов в тот вечер, он снял. В стоптанных валенках, в поношенном пальто, в очках, Похвистнев еще больше походил на сельского учителя, только шапка у него была серая, армейского образца. Он засунул ее в карман, и она топорщилась там, словно рукавица,— свисали серые длинные тесемки.

Похвистнев стоял возле могильного холмика, который подправляли лопатами Максимов и Чихачев, и, сняв очки, вытирал их платком.

Лиду Колобову похоронили на самом почетном месте, посреди села, на площади перед школой. Тут уже высился один могильный холм: неделю назад были захоронены останки бойцов, убитых во время разведки боем. Заснеженный холм этот еще не венчался ни деревянной пирамидой, ни пятиконечной звездой, просто на фанерном листе, прибитом к столбику, рукою ротного писаря было написано тушью:

«Красноармеец 2-й роты ЕФРЕМОВ Н.
Ст. сержант ИКОННИКОВ И. А.»

Малахов не знал этих ребят — рядового Ефремова и старшего сержанта Иконникова,— может, они были даже из другого полка. Но все равно сердце у него замерло при виде этого заснеженного холмика. Вдруг ему представилось, что и он мог бы лежать вот так же... Он инстинктивно пощупал медальон, выданный Тябликовым в вагоне. На месте! Иван не удержался, подошел к Похвистневу, помялся и сказал:

— Памятничек-то того...

— Сделаем, будет время! — отозвался Похвистнев.— Вот восстановим МТС. Придут мастера с войны, откуют и памятник и ограду.

Услыхав, о чем они говорят, Прохор затряс головой:

— Теперь уж огораживай не огораживай. Надо было б раньше, в бою, огораживать-то! — Он уткнул лицо в кусок холста, на котором спускали гроб, и заплакал.

— Ну, ну, Прохор Васильевич! — потрепал его по плечу Похвистнев.— Крепись, дружок.

Прохор мало-помалу затих; вытерев лицо холстом, стал просить Похвистнева, чтобы тот не уезжал сразу, а зашел к ним на поминки.

— И вы, Иван Григорьевич, не уходите,— обратился Прохор к Малахову.— Зайдем к нам, помянем. Так уж положено.

— У вас своих много,— уклончиво отозвался Иван.

— Вы тоже нам теперича не чужой,— глухо сказал Колобов и в упор посмотрел на Малахова воспаленными от бессонницы и слез глазами.

— Не отказывайтесь, товарищ лейтенант...— Похвистнев надел очки. В очках его и вовсе нельзя было принять за партизанского командира. Подслеповато щурясь, он глядел на то, как бойцы малаховского взвода вершили холмик. Зима была морозная — земля промерзла глубоко, глинистые комья осыпались; ребята норовили захватить побольше снежку, чтоб снегом выровнять неровности. Когда наконец бойцы подобрали комья, могильный холмик закрыли хвоей. Так уж заведено в этих местах — еловые и сосновые ветки заменяют северянам цветы.

Михайловна зарыдала навзрыд, бросилась было на этот холм, но бабы удержали ее.

— Мама! Не убивайся!

— Ну перестань, мама. Не надо.

Старшая, замужняя, дочь и Тоня подошли к матери, взяли ее под руки, отвели в сторонку.

Похвистнев вынул из кармана шапку, повертел в руках, видимо, хотел надеть, но, вспомнив про салют, повернулся к Малахову:

— Все!

Малахов скомандовал взводу построение.

Старики и бабы, толкаясь, стали отходить от могилы, освобождая место. Лишь мальчишки мешались под ногами.

— А ну, хлопец, возьми-ка лопату! — Максимов бросил лопату какому-то подростку в латаном-перелатаном ватнике, достал из-за спины карабин.

Достали карабины и другие бойцы взвода. Малахов вынул из кобуры свой пистолет и, когда все было готово, скомандовал: «Залпом, пли!» И в тот же миг упругие и неестественно резкие звуки выстрелов разорвали тишину. Эхо подхватило их и понесло за околицу. С куполов церкви взлетели галки и загалдели, кружась над селом. Стреляные гильзы, падая в снег, шипели и тут же становились черными.

Мальчишки подбирали их.

— Солдат хоронили — стреляли из автоматов! — сказал подросток в залатанной телогрейке, он стоял возле Максимова и всякий раз, когда падала гильза, накрывал ее подошвой подшитого валенка.

— А из карабинов еще лучше! — сказал веснушчатый остроносый паренек.

— Вот если бы генерала хоронили,— сказал третий,— так стреляли бы из пушки.

Отсалютовав, бойцы взвода взяли карабины на руку и, чеканя шаг, прошли по площади мимо могил, отдавая погибшим последний воинский долг.

Сыпал крупный, ленивый снежок. К сараюшкам и банькам, сторожившим село, из черных хвойных боров крались ранние зимние сумерки. Малахов скомандовал взводу «вольно!» — и ребята, нарушив строй, пошли не спеша вдоль улицы.

Впереди оказался Похвистнев. Одной рукой он поддерживал Михайловну, а в другой держал серую армейскую шапку. Он так и не надел ее. Глядя на его сгорбившуюся спину, Малахов представил себе, о чем думает секретарь райкома. Вот прокатилась по его деревенькам война... Прокатилась дважды: первый раз, когда отступали наши, другой — теперь. В каждой деревеньке — холмики братских могил. Тяжело глядеть на них изо дня в день. Тяжелы и другие отметины войны: разоренные, сожженные села, пустые хлевы и конюшни, развалины на месте мастерских МТС.

По мере того как люди выходили из избы, сумерки заполняли ее серой, безысходной скорбью. Помянув Лиду, последний бой, когда они столько положили немцев, что снег почернел от трупов, разъехались партизаны из соседних сел: Пролета, Вертечного, Липной Горки. Опустел и

«бабий» угол. Соседки и Лидины подружки разошлись по домам. После трех бессонных ночей Михайловна едва держалась на ногах. Бабы увели ее в запечье, за занавеску, и разошлись: у каждой своих забот полон рот. Ушли и бойцы малаховского взвода, и в избе стало пусто, сумеречно и тоскливо.

«Самая пора и мне бы уйти»,— подумал Малахов, но сил подняться у него не было. Не потому не было сил, что он крепко выпил,— нет! Он сам держался и ребятам заказал строго-настрого: выпить по одной рюмке — и марш в расположение. Иван сидел за столом на широкой лавке, и было ему хорошо, будто он — в родной своей избе. Вспомнился тот вечер: пляска девушек, игра «на интерес», теплые Тонины ладони на плече... И лишь при одной мысли о том, что вечер этот никогда уже не повторится, у него щемило сердце.

Тоня убирала посуду. Она поставила на стол большой эмалированный таз и осторожно, стараясь не звенеть приборами, складывала ножи и вилки, рюмки и граненые стаканы. Собрав посуду, Тоня в тот же таз стряхнула полотенцем крошки и, прежде чем отнести посуду на кухню, подошла к Филиппу Васильевичу, сидевшему напротив Малахова.

— Дядюшка, шел бы ты спать,— сказала она, убирая тарелку с клюквой, к которой Филипп Васильевич так и не прикоснулся за все время.

— Тонечка, голубь мой. Мы еще немного покалякаем с лейтенантом. Он добрый человек, поймет меня.

— Чего калякать! Устали небось? А лейтенанту еще и на хутор идти на ночь глядя.

Малахову так хотелось, чтобы она побыла рядом как можно дольше. Но Тоня подхватила таз и ушла...

Иван проводил ее взглядом.

— Ты на Тоньку не заглядывайся! — перехватив его взгляд, сказал Филипп Васильевич.— Как крестный отец — я запрещаю! Я на Тонькиной свадьбе хочу еще погулять. Понял? Я т-тебе не Прохор. Я не чета ему. Понял?

И, наклонившись над столом, Филипп Васильевич — уж в который раз — начал рассказывать свою грустную историю. Историю о том, как он ушел из деревни, служил ремонтным рабочим, ходил по путям, менял шпалы, забивал кувалдой костыли, как стал затем осмотрщиком

пути, старшим рабочим, бригадиром, мастером. В конце октября, когда немцы подошли вплотную к Ворожбе, железнодорожники под непрерывными бомбежками ремонтировали пути, пропуская эшелоны на Ленинград. А когда враг все же прорвался к станции, рабочие взорвали депо, мосты и выехали на восток. В этой круговерти, как теперь толковал Филипп Васильевич, он сробел, дал промашку. Ему казалось, что Ворожбу наши не отдадут. А если отдадут, то на день-другой, пока не подойдут свежие части. «Зачем же из-за какой-нибудь недели грузиться со всем своим многочисленным семейством в вагоны и ехать к черту на кулички?» — подумал Филипп Васильевич. Раздобыл подводу, усадил в розвальни детишек, жену, погрузил скарб и поехал.

— Под бомбежку попал раза два, пока ехал,— рассказывал Филипп Васильевич.— Вижу: банька, мосток, родной хутор на пригорке... Я еще разбирал пожитки во дворе, вдруг вбегает Прохор: немцы! Я выглянул на улицу: у мостка тарахтят немецкие мотоциклисты. «Ты тут останешься, Филя, или со мной пойдешь?» — спросил Прохор. «А ты куда?» — «В лес!..» — «Куда мне в лес с такой-то оравой»,— думаю. У брата, знать, все заранее обдумано было с Похвистневым, и даже винтовка была. Он ту винтовочку под мышку, через забор перемахнул — да в лес. Немцы уже кативши по улице. В оторопи я сунувши партбилет в пелену — и в избу. Думал — ничего, отсижусь. Вот и отсиделся! — Филипп Васильевич подпер подбородок ладонями и уставился на Малахова помутневшими от самогона глазами.— Кто я теперь? Филя, как есть Филя.

Он был покрупнее брата; большие, как у всех Колобовых, ладони, лицо продолговатое, скуластое. Филя давно не брился, широкие скулы поросли неровно поседевшей щетиной, он был сух, высок, на тонкой шее торчал кадык.

— Ничего! — успокаивал его Малахов.— Освободят наши Ворожбу — вернетесь. Приметесь за дело, и все пойдет своим путем.

— Нет! Я презираю себя. Понял? Вернутся наши из эвакуации, как я им погляжу в глаза? Что я им скажу: где был? Отсиживался на хуторе? Да? Вон девчонка вобсемнадцати лет и та воевала. А я... я — трус. У-у-у...

Филипп Васильевич закрыл лицо ладонями и заплакал.

Малахов не знал, что делать, когда плачет мужчина: успокаивать, говорить слова утешения? Он уже говорил.

Иван хотел бы встать из-за стола, но Филипп Васильевич опередил его.

— Нет, лейтенант, ты посиди послухай! Ты добрый! Ты поймешь меня. Я за себя не страшился. Я что — прожил жизнь. Я за детей боялся.

Снова подошла Тоня, но уже без таза.

— Дядя Филипп! — Она потрогала его за плечо.— Полежали бы...

Тоня бросила дядин полушубок на лавку, кивнула Малахову, чтобы он помог ей. Иван вылез из-за стола. Они подхватили Филиппа Васильевича под мышки и повели к лавке. Дядя не сопротивлялся, только твердил все одно и то же, что за себя он не боялся, ему жаль было детей. «Ладно... ладно...» — повторяла Тоня, пока они волокли его. Филипп Васильевич все силился приподняться, но голова не держалась, не слушалась, и всякий раз он валился на бок. Наконец он смирился со своей участью: уткнулся в бараний мех и затих.

Пока они возились с дядей, руки Ивана не раз касались Тониных рук, и всякий раз при касании он испытывал чувство радости и испуга. Малахову хотелось хоть чем-нибудь выказать свое участие. Он не удержался и, когда Тоня укрывала дядю, захватил ее руку в свою и попридержал. Она замерла, остановилась на какой-то миг, но взгляда на него не подняла.

— Спасибочки! — обронила Тоня и, выпростав руку из-под его ладони, подняла на него взгляд.

Глаза ее не вспыхнули радостью, но в них не было и осуждения.

— Ну что ж, Прохор Васильевич, горе есть горе. Но что случилось, того уже не поправить. Давай-ка лучше подумаем о будущем,— сказал Похвистнев.

— Может, в другой раз?! — Колобов чувствовал такую усталость, что разговаривать о делах не было у него охоты.

— Сегодня ночью должна решиться судьба Крестов. Если наши возьмут город, то не скоро загляну к вам. Много будет дел и в городе.

— Это понятно,— согласился Прохор.

Они сидели рядом — уже не в вышнем углу, а сбоку стола,— на скамейке,— и свертывали самокрутки. Прохор крутил козью ножку. Пальцы корявые, гнутся плохо, а

поди-ка, как у него ловко все выходит! Крутил-крутил не спеша косой листок газеты, вдруг потянул его — и образовался длинный-предлинный мундштук. Повертел его в губах, загнул раструб и, посасывая самокрутку, полез в карман за кисетом.

— Давай-ка попробуем твоего самосада,— сказал, оживляясь, Похвистнев.

Прохор достал кисет, развязал тесемки и сыпанул на ладонь Похвистнева зеленовато-серой душистой махры. Щурясь и собирая морщинки на лбу, полез за новой порцией для себя.

Увидев этот матерчатый кисет, Малахов вспомнил вдруг, как тогда, под Покровским, в первую свою встречу с Колобовым они вот так же мастерили самокрутки. Он не помнил теперь, о чем они тогда говорили, но хорошо помнил, что самосад у Прохора хорош. Им выдавали табак — тягучий, как войлок, и безвкусный, как болотный мох, одна затяжка из прохоровской махорки стоила целой ихней самокрутки. У Ивана и теперь при одном лишь виде Прохорова кисета слюнки потекли.

— Дай-ка и я заверну за компанию! — сказал он, подсаживаясь к ним на скамью.

Колобов протянул Малахову газету, сложенную уголком; Иван торопливо стал мастерить самокрутку. Похвистнев достал зажигалку. Зажигалка была трофейная, в форме лошади. Он нажал на холку лошади — раскрылась пасть, вспыхнул огонек; и они все по очереди прикурили.

— Я и сам понимаю: пора за дело приниматься,— первым заговорил Прохор.— Но не знаю, с чего начинать.

— Ваши бабы — молодцы! — сказал Похвистнев.— Они не дали промашки. Как ни старались немцы растащить колхоз, удалось сохранить кое-что.

— Да цто там! — отмахнулся Прохор, хитровато прищуриваясь.

Похвистнев знал, что Колобов не от дыма щурится, а от затаенной мысли: Прохор прижимист и не любит хвастаться.

— Я тут походил, поговорил с бабами и старичками. Говорят, и лошадей десяток есть, и фураж, и сбруя. Во второй бригаде и коров будто удалось сохранить.

— Коров — ницаго, наберется полсотенки,— согласился Колобов.— Молодняка немного имется. Овцы есть.

Похвистнев вынул изо рта самокрутку и не дымил больше: настолько был поражен.

— Коров и овец раздали колхозникам. Бабы увели с собой в лес и сохранили. А молодняк Ефремка Воевод угнал на Вологду. Справлямши я — в Бору они застряли. Потеплеет немного, поеду. Думаю стельных вернуть, а непокрытых телок и бычков сдадим в заготовку.

— А как с кормами?

— С кормом перебьемся. Овсянку мы почти всю заскирдовали, да и сенца имеем. Возле дорог-то немцы стожки подобрали. Что немцы не успели, то наши подхватили. Оно понятно: обозы у армии большие, лошадей кормить тоже чем-то надо. Да только мы возле дорог-то мало по осени стожков ставили: возить не на чем было. Все больше по болотам. Лукьяныч сказывал — стожки целы.

— Приезжай на недельке в район,— сказал Похвистнев.— Оформляй новую печать и начинай командовать.

— Че, за председателя?

— Больше некому, Прохор Васильевич.

— Не потяну, Фомич. Можа, из бабенок подберем кого? Хушь ту же Варвару.

— Потянешь! Сколько лет бригадиром ходил, справлялся. А теперь тем боле.

— Грамоте мало умею — вот в чем беда.

— Приставим к тебе грамотея,— возразил Похвистнев.— Вон хоть Тоню.

— Тонька у нас звеньевая по льну,— возразил Прохор.— А лен теперича — первое дело. Льну у нас много.

— Нет, первое дело хлеб...— задумчиво отозвался Похвистнев.— Ленинградцы ждут. Вы раздавали что-нибудь колхозникам?

— Раздавали.

— И снопами?

— Малость.

— Соберете?

— Боюсь, что этого мы уже не соберем.— Прохор пятерней почесал давно не стриженную бороду.— У нас помимо этого есть. Только у меня на хуторе два сарая набиты снопами необмолоченной ржи. До самого князя. Завалимши трестой — немцы и не нашли.

— Вот с этого и начинайте! —Похвистнев бросил недокуренную самокрутку: не до нее было.— Молотить и молотить! День и ночь.

— Кому молотить-то?! Одни бабенки,— горестно вздохнул Прохор.— Теперь бы нам паровую молотилку. Помните, была у нас такая в коммуне?

— Ну как же? Я ж вам ее и сосватал. У Колобова Никиты отобрали.

— Сейчас дровишек бы напилили — и пошло дело.

— А я слыхал: в Поволжье катками вымолачивают.

— Катками — мусору больно много. К тому же лошади нужны.

— Н-да...— поддакнул Похвистнев.

Они посидели минуту-другую молча.

Малахов кинул взгляд на Прохора. Он видел каждую морщинку на его лице. Лицо это — скорбное и грустное — освещено было особым, характерным прищуром и чем-то напоминало лицо отца.

19

Батарейные «стратеги» оказались правы: в Крестах мы навязали немцам ночной бой. Оно и понятно: днем неприятельская авиация сдерживала натиск наших войск.

Немецкое командование стремилось любой ценой удержать Кресты — узел железных и шоссейных дорог, ведущих к Ленинграду. Сюда были стянуты остатки ударной группировки «Бекман», обескровленной за месяц тяжелых беспрерывных боев.

Перегруппировав силы, наше командование готовило штурм города. В подразделениях формировались ударные группы. Каждой роте придавалось два-три орудия, взвод минометчиков, отделение саперов, отделение автоматчиков и минимум пять станковых пулеметов.

Полковая батарея должна была следовать в боевых порядках батальона Кузовлева, которому ставилась задача — овладеть локомотивным депо.

Из лесочка, где сосредоточилась батарея, виднелась ребристая крыша депо и невысокая, наполовину обвалившаяся труба. Вправо от депо горел пакгауз. Дым несло в сторону леса. Из-за железнодорожной насыпи сквозь дым вылетали светляки разрывных пуль. Вдоль просеки, готовясь к броску, накапливалась пехота. Ожидая сигнала к атаке, бойцы прислушивались к грохоту близкого боя.

Перемешивая гусеницами снег, на дорогу стали выползать тридцатьчетверки, облепленные автоматчиками. «Так. Значит, в дело пошел танковый десант,— решил Артюхов, наблюдая за тем, как выходили на исходную танки.— Сейчас наша очередь». Орудия были уже на передках; упряжки и прислуга — наготове.

Во время короткой рекогносцировки, проведенной совместно с комбатом, решено было орудия подвезти к насыпи. Здесь снять их с передков, лошадей отвести назад, в укрытие, а пушки брать на себя. Все подступы к депо завалены сгоревшими вагонами, изрыты воронками: на лошадях не проскочить.

Округа гудела. Слева, около водонапорной башни, дружно бухали гаубичные батареи. Земля содрогалась от разрывов.

Немцы догадывались о нашем замысле. Из-за насыпи, из-за развалин вокзала и депо тут и там взмывали в небо осветительные ракеты. В ярком и неровном их сиянии возникали очертания городских строений с пустыми глазницами окон, силуэты обгорелых вагонов и паровозов на путях.

— Пошел! — крикнул вдруг капитан.

И в тот же миг дробно застучали орудийные колеса. Упряжки понеслись. Застоявшиеся в ожидании бойцы тронулись следом.

Опушка леса вдоль высоковольтной линии, где под вечер не протолкнуться было от танков и орудий, разом опустела. Дымились только батальонные кухни да тлели под черными навесами сосен красноватые угли непогашенных костров.

Шоссе, ведущее к городу, тоже было пустынно. Лишь изредка впереди, у насыпи, словно искры, высеченные конскими копытами, чиркали взрывы мин. Теперь уже никто не ехал на передках: ни прислуга, ни командиры, даже комбат, оставив Красавчика в лесу, бежал, держась поближе к обочине. Все бежали — и Артюхов, и политрук, и майор Кузовлев, и комроты Барсуков, и рядовой Васюрин... Бежали пулеметчики, автоматчики, саперы с рогатинами миноискателей, связисты с катушками. Бежали дружно, сосредоточенно — не матерясь и не переговариваясь; и в этом дружном стремительном беге была какая-то скрытная слитность. Василий подумал и уточнил: слитность и сила.

У железнодорожной насыпи, где шоссе сворачивало вправо, к горящему пакгаузу, упряжки остановились. Остановились и бойцы. Все: пехотинцы, батарейцы, саперы — без команды и излишней суматохи подхватили орудия с передков и на руках понесли их наверх. Было что-то грозное в этом молчаливом согласии. Насыпь сразу как будто ожила, задвигались тени, защелкали винтовочные выстрелы. Тотчас же по насыпи ударили немецкие пулеметы. Светящиеся трассы разрывных пуль прошили небо.

— Быстро! Быстро!

Артюхов узнал голос комбата. Значит, капитан был тут. Но понукать и торопить бойцов — излишне: все знали, что успех дела в быстроте. Орудия мигом спустили с насыпи. Под насыпью чернели развалины какого-то строения: видимо, до войны здесь было общежитие паровозников или комнаты для отдыха резерва проводников. Сараи и надворные постройки сгорели, обуглились стволы могучих тополей, но часть кирпичных стен сохранилась. Под прикрытием этих стен и развернули батарейцы свои орудия. Вся поляна вокруг была истыкана язвами воронок, изрыта окопами и ячейками. Еще час назад тут проходила наша передовая.

Как только бойцы прикатили из-за насыпи зарядные ящики, Артюхов приказал изготовить орудия к бою. Дула выдвинули в оконные проемы, сошники подбили заранее приготовленными клиньями, присыпали битым кирпичом. Пока батарейцы суетились возле орудий, Василий приглядывался к депо. Мрачное, с полуобвалившейся крышей, оно высилось впереди, за неисчислимым множеством путей, заваленных сгоревшими вагонами.

«Небось стены-то в метр толщиной — снарядом не прошибешь!» — думал Артюхов. Он знал, что такое депо. Рядом с Орловкой — станция Покатилово, там тоже есть старое депо; стойла для двух десятков паровозов с высокими стрельчатыми воротами, поворотный круг, полно всяких каменных пристроек: котельная пескоструйка, токарная мастерская... «Подвалы-то небось с железобетонными перекрытиями»,— решил Василий.

Оттуда, от депо, раздавался характерный перестук станковых пулеметов: словно клепали заклепки десятки пневматических молотков. Стреляли немецкие МГ-34: теперь Василий уже знал, что это такое. Внизу, на бето-

нированном днище поворотного круга, пряталась минометная батарея — немцы ошалело сыпали минами. Из-за развалин стен бухали орудия. Казалось, что кто-то невидимый в темноте методически, могучей рукой толкает, открывая и закрывая, двухстворчатые ворота паровозных стойл: всполохи орудийных выстрелов высвечивали чрево депо. В пламени этих всполохов видны были силуэты искореженных вагонов и цистерн, стоявших и валявшихся на путях перед депо. Теперь по всем этим путям, по изрытым воронками насыпям, по разбросанным штабелям шпал, по обуглившимся косогорам шлаковой накипи, горбатясь, припадая к земле, ползли, бежали пехотинцы и саперы.

— Это еще с октября лежат. В середине октября он тут сильно бомбил,— услыхал Василий голос Зотова. («Значит, политрук остался с нами,— подумал Артюхов,— а комбат, наверное, ушел со взводом Пеканова». Как-то тревожно стало и вместе с тем радостно: выходило, что капитан доверял ему.) — Они прилетали днем, по десятку сразу, шли низко, волнами. А на путях — эшелоны. Тут одних железнодорожников, говорят, погибло...— Рассказывая, политрук помогал ребятам устанавливать орудия.

Сквозь пулеметную трескотню до Артюхова долетали лишь отдельные слова из рассказа Зотова. Удивительное дело: политрук не был в Крестах во время налета авиации, но он так красочно, с такими деталями рассказывал, что Василий ясно себе представлял, как все это было.

Решив предпринять наступление к Свири с целью соединения с белофиннами, гитлеровцы начали с удара по ближайшим нашим тылам. Их путь лежал через Кресты. В середине октября немцы подвергли этот тихий районный городок варварской бомбардировке. Целью «юнкерсов» был в основном железнодорожный узел. Бомбардировщики прилетели днем, в открытую, огромными стаями. На станционных путях — вот на этих самых путях, которые теперь то и дело высвечивались вспышками выстрелов,— стояли эшелоны. Эшелон с продовольствием, который должен был подаваться к Ладоге. Эшелон с ранеными из-под Волховстроя. Эшелон с эвакуированными из Ленинграда. Эшелон с горючим. Эшелон с боеприпасами... После первого же захода взорвался нефтеналивной... Горели цистерны. Рвались боеприпасы. Метались раненые.

Железнодорожники: машинисты, сцепщики, составители поездов, бойцы пожарного поезда — все от мала до велика боролись с огнем, растаскивали эшелоны, выносили из-под бомбежки раненых и пострадавших от ожогов. Все на путях было искорежено, исковеркано. В глубоких воронках валялись разбитые вагоны, исходили паром пробитые осколками котлы локомотивов.

Потом в Кресты пришли немцы. И вот уже месяц по путям, ведущим к Ладоге, не шли эшелоны. Ленинград голодал. Ленинград выметал, вычищал сусеки, чтоб наскрести мучицы и пыли на к о л о б о к. И этим колобком надо было накормить миллионы голодных ртов. Каждый понимал: все зависит от умения и храбрости Артюхова, Зотова, Ахмеда, Бутина... Сдвинут они фашистов, освободят Кресты — и завтра же утром к Ладоге пойдут поезда с хлебом, мукой, сухарями.

— Огонь! — с ожесточением скомандовал Василий.

После первого же залпа та самая рука, которая толкала дверь депо вперед и назад, показывая его утробу, повисла плетью, перестала толкать, высвечивать, бухать. Но в тот же миг, как погасли всполохи орудийных выстрелов, на поляне, перед домом, где стояли пушки артюховского взвода, взметнулся черный снег.

Батарею накрыл минометный обстрел.

Василий, сидевший в ровике рядом со стеной, увидел, что на огневой второго орудия разорвалась мина. «Побудь за меня!» — бросил он политруку, а сам, пригибаясь, метнулся к орудию. Ранило командира орудия Мишу Бутина. Он сидел, привалившись к орудийному колесу, весь бок полушубка — в крови. Паня, распоров рукав гимнастерки, бинтовала рану.

— Все живы?

— Живы, товарищ лейтенант.

— А рана?

— Ничего!

Едва Паня перевязала его, Миша снова поднялся и, пошатываясь, пошел к орудию.

— Как же так «ничего»?! — сказал Василий.— Ты потеряешь много крови. Паня, немедленно в медсанбат его!

— А воевать кто будет? — отмахнулся Бутин.— У меня еще есть силы. Только одного хочу: побольше их похо-

ронить под обломками кирпича. Безбородко! — окликнул он наводчика.— Дай-ка я сам встану к панораме.

Пригнувшись к прицелу, Бутин левой нераненой рукой крутил маховик, стараясь навести орудие на пулемет, который мешал роте Барсукова подняться в атаку.

— Первое! — донеслось до Артюхова, это командовал политрук.

«Первое в надежных руках»,— решил Василий и стал помогать Бутину. Прицел готов. Кляцнул замок. Орудие, как живое, подпрыгнуло — и ха! И тут же: у-у... А пулемет все строчит. Гул, стон, трескотня автоматных очередей, и только, как из сна, из тяжкого забытья, доносится голос политрука: «За Родину!», «За Сталина!»

— Досылай! — командует в горячке боя Василий.

Командует, а сам не спускает глаз с Бутина: совсем стал плох башкир.

— Слушай, Миша! Ты едва держишься на ногах. Иди в санроту. Свалишься,— говорит ему Василий.

Бутин отполз от орудия. В затишке, под стеной, в неглубокой траншее, прикрытой брезентом, Паня оборудовала перевязочный пункт. Миша спустился в траншею. Паня снова перебинтовала руку, подала глоток горячего чая из фляги. Пожилой, в шинелишке, пехотинец охал и причитал что-то, а молоденький кричал Пане: «Сестра, перевяжи скорее! Мы уже в насосной. В насосной! Слышишь?»

Подавив ближайшие огневые точки врага, батарейцы на руках покатили орудия вперед, за опрокинутые цистерны. На путях валялись убитые, кто-то звал на помощь: «Сестра, сестра!» Из-за развалин депо все еще тявкали пушки. Судя по звуку выстрелов, стреляли орудия, спрятанные в ямах для чистки поддувал. Артюхов знал, что есть такие ямы в депо: в них ссыпается шлак, когда его выколачивают из поддувал и топок.

Взвод ударил беглым, одно вражеское орудие вскоре замолкло. Крики пехотинцев, то и дело поднимавшихся в атаку, заглушали трескотню автоматов. Через пути тянулся густой едкий шлейф дыма. Василий замешкался у панорамы — впереди не видно ничего, ударишь по своим. Вдруг к орудию снова подполз Бутин.

— Ты чего, Миша?

— Тоскливо, товарищ лейтенант! Не могу сидеть там. Не могу! Я ничего... Я одной рукой. Я знаю: к утру Кресты будут наши. Тогда уж можно и в медсанбат.

Артюхов понимал Бутина. Бывает так, когда вдруг наступает увлеченность боем. В такие минуты пропадает ощущение страха за свою жизнь и ты — неосознанно, в азарте — начинаешь чувствовать себя частицей вот этой лавины, которая со всех сторон катилась теперь к этому городишку с его пакгаузом, депо, с семиглавым монастырем... Из-за темноты, из-за дыма орудийных выстрелов ты не видишь всего этого могучего, бегущего, падающего, встающего вновь, орущего, стреляющего потока, но ты чувствуешь его всем своим существом. Это какое-то внутреннее озарение, когда ты уже не Василий Артюхов, а одновременно и пехотинец, ворвавшийся в насосную, и разведчик, подрывающий башню главных монастырских ворот, и сапер, обезвреживающий путь танкам у переезда.

Удивительное это состояние переживал теперь не только Бутин, но и сам Артюхов. Состояние это напоминает ощущение, когда в детстве натягиваешь можжевелую тетиву самодельного лука и чувствуешь по напряжению: еще можно... еще немножко... ну, еще... Нет, хватит, а то тетива хрястнет... и, забыв обо всем, ты кричишь: «Огонь!», «Огонь!», «Огонь!» А из-за поваленной цистерны, из-за черной бочки, по которой все время дзинькают пулеметные очереди, Кузовлев кричит сорвавшимся охрипшим голосом: «Артюхов! Долбани по поворотному кругу! У них там минометная батарея!»

И хотя тетива, как тебе казалось еще минуту назад, натянута до предела, ты оттягиваешь стрелу еще дальше: «Осколочным, прицел постоянный... Огонь!» Оказывается, и это еще не предел... Немецкая минометная батарея замолкла, в неярком, мигающем свете осветительной ракеты видно, как Кузовлев снова поднял свои роты в атаку. Можно! Еще можно! «Заряжай!..» И вдруг видишь, чувствуешь — все, предел: орудие раскалено, не стреляет, а выхаркивает снаряды. Ребята изнемогают, не успевают подносить снаряды из-за насыпи. Кто-то еще ранен: постанывая и матерясь, уползает назад, к Пане.

— Бутин, ты как себя чувствуешь?! — кричит Артюхов.

Бутин лежит рядом с лафетом, уткнувшись в землю.

— Безбородко! Бутина в санчасть!

Медлительный Безбородко нагибается, берет Бутина под мышки, оттаскивает от лафета назад, кладет поверх вороха стреляных гильз, а сам становится к панораме.

— Ты чего?!

— Готов...

Тетива хрустнула.

И именно в этот миг — по всему полукружью от монастыря и до пакгауза, заглушая автоматную трескотню, послышалось сначала нестройное, но с каждым мгновением крепнувшее «ура!». Неожиданно перед самым орудием вырастает долговязая фигура сержанта Глушкова.

— Артюхов! Переноси огонь за депо!

20

В предбаннике послышались чьи-то шаги и сдержанный шепот.

Малахов слышал и шаги и шепот, но головы не поднял. Он решил, что это Чихачев суетится с завтраком, или спички ищет, или костер у него не разгорается, и он собирает щепки от разломанного ящика; связист часто разговаривает сам с собой или матерится сквозь зубы, чтобы никто не слыхал. Иван повернулся на другой бок, натянул на плечи полушубок, намереваясь добрать еще каких-нибудь полчасика. Вчера они здорово наломались. Прохор решил начать обмолот ржи. Решить-то решил, а кому молотить? Вчера чуть свет Колобов пришел в баньку к Малахову. Иван угостил его чаем. Прохор вел разговор о том о сем, но о главном — чтобы бойцы помогли колхозу — он не заговаривал. Малахову смешно даже стало: недалеко уедет новый председатель при его скромности! Еще на поминках, слушая разговор Похвистнева с Колобовым, Иван решил, что обмолотить рожь колхозу — это дело бойцов его взвода. И, разрешая все сомненья Прохора, Иван сказал, что ребята помогут. «Дак оно, паря, ток прежде наладить надо!» — сказал Колобов. И вчера весь день, до самой темноты, они провозились на току: расчистили снег, выровняли площадку, залили ее водой, и теперь все, за исключением караульных, спали.

— Эй вы, сони! — Дверь в баньку приотворилась, и в светлой щели показалось лицо Тони — выбившиеся из-под черного полушалка волосы в инее, щеки разрумянились от мороза.

— Чего орешь? Там никого. Они на посту своем,— услышал Малахов голос Ани.

А тепло у них...— Тоня потихоньку прикрыла дверь.

— Поспать не дадут, черти! — завозился Максимов.— Я, товарищ лейтенант, только с поста сменился.

— Спи знай! — Иван свесил ноги с полка, где он спал, и глянул в оконце: рано еще! Но раз девушки приехали на работу, то и им пора.

Брюки его висели на гвоздике возле печки. Малахов сдернул их и принялся надевать, но в темноте долго не мог угодить в штанину. Наконец брюки надел, сунул босые ноги в валенки, гимнастерку не стал натягивать, чтобы не терять времени, а набросил поверх нательной рубахи полушубок и, толкнув плечом дверь, вышел из баньки. Ему показалось, что в предбаннике девчат уже не было — ушли. Пригнувшись, он выглянул на волю. Вдали у мостка через речку тащилась повозка. Привалившись друг к дружке, в розвальнях сидели бабы и девки: все в платках, ватниках, все на одно лицо, и все глядели сюда, на баньку.

Ясно: бабы знали, что Тоня и Аня побежали солдатам побудку делать, и теперь смотрели, чем эта затея кончится. Иван постоял в узком дверном проеме, приглядываясь, едет ли в розвальнях вместе с бабами Прохор — надо было спросить про цепы: обещал привезти вчера, а не привез.

Вдруг позади себя Малахов услыхал смех. Только он хотел обернуться, как кто-то холодными ладонями закрыл ему глаза.

— Угадай, кто?

Иван резко обернулся и увидел сияющее, довольное лицо Ани. А рядом стояла смущенная и растерянная Тоня. Он хотел обнять девушку, но не сумел: Аня вывернулась и, схватив Ивана за рукав, стянула с него полушубок. Он нагнулся за полушубком, и, пока поднимал, девушки выскочили из предбанника и побежали к мосту наперерез саням.

— А-а, попались! Я вас!

Иван натянул полушубок и побежал следом за девчатами. Он настиг их быстро, в сотне метров от мостка. Последней бежала Тоня, все время поправляя полушалок, сбившийся на затылок. Видя, что Иван настигает ее, она заметалась из стороны в сторону. Но он раскинул руки в стороны и, повторяя ее движения, стал наступать на нее; так ловят осенью кур в котухе, прежде чем посадить их в кошелку. Иван нагнал, повалил Тоню и метнулся за Аней.

Аня — юла, опять вывернулась, уцепилась Ивану за рукав и вновь стянула с него полушубок. И, не выпуская полушубка, побежала к дороге. Бабы уже остановили розвальни, спешили на помощь девчатам. Если успеет подкрепление, Ивану туго придется. Аня бежала, волоча полушубок по снегу. Почувствовав, что Малахов настигает ее, она бросила кожух, надеясь, что Иван остановится, чтобы поднять его. Но Иван не остановился, а перепрыгнул через полушубок и продолжал бежать за нею.

— Аня, держись! — кричали бабы.

Малахов, запыхавшийся, разгоряченный бегом, наскочил на девушку.

— Вот я тебе сейчас поддам румянца! — Иван захватил пригоршню снега и, чувствуя, как он тает в ладонях, стал тереть Анины щеки. Аня крутилась, вертелась, норовя вырваться, но Иван крепко держал ее за руки.

— Сдаешься?

— Нет.

— Сдаешься?

— Нет.

— Аня, скажи «сдаюсь!».— Тоня стояла в стороне на снегу, поправляя сбившийся платок. В глазах у нее зависть.

От неожиданности Малахов замер и весь расслабился — он понял: Тоня ревнует. Он привстал, схватил Тоню за руку, повалил рядом с Аней.

— Сдаетесь?

Подбежали бабы, охали, галдели, но в свалку вступать не спешили.

— Во! С двумя один управился! — восторженно сказала Аня.

— А чего ж ему! Он государственный паек трескает. Небось с одной картошки бабу не повалишь! — в тон ей отозвалась молодка в длинном, ниже колен, ватнике.

Прохор распахнул ворота сарая. Бойцы малаховского взвода подхватили и вынесли на волю мялки. Бабы вилами принялись вычищать сарай от конского навоза. Сарай был большой. Половина его пустовала — тут какое-то время Артюхов держал лошадей.

— Хватит вам, бабы! От лошадиного добра дух хороший. Засыпем сейчас трестой — сойдет.— Прохор взял в

руки вилы и начал разгребать ворох тресты, который высился до самого князя.

Малахов не мог понять сразу, что делал Прохор. Он только бросил коротко ребятам:

— Погасить папиросы!

Чихнув раз-другой, Иван подхватил из рук Тони вилы и стал помогать Прохору. Неожиданно рожки ударились во что-то упругое, неподатливое. Иван нагнулся, пощупал рукой — снопы! Когда отгребли тресту, оказалось, что сарай до самого верха набит снопами ржи. Стог сложен умело — разобрать его нелегко. Попробовал Иван: сноп с торца не ухватишь.

— Наденьте рукавицы, Иван Григорьевич,— посоветовал Прохор.

— Ничего, и так сойдет! — Малахов взял сноп за перевясло и потянул его, вынимая из скирды. Сноп, который он достал, был тяжел, хорошо налитые колосья слежались. Повеяло пряным запахом зерна и ржаной соломы. Это так остро напомнило детство, что у Ивана запершило в горле.

— Хорош! — Иван подержал сноп и бережно, как ребенка, передал его Прохору.

Прохор — Максимову, Максимов — Тоне. И поплыл по рукам тугой, тяжелый сноп, связанный крепко-накрепко крученым перевяслом: от солдат — к бабам, от баб — к солдатам, на волю, к току. За первым снопом — второй, а там и третий. За четверть часа Малахов распочал стог настолько, что под крышей можно было работать выпрямившись во весь рост, а не гнуться в три погибели, как поначалу. Дело стало спориться. Разобрав угол скирды до самой земли, Иван разогнул спину, осмотрелся. Неужели так и будем носить снопы через ворота? Не мешкая, он выломал часть осиновых горбылей с той стороны, где был ток, расчищенный вчера бойцами. Теперь можно не выставлять снопы загодя, а брать их по мере надобности. Бойцы одни, без баб, с этим справятся. Бабы пошли на луг очищать от снега льняное стлище, а ребята, передохнув, взяли цепы.

Взять-то взяли, да много ль толку от таких работничков? Из всего взвода лишь одному Малахову приходилось держать цеп в руках, да и то давным-давно, в детстве.

В ту пору, когда еще не было колхозов, рожь всегда молотили зимой. Бывало, свезет отец снопы с поля, сложит

их в скирду. Всю осень он мыкается с картошкой и зябью и лишь зимой, управившись по хозяйству, принимался за молотьбу. Вскоре после рождества, как только по-настоящему станет зима, отец приводил в порядок ток: расчищал его от снега, разметал, чтобы в зерно случаем не попала землица, расставлял вокруг тока снопы, чтоб был затишек, и приступал к делу. Он не спеша раскладывал на току тугие пахучие снопы, при этом разговаривал с ними, как будто они понимали его: «Ну-ка ложись, шустрый ты какой!», «А теперь иди ты!» — и, убедившись, что снопы лежали ровно, как по шнурку, отец снимал овчинный полушубок, брал в руки цеп. Долго вертел в ладонях держалку, прилаживаясь. «С богом!» — говорил он и, взмахнув цепом, ударял по снопам. При каждом ударе брызгами сыпалось зерно. Отец в лаптях и стеганой безрукавке, не стеснявшей его движений, топтался с краю тока. Только и слышались размеренные удары: цок-цок! цок-цок! Утомившись, отец приставлял цеп в стогу, отходил в сторонку и, зажав самокрутку между ладоней, курил. На лбу у него выступала испарина. «Покуда цеп в руках, потуда и хлеб на зубах»,— шутил он.

Тем временем маленький Ваня незаметно подкрадывался к цепу и брал его в руки. Цеп казался ему тяжелым и неуклюжим. Как ни старался он, подражая отцу ударять билом по снопам, у него ничего не получалось. «Смелее! Смелее!» — говорил отец. Ваня что было сил крутил держалкой, однако валек чаще ударял по лбу, чем по снопам. Не столько намолотил, сколько голову себе наколотил.

«Ничего! — покурив, отец брал у сына цеп.— Все с шишек начинают. Привыкнешь!»

Со временем Иван, конечно, привык бы и молотил не хуже отца. Но наступили другие времена — мужики заговорили о «коммунии». Той же зимой, как только завьюжило, свели сельчане на поповский двор своих кобылок, свезли бороны и сохи и стали вести хозяйство сообща, колхозом. Появились машины: тракторы и молотилки, и цепы мужики попрятали под застрехи изб и сараев.

Потому-то так и вышло, что цеп Малахов в руках держал, а молотить не умел. Однако Ивану не хотелось выказывать свое неумение: и перед бойцами неудобно, и перед Прохором. Поплевав на ладони, Малахов, как заправский молотильщик, взял цеп, повертел его, прилаживаясь.

— Хорош? — спросил Прохор.

— Хорош! — отвечал Иван.

Цеп и в самом деле был хорош. Точеная державка легка, удобна, а дубовый валек с утолщением на конце, привязанный сыромятным ремешком, тяжел, увесист: залепишь по лбу таким — искры из глаз посыплются!

Разглядывая цеп, Иван не спешил им замахиваться: посматривал на Прохора.

Прохор снял с себя барашковый полушубок, бросил его поверх кучи снопов и взял в руки цеп.

— Не люблю чужой вещью работать: хушь косой, хушь лопатой. А цеп — тем боле. Мой-то хорош был: прятал на дворе да сгоревши.— Он кивнул в сторону, где вдоль косогора чернели печные трубы.

На пепелище маячила одинокая фигура: то ли собирал кто-то остатки пожитков, то ли складывал в кучу обгоревший кирпич.

Прохор поплевал на ладони и, не раздумывая, поднял цеп. Цок! Через минуту-другую — снова: цок-цок! Он ударял с видимой легкостью, но валек вертелся со свистом, зерна со звоном рассыпались во все стороны.

— Прилаживайтесь, прилаживайтесь.— Шмыгая подошвами подшитых валенок, Прохор отступил в дальний конец тока, освобождая место Ивану.

Малахов замахнулся. На всякий случай он вобрал голову в плечи, но в самый последний момент вспомнил совет отца: «Смелее!» — и ударил вальком со всего маху. И надо же такому случиться — получилось! Удар его пришелся в ритм и был четок, звонок. Иван почувствовал вдруг уверенность. Он приподнял голову, расправил плечи: теперь валька нечего бояться, важно почувствовать его первый раз. Выждав очередь, он взмахивал следом за Прохором и с резким выдохом ударял вальком по снопам. Только и слышалось: хах-хах! цок-цок!

Руки напряжены, а тело расслаблено, и только плечи ходуном. Иван никогда не молотил вдвоем, а это здорово! Молотьба, оказывается, совсем не требовала напряжения. Только надо было чувствовать ритм. Слышался глухой удар Прохора, и тут же звонкий, отдающийся в ушах удар Ивана: цок-цок! цок-цок!

Удары — словно музыка, словно колокольный звон на пасху, и ощущение такое, будто сегодня праздник. Кажется, нет никакой войны, и никогда Иван не стрелял, не убивал, не рыл братских могил и вообще никуда не уезжал

из родных своих Чепелей и что вот этот невысокий, сутулый мужичишка не какой-то чужой ему Прохор, а отец. И сейчас он, перед тем как переворачивать снопы на другую сторону, отставит цеп и, глядя, как по лицу Ивана стекают струйки пота, скажет: «Покуда цеп в руках, потуда хлеб в зубах».

И точно: настало время, и Прохор, крякнув в последний раз, пропустил удар, сложил цеп, воткнул его держалкой в снег и, переждав, пока то же сделает Малахов, нагнулся и стал переворачивать снопы.

Воспользовавшись передышкой, Иван снял полушубок. Гимнастерка на спине у него была мокрой и парила.

— А-а, вспотели! — Прохор заулыбался.— Мужика не шуба греет, а цеп.

Все посмеялись.

— Чего зубоскалите? — в сердцах огрызнулся Иван.— А ну берите цепы!

— Я, товарищ младший лейтенант, не держал его ни разу. Боюсь по лбу себе съездить.— Максимов улыбался, выставляя напоказ свои кривые зубы.

— Ну и съездишь раз-другой, подумаешь! Будут говорить: не столько намолотил, сколько шишек наколотил! — шутил Иван, выдавая себя за заправского молотильщика; в старину были такие, артелями ходили на юг, на Кубань.

— Нет уж! Если позволите, я лучше пойду обед сготовлю. После такой работенки вы небось один целое ведро кулеша опорожните!

— Иди. Да пожирней кондер свари. Сам сало не ешь,— пошутил Малахов.

— Будя, перекур! Ба! — радостно воскликнул Прохор.— Никак, Анфиса-почтарка идет?

От дороги к току шла высокая, нескладная на вид женщина. На ней был ватник и кургузые подшитые валенки, голова туго повязана клетчатым полушалком. Тяжелая дерматиновая сумка — не то черная, не то коричневая — оттягивала ей плечо, оттого было такое впечатление, что Анфиса идет не ровно, а боком. Шагая, она ловко, одним движением, перебросила сумку наперед, и Малахов, наблюдавший за ней, подумал, что Анфиса давно ходит тут в почтарках.

— Анфиса! Привет, привет! Давно не была. Соскучились! — Прохор радостно шагнул ей навстречу.— Ну

какие там, в миру, новости? Кресты-то наши взяли?

— Не знаю. Газеты еще старые,— Анфиса не разделяла радости председателя. Наоборот, лицо ее — моложавое, открытое — было, как показалось Ивану, скорбным и заплаканным.— Поди-ка, Прохор, пошептаться надо.

Они отошли в сторонку, и Анфиса что-то сказала Прохору. Малахов не расслышал, о чем они говорили, но по тому, как изменилось вдруг лицо Прохора, Иван догадался: в первой после месячного перерыва почте много печальных вестей.

— Говоришь, казенных конвертов много? — переспросил Прохор.— А откуда ты знаешь, что в этих конвертах?

— Сама только что...— Анфиса не договорила, отвернулась, чтобы Прохор не видел ее слез, прикрыла лицо рукавом ватника.

Прохор стоял рядом потерянный.

— Что — Федька твой?

— Да.

— Кажись, он под Смоленском был?

— Был в августе. А похоронен под Вязьмой... деревня Соколовка.

— А кому еще такие конверты?

— Дуське Хомяковой. Тихоновне. Катьке Ярцевой... Вот — пачка целая! — Она достала из сумки стопку конвертов, показала Прохору.

Прохор в этот единый миг словно бы усох вдвое: он стоял маленький, растерянный, с опущенными руками.

— Которые в солдатских треугольничках, разнести по избам,— сказал он.— А с этими конвертами приходи вечером в правление. Подумаем, посоветуемся: баб подготовить надо.

Тоня, тихая и усталая, села в сторонке от тока в стожок обмолоченной соломы, развернула на коленях узелок с едой, прихваченный из дому.

— Садись, батя.

— И то! — подхватил Прохор.— Чего там припасла нам мать?

Заметил Иван, что на подстилке у них чернели три или четыре картофелины да крохотный кусочек синего жомового хлеба.

Следом за Тоней снизу, от речки, потянулись и осталь-

ные бабы. Колхозницы разбирали лен на стлище, и теперь они шли молча — усталые, отчужденно-замкнутые. Поставив лопаты в сарай, они выходили оттуда каждая со своим узелком. Все норовили уединиться, только бабы-солдатки садились рядком, в затишке, у стен сарая. Им друг от дружки скрывать было нечего. У каждой в узелке спрятано одно и то же: пара картофелин в мундире да лепешка. Научились бабы одной щепоткой муки сдабривать тертую редьку и печь из этой смеси лепешки, будто дрочены на сковороде.

— Солдатики, идите — угощу: вы наших лепешек из редьки не евши? — шутила Аня.

«Она еще не знает»,— решил Малахов.

Иван догадывался уже, что Анфиса-почтарка — Анина мать.

— Жадный ты, Прохор! — сказала молодка в вылинявшем ватнике.— Хоть бульбы сварил бы из нового-то обмолота.

— Нельзя, бабы! Первую заповедь не выполнили. У нас хоть картошка есть, а в Ленинграде — ничего.

Малахов уже отвел было солдат на дорогу и построил даже, и только осталось скомандовать: «Шагом марш!» — то есть идти к себе в баньку, на обед. Там в закопченном ведерке кондер, кулеш солдатский с салом, хлеб крутой большими кусками нарезан. Максимов ходит вокруг стола, их поджидает. Но только подумал Иван о бабах-солдатках — все в нем перевернулось. Постоял, подумал — и вдруг:

— Разойдись! — скомандовал он бойцам.— А ты, Чихачев, давай к сержанту. Пусть несет сюда кондер, хлеб, котелки. Да пошевеливайся, бегом.

Солдатки жевали посиневшие на морозе картофелины. Малахов поглядывал на перевал за мостом. «Ну, наконец-то!» Из-под горы показались Максимов и Чихачев. Сержант нес ведро с кулешом, за спиной Чихачева топорщился ранец, в котором были хлеб, котелки и ложки. Ведерко с кондером поставили посредине, от ведерка — пар и дух аппетитный. Котелков и ложек было мало, Иван распорядился кормить всех по очереди. Сначала кулеш получили солдатки, потом — старики и бабы, а остатки — солдатам.

Максимов недовольно бурчал: «Россию одним-то ведерком не накормишь...»

Малахов и сам знал, что одним ведерком кулеша Россию не накормишь. Но сейчас он не мог поступить иначе. Он готов был на все ради того, чтобы видеть, как оживились бабы; с какой готовностью они брали котелки, ставили их на колени и, обжигаясь, торопливо ели кулеш; ели с жадностью, но не жадно, стесняясь, выбирая все до крошечки.

— Теперича и я небось с двумя б мужиками управилась! — сказала та самая молодайка в вылинявшем ватнике, которая укоряла Малахова казенным харчем.— На-ка, сержант! Да не гляди — вылизала чисто, мыть не надо.

Она подала пустой котелок Максимову. Сержант постучал по дну ведерка поварешкой — нарочно постучал, чтобы командир понял, что кондера осталось мало. Но Иван и бровью не повел на его сигнал. Смурыгнув по днищу раз-другой, Максимов наполнил котелок, подал его Тоне.

— Нате-ка, красавица, со дна погуще! — Сержант улыбнулся, оголяя кривые зубы.— А вам, товарищ младший лейтенант, шкварочки.

— Ничего, прикажу — еще сваришь!

— Лейтенант, давайте вместе! — Тоня протянула котелок Малахову, показывая, что кулеша хватит и на двоих.

— Ешьте, ешьте! Я подожду. Вон, батю угощайте.

— Ну что вы! — отмахнулся Прохор.— Я свое съел. Наша еда, известно,— картошка. Оно, если признаться по чести, с самой осени на одной картошке тянем. А в отряде иной раз и той не было.

Малахов сидел рядом с Прохором, и, если б кто увидел их со стороны, подумал бы, что сидят отец и сын: так они были похожи. Не обликом своим похожи, а позой, выражением лиц.

— Стлища готовы,— заговорил Прохор.— Дело за банькой: лен сушить надо. Не знаю, что и делать. Новую ладить сил нет. Но и вас беспокоить не хочется.

— Пусть закладывают на день и сушат. Днем мы на току.

— И то! — обрадовался Прохор.— Я так и скажу бабам. Только, извините, вещички ваши?

— У служивого все хозяйство при себе,— пошутил Малахов.

— Эт-то ясно — сам служил.

— Батя наш кавалерист. Штаны с синим кантом берег в сундуке. Доберегся до того, что сгорели,— заметила Тоня.

Она сидела напротив и все поглядывала на Малахова. Иван тоже украдкой посматривал на нее и едва сдерживал улыбку, наблюдая за тем, как она ела. Тоня не могла приноровиться к котелку. Посудина эта глубокая и узкая, ее надо наклонять при еде. Ивану не терпелось сказать об этом Тоне, но он стеснялся. Он только поглядывал на нее и думал, что жизнь устроена чудно. Еще неделю назад он не знал никакой Тони, а теперь вот сидит напротив и любуется ею. У нее большие руки, и, когда она черпает ложкой, ладони закрывают котелок. Тоня видела, что Иван наблюдает за ней, и стеснялась своих больших рук.

— Спасибо! — Она вернула котелок сержанту.

Максимов до краев наполнил посуду и подал Малахову:

— Ваша очередь!

Кондер был хорош, но кусочки сала попадались так редко, что Иван подумал о сержанте недоброе: «С виду ласковый, черт! А сало-то небось слопал. В ведерке даже духа сального нет». Вслух Иван ничего не сказал. Если бы кулеш был вовсе без сала и без соли, и тогда бы ничего не сказал: уж очень у Ивана хорошее настроение было сейчас.

Подмяв под себя вязку обмолоченной соломы, Тоня устало привалилась спиной к стене сарая. Она снова поглядывала на Ивана, и пришла его очередь смущаться. И чтобы хоть чем-нибудь отвлечь ее, Иван спросил:

— А кто это весь день ходит вон там, по пожарищу?

— Где? — Тоня подняла голову.

На пепелище, как и утром, одиноко маячила черная фигура. Человек бродил неподалеку от полуобвалившейся печи. Он то и дело нагибался, поднимал что-то с земли, подносил к лицу, рассматривал.

— Да это дядя, Филипп Васильевич,— в голосе Тони Малахов уловил сочувствие.

— Чего он там ищет?

— Партбилет. Ведь он рассказывал вам. Дядя только что приехал к нам со станции. Не успел еще всех своих малышей из розвальней перетаскать в избу, ан мотоциклисты! А у него партбилет в кармане. Что делать? Он засунул его под тесовую крышу. А теперь вот ходит, ищет...

21

Нехотя занимался рассвет. Солнце еще не появилось, но тени на снегу удлинялись, густели; в глазах от бессонной ночи резало. Как всегда, после стрельбы в голове гудело. Очень хотелось спать, но спать было некогда. Поступил приказ: двигаться, преследовать по пятам отходивших немцев.

Артюхов послал Ахмеда за упряжками, а сам присел на груду кирпичного боя — все, что осталось от деповской стены. Стена была толстая, массивная — долбили они ее долго. Но все ж выкурили немцев из депо. На путях, в наполовину обрушенных локомотивных стойлах, на дне поворотного круга — всюду валялись неприятельские трупы; пахло толом, сладковатым мазутом, порохом, кровью и еще бог знает чем, чем пахнет только война и смерть.

Пакгауз все еще горел, дымились жилые дома южной окраины, что за собором, но бой уже утих, немец отступил. По краям воронок, припорошенных снегом, деловито и озабоченно порхали воробьи. Ни у кого не было сил ни стоять, ни двигаться. Батарейцы сидели тут же, в развалинах депо, где была последняя огневая. Никто не спал, не стонал, не жаловался: сидели и ждали, вот появятся упряжки, а заодно с ними, может, и старшина.

Упряжки пришли, но к депо лошадей подвести было нельзя: на путях валялись искореженные паровозы и вагоны, за будкой стрелочника горела цистерна с мазутом, вонючее черно-красное пламя растекалось по путям. Орудия пришлось выкатывать на руках. Пока управились, совсем уже рассвело.

Батарея выстроилась за депо, на дороге, ведущей к центру города. Комбат и политрук молча оглядывали колонну. Когда они поравнялись с Артюховым, Василий спросил о Бутине, подобрали ли? Комбат сказал, что подобрали: всех погибших при штурме решено похоронить на центральной площади.

— Трогай! — бросил комбат.

Булыжная мостовая была окопана глубокими канавами, которые теперь замело снегом. Вдоль канав стояли кирпичные дома — побитые и выгоревшие. Справа виднелось полуобвалившееся здание вокзала, слева мрачно возвышались кирпичные стены какого-то строения — не то магазина, не то школы. На площади в небольшом сквери-

ке стояла тридцатьчетверка. Танк был подбит: пламя облизало траки и катки, и они чернели неровными полосами. Удар пришелся слева по нижней кромке башни. Башню сорвало, ствол пушки свернуло, и он поник к земле.

«В упор стрелял»,— подумал Артюхов. И только подумал, как тут же в переулке увидел батарею немецких гаубиц. Орудия стояли на огневых, а тягачи — в сторонке, у забора. Видно, у немцев не было горючего для тягачей, и, отступая, они подожгли их. Брезентовые навесы над кузовами сгорели, а дощатые борта лишь обуглились. Дверцы у тягачей открыты, на снегу чернели окалиной стреляные гильзы, ветер нес с собой запах гари и смрада.

В кюветах и на обочине дороги валялись солдатские ранцы, обрывки газет, бутылки с яркими наклейками, трупы немцев в обмундировании разных родов войск, из снега торчали треноги минометов и станковых пулеметов. В палисаднике перед уцелевшим домом не то связисты, не то саперы жгли костер и, сидя на ступеньках крыльца, ели из котелков: значит, где-то поблизости уже была кухня. При одном виде котелков у Василия засосало под ложечкой. Но он уже привык справляться с этим: главное — не думать о еде, о том, что ты голоден. И, как назло, куда бы он ни поглядел, все тащили что-то съестное. Долговязый боец в стеганой куртке, стоя на обочине, лизал огромный блин спекшегося сахара. Боец все норовил откусить, но не получалось, и тогда он лизал и грыз, как грызут дети леденец.

— Эй, славянин, ты чего лижешь? — окликнул его Ахмед.

— Сахар.

— Где раздобыл?

— А вон склад горит.

На заснеженном мостке через кювет, пропуская колонну, стояли трое бойцов в шинелях — значит, другой, не ихней дивизии. В руках у них были бутылки с яркими наклейками.

— Шампанское! — размахивали они посудинами.

Ахмед глянул на Артюхова: мол, разрешите, сбегаю? Василий покачал головой: ни в коем случае! Артюхов знал, что трудно удержать бойцов, когда горят склады, а на железнодорожных путях вагоны с продуктами.

— А-а, товарищ лейтенант, шампанское ведь!

Артюхов улыбнулся: на обочине дороги валялось не-

сколько посудин с такими же яркими наклейками — пустых, выпитых. На наклейках готическим шрифтом написано: «Toilettwasser». Ахмед приостановился, поднял пустую посудину, повертел в руках.— Вас, вас...— читал он по складам.— Туалетная вода?! — Он засмеялся, крикнул бойцам: — Берегите: выпьете на Новый год!

Но бойцы, несшие шампанское, уже смешались с колонной таких же, как и они, усталых, изможденных людей, заполнивших улицу.

На площади, прилегающей к торговым рядам, не уцелело ни одного дома. Развалины стен припорошены снегом; разрушены еще осенью при бомбежке. Высились только обрамлявшие площадь тополя. Возле разрушенного раймага с чудом уцелевшей вывеской толпились местные жители: старики, женщины, дети. Жалкая, истрепанная одежда, изможденные, бесцветные лица: только что выбрались из подвалов и укрытий. Пожилая женщина везла на санках домашний скарб, вытирала ладонью заплаканное лицо. Осмелевшие детишки бежали следом за орудийными упряжками.

От площади колонна свернула влево. Обогнув старую церквушку с разрушенной колокольней, упряжки, тарахтя порожними зарядными ящиками, покатились под гору. Уличка, по которой двигалась батарея,— узкая, большинство домов постройки прошлого века, виднелись купеческие дома с арками для въезда во двор, на деревянных заборах — всюду, где только возможно, немцы намалевали:

«Stehen verboten!»

«Rauchen verboten!»

«Sprechen verboten!» * — и так вдоль всей улицы, от площади Ленина до самой городской окраины. Запрещалось все: стоять, курить, разговаривать. Немцы стремились приучить русских к своему «новому порядку».

Прямая улица сбегала вниз с увала, на котором высились соборы. Сюда со всех сторон тянулись остатки рот, батальонов, полков, тарахтели грузовики, санные упряжки. Как всегда, при скоплении ругань, суталока, споры.

— Стой! Куда прешь? Какой дивизии?

— Этой самой! Знай свое — топай!

Наконец вот она, городская окраина. «Хоть и два тут

---

* «Стоять запрещается!», «Курить запрещается!», «Разговаривать запрещается!» *(нем.)*

креста,— подумал Артюхов,— а городок-то невелик». Железнодорожная насыпь. Будка при переезде. Сизая каемка дальних перелесков, среди которых терялась лента шоссе. Василий остановился на взгорке: так вот она какая, главная дорога!.. Не было в ней ничего особенного — дорога как дорога: выбитая полоска асфальта, телеграфные столбы на обочине, вешки-метелки над заснеженными мостками,— вот и все. Но именно эта дорога, по замыслу фашистских стратегов, должна была стать второй петлей блокированного Ленинграда. Сколько было упорных боев, и все за то, чтобы овладеть вот этой дорогой. Каждый, кто был убит под Покровским, Раконью, под Заозерьем, на любой другой безымянной опушке, пал вот за эту дорогу.

Теперь по ней шли живые. Шли, поглядывая на дело рук своих: по обе стороны дороги валялись пушки, зенитные установки, тягачи, мотоциклы, снаряды и... трупы. Черные трупы фашистов, слегка припорошенные снегом

В километре или двух от города — железнодорожная насыпь и переезд. Переезд был когда-то регулируемый: на насыпи виднелись будка и столбы шлагбаума. Дверь в будке выломана, вместо окон зияли пустые проемы, от красно-белой перекладины остались лишь ржавые металлические подвески. Настил из шпал на самом переезде выбит, искорежен: видно, много колес и гусениц прокатилось тут за два месяца. Насыпь, ведущая к переезду, истыкана воронками, в одну из воронок залетела колесом автомашина с зенитной установкой. Зенитчики толкали машину. Артиллеристы, которым негде было проехать, шумели и матерились, и, пока комбат наводил порядок, батарея стояла, пропуская вперед пехоту. Пехота знала свое дело: все шла и шла — грязная, невыспавшаяся, голодная.

Наконец полуторку с зенитной установкой вытянули, и батарея тронулась. Сразу же за переездом открылась большая заснеженная поляна, окаймленная низкорослыми сосенками. Снег придавил сосенки к земле, но они упрямо топорщили кверху побеги: точь-в-точь погашенные светильники. Приглядываясь к пустырю, Артюхов подумал, что, наверное, до войны на этой поляне дети машинистов и кочегаров гоняли по праздникам в футбол. А может, и сами машинисты и кочегары.

Теперь вся эта поляна — от переезда до синевшего вдали леса — утыкана была какими-то кольями. Василий

пригляделся: да это же... кресты! Березовые, неошкуренные, кресты стояли ровными рядами — так сажают яблони в саду. С какой стороны ни погляди, все ровно, как по шнурку. Двухметровые березовые колья прочно врыты в землю. Посредине перекладина, и на перекладине, в том месте, где она прибита к столбу, дощечка: фамилия, воинское звание, даты рождения и смерти. На крестах висели черные рогатые каски, как на деревенских заборах висят летом пустые крынки — сохнут.

Колонны наших войск тянулись к лесу. Усталые бойцы шагали вяло, неспешно. Снег, разбитый конскими копытами, колесами машин, тысячами солдатских ног, не хрустел, а мялся под ногами. Казалось, ты не идешь, а месишь сыпучий снег, стоя на месте. И только пофыркивали лошади, да гудели моторы, да позванивали на солдатских поясах котелки.

Бойцы молча глядели на шеренги крестов, протянувшихся рядами на целую версту.

— Ишь, и тут у них порядок,— обронил молчавший всю дорогу политрук.

— Да, немцы не чета нам! — подхватил Пеканов.— Наш брат где убит, там, значит, и лежи. А они своих вывозят с поля боя. Хоронят как положено: в гробу, и крест, значит...

— Один черт! — бросил кто-то.

Как всегда на марше, подразделения перепутались и все шли вперемешку — и пехотинцы, и батарейцы, и минометчики.

Артюхов невольно поглядел на того, кто вспомнил черта: во главе колонны, меся снег растоптанными валенками, шел майор Кузовлев. Полушубок на нем в пятнах мазута: видно, ползал вместе с бойцами по рельсам...

Василий за эту ночь несколько раз сталкивался с ним. Майор часто покрикивал на артиллеристов, чтобы выкатывали орудия поближе к депо. Но потом, в самую последнюю минуту боя, Василий потерял Кузовлева из виду и очень беспокоился, спрашивал даже у Пани: не поступал ли майор в санбат?

«Значит, жив!» — Артюхов радостно ткнулся навстречу к Кузовлеву и пошагал рядом.

— Под Заозерьем,— стал рассказывать Артюхов,— в расположение батареи разведчики приволокли «языка». Ганс говорил, что каждому солдату, погибшему на

Востоке, Гитлер обещал поставить бронзовый памятник.

— Вот и поставил — грачиные гнезда на пустыре! — кивнул в сторону поляны Кузовлев.

Василий еще раз глянул туда: кресты отбрасывали тени, и потому казалось, что вся поляна исхлестана синими полосами.

22

Стлище на берегу речки. Завистливые и норовистые бабы захватывали в охапку по дюжине снопов сразу и несли их сюда, к бане. Кладку делала Тоня. Она считала, что сушка — главное в их деле. От сушки зависит все: и как будет отделяться треста, и само качество льна. Без телогрейки, в одной кофте, раскрасневшаяся от работы, Тоня принимала снопы и укладывала их на полки, поближе к каменке. Надо было уложить как можно больше снопов, чтобы завтра можно было спокойно мять весь день. Тоне это удавалось лучше, чем другим: у нее были и сила, и хватка, и — главное — нравилось ей самой все вершить.

Закончив укладку, бабы шли наверх, к сараям. Каждая становилась возле своей мялки, но работать какое-то время не начинали: болтали. Молодки спешили наговориться, пока рты еще не повязали платками. Начнут стучать — пыли в сарае не продохнуть. Пыль клубами вырывается из открытых ворот, серыми пятнами ложится на снег. Весь день только и слышится: ту-ту-ту — стук мялок.

Мять лен — значит очищать волокно от костры. Но это, как говорится, только грубая очистка волокна. После мялок лен выстукивают, расчесывают гребнями. Руки отсохнут, пока моток волокна засеребрится.

В короткие минуты отдыха бабы высыпают из сарая — передохнуть и откашляться. Завидя их, бойцы, занятые на току, бросают цепы и лопаты, затевают с девчатами возню, и на поляне слышатся смех и шутки. Если Прохор тут, на току, то пожилые бабы в сторонке стоят, стесняются. Но если нет председателя, то они вступаются за девчат, и начинается потасовка.

Сегодня с утра Прохор повез обоз с зерном на станцию. А без председателя бабам вольница. Затеяли молодки

волю на току — пока возились с бойцами, зерна насыпали полные валенки.

Малахов и раньше замечал, что Прохор мужик прижимистый: не подпускал бабенок к току. Тут все делали бойцы: и молотили, и веяли, и ссыпали зерно в мешки. Возчиками были старички — степенные, осмотрительные, под стать председателю. Но и на них не полагался полностью: он сам сопровождал обоз с зерном в Ворожбу. Прохор уехал, а бабы без него на ток — и поживились! Насыпали зерна и в валенки, и в карманы ватников. Значит, каждая завтра бульбу сварит ребятам, а то на ручной мельнице намелет мучицы да и лепешки испечет.

Набрали, выходит, ржицы, и уж не терпится им: домой скорее хочется. Обычно баньку освобождали в сумерках. А тут и двух еще не было: подступились бабы к Тоне — пора да пора. Так и настояли на своем. Запрягли длиннохвостую кобылку, служившую им для всякой хозяйственной надобности, и поехали за снопами. Открыли дверь, а из бани — парной и масленичный дух.

Антонина стала вышвыривать снопы наружу; бабы подхватывали и грузили их на розвальни.

— Все! Отвезите снопы в сарай и поезжайте домой,— сказала Тоня.— А я приберусь. Людям ночевать тут.

— Тонька, возвращаться будешь, гляди не заблудись! — крикнула с воза Аня Стригунова, крикнула не просто так, а с намеком.

— Не беспокойся! Небось кавалеров много — проводят.

Тоня вспотела, пока возилась со снопами. Она сняла с себя ватник, бросила в темный угол и принялась за уборку. В этом году лен хорош, но больно кострист. Возьмешь сноп в руки, а он так и ломается. Тоня стряхнула березовым веником пыль со стен, подмела пол. Но сколько ни мети, все равно кострика белеет в трещинах! Она отыскала тряпку, сняла с каменки большой чугун, оставшийся от старых времен, ополоснула тряпку водой и принялась протирать стены, верхние полки: осталось лишь помыть полы, и тут, как назло, вернулись ребята.

— Ого, у нас хозяйка в доме! — пошутил Малахов.

— Ой! — воскликнула Тоня от неожиданности.— Не успела. Я сичас...— Она стояла в дверях и растерянно и радостно глядела на Ивана, который шумно, по-медвежьи, ввалился в предбанник.

— Это по мне! Порядок! Дай-ка я тебя поцелую.

Малахов обнял Тоню. Она была горячая, распаренная, как подовый каравай,— ладонью он чувствовал ее жар. Еще минуту назад Тоня не знала, куда деваться от духоты. А тут вдруг от одного Иванова прикосновения ее стал бить озноб. И хоть втайне она ждала такой встречи и готовилась к ней, но показывать этого не хотела.

— А ну убери-ка руки! Не то к бакам-то подведу усы тряпкой.— Тоня приподняла тряпку. Иван попятился. В предбаннике лежали вязки соломы. На ночь ребята устилали пол душистой стерновкой и спали, как на пуховиках. Малахов, пятясь, упал на солому.

— Ну?!

— Чур, сдаюсь!

— Во! Тоню на взвод бы! — шутили ребята.

— Запел бы небось.

— Ну чего ржете?! — отряхиваясь, прикрикнул на бойцов Иван.— У нас гостья. Сержант, готовь чай.

— Чаевничать-то некогда: далеко идти.

— Проводим.

Максимов — ловкий парень. Нюх у него кошачий. «Чай! Пожалуйста!» — мигом разослал бойцов в разные стороны: одного на реку, за водой, другого за дровами, сам принялся костер раздувать.

Тоня еще домывала полы, а сержант уже с коробкой заварки у ведерка колдует: высыпал на ладонь, посмотрел, понюхал — много. Отсыпал — заглянул в коробку — на сколько еще заварок хватит? Наконец заварил, докладывает: чай готов.

Ребята застлали пол соломой, принесли два пустых снарядных ящика, сдвинули их рядом, получился стол. Накрыли стол газетой, стали его «сервировать». Появились сухари, сало, хлеб, кусок комбижира, который хоть и не совсем походил на масло, но по теперешним временам был украшением стола.

Тоня вышла помыть руки. Малахов напросился помочь: сливал из котелка воду. Она сполоснула руки, умылась, Иван подал ей полотенце. Подавая, невольно застыдился: полотенце грязное. Тоня не побрезговала, утерлась и, возвращая полотенце, сказала:

— Ваня, ты собери-ка все грязное. Небось накопилось. Я приду завтра пораньше, постираю.

Чаепитие затянулось. Робкий красноватый свет коп-

тилки, стоявшей на верхнем полке, отбрасывал причудливые тени, и было что-то трогательное в этом чаепитии: в баньке, на соломе, на снарядных-то ящиках. Вчера почему-то никто не замечал этого, и позавчера: ужинали — и валились на боковую. Теперь же, при Тоне, каждый испытывал какое-то грустное волнение, оживленнее, чем обычно, разговаривали, придумывали остроты, смеялись. Наперебой угощали Тоню, один подкладывал сахар в кружку, другой норовил подсунуть ломоть хлеба, намазанный комбижиром, третий хвалил залежалые сухари.

Тоня и не жеманничала: мочила в кружке сухари, ела все, чем угощали ребята, и хлеб с комбижиром, и сало. Бойцы ели, и пили, и слушали неторопливый рассказ ее о том, как жили «под немцем».

— Я-то в селе не оставалась — в лесу, в землянках скрывамши,— говорила Тоня.— А бабка Явориха, дак ей восьмой десяток доходит, она никуда не ушодцы. У нее квартировали они. Так вот: утром у них — кофе черный, суррогатный и большущий ломоть хлеба с маслом — бутерброд. В обед — суп гороховый со свининой и опять кусок хлеба. Наедятся они — и только воздух портят. И за столом сидят — не стесняются. Срам один! Явориха уверяет, что не все звери, и добрые были. Был один — пожилой, тихий такой немец. При лошадях состоял. Бывало, и кофе оставит, и хлебушка мне кусочек. Это бабке-то... «Ешь,— говорит,— гроссмуттер. Ничего — мы скоро нах хаузен». Так и говорил: «Мы скоро домой...»

Наконец Тоня отставила кружку на середину стола, перевернула ее кверху дном и по-старому деревенскому обычаю положила поверх кусочек сахару.

— Спасибо, хватит. Напилась так, что и встать не могу,— пошутила она.

Следом за ней и ребята, как по команде, отставили кружки и, разминая затекшие от неудобного сидения ноги, начали подыматься с пола: ленивые, отяжелевшие. Сержант плутоватыми глазками поглядывал на командира взвода: чем бы еще угодить? Он еще раньше, конечно, заметил, что младший лейтенант неравнодушен к Тоне. «Надо оставить их наедине»,— думал он и теперь мучительно искал предлог.

— Вот что, братва...— проговорил сержант.— Знаете последнюю новость?

— Какую? Что наши взяли Кресты?

— Ну это не новость. Про Кресты знают все. Тут дело серьезнее.— Максимов сделал озабоченное лицо.— Поступили сведения, что вблизи блуждает какой-то немецкий отряд. Знать, не удрали вовремя из-под Крестов и теперь пробираются к своим. Верно говорю, товарищ младший лейтенант?

— Да. Кажется...— Малахов не ожидал такой находчивости со стороны сержанта.

— Отряд?! — удивились ребята.— Большой?

— Численностью до роты...— Сержант подмигнул Малахову: мол, так одобряете? — Надо усилить посты. Всем взять карабины — и к складу шагом марш! Ясно?

Ясно. Пошли, братцы! — первым отозвался Чихачев.— А то отряд блуждает. Кхе...

Ребята лениво натягивали на себя полушубки. Из тепла уходить не хотелось. Они поняли, что сержант из подхалимажа их вежливо выпроваживает, но виду никто не подал: покрепче затянули ремни, разобрали карабины и ушли.

Малахов и Тоня остались вдвоем.

— Уберусь да тоже побегу.— Тоня зачерпнула котелком теплой воды из чугунка и принялась споласкивать кружки.

Иван закурил. В баньке запахло сладковато-терпким табачным дымом. И запах этот был почему-то приятен Тоне.

— Куда вы складываете кружки?

Побросай их в ящик.— Иван поднял с пола ящик, поставил его на верхний полок.— Бросай туда все!

Тоня убрала кружки, свернула в газету остатки еды: сухари, ломти хлеба, сахар и положила все в ящик. Иван стоял рядом, курил.

Вдруг он выплюнул изо рта самокрутку, придавил ее подошвой и шагнул к Тоне. Она стояла в углу, спиной к нему, и не видела этого шага, но или по тени, или по шуршанию соломы под ногами она почувствовала, угадала его движение. Угадала и обернулась. В глазах ее была мольба. Эта мольба и беззащитность ее на какой-то миг посеяли в нем сомнения: «А может, не надо?» Но Иван тут же отбросил сомнения. Он обнял ее и стал целовать. Тоня ответила на его поцелуй, и они стояли минуту-другую так, обнявшись, не в силах оторваться друг от друга. И когда они оторвались, то серые глаза ее из-за расширив-

[illegible] зрачков казались черными, а губы так и оставались полуоткрытыми.

— Тоня, оставайся! — сказал Иван срывающимся голосом.

— Нет! Нет! Я пойду.

— Ну тогда иди...— Он выпустил ее из своих объятий, взял с верхнего полка ватник, подал ей.

Тоня начала одеваться, а он стоял рядом и с напускной холодностью наблюдал за нею. Движения ее были неуверенны. Иван понимал, что она в смятении. Ее одолевают самые противоречивые чувства: и боязнь, и сомнения в будущем, и любовь к нему. Она уловила его взгляд, потупилась, перестала одеваться.

— Зачем ты меня целуешь?! — горячо заговорила она.— Завтра объявятся машины — и все. Ты уедешь! Сколько впереди еще боев. А я останусь тут одна.

— Потому и тороплюсь, Тонечка. Сегодня — хоть час, да наш. А завтра его может и не быть. Вообще может не быть никакого завтра.

— Тем более! Раз ты понимаешь это, то пожалей меня.

— В другое время пожалел бы. До самой свадьбы пальцем бы не тронул. А теперь поверь, Тоня: я боюсь потерять тебя. Как увидел тебя тогда, когда пришел за продуктами, сразу понял: вы — моя судьба!

— Ну уж «судьба»! Все клянутся. А с глаз долой — так и снова холостой!

— Дуреха ты моя! Трусиха...— Иван снова положил руки на ее плечи и, не спуская взгляда с ее лица — грустного, но милого,— заговорил о том, что он хочет оставить о себе более надежную память, чем слова и обещания. Он никому не говорил об этом: ни шаловливой Юльке, жене интенданта, начальника отдела хранения на артскладе в полку, которая научила его многим тонкостям любви, ни Клаве-медичке. С ними все было просто, потерять их он не боялся, а вот эту, сероглазую, пугливую и доверчивую, он и в самом деле боялся потерять, поэтому и говорил так горячо и убежденно: — Я хочу, чтобы ты помнила и ждала меня всегда-всегда! Обещаю тебе — я буду другим. Буду беречь себя. Я верю: через год-два война кончится. Я вернусь. Я знаю, что и ты так думаешь. Скажи: да!

Иван снова обнял ее. Тоня опустила руки. Ватник соскользнул с ее плеч, свалился на пол. Иван погасил огонь и в темноте снова стал целовать ее — в губы, щеки, глаза.

Она уклонялась, но Иван снова находил ее губы и целовал: не помня себя, он твердил одно и то же:

— Тонечка, милая! Не бойся! Я женюсь. Женюсь...

...Они лежали на полу, поверх жесткой соломы, усталые и обескураженные тем, что случилось. Тоня боялась открыть глаза. Она лежала, откинувшись, полуоткрытые губы ее чуть слышно шептали:

— Ваня, милый.

Он гладил ее лицо с капельками пота на лбу, и ему не верилось в то, что было, не верилось в то, свое счастье. «А у нас будут хорошие дети,— вдруг подумалось ему: — такие же широколобые и сероглазые, как Тоня». Иван затаенно улыбнулся своей мысли. А потом все-таки не утерпел, сказал ей об этом, сказал шепотом — вслух говорить не хотелось.

— Знаешь, о чем я теперь подумал,— сказал он.— У нас будет сын — нескладный, как я, и добрый, как ты.

— Почему ты так думавши, что сын?

— Я сына хочу. Смотри: забеременеешь — не вздумай ничего делать с собой. Сохрани ребенка. Жив буду — обязательно приду! Убьют — значит, такая судьба. Но кровинка моя все же на земле останется.

— Ну что ты! — Тоня зашевелилась, привстала.— Ты даже не думай теперь о смерти. Никогда! Понял?

— Назови его Иваном. Может, у него будет более счастливая жизнь, чем у его отца.

— Хорошо.— Тоня встала, засобиралась, шаря в темноте руками.— Я пойду, а то ребята в любую минуту могут прийти.

— Пусть приходят! Хочешь, я сам сейчас скажу им, что ты — моя жена. Да и Прохору — тоже.

— Не надо! Придешь, тогда уж...

23

Со взятием Крестов фронт нашей армии, простиравшийся на сотни километров, сократился, плотность войск возросла, и дивизию генерала Ряженцева отвели на отдых. А может, и не потому вовсе отвели, что сократился фронт, просто батальоны поредели и устали. Части посвежее, прибывшие на фронт попозже, двинулись к Волхову — преследовать немцев, а полку Сарычева приказано было остановиться в Оскуе.

[illegible]уй — большое красивое село. Раскинулось оно по берегам одноименной лесной реки. Село хорошо сохранилось: разрушены были лишь мост через реку да несколько кирпичных домов, стоявших на главной площади. Видимо, немцы пытались закрепиться на крутых берегах реки, но наши с ходу выбили их.

Река в этом месте делает крутой поворот. Повторяя ее капризные изгибы, петляют и улочки села. Большие неуклюжие избы стоят на берегу. Стоят они тесно, впритык одна к другой, и тесовые скаты крыш — белые от нетронутого снега — сливаются в широкую полосу и блестят на солнце точно так же, как и ледяной покров реки. И когда смотришь на село с высокой дамбы разрушенного моста, то кажется, что течет не одна река, а две.

Вплотную к селу — по бережку, по овражкам — подкрадываются леса. Леса и болота. Копнешь на штык — сочится из-под земли красноватая жижица. На все село ни одного колодца. Воду для своих нужд жители берут из реки. Зимой каждый хозяин делает во льду прорубь. Над прорубью колода с крышкой. В декабре вдоль речки гуляет поземка; чтобы колоду не заносило снегом, вокруг проруби понатыканы низкорослые елочки. На реке, то тут, то там, чернеют эти своеобразные колоды: ни журавлей над ними, ни воротов, только зеленеют опушенные снегом елочки.

Берег реки обрывистый: не раз споткнешься, пока поднимешься наверх с полными ведрами. Поэтому возле каждого дома для спуска к реке поделаны лесенки. Лесенки крутые, с перильцами, чтобы, поднимаясь с коромыслом, держаться рукой. Весной в паводок река пошаливает, выходит из берегов, затопляя избы и надворные постройки. Дома в селе норовят забраться на бугорок. На задах изб, за дровяниками и сараюшками, притулились бани. Рублены они из отборных сосен, просторны, как избы, со светлыми предбанниками и широкими лавками. Банькам этим бойцы обрадовались больше, чем теплым избам. Полк два месяца находился в непрерывных боях. Ребята ночевали в сырых землянках, а то и просто в лесу, у костра, на постланном поверх снега лапнике. Ничего так не хотелось, как попариться, поваляться на жарком полке́, похлестать разгоряченное тело березовым веником, надеть на себя чистое белье — одним словом, хотя бы на единый миг, на час, по-

чувствовать, что тело твое дышит всеми порами, почувствовать себя молодым, выспавшимся.

Была пора обильных снегопадов, немецкие самолеты не летали, и с самого раннего утра и допоздна на задах, возле бань, оживление. Бойцы носили с реки воду, кололи дрова, мылись. Шум, смех, иногда какой-нибудь сибиряк с угару голышом выбегал из предбанника и бросался в снег.

Бойцам и командирам отдых, а девушкам из санроты нет покоя ни днем, ни ночью. Возле каждой баньки дымят коробки дезинфекционных камер. В то время, когда бойцы моются, их одежда загружается в эти металлические ящики. Сбоку камер — печь; березовые кругляки пылают, словно в паровозной топке. Внутри жестяного короба, на раскаленных жаровнях — солдатское немудреное барахлишко: брюки с зашитыми медальонами, гимнастерки, носки, портянки. Помывшись, бойцы высыпают в предбанник. Сквозь незастекленное оконце девушки бросают им кипы нижнего белья, ватные брюки, гимнастерки. Ребята начинают одеваться. Раскаленные пуговицы обжигают руки. Пахнет еловым лапником, которым устлан пол. Но, перебивая смолистый запах, пышет жаром белье. От гимнастерок и ватных брюк дух идет — то пахнет березовым дымком, то затлевшей ватой.

Санрота не управлялась с делами за день. Девчатам приходилось топить сушильные камеры и ночью. И эти ночные дежурства больше всего запомнились Артюхову. За неделю, пока длился отдых, Паня дежурила три или четыре ночи, и все эти ночи Артюхов был с ней рядом. После ужина батарейцы, свободные от наряда, уходили на посиделки. Старики и дети все еще побаивались перебираться в село насовсем, а молодежь — ничего, молодежь гуртовала. Что ни вечер в каждой второй избе гармошка, веселье, танцы. Лысенко и Зотов по вечерам сочиняли «отчет». После завершения Крестовской операции штаб затребовал от подразделения отчеты: сколько снарядов израсходовано, сколько выведено из строя живой силы противника, автомашин, танков, зенитных установок, каковы собственные потери. Капитан и политрук корпели над бумагами — итог у них выходил нерадостный: фашистов убито мало, а снарядов израсходовано много.

Сержант Глушков был ранен в ночном бою и отогревался на печке. Ранение у него было тканевое, и он не захотел

уходить в медсанбат. Бегал каждый день на перевязку в санчасть и отсиживался в тепле. Посидев часок-другой над бумагами, комбат и политрук уходили. У каждого были друзья, земляки: не встречались, может, с того самого вечера, когда погрузились в вагоны.

Теперь все «наносили визиты». А тут как раз и предлог был: после победы в Крестах было много наград, новых назначений, повышений в званиях.

У Артюхова друзей не было, помимо Пани. Выждав, пока уйдет комбат и политрук, Василий спешил на зады, к банькам. Девушки дежурили попарно. Но как только появлялся Василий, напарница Пани, Клава Ерохина, тут же исчезала. Она убегала к Славке Барсукову: старший лейтенант получил орден, без конца обмывал награду и колобродил. Но Клава напрасно спешила оставить их вдвоем: в баньке в эту пору непременно кто-нибудь еще домывался. В сумерках любили мыться штабисты и старшины: и пару вдоволь, и воды, а главное, никто тебя не торопит, нежься вдосталь хоть до полуночи. Но вот наконец гаснет желтый огонек, светившийся в квадратном окне бани. Из предбанника на мороз вываливается какой-нибудь комбат или адъютант начальника штаба. Крякнет, чиркнет спичкой, зажигая папиросу, и, разметав искры, скроется в ольшанике.

Артюхов и Паня остаются вдвоем.

Обязанности Пани, в общем-то, простые: подбрасывай себе березовые кругляки в топку. Смотри только не зазевайся: спалишь полушубки — оставишь раздетой целую роту. Но, слава богу, березовые кругляки, гору которых днем напилил дежурный взвод, горели плохо, и Василию приходилось колоть поленья, прежде чем бросить их в огонь. Набросав полную топку, они садятся на подножку загрузочной камеры и сидят. Им хорошо. Потрескивают дрова, спину приятно греет; где-то на селе слышны говор, смех и лай собак, а на задворках тихо. Луна то, как парус, мчится по звездному небу, то скроется за облаками.

Они сидят молча. В присутствии Пани Василий волновался, и радовался, и грустил одновременно. Ему хотелось петь, говорить, хотелось быть красивым и сделать что-нибудь большое, возвышенное, и не только теперь, а и там, возле депо, под пулями, он все время думал о ней: где Паня, рядом ли она, видит ли она его? И он был благода-

рен ей, что в это страшное время она рождает в нем такие хорошие чувства.

— В этом селе я была однажды,— заговорила Паня.— Давно, правда. Мне было лет восемь. Тут жил егерь. Папа приезжал к нему охотиться. И меня брал с собой.

— Ни разу не охотился,— признался Василий.— Помню, пошли как-то в Дубки — лесок есть у нас такой за селом,— шатались-шатались весь день — ворону даже не подстрелили. Вечером возвращаемся домой, я и говорю Косте — друг у меня был в детстве, теперь тоже где-то тут, под Мгою: «Вешай шапку!» — на ракиту показываю. Ну он повесил. Мы по очереди пальнули. Он попал, а я нет... Да-а, вот видишь, как вышло: в шапку не попал, а в депо, на дне ямы поворотного круга, где наш взвод накрыл минометную батарею, лежало разом двенадцать немцев...

Они помолчали.

— А папа любил охоту,— вновь заговорила Паня.— Чуть что, свободный час или день — подхватит, бывало, ружье — и в лес. Сколько он этих зайчишек перестрелял! Принесет, сам снимет шкурку, в квасцы ее.

— А Озера твои отсюда далеко?

— Километров тридцать. За Волховом.

— Скоро свидитесь.

— Не знаю. Немцы еще на Волхове...— Паня зябко повела плечами. Пригревало-то только спину, а лицо и руки обжигал мороз. Чтобы разогреться, она поднялась и, открыв дверцу, начала шуровать кочергой.— Иди, Вася: поздно уже!

— Не боишься одна?

— Сейчас Клава прибежит.

— Не прибежит. Барсуков не отпустит ее так рано.— Василий тоже встал, и, как только Паня перестала колотить головешки и повернулась к нему, он взял ее руку. Ладонь у нее была холодная. Он сказал ей об этом.

— Зато сердце горячее! — Паня поглядела на него доверчиво, без обычной лукавинки.

Этот взгляд почему-то напомнил Артюхову их первую встречу в Хабаровске. Тогда она была такая же, как сейчас, ясноглазая.

— Мне кажется, что любовь,— сказал он,— это когда человек горит, светится весь.

— Не знаю...— не сразу отозвалась Паня.— А мне порой кажется наоборот: любовь — это ровное и не горя-

чее вовсе, а всего лишь теплое-теплое чувство, и ни ревности чтоб, и ни обиды. И чувство это вовсе не то даже, о чем мы с тобой говорим и говорят обычно люди. А что-то большее, подсознательное даже... А ты не согласен?

— Может быть...— Василий поспешил перевести разговор на другое.— Ты хоть помнишь, как ты в тот день была одета? Я же все-все помню!

— Думаю, что на мне тогда не было вот этих ватных брюк.

— Нет, серьезно!

Лицо Пани вдруг погрустнело, и она ответно сжала его руки.

— У меня никогда не было хороших нарядов,— заговорила Паня не то с сожалением, не то с тоскою.— Была юбка черная, ужасно длинная, да две или три кофточки. Я так всегда мечтала иметь хоть одно хорошее шелковое платье. Но теперь, наверное, не удастся поносить.

— Почему?

— Война-то надолго! Если и живой останешься, все равно молодости не вернешь.

Василий помолчал: он понимал, что любые слова, сказанные им теперь, будут фальшивы. Он обнял Паню и стал гладить ее. Она затихла. Будто шутя, Василий откинул ее голову назад. Он впервые видел Панино лицо так близко.

У нее был совсем еще детский округлый подбородок, а глаза почему-то казались черными. Шапка стала валиться у нее с головы.

Паня запрокинула руки, чтобы попридержать шапку. Воспользовавшись Паниной беспомощностью, Василий нашел ее губы и поцеловал.

Шапка шлепнулась на снег. Но Паня не оттолкнула Василия, не поспешила нагнуться за шапкой, а еще крепче обняла его плечи...

— Товарищ лейтенант! Срочно к комбату!

Василий не сразу понял, что зовут его. Но голос показался знакомым, и он выпустил из объятий Паню. Чтобы выиграть время и поостынуть немного, нагнулся, поднял ее шапку, отряхнул от снега. Паня стояла рядом, улыбалась.

— Иди, зовут!

Из-за угла сарая вышел Глушков. Сержант смутился,

увидев Артюхова и Паню. Сказал тихо, словно извиняясь, что помешал:

— К капитану вас...

— Что — выступаем?

— Не знаю. Сказал· разыскать срочно.

— Иду! — Василий поправил портупею и шагнул в темноту.

Глушков пошел за ним следом. В затишке, за банькой, было тихо, а когда Артюхов вышел на тропинку, петлявшую вдоль забора, пришлось приподнять воротник полушубка: встречный ветер обжигал лицо. Справа, в стороне Волхова, неярко мигали на небе вспышки огней, высвечивая зубчатую кромку хвойного леса. Приглядываясь к ним, Василий пытался определить расстояние до передовой.

— Как ты себя чувствуешь, сержант?

— Вроде ничего.— Глушков догнал Артюхова, и они пошли рядом.— Паня говорит, что я молодцом. Еще недельку, и можно будет снимать повязку.

Снег скрипел под ногами. «Знать, наступают рождественские морозы»,— подумал Василий. Он стал вспоминать, какое сегодня число и сколько осталось дней до Нового года. Осталось мало. С щемящей тоской на душе Артюхов вдруг подумал о том, что хорошо было бы встретить Новый год не на передовой, а тут, в Оскуе, вместе с Паней.

— Снегу немало, однако,— обронил Глушков.

— Да, зима снежная,— поддержал разговор Василий.— Красавчика-то не нашли?

— Нет. Высмотрел кто-то. Тут столько всяких соединений! Все леса забиты. Разве найдешь?

Артюхов не отозвался: он думал о своем. «Может, любовь — это вовсе не горячее, а всего лишь теплое-теплое чувство, и ни ревности чтоб, и ни обиды»,— вспомнились ему слова Пани. Василий не знал, что она имела в виду, и теперь размышлял об этом. «Женщины,— думал он,— тоньше чувствуют, чем мужчины; к тому же они искреннее нас, а Паня — особенно». «Она, знаешь, из тех, что любят разводить всякие философии. Это не баба...» — вспомнились ему слова Малахова, сказанные еще в эшелоне. Иван прав, конечно. Но почему-то, чем больше думал об этом Василий, тем все большей теплотой проникался к Пане.

В узком проулке меж избами стало тише. Артюхов остановился, закурил. Из соседней избы, где расположилось боепитание, доносились звуки гармошки и голоса девичьих припевок. У притвора ворот какой-то служака обнимал девушку. Она вырывалась, а он удерживал ее, прикрывая полами распахнутого полушубка. Заметив Артюхова, парочка из темной подворотни юркнула в сенцы.

Василий узнал воентехника Никифорова. «Эка, неймется тебе!» — зло подумал Василий о начбое.

Окна избы, занимаемой батарейцами, задраены плотно: лучика на снегу не видно. Шаркая смерзшимися подошвами валенок, Василий отыскал в темноте дверную скобу, пропустил вперед Глушкова. Пока сержант, опасаясь стукнуть раненой рукой о косячину, осторожно входил в избу, Василий прислушался к глуховатому голосу комбата, говорившего с кем-то по телефону.

— Бабки нашли? Какие? — кричал капитан.— Белые? Значит, он — Красавчик.

Василий, щурясь от яркого света, шагнул к столу:

— Вызывали, товарищ капитан?

Комбат кивнул: мол, сидай! — а сам продолжал говорить по телефону. Голос у капитана был грустный: судя по всему, не нашли меринка. Жаль!

Вчера член Военного совета армии вручал награды отличившимся в боях за Кресты. В Оскуе на площади построили полк. Батальоны только что получили пополнение, и полк выглядел по-прежнему внушительно. Последний раз такое построение было весной, еще на Дальнем Востоке, перед выходом в летние лагеря. Построения всегда радуют, а тут и подавно: развевалось полковое знамя, играл духовой оркестр.

Были награждены генерал Ряженцев, полковник Сарычев, лейтенант Барсуков, пулеметчик Васюрин. Член Военного совета вручил орден Ленина майору Кузовлеву и боевого Красного Знамени — капитану Сыромятникову.

Друг капитана Лысенко, начальник артиллерии дивизии майор Сукновалов, получил «звездочку». Майор пригласил капитана обмыть орден. Штаб дивизии находился в соседнем селе Дуброве. Капитан запряг Красавчика в резные санки, выменянные старшиной, и помчался. Приехал, поставил Красавчика поодаль от дома, у сарая, бросил ему охапку сена, ослабил чересседельник: ешь, отдыхай, дорогой! А сам к майору.

Долго пировали друзья, до самых сумерек. Собрался капитан в обратный путь, вышел на крыльцо, а Красавчика нет. Санки-бегунки на месте, у сарая. Дуга воткнута концами в снег, а к ней чересседельником привязаны оглобли. Капитан вне себя. Майор Сукновалов стал успокаивать друга: «Куда он мог деться, твой Красавчик,— говорил он,— когда тут штаб и на каждом шагу часовой стоит?!»

Комбат позвонил Тябликову. Батарейцы обыскали лес — нигде нет Красавчика. А теперь, выходит вот, в лесу нашли бабки.

— Злопали ведь, черти! — Лысенко выругался, что делал очень редко, и бросил трубку.— Присаживайся, Василий.

Артюхов повесил полушубок и, растирая замерзшие руки, подсел к столу:

— Значит, не нашли?

— Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву! — Капитан протянул руку за чайником.— Подкрепись-ка на дорогу. Я чайку заварил.— Он налил две кружки — себе и Артюхову — и, подавая чай, добавил: — Поедешь ликвидировать малаховский склад. Ясно?

— Ясно! — отозвался Василий не очень охотно.

На столе лежала карта — новая, свежая, которой Артюхов еще не видел.

— Машины возле штаба,— объяснял капитан.— Аттестаты выписаны. Армейские тылы — в Ворожбе, раздобудете что-нибудь на складе. Снаряды отвезете на ДОП, сдадите под расписку. Оставьте только то, что сможете поднять, и доставьте их вот сюда, на хутор Хмелищи,— комбат ткнул пальцем в карту.— Завтра утром мы выдвигаемся в этот район.

Артюхов увидел на карте две синие линии — Волхов и Оскуй, черное пятнышко хутора он не разглядел.

— Мы поистратились в Крестах,— продолжал капитан,— зарядные ящики пустые. Вся надежда на тебя.

— Нужны же немцам подарки к Новому году...— пошутил вошедший политрук.

— Они рождество празднуют. Им бы как раз теперь нужны подарки,— сказал Василий, придвигая кружку с чаем.

Чай на самом деле был хорош: горячий и душистый.

24

Дорогу от Крестов к той самой баньке, где две недели назад остался со своим взводом Малахов, они отыскали с трудом. Теперь это был глубокий тыл. Даже артиллерийской канонады не слышно. Склады и базы снабжения войск подтянулись поближе к фронту, некогда торные проселки завьюжило, забило снегом: ни пройти, ни проехать. От Горушки к хутору Колобову вела узенькая дорожка, проложенная санными повозками. Машины буксовали, шоферы то и дело вылезали из кабин, расчищали лопатами дорогу, толкали грузовики.

Все с облегчением вздохнули, когда наконец-то внизу, в стороне от мостка, завиднелась банька. Василий остановил машину и набитой, хорошо натоптанной тропкой побежал вниз. Возле баньки дотлевал костер, вокруг — разбросаны снарядные ящики: знать, ребята сиживали на них. В предбаннике висело стираное бельишко: рубахи, гимнастерки, кальсоны.

Голосов не было слышно.

Артюхов приоткрыл дверь — спертый и влажный воздух ударил ему в лицо. Василий опешил от неожиданности: что за чертовщина? Вся банька, снизу доверху, забита снопами льна. Не ликвидировал ли Иван склад? Он мужик оборотистый. Раздобыл где-нибудь машины и вывез снаряды на станцию. Артюхов закрыл дверь и, пригнувшись, чтобы не зацепить висевшее белье, вышел на волю. «Но белье-то солдатское!» — подумал Василий. Он потянулся было за папиросой и вдруг увидел: от сосновой рощицы, синевшей невдалеке, к баньке бежит боец с карабином. «Так это же... это же Максимов!» — чуть не выкрикнул от радости Василий и кинулся ему навстречу.

Артюхов недолюбливал Максимова; однако теперь, несмотря на свою сдержанность, Василий обнял сержанта.

— Здорово, сержант!

— Здравствуйте, товарищ лейтенант!

— Ну как?

— Мы ничего: все живы. А вы?

— Бутина у нас не стало.

— В Крестах?

— Да.

— Слыхать было. Не зря мы волновались за вас.

— А где ж ребята?

— Вот, в сараях, где вы прятали лошадей.— Сержант кивнул в сторону мостка: там, на взгорке, чернели ветхие, приплюснутые к земле сараи.— Рожь молотят. Мы тут совсем омужичились. Хи-хи... А некоторые успели даже обзавестись подругами жизни,— добавил он язвительно.

Василию как раз и не нравилась в сержанте вот эта черта: язвительность. И он погас сразу, обронил сухо, словно отдавал распоряжение:

— Чего ж мы стоим, поедем за ними.

— Я на посту.— Сержант почувствовал перемену в Артюхове и, вскинув на плечо карабин, побежал обратно к сосенкам, где высились штабеля снарядных ящиков.

«Подругами жизни?! Ишь ты!» — Артюхов с раздражением хлопнул дверцей. Машины поднялись на взгорок. Открылся сожженный хутор. Василий протер рукавом полушубка отдушину в заиндевевшем стекле. Все так же грустно чернели печные трубы да маячили в небе колодезные журавли. А вот и мосток, где они стояли с Паней ночью. Какая была ночь! А она ведь могла быть последней.

Возле сараев, в которых Артюхов той памятной ночью устраивал лошадей, виднелись люди. Поначалу Василию показалось, что они машут руками, подзывая его. Но, приглядевшись, понял: машут-то цепами, молотят. Василий велел шоферу остановиться и, спрыгнув с подножки, бросился к молотильщикам. Перепрыгнув через ворох обмолоченной соломы, Василий подбежал к току, поискал взглядом Малахова. Иван в распахнутом полушубке, потный, размягченный, стоял с краю тока.

— Привет, бочарник!

— Василий?! Живой?

— Как видишь. А вы?

— Путем!

Завидя машины, из сарая вышли бабы. Лица их были укутаны платками: из крохотных щелей виднелись только глаза. Бабы на ходу развязывали платки.

— Далече ль вы угнали идолов-то?

— Далече: на Волхов.

— Не вернутся, поди?

— Вряд ли...

У одной молодки — рослой, широкобровой, в сером от льняной костры ватнике — вдруг навернулись на глаза слезы. Что-то вроде сдерживаемого стона вырвалось у нее,

и она, чтоб никто не видел ее слез, резко повернувшись, побежала обратно, к сараю.

Малахов, оставив Василия, метнулся к ней:

— Ты чего, Тонь?

— Все! Все! — Она уткнулась в его грудь и заплакала.

Иван — и ласково, и грубо одновременно — вытер ладонью слезы, катившиеся по ее щекам. Василий недоуменно глянул на Ивана: вот оно что! Лицо девушки чем-то поражало. Даже не красотой, пожалуй, а какой-то открытостью, что ли. Широкие брови и ресницы припорошены пылью, отчего глаза, как подведенные, казались больше.

И сразу Василию вспомнились слова, оброненные Максимовым: «А некоторые успели даже...» «Так-так. Значит, Иван женился?! — подумал Артюхов.— Это, пожалуй, похоже на него».

Малахов отвел девушку в сторону, обнял ее за плечи и что-то стал говорить, утешая. Она качала головой и вытирала платком слезы.

— А-а, бабьи слезы что роса поутру...— К Артюхову подошел неказистый с виду мужичишка в наброшенном на плечи полушубке.— Солнце взойдет — роса высохнет.

— Это верно. А все равно не могу смотреть, когда плачет женщина.

— Ницаго.

Василий приглядывался к мужику: что-то показалось ему знакомым в его глуховатом голосе и, главное — в этом «ницаго».

— С каких же вы теперь мест? — спросил колхозник.

— Стоим на Оскуе.

— А-а, бывал, бывал! — Мужик задумался, почесал пятерней редкую бородку.— В молодые годы валять лес туда ходимши. Зиму всю, бывало, рубамши, вывозимши лес к реке, а как вскроетца Оскуй, так свяжем плоты да вниз по реке. Значит, наши уже на Волхове?

— Да.

— Это хорошо.

Помолчали.

— Гляжу: машины у вас хороши больно! — вновь заговорил он.— У нас тоже была. Купивши перед самой войной. Одна на весь колхоз. Полуторка. А у вас сразу три. Н-да...

— Приехали хозяйство свое ликвидировать. Снаряды нужны.

— Н-да, и ту взявши, коль война началась. А в хозяйстве — оно без машины несподручно.

— Это конечно.

— Сейчас погрузил бы тонну и концы с концами! А то — лошадки больно плохи, а робя наши много ржи намолотивши.

Василий уже догадывался, куда клонит дед, но виду не подавал: и без того не знаешь, как управиться за три дня, которые ему дали.

Старик, однако, не отступался.

— Можа, хушь десяток мешоцков подбросите?

Артюхова тронула эта настойчивость.

— Посмотрим, как пойдут дела. Тогда решим.

— Спасибо! На лошадях-то мы оборачиваемся тольки за два дни.

— Ну я вижу, вы уже сторговались? — пошутил, подходя, Малахов. Подошел не один: рядом с ним, потупясь, стояла та самая девушка, которая плакала.— Знакомься: это Василий Артюхов, о котором я тебе рассказывал.

Девушка посмотрела на Василия внимательно и протянула руку. Она назвала себя, но он не расслышал: то ли Тоня, то ли Оля. Он сначала не обратил внимания: мало ли встреч, через день-другой отправит снаряды на станцию, и они навсегда уедут отсюда. Они... и Малахов тоже.

— А это мой тесть! — деланно оживляясь, заговорил Малахов.— Что, не узнал? Прохор. Партизан. Помнишь Покровское, первый бой... Ну Прохор, который сопровождал генерала?!

— А-а, ну как же! Мы еще приняли их за немцев.— Василий сразу же вспомнил то утро под Покровским и узнал бывшего партизана.

Он захватил грубую в твердых мозолях руку Прохора и стал радостно трясти ее...

За остаток дня машины сделали только по одному рейсу на станцию. Артюхов прикинул — выходило, что надо сделать еще по меньшей мере четыре рейса, чтобы ликвидировать склад. Может, они и управились бы за два дня, но пришлось полуторку загрузить зерном: колхозу нужно было помочь.

Ночевали они в баньке.

Артюхов привез наркомовский паек — даже прихватил на армейском складе в Ворожбе несколько банок американской тушенки, которая тогда только появилась. В первый же вечер за ужином помянули Мишу Бутина. Василий рассказал о бое за Кресты, за депо; Иван — о всяких местных событиях и новостях. После ужина Малахов засобирался в деревню. Артюхов не стал возражать, он даже сказал по-дружески, что в эти дни Иван может быть свободным и распоряжаться временем как ему вздумается, но что в пятницу утром они заедут за ним в Горушку.

В пятницу Артюхов приказал погрузить на машины последние ящики со снарядами. Ребята забрали из баньки свои вещи и тронулись в путь. На полпути к Горушке им встретились розвальни, в которых ехали на работу колхозницы. Василий остановил машину: думал, что с ними едет и председатель. Однако ни Прохора, ни Тони с ними не было, и Василий, пошутив с бабами, кивнул водителю: поехали!

В Горушку они приехали рано.

Дымили избы, и на Артюхова так и повеяло родным селом, тылом, уютом. Машины он поставил возле церквушки, а сам пошел искать Малахова. Налегке, без планшета и оружия, молодой, выспавшийся, Василий легко перескакивал с сугроба на сугроб, отыскивая Прохорову избу.

Еще два дня назад, уходя, Иван сказал, как отыскать его: «От церкви направо, мрачноватый дом с высокими воротами». Но избы все подряд были мрачные с некрашеными, почерневшими воротами, над которыми белели заснеженные короба навесов.

Шагая уличкой, Василий приглядывался к селу. Ни санной дороги, ни пешеходной тропы... Были только тропинки от одной избы к другой. Они огибали лишь сугробы. В родной ему Орловке в этакую вот пору виднеются дорожки к колодцам. А тут вода близко: колодцы возле каждой избы.

У одного из домов ворота были открыты. Василий заглянул во двор и увидел Малахова: Иван подавал доски, а Прохор, сидя на крыше, заделывал дыру в навесе. Увидев Василия, Иван бросил доску и, вытирая руки о полы полушубка, подошел, поздоровался. Прохор спустился сверху,

и они постояли молча посреди двора, оглядывая работу: за утро покрыли коровник.

— Ну, чего ж тут стоять. Пойдемте в избу. Посидим перед дорогой,— обронил Прохор.

— Рассиживать-то некогда. Снаряды батарее нужны,— попытался возразить Василий, но все же пошел следом за Прохором.

Они вошли в полутемные сенцы и стали подниматься наверх. Лестница была крута, рассохшиеся ступени поскрипывали под ногами.

В передней светло от морозного солнца, пахло жареной картошкой. В углу под образами лежал завернутый в ряднину сверток: точь-в-точь такой же, какой взял из дому в Кургане политрук: носки небось, кисет да кусочек сала. Сердце Артюхова сжалось при виде этого свертка: напрасно Иван попутал добрых людей! Может, и принесла радость эта неделя ему, но зато сколько впереди у Тони тревог и слез?!

Заслышав шаги, из-за тесовой переборки вышла Тоня, а следом за ней пожилая женщина с таким же приятным лицом. Василий догадался, что это ее мать, Михайловна.

Тоня — молодчина: все поняла. Она знала, что разлука близка, и готовилась к этой минуте. Она не заломила рук, не запричитала, как другие солдатки, а только молча обняла Ивана, словно хотела удержать его. Но удержать любимого человека было не в ее силах, и Тоня смирилась — опустила с плеч руки и встала рядом, молчаливая и покорная.

— Присядем на дорогу...— Прохор снял треух.

Все сели: Василий и хозяин — на коник, Малахов и Тоня — на скамью, а Михайловна — на табурет возле чулана. В избе стало тихо. Из-за занавески, отделявшей светлую половину, выглянули дети: мальчик лет девяти и девочка-подросток.

— Ну, с богом! — Прохор встал и надел шапку.

За ним поднялись Малахов и Тоня, и только Михайловна замешкалась. Затем и она встала, перекрестилась; выждав, пока Иван достанет с вешалки портупею и кобуру с пистолетом да затянется ремнем, она перекрестила и его. Иван заулыбался, отмахиваясь от ее благословения, и следом за Артюховым шагнул к двери.

— Ваня, я к машинам не пойду. Возьми вот...— Михайловна подала ему узелок, завязанный в ряднину.

Малахов взял узелок, на глазах у него навернулись слезы. Василий считал Ивана суховатым, он не предполагал, что друг его так расчувствуется. Но Ивану вспомнился тот вечер в этой избе, когда он впервые увидел Тоню, сердце у него защемило, и он не совладал с собой. Он пригнулся и поцеловал Евдокию Михайловну. Она снова перекрестила его, благословляя, как благословляла детей и мужа, уходивших из дому. Прохор стоял рядом — маленький и, как показалось Василию, растерянный.

— Воюй, воюй, сынок. Да возвращайся... возвращайся,— твердил он.— Не то пахать землю будет некому.

Тоня не стала прощаться тут, при всех.

— Пойдем, я провожу.— Она набросила пальто.

Артюхов попрощался с Прохором и Евдокией Михайловной, и они все дружно — Иван, Тоня и Василий — стали спускаться по лестнице. На крыльце Артюхов обогнал их и пошел вперед. Ветер доносил обрывки фраз:

— Как доедешь, сразу напиши. Я буду ждать. Мне так хочется, чтоб ты всегда меня вспоминал хорошо.

— Ну что ты, Тоня!

— Я буду тебя ждать.

Малаховский взвод не встретил своего командира ни построением, ни докладом. Бойцы толкались возле машин, курили. Увидев Артюхова, стали разбираться по местам. Ребята забирались в кузова, укрывались брезентом и одеялами. Лишь наиболее любопытные вроде Максимова выжидали, делая вид, что наслаждаются последней затяжкой.

— Поехали! — Артюхов открыл дверцу шоферской кабины и, подождав, пока подойдет Малахов, сказал ему, чтобы он ехал в грузовике, замыкающем колонну.

— Хорошо! А каким маршрутом едем?

— Пока до Ворожбы,— Василий хлопнул дверцей.

Сквозь заиндевевшее стекло Василий видел ссутулившегося Малахова и Тоню. Лицо у девушки было грустное, но спокойное. Тоня что-то говорила Ивану. Она была хороша в ту минуту. Она повязала на голову цветастый полушалок — набивной, большими цветами, и пальто на ней было аккуратно пошитое, в талию. Тоня улыбалась — не то виновато, не то страдальчески.

Возле изб на горбах сугробов чернели фигуры стариков и баб — доглядывали.

В Горушке было много провожаний в тот год. Много было пролито бабьих слез. Но для Тони это было первое провожанье, и она не то чтоб стыдилась, а просто не знала, как вести себя. Досужие соседки наблюдают за каждым ее шагом, за каждым ее движением — не от зависти, не от злобы — из любопытства. Завтра будут судачить — по любви ли она связалась с лейтенантом али так? Почему она не голосила при прощании и прочее. Зная это, Тоня решила: как бы ей ни было тягостно, никто ее слез не увидит. Она сама решила свою судьбу. Сама сделала выбор, даже с матерью родной не посоветовалась.

Сама решила — сама и выстоит!

Иван обнял ее, но целовать не стал: в деревне на людях целовать не принято.

Тоня уткнулась в его плечо и затихла.

Некоторое время Артюхову были видны лишь руки Малахова, лежавшие поверх Тониного яркого полушалка. Но вот Тоня отпрянула, отстранилась от него.

— Ну прощай, благоверная! — Иван открыл дверцу и занес ногу, чтобы сесть в кабину, но вдруг рванулся обратно к Тоне, обнял ее и, запрокинув голову, стал целовать — щеки, глаза, губы.

Смотреть на это было неловко, и Артюхов, шутливо крякнув, отвернулся. Когда через минуту-другую Василий вновь глянул в отдушину, протертую им в стекле, Малахова уже не было. На обочине стояла лишь одна Тоня — напряженная, грустная, но собранная.

Артюхов молча махнул шоферу рукой: трогай. Скрежетнула шестерня в коробке скоростей, скрипнул снег под колесами — машина покатилась. Василий еще раз взглянул на Тоню. Сжимая на груди руки, она шла вслед уходившим машинам. Тоня не плакала, она даже улыбнулась, когда ребята из кузова что-то крикнули ей. Наблюдая за ней, Василий подумал, что в этой молодой женщине, как, видимо, и во всей породе Колобовых, есть характер. Да, такая на все решится.

25

Очень хотелось жить! И всегда — и вчера, и позавчера, и три, и четыре, и пять дней назад. Но сегодня — особенно: было тридцать первое декабря.

Было раннее утро. Выйдя из землянки, Артюхов постоял, вдыхая настоянный на хвое морозный воздух. Предрассветная мгла свинцово синела в лесной чаще. Дым, выбивавшийся из отдушин землянок и блиндажей, был почти незаметен. Над головой прошелестел снаряд: шу-шу-шу... Прошелестел и крякнул где-то позади землянок, возле хутора Хмелищи. Там, на опушке леса, на задах сгоревших от бомбежек изб, стояли гаубичные батареи майора Звездина, и немцы все время постреливали туда, стараясь нащупать их позиции.

Василий вслушивался: перелет или недолет? Прошелестел второй снаряд, а потом и третий... Наши ответили залпом. Началась перестрелка, и, пока Артюхов прислушивался к взрывам, морозная хмарь, которой был заполнен лес, поредела, и на востоке еле видимая сквозь березы зарделась желтая, с красноватым отливом полоса.

— Товарищ лейтенант! — позвал часовой.— Вас комбат вызывает.

— Объявился?

— Да.

Капитана чуть свет вызывали на КП полка, и Василий не успел рассказать ему подробностей о поездке.

Полевой аппарат стоял не в землянке, а в ровике, возле первого орудия. Ровик узкий: на случай артналета телефон был прикрыт плитой ротного миномета.

Сидя в окопчике, Ахмед разговаривал с комбатом. Увидев подбежавшего Артюхова, передал Василию трубку.

— Я слушаю.

— Василий,— сказал капитан,— приказано выдвигаться.

— Куда?

— На левый берег. Я выслал навстречу Глушкова. Он укажет место.

— Всем?

— Да.

— П-понятно...— обронил Артюхов тихо, словно бы про себя.

По тону, по форме обращения Василий сразу же догадался: день будет трудный. «Значит, заварили дело!» — подумал Артюхов.

Два дня назад полк Сарычева после часовой артпод-

отовки выбил немцев из лесочка, что на западном берегу Волхова. Лесочек небольшой, местность низменная, болотистая, маневру никакого. Однако, желая развить успех, генерал Рыженцев ввел в брешь и другие полки дивизии. Несмотря на поддержку тяжелой артиллерии, пехоте развить успех не удалось. Теперь, как и при штурме депо в Крестах, орудия приказано выдвинуть в первые шеренги атакующих.

— Ребят накормить? — спросил Василий.

— Нет, нет! Снимайтесь. В дороге перекусят. Или тут, на месте: у Кузовлева на кухне большой остаток. Первый в ярости. Срочно просит огня. Ясно?

— Ясно! — Артюхов бросил трубку и постоял возле ровика в нерешительности.

— Впрягать? — спросил наблюдавший за ним Ахмед.

Василий кивнул головой. Ахмед сказал подчаску, чтоб тот давал команду, а сам побежал будить ребят. Захватив пригоршню снега, Артюхов на ходу провел холодными ладонями по лицу. Вода потекла за ворот. Полотенца с собой не было, и Василий поспешил в землянку.

Бойцы подымались: Солод натягивал гимнастерку, Максимов сидел, свесив ноги с нар. Светильник, сделанный из гильзы сорокапятки, горел на столике; при тусклом свете его лица бойцов казались зеленовато-серыми. Безбородко, сидя на корточках, сдирал бересту с березового кругляка: готовился разжигать «буржуйку».

— Отставить печку! Ездовые — запрягать! Быстро! — Артюхов снял с суковатой палки, воткнутой в стену, полотенце, растер им лицо.

— И куда двигаем? — Тябликов торопливо сунул ноги в валенки и потянулся за полушубком, висевшим в изголовье.

— За реку.

— Фюить! — Старшина вытянул лицо, изображая крайнее удивление.— Вот вам, братцы, и Новый год! А я уж кое-кому приглашение послал. Так и так, мол, уважаемая леди, просим пожаловать на встречу Нового года. Аллея артиллеристов, землянка номер один.

— Кончай, старшина! — оборвал его Артюхов.— Раздайте ребятам сухари — пусть погрызут в дороге.

— Эхма! — вздохнул Пеканов.— Такую землянку отгрохали, а пожить не удалось.

— Да! — подхватил Солод.— Копал, старался: думал, Новый год встречать здесь будем.

Артюхову и самому было жаль землянки. Всякий раз, когда приходится вот так, неожиданно, сниматься, то первая мысль: где придется коротать следующую ночь? А эта ночь была особенной — ночь под Новый год. Вот почему Василию, как и каждому батарейцу, не хотелось покидать обжитого места.

Неделю назад, когда после непродолжительного отдыха дивизия вышла на правый берег Волхова, всем казалось, что под Хмелищами не так-то легко создать плацдарм на западном берегу. Батарейцы-то уж наверняка надеялись на «осадное сидение». Поэтому ребята постарались оборудовать землянки получше. Под Крестами нельзя было на штык копнуть — всюду вода, болото. А под хутором место оказалось высокое, сухое. Землянку батарейцы выкопали в полный рост; пол и стены, словно церковь к троице, устлали хвоей. Сколотили нары, понаделали скамеек. Сам командир полка, поди, позавидовал бы такому блиндажу.

Побросав в холодную «буржуйку» бересту и поленья, Безбородко подхватил ее, поволок к саням.

— Куда ты ее тащишь? — остановил его Тябликов.— Оставил бы девчатам из медсанбата.

— Неси! Неси! — понукали ребята.

Наблюдая за сборами, Василий подумал, что война научила людей приспосабливаться к любой обстановке. Как мерзли батарейцы в первые дни под Покровским и Заозерьем! Спали на снегу, грызли мерзлый хлеб, разбегались по лесу при малейшем гуле самолета. Теперь батарейцы жили по-человечески: спали на нарах, укрывались одеялами, разогревали хлеб на раскаленной докрасна «буржуйке», следили за светильником, который, правда, коптил безбожно, но все же при свете его можно было написать письмо домой, почитать газету.

Наладился быт, пришел боевой опыт.

Батарейцы быстро оделись, ездовые побежали снаряжать упряжки. Чихачев снимал провод. Ахмед свертывал постели, Максимов собирал кирки и лопаты. И когда через какие-нибудь пять минут ездовые подъехали к орудиям, все имущество батареи было погружено в розвальни, приторочено к лафетам, осталось лишь выкатить

пушки из орудийных двориков и прицепить их к передкам.

Лес ожил: слышался храп лошадей, сдержанная ругань ездовых, хруст ломаемых веток, стук копыт.

— Но, Ласточка! — Сабиров нагнулся, поправил постромки.— Назад, назад! Так.

— Давай, давай! — кричали другие ездовые.— Куда прешь?!

Березовые кругляки над ровиком, в котором стоял полевой телефон, разобраны. Связисты длинными рогатинами снимали провода с корявых елей.

— Веселей! Веселей! — торопил Артюхов.— Того и гляди «рама» прилетит.

— А она уже давно летает! — Малахов кивнул в сторону передовой.

Там, в стороне Волхова, над кромкой чернолесья, слышался характерный стрекот «фокке-вульфа», но самого самолета не было видно. Разведчик летал очень низко над лесом, а может быть, кружил стороной, доглядывая, что делалось на ледяной переправе через реку.

Пока выбивали клинья из-под сошников и на руках катили орудия к передкам, пока вытягивались вдоль просеки на дорогу, лес посветлел. Сизая морозная хмарь раздвинулась, поредела, небо высветлилось, и где-то еще невидимое из-за вершин деревьев показалось солнце. Сначала оно только угадывалось по голубому пятну, которое нет-нет да мелькало в распадинах между вершинами сосен; но вот наконец солнце выкатилось из-за леса — и все вокруг засияло. Засветились янтарем стволы сосен, засверкал, заискрился снег, черные, хмурые вершины елей заголубели.

Лес стал просматриваться насквозь, и люди, коротавшие ночь в землянках, вдруг увидели, что весь он полон жизни. По обе стороны дороги, ведущей к Волхову, виднелись повозки, автомашины, зенитки, кухни, палатки медсанбатов. Все это, как бывает перед большим наступлением, подтягивалось к передовой.

«Ух, сколько тут всего — и людей и техники! — думал Артюхов.— Ну мы двинем теперь немца!»

Неширокая лесная просека, ставшая торной прифронтовой дорогой, не способна была пропустить всех сразу. То и дело возникали заторы.

— Но, но! — Ездовой первого орудия Сабиров, мрач-

новатый с виду таджик, спешил выбраться на дорогу.— Пошел! Чего уперся, черт! — кричал он на коренника.

Автомашина со счетверенными «максимами» застряла на разбитой дороге. Шофер газовал, горячился; пулеметчики бросали под колеса лапник, толкали машину, но она все буксовала, роя колдобину задними колесами. Воспользовавшись заминкой, первому орудию удалось в объезд выскочить на дорогу.

— А ну быстрей! — кричал Малахов. Он стоял возле застрявшей зенитки и торопил своих. Медлить нельзя было: в объезд, с другой стороны, норовили уже проскочить минометчики. Они рубили деревья, чтобы сделать просеку, а упряжки с минометами и повозки с минами ждали, столпившись, позади зенитки.

— Эй, славяне! — кричал шофер зенитки минометчикам.— Подтолкните! Сейчас поедем.

Но минометчики не обращали внимания на мольбу водителя — пилили и оттаскивали в сторону деревья. Пока они возились с просекой, орудия батареи одно за другим выехали из-за низкорослых елочек и покатились влево, к Волхову. Снега в лесу было много, идти трудно, поэтому все норовили куда-нибудь приткнуться: сесть на передок или на розвальни, встать на ступеньку зарядного ящика. Дорога была кочковата — передки заносило в сторону, подбрасывало. Котелки и притороченные к ремням каски звенели, усидеть на передке или устоять на зарядном ящике было трудно — ребята чертыхались, спрыгивали и снова садились.

Артюхов прибавил шагу, обгоняя упряжки. Тарахтели орудийные колеса, фыркали лошади, шелестели над головой снаряды — наши, дальнобойные, калибра двести три,— но разрывов не слышно было: далеко, знать, швыряли. В стороне от дороги, в глухой просеке, чернели танки: ожидали, пока наведут переправу через реку. В глубине леса виднелись тягачи с орудиями. На обочине дороги, глазея на проходивших, толкались танкисты и орудийная прислуга. Бойцы — в полушубках, шинелях, ватниках — шагали вразнобой, шагали молча, вслушиваясь в гул боя, который с каждым шагом становился все ближе, все явственнее, а на душе — тревожней и тревожней. Однако скопление людей и техники снимало эту тревогу, вносило успокоение. Обгоняя лю-

дей и повозки, Василий думал о том, что, видно, именно здесь, на этом участке, решено нанести главный удар немцам. Немцы не смогли оправиться после разгрома под Крестами, раз они так легко позволили нам создать плацдарм на левом берегу реки. Завтра наши ударят всей силой — и побежит немец — назад, к старым границам. Где ему тут, в болотах закрепиться?

Артюхов поравнялся с первым орудием, впереди уже маячила нескладная фигура Малахова. Вдруг Василий увидел на обочине лежневки бойца, одетого в белый маскхалат. Сбросив с ног лыжи, боец оглядывал убитую снарядом лошадь. Артюхов остановился: не Красавчик ли? Издали не видно — он подошел поближе. Нет, это был не Красавчик... Красавчик карей масти с белой звездочкой на лбу, а эта лошадь серая. Лучшие куски были отрублены, и остались лишь потроха да шкура. И теперь лыжник осматривал, проверяя, есть ли что-либо съедобное. И нашел-таки! Нашел и, откинув за плечи автомат, достал из чехла, висевшего на ремне, большой штурмовой нож, который выдавали разведчикам, и стал им полосовать внутренности коняги. Крови не было — туша валялась здесь, наверное, со вчерашнего дня, ее переехало уже не одно орудийное колесо. Но лыжник все равно полосовал и полосовал до тех пор, пока не вырезал облюбованный кусок.

— Кирьянов! — раздался окрик. Артюхов увидел, что к бойцу, возившемуся возле лошади, подбежал сержант.— Кирьянов, мать твою! Отделение готовится к бою, а ты тут дохлятину собираешь.— Сержант на лыжах, но без палок. Автомат болтался на груди; маскхалат расстегнут.— Марш в роту!

Боец раскрыл противогазную сумку, висевшую сбоку (противогаза, конечно, в ней не было), и стал торопливо совать в нее куски конины.

— Брось! — заорал на него сержант.— Кому сказано!

— Эх, товарищ сержант, побывали бы в Ленинграде, не кричали бы «брось»!

— Брось, б..! Тебе приказывают!

— Ладно, сичас...— сказал боец и все совал и совал куски.— Съедобное же, товарищ сержант. У нас в Ленинграде такой кусок жизнь человеку мог спасти. А тут валяется...

— Ах ты, гад! Да сколько же тебя надо уговаривать?! — Сержант снял с ноги лыжу и со всего маху ударил ею бойца.

Удар пришелся по спине. Боец сунул куски конины в сумку и засеменил в глубь просеки.

— Надень лыжи, р-раззява! — сержант бросил ему вслед одну за другой его лыжи.

Зеваки, стоявшие на обочине дороги, рассмеялись:

— Ловко он его!

— Зачем лыжей? Засветил бы кулаком по уху!

Артюхов не удержался, подошел к сержанту.

— Нехорошо, товарищ сержант!

— А ваше какое дело! — Сержант сунул было валенок в ремешок лыжи, чтобы побежать следом за бойцом, но Василий остановил его:

— А ну, встаньте как положено!

Сержант оглядел Артюхова. Полушубок белой дубки — довольно чистый, необшарпанный, портупея, бинокль. «Адъютант какого-нибудь генерала,— подумал сержант.— Только свяжись с ним, греха не оберешься». Он остановился и, потупя взгляд, стал объяснять:

— Ну как же! Вышли на Волхов. Мины рвутся. «Рама» летает. Перед броском через реку стал считать: нет Кирьянова! Всегда думаешь: шальная пуля, а то и мина... А он сидит, шкуру трясет.

Его рассказ не разжалобил Артюхова, он продолжал наседать на сержанта:

— Номер части? Ваша фамилия?

Сержант не очень охотно отвечал: оказывается, лыжный батальон только вчера прибыл из Ленинграда.

Зеваки перестали зубоскалить, притихли.

— Идите! Я доложу командиру батальона о вашем поступке.

— Извините, а с кем я?..— робко спросил сержант.

— Лейтенант Артюхов! — в запальчивости выпалил Василий.

— Артюхов! Василий! — От бойцов и командиров, толпившихся на обочине, отделился невысокого роста лейтенант.

Василий осторожно поглядел в сторону бегущего. Все на нем было словно бы с иголочки: и шапка, и полушубок, на ногах не валенки вовсе, а добротные бурки с кожаной оторочкой — генерал, да и только! «Постой, постой! Да это же Анатолий Бойко!» — Артюхов еще издали узнал своего товарища по училищу.

— Толя! Какими судьбами?

— Все теми же!

В училище Василий недолюбливал Бойко, но теперь он искренне обрадовался встрече, дружески обнял Анатолия, помутузил его по плечам.

— Вот так встреча! Надо же: столько тут людей — и все же столкнулись!

— Судьба! Дай-ка я на тебя погляжу, какой ты...— Анатолий отстранил Василия, оглядел: в черных глазах его — молодое озорство и радость.— Молодцом! Возмужал. Распоряжаешься, как командующий армией. Знать, давно тут?

— С октября. Мы Кресты брали.

— О-о! Порядочно. У вас что, плохо со жратвой?

— Нет, ничего. А, лыжник?! Это ребята из Ленинграда. А кто там был, тот не может равнодушно видеть съедобное, даже если оно валяется на дороге.

— А я только что прибыл.

— С танкистами, что ль?

— Нет. Я — в тяжелом гаубичном.— Анатолий кивнул в сторону, где в тени елей чернели тягачи с прицепленными к ним короткоствольными орудиями.— Я тогда сразу же в Макарьевку попал, в полк АРКГ*. Понимаешь, засиделся в сопках.

«Небось папа устроил»,— подумал Артюхов, но вслух высказать свою догадку не решился — не хотелось обижать друга.

— Наши пошли выбирать огневую,— продолжал Бойко.— А мы топчемся. Холодно! Ты гляди, сколько тут народу, техники! Жаркий будет день. Памятный.

— Врежут — будешь помнить,— не очень злобно сказал Артюхов.

— Да-а! Ты где встречаешь Новый год? Может, заглянешь вечерком? Небось рядом стоять будем.

— До Нового года еще дожить надо.

* Артиллерия резерва Главного командования.

— Я не суеверен. Я верю в свою судьбу!

«Обожди,— подумал Василий,— раза два попадешь в такую переделку, как мы под Покровским, будешь суеверным».

— Вы свои гаубицы поставите в лесу у хутора и будете поплевывать себе. А мы — вперед, в самое пекло.

— А ты разве не в гаубичном?

— Нет! Я в полковой батарее. Нас выставляют наперед матушки-пехоты.

— Так уж и «наперед»?! — На лицо Анатолия на какой-то миг легла тень сочувствия, но тут же он снова заулыбался и в порыве радости толкнул Артюхова в плечо.— Ты знаешь, кого я встретил вчера?! Сеню Гавриленко! Ну, поэта нашего. Помнишь, он даже в строю стихи сочинял. Построение, а он с записной книжкой и карандашом. Всегда ему Нидиля выговаривал за нарушение формы.

— А-а, ну как же, помню! Где он? — Теперь и Василий заулыбался, вспомнив Сеню-поэта. Гавриленко — забавный парень. Остановит тебя на лестнице, возьмет за ремень, чтоб, случаем, ты не убежал от него,— и ну читать стихи.

— Он в дивизионе гвардейских минометов. Знаешь, что это такое?

— Слыхал.

— Они собираются поиграть сегодня.

— О! Значит, туранем немцев! — радостно сказал Артюхов.

О «катюшах» бойцы часто говорили, но Василию не приходилось видеть это оружие в деле: «Вот какая петрушка! — подумал Артюхов.— Наши ребята и в гвардейские дивизионы проникли».

— Проезжал я Хабаровск,— заговорил Артюхов,— и вспомнил училище, ребят, первомайский парад. Особенно тебя вспоминал: как ты был прав! Помнишь тогдашний наш спор? Ты говорил, что война на носу, а мы все маршируем: «Выше ногу!»

— Да! Все мы тогда были наивны,— сказал Анатолий, и от недавней его восторженности не осталось и следа.— Все-все, даже мой отец. Ведь он — профессиональный вояка, знал, что к чему. Но и он верил в пакт о ненападении. Даже после того, как у него в дивизии взяли танковый батальон и отправили на запад, даже после этого не понял,

что дело идет к войне. Все газетам верил, что наши перебрасывают войска исключительно для маневров.

— Тс-с! — предупредил его Артюхов: рядом стояли рядовые и командиры. Разный бывает народ — еще услышат. Но Бойко не остановили предупреждения Василия. Анатолий стал горячо говорить о том, что теперь-то мы расплачиваемся за свое благодушие.

— Нас не перевоспитаешь! — говорил он.— Лежнем лежим, как тот сказочный богатырь, пупки чешем, пока гром не грянет! Пока враг до Москвы не дойдет. А как дойдет до Москвы — припрет так, что выхода иного нет: либо жизнь, либо смерть,— тогда за дубину! Тут уж держись.

Артюхов слушал не перебивая. Он сам много думал об этом. Он и соглашался с Анатолием, и не соглашался. Он верил Сталину, но спорить с Бойко не хотел: не место для этого, да и не время. И Василий решил переменить тему разговора. Он спросил Анатолия об отце: воюет ли?

— Давно! — отозвался Анатолий.— Дивизией командует. Держал Могилев. Не читал? Про папу писали. Тут как-то, перед отправкой на фронт, получил от него письмо из Вязьмы. Смешной папан! Присвоили ему звание генерала. Вызвал его к себе Буденный, чтоб поздравить. А у меня, пишет отец, солдатская гимнастерка, которую я не снимал три месяца кряду, на плечах вся сгнила от пота. Начштаба всех старшин на ноги поднял, чтоб нашли генералу новую суконную гимнастерку.

— Нашли?

— Нашли.

— Значит, генерал.

— Да.

Мимо проехал Тябликов с обозом. В «козырьки», которые раньше легко катил Красавчик, впряжена была политрукова кобыла. Значит, батарея проследовала.

— Ну, бывай! — Василий обнял Анатолия.— Мне надо бежать, а то отстану от своих.

26

— Ты чего такой взъерошенный? — спросил Малахов, едва Артюхов поравнялся с ним.

— Ух, вот денек! — сказал Артюхов оторопело.—

Встретил сейчас дружка. Вместе в училище были. В гаубичном. Франт, но умный черт! А тут видел: сидит боец у дороги, подбирает остатки убитой лошади. А сержант налетел на него да лыжей вдоль спины!

Малахов молча шагал, раскачиваясь всей своей длинной фигурой. Он не высказал ни возмущения сержантом, ни осуждения бойцу.

— Распустились! — обронил Иван, и по тону его трудно было понять: кого он осуждает — бойца или командира.

Артюхов хотел продолжить рассказ, но сбоку поглядел на Малахова и все понял: мысли его были далеко, в Горушке. Василий посочувствовал другу:

— Ну что, Ваня, женатому-то лучше?

— А то! — оживился Малахов.— Я теперь, можно сказать, полноценный человек.

Артюхов еще раз — повнимательнее — взглянул на Ивана: пожалуй. Что-то переменилось в Иване: вроде бы и сутулиться стал меньше, и голову не вбирал в плечи, а нес ее прямо, гордо, и взгляд его, казалось, говорил: чего вы, люди, бегаете, суетитесь — спокойнее, спокойнее. Это спокойствие ощущалось и в голосе, и даже в том, как Иван, шагая, загребал снег валенками — солидно, не спеша.

— Я бы так не мог,— признался Василий.— За неделю человека не узнаешь.

— Ха! За неделю! — отмахнулся Иван.— За одну ночь, за один миг человек может раскрыться весь. Возьми хоть того же Кузовлева. Я видел его в дороге: мешок мешком. А каким он был тогда, под Заозерьем? Бог! А с бабой — оно и вовсе: один взгляд — и любовь на всю жизнь. Можно коптить небо девяносто лет и не испытать такого счастья, какое я испытал с Тоней.

— А она?

— Думаю, что и она.

— Эгоист! Вот ты кто!

— Хоть горшком назови — только в печку не станови!

Батарея вышла на поляну, густо заросшую ольшаником: верный признак болота. Саперы укладывали лежневку. Рубили ели и березу, сколачивали из них настил. Поясок кругляков, изгибаясь, как гусеница, уползал в глубь ольшаника. Пехотинцы и минометчики сворачива-

ли с просеки и опушкой огибали болотце. Следом за ними, подпрыгивая на кочках и колдобинах, покатились и орудийные упряжки.

С выходом на поляну явственнее стали звуки боя. Впереди гудела и содрогалась земля. «Ду-ду-ду!» — стучали немецкие пулеметы. Им с мягким выговором отвечали наши «максимы». Где-то совсем близко рвались мины. Прислушиваясь к звукам близкого боя, Василий подумал, что он напрасно завел разговор с Иваном насчет любви. Только растеребил его и себя.

— Баба — это все! — как всегда, резковато и грубо говорил Малахов.— Когда к ней прикасаешься, только тогда и чувствуешь, что живешь. Понял? Все после бабы кажется иным.

Несмотря на дружбу, на многие бессонные ночи, проведенные вот так же, вдвоем, им еще ни разу не приходилось говорить о своих чувствах. Василий был человеком скрытным и сдержанным; он считал, что любовь — это тайна двух; любовь — такое сокровенное чувство, что болтать об этом с другом не надо.

— А как у тебя с Паней?

— Да так, ничего.

— Но в Оскуе-то вы встречались?

— Встречались,— сказал Артюхов после паузы, когда заметил на себе испытующий взгляд Малахова. По этому взгляду понял, что Иван или знает кое-что (сболтнули ребята!), или о чем-то догадывается.

— Паня — она ничего! — подхватил Малахов.— Это я напраслину на нее возводил, что она не баба, то да се. Она, правда, любит поговорить. А в любви всякие там вздохи и лясы — все равно как забор на дороге: хочешь не хочешь, а через него надо перепрыгивать. С Тоней проще. Она понимает все с полуслова. Ты даже не представляешь, насколько человек может стать близким! Я стал сильнее, сноровистей. Силы во мне — во! — прибавилось. Мне кажется, что я один сверну всем этим немцам голову!

— Ну а если тебе свернут, тогда что?

— Свернут — что ж,— подхватил Малахов.— Так и тебе могут свернуть. Только тебе свернут — ничего от тебя не останется, кроме матери, а вместо меня останется сын.

— А тут горе всем: и сыну, если он будет, и Тоне, и

Прохору, и твоим родителям. Вон сколько несчастных будет! Ты об этом думал?

— Нет, не думал! Я думал об одном: нам хорошо! А о том, что будет после нас, пусть думают те, которые останутся в живых.

Где-то в стороне Волхова неожиданно тявкнула зенитка. Черное облачко разрыва не спеша расползлось по небу. Через минуту зенитка ударила еще и еще раз. И тотчас же из-за леса вынырнули «мессеры» с черно-желтыми крестами. Самолеты появились так неожиданно и так быстро пронеслись над поляной, что никто не успел даже крикнуть: «Воздух!» Никто не сорвался из колонны и не побежал в чащу леса, никто не ткнулся лицом в снег. Только ездовые, не дожидаясь команды, стали нахлестывать лошадей, стараясь на рысях проскочить поляну. Каждый знал повадки немцев: сейчас самолеты развернутся над хутором и начнут обстреливать просеку.

На опушке чернели корявые дубы.

— Давай, давай! — кричал кто-то от крайнего дуба.

Перемахнув через сугроб, Артюхов увидел, что под дубом стоит связной комбата сержант Глушков. Василий подбежал к сержанту запыхавшийся, возбужденный от бега:

— Далече еще?

— Немного лесочком, и тут же речка.— Глушков вытер ладонью потное лицо.— Дают, гады! Косят лес пулеметами. А мины эти так и швыряют, так и швыряют.

Орудия сворачивали в чащу леса. Здесь уже чувствовалась близость большой реки. Корявые дубы стояли редко, вольготно. Замшелые стволы елей — в два обхвата. Упряжки на рысях вламывались в густой подлесок: лошади всхрапывали и поводили потными боками. Ездовые и прислуга спешились. Каждый готов был в любой миг броситься на землю, в укрытие елей.

Однако тревога была напрасной. Самолеты над дорогой не появлялись. Противный посвист их, мало-помалу удаляясь, затих на противоположном берегу. Можно было переправляться через реку.

— Марш-марш! — скомандовал Артюхов.

Над Волховом голубело небо. И под этим голубым, усыпанным белесыми барашками небом трескуче сыпались автоматные очереди. Казалось, немцы сидели совсем рядом, в прибрежных кустах. На заснеженном льду реки

чернели воронки от мин, как язвы от оспин на лице комбата. Ребята поглядывали то на эти черные воронки, то на голубеющий в высоте простор неба. К такому простору глаз был непривычен. После узкой и мрачной просеки, по которой они двигались, простор реки поражал своей величавостью. Василий остановился от неожиданности: с высотки, у спуска к реке, было видно далеко-далеко. По льду тут и там торопливо шагали люди. Шли пехотинцы, лыжники, минометчики с громоздкими опорными плитами за спиной; тащились повозки с боеприпасами — туда, за реку, и с ранеными из-за реки. Правее дороги саперы готовили переправу для танков. Левее — там, где переходил реку лыжный батальон, рвались мины. Немецкие минометы стояли так близко, что слышны были даже шлепки выстрелов. Тупой удар о землю — и тут же: вью-и-и! И трах! Черно-тротиловое облачко вздымало снег, и на месте взрыва зияла воронка. Однако взрыв мины не пробивал лед, только бодал его, расшвыривая вокруг снег.

Противоположный берег был так близок, а упряжки, понукаемые ездовыми, неслись так стремительно, что ждать или прятаться в воронку было бесполезно. Одержимые одним желанием как можно скорее преодолеть опасность,— люди помимо своей воли лезли в пекло. А ощущение страха, которое присутствует всегда, старались заглушить в себе руганью: командиры кричали на солдат, солдаты — на лошадей.

— Подтянись! — кричал Артюхов, видя, что Сабиров, ездовой первого орудия, замешкался.

— Прямо! Прямо! Вон соснячок на той стороне! — Глушков спустился к реке и указывал, куда надо править.

Первое. Второе. Вот и последнее орудие протарахтело вниз по обледенелому спуску. Возок Тябликова и еще несколько саней с батарейным имуществом показались из-под корявых дубов. Но Василий не стал их ожидать — следом за орудиями сбежал вниз. У самого льда из-под снега торчала побуревшая осока. Видимо, река стала при высокой воде. Теперь вода сошла, лед осел — по всему берегу зияли щели. Орудийные колеса ломали лед на закрайках — слышался треск, ледышки летели в стороны. Из-за нервного напряжения, которым всегда сопровождается выдвижение на передовую, Ва-

силий не сразу услыхал звук приближающихся самолетов. Он увидел их, когда «мессеры» пролетали над его головой.

Зенитчики, стоявшие на поляне в дубках, застрочили было, но поздно: «мессершмитты» уже скрылись за кромкой леса. Через минуту они вновь появились, пролетели над лесом по другую сторону Волхова и взмыли ввысь.

И не успел еще погаснуть их противный звенящий гул, как со стороны Апраксина бора, из-за Волхова, показались бомбардировщики. «Юнкерсы» шли звеньями, по тройке. Где-то в устье Оскуя четко стукнула раз-другой зенитка. Черные тюльпаны разрывов повисли в вышине. Однако «юнкерсы», не обращая внимания на стрельбу зениток, низко плыли над рекой. Кто-то крикнул: «Воздух!» Но крик этот потонул в реве моторов.

Было ясно: «юнкерсы» летят бомбить переправу. И едва Василий подумал об этом, как увидел, что от первой машины уже отделились бомбы. Какой-то миг они были видны и летели плашмя, чуть склоняясь к земле. Черные, тупорылые, как сигары. Бежать было бессмысленно. Увидев впереди воронку, Артюхов метнулся к ней. Падая, он взглянул на противоположный берег. Второе орудие уже выкатилось на взгорок, туда, где чернели низкорослые сосенки; и не с завистью к счастливой упряжке, а с надеждой, что, возможно, все обойдется, Василий уткнулся лицом в воронку.

Воронка была крохотной: взрывом мины разбросало лишь снег вокруг да слегка долбануло лед. Был он холоден и гладок, этот волховский декабрьский лед, но Артюхов, не раздумывая, прижался к нему щекой. Страшный рев бомб с каждым мигом приближался к земле.

Сколько раз случалось попадать под бомбежку, и всякий раз рев этот помимо воли валит тебя, заставляет закрыть глаза. И Василий закрыл глаза и, сдирая ногти, царапал под собой обледенелый снег. Вдруг треск; лед под ним заходил, снег с краев воронки сдуло: воронка стала шире и просторнее. В ушах звенело, но ни в ногах, ни в руках боли не было. Сознание того, что он жив и невредим, вернуло его к действию.

Василий приподнял голову и выглянул из воронки.

Отчаянно строчили зенитные пулеметы. Но, несмотря на их пальбу, «юнкерсы» летели все так же низко и в той же

очередности, которая была определена у них заранее. Желчно-черные фонтаны взрывов поднимались вдали: там, где реку переходили лыжники. Но самих лыжников уже не было видно: либо все попадали в снег, как батарейцы, либо успели проскочить.

— Василий, живой? — услыхал Артюхов голос Малахова.

— Живой.

— Дают жару, гады!

— Двухсотку сыпал.— Василий зло сплюнул и, вытерев рукавом мокрое от снега лицо, огляделся.

Вся река была испятнана, искромсана взрывами. Вода, булькая, выливалась из воронок на лед. Снег насыщался ею и тут же, на глазах, превращался в непроходимое месиво. Матерясь и отряхиваясь, батарейцы поднимались, с испугом оглядывались по сторонам: где упряжки? Тем временем лошади, никем не управляемые, метались по льду. Ребята ловили их за поводья, кричали на уносных, запутавших постромки. Приведя в порядок упряжь, ездовые на рысях спешили к берегу.

И лишь одна упряжка оставалась посреди реки. Передок скособочился — видно, угодил колесом в воронку,— и под колесом, в самой воронке, как показалось Артюхову, бултыхалась лошадь.

Человек может высказать свои страдания: застонать, попросить помощи. Но лошадь — существо бессловесное и очень трогательное в своем страдании. Может, поэтому люди с такой готовностью спешили ей на помощь.

Когда Артюхов подбежал к упряжке, возле орудия, помимо расчета, уже хлопотал Тябликов.

— Руби постромки! Руби, ангел тебе в душу! — кричал старшина Сабирову. Ездовой стоял посреди огромной воронки, со дна которой пузырилась зеленая вода, и дергал за повод лошадь:

— Но! Но!

Уносная Ласточка, кроткая и послушная, бултыхалась в воде. Видимо, бомба взорвалась впереди упряжки, когда лошади, напуганные бомбежкой, во весь опор неслись через реку. Сабиров не смог удержать их, а может, он, как и все, уткнулся в снег. Упряжку, брошенную на произвол судьбы, занесло в воронку. Коренник и левая уносная проскочили, а Ласточка угодила в прорубь. Над водой

виднелась голова лошади. Фиолетовые глаза, большие, навыкате, слезились: в них ужас и мольба к людям. Но люди бегали вокруг воронки; матерились, орали, никто толком не знал, что делать. Все кричали на Сабирова, который остолбенело стоял по колено в воде — бледный, с испариной на лбу. Казалось, он не тянул кобылку за повод, а сам держался за него, чтобы не упасть. Скользя по льду передними копытами, Ласточка пыталась выбраться из воронки, но с каждым движением круп ее еще больше погружался в воду.

— Но! Но! — кричал Сабиров.

— Чего нокаешь?! Руби постромки! Руби! — Тябликов подбежал к упряжке. Ни слова не говоря, нагнулся к передку, где был приторочен шанцевый инструмент; выхватил топор, рубанул им один-другой раз.

Постромки сразу же ослабели.

— Отцепляй орудие!

Расчет был уже на месте. Ребята отцепили орудие; Тябликов развернул коренника в сторону от воронки, и рыжий гривастый мерин, поводив боками, рванул с места. Правое колесо, осевшее в воронку, круша лед, выкатилось из воды. Пушку снова подцепили к передку, и все двинулись.

Лишь Сабиров — медлительный и нерасторопный ездовой — по-прежнему стоял в воде, у края воронки.

— Но! Но! — твердил он свое, не выпуская из рук уздечки.

Кобылка отчаянно скользила копытами по льду, и чем она больше перебирала ногами, тем сильнее скатывалась в прорубь. Какое-то время над водой виднелась лишь голова Ласточки, но вдруг и она юркнула под лед. Сабиров едва успел отпустить повод. И, как только он выпустил из рук повод, так и сам устоять не мог: стал валиться на лед. Артюхов, бывший рядом, подхватил Сабирова, вынес его из воды...

В суматохе никто не заметил: второй валенок ездового чернел на снегу, метрах в пяти от края воронки...

Сабирова положили поверх передка. На какое-то время он потерял сознание и только чуть слышно постанывал. Объезжая воронки и полыньи, орудия кое-как подтянули к берегу. Берег здесь был крутой. Из-под обрыва, порос-

шего осокой, сочилась ржавая вода. Лошадям было трудно одолевать подъем, и вдоль всего глинистого откоса батарейцы тащили пушки на себе. Взгорок изрыт окопами, на снегу в полуразрушенных «лисьих норах» валялись немецкие каски, ленты от пулеметов, коробки, гранаты с деревянными ручками: знать, шла тут работа!

Артюхов поскользнулся раза два, карабкаясь вверх в мокрых валенках; руки и полушубок он вымазал в глине, и, когда наконец поднялся наверх, вид у него был ужасен.

С пригорка виднелись сосенки, о которых говорил Глушков. К сосенкам по густому мелколесью была проделана узкая просека. Взрытая колесами орудий и минометов, она петляла, то поднимаясь, то опускаясь, по неглубоким руслам стариц. В стороне от просеки Василий увидел повозку взвода управления и побежал к саням, чтобы вылить воду из валенок и переобуться. Хозяйство взвода: телефонные аппараты, катушки с проводом, коробки со стереотрубами — все было сброшено с саней, и в розвальнях лежало человек пять или шесть раненых пехотинцев. Уткнувшись в солому, раненые спали. Только один из них — чернявый, узбек или татарин, с перебинтованной головой, сидевший в передке саней, грязными, заскорузлыми руками свертывал цигарку.

— Какого батальона? — спросил Артюхов. Присев с краю розвальней, он стянул по очереди валенки, вылил из них воду, отжал портянки.

— Кузовлева.

— Ну, как там?

— Шибко жарко! — сказал раненый.

Батарейцы сняли Сабирова с передка, положили в задок саней. Все знали, что надо перевязать рану. Но никто за это не брался. Наконец Тябликов решился: разрезал на ездовом штанину, вынул из кармана индивидуальный пакет, стал делать жгут, чтобы приостановить кровотечение.

Сабиров, казалось, пришел в себя; он открыл глаза и слабеющим голосом сказал:

— Старшина... не надо.

— Как так «не надо»?! — возмутился Тябликов.— Крепись.

— Вон сестрица идет,— сказал чернявый.

Из-за кустов ольшаника показалась Паня Зайцева. Согнувшись, она везла за собой санки с раненым. Тяжелая санитарная сумка болталась у нее сбоку, валенки с подвернутыми голенищами проваливались по колено в снег. Но она, казалось, не замечала ни снега, ни ноши, ни людей, глядевших на нее с надеждой.

— Ой, батарейцы! И у вас кого-то прихватило на льду! — Она остановилась, переводя дух.

— Паня! — позвал Сабиров.

— Сабир! Дорогой! Сейчас, сейчас.— Она наклонилась над раненым, которого привезла, чтобы перенести его на розвальни.— Старшина, готовь жгуты. Скручивай по три бинта.

— И давно ты тут? — спросил Василий; он помог ей поднять раненого с санок.

— Со вчерашнего вечера.— Она откинула со лба потную, заиндевевшую прядь волос и поглядела на него — открыто и тревожно.— Клаву ранило, а рота Барсукова — в деле. Вот и послал меня Михалыч.

Пехотинец был ранен в плечо. Чтобы перевязать рану, Паня сняла с него полушубок. Он продрог, пока она везла его на санках, и все просил, чтобы Паня скорее отправляла их в медсанбат.

— Сейчас перевяжу батарейца, и поедем.

Паня и Тябликов занялись Сабировым: наложили жгуты, крепко-накрепко забинтовали культю. Смуглое лицо Сабирова стало белее снега. Ездовой мужественно переносил перевязку: не стонал и не жаловался на боль — только все просил:

— Потуже, Паня... Потуже...

Однако, несмотря на все ее старания, кровь из раны все равно пульсировала, и Сабиров отворачивался, чтобы не видеть окровавленного снега.

Наконец и его уложили в сани. Паня присела за ездового: она должна была доставить и сдать раненых в медсанбат.

Артюхов подошел к ней, пока еще повозка не тронулась.

— Что ты! Какой медсанбат?! Ты видишь, что тут делается.

Паня тронула лошадей. Розвальни тут же скрылись в мелколесье.

Проводив Паню, Василий поспешил в расположение

взвода. Кочки и ольшаник кончились, начались сосновые посадки. Сосенки росли часто: корявые, сучковатые, Василий пробирался сквозь них с трудом.

Капитан Лысенко стоял с краю посадки: поджидал командиров взводов.

— Живой? — спросил комбат, и этот вопрос, произнесенный с участием и радостью, заменял и здравствование и рукопожатие.

— Живой. Сабиров ранен.

— Знаю. Не везет нам на ездовых.

— Немец лед взламывал! — все еще находясь под впечатлением случившегося, рассказывал Артюхов.— Улетели «юнкерсы»: я вскочил — Ласточка плавает, а Сабиров рядом стоит, за повод ее держит. Признаться, я еще плохо о нем подумал: раззява, не мог с лошадью управиться! А он, оказывается, на одной ноге стоял.

— В лошадях, кроме Ласточки, нет потерь?

— Нет.

— Добре.

— Что нового тут?

— Командование придает особое значение нашему плацдарму,— сказал комбат.— Может, отсюда и начнется освобождение всего левобережья.— Лысенко был небрит и, судя по осунувшемуся лицу, не спал остаток ночи, когда его вызвали на КП полка. Оспенные пятна не были видны из-за щетины, которой поросли скулы и подбородок. И лишь на мясистом его носу и под глазами пятна эти зияли, словно воронки на льду.— Поначалу все пошло добре. А вчера застопорилось. Сарычев нервничает, ругается. Одним словом, гром и молния.

— А чего он ругается?

— Что вчера не выдвинулись.

Они прошли метров двести левее сосенок. Немецкие минометчики стучали совсем рядом, а от трескотни автоматчиков можно было оглохнуть.

— Смотри сюда, Василий,— заговорил комбат.— Ты станешь правее, на прикрытие КП полка. Сейчас объясню всем обстановку, и мы сходим с тобой, посмотрим зону огня.

Подошли политрук и командиры взводов. Комбат пригласил всех в землянку. Они долго шли по глубокой траншее, прежде чем очутились в блиндаже. Высокий потолок. Стены забраны сосновыми кругляками. Нары толь-

ко с одной стороны. Над столом свисал обрывок тонкого провода: видно, у немцев освещение было от аккумулятора. Теперь на столе коптила плошка.

Связной капитана сержант Глушков растапливал «буржуйку» — в блиндаже пахло берестой и откатной жидкостью от горевшей плошки.

— Ого! Блиндаж-то немецкий! — воскликнул Малахов, оглядев землянку.— А мы думали-гадали, где Новый год встречать?!

— Не кажи «гоп», пока не перепрыгнул,— мрачновато отозвался Лысенко, и все поняли, что сегодня капитану не до шуток.

«Посидеть бы в тепле, у печки, обсушиться б малость»,— подумал Артюхов. Все молча уселись поближе к столу. Пеканов поискал взглядом, куда бы устроить автомат, и, привстав, повесил его на ролик электропроводки. Малахов заскорузлыми пальцами свертывал самокрутку. У Ивана появился кисет — черный, с красной тесемкой и желтой вышивкой. Видно, Тоня подарила. Малахов сосредоточенно крутил козью ножку, а взгляд его блуждал, и была в нем не то тоска, не то задумчивость какая-то.

Комбат достал из планшетки карту, пошуршал листом, расправляя. Это была карта нового района — за Волховом. Никто из командиров еще не знал этого района, и теперь уткнулись в карту, разглядывая и изучая ее. Видна была широкая лента Волхова, пересекавшая карту из одного угла в другой,— с юга на север. Почти параллельно реке чернели жилы железной дороги и шоссе. А вокруг, заполняя весь лист, привычная зелень лесов. И среди этих разливов зелени — хутора и деревеньки. Ни одного города, ни станции, ни одного более или менее крупного населенного пункта.

Лес, лес, лес... А поверх размывов зелени поэтическое и таинственное название: Апраксин бор. Рассматривая карту, Василий думал о том, кто такой этот Апраксин: лесник, учитель или петровский воевода? На западной стороне Волхова очень много мест, связанных с русской историей. Тут проходил путь из Петербурга в Москву: путь нищеты и бесправия, описанный Радищевым. И пусть не знал Артюхов, в честь кого этот лес назван Апраксиным, но знал он твердо одно: этот бор, как и Кресты, как и любая деревенька, за которую они проливают кровь,— ча-

стика его родной земли, овеянная древней историей русского народа.

— Видите?! — комбат огрызком карандаша постучал по карте. На листе была нанесена обстановка — ротные НП, расположение огневых точек противника.— Смотрите: вот — деревня Зеленщина. Передовая — вдоль опушки. Перед полком поставлена задача: овладеть деревней и оседлать железную дорогу и шоссе. В случае успеха нас поддерживают другие полки дивизии. Наша задача: хорошенько обработать предполье. В тринадцать ноль-ноль поднимается пехота. Мы переносим огонь за деревню. Вот сюда, в район Спасова ручья, где предположительно у немцев вторая линия обороны. Гаубичный полк начинает вместе с нами. Как и в Крестах, мы идем в боевых порядках пехоты. Прикрытие слева — третий батальон, перед наблюдательным пунктом — рота Барсукова. Ясно?

— Ясно!

— Есть вопросы?

— Вопрос к командирам взводов,— заговорил Зотов.— Что у нас со снарядами?

— Мы привезли вчера много снарядов,— ответил за всех Артюхов.— Зарядные ящики в полном комплекте.

— А осколочные?

— Осколочные только в передках.

— Мало! — Политрук встал, прошелся из угла в угол землянки.— Надо сказать, чтобы сани, на которых будут отвозить раненых, не возвращались сюда, на плацдарм, пустыми.

— Возьми это на себя! — обронил комбат.

Помолчали. Слышно было, как взрывы молотили где-то утробу земли: то ли немец бомбил опять, то ли рванула наша дальнобойная артиллерия.

— Вопрос к старшине: когда будет жратва? — спросил Малахов.

— А-а, после тещиных-то блинов быстро протрясся! — пошутил политрук.

Обычно все отзывчивы на такие шутки, но на этот раз никто не засмеялся даже.

— Кухня первого батальона рядом. Сегодня у них большой остаток — покормят и наших,— сказал комбат.

— Может, они и по рюмке дадут? — оживился Тябликов.— А свое мы прибережем для встречи Нового года.

— А и! — капитан махнул рукой. — Для встречи Нового года найдем горилки! — И, окинув всех грустным взглядом, Лысенко добавил чуть слышно: — Ну а теперь по местам.

27

На опушке, обращенной к деревне, росли осины. Их молодые побеги подступали к полю, огороженному плетнем. Изгородь была ветхой: колья подгнили, и забор во многих местах упал. А может, пехотинцы ходили в атаку и повалили его. У самого плетня в небольшом окопчике находился батарейный НП. Окопчик был узкий — втроем повернуться негде. На бруствере, замаскированном лапником, стояла стереотруба; рядом в нише полевой телефон. Чтобы поглядеть в стереотрубу, надо было согнуться в три погибели, и пока Лысенко откорректировал огонь батареи, от неудобного сидения у него затекли ноги.

— Ну, бывай, Иван! — Грузно опершись о бруствер, капитан выпрыгнул из окопчика.— Значит, договорились: как только Кузовлев оседлает первую траншею и ворвется в деревню, вы перебираетесь за ним следом. Провода у вас хватит?

— Хватит,— отозвался Чихачев; телефонист сидел в углу, в нише, сверху виднелась только каска, вымазанная в глине.

Лысенко сказал, что сам он будет находиться с первым взводом, еще раз напомнил ориентиры и ушел.

Чихачев переговаривался с Максимовым, который вел контроль связи.

«Вот черти! — недобро подумал Малахов о пехотинцах.— Два дня сидели в дозоре — не могли окоп отрыть во весь рост». Иван привалился спиной к сырой стене окопчика и задумался. Сразу же подступила тоска о Тоне. Он вспомнил, какой она была тогда: ласковая и податливая, и тоска сжала сердце. «Я буду тебя ждать. Оцень». Ему казалось, что он даже слышит, как она произносит это свое «оцень». Смешная, право! Чтобы хоть на миг

отвлечься от воспоминаний, Малахов приподнялся и взглянул на деревеньку.

Сразу же за покосившимся плетнем виднелось неубранное поле. Пожухлые головки льна торчали из-под снега. Вблизи они были различимы ясно: серые коробочки на белом насте. Но чем дальше, тем головки льна становились все менее и менее заметны: они тускнели, сливались в сплошную щетину, и поле от них вдали казалось неярким, серым. В конце этого серого-серого поля стояли «ежи» из колючей проволоки, а за ними курчавились невысокие кусты ольхи или ивняка, росшие на задах деревенских огородов. Меж кустов виднелись колья и поникшие перекладины жердей — все, что осталось от ветхих изгородей. На задах огородов виднелись приплюснутые к земле баньки, а за ними, за низкими прокопченными баньками, на самом юру высились избы. Деревенька была еще цела: не сожжена и не потрепана артогнем. Еще белели тесовые крыши; вознесенные высоко, круто, они четкими квадратами выделялись на фоне дальних еловых перелесков. Колодезные журавли, взметнув к небу свои хлысты, одиноко стояли между избами.

Сколько было их, этих безвестных деревенек, которые Иван разглядывал вот так же, с тоской и надеждой! С тоской потому, что там была жизнь, был свой мир, свой уклад, и все смяла, нарушила война. А с надеждой потому, что каждый раз казалось: ничего, все обойдется, и в этой деревне он побывает.

Вспомнилось, как из своего «грачиного гнезда» с высокой сосны глядел на Горушку, на накренившийся купол церквушки, на тесовые крыши изб. Да и сколько потом радостного и грустного было в этой самой Горушке! Иван вздохнул: радость всегда соседствует с грустью. Наверное, не он один, а сотни людей, которые лежат теперь в густом осиннике вдоль лесной опушки,— все думают об одном и том же. Думают, как и он, что, может, вот этот окопчик или вот это льняное поле станут тем пределом, где тебе суждено остаться навсегда.

На передовой тихо. Слышен лишь сдержанный говор: кто-нибудь из политработников напутствует солдат; глухое покашливание, стук топоров и треск падающих деревьев: саперы, как всегда, делали завалы.

— Разглядываешь? — Подмяв кусты, через бруствер перевалился Кузовлев.

Командный пункт майора находился в сотне метров от опушки. Пробираясь сюда, на НП, Малахов вместе с комбатом заходил к нему. Но у Кузовлева были командиры рот, и им не удалось обмолвиться и парой слов. Теперь майор сам пришел: не сиделось ему в землянке.

— А чего тут разглядывать?! — отозвался Иван, освобождая место для майора.— Деревенька-то так себе, полсотни дворов. А атакуем всем полком.

— Не в деревеньке дело. За нею — железная дорога и шоссе.— Присев на колени, Кузовлев уткнулся в стереотрубу.— Ну-ка! Дай гляну. С биноклем был тут — ничего, кроме «ежей», опутанных колючей проволокой, и «лисьих нор», не разглядел.

— Из нор-то мы их выкурим! — сказал Малахов.— Долбанем сейчас всей батареей — небось в норе не усидишь!

— Из нор-то, может, и выкурим,— в тон ему отозвался майор.— А выкурим ли из насыпи — не знаю. Глядите-ка сюда!

Иван припал к стереотрубе, но, как и раньше, ничего, кроме проволочных «ежей» посреди поля, кустов на задах огородов и заснеженных крыш, не увидел.

— Левее деревни. Левее! Насыпь видишь?

— Вижу.

— А елочки?

— Растут кое-где.

— Растут?! Елями у немцев доты замаскированы. Понял?

— Почему ты так думаешь?

— Вчера Барсуков с ротой сунулся было — напоролся на такой огонь, что не знал, как ноги унести.— Кузовлев, пошарив в кармане, достал помятую пачку папирос. Протянул Малахову, но Иван отказался. Сунув в рот папиросу, майор чиркнул раз-другой трофейной зажигалкой, но она не зажигалась.

— Кресало есть?

— Есть! — Чихачев долго рылся в карманах, наконец достал моток срыва, распутал, а в мотке — камень и железяка. Ребята звали Чихачева «старьевщиком». У него все карманы были забиты разным барахлом: расческами,

футлярами от часов, старыми фонарями. Чихачев долго пыхтел, бил по камню железякой, но все же выбил огонек.

Уткнув лицо в ладони телефониста, Кузовлев поводил небритыми скулами, и в окопе запахло папиросным дымком. Майор откинул на затылок каску, сделал затяжку и, разгоняя дымок, помахал перед лицом ладонью. У Кузовлева приятное лицо — скуластое, чернобровое. Он нравился Малахову: им не раз приходилось сидеть вот так, вместе, перед атакой.

— Сейчас начнем...— сказал Малахов, посмотрев на часы.

— А мои все еще станковые пулеметы на лыжи прилаживают.

— Значит, это твои стучат? — Иван кивнул влево, на ольшаник, откуда слышались удары лопат и заступов о мерзлую землю.

— Нет. Это славяне роют окоп для Тихона Сыромятникова.

— Чего же перед атакой рыть?

— Чудак Тихон! — Кузовлев улыбнулся, собрав морщинки вокруг глаз. Глядя на эти морщинки, Иван подумал, что вряд ли майору удалось хоть часик поспать в эту ночь. Всегда живые, чуть-чуть монголистые глаза его провалились, и только теперь, когда он улыбнулся, в них ожила обычная лукавинка.— Сарычев вытурил его из-за реки сюда. И он спешит закопаться в землю. Наивный человек — хочет выжить.

— Все хотят,— признался Иван.— А ты разве не хочешь?

— Хочу, но я как-то об этом не думаю.— Кузовлев ткнул недокуренную папиросу в стену окопа.— Чаще думаю о ребятах: как бы их сохранить? А Тихон в последнее время труслив стал. До смешного. Тут, второго дня, когда мы на плацдарм нацелились, немцы знаешь как огрызались? Мы с Барсуковым не раз ходили врукопашную. А Тихон сидит себе по ту сторону реки в блиндаже и по телефону: «Алло! Алло!» Какое тут «алло!» — из каждого окопа фрицев гранатами выкуривали! Он и сегодня хотел отсидеться за рекой, да Сарычев его в роту вытурил.

— Инстинкт! — уклончиво сказал Иван: он мало знал командира третьего батальона и поэтому не брался судить его.

— Ну не скажи! Бывало, на осенних учениях его всегда в пример ставили: аккуратен, исполнителен, находчив. Он и под Мосиным хутором был находчив! А как получил орден — словно подменили человека. Ему очень захотелось выжить. Выжить, потом, после войны, приехать в родную Репьевку. Капитан, а там, глядь, и майор. Новая гимнастерка. Галифе. Орден на груди. Пройдет он по улице, выпятив грудь колесом, а сельчане все с поклоном к нему: Тишка-то их герой! В Оскуе, на отдыхе, мы ночевали в избах,— продолжал Кузовлев, вспоминая.— Подумаешь, ну прилетит фриц! Постреляет да и улетит. И Тихон жил со всеми. А потом, глядь, сбежал в лес. Заставил ребят, чтобы они выкопали блиндаж в кустах, и отсиживался в нем. И теперь вместо того, чтобы отдохнуть перед атакой, бойцы роют ему окоп.

Откуда-то из-за Волхова просвистел снаряд: низко-низко, над самым плетнем, и разорвался посреди деревни. Рванул так, что посыпалась земля с бруствера. Чихачев весь сжался — видна была лишь каска, по которой звонко ударила земля. Иван помимо своей воли вобрал голову в плечи. И только Кузовлев как сидел, прислонившись спиной к обледенелой стенке окопчика, так и продолжал сидеть: чертыхнулся лишь, когда посыпалась земля за ворот полушубка.

— Видимо, Звездин пристреливается,— сказал Малахов.

Ивану стало неудобно, что выказал свою трусость, и он замолк. Молчал и Кузовлев.

Сзади затрещали сучья сушняка, послышались слова команды: «Пулеметчики — на исходную!» Пехота сосредоточивалась для атаки. Кузовлев прислушался, посмотрел на часы — пора!

— Поротно пойдете или сразу всем батальоном? — спросил Малахов.

— Посмотрим. Все зависит от того, как вы обработаете передний край.

— Нам приказано сопровождать вас.

— Значит, вместе пойдем.— Кузовлев поднялся, еще раз поглядел на деревеньку.— Зеленщина... Что за название? Курлы-мурлы! — добавил он свою любимую присказку.

«Чудак! — подумал Малахов.— Как будто ему было важно именно название».

Вдруг зазуммерил телефон. Чихачев поднял трубку и сразу же протянул ее Малахову

Иван присел на колено, склонился к аппарату.

— Роза слушает.

— Ну как, все готово? — услыхал он в трубке голос капитана.— Тогда начали...

Снаряды ложились кучно. В стереотрубу было хорошо видно, как взрывы ковыряли мерзлую землю. Огонь вели сразу несколько батарей. Из-за реки ухали гаубицы. Выстрелы раздирали утробу заснеженных просек. Лес, казалось, клонился из стороны в сторону от несмолкаемого клекота.

Через четверть часа дома в деревеньке поредели. Всю поляну заволокло удушливым дымом; в дыму и пыли чернели лишь тополя да колодезные журавли.

Пехотинцы, повалив плетни, уже выползали на льняное поле.

Приподнявшись над бруствером, Малахов наблюдал за бойцами, готовившимися к атаке. Среди них было много новеньких из маршевой роты: в шинелях, в кирзачах с широкими голенищами. Кто-то в спешке докуривал самокрутку, кто-то подрывал саперной лопаткой снег, норовя устроиться поудобнее.

Пригляделся Иван — и вдруг какая-то жалость пробудилась в нем к этим новеньким бойцам из маршевой роты. Он вспомнил, какая сумятица была у него в первом бою под Покровским: и растерянность, и боязнь, и непонимание происходящего. В первом бою все смешивается, и только тоска по неосуществленной жизни сжимает сердце... Едва Иван подумал об этом, и сам он вдруг почувствовал себя неуютно и одиноко. Посмотрел: колени и полы полушубка в глине; он отодрал от колен желтые ледышки, брезгливо отшвырнул ошметья. Вспомнился последний вечер в Горушке — как они мылись с Тоней в бане накануне его отъезда. Было жарко и парно; он впервые видел Тоню, как говорится, в чем мать родила, и такой она казалась ему еще лучше, красивей... И, вспомнив тот вечер, Иван подумал, что вот он, чистый, прибранный и обласканный Тониными руками, сидит в окопчике с глиняными стенками, и эта глина раздражает его, как будто в ней все зло. «Отвык,— решил Иван.— Человек

быстро ко всему привыкает, привыкну и я снова к этим окопам. Да и ребята, новички, тоже привыкнут»

Иван сидел, привалившись спиной к стенке окопа, и думал о своем.

Вдруг на противоположной стороне Волхова, левее Хмелищ, над лесом дугой вспыхнуло розоватое пламя. Через мгновение из-за реки послышался стук: ту-ту-ту, ту-ту-ту... Застучало четко, непривычно. И не успел еще погаснуть этот непривычный перестук, как над окопчиком, в котором сидел Малахов, и над бойцами, лежавшими впереди него, низко-низко взвизгнули снаряды. Иван глянул в небо. Почему-то летел не один снаряд, а по меньшей мере десяток. И за каждым из них, как за кометой, несся огненный хвост. Но скорее всего Ивану показалось это, ибо тут же что-то грохнуло посреди деревни. Грохнуло не так, как всегда грохочет при артналете, а опять же с характерным «ту-ту-ту...». Над Зеленщиной поднялся столб черного дыма. Потом, через минуту-другую, когда дым отнесло в сторону, Малахов увидел, что там, где была деревенька, землю лижут голубоватые струйки огня.

Напуганные грохотом и необычными взрывами, саперы с дугами миноискателей и бойцы первой линии вскочили и побежали назад, в лес. Только трещали низкорослые осинки и кусты ольшаника.

— Куда?! Мать вашу! — заорал на них Барсуков. Командир роты в ожидании атаки сидел в окопчике, отрытом тут же, у поваленного плетня. Выскочив теперь из окопчика, Барсуков бросился наперерез бегущим, матерясь и потрясая автоматом: — Стой! Назад!!! Это же наши «катюши»!

А над головами — снова искрометные хвосты ведьм, и снова в стороне Зеленщины по утробе земли застучали стотонные кулаки: ту-ту-ту... Долговязый боец в шинели с подоткнутыми под брезентовый ремень полами остановился, с опаской глянул назад, в сторону деревеньки. Теперь неестественное голубоватое пламя разрывов растекалось уже по всей поляне, подбираясь к крытому шифером сараю — ферме, стоявшей на отшибе.

— Два раза пальнули, и жив остался — значит, оно и правда: наши стреляют.— Боец с подоткнутыми полами шинели остановился и не спеша побрел обратно, в линию.

Видимо, залп «катюш» заключал артподготовку, потому что после грохота и треска реактивных снарядов все разом стихло: и полковушки, и минометные батареи. Только гаубицы продолжали стрелять, нащупывая насыпь. Где-то за спиной трижды щелкнула ракетница, и в тот же миг над опушкой, обращенной к деревеньке — от Волхова и до реденькой осиновой рощицы, что жалась слева к железнодорожной насыпи,— пронеслось робкое и неуверенное: «А-а-а...»

— Ура-а!..— закричал во все горло Барсуков.

Его крик подхватил боец, подпоясанный брезентовым ремешком,— тот самый, которого комроты только что материл. Пехотинцы, лежавшие на снегу, как бы нехотя поднимались. Подбадривая себя криком «ура», побежали по полю.

Малахов взглянул в стереотрубу. В объективе близко, четко маячила широкая спина Барсукова. Глядя на эту спину, Иван впервые не испытывал ревности. Он знал, что Клава ранена и ее отправили в медсанбат. Пожалуй, если и было что — так чувство сострадания, смешанное не то с сознанием превосходства своего над ним, не то с оттенком жалости. Из-за спины Барсукова, с той же резкостью, виднелся колодезный журавль. Рассоха и перекладина горели. Голубоватые языки огня лизали жердины.

От лесной опушки к деревеньке бежали бойцы. Сначала одной жиденькой цепью, но следом за нею на поляне стали появляться все новые и новые взводы и роты. Крохотный лесок методично выбрасывал их. Бежали пехотинцы, саперы, лыжники. Над поляной, над лесной опушкой росло и ширилось протяжное, могучее «а-а-а!».

Немцы, обескураженные залпом «катюш», молчали. А может, все живое сгорело, расплавилось в этом ползучем, невиданном доселе огне?

Роты атакующих были уже посреди поля, когда из «лисьих нор», понарытых немцами в ольшанике перед деревенькой, ошалело затрещали автоматные очереди. «Ах ты гад, фриц! Уцелел?!» — со злостью подумал Малахов. Сколько раз ему случалось видеть, как после артподготовки оживают огневые точки неприятеля. И всякий раз он готов был выскочить из своего укрытия, чтобы врукопашную добивать и добивать уцелевших фашистов.

Но то были обычные артподготовки! Постреляют полковушки да минометчики, ну если гаубичный дивизион еще при этом — то уж совсем хорошо. Сегодня же целый час колотили полковушки, гаубицы, тяжелые дальнобойные. Наконец, дали «катюш». Казалось бы, все выгорело. Снег и тот растаял. Ан нет! Уцелели гады! Да где? Под самым носом!

— Комбат! — крикнул он в трубку.— Добавь огоньку.

Батарея ударила залпом. Раз и еще раз. Ручные пулеметы, строчившие слева от фермы, замолкли. Но зато из-за деревни, от насыпи, басовито, раскатисто заговорили крупнокалиберные. Эти не чета ручникам: бубнят и бубнят без передыху. Выходило, что у немцев в насыпи целая система блиндажей: выжили, отсиделись. Правда, от насыпи до поля — километра полтора, не менее. На таком расстоянии вести прицельный огонь трудно. Однако почему же все-таки рота Барсукова залегла?

Иван взглянул на поляну. Над полем то и дело вздыбливались фонтаны земли и снега: из-за насыпи немцы сыпали мины. Подвоз у них был хороший — мин они не жалели.

«Эх ты, товарищ майор! Недоработал»,— подумал Малахов о майоре Звездине, полку которого было приказано подавить огневые точки на насыпи. Выхватив из рук Чихачева телефонную трубку, Иван закричал комбату:

— Капитан, прикажи довернуть. Вдарьте по насыпи.

— Мы взяли пушки на руки,— торопливо проговорил комбат.— Выкатываем на опушку. Как только наши оседлают первую линию, перебирайся вперед. Ясно?

— Ясно!

Мимо окопчика вперед, к деревне, пробежали Кузовлев и комиссар полка Чуев: в коротеньком кожушке, который он так и не захотел поменять на полушубок. «Оно, конечно, бежать-то в кожушке удобнее: спина не вспотеет,— решает Малахов.— Ну а если на снегу придется лежать час-другой — тогда как?»

Но комиссар, видимо, лежать в снегу не собирался. Он бежал размашисто, не отставая от Кузовлева. Едва Чуев вместе с комбатом появились на поле, как роты снова поднялись в атаку. По всему полю — от сосенок, что голубели на берегу Волхова, и до осинника, видневшегося сле-

ва,— бежали люди. Бежали, падали, кто-то вставал и снова продолжал бежать, кто-то так и оставался лежать на снегу. Но все равно это была лавина, которую уже ничто не могло сдержать: ни хриплый надрыв пулеметов, ни шлепки мин.

Немцы же, уцелевшие после артподготовки и залпа «катюш», повылезли из «лисьих нор» и, отстреливаясь, побежали к дымившимся на пригорке избам.

— Потопали! — Малахов схватил стереотрубу и, примерившись, вылез из окопчика.

Чихачев подхватил телефон и за ним следом.

Снег был глубокий и рыхлый. Бежать по целине трудно. Иван очень скоро напал на след и побежал, стараясь наступать в продавленный кем-то наст. След был свежий, и Малахов, приглядываясь к нему, решил, что это бежал молоденький пехотинец. Саперы и кадровые бойцы, приехавшие сюда с востока, обуты в валенки, а этот топал в кирзачах. Топал скоро, во весь мах.

Стараясь попадать в его след, Иван бежал как ошалелый. Хлопали мины, чиркали разрывные пули, но он не пригибался, не приостанавливался, а бежал и бежал, и только, когда близко с характерным дзиньканьем стегали осколки, чертыхался.

Чихачев с аппаратом и катушкой бежал следом. Иван даже не оборачивался, чтобы поторопить его: он был уверен в своих ребятах — не струсят и не подведут его.

До первой немецкой траншеи оставалось метров сто. Траншея эта чернела, словно раскрытая пасть, и Малахов не спускал с нее глаз. Засмотревшись, споткнулся обо что-то, чуть не упал. Поглядел под ноги: воронка. Комья смерзшейся земли разбросало во все стороны, снег сдуло взрывной волной, щетину нетеребленного льна будто расчесал кто-то расческой.

На краю воронки, уткнувшись лицом в серую льняную щетину, лежал пехотинец. Тот самый, по следу которого бежал Иван. Боец лежал ничком, словно глядел в преисподнюю. Правая рука с зажатой в ней винтовкой вытянута вперед, а левая неудобно подвернута под себя: видимо, падая, он схватился за живот. Куцая шинелька; на черной, оголенной от снега земле — черные подошвы кирзачей со шлепками спрессованного снега на каблуках.

Малахов остановился. Первым желанием было при-

поднять пехотинца, помочь ему. Иван нагнулся, но, увидев лоснящееся кровяное пятно на снегу, все понял.

— Новенький,— обронил подошедший Чихачев.— Надо же, первая атака — и вот...

Иван ничего не сказал: подхватил стереотрубу и снова рванул к немецкому окопу напрямик, целиной.

Они разом свалились на дно окопчика.

Иван хорошо знал немецкую систему обороны. Ячейки и «лисьи норы» с нишами для пулеметов; легкие блиндажи, соединяющиеся между собой неглубокими окопами — ходами сообщения.

На дне узкой траншеи валялись ленты от ручного пулемета и стреляные гильзы. Иван брезгливо ковырнул валенком горку гильз и, разровняв бруствер, установил прибор. В стереотрубу теперь хорошо было видно все поле боя. Слева, поодаль от околицы сгоревшей деревеньки, где ближе всего была насыпь железнодорожного полотна, наши роты залегли. В центре, прямо перед деревней, где наступал батальон Кузовлева, пехотинцы уже маячили на деревенских огородах, пробираясь вдоль плетней и заборов на взгорок, к дымившимся развалинам Зеленщины.

Немцев не было видно: успели попрятаться в погреба и подвалы. Побережье Волхова с осени приспосабливалось ими к длительной обороне. Они тут всего понатаскали с избытком. Крупнокалиберные пулеметы крыли перекрестным, особенно с правого фланга, от железнодорожной будки, где был переезд. Именно поэтому наши здесь продвигались робко, медленно. Все больше и больше пехотинцев скапливалось в траншеях первой немецкой линии, а те, кто успел добежать до огородов, торопливо окапывались.

Из окопчика нельзя было высунуть головы — так часто рвались мины, беспрестанно дундыкали станкачи. Иван с болью подумал, что не раз он вот так корректирует огонь батареи, а все равно сделал ошибку: нельзя было забираться в чужую траншею. Окопы первой линии у немцев наверняка пристреляны.

Чихачев стучал кулаком по телефонному ящику и кричал в трубку:

— Я — Роза! Я — Роза!

— Ты чего?

— Обрыв, товарищ лейтенант!

— А чего ж ты тянул оборванный провод?

— Тянул нормально. Видно, сейчас миной...

— Исправляй! — бросил Малахов: времени для объяснений не было.

Чихачев, нахлобучив на лоб каску, перевалился через невысокий бруствер. Звякнув, на дно окопа посыпались с бруствера гильзы. Судя по всему, в «норе» до них сидел немец с ручником — насыпал этих гильз полно: и на дно, и на бруствер.

В соседнем окопе, откуда был вход в блиндаж, кто-то постанывал, слышались текучие, как поток ручья, слова: «Ну, ну, потерпи. Ну, потерпи. Сейчас, сейчас...» — и по ровному, успокаивающему говорку Малахов узнал Паню Зайцеву. Значит, она уже отвезла раненых в медсанбат и теперь была здесь, в первой линии.

«Несдобровать девке,— решил про себя Иван.— Уж очень шустра».

Наконец Чихачев вернулся.

— Порядок! — сказал он.— В двух местах обрыв. Миной.

— Давай мне комбата!

Телефонист вызвал капитана.

На передовой во время боя людей всегда охватывает волнение; и как результат всего — спешка. Кажется, выиграй теперь вот эту минуту — и победа на твоей стороне. Малахов по своей крестьянской натуре не склонен был к спешке, но и он, поддаваясь общему настроению, спешил.

— Мы готовы! — услыхал он голос комбата.— Что у вас? Почему долго не отзывались?

— Исправляли обрыв.

— Ясно.

— Дайте огонька по будке.— Малахов тут же передал данные для стрельбы, и, пока возился, маскируя стереотрубу, глядь, а снаряды уже ковыряют кустарник перед будкой. «Хорошо работают ребята»,— подумал он.

Тем временем минометы продолжали свое дело. Не утихая ни на минуту, сыпали и сыпали станкачи. «А-а, вражина!» — Иван сплюнул и вытер пот с лица. Выходило, что Кузовлев прав: немцы еще осенью разобрали полотно железной дороги и понаделали в насыпи бетонированные доты. Бетонные казематы их были надежны. Вот почему не могли их вытурить ни гаубицы Звездина, ни «катюши».

— Чего вы скупердяйничаете! — крикнул Иван с раздражением комбату.— Дайте залпом!

— Снарядов мало.

— Мы ж привезли вчера.

— Машины сюда не ходят. Этот циркач, старшина, поехал со всем обозом. Вот-вот должен вернуться.

Но все ж расщедрился капитан — батарея ударила по будке, и взвод Артюхова тоже.

— Так их, б...! А ну еще! — Иван то припадал к стереотрубе, то наклонялся к телефону: такая уж доля у корректировщика.— Доверните. Левее! Левее! — Еще не успело отнести ветром дым разрывов, и трудно было в дыму и вспышках тротилового облака разглядеть: стоит будка или ее уже нет, как вдруг в сизой мгле на переезде мелькнуло что-то черное, утюгоподобное.

Иван пригляделся: танк!

Вот он скатился с насыпи и, подминая побеги мелколесья, вырвался в поле. В стереотрубу было видно, как гусеницы пашут глубокий снег, отбрасывая с траков грязные ошметья. Развернувшись, танк повел в сторону надульным тормозом — и в тот же миг, заглушая беспрерывный лай пулеметов, с металлическим звонким треском бухнуло его орудие: джи-бум!

На какое-то время танк скрылся в мелколесье. Но на его место с насыпи скатился еще один... и еще один... И, как уже не раз бывало с Иваном, в нем вдруг наступил какой-то перелом: на место спешки и внутренней расслабленности пришли собранность и четкость сознания. Он оттолкнул от аппарата Чихачева и пододвинул телефон к себе:

— Капитан, готовь снаряды!

— Что — танки?

— Да.

— Значит, начинается...— обронил комбат и почему-то бросил трубку.

— Держись, Егорка! — сказал Малахов Чихачеву.— Гранаты у тебя есть?

— Нету. Во-о! — телефонист снял из-за спины карабин.

— Н-да...— Малахов приподнялся из окопчика, чтобы лучше разглядеть танки, и услыхал гул. Но гудело почему-то не у насыпи, а за спиной, в тылу. Он обернулся. Низко-низко, над самой кромкой леса, летел косяк «юнкерсов».

Иван все понял.

Выходило, что немцы начинали контратаку. Задумка

их цена: они хотели ликвидировать наш плацдарм на западном берегу реки.

28

Теперь все звуки слились в один протяжный гул. Гудела земля, содрогаясь от выстрелов и взрывов; гудело небо от самолетных моторов. И лишь изредка среди этого многоголосого гула слышался то свист пролетающей над головой мины, то четкая россыпь пулеметной очереди. Барабанную перепонку распирало от взрывов: гу-гу-гу... Ух, ух, ух... И в этом гуле все человеческое утонуло, отошло, утратило свой смысл. Теперь Малахов думал лишь о том, уцелеет ли батарея. Оживет ли она после бомбежки? Ему казалось почему-то, что если уцелеет батарея, уцелеет и он.

Поерзав рукой, Иван расстегнул кобуру пистолета, будто пистолет имел какое-то значение при встрече с танками.

Чихачев однотонно повторял позывные батареи.

Батарея молчала.

«Юнкерсы» отбомбились, но все еще висели над рощицей, обстреливая наши позиции из пулеметов.

С НП гаубичного полка тоже заметили танки. Гаубицы открыли заградительный огонь. Стреляли они из-за реки; стреляли хорошо: снаряды вспахивали снежную целину, покрывая ее черными пятнами воронок. Однако, обтекая воронки, танки выскочили из зоны артогня. Теперь они были видны и без стереотрубы. Иван насчитал десять машин. Но их, возможно, было и больше: они все время маневрировали, обгоняя и заслоняя друг друга. Часть их — с десантом автоматчиков. Солдаты в рогатых касках густо облепили танки — даже белых крестов на башнях не видно.

Было еще время, чтобы собраться с мыслями и что-то предпринять. Но что сделаешь без связи?

— Может, опять обрыв? — спросил Малахов.

— Нет, все время зуммерит...

Танки забирали вправо, стараясь отсечь батальон Кузовлева, прорвавшийся на окраину деревни. Вот они скрылись в серых кустах ольшаника. Сейчас выскочат на такое же неубранное льняное поле за селом, и им останется миновать лишь лужок (метров четыреста), посреди которого

петляет ручей. На карте этот ручей помечен как Спасов...

«Посмотрим, как он оправдает свое название»,— подумал Малахов. Но надежда на ручей была плохая. Немцы могли наморозить переправу, как делали это наши саперы на Волхове. Вся надежда на батарею. Если бы орудия стояли теперь не на опушке леса, а вот тут, посреди поля, то уже сейчас, как только танки поднимутся на взгорок, можно было бы ударить по ним прямой наводкой.

«Теперь уж поздно!» — подумал Иван.

И едва он подумал об этом, как вдруг откуда-то слева, от сарая, звонко выстрелила сорокапятка: айс! айс! айс!.. Головная машина, только что миновавшая Спасов ручей, волчком закрутилась на месте: снаряд угодил ей в гусеницу. Два других танка, обойдя головной, с ходу стеганули по сараю. Над фермой, чудом уцелевшей после залпа «катюш», взметнулся фонтан дыма. Ветер понес по полю черный пепел горящей соломы. Словно туман лег на землю — не видно стало ни остатков печей на месте сгоревшей деревеньки, ни этих плоских серых утюгов с длинными надульными тормозами.

А когда дым развеялся, танки были уже в деревне. Под их прикрытием кучками бежали немцы. Ошалело, до глухоты в ушах трещали автоматы.

«Юнкерсы», отбомбившись и постреляв для острастки, улетели. Какое-то время только и слышались утробное урчание танков да автоматная трескотня. Разрывные пули искрили, словно кто-то беспрерывно чиркал кресалом, да никак не мог зажечь трут.

Вдруг над поляной, над всей опушкой, огибающей деревеньку, вновь вспыхнуло «ура». Но, так и не набрав силу, погасло, утонуло в гуле, реве, автоматной лихорадке. Нахлобучив каску, Малахов высунулся из окопчика. От деревни к горящему сараю бежали наши пехотинцы.

— Куда? Вы что — одурели?! — заорал Иван.

Его тут же отвлек голос Чихачева:

— Да, да! Я — Роза! Как вы там? — И, передавая трубку Малахову, добавил: — Политрук.

Иван, обрадованный, схватил трубку.

— Николай! Где комбат?

— Все в порядке — живой... живой... У нас пострадали только минометчики. Капитан вытаскивает на прямую

наводку Артюхова. Как только выкатят орудия — начнем.

— Давай заградку!

— Нет снарядов. Старшина еще не вернулся?

— Фу, черт!

Иван не успел положить трубку, как сверху посыпалась земля, и тотчас же в окоп свалился запыхавшийся пехотинец. Лицо и руки в грязи и саже, ничего не видящие с перепугу глаза. Сел на дно окопа, спрятал голову меж колен, обхватил ее руками и затих.

— Ты чего трясешься? Стреляй! — прикрикнул на него Иван.

— У-у...— протянул пехотинец.— Танки. Они... тут.

Иван не поверил, привстал над бруствером, да так и осел. Прямо на окопчик двигался танк. Черное урчащее чудище подминало под себя снег. Длинный орудийный хобот то вздымался кверху, то клонился вниз, выискивая добычу. Иван успел только схватить с бруствера стереотрубу и, зажав ее в руках, согнулся в три погибели, готовый вдавиться в землю. Оцепенение длилось мгновение — тут же Иван увидел рядом крутящиеся ролики бегунков; проседая и поблескивая, волочились тяжелые гусеницы. В двух метрах от окопа проплывал фашистский крест: белый на черной башне, в потеках мазута. Еще мгновение назад окаменевший от ужаса и бесцельности своей гибели, Малахов вдруг привстал в окопчике. Гранату бы теперь! Но гранаты под руками не было, а напряжение требовало разрядки — Иван выстрелил из пистолета: раз и другой. Пули чиркнули по броне, сбили краску с креста; но и на этот раз танк не развернулся, не сбавил скорости, а все так же невозмутимо и уверенно продолжал утюжить снег.

— Гад! Сволочь! Навонял! — выругался Иван. Колени у него тряслись, хрустели в суставах — все равно как эти траки у гусениц.

Чувствуя, что он жив и невредим, Малахов нашел в себе силы, чтобы попристальней оглядеть поле.

На косогоре, посреди деревенских огородов, горели танки. Три черно-красных факела пылали вовсю. Шлейфы дыма ветром относило в сторону, и эти маслянисто-черные шлейфы на фоне покосившихся печных труб выглядели зловеще. В конце огородов, вдоль лужка, обрамленного ольшаником, бежали немецкие автоматчики.

«Где же Кузовлев? — подумал Малахов.— Танки прорвались. Но там, на опушке, батарея. Пусть она сама с ними расправляется. Нам бы только удержать автоматчиков». Иван хотел было попросить картечи, но Чихачев сказал, что связи с батареей нет. Налаживать связь было бессмысленно: танки находились в полукилометре от опушки.

В окоп разом ввалилось еще несколько пехотинцев. Среди них Малахов узнал Васюрина. Он теперь командовал отделением.

— Стреляй, Данилов! Чего охаешь? — Васюрин был ранен в плечо. Рукав полушубка весь в крови, однако Васюрин не забился в угол окопчика, не стонал и не звал санинструктора, а, воткнув сошки ручного пулемета в развороченный гусеницами бруствер, строчил короткими очередями.— Стреляйте, ребята!

— Да я в него бью, бью... Целый диск выпустил. А он, гад, все бегит и бегит,— оправдывался Данилов.

— Лейтенанта жалко. На моих глазах убило,— сокрушался Васюрин.

— Кого? — спросил Иван.

— Барсукова.

— Кузовлев где?

— Живой. Впереди был.

Окопы, молчавшие до поры до времени, вдруг ожили. То тут, то там слышались недружные винтовочные выстрелы, автоматные очереди. Слева, из-за сарая, который все еще дымил, раскатисто заговорил «максим». Но, несмотря на стрельбу, немецкие автоматчики не залегли. Они бежали с горки вниз по огородам и строчили на авось, для поддержания своего духа.

— Ура-а! — крикнул кто-то в соседнем окопчике.

Иван приподнял голову и увидел Паню Зайцеву. Полушубок на ней не по росту велик, рукава подвернуты; тяжелая санитарная сумка болталась сбоку. Паня неумело выставила перед собой карабин и, не оглядываясь, бежала по истоптанному, изрытому гусеницами снегу. Следом за ней из того же окопчика вылезло еще человек пять; среди них были и новички в шинелях, они тоже, как и Паня, неумело держа винтовки, побежали навстречу автоматчикам.

Увидев Паню, Иван уже не мог усидеть в крохотной «лисьей норе».

— А ну пошли и мы! — сказал он, обращаясь к Чихачеву.

Тот привстал, поправил каску на лбу, но выпрыгивать из окопа не спешил.

— Была не была! — бодрясь, подхватил пехотинец с узким лицом, досылая в магазинную коробку новую обойму.

— Пошли! Пошли! — подбадривая самого себя, повторял Иван; он приподнял над головой пистолет и, чувствуя во всем теле необыкновенную легкость, побежал по рябому следу гусеницы:

— Ура-а!

От синеющих справа, на берегу Волхова, сосенок до все еще дымившейся фермы — повсюду из окопов вставали бойцы. Теперь уже навстречу автоматчикам бежала не крохотная кучка пехотинцев, поднявшихся следом за Паней. Из щелей, из «лисьих нор», из-за кустов ольшаника — отовсюду вырастали все новые и новые отделения, взводы, роты... Иван взмок и охрип от исступленного крика. Он уже не мог выговорить «ура», а только тянул во все горло: «А-а-а!..»

Немцы миновали огороды. Кто-то из наших стрелял на бегу; может, стреляли и немцы. Иван был настолько оглушен собственным криком, биением своего сердца, настолько увлечен бегом, слитностью со строем, что не слышал ни стрельбы, ни гортанных выкриков:

— Хох! Хох!

Цепи сближались с невероятной быстротой.

Из бегущих навстречу немцев Иван выбрал одного: рослого детину в короткой, обтрепанной шинели. На шее у него был намотан серый шарф, а может, полотенце: черная рогатая каска сверху и серое, лоснящееся от пота лицо. Изредка, останавливаясь, немец упирал автомат в живот, стрелял и снова бежал вперед.

Малахов выстрелил в немца из пистолета. Промах! Он выстрелил еще раз: немец все бежал и бежал. У него были галуны и лычки. «А-а, унтер!» — обозлился Иван. Немец тоже заметил его и, приостановившись, застрекотал — расчетливо, короткой очередью: «Жаль, что у меня в руках вот эта кочерыжка, а не винтовка,— подумал Иван.— А то я поддел бы тебя на штык!» Но мысль эта только мелькнула на миг, потому как они сошлись совсем близко. Иван, прыгая через воронки и стреляя, не сводил взгля-

да с немца. Немец был чем-то похож на того пленного унтера, которого видел он тогда на опушке леса под Заозерьем. Только этот был постарше. Продолговатое рыхлое лицо поросло рыжей щетиной. Губы искривлены от крика:

— Хох! Хох!

Немец приостановился, чтобы сменить обойму. Он швырнул в сторону пустой рожок, достал из-за голенища новый, сунул в приемник — в тот же момент Малахов выстрелил. Немец выронил из рук автомат и ткнулся лицом в снег.

— Получил, б...!

И словно спало вдруг какое-то опьянение. Откуда-то разом навалилась усталость. Ноги у Ивана плохо повиновались. Он пошел шагом, оглянулся: бежит ли следом Чихачев?

Чихачев бежал, и Паня бежала, и Кузовлев, и Васюрин, и даже тот, новенький, в шинели, который скулил в углу окопа.

Наши снова бежали по огородам.

«Ну, вот и все! Захлестнулась их контратака»,— успокоенно подумал Малахов. И в то же мгновение что-то стукнуло его в поддых. Он остановился и, чувствуя, что правая рука, в которой держал пистолет, слабеет, бросил оружие и зажал ладонью место, куда пришелся удар. Стало жарко, очень жарко. Ноги подкосились. Иван упал с краю воронки, и разом звуки боя погасли. И не было боли нигде. Было хорошо, спокойно, только жгло: теперь уже все тело жгло, и ноги, и руки — так бывает только при страшной усталости.

«Прости, Тоня: так и не написал тебе письма...» — была последняя мысль.

Он застонал и перевернулся на бок.

И увидел он родные Цепели. Будто возвращается с реки домой. День знойный; в одной руке у него удочка, а в другой — кукан. До рези в глазах поблескивает чешуей плотва, красноперые голавли, окуни-горбачи. Он ложится на луг — не столько от усталости, сколько от блаженства. Стрекочут кузнечики, высоко в небе поют жаворонки. Солнце — в зените, солнце ослепляет. Он закидывает руку, прикрывая ладонью лицо. В ушах — звон от тишины и стрекота кузнечиков. Цветут ромашки, и стоит только ско-

сить глаза, как увидишь ту же солнечную бель на всем лугу.

«Неужели все? Ну нет!» — Иван выпростал из-под себя руку и попытался приподняться. Но сил не было. Он снова упал навзничь и закрыл глаза.

Он лежал в белом-белом снегу, смежив веки, и кругом была такая же тишина, как и там, за Вяткой, в родных Цепелях...

29

Стол был сколочен из жердочек. Немцы — аккуратисты: выстругали каждую палочку. Поверхность стола ребриста, будто плетена из прутьев.

Тябликов понюхал, скривил лицо: немцем пахнет! Старшина застелил стол газетой, поставил поверх котелок с водкой.

— От этого духа не спасешься,— заметил Артюхов.

Блиндаж, в котором Тябликов накрывал новогодний стол, был отбит у немцев. Не раз им приходилось занимать немецкие блиндажи, и всякий раз в них шибал в нос особый дух. Пахло чем-то кислым и острым; не то чесноком, не то потом. Даже елка, которую старшина установил в углу, даже смолистая хвоя не перебивала этого устойчивого запаха.

— Зато комфорт.— Старшина поставил с краю стола коробку патефона, повертел в руках пластинку со щербинкой по краям, протер ее ладонью.— Покрутим?

— Не надо. И так голова болит,— отозвался Василий.

Он лежал на нарах в гимнастерке, без портупеи. Ноги отекли за день, и он сбросил валенки: в блиндаже было тепло. Комбат и политрук еще не вернулись с огневой: они пошли поздравить батарейцев с Новым годом. Василий собирался пойти с ними, но не смог подняться: давала знать о себе контузия. Он лежал, приходя в себя, и все пытался восстановить в памяти события этого суматошного дня... В голове шумело, ломило глазницы, будто кто-то тискал темя стальными ладонями. Казалось, утро под Хмелищами, выдвижение к Волхову, разговор с Иваном, встреча с Анатолием Бойко — все это было не с ним, а если и с ним, то давным-давно. День же этот, каким он вставал теперь в памяти Василия, начался залпом «катюш» и

первой атакой. Но как и почему эта первая атака не удалась, захлестнулась, он понять не мог. Почему залегли роты? Почему потребовалось вводить в дело второй эшелон?

Василий помнил лишь, как из-за облаков вынырнули «юнкерсы» и как содрогалась земля от взрывов бомб; потом вставало в памяти испуганное, с белыми от волнения оспинами лицо комбата и его привычные отрывочные выкрики: «Быстро! Быстро!..» Проваливаясь по колено в снег, по лесу, без просеки, они выкатили на себе орудия к Зеленщине, на край опушки. Едва они прикопали сошники, как тут же из-за редкого ольшаника показался немецкий танк. Снаряды оставались только в передках. Поэтому они стреляли расчетливо, наверняка. Три или четыре танка, охваченные огнем, стояли посреди поля. А остальные, рассредоточившись, с ходу били и били по опушке, стараясь нащупать орудия. Но их старания были напрасны: батарея жила, батарея сражалась.

Случались и раньше и артобстрелы, и минометные налеты, и бомбежки. Но раньше были хоть какие-нибудь укрытия: ряжи, капониры, ровики для снарядов и прислуги. На этот раз ничего не было, кроме завалов из деревьев. За одним из таких завалов и стоял взвод Артюхова. Завал, сделанный наспех саперами, был не очень высок, но разбросан вширь, и танки не могли таранить орудия. Приблизившись к завалу, они осколочными стреляли по лесу. Стреляли не очень точно, и Артюхов надеялся, что вот-вот они подобьют эти прорвавшиеся танки.

Но вдруг — треск, огненный столб, фонтан снега перед глазами, и, падая, Василий увидел только, что в небе, как галки с перепугу, летят во все стороны пустые, стреляные гильзы.

Очнувшись, Артюхов кинулся собирать снаряды, приготовленные для стрельбы. Их тоже разбросало взрывной волной, но чудом ни один не взорвался. Он выкапывал их из снега и подносил поближе к орудию. Изо рта у него текла кровь; выплевывая кровавую слюну, смешанную с землей, он ползал на коленях по снегу. Сначала его поразила тишина, и он с радостью подумал, что, наверное, наши взяли деревню и отбросили немцев за насыпь. Но потом начался этот гнетущий шум в ушах, который не проходил до

сих пор,— Василий еще не знал, что контужен. Отгородившись от внешнего мира глухотой, он ползал вокруг орудия и вдруг в черном от копоти снегу наткнулся на полушубок и, когда потянул его за край, то увидел, что это заряжающий Безбородко. Василий перевернул его, тот мычал что-то и все скреб валенками снег...

Подбежал Ахмед, и они вдвоем пытались приподнять Безбородко, но он уже в их помощи не нуждался.

Танк, выстреливший в них, горел, как факел, но из-за шлейфа дыма вынырнул другой, и Артюхов бросился к орудию. Он что-то кричал, губы его не слушались, но по их движению Ахмед все понял. Они вдвоем встали к орудию. Василий припал к прицелу. Башня с белым крестом двоилась; двоились и гусеницы, и он не знал, какую из них брать в перекрестье; его подташнивало, и, стараясь побороть подступающую тошноту, он хватал ладонью снег, совал его в рот.

— Огонь! — Ему казалось, что он орет на всю опушку, а на самом деле только шевелил губами: — Огонь!

...Бой затих лишь к вечеру.

Мглистая морозная дымка стелилась вдоль опушки, словно хотела укрыть как можно скорее все, что свершилось здесь, на крохотном клочке земли. В тумане не видно стало ни насыпи, черневшей на горизонте, ни вершин деревьев. Лишь изредка впереди, над Зеленщиной, занятой батальоном Кузовлева, вспыхивали немецкие осветительные ракеты. В тумане их свет мерцал большими желтыми пятнами. Когда ракеты гасли, становилось еще темнее, и тогда в высоте мигали звезды.

Подмораживало.

Слышались голоса команд, позванивание котелков: видно, подоспели батальонные кухни.

Возле орудий удушливо пахло порохом и толом. Батарейцы, обессиленные, сидели тут же, у пушек: на орудийных лафетах, на ящиках из-под снарядов. Не было желания ни двигаться, ни говорить. Всюду валялись стреляные гильзы, чернели воронки от мин и авиабомб. На опушке, вблизи завалов, догорали немецкие танки. Смердило тлеющей резиной.

Затрещал кустарник — и на огневую, волоча за собой коробку с телефонным аппаратом, вышел Чихачев. Связь с наблюдательным пунктом уже давно была потеряна, да о НП и не вспоминали: стреляли прямой наводкой. Теперь

все уставились на телефониста с удивлением: словно он свалился с неба. Чихачев присел на коробку с аппаратом, достал портсигар, похожий на школьный пенал, и принялся собирать остатки махорки. Неожиданно портсигар выпал у него из рук; зеленая махра рассыпалась по снегу. Вспомнив что-то, он пошарил в нагрудном кармане гимнастерки и достал какие-то бумаги.

— Вот возьмите, товарищ лейтенант.— Он протянул бумаги Артюхову.

— Что это?

— Документы комвзвода.

— Какие документы?

— Да все, что были в планшетке... Убило Малахова.

— Ивана?! Брось! — Василий не мог даже руку протянуть за бумагами, настолько его поразила весть.

— Мы... мы в контратаку пошли. Я все за ним норовил.— Чихачева било словно в лихорадке.— Но разве за ним угонишься? Он это... одного немца — в упор из пистолета. И радостный такой обернулся. Хотел поглядеть: бегу ли я. Вдруг вижу: уткнулся в снег комвзвода. Я к нему. А он зажал грудь рукой, и пистолет рядом, на снегу... Вот! — Телефонист вынул из кармана полушубка малаховский ТТ.

Василий поднялся со снарядного ящика, на котором сидел, взял бумаги и пистолет.

— Планшетку не принес — вся в крови,— словно бы извиняясь, добавил Чихачев.

— Может, ранен? — спросил Ахмед.

— Паня рядом была. Подбежала. Мы, это, вместе с ней его приподняли. Он еще в сознании был. Все про Тоню говорил. Что не успел письмо ей послать.

— Раньше-то почему не сказал?

— Да все контратаки. Ведь только сейчас стихло. Как стихло, так я зашел, взял аппарат — и к вам...

— Где он сейчас? — спросил Василий, как спрашивают о живом.

— Подобрали. Вон, на берегу...

Артюхов оставил за себя Ахмеда, а сам, еле волоча ноги, побрел к Волхову, где, по словам Чихачева, саперы рыли братскую могилу...

— Надо же, какой человечище погиб! — проговорил Тябликов.— Ему бы жить да жить!

— Всего восемь часов не дожил Иван до Нового года! — с болью сказал Василий, обращаясь к старшине.

— Все-таки предчувствие есть у человека,— отозвался Тябликов.— Он все время говорил о смерти. Помните — спор в вагоне. Все мы думали, что он шутит насчет теории вероятностей. А вышло...

— Грустная это теория! — отозвался Артюхов.

— Какая уж тут радость.

Старшина штыком от СВТ открыл банку американской тушенки, выданной комсоставу по случаю Нового года, и поставил ее рядом с котелком. Затем, все тем же штыком, принялся резать хлеб. Буханка задубела на морозе, не поддавалась, и Тябликов ударял по ней лезвием так и этак, и этот стук напоминал Артюхову удары смерзшейся земли — там, в сосенках, когда саперы зарывали могилу

— Я все же отыскал его...— Василий заложил руки за голову и приподнялся, чтобы видеть старшину, хлопотавшего возле стола.— Простились мы.

— Кто еще там был?

— Комбат был. Кузовлев. Еще кто-то из командиров рот. Чуев. Хорошую речь сказал комиссар: «Их подвиг на рубежах Волхова мы никогда не забудем...» Мы-то не забудем, а каково-то будет после нас?! — Артюхов вздохнул и замолчал, задумавшись.

— Я знаю то место, где их захоронили,— сказал Тябликов.— Зеленый мыс вдается в Волхов. Похоже на Байкал.

— Да. Сосны там красивые,— согласился Василий.— Под такими соснами только богатырям лежать.

В траншее, ведущей в блиндаж, послышались шаги и сдержанные голоса. Тябликов, у которого ко всякому случаю приготовлено «действо», приподнял трубку патефона, царапнул пальцем по игле, проверяя, насколько игла остра; в трубке отозвалось его царапанье. Он крутанул ручку, чтобы завести пружину, но ручка вертелась свободно — пружина у патефона оказалась сломана. Старшина чертыхнулся, поколдовал над патефоном — послышалось тарахтенье, шипенье, и наконец раздались протяжные звуки: та, та-та-та, та-та-та...

— Отставить концерт! — Комбат распахнул дверь и, пропуская вперед себя гостей, добавил: — Прошу!

Морозный воздух пополз по полу, клубами поднялся к потолку, и Василий не сразу разглядел, кто вошел следом за комбатом. Он увидел только майора Сукновалова, начальника артиллерии дивизии. Майор напомнил ему Малахова — такой же высокий, нескладный. Опасаясь удариться о накатник, Сукновалов пригнулся, переступая порог. Следом в землянку вошли Зотов, Пеканов, воентехник Никифоров, Ахмед; последней, прикрыв за собой дверь, втиснулась Паня с сумкой своей и карабином.

Василий поднялся с нар.

— Артюхов, пляши! — Паня скинула сумку с плеча, поставила карабин у входа и подступила к Василию.— Пляши, пляши!

— Да я...— Он не мог справиться с собой от радости и неожиданности.

— Паня, Василия стукнуло сегодня. Ему не до пляса! — заступился за него Зотов.

— Раз на ногах стоит, пусть пляшет!

— Не вижу повода.

— Сейчас увидишь! — Она вынула из-за пазухи письмо, сложенное треугольником.— Ну?!

— Паня! Ты — золото! Откуда?

— Потом узнаешь, а теперь — пляши!

— Это можно...— Не сгибая колен, Артюхов помялся, потопал на месте, изображая пляс.

— Нет, нет, так не пойдет! — приставала Паня.

Иней на бровях и ресницах ее растаял, капли воды блестели в волосах, как роса на лугу. Она стояла, наклонив голову,— румяная, щекастая, будто и не сидела в окопе, не перевязывала раненых, не ходила в атаку.

«Вот настырная!» — подумал Василий. Паня была сейчас совсем-совсем иной, чем он знал ее до сих пор: не такой, какой была при первых встречах в вагоне, даже не такой, какой видел ее в Оскуе. Что-то озорное, ребяческое было в ней, и он, заражаясь ее озорством, подбоченился и, раскинув ноги в стороны, пошел и пошел вприсядку.

Все расступились; майор Сукновалов захлопал в ладоши: «Браво!» И капитан захлопал, и политрук, и только Паня стояла, заложив руки за спину, и не хлопала, и не притопывала в такт ему, а снисходительно, скорее всего любовно смотрела на него.

— Хватит, заработал! — Она выпростала руку из-за

спины и протянула ему письмо.— Отвозила раненых в медсанбат, а там рядом полевая почта. Девочки просили передать.

Василий взял письмо — листок из ученической тетради, сложенный угольником. Только он глянул на неровные буквы: «П о л е в а я п о ч т а», как сразу же узнал: письмо от матери. Он столько ждал письма из дому, что сердце у него захолонуло. Василий решил не разворачивать треугольничек при людях. «Не волнуйся, не спеши! — говорил он себе.— Мать жива: значит, дома все в порядке. Подожди: сейчас все выпьют, отшумят и разойдутся. Ты уединишься в свою землянку и при свете коптилки не спеша прочитаешь». Но чем больше уговаривал себя Василий не спешить, тем больше нетерпение охватывало его. Он отошел в сторонку, в угол, где стояла елка, и раскрыл письмо.

«Вася. Сыночек милый. Письма твои получила. Все пять сразу. И с дороги. И с фронта. Ведь и у нас были эти супостаты. Только третьего дня прогнали. Все ходили по домам. «Яйки е?», «Млеко е?» Перетрясли все тряпки в сундуках. Искали теплые вещи, взяли поневы. Приданое мое. И при мне разорвали их. На портянки. В красном сундуке нашли твои чертежи и похвальную грамоту. А на ней — Ленин и Сталин. «Коммунист?» — «Нет,— сказал переводчик,— похвальная грамота за хорошую учебу».

Василий заулыбался.

— Ты чего смеешься? — Паня, оказывается, наблюдала за ним.

— Все в порядке! Мать про немцев пишет. Как они рыскали по сундукам в поисках теплых вещей. А нашли мою похвальную грамоту.

— И у вас были?

— Были...

— Если бы я получила письмо от матери, да я бы готова была плясать целый час! — с грустью вырвалось у нее.

Он не нашелся что сказать, да и некогда: вновь уткнулся в листок.

Мать писала химическим карандашом. Василий ясно представил себе, как она сидит за столом и, мусоля огрызок карандаша, выводит по клеточкам буквы. Мать не очень грамотна. Всего лишь три зимы она ходила к сельскому

дьячку. Но она старалась: выводила буквы с «ять» и чуть ли не после каждого слова ставила точку.

«Отец погнал колхозных коров. На Пензу. Пока никакого слуху от него нет. Хотя бы скорее возвернулся. Без него руки у меня опускаются. Нечем мне кормить ораву свою. Хлеб еще осенью весь сдали в заготовку. Другие картошкой запаслись. Колхозную копали на Затворнеской стороне. А немец летал — потешался над бабами. Когда хотел, стрелял, а когда швырял листки. Так убило Домну Гришаеву. Я не ходила, теперича даже и картошки у нас нет.

Николай в Саратове, на формировке. Пишет, что скоро и их двинут на фронт. Андрей был под Клином. От него два письма, но осенние, давнишние. Не знаю, где он теперя и что с ним. Сердце мое кровью обливается, как только подумаю о каждом из вас. Как вы одеты в эту стужу? Как вы кормлены?

При немцах заходили твои дружки по техникуму — Алехин один, а второй — Деев. Голодные, в лохмотьях — ну как есть наша побирушка Оля-моздок. Попали в окружение под Вязьмой. Пробирались домой. В Вослебово. Я баню им натопила. Накормила и одела во что могла. И все плакала, вспоминая вас. Где вы теперича?»

Милая мама! Мелким своим почерком она исписала всю страницу.

То ли оттого, что он встал, то ли от волнения снова начало двоиться у Василия в глазах. Он свернул письмо треугольником и спрятал его в карман гимнастерки.

30

Тем временем все успели поснимать с себя полушубки и занять место за столом. Батарейцы и гости оживленно разговаривали: слышались восклицания, похвала старшине, который раздобыл водки, приготовил праздничный стол и, что самое главное, не позабыл срубить елку.

— Садись, Василий! — Политрук подвинулся, освобождая место рядом с собой.

Артюхов присел к столу: по правую руку Зотов, а слева Паня — само собой так получилось.

— Втискивайся: в тесноте — не в обиде,— пошутил политрук.

Все сидели за столом — на скамьях, сколоченных из таких же, как и сам стол, ольховых жердочек. И лишь один начбой оставался в сторонке, на нарах. Василий сразу заметил, что был воентехник не в своей тарелке. Всегда выхоленный, самоуверенный, он вдруг стал неприметным, робким, словно его подменили. Не было при нем ни планшетки, ни противогаза, ни трофейного парабеллума, чем он любил щеголять. Да что там парабеллум — кобура для пистолета и та была пуста.

— Садись, воентехник! — позвал его майор Сукновалов.

— Да мне нельзя,— помялся начбой.

— Сидай! — подхватил комбат.— Такой день — грех не выпить. Небось в госпитале вылечат.

— Вылечить-то вылечат, да как бы хуже не было,— промолвил воентехник, осматривая всех пугливым, неуверенным взглядом.

Василий подумал, что начбой ищет место, где бы присесть, и подвинулся даже, но воентехник вдруг метнулся к двери и убежал.

— Что с ним? — спросил Артюхов.

— Поспал с потаскухой. А теперь — кубари долой,— отозвался Зотов.

— Вернуть бы его,— сказал майор.

— А-а! Может, оно и к лучшему. Наливай, старшина! — на правах хозяина подал команду Лысенко.

Тябликов взял котелок, всем налил по полной.

Майор Сукновалов встал:

— Проводим старый год, что ли? — сказал он.— Хоть его не стоило бы поминать добрым словом — столько он принес нам горя! Но так уже положено по русскому обычаю. За старый!

— За старый так за старый! — согласился комбат и ладонью почесал корявый подбородок.

«Он очень осунулся и постарел, наш комбат»,— подумал Артюхов, наблюдая за тем, как капитан, запрокинув голову, пил из кружки.

Выпили и застучали ложками, потроша банки с американской тушенкой. Майор Сукновалов пододвинул к себе котелок с брусникой: старшина раздобыл где-то. Но на закуску особенно не налегали. Майор и комбат, судя по

тому, как блестели у них глаза, уже где-то проводили старый год; Паня и Ахмед, как низшие чины, стеснялись начальства.

Артюхов отставил недопитую кружку и поглядел на Паню. Она улыбнулась ему. Политрук перехватил этот их взгляд, и глаза его радостно затеплились. Василий подумал, что они давно не сидели вот так, все вместе, и когда теперь соберутся заново — угадать трудно. Он с грустью и с переполнившей его вдруг теплотой оглядел сидевших за столом. Судьба его навсегда связана с этими людьми: с капитаном Лысенко, бывшим шахтером, некрасивым, но добродушным; с политруком Николаем Зотовым — лобастым, умным, все понимающим, но часто, как и Василий, не знающим, как всего себя отдать делу; с Ильей Пекановым — желчным, злым, но до педантичности исполнительным и волевым; с Ахмедом — мудрым молчаливым татарином; с Тябликовым, с Паней... «Это больше, чем дружба»,— рассуждал сам с собой Василий: ему хотелось запомнить этот вечер на всю жизнь, и он исподволь приглядывался к каждому.

— Налей-ка! — попросил комбат старшину; как только Тябликов наполнил кружки, Лысенко встал.— Бывало, в старые добрые времена,— заговорил он глухо, но торжественно,— когда погибал шахтер, то в час похорон шахтерский поселок замирал. Не поднимались вагонетки на-гора. Не погоняли лошадей коногоны. Не крутились блоки на высоком шахтерском копре.

И как только комбат произнес «погибал шахтер», все разом встали и, повернувшись к капитану, молча слушали его.

— Но жизнь замирала только наверху,— продолжал он.— А внизу, под землей, друзья погибшего по штреку продолжали отбивать уголь, дающий тепло и свет людям. Давайте и мы сегодня молчанием помянем погибших. Старших сержантов Верхогляда и Бутина, ездового Гринько... и особо тех, кого мы потеряли сегодня: младшего лейтенанта Ивана Малахова, ефрейтора Безбородко... Да будет память о них вечно в нас!

Выпили стоя, не чокаясь.

Отставив кружки, еще долго продолжали стоять, пока не сел комбат.

Тябликов поставил еще один котелок с водкой. Но все и без того были навеселе. Чтобы чем-то заполнить пустоту,

старшина принялся крутить патефон. Раздалась грустная, тягучая мелодия. Поначалу трудно было понять, что это — танго, вальс? «Где-то я уже слышал эту мелодию?!» — мучительно думал Василий. Но где, не мог вспомнить. Он не любил патефона. В деревне патефонов не было. На все село был один граммофон, у попа. Но то в детстве — с той поры он не мог помнить этой мелодии. На практике? В училище? Нет! В техникуме... Это было на выпускном вечере... Под эту музыку он танцевал с Любочкой Доколиной. Неужели он мог забыть этот вечер? Нет, нет! Он даже вспомнил название сцены: «Наполеон на поле Бородино». Это не вальс даже, а целая симфония. Наполеон, заставивший русскую армию отступить к Москве, осматривает поле недавнего сражения. Он выезжает как победитель. Конь под ним цокает копытами. Но вот взору императора открывается картина: рядами лежат его гвардейцы, мечутся обезумевшие кони, стонут раненые. Наполеон мрачнеет, осознав, что Бородино — это вовсе не та блистательная победа, какие он одерживал раньше. Надвигается зима, и конец его близок. Наполеон удаляется с поля удрученный.

Медленный и сбивчивый цокот конских копыт лишь подчеркивает смятенное состояние всадника.

— Да, Бородино! — Майор будто протрезвел сразу.— Устроить бы Гитлеру второе Бородино!

— Их уже немало было,— задумчиво произнес политрук.— Наверное, под Москвой немцев положили не меньше, чем Кутузов на Бородинском поле положил французов.

— Ох, еще много нам считать! — хмелея, отозвался комбат.— Найди там, старшина, что-нибудь повеселей!

— Только одна пластинка и есть,— виновато отвечал Тябликов.

— Ну, перевертай ее!

Тябликов перевернул пластинку, поставил на диск, крутанул. Игривая, страстная мелодия сменила грусть Наполеона. Это был Иоганн Штраус. В музыке так и слышалось веселье венского кабаре: танцы, брызги шампанского, смех и поцелуи... И в этой неожиданной перемене было что-то созвучное сегодняшнему новогоднему вечеру. Разом все повеселели и принялись шутить, а майор Сукновалов воскликнул: «Выпьем за победу!» И все выпили, и майор пригласил Паню на вальс. Но вальса у них не получилось:

они топтались в валенках по земляному полу, не очень вслушиваясь в музыку. Пластинка скоро кончилась, и майор попросил крутануть ее еще раз, и Тябликов, особенно склонившись над патефоном, старательно крутил.

Артюхов сидел, погруженный в свои мысли. «А ведь для кого-то из нас,— думал он,— это последний Новый год! Да! А кому-то будет даровано судьбой дожить до нашей победы. Больше того — дожить до старости и рассказать внукам об этой войне, об этом жестоком времени». Василий не мечтал дожить до старости. Как всякому молодому человеку, старость казалась ему беспомощной и унизительной. Но до победы дожить ему хотелось. Только бы увидеть своими глазами, как все будет! А там — можно умирать.

— Капитан! Старшина твой — чудо! Где он раздобыл эту машину? — Запыхавшийся майор Сукновалов присел к столу.

— Небось в Оскуе выменял на пару казенного белья.

— Трофей! — оправдывался Тябликов.— Подобрал в Крестах, в немецком обозе. С тех пор вожу.

— Старшина наш — великий комбинатор! — Комбат не скрывал перед майором своей гордости за находчивость Тябликова.— Он далеко пойдет. Попомните мои слова: наш старшина кончит войну интендантом армии.

— Ну что вы, товарищ капитан! Разве я променяю нашу батарею на армию?! — шутил Тябликов.

Но по выражению лица его, по ухмылке и многозначительности, с которой Тябликов говорил, можно было догадаться, что шутка его — с намеком. Василий не сразу понял этот намек. Но вот настал момент, когда выпито было достаточно. Сидящие за столом разбились на группки, пошли разные разговоры. Прислушиваясь к этим разговорам, Артюхов узнал, что в дивизии да и в их полку ожидаются большие перемены.

Где-то в больших штабах, которые вершили войной, как раз в эти предновогодние дни было принято решение о создании Волховского фронта. Формировались управления, службы; в связи с этим в командовании намечалась большая передвижка: кого-то предполагалось повысить, продвинуть; кого-то уже заметили, выделили... Война войной, но жизнь идет своим чередом. Людей все так же одолевали желания, страсти, увлечения. Помимо желания

жить, были еще и сознание долга, и тщеславие, стремление продвинуться по службе.

Оказывается, командиру дивизии генералу Ряженцеву вышло повышение. С Нового года он заступает начальником оперативного отдела штаба армии. Его место займет полковник Сарычев. Судя по обрывкам разговора майора Сukновалова с комбатом, полк примет Кузовлев.

«Что ж, Кузовлев — это неплохо,— подумал Артюхов.— Полку, пожалуй, при нем лучше. Он боевой мужик и находчивый».

— Давай, капитан, выпьем посошок! — Майор Сukновалов встал.— За нашу дружбу! За новые встречи!

Комбат тоже встал, и они стукнулись кружками, и все потянулись к майору, когда узнали, что он покидает дивизию и уходит на штабную работу.

В блиндаже было шумно, душно, над столом клубились сизоватые облака дыма. По случаю праздника каждому командиру выдали по две пачки «Норда», и теперь все усиленно дымили.

Артюхов чувствовал себя скверно. От водки его совсем разморило, в голове шумело. Патефон орал вовсю. Уж какой раз Наполеон осматривал Бородинское поле, а его заставляли выезжать еще и еще.

В самый разгар вечеринки не замеченный никем Василий набросил на себя полушубок и вышел из землянки. Валил густой снег. Днем при стрельбе и бомбежке лес был черен и угрюм. Теперь деревья снова опушило; позасыпало снегом окопы и корявые оспины воронок.

Было тихо. Пахло горьковатым березовым дымком — обогревался, сушил на огне портянки уцелевший в атаках солдат. Артюхов постоял, вдыхая грудью горьковатый дым, чувствуя с каждым вздохом, что приходит в себя.

Немцы тоже молчали. Немцам тоже досталось сегодня. А может, и они справляют праздник. Хотя у них в чести не Новый год, а рождество. Но и они отмечают этот день. Каждый небось получил посылку из дому с водкой и салом, теперь солдаты выпили, разомлели, сидя в теплых блиндажах, и для потехи выбегают на стужу и устраивают фейерверки: из-за насыпи то и дело взлетали осветительные ракеты.

Скрипнула дверь — на какой-то миг высветились снеж-

ные хлопья, падающие с высоты, и снова погасли. Сзади послышались шаги: кто-то шел по узкой щели.

Артюхов оглянулся: Паня.

— Вась, тебе плохо?

— Нет, ничего. На воздухе лучше.

— Ты оставил свою кружку.

— А-а, ерунда! — отмахнулся он.

— Я принесла. Возьми-ка!

Василий машинально взял из ее рук кружку. И когда взял, то сразу же понял, что это очередная проделка Пани: она вынесла из блиндажа две кружки — свою и его.

— Мне хочется чокнуться с тобой особо,— заговорила она.— Чтобы никто-никто не видел. Согласен?

— Согласен.

Она поднесла свою кружку к его, но чокаться не спешила.

— Давай выпьем за нас двоих! Чтобы мы всегда всегда помнили этот вечер. Хорошо?

— Хорошо!

Они выпили и, не возвращая кружек, пошли на огневую. Огневая была метрах в трехстах, на опушке. На небольшом пятачке плацдарма стоял не один их полк, может, не одна даже дивизия. На каждом шагу — окопы, блиндажи, огневые позиции минометчиков и артиллеристов.

— Ребята сказали, что тебя контузило?

— Ничего. Тряхнуло малость. Голова болит.

— Может, тебе надо денька два полежать в медсанбате?

— До самой смерти ничего не будет! — Василий улыбнулся: он был рад ее участию.— Паня, слушай: Чихачев рассказывал, что Иван у тебя на руках умер. Он что-нибудь говорил? У меня его документы. Надо старикам его написать.

— Я бежала рядом. Он все из пистолета стрелял. А я, дура, карабин наперевес, ору во все горло, а так и ни разу не пульнула. Глядь, лейтенант ткнулся в снег. Я к нему. Подбежала, тут и Чихачев подоспел. Перевернули мы его, а полушубок его впереди весь изрешечен. Угодил под автоматную очередь.

— Он сильный был. В нем сила клокотала. Он говорил,

что одной пулей его не убить. Так и вышло. А утром я еще не знал всего.

— Ох, утро-утро! — вздохнула Паня.— Как давно оно было. За день целую жизнь прожила. Как мудреет человек к старости, так и я за день мудрее стала.

Еще утром все казалось иным. Казалось, что немцы не оправились от удара под Крестами, что им не удержаться, раз мы так быстро взломали их оборону на Волхове; думали, что там, за рекой, в лесах и болотах, им и вовсе негде удержаться и они побегут назад, к границам. А выходило по-иному. Выходило, что впереди еще большой и долгий путь. Впереди — новые бои и новые потери.

Василий и Паня шли, тихо разговаривая. А мимо, обгоняя их, на передовую спешили бойцы: взвод, рота, батальон — трудно понять, когда люди идут не строем, а крадучись, цепочкой. Бойцы шли молча; чернели автоматы, неуклюжие рогатины противотанковых ружей; звякали котелки да скрипел снег под ногами.

Значит, завтра новая атака.

Нет, атака сегодня.

Книга третья
Окружение

1

Проснулся я от грачиного крика. Было еще очень рано, но уже рассвело, и сквозь щели, в полумраке блиндажа, тянулись жгуты солнечных лучей. Вставать не хотелось — я перевернулся, лег навзничь и, закинув руки за голову, потянулся. В блиндаже прохладно и пахнет хвоей. Пока не началась обычная катавасия, хочется хоть минуту-другую побыть в одиночестве.

Прежде всего я подумал о том, что новый день начался хорошо. Вчера, к примеру, какой-то дурень чуть свет пальнул из автомата по насыпи, в сторону немцев, и фрицы устроили нам такой сабантуй, что пришлось выскакивать из блиндажей и забираться в щели. В щелях, вырытых вдоль оврага, полно воды; и в лесу — полно воды, но тут сухо, и я не спешу подниматься.

Я лежу на нарах, устланных хвоей. Один. На передовой тихо, только горланят грачи — вдоль насыпи, с нашей стороны, в березняке. В блиндаже спокойно, пробивается солнце.

Блиндаж новый, сухой. Старые блиндажи, в которых мы отсиживались всю зиму, затопило вешней водой. То были хорошие, добротные блиндажи. Тогда, зимой, ребята были еще в силе — они постарались и отрыли ямы в полный рост; напилили кругляков и сделали настил в три наката, и печки были, и светильники из гильз, и, в общем, было хорошо. Но в середине апреля начал таять снег. Сначала в блиндажах появились лужи, и воду из-под нар отливали по очереди; однако, как только по откосам оврага потекли ручьи, наши зимние блиндажи совсем залило водой, и нам пришлось вылезать из них и делать новые.

Эти тоже получились ничего. Может, даже лучше старых. Закапываться, залезать в землю нельзя было: всюду вода. Ребята поставили срубы — сколотили их накрепко,

в лапу, а вместо потолка — накат из березовых бревен, да не в один, а в два-три ряда. Забросали срубы землей, хвоей; перенесли в них «буржуйки», светильники из наших зимних ям — не блиндажи, а какие-то монашеские кельи. Светло в них, сухо, только не так безопасно, как в старых, зимних-то, блиндажах. Если угодит снаряд — считай себя похороненным по первому разряду.

Но в нашем положении это не самый плохой конец. Куда хуже — быть тяжело раненным, как наш политрук, мой друг Николай Зотов. Потому хуже, что вот уже четыре месяца, правда, с небольшими перерывами, мы находимся в окружении. Не один наш полк и не одна наша дивизия, а много полков и дивизий. Мы пришли сюда, в эти леса и болота, в середине января. Поначалу все складывалось удачно. За десять дней нам удалось углубиться в немецкую оборону чуть ли не на сотню километров. Мы со всех сторон обложили Любань. Этот городишко в сводках Совинформбюро назывался «важным опорным пунктом немецкой обороны». Их было много, «важных», но Любань — особенно: со взятием ее снималась блокада Ленинграда. Любань открывала нам дорогу на Псков, в Прибалтику.

В начале февраля мы были очень близки к цели. Наши пушки стояли уже в четырехстах метрах от железной дороги, ведущей на Псков, а снаряды гаубиц накрывали пригород Любани, и всем нам казалось, что стоит только предпринять еще один рывок, еще одно усилие — и немец не выдержит, побежит к нашим старым границам.

Мы готовились к наступлению. Через узкую горловину коридора, проломленного нами в немецкой обороне на Волхове, по лежневке, под обстрелом и бомбежками, нам везли сухари и снаряды. Наконец пришло и то памятное утро. Мы стреляли из всех орудий. Снарядов приказано было не жалеть. Казалось, земля от орудийных выстрелов расколется на две половинки, так мы ее долбили. Стреляли и сорокапятки, и полковушки, и гаубицы. У моих пушек краска отекла со стволов. От залпов «катюш» горел лес за насыпью, а самую насыпь орудия и минометы исковыряли, ровно конюшата крутой речной берег.

Едва мы перенесли огонь в глубину, как встала пехота. Встала и — «ура-а!». Хорошо кричали пехотинцы, с азартом. Молодцы, ребята! Немцы, понятно, подрастерялись малость. Но как только наши подошли к насыпи, они ожили: застрочили автоматчики, закаркали крупнокалиберные

пулеметы. Сквозь треск разрывных, сквозь чавканье мин еще какое-то время слышалось наше «а-а-а!», но с каждой минутой крик этот становился все глуше, все нестройнее и вот совсем погас. Залегла пехота. Залегла, а укрыться-то от обстрела негде. Одно укрытие — лес. Глядь: один побежал назад, к опушке, другой...

Захлебнулась наша атака.

Вместо того, чтоб окружить немцев, мы сами вскоре оказались в окружении. Немецким танкам при поддержке авиации удалось потеснить наши части, оборонявшие коридор, по которому снабжалась ударная группировка, ушедшая далеко вперед.

С тех пор мы неоднократно предпринимали штурм Любани, но с каждым разом наш натиск все слабел и слабел. Немцы обложили нас со всех сторон. В их руках были железные дороги и шоссе; они закопали в насыпи танки — словно обруч наколотили на бочку. А когда наступила весна и растаял снег, выяснилось, что наша группировка не имеет своих коммуникаций, что все дороги — у немцев, мы же сидим в болоте. Изредка к нам прилетали «кукурузники» — сбрасывали сухари, доставляли боеприпасы, забирали раненых. Но самолетов было мало, снарядов — мало, патронов — мало, и мы уже не пытались более соединиться с Ленинградским фронтом.

Мы затихли, приумолкли.

Затихли и немцы, полагая, что время работает на них. Хватив с утра шнапса, немецкие автоматчики выбирались из дотов на железнодорожную насыпь, что в двухстах метрах от наших окопов, садились на рельсы, вынимали из карманов френчей губные гармошки — и ну дудеть наперебой, у кого лучше получится. Наигравшись, орали: «Эй, рус, пляши!» Иногда у ребят не выдерживали нервы, и кто-нибудь из пулеметчиков с отчаянья выпускал по насыпи очередь. В отместку за это немцы обрушивали на нас шквал огня. Из дотов строчили крупнокалиберные пулеметы, из-за насыпи с воем взлетали мины, издалека, от шоссе басовито ухали гаубицы. Чуть ли не четверть часа кряду на передовой стоял грохот: лес трещал и валился от взрывов мин и снарядов, и не было спасу от воя, трескотни, блеска трассирующих пуль.

Поэтому командиры запрещали бойцам стрелять. Однако вчера утром какой-то славянин не выдержал — пальнул, и немцы в ответ устроили такой концерт, что всем пришлось

вскакивать с нар и укрываться в щелях, залитых водой.

Но сегодня тихо, и я лежу на нарах, заложив руки под голову, и думаю: как там, в Зеленщине, не пробили ли нам коридор?

Это первое, о чем я думаю, просыпаясь.

2

— Товарищ старший лейтенант... Артюхов! — зовут меня.

— Да! — отвечаю я, давая понять, что не сплю.

Дверь в блиндаж приоткрылась бесшумно — она была навешена не на петлях, а на обрезках сыромятного ремня от упряжки, и скорее даже не навешена, а приставлена. Теперь кто-то отставил ее, и яркий свет утра на миг ослепил меня. Приподнявшись, я вижу сержанта Максимова — нашего батарейного повара. Сержант не очень уверенно, бочком-бочком, протискивается в полуотставленную дверь, стреляет глазами по нарам — лишних нет, командир батареи один. Максимов подходит ко мне, говорит шепотом:

— Товарищ старший лейтенант. Я насобирал прошлогодней клюквы. Сварил кисель. Принести вам вместо кофе?

— Ну! — Я даже вскочил от радости.— Вот молодец! И много сварил? Всем хватит?

У нас давно уже нет полковой кухни. Нет потому, что в большом котле нам нечего готовить. Еще в феврале мы варили гречневую кашу. Потом гречки не стало. Всю зиму, пока держались морозы, в больших котлах, на колесах, варили конину. Сначала выбраковывали лошадей: подбирали лишних в обозах служб, уносных из орудийных упряжек, разъездных у командиров. Но всего этого хватило ненадолго. Тогда стали варить убитых лошадей — тех, что остались от кавалерийской дивизии генерала Журавлева, пробивавшей нам дорогу сюда, в болота. Зимой, в лютые морозы, убитые лошади хорошо сохранялись — повара откапывали их и варили. Но наступила весна, и мы лишились и этой статьи нашего довольствия. С весны на каждого бойца стали выдавать по пятнадцати граммов муки, из этой муки в каждом подразделении повара готовили жидкую кашицу — б о л т у ш к у. У нас в батарее такую болтушку каждый день готовит сержант Максимов.

Сегодня он проявил инициативу — насобирал прошлогодней клюквы и сварил кисель.

— Много насобирал? Всем хватит? — обрадованный, допытываюсь я.

Максимов кашляет в ладонь.

— Нет, что вы!.. Вам лишь сварил — из уважения.

— А-а...— Я снова откидываюсь на спину.— Тогда пусть постоит, поостынет. В обед пойду навещать Зотова — ему и отнесу.

— Слушаюсь! — Максимов выходит, так же бесшумно прикрыв за собой дверь.

Одиночество мое нарушено, лежать уже не хочется. Я спускаю ноги на пол, устланный еловым лапником, и, поеживаясь от утренней свежести, одеваюсь. Гимнастерка проволглая и галифе тоже, потому что форма, которую я ношу,— не командирская, шерстяная, а солдатская, бумажная. А простая ткань всегда кажется влажной, когда она холодная. Старую, комсоставскую, гимнастерку, в которой я ходил зимой, пришлось сжечь. Столько в ней развелось паразитов, что никакой дезинфекцией было не вывести. Месяц назад наш бывший комбат, капитан Лысенко, получил майора и был назначен начальником артиллерии дивизии. Я заступал на его место. Нам надлежало явиться с докладом к командиру полка. Но мне стыдно было идти к Кузовлеву в старой шерстяной гимнастерке — паразиты буквально сыпались с меня. Тогда-то, в тот памятный день, наш батарейный старшина Тябликов и принес мне вот эту форму. Я снял со старой гимнастерки кубики и стал вставлять их в петлицы новой. Пока я протыкал дыры и вставлял держалки, Тябликов принес еще два кубаря. К первомайскому празднику мне досрочно было присвоено звание старшего лейтенанта, но кубарей у меня не было, и я по-прежнему носил по два в каждой петлице. Теперь старшина принес мне еще кубари, я нацепил их, и мы отправились на доклад к Кузовлеву, и доклад прошел очень хорошо.

Вот с тех пор, кажись, ровно месяц, я и ношу эту легкую, новую форму, которая всегда чуточку влажная и прохладная по утрам.

Одевшись, я вышел из блиндажа.

В лесу было свежо и росно.

Батарейцы еще спали.

На опушке, обращенной к насыпи, где стояли орудия, горланили грачи.

Вдоль опушки росли старые березы, и грачи, судя по всему, издавна гнездились на этих деревьях. В марте они, как всегда, прилетели, и хотя в марте мы еще постреливали, грачи подправили свои старые гнездовья, положили яички, насидели, вывели птенцов и теперь кормят их. Грачи просыпаются очень рано, до солнца, и горланят весь день, до самой темноты, и когда по утрам не бывает пальбы, то, просыпаясь, первым делом думаешь, что ты не на передовой, а в родной Орловке. Меня эта грачиная возня почему-то всегда будоражит. А сегодня особенно. Стою в затишке, с солнечной стороны, и смотрю, как колготятся грачи. Где-то они находят корм для птенцов? — думаю. Вспомнилось, как, бывало, в детстве выбежишь утром из избы, прислонишься спиной к теплой завалинке и, щурясь от весенних бликов, смотришь на вершину ракиты. Возле нашей избы росла древняя, ветхая ракита, и вся она была увешана гроздьями грачиных гнезд. В эту вот пору, когда у грачей появляются птенцы, я часами мог наблюдать, как раскрываются клювы у маленьких грачат, когда родители приносят им еду.

Наверное, потому так явственно вспомнилось детство, что я давно не получал писем из дому. С самого Нового года не получал.

— Якши утро, комбат! — окликает меня от соседней землянки сержант Абдуллин.

— А-а, доброе, доброе, Ахмед! — говорю я, подходя к нему.

Ахмед сидит на березовом чурбаке, прислонившись спиной к стенке блиндажа: подправляет порванную упряжь. Он протыкает шилом дыры и аккуратно, большой иглой, сшивает ремень суровой ниткой, вытянутой из куска брезента. Делает он все это сосредоточенно, спокойно — и я некоторое время молча наблюдаю за его работой. Я очень люблю этого татарина. Ахмед никогда не сидит без дела. Месяц назад, во время минометного налета, повредило его орудие. Согласно приказу командира дивизии генерала Сарычева прислугу надлежало передать в роты. Подносчиков снарядов из расчета Ахмеда я откомандировал, а прислугу и его самого оставил. Он был комсоргом батареи, а теперь, после ранения Николая Зотова, исполнял обязанности политрука, и я уже оформил на

него аттестацию, чтобы ему присвоили офицерское звание.

— Комбат...— Ахмед глянул на меня снизу своими черными раскосыми глазами и, помявшись, добавил доверительно: — Умывайтесь, да будэм подымать ребят. Сегодня важное дело предстоит. Балласта очищаться будэм.

— Какого «балласта»?

— Разве мало его у нас? Пушка есть лишняя, прицелы...

— Звонили разве? Что ж ты меня не разбудил?!

— Нэ! — Ахмед щурится, улыбаясь одними уголками губ.

Сержант, как и все батарейцы, очень похудел, осунулся; на лице только и остались одни черные глаза. Но он, как всегда, опрятен: кирзовые сапоги начищены до блеска, белеет свежеподшитый воротничок.

Я гляжу на него — и по затаенной улыбке, по прищуру черных глаз догадываюсь, что Ахмед что-то знает. Он всегда все узнает раньше меня. Видимо, где-то в штабе дивизии служит писарем или телефонистом татарин из его родной Бугульмы. Писарь услыхал что-то и тут же, повинуясь чувству землячества, намекнул Ахмеду — и вот сержант уже знает, что ожидает нас сегодня, а я, командир батареи,— нет.

Заскочив в блиндаж, я снимаю с вешалки полотенце, беру с полки несессер с туалетными принадлежностями и иду умываться. Несессер этот — удобная штука. Мне подарил его старшина батареи Тябликов. Было это давным-давно — мы тогда только начали воевать. На другой день после побоища под Мосиным хутором, где Кузовлев уложил целый батальон немцев, Тябликов принес мне вот этот несессер — с мылом, зубной пастой, бритвой. Сначала я не пользовался им: г р е б т и л о, как говорила мать, а потом ничего, привык.

Не успел я вытереть лицо, как дежурный по батарее позвал меня:

— Комбат, к телефону!

Я подбегаю к ровику, где запрятан телефон, и дневальный, подавая мне трубку, шепчет: «Проваторов...»

— Артюхов? — слышу я голос начальника штаба полка майора Проваторова.

— Да.

— У вас есть лишний товар?
— Есть.
— А именно?
— Панорама, буссоль, стереотруба, ведра, хомуты,— перечисляю я.
— А сколько на приколе деревянных колес? — нетерпеливо перебивает меня майор.

Деревянными колесами на нашем полусекретном жаргоне мы называли полковушки. У них и на самом деле были деревянные колеса с металлическими ободьями. Майор спрашивал теперь: для скольких орудий у нас не хватает конной тяги? У начальника штаба была, конечно, наша «строевка», где все это указано, и он мог бы не спрашивать меня, а заглянуть в бумажку. Но раздражать его мне не хотелось, и я сказал, что в батарее повреждено одно орудие. Оно-то и не обеспечено тягой.

— Все лишнее сдайте на ДОП. Прислугу откомандируйте на усиление первой роты... Ясно?

Я молчу. Пушку мне не жалко, раз надо — свезем на дивизионный обменный пункт, но ребят своих в пехоту мне отдавать не хочется. Я пытаюсь заступиться за них:

— Может, пока одних ездовых...

Однако начальник штаба обрывает меня:

— Всех до единого! Через два часа доложить о выполнении!

— Есть доложить! — говорю я и в сердцах бросаю трубку.

Пока я разговаривал с Проваторовым, Абдуллин уже поднял батарею. Заспанные, в помятых гимнастерках и галифе батарейцы вылезали из блиндажей и, зевая и почесывая спины, спускались вниз, к ручью,— умываться.

Мы заняли эту позицию еще в середине января, по снегу. Ее еще Лысенко выбирал, и, надо отдать ему должное, выбрал очень удачно. Орудия стояли на взгорке, метрах в четырехстах от насыпи. А тут был косогор, обращенный к востоку, и вдоль всего этого косогора, в густом ельнике, мы, как кроты, нарыли блиндажей. Когда их залило водой, понаставили вот эти срубы. За косогором стрельба автоматчиков не опасна, и снаряд сюда не залетит. Опасны мины, но ребята навалили на свои землянки столько накатнику, что и не всякая мина пробьет.

Я подозвал к себе командиров огневых взводов и приказал поторопить бойцов. Шарипов и Урнов бросили в один голос: «Есть поторопить!» — и побежали, а Пеканов все еще стоял, мялся.

Егор Урнов и Аткай Шарипов — новички в батарее. Егор пришел еще под Зеленщиной. А Шарипов у нас всего лишь месяц. Аткай — кадровый командир, когда-то командовал дивизионом в гаубичном полку, но в одном злополучном бою под Лесной Полистью он растерял все свои орудия, списан был в штрафную роту; в одной из атак ранен, излечился, командовал взводом разведки, добывал «языков», быстро дослужился до ротного. Лысенко вытребовал Аткая в батарею, и он теперь командует моим, первым, взводом.

Новички, значит, ушли, а Пеканов на правах старого знакомого не уходит.

— Слыхал: освобождаемся от балласта? — говорит он.

— Давно бы пора. А то, случись что, не поднимемся с места...

— Так! Значит, надвигаются события...— рассуждает он сам с собой.

— Какие?

— Гадать не приходится! — Пеканов пожимает плечами.— Не Любань же брать. Куда нам — мощи одни остались.— Он приподнимает подол не очень чистой исподней рубахи и показывает мне свой обвисший, как у старика, живот. Ребра выпирают, их все до единого пересчитать можно, кожа шелушится.

Пеканов очень печется о своем здоровье. До этого я как-то с неприязнью относился к нему, думал: нытик! И едва он завел эту молитву, первым делом я решил показать ему свои ребра! Начал было даже расстегивать портупею, но потом посмотрел: глаза у него слезятся, на руках появились какие-то пятна, которых раньше я не замечал ни у кого,— может, грязь, а скорее всего — авитаминоз. И мне стало жаль его.

— И что ты думаешь? — спрашиваю.

— Будем отходить. Пробиваться к своим.

«Давно пора»,— думаю я про себя, а Пеканов тоже что-то думает, и мы молчим минуту-другую.

В это время над кромкой леса — но не со стороны передовой, а с противоположной, восточной — послышался знакомый стрекот «рамы».

— Максимов, туши костер! — кричу я.

— Завтрак уже готов, товарищ комбат...— Сержант снимает с треноги прокопченное ведерко с баландой и водружает его на стол, сколоченный в сторонке — под мрачноватой, кряжистой елью. Затем бежит обратно к костру и заливает его водой. Шипенья углей уже не слышно из-за нарастающего стрекота «фокке-вульфа».

— Кончай умывание, быстро! — торопит ребят Егор Урнов.

Однако батарейцы не очень-то прислушиваются к понуканию комвзвода. Они споласкивают лица коричневой болотной водой и, вытираясь, поглядывают на небо. Стрекот «рамы» им привычен. Зимой, сменяя один другого, немецкие самолеты-разведчики висели над нами весь день — с рассвета и до темноты. Фотографировали наше расположение, обнаружив скопление машин на лежневке, вызывали «юнкерсы», корректировали огонь батарей. А как только сошел снег и болота, в которых мы сидели, стали непроходимы — немцы махнули на нас рукой: мы перестали быть реальной силой, которая зимой угрожала их тылам. Они прекратили разведку нашего расположения: «рама» появлялась изредка, и то в полдень. Раз прилетела чуть свет, значит, фрицы что-то почувствовали, забеспокоились.

Погасив костер, Максимов вернулся к столу. Сюда же, под тень ели, застегивая на ходу гимнастерки, спешили и бойцы.

На узком столе, сколоченном из неотесанных горбылей, рядком стояли котелки. Каждый батареец — от командира до ездового — имеет свой котелок. И мой стоит тут же, среди других. Когда-то, под Покровским, когда мы только что приехали на фронт, котелков было чуть ли не сотня. Сегодня их осталось сорок шесть. Завтра, если я откомандирую прислугу орудия, котелков останется еще меньше.

Максимов взял «разводящего» — алюминиевый черпак, поскреб по бокам ведерка и принялся разливать болтушку. Над ведерком и над каждым котелком, в который он опрокидывал черпак, поднимался парок, и потому какой-то миг казалось, что от болтушки исходит пряный запах: не то перца, не то лаврового листа. Но это лишь казалось — ибо каждый знал, что в ведерке ничего нет, кроме воды, в которой разболтано двести пятьдесят граммов муки, да двух ложек соли. Однако все вдыхали этот парок, с вожделением наблюдая за тем, как Максимов разли-

вает по котелкам серую, похожую на клейстер жидкость. И хотя котелки были одинаковы, каждый все же различал свой, и когда сержант выливал в него черпак, боец невольно глотал слюну.

На каждого пришлось по одному черпаку. Но ребята не спешили разбирать котелки: знали, что будет добавка — со дна, погуще. Наконец Максимов опоражнивает ведерко. Мигом стол пустеет. На нем остается всего лишь пять котелков. Это наш р а з в о д: четверо — на охране лошадей и пушек, а пятый, подносчик снарядов Шкарбанов,— дежурный по расположению. Миша Шкарбанов из-за ранения не принимал участия в боях под Зеленщиной, но как только в середине января мы двинулись сюда, он убежал из медсанбата и с тех пор снова в батарее.

После завтрака мы сменим часовых. Каждый из них возьмет свой котелок со стола, разогреет над костерком и съест.

Расхватав котелки, бойцы невольно заглядывают в посудины: сегодня, кажись, этот хмырь налил мне меньше вчерашнего... На лицах ребят нет того оживления, которое обычно вызывает вид пищи. Батарейцы достают из-за голенищ ложки и начинают есть. Лишь кое-кто отходит в сторонку, к блиндажу. Это те, кто не спешит с едой, желая растянуть этот радостный миг.

И я беру свой котелок; чувствую его тепло в руках, отодвигаюсь на край стола и начинаю работать ложкой. Эх, хоть бы крохотный кусочек хлебца! Какого-никакого: кислого, липкого, мерзлого. В последний раз я ел что-то этакое, хлебное, 23 февраля. Тогда, в день празднования годовщины Красной Армии, «кукурузники» сбросили нам сухари в бумажных мешках. Мешки попали в болото, сухари размокли, но все равно это было лакомство, о котором я вспоминаю до сих пор.

Напротив меня сидит Пеканов.

— Ни одной крупинки мучицы! — недовольно ворчит он.— Словно ты, сержант, процедил болтушку.

— При чем тут я?! — Максимов возмущенно поводит плечами.— А с завтрашнего дня еще меньше отпускать будут — только по десяти граммов на душу.

— Тогда нечего время тратить зря,— говорит Пеканов, отставляя пустой котелок.— Надо готовить один раз в день. Похлебал — и баста! Болтушка и круче, и пользительнее будет. А, как ты думаешь, комбат?

Я не знаю, что сказать ему. Просто не думал об этом. Все утро я думаю совсем о другом: как лучше организовать выход? Хватит ли сил у ребят, чтобы спасти технику и вынести раненого политрука?

— Так как же, комбат? — настаивает Пеканов.

— Есть какой-то порядок...— говорю я.

— А-а! — отмахивается он.— Разве это порядок — одну воду ложкой гонять?!

— Мне — что! — заносчиво говорит Максимов.— Я в повара не напрашивался. Можете другого поставить, если не доверяете.— Он ест неспешно. Зачерпнув пол-ложки, дует на болтушку, а потом, запрокинув тонкую шею, глотает.

Абдуллин отставляет котелок и, порывшись, достает из нагрудного кармана гимнастерки узенькую полоску газеты, сложенную вчетверо.

— Пусть поостынет мал-мала!

Я подумал, что Ахмед собрался мастерить самокрутку. Мы давно уже курим мох и вату, которую вытаскиваем из стеганок. Однако, когда Ахмед развернул листок, я увидел, что в руках у него дивизионная газета «Натиск». Размером она стала с листовку, а не с газету, но все же до сих пор выходит.

Абдуллин начал читать сводку Совинформбюро. Бои шли на юге, под Таганрогом, и в районе Харькова. Но о положении на фронтах сообщалось скупо. Зато подробно описывались успехи партизан; на перегоне между пунктами П. и М. они пустили под откос два эшелона.

— Прочти, что там о нас пишут? — спросил Пеканов.

— Вот тут есть заметка: «Ночной поиск».

— А-а.

Ахмед пожал плечами: никто не хотел слушать заметку про ночной поиск, и он снова сложил газетку.

Из-за облаков вынырнул «фокке-вульф». Однотонный стрекот его на какое-то время оборвался: наклонившись, самолет несся к земле. Казалось, что вот-вот на нас полетят бомбы. Но, опустившись до самой кромки леса, высмотрев, что надо, «рама» снова взмыла вверх. И так весь день... Сначала осмотрит нашу передовую, потом тылы, лежневку — единственную дорогу, которую мы настлали еще зимой.

— Лошади у нас укрыты? — спросил я озабоченно, не обращаясь ни к кому в отдельности.

— Укрыты,— ответил Тябликов.

Для лошадей мы сделали загонки, которые были замаскированы сверху лапником. Мы охраняли их днем и ночью, а на волю выпускали только под присмотром ездовых. Лошади для нас — все! Если бы у нас были целы все лошади, я бы теперь нисколько не беспокоился о том, как вывезти Николая Зотова.

«Рама», покружив над передовой, полетела досматривать наши тылы. Словно таракан по потолку избы, ползала она по яркому весеннему небу. Никто не мешал ей: не стреляли зенитки, молчали счетверенные установки «максимов».

Заморив червячка, батарейцы повеселели.

— Эх, сержант, сержант! Не творческий ты человек,— заговорил Тябликов, обращаясь к Максимову.— Все болтушка да болтушка. Хоть разок сочинил бы нам пельменей!

— Я — пожалуйста! Давайте продукты, старшина. Муки побольше, мяса.

— Э-э! — отмахнулся Тябликов.— «Муки», «мяса». Что ты смыслишь в этом! Сибирские пельмени — это деликатес! Чалдонка и та не каждая приготовить может, а ты и подавно. Особое настроение нужно. Все равно, что стихи сочинять. Перво-наперво повязывают фартук...— Старшина встал, отставил от себя подальше котелки, сделал движение руками, будто он на самом деле подвязал фартук. Затем, засучив рукава, принялся быстро-быстро перебирать руками, словно раскатывая тесто.— Яичко! — он ударил о край стола, потом потряс руками, как трясут скорлупки, выливая расколотое яйцо, и снова принялся месить и раскатывать тесто.— Чуточку красного перца. Так... Теперь черного. Готово! — Покончив с тестом, старшина выхватил из ножен штык самозарядной винтовки и стал постукивать им по столу, будто кромсал на мелкие кусочки мясо.— Котел, котел! — крикнул он.— Готовьте котел! — А сам быстро, перебирая пальцами, рвал на кусочки тесто, завертывал в него мясо: было полное впечатление, что он мастерит пельмени!

Ребята не отрываясь наблюдали за движением его рук.

— Э-э, нэт! Пэльмэни ваши, старшина, чистый пэрэвод продукта,— меланхолически заметил Аткай Шарипов.— Было б мясо, я бы вам наш хинкал приготовил. Вот это — еда! А пэльмэни — тэсто. К зубам липнет.

— Да сибирский пельмень по рту тает! — старшина сунул штык в ножны и устало опустился на скамью.
— Тю-тю! Тает?!
— Тает. А что?
— Ты ко мне после войны приезжай! Долму, хинкал тебе делать буду! Вот это еда! Ты знаешь, старшина, что такое хинкал?
— Нет, Аткай.
— Тогда считай, что ты не ел пищу богов! — подхватил мечтательный Шарипов.— Хинкал — это такое блюдо, про которое один старый горец сказал: «Я согласен идти в ад, если там на обед будут давать хинкал. В раю-то, говорят, подают только тонкие яства...» Вот, бывало, бабушка моя... (Тут все ребята усмехаются — ни один рассказ у Аткая не обходится без бабушки.) Бабушка моя... так, как она готовит хинкал, никто не готовит! Тесто мягкое, пышное — на простокваше, на яйце...

Его надо взбить,— рассказывал Аткай,— потом взбитое тесто бабушка режет на мелкие четырехугольнички — удивительно, какие ровные они у нее получались, словно каждый она вымеряла! Кусочки теста варятся в мясном бульоне. А мясо свежее — только что зарезанного барашка. Пока тесто варится, бабушка готовит подливу: чеснок, толченые орехи, бульон. Еда, скажу вам, пальчики оближешь!
— Да! — Тябликов сокрушенно качает головой. Можно подумать, что старшина очень расстроен тем, что не пробовал этого самого хинкала.

Аткаю только и надо было — чтоб его слушали.
— А долму ты ел, старшина?
— Нет, и долму не ел.
— Тогда как ты вообще вырос — на своих-то пельменях?!

У Аткая разгораются глаза. А когда загораются огнем его черные глаза, я боюсь Шарипова. Медлительный и нерасторопный с виду, он вспыхивает, как спичка. Нет, как бездымный порох! И тогда уж никакие доводы и уговоры на него не действуют. Под Новый год, когда мы штурмовали Зеленщину, полк, в котором Аткай командовал гаубичным дивизионом, стоял под деревней Лесная Полисть — на шоссе, ведущем к Ленинграду. Было время, когда эта деревенька по нескольку раз в день переходила из рук в руки. Утром возьмут ее наши, а в полдень прилетят «юнкер-

ся», разбомбят, разнесут в пух и прах — и снова деревня у немцев. В ночь под Новый год, подвыпив, Аткай в компании друзей поспорил, что возьмет Полисть своим дивизионом. И взял! Дружные и такие же отчаянные, как их командир, ребята на руках выкатили орудия и, стреляя прямой наводкой, выкурили немцев из блиндажей. «Эй, пехтура, иди занимай Полисть!» — кричали подвыпившие артиллеристы. Но пехоте приказа не было, да и кому охота в новогоднюю-то ночь... А утром, после яростной бомбежки, на шариповцев двинулся батальон немцев. Они отстреливались до последнего снаряда, но все же вынуждены были отступить. За самоуправство и за большие потери в технике Аткая и направили в штрафную роту.

— Слюшай! — горячо заговорил Шарипов.— Вот на виноградном кусту появились листья. Небольшие, мягкие, сочные, тонкие...— Аткай говорил торопливо, а когда он горячился, то, казалось, слова произносил не выдыхая, а вдыхая воздух, и тогда чудно выходило: всюду, где мы произносим твердый звук, он смягчал его. Аткай никогда не скажет: «шашлык», а непременно — «шашлик», «улибнуться»...— Ну, когда на виноградной лозе,— продолжал Шарипов,— появлялись тонкие листья, бабушка собирала их и солила. Полную бочку! Потому что отец был чабан, и мяса у нас хватало. А для горца — хлеба не надо, лишь была бы баранина!..

Но для долмы одна баранина не идет,— рассказывал он.— Берут пополам — баранину с говядиной. Пропускают через мясорубку, с луком; потом крошат укроп, петрушку, посыпают фарш перцем, немного уксуса, мнут, мешают и, когда все готово, заворчивают фарш в виноградные листья. Накладывают полную кастрюлю и варят на медленном огне. Наконец долма готова! Кастрюлю снимают с огня. Осторожно, чтоб листья не отделились от фарша, вынимают из кастрюли и, прежде чем подать гостям, сдабривают подливой. Подливы бывают разные — то размятый чеснок на сметане, то просто томатный соус... Льют подливу — и кушай себе на здоровье!

— Це да! — причмокнул губами Пеканов и почему-то заглянул в свой пустой котелок.

— Убедил, Аткай! После войны обязательно приеду к тебе! — согласился Тябликов.

— А по мне, друзья,— вступил Егор Урнов,— нет ничего лучше хорошего бифштекса. Бывало, мать кинет на

разогретую сковородку масла, нарежет кружками луку. Мясо шипит, подпрыгивает, дух — на всю квартиру...

— Ну хватит на сегодня гастрономической философии! — вмешиваюсь я.— Оставим это до лучших времен. Давайте-ка поговорим о деле.

Я подзываю к себе командиров взводов и передаю им распоряжение Проваторова. Все соглашаются со мной, что сдать надо лишь одно орудие, у которого погнуты станины и сильно расшатаны колесные втулки. Ответственным за сдачу матчасти назначаю командира орудия Солода. Он аккуратист и очень любит бумаги: без документов не вернется.

Решаем, что полную упряжку гонять на ДОП ни к чему: передки и зарядные ящики все равно пустые. А лошадей мало. Мы не можем оставить орудия без упряжек на случай боевой тревоги.

— Все! — командую я.— Выполняйте!

Батарейцы расходятся по местам.

Ездовые спешат вниз, к ручью, за лошадьми, а командиры взводов с прислугой лезут наверх, на огневую,— снимать орудия.

3

Помимо орудия, которое стало нам обузой, у нас был целый обоз барахла — саней пять, а может, и более. Заехали мы сюда зимой на санях, приволокли с собой все хозяйство: палатки, ведра, печки, фонари, лопаты, бинокли, запасные панорамы. Палатки пригодились: мы располосовали их и застлали брезентом нары, а все остальное имущество продолжало оставаться в обозе.

— Лишнюю панораму и бинокли надо сдать,— рассуждает Тябликов.— Побросаем все в зарядные ящики, пусть отвезут ребята на ДОП. А все остальное барахло в случае чего сожжем вместе с санями.

— Согласен,— говорю я,— вписывай в актовку.

Тябликов пишет, а я сижу напротив и смотрю, как он водит карандашом по листу бумаги. Бумага кажется мне фиолетовой — то ли от обилия света, то ли от авитаминоза... Вдруг позади меня, у насыпи, раздается одиночный выстрел. Я вздрагиваю и инстинктивно поворачиваю голову. И тут же, словно эхо, резко и дробно рассыпается по лесу длинная автоматная очередь. И снова все смол-

кает. Показалось мне — стреляли в районе нашего НП. Чертыхнувшись про себя, я выскакиваю из-за стола и, подбежав к ровику, где стоит наш полевой телефон, хватаю трубку.

— Роза! — кричу я.— Это вы стреляли?

— Да,— отвечает связист Чихачев.

— Вы что, сдурели?!

— Нет. Один вахлак вздумал махнуть через насыпь. Да вон комвзвода всадил ему в зад автоматную очередь.

— Ну и дела... Теперь берегитесь: зашвыряют вас минами.

— Ничего! — отвечает мне Чихачев.— Немцы все видели — знают, что мы по делу стреляли.

— Потому и засыплют,— говорю я и кладу трубку, чтобы успеть спрятаться, пока не начался обстрел.

— Что там такое? — спрашивает Тябликов, когда я возвращаюсь к столу.

— Ничего особенного. Пойдем-ка спрячемся, а то залетит шальная.— Я забираю со стола актовки и спешу в блиндаж. Следом за мной, пригнувшись, входит Тябликов, садится рядом на нижние нары. Он чувствует, что я чего-то недосказал, но не решается выпытывать. На душе у меня прескверно, не хочется мне рассказывать о трусости и мерзости людской. Но не выдерживаю и рассказываю ему о том, что случилось возле насыпи: кто-то, видимо, подобрал немецкую листовку и хотел перебежать к ним. Аткай скосил его из автомата.

Теперь мы молчим оба. Молчим долго, ожидая, что немцы вот-вот отзовутся. Но ожидание наше напрасно: немцы молчат. Никакого концерта! Может, их уже нет?! Может, где-нибудь по соседству наши нанесли такой удар, что они ушли?! Но я не делюсь со старшиной своими мыслями, и мы молчим.

Входит сержант Солод. Он докладывает, что упряжки снаряжены, и спрашивает, какие будут последние указания. Я прошу об одном: чтобы они там не задерживались — время тревожное.

— Забеги на ПФС,— говорю я сержанту в слабой надежде на то, что на продовольственно-фуражном складе удастся что-нибудь получить,— может, старшина Зенкин картошки даст.

— Хрен он даст! — Солод с ожесточением плюет и уходит.

Тябликов смеется, а мне как-то не по себе. Сержант, замечаю давно, ожесточился, ни о чем и ни о ком не скажет доброго слова, постоянно фыркает, раздражается из-за пустяков.

Орудийные колеса дробно застучали по лежневке.

— Поехали...— говорю я самому себе; глаза у меня помимо воли влажнеют; чтобы старшина не заметил этого, я поднимаюсь с нар и выхожу из блиндажа взглянуть в последний раз на орудие, отправляемое на ДОП. Орудие это бывшего моего взвода. Старенькое, три спицы правого колеса у него иссечены в бою под Заозерьем. Ребята из артмастерских заменили их, но месяц назад, во время минометного обстрела, его еще раз долбануло. Обод слегка покачивался и позванивал, при стрельбе не было точности. Но мне жаль с ним расставаться. С пушчонкой этой было пережито немало минут, когда жизнь висела на волоске и ничто уже не могло спасти, кроме точного выстрела. Смотрю, как тарахтит она по лежневке, и невольно вспоминаю бой под Раконью.

После ночной стычки капитан Лысенко послал меня на Мосин хутор: пошукай, мол, избу, где батарейцы могли бы отдохнуть. Я взял связным Мишу Бутина, и мы пошли. Тогда мы попали под страшную бомбежку, чудом не погибли. Только улетели «юнкерсы», глядим, бежит связной комбата: «Танки!» Батарея на рысях поскакала вперед. От хутора до Ракони километра три, и, пока мы неслись, танки уже обошли нас. На лесной опушке ковырялись в кюветах бойцы, малыми саперными лопатками рыли ячейки для пулеметов. Морозы были крепкие, земля промерзла и не поддавалась. Тогда мне впервые пришла мысль о завалах, и я крикнул Кузовлеву: «Алексей Иваныч, валите лес! Лес валите!» Тогда мы впервые поняли надежность этого укрытия. С тех пор завалы мы делаем постоянно. И сейчас наши орудия, стоящие в полукилометре от железнодорожной насыпи, которую оседлали немцы, спрятаны за высоким валом из деревьев...

Батарея развернулась на опушке леса. Стороной, по заснеженному болоту, ползли танки — черные, с белыми крестами на башнях. Я выдержал, подпустил их метров на четыреста. Командую первому орудию: «Огонь!» Недолет. Второй выстрел, как всегда, перелет. Командую: «Огонь всем взводом!» А танки юрк в лощину — и выкатываются прямо на нас. Я: «Первое!», «Первое!..» Загоре-

лась головная машина, но остальные танки теперь уже прицельно бьют по орудиям. Ну, думаю, все — сейчас накроют. Кричу наводчику мать твою перемать! Сам стал к панораме. Не видать ни крестов на башнях, ни неба, вижу лишь неестественно широкие траки гусениц. Они заполнили всю панораму. Движутся будто не спеша — только ошметья снега с них соскакивают. «Огонь!» — кричу себе. И в тот же миг впереди — бум! Вижу, башня у него скособочилась... Подбитый танк успел-таки выстрелить. Спицы колеса изрешетило, а прислуга — ничего, уцелела. Едва затих бой, Ахмед Абдуллин, орудие которого стояло в десятке метров, подбежал ко мне и бросился обнимать.

Да! Я и сам тогда не верил, что живой остался. И сейчас, полгода спустя, разволновался от одного лишь воспоминания о том бое...

И вот она покатилась — эта пушка, спасительница наша. С виду так себе пушчонка. Но для меня лучше ее нету. Поначалу я завидовал ребятам, которые после училища попали в тяжелую артиллерию, хоть в тот же гаубичный полк. Но потом, наглядевшись, как они мыкаются со своими *матренами*, я решил: нет уж, увольте! Пальнут они из своих гаубиц раза три — наши пошли в атаку, взяли деревеньку. Надо переезжать на другое место. А дорог нет, болота кругом. Поехали полкачи-стрелкачи в объезд — день и ночь тягают эти гаубицы, по сотне верст крюку каждый раз. А мы свои полковушки через болото — на руках! И снова готовы к бою.

Тябликов, видимо, догадывался, о чем я думаю. Я слыхал, как он хлопнул дверью, выходя следом за мной из блиндажа, но все время молчал, не мешая мне, и лишь когда орудия скрылись в лесной чаще, он вздохнул.

Я обернулся. Старшина стоял в тенечке и горестно смотрел на дорогу, где все еще слышался перестук орудийных колес.

— На орудии надульный чехол хорош,— сказал Тябликов.— Надо бы заменить.

— А-а! — отмахнулся я.— Снявши голову, по волосам не плачут.

— Это так, конечно. Но жалко.

Мы помолчали.

Потом я сказал ему, что начальник штаба приказал освободившихся ребят передать в первую роту.

— Да ну?! — Продолговатое лицо старшины еще больше вытянулось от удивления.— Не может быть!

— Конечно, в ротах осталось мало людей,— вздохнул я.— Но расставаться с ребятами жалко.

— Обождите передавать. Посоветуйтесь с Кузовлевым.

Майор Кузовлев командует теперь нашим полком. Мужик он добрый, рассудительный. В прошлом, когда он командовал батальоном, мне не раз приходилось поддерживать его огнем. В Крестах мы с ним обтерли полушубками весь мазут с рельсов, ползая по путям, когда брали депо. На Волхове, под Зеленщиной, батальон его по пять раз в день подымался в атаку. Всю неделю, сразу же после Нового года, мы безуспешно пытались выбить немцев из бетонированных блиндажей, оборудованных ими в насыпи. Наш батарейный НП был рядом с окопчиком Кузовлева, и мы тогда, за эту неделю, с ним очень близко сошлись. Если поговорить по душам, он поймет...

— Хорошо, посоветуюсь с Кузовлевым,— обещаю я старшине.— Но, судя по обстановке, дело идет к тому, что всем нам скоро придется брать в руки карабины.

— Тем более нельзя нам распыляться! — убежденно говорит Тябликов.

Я только пожимаю плечами: сказать мне нечего. Наша батарея — и в этом старшина прав — в деле может заменить любую роту.

— Комбат, на провод! — кричит дежурный.

Я бегу к ровику. Удивительное дело: столько времени мы в окружении, а связь работает бесперебойно. Молодец старшина: он постоянно следит за этим, подзаряжает аккумуляторы в автороте.

— Василий! — по голосу в трубке я узнаю майора Лысенко.— Здоровеньки був!

— Здоров, здоров! — от радости у меня сперло дыхание: не могу даже добавить «товарищ майор». Бывший наш комбат не забывает батарейцев, звонит чуть ли не каждый день.

— Яки дела?

— Ничего, спасибо!

— Что слышно у Николая? — спрашивает Лысенко про раненого политрука Зотова.

— Ничего. Получше стало. Собираюсь его сегодня навестить.

— Передавай привет.

— Обязательно!

— Сколько у тебя галушек на ствол? — вдруг спрашивает майор.

Я отвечаю. Снарядов у нас очень мало: даже передки, где хранится НЗ, и те наполовину пусты. Осколочные остались — не по воронам же ими стрелять. А шрапнели совсем нет.

— Вот что, Василий...— выслушав меня, говорит Лысенко.— Возьми из котла еще по полсотенки на каждую.

— А в котле есть?

— Да. Там все знают.

— Хорошо.

— Добре скажешь потом. А сейчас запомни: надо пополнить боекомплект сегодня же. К двенадцати ноль-ноль доложи. Ясно?

— Ясно.

— Будешь в наших краях — заходи!

Я понимаю, что это вежливое окончание разговора. Майор спешит — обычно когда бывший наш комбат звонит на батарею, то спрашивает о ребятах, о самочувствии. Но сейчас, видно, ему не до этого. Однако — или услышав грусть в моем голосе, или по какой другой причине — Лысенко вдруг спрашивает:

— Вопросы есть ко мне?

«Вот кто может заступиться за ребят!» — осеняет меня.

— Мы повезли на ДОП орудие,— говорю я,— а ребят приказано передать в батальон Башмакова. Жалко очень!

— Чье распоряжение?

— Проваторова.

— Обожди. Я переговорю с «первым» и вечером сам позвоню тебе.— Первым на нашем условном жаргоне значится командир дивизии генерал-майор Сарычев.

— Спасибо, товарищ майор! — говорю я.

— Бывай, рязанец косопузый.

Наш бывший комбат находит еще в себе силы, чтобы пошутить.

Но мне не до шуток. Что за несчастный день такой — одно приказание сыплется за другим! «Возьми по полсотенки на каждую...» — вспоминаю слова майора. Для того чтобы привезти столько снарядов, надо гнать на ДОП четыре передка. А у нас всего-то осталось десять кобыл, да и те едва на ногах держатся.

— Тябликов! Абдуллин! — зову я.

Ахмед, как и утром, сидит возле своего блиндажа и шьет что-то или ремонтирует сбрую. Он оставляет работу и подходит ко мне. Не спеша, вразвалочку, подходит и старшина. Я передаю им приказание Лысенко.

Тябликов озабоченно чешет затылок.

— Надо брать! — говорит он, как будто у нас есть выбор — пополнять боекомплект или не пополнять. Раз приказано — значит, мы к чему-то готовимся.

Я начинаю прикидывать так и этак. Пересчитываю коренников и уносных: выходит, что более двух передков мы снарядить не можем. Стало быть, на пополнение боекомплекта нам потребуется минимум два дня, а приказ — «К двенадцати ноль-ноль доложи!»

— На своя спина носить будем,— говорит Ахмед.

Мы со старшиной соглашаемся: да, иного выхода нет.

— Стройте батарею! — приказываю Тябликову.

Через минуту-другую на поляне перед моей землянкой выстраиваются все свободные от нарядов батарейцы. Мы со старшиной начинаем отбирать бойцов, которые должны пойти на ДОП. На случай боевой тревоги оставляем при орудиях командира и заряжающего. Все ездовые, подносчики и связисты должны идти за снарядами. С общего согласия, помимо часовых, в расположении остается Максимов: к нашему возвращению он должен приготовить обед. Набралось нас не так уж много: пятнадцать человек плюс Тябликов, Абдуллин, Пеканов, Шарипов и я. Напрашивался еще Урнов, но я сказал, чтобы оставался за меня. Егор улыбнулся, буркнул: «Ну-ну!», но я-то понял, о чем он подумал — что я иду на ДОП исключительно ради того, чтобы встретиться с Паней. Пусть Егор думает, что хочет. Конечно, Паню мне повидать хочется, мы давно не виделись.

Я объяснил задачу: если каждый из нас принесет по ящику, то в нашем боекомплекте прибавится почти сотня снарядов.

— Может, кое-кто принесет и по два ящика,— как всегда несколько загадочно, говорит Ахмед.— Погляди-ка, комбат! — Он прилаживает себе на плечи сыромятный ремень, который утром шил из старой упряжи, и я вижу, что это очень удобное приспособление для переноски ящиков со снарядами: один — наперед, другой сзади. Оказывается, Ахмед успел сшить несколько таких ремней.

— А ну, Ахмед, дай-ка и мне! — просит Тябликов.

Абдуллин раздает ремни, и я объявляю пятиминутную готовность. Старшина торопит ездовых: «Пошевеливайся, братва! Пойдемте открывать купальный сезон» Воспользовавшись этими пятью минутами, звоню Проваторову. Докладываю, что до часу дня отлучаюсь из батареи: буду занят пополнением боекомплекта. За меня остается Урнов. Оказывается, майор знает о том, что есть распоряжение пополнить боекомплект, но снова торопит нас.

— Не отлучайтесь надолго,— говорит Проваторов. Два рейса не делайте. Что поднимете за один раз, то и ваше.

Максимов вручает Абдуллину котелок с клюквенным киселем — подарок батарейцев раненому Коле Зотову, и мы вместе с Ахмедом идем вниз, к дороге. В низине у самого выезда на лежневку уже стоят две упряжки с передками; возле лошадей толпятся батарейцы.

Склад боепитания — в Криуше. Деревенька небольшая, но в том мешке, в котором мы сидим с зимы, не так уж много населенных пунктов, и Криуша для нас — все равно, что областной центр. Тут все наши тылы: и продсклад, и санчасть, и боепитание. Дорога знакомая; идем мы налегке, без ноши, и, несмотря на слабость, шагаем споро. Впереди тарахтят повозки. Дробный перестук колес далеко раздается окрест. Мы идем молча. Лежневку — дорогу, которую саперы настлали по снегу в дни нашего наступления,— за зиму успели разбить настолько, что от нее остались лишь обломки. В середине апреля, когда болота вздулись от вешних вод, настил из березовых кругляков, скрепленных жердями, всплыл. Потом, по мере того как сходила вода, бревна оседали, втаптывались в грязь, и теперь от лежневки остались лишь кюветы, заполненные рыжей болотистой водой, да обтесанные солдатскими сапогами березовые бревна, которые то тут, то там торчат из непролазной торфяной жижи.

Когда долго сидишь на одном месте — привыкаешь ко всему, что тебя окружает, и не так остро замечаешь перемены, происходящие в природе. Не замечаешь не оттого, что сидишь в землянке или окопе, а оттого, что все время, с утра до вечера, поглощен суетой. Стоило мне теперь на час-другой выключиться из этой суеты, как мир предстал совсем иным.

«А весна-то ранняя!» — думал я теперь, шагая обочи-

ной лежневки. Лес уже весь в зелени. Особенно хороша молодая листва берез: нежные, круглые, как пятаки, листья чуть слышно шелестят на ветру. Когда на них падает солнечный луч, они поблескивают, словно лакированные, и от этих ярких бликов невольно смежаешь веки.

Иду расслабленный, меся ногами болотистую жижу, и перебираю в уме дни — все хочу припомнить, какое сегодня число? «Колю Зотова ранило в субботу, накануне Первомая,— вспоминаю я.— Сколько же прошло дней?» Начинаю считать и прихожу к одному: сегодня четырнадцатое мая. К середине мая в наших местах уже сухо; поля подоспели; мужики, наверное, сеют овес, а скорее всего овес уже посеяли. А тут — в ложбинах да и в самом лесу — лежит еще снег, в каждом овраге, в каждой лощине — вода, а отдельные низинки, поросшие мелколесьем, и вовсе непроходимы. Лежневка, проложенная зимой, плавает посреди болота, и нам то и дело приходится сворачивать с дороги и топать в обход, лесом. А что будет в полдень, когда пойдем обратно? Солнце пригреет, разольются ручьи — неминуемо плавать нам с тяжелой ношей.

«Рама» все еще тарахтит где-то. Но мы не обращаем внимания на ее нудный стрекот. Она никогда не обстреливает и не бомбит, а листовки, которые она разбрасывает, нас не интересуют: мы и без них знаем наше положение. Мы верим, что про нас не забыли, не бросят на произвол судьбы в этих болотах. Раз мы тут, значит, так надо: наши дивизии сковывают большие силы немцев, которые так пригодились бы им в боях под Харьковом и Вязьмой. Придет время — свежие сибирские части пробьют нам коридор, и мы еще, черт возьми, пойдем в наступление: недаром же приказано пополнить боекомплект!

Настроение у меня улучшается. Я шагаю веселее, увереннее. Грязь мне уже не кажется такой вязкой, противной, а день — серым и хмурым. Рядом со мной идет Ахмед Абдуллин. Он спокоен, лицо его собранно, строго очерченные скулы уже тронул первый весенний загар. Позади нас, приотстав, идет Тябликов. Вокруг него — человек десять батарейцев, старшина что-то рассказывает им, а они чуть слышно похохатывают.

Ну вот, все хорошо: день солнечный, настроение у ребят приподнятое. Успокоившись, я начинаю думать о Пане... Нескладно устроена жизнь! — размышляю я про себя. Встретишься с человеком, полюбишь его, и в то самое вре-

мя, когда тебе начинает казаться, что ты без него и часа прожить не сможешь, судьба разлучает тебя с ним. Мы не виделись почти месяц, и все это время, особенно оставаясь наедине, я неотступно думал о ней. Все, что было у меня в жизни, делилось теперь на то, что было до нее, до Пани, и после того, как я встретил ее. Была мать, был отец, была школа, где меня научили читать, писать. Был техникум, и с ним — два-три друга, да и тех, наверное, уже нет в живых. Во всяком случае, Кости Набокова — моего самого близкого друга — в живых нет: он погиб в декабре прошлого года под Мгою. И остались на память его письмо и фото, которое он прислал мне из Забайкалья, перед отправкой на фронт. А случись что — у меня и фотографии Паниной нет... Однако я и без того вижу каждую черточку ее лица. Вот сейчас, вспомнив о ней, я будто слышу ее голос, вижу ее жесты, улыбку. Мне и умереть не страшно теперь: ничего, что прожил мало, зато я познал все тайны любви и жизни...

4

Дорога поднимается наизволок, петляя меж редких невысоких елей. Спину пригревает солнце. Приятно идти по сухому песку, а не по ржавой болотной жиже, которую мы больше часа месили ногами. Шагать становится легче, и ребята подтягиваются.

— На, комбат, кури один-два раза! — Поравнявшись со мной, Ахмед подает мне остаток козьей ножки; окурок настолько мал, что его трудно удержать в руке. Но я беру, делаю две-три затяжки и возвращаю Ахмеду. Так мы теперь курим: если кто-либо свернул самокрутку, то сосем ее по очереди.

— Будешь в санроте,— говорит Пеканов,— передавай привет Михалычу. Мы с ним земляки, воронежцы. Он из Семилук, а я из Лисок.

— А почему вы думаете, что я непременно буду в санроте?

— Да чем ближе к Криуше, тем все больше торопишься. Неужели за снарядами спешишь?

Я молчу. Мне не по душе этот разговор. Не люблю людей бесцеремонных. А у Пеканова есть такая черта в характере — залезать в душу, все равно как на нары в гряз-

ных сапогах. Дружба дружбой, но есть такие вещи, о которых и другу рассказывать нехорошо, бестактно. Пеканов не понимает этого. Если сам, скажем, поцеловал девку, ни за что не утерпит — расскажет всем. Сначала я думал, что он привирает: в молодости каждому хочется, чтобы близкие, а тем более подчиненные, считали тебя солидным, опытным. Но однажды, перед самым Новым годом — после взятия Крестов мы отдыхали в Оскуе,— Пеканов ввалился в избу, занимаемую батареей, веселый, потирает руки, ухмыляется. «Ты чего?» — спрашиваю. «Я сейчас молодую соседку...— говорит.— Ну, баба!» И начал смаковать подробности, о которых вообще-то принято умалчивать.

С тех пор пекановская ухмылочка противна мне, поэтому я молчу. Так, молча, мы поднимаемся на взгорок. Дорога забирает вправо. В просветах меж редких белоствольных берез завиднелись черные пятна изб. Зимой, когда мы только что пришли сюда, батарея больше недели стояла в Криуше, и теперь я все поглядываю на поляну: уцелела ли деревенька, или это чернеют лишь печные трубы?

Не выезжая на опушку, упряжки с передками свернули влево, в глухую просеку. Лежневки тут не было; дорога, проложенная по просеке, разъезжена, в глубоких колеях стояла вода. В тени деревьев на свежей зелени белели оглобли и плетеные кошевки саней — останки нашего зимнего обоза. «Эх! — вздыхаю я.— Сколько тысяч саней навечно останется вот в этих лесах и болотах?!» Я думаю, что, выруби весь Апраксин бор, и тогда не хватит леса, чтобы понаделать столько. Одна наша дивизия со всеми этими ПОП, ПФС, ДОПами, батальонными и ротными обозами тянулась через горловину всю долгую зимнюю ночь. Но разве одна наша дивизия? Тут тысячи саней; сотни машин, зениток, орудийных батарей — и все это замерло, притаилось на опушках рощ в ожидании решающего боя.

Мы еще брели мимо кошевок, а впереди завиднелись терриконы пустых снарядных ящиков. Зимой нам не давали снарядов, если мы в обмен не привозили пустую тару. Дело доходило до воровства. Разломав на растопку ящики, ребята воровали тару у соседей; часто попадались, и тогда не обходилось без скандала. «Да! — думал я теперь, глядя на штабеля пустых ящиков,— постарались, гору целую натаскали!»

По соседству с ящиками, на подстилке из еловых веток, лежали винтовки с примкнутыми штыками, и какие-то

незнакомые бойцы в ватных куртках расхаживали возле кучи винтовок, разматывая белый шнур. Мне показалось, что это бикфордов шнур.

Из-за летучки — крытой брезентом автомашины, в которой помещалось оборудование артмастерской, вышел боец с карабином. Он узнал нас, но не поздоровался, не кивнул головой даже — молча смотрел, как мы тащимся мимо, меся ногами грязь.

— Начбой на месте? — спросил у часового Тябликов.

— Пока на месте.

Поодаль завиднелись блиндажи — такие же, как у нас, только срубы повыше. Тихо в лесу — слышно лишь, как тарахтят колеса передков по могучим корням елей, которые жгутами выпирают из-под земли.

— Дид! — кричит Тябликов.

На окрик из землянки выходит старший техник-лейтенант Пыльченко, наш новый начбой — начальник боепитания полка. Вид у начбоя мужиковатый; лицо широкоскулое, добродушное; ему лет тридцать, не боле, но он носит усы, и все в полку зовут его «дидом».

— Здравствуй, дид! — говорит Тябликов.— Это по какому случаю ты так расщедрился? Всю зиму сидел на снарядах как собака на сене, а теперь вдруг решил с ними расстаться.

— Шутник у вас старшина! — добродушно говорит Пыльченко, здороваясь со мной.— А что же вы тильки с двумя передками приихалы?

— Лошадей нет. Орудие на ДОП повезли.

— Ничего! — вступает в наш разговор Тябликов.— Мы все по ящику подхватим, да вы нам своих гавриков подкинете. Небось опухли от безделья.

— Мои уже на передовой.

— Тю-тю! — роняет старшина: охота шутить у него пропадает.

— Давно? — спрашиваю я.

— З учорашнего дни. И специалистов з мастерской забрали у роты, и ездовых. Осталось лишь трое хлопцив, и то, як вы заберете снаряды, и мы усе — в роту.

— Понятно,— говорю я. Мне и в самом деле становится понятно, почему Проваторов приказал и орудийный расчет передать в роты.— Ну что ж, оформляйте накладную.

— Яку накладную?! Берите, скильки поднять можете.

Все устали. Ездовые распрягают упряжки, лошади сразу же начинают щипать траву; ребята присаживаются на ящики со снарядами, вытягивают затекшие ноги.

— Угощайтесь! — Пыльченко достает из кармана начатую пачку махорки.— Учора з ПФС провожали усех на передовую. Подчищали остатки.

Ребята достают помятые клочки газет, принимаются мастерить самокрутки.

— Товарищ комбат! — обращается ко мне Тябликов.— Сходите к политруку. Мы без вас тут управимся.

— Ну что ж...

— Передавайте от всех нас большой привет.— Ахмед подает мне котелок с киселем.

— А это от меня! — Старшина сует самокрутку — уже успел смастерить.— Пусть скорей поправляется.

Бережно засовываю козью ножку в нагрудный карман (не дай бог, высыплется махорка!), подхватываю из рук Абдуллина котелок и шагаю обратно, в сторону Круши. Сначала я иду не спеша — знаю, что ребята наблюдают за мной: подумают еще, что тороплюсь из-за санинструктора Пани Зайцевой. Но, миновав штабеля ящиков, я помимо своей воли начинаю убыстрять шаги. На опушке леса, перед деревенькой, приостанавливаюсь: заметил, что не иду, а почти что бегом несусь. И откуда только силы взялись!

Времени у меня мало. А мне хочется и Николая навестить, и хотя бы две минуты побыть с Паней. Я уверен, что, пока я не вернусь, ребята вряд ли снимутся с места, поэтому спешу. Мысленно считаю минуты: вот они еще курят; вот Пыльченко подвел их к штабелям снарядов, и Тябликов, как всегда, пререкается с начбоем — не хочет брать шрапнели. «Сейчас они еще сидят и курят,— повторяю про себя.— Ку-рят. Ку-рят. Ку-рят...» — Под каждый слог я переставляю ноги.

Сначала я думаю о встрече с Колей Зотовым. Мы давно не навещали Колю. Его ранило накануне Первомая. Была дружная, яркая весна. В низинах и в тенистых местах — под кустами ольхи и под елками — еще лежал снег, но на гибких побегах берез уже висели сережки, и по склонам оврагов желтели пятаки мать-мачехи. И хоть голодные, изможденные, и связи нет с Большой землей, но наступление весны чувствовали и мы, окруженцы. Наступление весны— и приближение праздника. У нас в батарее приближение

Первомая было связано и еще с одним важным событием: большую группу отличившихся в боях принимали кандидатами в члены партии.

В канун Первомая позвонил комиссар полка Чуев: на КП полка прибыл начальник политотдела дивизии, в шестнадцать ноль-ноль состоится заседание парткомиссии по приему. Пусть, мол, Зотов приходит со своими людьми.

Я подменил ребят, которые несли службу, пожелал им «добро», и они ушли. Штаб полка находился там же, где и сейчас,— левее нашей батареи, под прикрытием первого батальона. Железнодорожная насыпь в том месте не такая высокая, как перед батареей, и лес не так густ и плотен. Зимой, когда мы наступали, командование планировало главный удар именно там, силами первого батальона. Но прорыв не удался. За время зимних боев лес еще больше поредел, болота растаяли, и дислокацию штаба менять было уже поздно. До КП полка — чуть побольше километра. Мы так обжились здесь, что бегали в штаб и днем, и ночью, и группами, и в одиночку.

Ну, и они пошли, как обычно.

Потом мы узнали: у немцев был приказ — мешать Первомаю. Они усилили наблюдение за передним краем. После заседания парткомиссии ребята возвращались домой, в батарею, возбужденные, радостные. Шли безо всякой предосторожности: разговаривали, обменивались впечатлениями. Вдруг — минометный налет. Обычно немцы перед налетом вели пристрелку: взвизгнет мина — трах! Через минуту другая. А на этот раз они ударили сразу двумя батареями.

Я как раз проверял посты. Иду с огневой, задумался. Вечер. Теплынь. Земля оттаивает. Горланят грачи; где-то мурлычет горлинка. И вдруг — мины! Я давно уже знал: раз слышно, как повизгивает мина, значит, она мимо тебя, стороной летит. Свою никогда не услышишь. Услышишь глухой удар — и не успеешь броситься ничком на землю, как перед тобой вырастет желто-красное облако разрыва... Мины рвались где-то в районе рощи. Но опыт подсказывал, что надо быть осторожным: немцы могут в любую минуту открыть огонь по всему переднему краю. Затаился — жду. Четверть часа барабанил фриц. Обстрел кончился так же неожиданно, как и начался.

Бегу от орудий вниз, к землянкам, вижу: несут кого-то

мои ребята. Подошел — на шинели, пропитанной кровью,— Николай.

Паня была тогда с нами. Я позвал ее. Мы внесли Николая в блиндаж, положили на нары. Из правого сапога у него полилась кровь. Паня осторожно сняла сапог, располосовала ножницами штанину. Николай постанывал, но сознание не терял, был в памяти. Осколок мины попал ему в ногу, выше коленного сустава. Видимо, в момент взрыва он стоял — потому что ранение очень походило на пулевое. Осколок вошел спереди, разворотил бедренную кость и застрял где-то в мякоти. Пока его несли, Николай потерял много крови. Лицо его осунулось, поблекло, на щеках и на лбу выступила испарина. Паня перевязала рану, ввела противостолбнячную сыворотку. Пока она с ним возилась, я позвонил командиру санроты, которого мы все звали Михалычем, и рассказал ему о случившемся. Сам я отлучиться из батареи не мог: в праздники всем приказано быть начеку. Транспорта, кроме саней, у нас не было; мы быстро снарядили повозку, уложили Николая в розвальни...

За ездового поехал старшина, а сопровождающей я отправил Паню. Сам отправил! В разговоре с Михалычем я просил его попридержать Паню какое-то время в санроте, а на ее место прислать другого санинструктора. Предлог был веский: надо было присмотреть за Николаем. Я просил ни в коем случае не эвакуировать нашего политрука дальше, в медсанбат. Уж сколько времени дивизия находится в окружении! И хотя больших боев мы не ведем, но медсанбат день ото дня пополняется. То тут, то там вспыхивает на короткое время перестрелка. Глядишь, в батальоне два-три человека ранены. И вот — капля по капле — собрался целый госпиталь. Весь угол Апраксина бора, прилегающий к коридору, заставлен палатками, шалашами, слепленными наспех блиндажами. Всюду: на нарах, на носилках, на подстилке из хвои — лежат раненые.

Это наш дивизионный санбат.

Его нарочно расположили поближе к коридору: как только пробьют дорогу — в первую очередь будут эвакуированы раненые. Зимой наши пробивались не раз. Подойдет какой-нибудь свежий полк, ударят «катюши» — и вот от роты к роте радостная весть: пробит коридор! Вывезут раненых, подбросят нам сухарей. Но радость оказывалась скоротечной. Глядь, в полдень летит стая «юнкерсов». Бомбы перепахивают лежневку, обрывают жидкую

ниточку узкоколейки, брошенную наспех поверх песчаной насыпи, и снова все мы — от генерала Сарычева и до самого последнего ездового в обозе — ходим мрачные: коридор закрыт... а с середины апреля, как только начал таять снег в лесах, и такой однодневной радости не случалось более ни разу. Но перестрелки все-таки вспыхивали, и мало-помалу появился наш дивизионный госпиталь. Зная, что в санроте некому ухаживать за ранеными, я и просил Михалыча попридержать пока у себя санинструктора Паню Зайцеву.

Михалыч знал о наших отношениях с Паней и, молодец, все понял. Одно дело — командир огневого взвода, который любит санинструктора, и совсем другое — командир полковой батареи, который «крутит любовь» с подчиненной...

Комбатом я стал месяц назад. Командир нашего стрелкового полка Алексей Иванович Кузовлев пригласил нас к себе: Лысенко, меня и Колю Зотова — и объявил, что всем нам присвоены очередные звания. Поздравив нас, Алексей Иванович тут же повернулся ко мне: «Такие-то вот дела, старший лейтенант Артюхов: принимай батарею. Майор Лысенко с завтрашнего числа заступает в новую должность — начальника артиллерии дивизии».

Вечером, когда мы вернулись с КП, Лысенко вздумал обмыть новое назначение. Он раздобыл где-то спирту и пригласил к себе Зотова и меня. Мы сидели втроем в просторном комбатовском блиндаже, и Лысенко — побритый, помолодевший, с двумя шпалами в петлицах — хлопотал, «сервируя» стол. Он вылил четушку спирта в котелок, разбавил водой — получилась почти полная посудина белесой теплой смеси. Из планшетки — кажется, единственной вещи, которую комбат носил с собой — вынул два сухаря.

— Эге, где-то еще водятся сухари! — пошутил Николай.

— А як же! Теперь я небось не заштатный комбат, а начальник службы при штабе дивизии...— Лысенко разломил каждый сухарь пополам; мы взяли по половинке, а оставшуюся он отложил. Наполнил кружки мутной жидкостью; Николай сказал: «За майора!» — мы чокнулись, опорожнили кружки, крякнули разом и принялись за сухари.

От одного лишь запаха ржаного хлеба у меня закружилась голова. Давно не ел.

Мы быстро захмелели, и Лысенко захмелел — говору-

ном его никак не назовешь, а тут и он много говорил: о ребятах, о нашем теперешнем положении.

— Берегите хлопцев,— твердил он.— Пушки потеряете — новые дадут. А потеряете ребят, считай, усе, нет батареи.

Вдруг Лысенко положил мне руку на плечо:

— Вась, позови Паню!

Я смутился: мне казалось, что о наших отношениях с Паней никто в батарее не знает. Стал отнекиваться: мол, не стоит наше общество разбавлять женщинами, хотел отделаться шуткой. А он все твердит свое.

— Позови,— говорит.— Война-то долгая будет. Доживем ли мы до вашей свадьбы? Живы будем — такую свадьбу справим, что стекла во всей твоей Орловке разлетятся от нашего пляса. А теперь мы, твои друзья, хотим сказать вам свое «добро» и благословение. А то как же?! Мы тут старшие.

Пришлось пойти за Паней. Землянка ее была недалеко; захожу — она сидит на топчане, кусок марли на бинты режет. Передал я ей просьбу комбата. Думал, что начнет отказываться, а она — ничего.

— Хорошо. Иди, я сейчас.

Паня пришла следом за мной. Она будто знала, что комбат захочет повидать ее напоследок. На ней была новая летняя форма — солдатская гимнастерка с отложным воротничком, широковатая ей. Но Паня туго затянулась брезентовым ремнем, а подол гимнастерки, чтобы не мешался, собрала сзади петушком: в батарее разве что один старшина заправлялся с таким шиком. Конечно, подумал бы каждый, увидев грубый брезентовый ремень, женская талия достойна более изящного украшения, чем это. Но надо сказать, что и грубую брезентуху Паня носила с изяществом. Ремень так затянут, что и пальца не подсунешь. Юбку она, знать, перешила — расклешила, укоротила; сапожки на ней — новые, яловые; пилотка — на самой макушке, шпилькой, что ли, приколота, невесть как держится.

Вошла — тоненькая, свежая, бодрая; мы все будто впервой ее увидели.

— По вашему приказанию, товарищ майор!

И, как заправский служака, пристукнула каблуками.

— Сидай, Паня!

Она села на низкие нары, но не рядом со мною, где было место, а к Зотову, и тому пришлось подвинуться. Села, по-

добрала подол юбки и, зажав ладони меж колен, уставилась на майора. На меня она даже не поглядела. Лысенко подал Пане половинку сухаря, которую приберег, и поставил на стол еще одну кружку. Заглянув в котелок, стал наливать — сначала Пане, потом остатки разделил поровну между нами.

— А теперь, хорошие вы мои, я хочу выпить за вас: за тебя, Паня, и за тебя, Василий! — Лысенко встал и протянул свою кружку к Пане.— Поздравляю вас, черти! — продолжал он.— Так уж случилось: ни у Николая, ни у меня ни жены, ни любимой. А вам повезло! Повезло найти друг друга. Ничего, что сейчас трудно. Я верю: победим фрица, и мы с Николаем еще попляшем на вашей свадьбе. А теперь давайте выпьем за ваше счастье!

Паня зарделась, взяла кружку, поднялась.

Встали и мы с Зотовым. Мы чокнулись и выпили сразу, а Паня постояла, собираясь с духом. Наконец и она выпила, звякнула донышком пустой кружки о стол и, стоя, хрустнула раз-другой сухарем.

— Горько! — вдруг крикнул Лысенко.

— Го-о-рько! — поддержал его Николай.

Я повел плечами: ну что ж, мы можем поцеловаться и при вас! Я привлек Паню и поцеловал, сначала в одну щеку, потом в другую. Паня едва доставала мне до плеча; приподнявшись на носочки, она обняла меня. Правая рука, в которой зажат был сухарь, лежала на моем плече. Я долго не выпускал Паню из своих объятий и все гладил ее исхудавшие плечи, остро обозначившиеся лопатки. Потом вдруг поцеловал ее в губы, резко оттолкнул и, глядя на майора повлажневшими глазами, сказал:

— А нам — сладко!

Лысенко крякнул, встал, пожал нам с Паней руки. Бросил чуть слышно:

— Василий, прикажи Тябликову построить батарею: хочу проститься...

5

В санчасти я был всего лишь два раза: зимой, когда мы только что пришли сюда, и совсем недавно — навещал раненого Колю Зотова. Дорогу в эту лесную глухомань проложила нам конная дивизия генера-

ла Журавлева. В середине января, после трехчасовой артподготовки, нашей дивизии все же удалось взломать немецкую оборону под Зеленщиной. В узкую брешь, проделанную штурмовыми отрядами, устремились кавалерийские полки Журавлева. Немцев в этих лесных деревушках было мало, и кавалеристам очень быстро удалось освободить большую территорию. Командованию казалось, что освобождение такой территории — выдающийся успех. Для закрепления и развития успеха сюда, в заболоченные дебри, было спешно введено несколько дивизий. Санные обозы, пушки, зенитки, штабные машины — все это медленно двигалось по глухой лесной просеке, которую саперы еще не успели выложить лежневкой. Батарея часами простаивала в лесу, на трескучем морозе, в ожидании, когда где-то впереди ликвидируют пробку. То скачем по кочкам на рысях, то стоим. И так — две ночи кряду. Наутро мы вышли на опушку леса. Впереди белели крыши деревеньки. Лысенко сверился с картой: Криуша, место сосредоточения, и ушел на КП полка, чтоб уточнить обстановку. Сарычев, тогда командир нашего полка, не рискнул развернуть штаб в деревне, и первый наш КП был в том районе, где теперь ДОП. Комбат отправился искать Сарычева, а батарейцы тихо-тихо поплелись в деревню.

Вдоль косогора, поросшего корявыми ракитами, стояло десятка полтора изб. Меж ними не было ни заборов, ни плетней. Лишь на околице чернели столбы и перекладины поскотины, разобранной кое-где солдатами на дрова.

Было серенькое утро, порошил ленивый снежок. Вдоль улицы сновали бойцы; где-то в затишке двора, под навесом, дымила батальонная кухня; слышались команды старшин; похрапывали лошади, привязанные попарно за головки розвальней. Мы зашли в крайнюю избу. Повсюду — на полу, на лавках — вповалку спали бойцы; вся задорга печки была увешана портянками и носками: отдыхал, сушился служивый люд. Я стоял возле двери, раздумывая, где пристроиться, чтобы прикорнуть хоть полчасика. Вдруг слышу: летят! Не припомню, кто из батарейцев был тогда со мною; хорошо помню лишь, что был Абдулин.

— А, шайтан, не спится тебе! — Ахмед со злостью сплюнул и, как сайгак, стремглав метнулся из дома.

Мы — за ним. Ахмед первым выскочил на улицу, и, если бы мы не замешкались в сенцах, всех бы нас прибрало —

еще тогда, зимой. Бомба разорвалась в трех шагах от крыльца. Взрывной волной Ахмеда отбросило к стене и засыпало снегом. Мы разгребли снег — у него текла кровь из уха; мы подхватили его и под бомбежкой понесли к ракитам на зады, где находился медсанбат. Дня через два Ахмед отдышался, пришел в себя и явился в батарею. «Ничего, татарина бомбой не убьешь!» — шутил Ахмед.

Опушкой, огибая поскотину, заросшую мелколесьем, я пробираюсь за деревеньку — к мостку через реку. Налево, на взгорке, кущами и в одиночку чернеют ракиты. Это все, что уцелело от деревеньки. От громоздких изб и черных банек с высокими тесовыми крышами не осталось и следа: за зиму невесть сколько было артобстрелов и бомбежек. Сараи и бани, разрушенные артогнем, бойцы растащили на дрова, а сухие, добротные венцы изб подобрали сами местные жители. Подобрали, перевезли в лес — и там, в глухом лесном урочище, понастроили себе землянок. Перевезли туда уцелевшее барахлишко, кадки с брусникой, сено, ребят и кур, и живут в лесу, как жили когда-то их предки.

Мостик через реку уцелел. К перилам прибит шест, и на листе фанеры химическим карандашом написано: «Хозяйство Купидонова». Я невольно усмехнулся. До этого мне как-то и в голову не приходило, что у командира нашей санроты такая чудная фамилия. «Михалыч» и «Михалыч», а он, оказывается, Купидонов.

Вода в ручье была мутная, и когда я проходил по мостку, то подумал, что бултыхнуться в такую воду — мало приятного... Тропка, которая вела от мостка в лес, петляла заболоченным лугом. Между кочек стояла вода. Густой ольшаник стегал по рукам и лицу. Раздвигая густые побеги ольшаника, я неожиданно уткнулся в куст черемухи. Цветы на ней еще не распустились — висели беловато-зеленые грозди, но пчелы уже начали свою работу, гудели, подлетая к лепесткам. Я остановился, удивленный: неужели есть на свете черемуха, цветы, пчелы?! Не веря своим глазам, уставился на куст. И все же это была черемуха, и пчелы были как пчелы — коричневые, с мохнатыми лапками. Они перелетали с одной грозди на другую, шустро перебирая хоботками, отыскивая нектар. И, наблюдая за работой пчел, я вспомнил май в родной Орловке. Черемуховые омута на задах огородов, соловьиные трели по вечерам. Земля, размореиная теплом, кажется, испускает запах парного молока... Майским утром, на заре, когда бываешь

в ночном, где-нибудь у Яснового, видится далеко-далеко, до самого Дона: увалы, горбы косогоров, а по их склонам — клетки ярко-зеленой озими и коричневых паров. Увижу ли я снова все это?..

Сорвав ветку черемухи, я выбрался из прибрежных кустарников. Тропинка свернула влево, к лесу. Я увидел знакомый еще с зимы овраг, куда мы принесли тогда раненого Ахмеда. Узкий и глубокий овраг напоминал расщелину, каких немало в уссурийской тайге. Это сходство усиливалось еще могучей и густой растительностью — только вместо дальнёвосточных кедрачей и пихт тут по откосам оврага громоздились черные ели с замшелыми стволами. Они ярусами поднимались все выше и выше по обеим сторонам оврага; вверху кроны их смыкались, прикрывая расщелину от досужих досмотров «рамы».

Внизу, на дне оврага, было сыро и мрачновато. Но по всему южному склону, где пригревало солнышко, зеленела трава, испятнанная ярко-желтыми бликами.

Двери землянок, которыми за зиму обросло «хозяйство Купидонова», были открыты. Под елками на грубо отесанных скамейках сидели раненые. Какой-то боец с рукой, подвешенной на марлевой повязке, ходил по поляне. Он приглядывался к зелени, то и дело припадал на колено и принимался рвать какую-то траву, которую аккуратно складывал в котелок. «Щавель ищет»,— решил я. Подойдя поближе, я поздоровался с бойцом и спросил его, не скажет ли он, где можно найти политрука Зотова.

— А вон землянка, где костер горит,— указал боец.— Мы как раз на волю его недавно вынесли. Попросил.

По дну овражка сочилась вода, а вдоль склонов, исчерченных тропками, было сухо, валежник потрескивал под ногами, как летом. Раздвигая руками ольшаник, я вышел на поляну, по-весеннему залитую ярким солнцем, и сразу же увидел Николая. Он сидел на носилках, поставленных на два березовых кругляка. Ноги его были прикрыты байковым одеялом, а под спину ему подсунули ватник. Николай сидел, опершись спиной, и что-то писал на листках ученической тетради. Если бы не эти носилки, то можно было бы подумать, что он вполне здоров: побрит гимнастерка заправлена под ремень, цвет лица хороший — не такой, как у всех раненых.

— Привет паровозной бригаде! — сказал я. Нарочно так сказал: мне хотелось подбодрить Николая, напомнить

ему, мечтавшему стать машинистом, что мы по-прежнему числим его в строю.

— Васька, черт! Откуда ты?! — Николай откинул тетрадь на край одеяла и протянул ко мне руки.

Я бросил ветку черемухи, поставил на землю котелок, пригнулся к Николаю, и мы обнялись.

— Ну, как ты жив?

— Ничего! — он долго не выпускал меня из своих объятий.— Здоров, как видишь!

— Ты что — мемуары пишешь?

— Да. Ты угадал.— Николай выпустил меня из объятий и, кивнув на ветку черемухи, брошенную мной, добавил: — Подними-подними! Паню порадуешь.

— При чем тут Паня? Шел сейчас — вспомнил Орловку. У нас в эту пору черемуха уже цветет.— Я все же поднял ветку, но, чтобы как-то скрыть свое смущение, поднял с земли и котелок.— Да! Вот тебе подарок от батарейцев.

— Что это?

— Клюквенный кисель, а вот в придачу и самокрутка.

— Самокрутку давай! А кисель ни к чему! Мы тут щи щавелевые едим.

— Бери, бери! Это не моя затея. Ребята сварили.

— Ну, как они там? Аткай-то освоился со своим взводом?

— Освоился. Пичкает их рассказами о своей бабушке.

— А-а! — Николай заулыбался.— Не бабушка ли его и кисель придумала?

— Нет. Максимов постарался.

— Ладно, отнеси в землянку.

В землянке было сумрачно — я ничего не разглядел, кроме нар, застланных грубыми суконными одеялами, и стола. Я поставил котелок на стол, подхватил ящик из-под мин, валявшийся возле двери, и, примостившись на него, сел возле Николая.

— Пишу письмо, вроде Ваньки Жукова: «На деревню, дедушке»,— указал он на тетрадь.

— Письмо?! — удивился я: наверное, месяца три никто из нас не получал и не отправлял писем.— Честно говоря, я не знал, что у нас все еще действует полевая почта

— Я тут познакомился с одной девушкой,— объяснил Николай.— Землячка нашего Михалыча, воронежская. Часто бывает у него. Вчера лежу вот так же, как теперь, на солнышке. Она подошла, присела. Покалякали мы с ней.

Вдруг она говорит: «Политрук, хотите послать письмо домой?» — «Еще бы!» — «На днях прилетит самолет за партийными документами,— говорит она.— Пишите, обещаю переслать...» Вот я и пишу.

— Извини. Помешал тебе.

— Что ты! Она зайдет завтра в обед. Может, и ты черкнешь своим?

— Знаешь что,— подумав, сказал я,— передай от меня привет своей сестренке Гале. Попроси, чтобы она написала моим старикам два слова: мол, сын ваш жив, здоров. Она адрес знает.

— Ладно...— Николай откинулся и, потупя взгляд, вдруг сказал: — У меня такое чувство, Василий, что я пишу завещание.

— Выкинь это из головы! Понял? — Я вскочил с ящика.— Мы пополняем боекомплект. Значит, будем пробиваться. Пробиваться к своим, слышишь?!

— Да, да, слышу! Пойми, если бы меня хоть в руку стукнуло, я шел бы на прорыв со всеми. А так разве мне выбраться отсюда?..

— Мы возьмем тебя. Народу в батарее много. Вынесем!

— Не хочу быть обузой. Выходить-то придется с боем...

— Хватит ныть! — оборвал я его.— Что ж ты думаешь, нам фронт не поможет?! Бить будем с обеих сторон. Немцы-то сегодня тоже не те, что в прошлом году. А главное — верить в свои силы!

— Что ты меня агитируешь? — Николай усмехнулся.— Меня мало волнует, останусь я жив или нет. Скорее — нет, и с этим я уже смирился. Тоскливо по другой причине. Скоро уже три недели, как я здесь. Делать нечего — лежу ночь, лежу день. Всякие мысли лезут в голову. Вот лежу и думаю... Надо же — были старые добрые времена, когда воины вооружались пиками и секирами, сходились на равных: или он тебя, или же ты его. Все определяли сила и сноровка. А теперь что за война?! Воевал полгода — живого немца не видел.

— Такая у нас, у артиллеристов, гуманная доля: убивать не видя,— невесело пошутил я.

— Плохая доля! — возразил Зотов.— Останусь живой — попрошусь в роту. Хоть бы раз сходить в атаку по-настоящему, с автоматом в руках! Чтоб побежали гады!..

— Что-то они не очень-то пока бегают.

— Это верно, черт побери! — согласился Николай.— Плохо мы воюем. Памятника нам с тобой потомки в этих болотах не поставят! Как ты думаешь?

Я тоже думал, что не поставят. Но не хотелось говорить об этом, и я промолчал. Зотов понял это мое молчание по-своему:

— Ты спешишь небось? Тебе Паню повидать хочется, а я к тебе со всякими глупостями... Извини.

— Вообще-то мне пора,— сказал я.— Ребята едва на ногах держатся, и я понесу снаряды наравне со всеми.

— Ясно! — как сказал бы майор Лысенко.

— Не заходил он?

— Ну как же! Вот удивительный человек...— оживился Николай.— И карты ведь у него есть, и обстановку он знает, а все верит в успех. Считает, что мы свою задачу выполнили. Мы-де всю зиму не давали фашистам задушить Ленинград.

— Может, так оно и есть.

— Конечно, так. Но ведь мы — люди, и пока мы живы, нам хочется сделать как можно больше.— Николай взглянул на свою беспомощно лежащую ногу. Помолчав, он встрепенулся и впервые за все время нашего разговора посмотрел на меня прямо, открыто, и я увидел того, прежнего Николая, с которым когда-то впервые столкнулся на нарах теплушки.— Ну, хватит. Надоел я тебе. Беги к Пане. Тем более — ее еще отыскать надо. Тут неподалеку, в землянках, живут криушане. У одной женщины заболела девочка. Михалыча с утра вызвал Проваторов. Вот Паня и побежала... Сходи, сходи! Тут недалеко. Пройдешь метров сто по овражку — там увидишь.

Я оправил гимнастерку и козырнул Николаю: дескать, не плошай, не падай духом. Козырнул, подхватил ветку черемухи и пошел.

В густом мелколесье овраг раздваивался; едва я свернул влево, как тут же откуда-то выскочила собачонка, рыжая, толстобрюхая, и, не переставая лаять, побежала за мной по пятам. Мне надоела ее назойливость, я цыкнул на собачонку, однако она не отстала, продолжала заливаться лаем. Вскоре завиднелись землянки.

Люди обжились за зиму. Двери землянок обиты рядном и потрепанными ватниками; рядом с жильем — плетни и скамеечки, на них, отогреваясь на солнышке, сидели старики и старухи.

Я подошел к одиноко сидящему деду. Был он, несмотря на тепло, в телогрейке и в валенках. Белая окладистая борода обложила его лицо, и мне показалось, что это древний старик, которого кровь уже не греет. Однако, когда я, остановившись, поздоровался с ним, он посмотрел на меня живыми, совсем не старческими глазами.

— Дедушка, не видали ли вы тут сестру из санроты? — спросил я его.

Старик привстал. В руках у него был конец веревки. Он стал привязывать веревку, и я понял, что дед стережет корову. Лобастая, с большими белыми пятнами на обвислых боках, она спокойно щипала мясистыми губами молодую траву. «Корова?! — удивился я.— Значит, наши дела не так уж плохи, если у местного населения есть еще коровы!»

— Пойдемте, провожу.— Привязав корову, старик поправил картуз и, похрустывая по валежнику подошвами валенок, засеменил впереди.

Я пошел за ним. Наблюдая, как он то и дело откидывает со лба картузишко с большим лакированным козырьком, я почему-то подумал о том, что в молодости дед, поди, служил в городе, скорее всего — в Питере, лифтером при гостинице, а может, швейцаром.

— Андрюшка! — крикнул старик.— Пригляди за коровой. Я лейтенанта провожу.

На поляне, испятнанной бликами солнца, ребятишки гоняли тряпичный мяч. Им ничто не мешало — ни война, ни окружение. Среди малышей выделялся сухопарый подросток лет двенадцати. На нем была синяя майка и широкие солдатские галифе, подвязанные брезентовым ремнем, какие носили все рядовые бойцы. Судя по всему, этот парнишка был у ребят заводилой.

— Перекур! — бросил он русоволосому крепышу, стоявшему в воротах.— Ласка, пошли Комолку стеречь!

Собачонка, не дававшая мне покоя, завиляла хвостом и отошла в сторонку.

— Собирал бы лучше щавель, чем мяч гонять,— проворчал дед.

— Я уж набрал,— буркнул Андрей.

— Сходи за дровами!
— Ладно.
— Я те дам «ладно»! — ворчал дед.

Дед бочком-бочком, но шагал бодро и все поглядывал на меня.

— Ну, как вы там, держетесь еще?
— Держимся.
— Слава богу! — сказал он.— А то тут до нас разные слухи доходили. Дескать, отходить вы надумали. Я уж решил: отсюда — ни шагу! Что они мне, немцы-то, сделают? Дарья, дочь, на своем стоит: мол, не останусь. Не хочет второй раз испытывать судьбу. Кто-то перед вашим-то наступлением шепнул немцам, что муженек ее в партизанах. Ну они к ней и привязались. Следили за ней — думали, что Петр-то явится. Допрашивали да били — они это умеют, известное дело! Я, мил человек, у Брусилова служил. Мы их — немцев этих да еще австрияков — поприжали в Пинских болотах. Сначала мы — их, потом — они нас. Так оно всегда на войне. А то как же. Кто не был в окруженье, тот не воевал.

Старик свернул с тропинки; тут, в крутом откосе оврага, чернела обитая ватником дверь; по обе стороны от нее — едва приметные оконца.

— Дарья! — позвал старик.

На его окрик из землянки вышла женщина средних лет, крепкая, ладная, подобранная. Она оглядела меня — без особого любопытства, спокойно. Однако я почему-то смутился от ее взгляда.

— Паня у вас? — спросил я.

— А-а, вы Паню ищете? Заходьте, заходьте! — живо заговорила она.— Панецка, к вам!

Следом за женщиной я вошел в землянку и сразу же увидел Паню. В мрачном — снаружи — убежище было светло. Под потолком, забранным горбылями, горела лампа — настоящая, семилинейная лампа, такая же, какая висела и в нашей, артюховской, избе. Но даже если бы и не горела лампа, все равно я сразу бы заметил Паню: она была в белом халате. Я не видел ее такой, в белом халате, давным-давно, поэтому удивился и обрадовался одновременно. Склонившись над самодельной детской кроваткой, стоявшей в углу землянки, Паня укрывала девочку.

— А теперь спи, спи! — уговаривала она ее. Увидев меня, Паня, как мне показалось, вздрогнула от неожидан-

ности, но не подала виду, что смущена.— Думаю, что это все-таки не скарлатина, а корь,— сказала она хозяйке.— Вечером придет врач, посмотрит еще, а сейчас заставьте ее проглотить вот эту таблетку и последите, чтобы не раскрывалась.

— Спасибо, Панецка!

— Ну что вы, Дарья Федоровна! Не на чем! — И только после этого Паня повернулась ко мне.— Хорошо, что ты зашел! — сказала она обрадованно. Очень хотелось обнять ее, но я сдержался, только крепко и порывисто сжал ее руку.

— Панецка, не уходите. Я сейчас угощу вас зелеными щами! — Укрыв девочку, Дарья засуетилась возле стола.

Мы стали отказываться, уверяя, что сыты. Но хозяйка будто не слышала наших возражений. Она поставила на стол две миски, налила зеленых щавелевых щей; плеснула в щи молока из широкогорлой кринки.

— Ешьте. Только вот хлебушка и у нас нет,— сказала она, подавая деревянные ложки.

Признаться, я отвык от запаха и вкуса молока. Последний раз я пил его год назад и теперь, увидев забеленные молоком щи, не выдержал — сел на скамейку, придвинул к себе миску. Глотнул кислых, пахнувших лугом щей — и стеснило дыхание. Щи эти напомнили мне детство, в котором часто случались трудные годы. В те годы хлеба до нови не хватало — за все были в ответе картошка да щи. Бывало, мать ждет не дождется, когда отелится корова. Пустые щи из квашеной капусты всем надоели, у ребят от них изжога. «Ох, уж телилась бы ты скорей!» — вздыхает мать, готовя пойло корове. И вот настает ночь. Мать не спит, все выбегает во двор. «Пора, батя!» — наконец шепчет она. Дед, покряхтывая, слезает с печи, и глядь — несут... Несут тонконогого теленочка. Наутро мать уже гремит махотками. Мы, ребятня, то и дело заглядываем в чулан, но мать, хоть и добрая, повеселевшая с виду, шикает на нас: «Обождите, шкеты! Рано еще». Однако терпения у нее хватает ненадолго. На другой или на третий день, еще не отошло молозиво, мать ставит махотку на стол. Дед наливает в глиняную миску щи — прозрачные, с желтой капустой (дед шутил: «Москва видна!»). Употреблять в еду молоко с молозивом — грех, но мать, перекрестившись, плескает из кринки: щи сначала мутнеют, потом бе-

леют,— и все мы, не дождидаясь команды деда, дружно начинаем работать ложками.

Я и теперь ел с аппетитом, захватывая со дна миски мелко нарезанные листья щавеля. Распаренный, пропитанный молоком щавель жевать не надо, только знай себе уплетай ложку за ложкой.

Паня сидела напротив, у оконца; ела сдержанно, не спеша.

Хозяйка глядела на нас, переводя взгляд то на меня, то на Паню. Лицо у Дарьи было грустное, пожалуй, даже скорбное: точь-в-точь как у матери, когда она, провожая меня куда-нибудь в дорогу, поджидала, пока я поем.

— Ох, жалко мне всех вас! — вздохнула она.— Нецем вам будет вспомнить свою молодость!

— Вспомнить-то будет что,— возразил я.— Война на всю жизнь зарубку оставит.

— Эт-то правда ваша! — согласилась хозяйка.— Жили и не думали о такой беде. А она нагрянула. Кто как, а мне обиднее всего, что я по своей воле страдаю. Дура! Петра, муженька своего, не послушалась. Он сразу, как нацалась война, гнал меня: уезжай, мол, с ребятами за Волхов. У него там брат с семьей живет на хуторе под Крестами. А я-то ему: «Да ну, зацем? Разве немцев к нам допустят? Поцитай, Ленинград рядом...» А оно вон как вышло. Весь август где-то в стороне громыхало. Громыхает и громыхает — мы уж к этому привыкли. Петя мой — директор торфопредприятия, день и ноць в карьерах да на брикетной машине: в августе самая сушка идет. А тут как-то под вецер бежит машинист, по узкоколейке торф вывозил к Зеленщине. Кричит: «Где Петр Васильич?! На Волхове — немцы!..»

Дарья сидела напротив, положив на стол свои сильные руки, и, время от времени вглядываясь то в мое, то в Панино лицо, рассказывала. Говорила она на местном цокающем наречии, к которому все мы уже успели привыкнуть за зиму. Но выговор у нее был мягче, интеллигентнее, чем у других криушан: чувствовалось, что она не деревенская жительница. Дарья рассказывала о том, как они жили перед войной в поселке Торфяное. Я слыхал о нем — там начиналась узкоколейка, по которой шло снабжение нашей группы.

— В первую же ночь, как только узнали мы, что немцы форсировали Волхов, Петя мой взял с собой человек пят-

надцать рабочих — кто по броне оставался, как и он, а кто так, по старости от мобилизации отстранен был, и ушел. Толком проститься не успевши. Ушел и ушел. Думала — они к своим пробираться будут. Наутро явились мотоциклисты. Осенью, как только объявились, немцы ницаго, не зверствовали. Прикатят, пошныряют по пустым баракам, и след их простыл. Рабочие на торфопредприятии были сезонные. Мужиков, понятно, в армию подобрали, а девушки по деревням разбежались. В поселке взять нечего, так они, немцы-то, больше по деревням околачивались. Ходят от избы к избе: «Яйки е?», «Млеко е?» Зима ранняя — в октябре уже снег лег. И как только лег снег, так наши стали на хвост ему наступать, немцу-то. Только и слышишь, шепчутся бабы: «В Рогавке партизаны эшелон взорвали», «В Заклятой роще колонну машин сожгли». Ну, немцы и взъелись. Заявляются как-то ночью трое: двое эсэсовцев и наш, переводчик. Я-то этого, третьего, не знала, но слыхала о нем от девушек-сезонниц. Дежурным по станции работал, в Рогавке. Прозвище ему было Лысый. Как он с немцами снюхался, вражина, не знаю. Один немец, долговязый такой, говорит, а он переводит: «Где муж?» — «Где?!» — говорю.— В солдатах, где все». Долговязый кричит: «Ду люгст!»* — да со всего маху по лицу мне... Ребята заплакали. У меня изо рта кровь. Немец кричит что-то, Лысый переводит: «Ваш муж Беспалов — партизанский командир». Хоть и звенит в ушах, а дошло до меня. У Пети двух пальцев на правой руке не было — отдавило транспортером. Давно, когда он еще студентом на практике был. Но прозвища такого — Беспалый — за ним не водилось: уважали его рабочие, не дразнили. Осмелела я малость и говорю: «У нас своя фамилия есть! Мы не Беспаловы, а Колобовы. Любого рабочего спросите».

— Колобовы?! — удивленно воскликнул я.

— Да. А что? — Дарья вздрогнула и пристально поглядела на меня.

— Под Крестами был хутор такой — Колобовы. Мы стояли там одно время.

— Почему «был»?

Я смешался: что ни слово, то не к месту.

— Может, и не так назывался хутор, не помню. Три или четыре сожженных избы, банька, мосток через речку...

* Врешь! (*нем.*).

— Сожгли, значит...— Дарья скорбно покачала головой.— За год до войны мы были там с Петром. Такое хорошее лето стояло! Купались, косили сено, ходили «на круг» в Горушку. Я часто вспоминаю тот хуторок. Всегда, когда тяжело. И тогда, когда ударил меня немец, я подумала: напрасно я Петю не послушалась. Сидела бы теперь на хуторе и не знала б, что есть на свете такая сволочь, как Лысый. Стою, слюни с кровью глотаю, гляжу на него. Жил рядом, ел наш хлеб, к Петру за брикетами приезжал. Тьфу! «Гыр-гыр...» — немцы меж собой. А Лысый взгляд свой отводит от меня, говорит: «Беспалов,— говорит,— был еще директор школы в Полисти. Может, он?» Посовещались и ушли. Чуть свет я подхватила ребят — и к отцу. Старики в Криуше жили. У них загодя был подготовлен лагерь в лесу — тут они меня и укрыли.— Дарья вздохнула и добавила тихо: — Говорят, вы собираетесь уходить? Тогда и я с вами. Теперь немцы хорошо знают, кто такой Петр Беспалов...

Дарья снова посмотрела на меня — грустно и выжидательно. Она, видимо, надеялась, что я как-то поддержу, укреплю ее в этой решимости. А может, я не так понял ее взгляд — просто она делилась своими сомнениями.

Я опорожнил миску, старательно выловив весь щавель; сказал «спасибо» и поднялся.

— Оставаться вам, конечно, нельзя,— добавил я.— Но и выходить с нами рискованно. Мы ведь будем пробиваться с боем.

— А-а! — отмахнулась Дарья.— И в бою небось не все гибнут.

— Это верно.

Паня тоже поднялась из-за стола, сказала хозяйке, что вечером непременно забежит, и мы распрощались.

7

Когда мы вышли из землянки, Паня нетерпеливо прижалась ко мне. В ее движении было столько тоски, столько ласки, что я не сдержался и обнял ее — тут же, на глазах старика, поджидавшего нас на скамеечке возле землянки. Мы постояли так, обнявшись, минуту-другую, пока не скрипнула дверь, закрывшаяся за стари-

ком. Ему, видно, не терпелось узнать, что сказала «врачиха» о болезни внучки.

Наконец мы оторвались друг от друга, пошли по тропинке, петлявшей по дну оврага, и Паня сказала:

— Ты знаешь, мы пробиваемся!

Я остановился и пристально поглядел на нее.

— Откуда знаешь? Проваторов сказал?!

У меня и в мыслях не было обидеть ее. Просто фамилия эта сорвалась помимо воли. С самой первой нашей встречи в вагоне, когда Паня рассказала мне, что она нравилась начальнику штаба и он ухаживал за ней, мне неприятно это имя. По-моему, Проваторов догадывается, что мне не доставляет радости общение с ним, и нарочно досаждает мне всякими пустяками. Особенно в последнее время, после того как я принял батарею. Он звонит мне ночь-заполночь, выговаривает за мелкие упущения в «строевке», будто в нашем положении они хоть что-нибудь значат. И сегодня то и дело вызывал меня к телефону, одолел всякими напоминаниями. Потому-то и сорвалось его имя...

У меня и в мыслях не было обидеть Паню. Но она обиделась, резко сняла с плеча мою руку, и мы некоторое время шли молча, отчужденные и настороженные. Я замечал, что когда мы долго не видимся, то не сразу ладим. В тайниках моей души, как на дне стакана с мутной водой, накапливается осадок прошлых обид и недомолвок, который мешает нашему счастью. Но теперь не было времени для мелочных раздоров, и я поспешил исправить свою ошибку.

— Прости, Паня,— я снова положил руку на ее плечо.

— Глупый...— она ласково посмотрела на меня и руки моей не убрала.— Я его месяца два не видела.

— Тогда откуда же ты узнала?

— Узнала. Есть приказ — подготовиться к эвакуации.

— То-то нам приказано пополнить боекомплект,— вырвалось у меня.— Значит, будем пробиваться!

— Уж скорее бы. Так надоела эта неопределенность. На батарее я не чувствовал ни страха, ни тоски. Ты был рядом — и я была спокойна. А тут я места себе не нахожу. Каждое утро просыпаешься с одним и тем же: чего-то ждешь, на что-то надеешься. Но ничего не случается, разве что приходит еще один, а то и сразу несколько раненых, и все мы смотрим на них и думаем: миленькие, что с вами делать? куда вас девать?..

— Давай посидим,— предложил я.

— Хорошо. Только недолго, а то меня девчата заждутся.

— Подождут!

Я взял ее за руку и увлек за собой — с тропинки, петлявшей по дну лога, в лес. Она послушно пошла за мной. Склон оврага в этом месте был не так уж крут, лес по всему косогору густой. Корявые стволы елей стояли черным частоколом. Меж деревьями не росло ни травы, ни подлеска, только мягко и упружисто похрустывал под ногами сухой валежник. Однако чернота эта скоро кончилась; кончился и подъем; идти стало легче. На вершине, вдоль всего косогора, светло и торжественно стояли березы. Ветви их свисали до самой земли. Молодые листья едва заметно шевелились на ветру и отсвечивали на солнце, поэтому порой казались не зелеными, а белыми, как серебро. Средь густой листвы совсем не видно было стволов, и чудилось, что это не березы стоят вдоль косогора, а стога.

Облюбовав одну из берез, я пробрался сквозь густые пахучие ветви и сел на землю. В тени под деревом желтели первоцветы и пахло так же, как пахнет в наших Дубках — крохотном лесочке, что в двух верстах от моей родной Орловки.

— Сниму-ка халат,— сказала Паня. Она сняла халат, сложила его и, постлав на траву, села рядом.— О, гляди, сколько барашков!

— Как, как ты их называешь?

— Барашки.

— А у нас их зовут козеликами.

Я сорвал несколько желтых цветочков и подал их Пане. Она протянула руки. Воспользовавшись этим, я привлек ее к себе. Она не противилась — только, падая, обхватила меня за шею...

И было все, как первой ночью.

Потом мы лежали рядом и молча глядели на небо. Лакированные березовые листья слепили глаза.

— А в Германии растут барашки? — вдруг спросила Паня.

— Не знаю. Не был.

Я поднялся: у меня теперь кружится голова, когда долго гляжу на небо, на движущиеся облака. Догадываюсь,

что это от слабости. Однако Пане я ничего не говорю — просто поднимаюсь и сажусь рядом с ней.

Паня лежит на спине. Одной рукой она закрыла глаза, а другая откинута в сторону. «Как все это нескладно — любить в такое время»,— думаю я. Нескладно?! А может, наоборот, хорошо? Казалось бы, в этом страшном мире войны не может быть никакой любви. А мы все-таки любим! Любим!

Я гляжу на ее милое лицо. Оно осунулось, похудело, резко обозначились скулы, которых раньше я не замечал. Поблекшие губы чуть-чуть приоткрыты. Так бы и целовал их! Я нагибаюсь и глажу ладонью ее виски и щеки.

— Помнишь Оскуй? — вдруг говорит Паня. Она отстраняет мою руку и открывает глаза. Видимо догадавшись, о чем я думаю, глядя на нее, она тоже поднимается с земли.— Счастливое время было...

— Да! — соглашаюсь я. Мне в самом деле часто вспоминается это село, где наш полк отдыхал две недели перед выходом на Волхов.

— Помнишь, какие там колодцы?

— Проруби на реке.

— И лесенки к ним.

— Да, и я все таскал воду в баню. Лишь бы ты хвалила...

— И я хвалила! Ты был тогда хороший.

— И ты — тоже.

Я привлек Паню и положил ее голову на свои колени. Она снова закрыла глаза. Веки ее едва заметно подрагивали. Я вздохнул, вспоминая... Да, мы были тогда счастливы. Мы почти не расставались. Даже по вечерам, когда Паня должна была находиться возле санитарных камер, мы были вместе. Каждый день, если я не дежурил по батарее, мы ходили в лес. Лес был совсем рядом, стоило только выйти на зады изб. Но все ближайшие к селу березовые перелески забили обозы нашей дивизии, уединиться тут было негде. Мы любили бродить по замерзшей реке. Берег реки крутой; возле каждой избы к прорубям, из которых местные жители берут воду, поделаны лесенки. По одной из таких лесенок мы спускаемся, бывало, на заснеженный лед реки. В селе весь лед исполосован тропками, но едва на берегу кончаются дома — ледяной покров серебрится, слепит глаза. Местами возле берега чернеют полыньи: река стала при боль-

шой воде; теперь, зимой, вода спала, и у берегов лед осел. В общем-то щели эти не опасны, но мы все же обходим их стороной. Выше села лес вплотную подступает к берегу; кусты черемухи нависают над рекой. На ветвях — шапки снега и инея. Тихо-тихо, только в стороне Волхова глухо бухают орудия: в полутора десятках километров — фронт; кто-то вот в это самое время вылезает из окопчика на бруствер... Каждый из нас думал тогда о том, что нас ожидало, но мы старались не говорить об этом. Разговаривали о всяких пустяках, которые были для нас теперь так дороги. Паня рассказывала о своем детстве, вспоминала, как они всей семьей ездили сюда, под Оскуй, за грибами.

«Места тут глухие, заповедные,— рассказывала она.— Однажды вышли на опушку, глядим — лосенок лежит в траве. Увидел нас — вскинул голову, но не вскочил, не убежал. Подошли поближе, видим: задняя нога в капкане. Ну, отец освободил его, разорвал мешочек, в котором мы захватили из дому обед, перевязал лосенку ногу. Пока мы возились с ним, из чащи вышла лосиха. Не подошла, издали все время глядела на нас. Эх, какого они стрекача дали, как только папа отпустил лосенка! Только валежник затрещал под копытами».

— Я часто жалею, что э т о у нас с тобой не случилось в Оскуе...— Паня приоткрывает глаза и глядит на меня.— Были мы тогда сытые, чистые. Сколько счастливых минут мы украли у себя!..

Я молчу. Да, может, украли, а может, и нет. Разве теперь мы не счастливы?! Мы сидим в тени берез; пригревает солнце, и ничто как будто не напоминает о войне. Лишь где-то в стороне однообразно стрекочет «рама».

— Когда будем прорываться, я пойду с вами, с батареей,— говорит Паня.— Михалыч не возражает.

— Конечно! Разве нам можно разлучаться?!

— Так хочется жить! — вырывается у нее.— Не могу представить, как это вдруг меня не станет. Все останется на земле: и вот эта трава, и березы, и небо. Все-все! А меня не будет... Я все чаще думаю об этом. Это, наверное, плохо. Да?

— Нет, я тоже часто думаю об этом.

— Правда?

— Правда. И еще о том, что ты у меня — молодец.

— Раньше я как-то не думала о смерти,— продолжала Паня задумчиво.— Под Зеленщиной, помнишь, когда из-за насыпи появились танки... Я как раз перевязывала раненых. Затащила их в ровик, а сама сняла с плеча карабин и побежала навстречу танкам. Как будто их можно было остановить карабином. И нисколечко не думала о смерти! А теперь вот почему-то часто думаю. Наверно, предчувствие какое-нибудь. Ты веришь в предчувствия?

Я пожал плечами, не зная, что сказать. В душе я тоже верил в предчувствия, но признаваться в этом Пане не хотел и, чтобы развеять ее невеселые мысли, сказал как можно бодрее, чтобы она не думала об этом.

— Хорошо, не буду думать! — поспешно согласилась она.— Ты зайдешь еще к Зотову?

— Да, я обещал.

— Вот Зотов выживет! — Паня приподнялась с колен, села.— Выживет, несмотря ни на что! Он какой-то одержимый стал. Его мучает мысль, что он не убил ни одного немца. Говорит, выздоровею, пойду политруком в стрелковую роту, отплачу им, гадам!

— Мы его возьмем с собой, когда пойдем на прорыв,— сказал я.— Вынесем.

— И меня, если ранят?

— Паня! — Я вздрогнул даже, настолько меня поразил ее голос.

— Ты прости меня...— Губы у нее дрогнули, на глаза навернулись слезы.— Плохая я стала, слабая.— Она была такой беззащитной и с такой тоской глядела на меня, что я не смог удержаться и поцеловал ее в глаза, наполненные слезами.— Я только с тобой сильная. А без тебя я всего боюсь.

«Как она похудела, как изменилась!» — думал я, глядя на осунувшееся лицо Пани.

— Ты чего на меня так смотришь?! Изменилась? Похудела? Да? — она усмехнулась какой-то тайной своей мысли.

— Похудела.

— Вась, признайся: ты нарочно спровадил меня из батареи?

— Да!

— Зачем?

— Я боялся... боялся твоей решительности.

— А-а!..— Паня снова улыбнулась краешком губ.— Может, ты и прав — я ужасно хочу ребенка...

— Паня!

— Твоего ребенка. Потому что я люблю тебя...

8

Батарейцы поджидали меня на околице Крнуши. На опушке леса, там, где кончалась поскотина, стояли орудийные передки; рядом паслись лошади. Побросав ношу на землю, невдалеке от повозок сидели бойцы и командиры. Лишь один Пеканов бродил по опушке: видимо, собирал прошлогоднюю клюкву.

Судя по всему, батарейцы поджидали меня давно. Едва я подошел к ним, Тябликов дал команду двигаться. Ездовые побежали впрягать передки; ребята хоть и без особой охоты, но довольно дружно стали подыматься со снарядных ящиков, на которых сидели. Встав, каждый молча взваливал на плечи свою ношу и выходил на дорогу. На траве осталось два ящика. Я понял, что это — моя доля. Ящики были прилажены на лямках из сыромятного ремня: один — на грудь, другой — за спину.

Я рывком вскинул ношу на плечи, и она показалась мне поначалу очень легкой — от удобства ремней, облегавших плечи. Я понял, что батарейцы, жалея своего комбата, подсунули мне неполные ящики.

— Удобно. Молодец,— похвалил я Ахмеда.

Абдуллин застеснялся.

— У вас только четыре снаряда,— сказал он.

— Ну, как там наш политрук? — Тябликов поправил пилотку, которая сбилась, когда прилаживал лямки, и, приноравливаясь к моему шагу, пошел рядом.

— Ничего, поправляется. Просил передавать всем приветы.

— Нога у него все в гипсе?

— В гипсе.

— В гипсе — это хорошо! — шутливо подхватил старшина и подмигнул ребятам.— В гипсе не сгниет, сохраннее будет.

Батарейцы рассмеялись. Я тоже не удержал улыбку, втайне завидуя неунывающей натуре старшины. Не улыбнулся лишь один Пеканов: морщась, он продолжал жевать кислую, с запахом гнилого сена, ягоду.

— Нашел над чем шутить! — проворчал он.— У человека беда, а ты знай свое, зубоскалишь.

— Я? Зубоскалю?! — деланно удивился Тябликов.— Да у меня и зубов-то не осталось!

— Золотых полон рот.

— Золотые — не в счет. Может, я их нарочно вставил, раз уж все равно рот от смеха не закрывается?

Ребята снова засмеялись.

Тем временем мы вышли на дорогу. Впереди по лежневке тарахтели орудийные передки. Колеса подпрыгивали на бревнах, и казалось, что это стучит крупнокалиберный немецкий пулемет. Чтобы разговаривать при таком треске, надо было все время напрягаться, кричать. Даже Тябликов и тот замолк.

Солнце уже пригревало по-летнему. Всю правую сторону просеки высветлило; густая тень лежала лишь узкой полосой вдоль левой обочины. Обломки разбитой лежневки плавали в лужах или торчмя торчали из земли. Идти было трудно: все время приходилось думать, как бы не угодить в воду.

Мне хотелось побыть одному, я свернул на обочину лежневки и пошагал бровкой кювета. Кюветы полны водой; грязь на обочине непролазная, но идти тут было легче, чем на лежневке: грязь не липла к сапогам. Красноватая болотная жижа месилась и месилась под ногами, и казалось, что не идешь, а топчешься на месте. Но от этого топтания почему-то пересыхало горло и потела спина. Я то и дело вскидывал ящики, чтобы хоть на миг почувствовать облегчение. Через минуту-другую боль от лямок становилась еще острее; они резали плечи, сжимали грудь. Ничего себе четыре снаряда! — вспомнились мне слова Ахмеда. Но я был счастлив, неся ношу наравне со всеми.

«Я люблю тебя...» «Я люблю тебя...» Это Панино признание так и стучало у меня в висках.

«Люб-лю!..» — Сам того не сознавая, я повторял это слово в такт шагам. Споткнувшись, останавливаюсь и отвожу руками шершавые доски ящика, сдавливающие грудь. Лишь бы выйти живыми из этого чертова мешка, думаю я. А там, там все у нас будет как надо...

Эта мысль на какое-то время успокаивает меня. Я оглядываюсь и вижу, что по обочине, следом за мной, идут почти все батарейцы: и Ахмед, и Тябликов, и Шарипов.

— Как там Паня поживает, товарищ комбат? — спрашивает Тябликов.

— Да так. Ничего,— неохотно отвечаю я, давая понять, что не желаю поддерживать этот разговор.

Дорога сворачивает влево и, исчезая меж редких сосен, растущих по косогору, спускается в низину. Низина эта — пойма Криушанки, речушки, которая петляет вдоль всего нашего расположения. Идти под гору легче, и какое-то время мы шагаем молча, размашисто, только и слышится чавканье ног по липкой грязи. Стволы сосен, растущие вдоль пологого склона, бронзовеют на солнце; весь косогор, испятнанный их тенями, тоже залит солнцем; молодая трава, кажется, светится изнутри.

Но вот спуск кончился. В низине завиднелось болотце, поросшее ольшаником. Неожиданно тарахтение орудийных передков смолкло, и в наступившей тишине послышался голос ездового, звавшего комбата. Прибавив шагу, я обогнал ребят и вышел на опушку, к болотцу.

— Что случилось? — спросил я у ездовых, которые, скучившись, стояли возле головной упряжки и размахивали руками, указывая вперед.

— А вон, гляньте, товарищ комбат! — сказал командир второго орудия Санкин.

— Эхма! — вырвалось у меня.

Лежневка, проложенная через низину, всплыла; березовые кругляки, схваченные хлыстами, поблескивали на воде. Течением их оттеснило вниз, прибило к кустам — поэтому протока казалась особенно широкой. Утром, когда мы шли сюда, речушка была в берегах. Без особых хлопот, по мостку, сделанному саперами еще зимой, мы перешли Криушанку. Никто даже не обратил внимания на ручеек, вьющийся по болоту. Теперь здесь, залив всю низину, бушевал поток. Видимо, где-то в оврагах и лесных чащобах еще лежал снег. К полудню потеплело, вот она и поднаперла, забурлила — мутная талая вода. На месте мостка виднелись лишь перильца да прибитые к ним жердины с метелками из еловых веток.

— Мы-то кое-как переберемся.— Ездовой Кувшинов нахлобучил треух и почесал затылок. Он был почему-то в шапке, хотя все мы еще перед Первомайскими праздниками сменили зимнюю форму на новую, летнюю.— А ребятам придется купаться.

— Надо поискать брод,— сказал я.

Тем временем стали подходить батарейцы. Они молча снимали с плеч снарядные ящики и тут же валились на землю.

— Тю-тю! — Тябликов свистнул сквозь свои золотые зубы.— Значит, открываем купальный сезон!

— Ездовые брод ищут,— сказал я без особой надежды.

— Надо сколотить плот из лежневки,— предложил мудрый Ахмед.

Но никто из ребят не поддержал его. Все молча глядели на поток. К бревнам лежневки потоком прибило клочья сена, ошметья грязи, хворост — и все это шевелилось от мелкой ряби. Казалось, будто кто-то перебирал весь этот мусор невидимыми руками.

— Закурить, что ли, пока махра еще сухая! — Тябликов достал из кармана кисет, мятую четвертушку газеты «Натиск» и стал мастерить самокрутку.

— А-а, сейчас узнаем, кто чем богат! — пошутил Шарипов.

Все начали проверять свои карманы, кто вынимал коробок спичек, кто мыльца кусок, но махорка оказалась лишь у старшины и Ахмеда. Кисеты их тут же пошли по рукам. Ребята оживились: давно не курили настоящей махры, все мох да вата.

— Ох, хитер старшина — зажилил!

— От праздничного паечка осталось,— с обычной своей ухмылочкой объяснил Тябликов.

Не утерпел и я — свернул самокрутку.

Присев на снарядные ящики, закурили. Но отдыхать пришлось недолго: вернулись ездовые. По одному виду их ясно — брода вблизи нет.

— Полно воды, товарищ комбат! — докладывает Кувшинов.— Тут хоть бревна под ногами. А там — ног из болота не вытянешь.

— Может, подождем, к вечеру вода уберется,— робко предлагает Шкарбанов.

— Приказ: к двенадцати доложить,— напоминаю я.

— Надо проверить сначала — глубоко ли? — говорит осторожный во всем Ахмед.

Однако никто не отзывается на его слова. Все молча продолжают курить. Последние затяжки, как всегда, кажутся особенно дорогими.

— Разуться, может? — подает голос Шарипов.— Сапоги хоть сухие будут.

— Нэ! — возражает Абдуллин.— Босыми ногами с бревен скатишься.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — Тябликов заминает самокрутку о носок сапога, но вставать не спешит.

Я понимаю, что кто-то должен решиться войти в воду первым.

— Трогай! — командую я ездовым, поднимаясь.

Я затягиваю потуже портупею, вскидываю на плечи ящики, расправляю сыромятные ремни, чтобы они не сдавливали грудь, и — была не была! — шагаю в воду. Два-три шага — и чувствую, как вода затекает за голенища сапог. Сколько раз приходилось месить эти болота, и всякий раз не могу побороть в себе испуга, когда вода льется в сапоги. И на этот раз — шагнув в воду, останавливаюсь — захолонуло сердце. Оборачиваюсь назад: почти все батарейцы уже вскинули ношу на плечи; Шарипов, обгоняя упряжки, идет по воде за мной следом.

— Вот что, ребята! — переведя дыхание, говорю я.— Без этих снарядов нам не пробиться к своим! Ясно?

— Ясно!

Лысенковское «ясно» вырвалось у меня помимо воли, но оказалось кстати. Поеживаясь и поводя плечами, стараясь не потерять равновесия, я побрел по воде. На всякий случай держусь рукой за жердевку. Березовые кругляки, плавающие поверх воды, уводит течением, и мне то и дело приходится ловить их. При каждом шаге из-под ног поднимаются кверху фонтаны мутной воды, булькает и чавкает в сапогах.

— Товарищ комбат, возьмите палку! — крикнул Тябликов.

Но я даже головы не повернул на его окрик, только отмахнулся: обойдусь, мол.

— Но, Чалый! — понукал коренника Кувшинов.

Кувшинов пришел в батарею на Волхове; пожилой, медлительный, он казался мне тугодумом. А тут вот сразу сообразил, что к чему. Гляжу: правит на лежневку.

— Давай-давай! Молодец! — крикнул я, когда Кувшинов обогнал меня.

Поначалу вода не доходила до оси передков, и лошади шли легко. Но с каждым шагом колеса погружались все глубже и глубже. Ездовой привстал и, покрикивая, начал погонять лошадей. Под тяжестью передков лежневка осела. Воспользовавшись этим, я перебрался на ее кругляки. Идти стало удобнее. Колеса зарядных ящиков осаживали лежневку до самой земли — можно было ступать без опаски.

Ноги отяжелели; в сапогах хлюпали мокрые портянки. С каждым шагом вода подступала все выше и выше, по телу поднимался озноб.

«Лишь бы не замочить ящики»,— думал я, поправляя лямки, сдавившие плечи.

Следом за мной шел Тябликов. За старшину у меня не болела душа: он хоть щуплый с виду, но семисильный какой-то. Я беспокоился за Пеканова, который плелся последним. Тот настолько ослаб, что едва переступал; его покачивало, и я боялся, что от напряжения у него закружится голова и он упадет.

— Ой, братва, мотню замочил! — крикнул шутейно Тябликов.

— Обожди, старшина, сейчас и пупок замочишь! — подхватил Санкин, шедший за ним следом.

Батарейцы старались не отставать от меня. Я и раньше не раз замечал, что в случае опасности все норовят быть поближе к командиру. Вот, скажем, на марше — над колонной неожиданно появляется звено «мессеров». Мигом пушки с дороги, в лес; сам забьешься куда-нибудь под куст и лежишь. Самолеты разворачиваются, начинают обстреливать колонну. После первого же захода приподнимаешь голову — рядом с тобой, уткнувшись в землю, лежат ребята — весь взвод тут! Первое время я кричал: «Рассредоточиться!» Все начинали расползаться в разные стороны, но через минуту оглянусь: опять жмутся ко мне. Потом уж я перестал кричать — бесполезно...

И на этот раз все шли кучно.

Вода заглушала перестук колес, скрадывала их тарахтение. Слышно было лишь фырканье лошадей да ровный шум воды. Передки утопляли лежневку; хворост и клочья сена, скопившиеся на обочине, подхватывало течение и несло нам в ноги. То и дело приходилось останавливаться, чтобы переждать, пока вода подхватит и унесет

мусор. Стоять хуже, чем идти; движение скрадывало озноб.

— Значит, пробиваться будем, товарищ комбат? — Санкин выжидательно поглядел на меня.— Давно пора, а то сгинем в этих болотах.

Сержант Санкин пришел в батарею с пополнением, которое мы получили в Оскуе. Я знал, что, когда началась война, он служил на западной границе, участвовал в первых боях. Санкин тихоня, но возле пушки расторопен и сообразителен.

— Есть такое предположение...— сказал я, наблюдая за тем, как медленно проплывали мимо коричневые ошметья навоза.

— Это ничего! — подхватил сержант, как только мы снова двинулись за повозками.— Пробиваться всей дивизией не так страшно. Не то что мы выходили из-под Барановичей. Разбежались все по лесу: ни командиров, ни штаба... День иду, другой — ни души. Вдруг тень мелькнула. Я за дерево — притаился, наблюдаю. Все немцы мерещатся. Гляжу, и тот тоже боится выйти из-за дерева, выжидает. Я, значит, за ним слежу, а он — за мной. Да так целый час. Потом вдруг мелькнула пилотка. Наш брат — окруженец. «Эй, друг! — кричу ему.— Какой дивизии?» — «А ты?!» Винтовка наготове, выходит из укрытия. Значит, пошли вместе. Вдвоем веселее. К вечеру еще одного, сапера, подцепили. Потом, на третий день, повстречали лейтенанта. У него автомат, бинокль, компас. Через два дня нас было уже целое отделение. И разведку стали вести, и в караул днем есть кого выставить. Двигались только ночью — болотами, лесом. Деревни обходили стороной. Днем в чащу забьемся, отдыхаем.

— Там плотность войск была совсем не та,— заметил Ахмед.

— Зато и расстояние! — подхватил Санкин.— Вышли мы к своим под Могилевом. Ну, как положено: допросили, обмыли — опять в полк. Сидим в окопах, а немцы — атака за атакой. Глядь, затихло. Слышим, командиры меж собой: окруженье, окруженье. Да, так вот и получилось: из одного котла — в другой. Помню, в те дни только одна мысль все время и была в голове: как бы соединиться со своими.

— Значит, и из-под Могилева выбирался? — спро-

сил я. В Могилеве я был на практике, хорошо знал город, и мне, помнится, стало как-то особенно тревожно, когда наши сдали его.

— Выбирался...— продолжал сержант.— Одно время сколотили мы большую группу — человек четыреста. Бои с немцами вели, обстреливали их колонны на шоссе. Прорвались к Смоленску, а город уже оккупирован. Что делать? Одни говорят, надо пробиваться на север, другие уверяют, что на Брянск идти лучше — леса, мол, и немцев там меньше. Спорили до хрипоты. Ну, я пошел с группой на Брянск. День идем, другой... Только гляжу я — стал наш отряд таять. Правда, немцев тут было меньше. Попадались деревеньки, где и вообще их не было. Даже разведчики ихние не заглядывали! Остановимся на ночлег — вшивые, голодные, как вот теперь,— местное население с жалостью к нам: молока, картошки дадут, на печку обогреться положат. Утром, чуть свет, идти пора, глядь, один мнется, другой: «Может, отдохнем малость?» Кто-то с молодкой переспал, расставаться не хочется, кто-то самогонки хлебнул лишку — идти не может. Был у меня дружок, минометчик Тимофей Кравченко. Отступали вместе от самого Могилева. Тимоха да Тимоха... Карабин я его нес, когда он совсем ослаб, последний кусок хлеба делили. Идти, значит, а он: «Да у меня нога болит. Ты иди, я отдохну...» А сам глаза в сторону отводит. Шут с тобой, думаю, оставайся! Небось махнешь в свою Полтаву. Пошел я — и выбрался к нашим! Два автомата с собой принес, свой и немецкий: кокнул в дороге мотоциклиста... Да-а, автоматы на сборном пункте забрали, дали винтовку взамен — и снова, значит, на передовую. Тут, под Вязьмой, мы, кажется, всей армией попали в окружение. Попали армией, а выбираться приходилось тоже в одиночку.

Санкин качнулся: видимо, в лежневке была дыра, и он угодил в нее ногой. Тябликов вовремя поддержал его, и сержант замочил лишь рукава куртки. Отжав рукава, Санкин поправил на плечах ношу и сказал, как бы так, между прочим:

— Тут я и в плен угодил...

— В плен? — удивился Ахмед.— И не врешь?

— Али по мне незаметно? — продолжал сержант мрачновато.— По-моему, заметно. Поставь тысячу людей — я сразу узнаю, кто в плену был... Да-а! В конце

октября дело было. Снег. Слякоть. В лесу не заночуешь. Человек десять нас. Остановились мы в деревеньке. Хату заняли. Часового выставили. Вдруг среди ночи — хлоп! хлоп! — выстрелы. Выбегаю на крыльцо — часовой наш лежит у порога, а в двух шагах от него — немец с автоматом: «Хальт!» А уж рассвет. Смотрю: машины сереют, справа и слева от избы, меж ракит,— каски черные... Ну, думаю, все, крышка тебе, сержант! Хочу попятиться назад, в сени, а ноги не слушаются, подкосились ноги. Винтовка из рук выпала.

— И ты — рука поднимал, а? — Ахмед остановился даже, настолько это поразило его.

Санкин не ответил, молча шагал за мной след в след. Я уже миновал самое глубокое место — мостик через Криушанку,— и идти стало легче. С каждым шагом все больше и больше обвисала мокрая куртка. Вот показались и галифе; с них струйками стекала вода, они были черные и липкие от грязи. И ничего так не хотелось, как очутиться на сухом месте, вон там, на лужайке, посреди которой одиноко росла корявая сосна. Шаг. Еще шаг. Я все время мысленно считал: сколько еще шагов осталось до этой сосны?

Выбрались из воды повозки, и почти тотчас я почувствовал под ногами сухое место. Обернувшись, посмотрел на ребят. Они все еще бороздили воду. Я хотел окликнуть их, подбодрить шуткой, но сил у меня для шутки не было, не нашлось; я высморкался, снял с плеч ношу и, присев на снарядный ящик, стал стягивать с себя липкий, холодный сапог.

9

Батарейцы видели, что конец их испытанию близок; они шагали молча, торопливо — только и слышалось бульканье воды под ногами. Лежневка мало-помалу всплыла, словно спина огромного чудища. С бревен стекала мутная коричневая жижа.

Мокрые, грязные, бойцы, посмеиваясь над шутками старшины, сворачивали на обочину дороги. Один Пеканов еще тащился поперек булькающего потока. Кряхтя, матерясь, пересмеиваясь, батарейцы сбрасывали на землю ношу. Из-за радостного оживления мы не сразу

услыхали гул немецких самолетов. Я увидел только — вдруг почему-то вскочил с земли Аткай Шарипов. Сапог, который Аткай уже успел снять с ноги, он сунул под мышку и, приседая на одну ногу, побежал в чащу леса.

Аткай что-то крикнул, но я не расслышал и засмеялся даже: так чудно он бежал — вприпрыжку, как подстреленный заяц.

Ахмед Абдуллин — следом за ним, даже ящики успел подхватить. Заметив мое недоумение, Ахмед указал рукой на небо. Я взглянул вверх, на кромку леса, и сквозь редкие просветы ветвей увидел «юнкерсы». Они шли низко, не очень четким строем, словно не летели, а ползли крадучись все той же просекой, прорубленной для лежневки.

— Задвигай передки! — крикнул я и, сунув ноги в мокрые сапоги, метнулся в сторону от лежневки.

Под ближайшей елью я упал и, чувствуя упружистую податливость болотной земли, уткнулся головой в сырой мох. Сколько бы ни слыхал завывание моторов над головой привыкнуть к этому противному гулу нельзя. Посвист винтов заглушал все звуки. От этого пронзительного завывания дрожали земля и деревья. Однако воя бомб не слыхать было, и я, осмелев, приподнял голову. Самолеты летели низко-низко. Их было десятка полтора. То на одной, то на другой машине вспыхивали солнечные блики — от лопастей винтов и ветровых стекол. На разворот не заходят. Значит, у них есть цель поважнее, чем наш обоз.

— На Зеленщину пошла! — слышу я голос Ахмеда: оказывается, он лежит рядом со мной, под той же елью.

Я молчу. Мало-помалу гул стихает. Чертыхнувшись, поднимаюсь с мокрой земли, хватаю ношу, брошенную с краю жердевки, и, не взваливая ящики на плечо, волоком тащу их к опушке леса — туда, где в тени деревьев виднеются повозки.

— Пронюхали, сволочи! — презрительно ругается Санкин.

Он и не думал прятаться — сидит на ящиках и как ни в чем не бывало отжимает портянки. Из-за деревьев и низкорослых кустов ольшаника выходят на дорогу батарейцы — мокрые, грязные, злые. Садятся на сухие хлысты лежневки, стаскивают кирзачи и, вылив из них воду, отжимают портянки.

— Вот гады! — говорит Тябликов, подходя к нам.— Скоро по головам начнут ходить.

— Они знают, что у наших зениток нет снарядов,— поддерживает его Аткай.

— Они все знают! — вздыхает старшина.

— Нет, не все! — возражает Санкин.— Просто они нахальные.— Сержант тискает в ладонях желтую дырявую рядину и говорит тихо, не спеша, будто объясняя самому себе: — Нагляделся я на ихнюю армию. Не так, как все — со стороны, а совсем рядом... Четко работают — ничего не скажешь! Дисциплина. И вот что больше всего мне непонятно: они — на чужой земле, а ведут себя нахально, самоуверенно — вперед и вперед, напролом. Ни окруженье их не смущает, никакой паники у них. А мы, бывало, застрочит где-нибудь автомат, так сразу: «Окружили!» — и врассыпную.

— То-то ты не побежал, а присел в кювет, как курица! — Тябликов скалит свои золотые зубы.

Но никто из ребят не поддерживает старшину. Все мрачно и сосредоточенно крутят свои портянки, отжимают штанины.

— И что ж ты — удрал? — нетерпеливо спрашивает Ахмед.

— Удрал...— Отжав портянки, Санкин сунул их в сапоги и, поднявшись, взял кирзачи в руки.— Пойду босиком. Так-то оно надежнее. А то натрешь ноги — тогда все, крышка! Когда из окруженья выходишь — вся надежда на ноги. Копыта больше всего надо беречь.— Он потопал о землю босыми ногами, словно проверяя их надежность, и продолжал вспоминая: — Согнали нас на свиноферму. Свиней, видно, то ли порезали, то ли вывезти успели. Вот немцы нас и загнали вместо них. Закутки, пол земляной, кормушки, на стенах ошметья отрубей. Часовые — на каждом углу. Братвы нашей много — раненые, больные,— кто стонет, кто отруби со стен соскребает... Гляжу я на эту карусель и думаю: убегу! Лучше пуля в спину, чем это. Два дня так: ни жратвы, ни воды — только пригоняют и пригоняют новеньких. На третий день, ранним утром, команда: «Выходи!» Выстроили нас тут же, возле фермы, пересчитали и повели. Задами-задами выгнали на шоссейку. Впереди — двое на мотоциклетке, сзади — человек пять автоматчиков... Повели... Гляжу: знакомый путь — старая Смоленская дорога. Ко-

лонна растянулась. Упадет раненый — сразу автомат: «дук, дук!» — и только: «Шнель!» — быстрее, значит. Даже оглянуться не позволяют. В полдень сделали привал. Свалились мы, как теперь, на обочину дороги; кто обмотки правит, кто рану перевязывает. Немцы сбились в кучку — курят. Я забился в кювет, привстал на колено, гляжу. Направо, метрах в двухстах, лесок. Налево от шоссе — пашня. Куда метнуться? Рядом, в кювете, молоденький пехотинец; на петлицах — следы от кубарей, успел снять. Вижу: он тоже думает, как бы смыться. «Бежим?» — шепчу ему. «Ага,— говорит.— Ты давай направо, а я — налево. Хоть один да спасется...» Ни вещмешка у меня, ни винтовки — пилотка да кирзачи на ногах. Привстал, изготовился. «Хак!» — выдохнул этак, тут и пехотинец вскочил. Метнулись мы в разные стороны, только подошвы кирзачей — тук, тук, тук... Вынесли, милые!

Санкин опять потопал о землю босыми ногами, взвалил на плечи ношу — и пошел. Зашевелились и остальные: поспешно наматывали портянки, совали ноги в сапоги, тянулись следом за Санкиным.

— Дисциплина у них крепкая! — подхватил Абдуллин.— Да только все равно крышка им будет. Вот если б немец был способен так, как мы... По болоту — голодные, на ногах не стоим, а боеприпасы тащим.

— Они не дураки! — как всегда желчно, перебил Ахмеда Пеканов.— Им ни к чему в болотах купаться. Сидят себе на дорогах, а мы плаваем.

— Да-а, оседлали они нас крепко.— Аткай не договорил: в стороне Зеленщины, там, где был когда-то коридор, соединяющий нашу группировку с армией, послышались глухие удары взрывов — немцы бомбили.

— Как бы на обратном пути они нас не долбанули,— подумал я вслух, прилаживая на спине лямки.

— Вы идите. Я сейчас. Ноги подкашиваются.— Пеканов снова опустился на ящик и прямыми, негнущимися пальцами стал растирать ноги поверх мокрых брюк.

Я стоял рядом с ним, наблюдая, как ездовые вытягивают повозки на лежневку. Когда все было готово, я дал команду трогаться, и Пеканов расслабленно поднялся, вскинул ящики на плечо.

На взгорке, напротив просеки, в которой стояли «катюши», лежневка разбита настолько, что идти по ней невоз-

можно. Повозки кое-как выбрались из месива; батарейцы сворачивают влево, в ельничек, где белеют крытые брезентом машины: «катюши» тоже давно не стреляют из-за отсутствия снарядов. Кочкарник оседает под ногами — в лесу полно воды. Но теперь уже никто не обращает внимания на это; ребята идут молча, только слышится чавканье ног.

— Все... конец... не могу больше...— говорит Пеканов, останавливаясь.— Зачем это все, мы же все равно у них в капкане!

— Давай, Илья! Осталось немного.

— Идите. Я... я...

Вижу: лицо Пеканова вмиг обескровело, на лбу выступила испарина. Не успел я протянуть руку, чтобы поддержать его, как он начал валиться на бок.

— Снаряды! Снаряды держите! — крикнул Тябликов и, подбежав, подхватил ящик со снарядами.

Подоспел Ахмед, вместе с ним мы положили Пеканова на высокий кочкарник, где посуше. Он тут же открыл глаза. Увидев испуг на моем лице, сделал усилие улыбнуться, но улыбка вышла жалкая.

— Голова кругом пошла...— сказал он тихо.— Ничего, сейчас поднимусь.

— Полежи, полежи.— Я кивнул головой Тябликову: останови повозку!

Старшина сразу же понял меня. Он остановил повозку; ребята подхватили Пеканова на руки, устроили его на передок, положили рядом его ношу — и снова тронулись.

Остальную часть пути мы шли молча: каждый экономил силы.

10

Пеканов пришел в себя, сидя на передке, и, когда мы добрались наконец до огневой, он вместе со всеми сортировал снаряды и укрывал их в нишах. Я сказал Тябликову, чтобы он проверил, готов ли обед, и отправился звонить начальнику штаба полка о выполнении задания.

Майор Проваторов выслушал меня молча. Когда я обмолвился, что Криушанка разлилась и ребятам пришлось

идти по пояс в воде, Проваторов сказал: «Хорошо. Отдыхайте!» Он не добавил даже, чтобы я поблагодарил батарейцев, как это принято, о т л и ц а с л у ж б ы; а может, этого и не требовалось — начальнику виднее. Но я, признаться, ожидал благодарности. Поэтому огорчился, и сразу же на меня свалилась усталость. Тело обмякло, ноги сделались непослушными. Я положил трубку аппарата, прикрыл его, как обычно, плитой ротного миномета — это у нас на батарее стало уже своеобразным ритуалом: мы возим с собой эту плиту от разбитого миномета с первого боя под селом Покровским. Превозмогая усталость, я постоял и, чтобы никто не заметил, что я едва держусь на ногах, потихоньку, словно мне некуда спешить, пошагал к себе, в свою землянку.

Первым делом затопил «буржуйку». Зимой я каждый вечер сам колол березовые дрова, которые пилили дежурившие по батарее бойцы, и аккуратно складывал в поленницу за печкой; весной, когда залило водой старые, зимние, блиндажи, я редко топил — в новой землянке и без этого было тепло. Дрова остались, и береста была. Я сунул бересты, два-три поленца, разжег печку. Запахло горьковатым дымком: стены низенькой землянки светились бликами пламени. Путаясь в тесемках, я снял с себя мокрую одежду и развесил ее над печкой. У меня были зимние теплые кальсоны для пересмены; я быстро надел их и забрался на нары. Накрылся байковым одеялом, а ноги протянул поближе к «буржуйке». Ничего не хотелось — ни есть, ни двигаться, хотелось лишь одного: покоя. Все тело ныло, болел каждый сустав, каждый мускул. Одеревенели ноги, горели ладони. Постромки, придуманные Ахмедом, удобны, однако сыромятные ремни, мягкие поначалу, за долгую дорогу так изрезали плечи, что казалось, будто кто-то рубанул по ним саблей. При каждом шаге деревянные ящики смурыгали и били по ребрам — и теперь вовсю ломило спину.

«Буржуйка» быстро нагрелась. В землянке стало тепло. От слабости я впал на какое-то время в забытье. Я слышал, как потрескивали поленья в печи, как кто-то стучал топором возле кухни: видно, ребята решили наколоть дров, чтоб обогреться поскорей. Но все звуки доходили до меня приглушенными, а сам я стал словно бы невесомым совсем и не лежал, а как бы плыл в теплой воде — настолько мне было хорошо. И сквозь это забытье

стучали и стучали в мозгу Панины слова: «Люблю... Люблю...» Казалось, что даже в ссадинах плеч при каждом толчке пульса тоже отдается это слово: «Люблю...» И будто из полузабытья, будто виденный когда-то сон, встало передо мной лицо Пани — осунувшееся, бескровное, как и у всех нас, окруженцев, но такое милое, родное.

Я вспомнил, сколько счастливых минут провели мы вот здесь, в этой землянке...

Паня приходила вечером, когда на передовой успокаивалось. Немцы во всем любят порядок. С наступлением темноты наступало затишье и на передовой. Она приходила, я растапливал печку, ставил на нее чайник... Тогда, в начале весны, мы еще не были так измотаны, как теперь. Коридор, правда, давно уже был закрыт и хлеба нам уже не выдавали, но была надежда на скорое вызволение, а это в нашем положении значило больше, чем хлеб.

Я заваривал чай; мы садились вот к этому столику, что приставлен к глухой стене,— Паня усаживалась спиной к печке, потеплее, а я, набросив на плечи ватник, садился напротив, на нары. Мы пили чай и говорили обо всем: о затишье на фронтах, о том, где начнут немцы новое летнее наступление; рассказывали о своей жизни до того, как мы узнали друг друга. Тогда в наших беседах еще не было той грусти, какой была проникнута сегодняшняя встреча.

— Закрой глаза! — говорил я Пане, едва она присаживалась к столу.— У меня есть для тебя подарок.

Паня отставляла кружку с горячим чаем и закрывала ладонями глаза. Я не спешил с подарком — любовался ее руками. Они у нее маленькие и очень какие-то выразительные, правда, грубые, как у любого солдата, а может, даже грубее, чем у всех нас: Паня не только перевязывает раненых, но и обстирывает всю батарею. В настоящей бане мы не были с самого Оскуя. Но Паня приспособила землянку — греет воду и, пока ребята моются, прожаривает их белье в жестяном коробе. Может быть, поэтому мы не покрылись коростой и не завшивели окончательно.

— Ну? — говорит она нетерпеливо, наблюдая за мной из-за приставленных к глазам ладоней.

Я достаю из нагрудного кармана гимнастерки, где хранится самое дорогое: фотография матери, кандидатская

карточка,— достаю кусочек рафинада и говорю: «Можно!» И когда Паня отстраняет ладони от глаз, преподношу ей кусочек сахара.

— Спасибо! — восторженно говорит она и, откусив чуть-чуть, отпивает из кружки два-три глотка чаю, а потом протягивает сахар мне — чтобы и я откусил.

Я отгрызаю крупицу и тут же возвращаю сахар ей; она откусывает еще меньше, чем я, чтобы мне опять досталось. И так — до тех пор, пока от кусочка не остается несколько серебристых кристалликов. Тогда я сыплю эти кристаллики на Панины ладони, и ей уже нечем угощать меня, но она все равно протягивает руки и говорит:

— На!

Я молча беру ее ладони и целую их.

— Вкусный был сахар,— говорит она.— Где ты достал?

— У знакомого старшины со склада,— вру я.

К каждому ее приходу у меня обязательно был приготовлен какой-нибудь подарок: то сухарь, то долька «шахматного» печенья, а однажды я угостил ее настоящей шоколадной конфетой фабрики Бабаева в фольговой обертке. И всякий раз, когда Паня спрашивала меня, где я достал лакомство, я прибегал к разным уловкам. Я называл все новых и новых друзей и знакомых — от старшины продсклада до майора интендантской службы. Не знаю, верила ли Паня этим сказкам. Скорее всего — нет.

А доставал мне все это Тябликов. У нашего старшины полно друзей, и не только в полку, но и во всей дивизии. И вот что любопытно: никто ему в услугах не отказывал. Думаю, что до тех пор, пока командир нашей дивизии генерал Сарычев пьет чай с сахаром и сухарями,— Тябликов может в любой день добыть кусок рафинада и сухарь с генеральского стола. Сам генерал небось и не подозревает, что в его дивизии есть такой батарейный старшина Андрей Тябликов. Но зато нашего старшину — пересмешника и рубаху-парня — хорошо знают те, кто обслуживает генерала: телефонистки, адъютант, повар. Вот, скажем, несут генералу чай. Из хозяйственного отсека блиндажа выходит повар, несет поднос. На нем две тарелки: на одной — стакан чая, на другой — сухари и немного сахара. Он ставит поднос на стол адъютанту, и уж тот направляется с ним к генералу. Не беда, если командиру диви-

зни достанется на один кусок рафинада меньше. Генерал даже не заметит этого. А если чай покажется ему очень сладким, прикажет — еще принесут. Зато адъютант удружит Тябликову, который угощал его в дороге спиртом, да и впредь, живы будем, еще очень может пригодиться.

Причем Тябликов доставал все это бескорыстно. Для себя он не хлопотал бы, а другу всегда готов сделать приятное. Есть же рыбаки, охотники, которые в поисках добычи готовы исколесить всю округу. Так и наш старшина: у него талант такой — добытчика. И вот что любопытно: чем труднее что-либо раздобыть, тем с большим рвением он принимается за дело. Тябликов приносил мне кусок сахара или сухарь, я благодарил его, а он говорил: «Не стоит благодарности, товарищ лейтенант!» — и, козырнув, уходил. Я думаю, он догадывался, для кого все это предназначено. И не только Тябликов — все в батарее знали о нашей с Паней дружбе. Когда она приходила, никто из батарейцев не совался ко мне в землянку, и мы могли быть вместе хоть всю ночь.

Попив чаю, я сжимал Панины ладони и не очень грубо, но все ж таки довольно решительно тянул ее к себе. Она поднималась со скамейки и садилась рядом со мной на нары.

— Паня! — говорил я, не выпуская ее горячих ладоней из своих.

— Ну? Я двадцать лет уже Паня.— Она поворачивалась ко мне. В ее серых глазах мелькали отсветы плошки, горевшей на столе. Она улыбалась краешком губ и глядела на меня не то с чувством превосходства, не то с состраданием...

— Ты любила еще кого-нибудь? — спросил я ее однажды.

— Да! — ответила она, и на щеках ее обозначились ямочки. Но тут же исчезли. Вздохнув, Паня добавила: — Любила свою мечту.

— Почему «мечту»?

— Да так. Любовь — это всегда мечта. А первая любовь — особенно.

— И кто ж он был — эта «мечта»? Не хабаровский?

— Да. Недалеко от нас стоял отряд моряков. И служил там один лейтенант. Глаза синие, черная, с белым га-

луном, форма... Я от него без ума была. За восемь верст на свиданье бегала.

Я был в замешательстве от ее признания. Мне казалось, что Паня должна была дожидаться моей любви.

— Теперь небось тоже воюет,— сказал я, чтобы только она не заметила моего замешательства.

— Нет. Он оказался расторопным. Женился на дочке командира отряда, капитана первого ранга. А у того большие связи, он и устроил моего лейтенантика в штабе округа. Квартира в Хабаровске. Ребенок...

Мне нечего было сказать, и я гладил ее руку.

— Эх, Хабаровск! — невольно вырвалось у меня.— Какое счастливое время было. И надо же, сколько раз я бродил в одиночестве по берегу Амура, и ты не встретилась мне!

— В то время я других не замечала,— призналась Паня.— Приду, бывало, в сквер перед Домом культуры и все высматриваю его. Он в самодеятельном хоре пел — они часто собирались на спевку. Жду час, другой, а его нет и нет. И тащусь обратно...

— Он-то знал?

— Да. Я ему письма даже писала. Теперь самой смешно вспоминать. Я очень привязываюсь к людям. У меня и подруг близких не было. Я схожусь с людьми медленно, но уж если подружилась — на все ради этого человека готова...

И случилось так, что однажды, незадолго до моего выдвижения на батарею, мы не виделись целую неделю. Предполагалось, что перед Майскими праздниками нам обязательно пробьют коридор. Все санинструкторы были вызваны в медсанбат, чтобы подготовить, а если и потребуется — сопровождать раненых. И Паня ушла из батареи. И тогда, за эту неделю, я понял, насколько она мне дорога. Я любил ее. Я очень тосковал без нее.

Был апрель. Вечера были теплые. Я выходил из землянки и подолгу стоял, глядя на восток,— мне казалось, что Паня должна вот-вот прийти.

В овражке, на склонах которого мы оборудовали новые землянки, бушевал поток: даже к ночи полая вода не сбывала. У входа в землянку рос куст черемухи, почки уже набухли, но цветенье еще не началось. Терпкий запах че-

[illegible]овых почек смешивался с запахом нагретой за день хвои и оттаивающей земли. От этого запаха гульче, чем всегда, стучало в висках. На лужайке, вдоль южного склона оврага, освободившегося от снега, зеленела трава; мохнатыми кустами виднелись не почерневшие за зиму клюквенные листочки. На березах, росших вдоль насыпи, гомонили грачи. Допоздна суетятся птицы, ладят себе гнездовья — и не знают, не ведают о том, что тут, вдоль насыпи — война, проходит передний край...

И вот наступил тот вечер.

Уже сгустились сумерки, и вдоль овражка, над темными кустами черемухи, серел туман, когда послышались осторожные шаги Пани. Я узнал бы их из тысячи.

Я несдержанно метнулся ей навстречу.

— Заждался?

— Да!

— Коридор так и не пробили,— зябко поведя плечами, сказала она.— Зато в медсанбате я хоть привела себя в порядок. Устроила себе сегодня головомойку и баню.

— Значит, ты чистая?

— Чиста — и перед собой, и перед богом!

— Тогда иди скорее в тепло,— сказал я, пропуская ее впереди себя в землянку.

И было все, как обычно. Мы пили чай, и я заставил ее закрыть глаза, а потом, когда она их открыла, на ладонях у нее лежал кусочек рафинада, раздобытый где-то Тябликовым. Она откусывала, передавала мне, я — ей, и так до тех пор, пока от куска не остались серебряные крошки. Наконец она показала мне, что ладони пусты. Я взял ее за руки и, подвинувшись, усадил рядом с собой и поцеловал. И когда целовал, что-то необычное почудилось мне в ответном движении ее губ, и я словно лишился рассудка. Я стал целовать ее шею, щеки, губы.

Паня шутливо отбивалась.

— Глупый ты мой, глупышка...— повторяла она сбивчиво.

Трясущимися руками я стал расстегивать пуговицы ее гимнастерки. Она почти не сопротивлялась. Я расстегнул ворот и увидел, что там, под солдатской гимнастеркой, не полотняная рубашка с тесемками на груди, которые все мы носили, а настоящая, женская, шелковая. «Она готовилась к этой нашей встрече»,— тотчас же мелькнуло у меня.

— Паня! — шепотом сказал я и не знал, что говорить дальше.

— Не надо,— так же шепотом отозвалась она. Однако рук моих не отводила.

И тогда я дунул на плошку...

Я все еще лежу на спине. Боль в спине мало-помалу затихает. Перестает ломить и ноги. Закрываю глаза — и передо мной встает лицо Пани. Вижу ее глаза и грустную улыбку. Перевертываюсь на бок и чувствую, будто кто-то подхватывает меня на руки.

11

— У-у, гадина!

— Всадить ему обойму в брюхо — пусть нажрется!

Вздрагиваю и просыпаюсь от шума и выкриков. Приподымаю голову, прислушиваюсь: неужели это мои ребята кричат? Слышу ругань, какую-то возню, топот ног и — не верю себе — удары: «Хак! Хак!..» И тут же, в наступившей тишине, сдавленный плач: так скулит щенок.

«Хлеба ему, б..., захотелось!» — и снова: «Хак! Хак!» Слышу голос Пеканова: «Старшина, зови комбата».

Я вскакиваю с нар, хватаю влажную еще гимнастерку. Руки у меня дрожат, и я никак не могу застегнуть пуговицы. Наконец застегнул, но впопыхах не могу найти портупею. Чертыхнувшись, надеваю сапоги. Они еще не высохли, и, сколько я ни тяну за голенища, дело не идет. Я швыряю их со злостью обратно к печке и поспешно натягиваю носки.

В это время распахивается дверь, и меня ослепляет неестественно ярким солнечным светом.

— Комбат!

Взлохмаченный, в носках, без портупеи, я шагнул к двери. Выйдя из землянки, остановился у порога. Вокруг толпились батарейцы. Увидев меня, все разом смолкли. Молчание длилось недолго, какой-то миг. Но за этот миг я понял одно: случилось что-то страшное. Впереди стоял Пеканов — босой, в мокрых галифе, без гимнастерки. Завязки нательной рубахи болтались, свисая до пояса. Глаза его горели неистовой злобой. Вытянув перед собой

руки, он держал за шкирку Максимова. Маленький, жалкий, Максимов беззвучно плакал, вытирая ладонью слезы. Ворот его гимнастерки был разорван; под глазом багровел огромный синяк. По губам и подбородку текла кровь, все его тело колотила мелкая дрожь.

В стороне от них стоял Тябликов. Он тоже еще не успел переодеться, был во всем мокром, при форме, но без пилотки. Шрам на его лбу побагровел от волнения. В руке Тябликов держал какой-то предмет, похожий на сковороду: круглый, плоский и с такой же сероватой окалиной, которой покрываются новые сковороды. Но только у этой сковороды в двух местах была щербина, будто кто-то грыз ее.

— Вот, полюбуйтесь, товарищ комбат! — Тябликов подал мне эту «сковороду».

Я глянул: лепешка! Лепешка, испеченная из круто замешенного теста,— душистая, теплая. Причем надо отдать должное Максимову, испечена по всем правилам пекарского искусства! Чтобы тесто не подгорело без масла, снизу постлан лист конского щавеля. Мать обычно пекла на капустном листе, а этот вот ухитрился, испек на щавелевом. Лист слегка подгорел, поэтому низ у лепешки, как и положено быть хлебу, испеченному на поду, поджарист, а сверху слегка подрумянен огнем и посыпан мукой — нашей, грубого помола, с костричкой.

«Насобачился, гад!..» У меня в глазах потемнело; хочу что-то сказать и не могу: дыхание перехватило. Вспомнилось все: и эшелон, и как мы заполняли похоронные медальоны, и первый бой за Покровское, и лютая зима под Крестами, и вот этот мешок в Апраксином бору... Почти полгода, голодные, изможденные, мы сдерживаем натиск врага. Мы давно уже позабыли запах хлеба; десять граммов муки на бойца в день — таков наш паек. И вот нашелся гад... Он сыпал щепотку муки в ведерко, заваривал болтушку, а из ворованной муки выпекал хлеб и ел его — один, тайно. Мокрые, голодные, выбиваясь из последних сил, ребята несли снаряды, а он...

— Я заглянул к нему в землянку,— слышу голос Тябликова.— А он хлебает болтушку вприкуску с лепешкой.

— Подонок! — бросил я. Мне казалось, я выкрикнул это так, что отдалось во всем Апраксином бору. Но выкрика не получилось, от первого напряжения меня всего

затрясло.— Как ты мог украсть у своих же товарищей? А ну — повернись к ним лицом! Посмотри им в глаза!

И когда я сказал: «Посмотри!..» — то и сам оглядел столпившихся батарейцев. Я увидел их лица — бескровные, изможденные. Это были самые родные мне на свете лица — я видел их и в бою, и на марше, и во сне,— и теперь эти лица были обращены ко мне: каждый из ребят ожидал моего решения. Я мог сейчас при всех засветить Максимову в ухо и сказать: «Пойдешь заряжающим!» — и на этом все бы кончилось. Я — командир; я мог покрыть его проступок и мог отдать его в руки правосудия. Сейчас шагну к телефону, позвоню уполномоченному оперативного отдела: «Капитана Бордадына мне!.. Товарищ капитан, у нас ЧП...»

Я думал.

Я колебался.

Поняв это, Максимов зашмыгал носом:

— Простите, товарищ комбат... Виноват...

— У них проси прощения! — Я уже успокоился немного; решение созрело во мне.

— Гад, лебезил перед всеми! — Пеканов отпустил Максимова, и тот весь сжался.

— Отвести его, вон, в овраг — да пулю в спину, как перебежчику,— предложил кто-то.

Вслушиваясь в злобные выкрики, я понял, что оставлять Максимова в батарее нельзя,— при первом же случае ребята сведут с ним счеты.

— Пойдешь в штрафную роту! — сказал я.

— Товарищ комбат! У меня ноги больные. Вы же знаете. Это последний раз! Больше я не буду! — взмолился Максимов. Он опять заплакал, размазывая кровь по лицу. Кровоподтек под глазом посинел, вздулся, поэтому лицо его изменилось до неузнаваемости.

— Ахмед! — позвал я Абдуллина.— Помоги старшине оформить документы.

Тябликов и Абдуллин сказали: «Есть!» — и пошли.

— А вы,— обратился я к батарейцам,— успокойтесь, переоденьтесь и начинайте обед.

— Ложкой воду гонять! Да?! — закричал Пеканов.— Он небось муку в болтушку совсем не засыпал.

— А лепешку, Илья,— как бы отвечая на его крик, сказал я Пеканову,— разделите всем поровну.

Максимова отвели в землянку дежурного по батарее. Я распорядился приставить к землянке часового, чтобы избежать самосуда, и лишь спустя четверть часа, когда батарейцы успокоились и сели обедать, пошел к себе. Первым делом надо было обуться и привести вебя в порядок. От сапог, стоявших рядом с «буржуйкой», шел пар. Не дожидаясь, пока они окончательно высохнут, я начал обуваться. Совать ногу в голенища, мокрые изнутри, было неприятно; кожаные головки от жары повело — они порыжели и сморщились, как сушеная груша. Я долго топал ногой и разглаживал голенища в подъеме, пока наконец обулся. Затянув покрепче портупею, надел пилотку и вышел из блиндажа.

Солнце уже перевалило на западную половину неба; теперь та, другая, немецкая, сторона насыпи была залита светом, а наша, восточная, лежала в густой тени. В тени была и дверца моей землянки, в которую утром пробивались яркие лучи. Стволы сосен, светившиеся утром, казались черными, и лишь самые верхушки кострами горели на солнце.

Я постоял, приглядываясь к далям, которые открывались со склона оврага, где мы худо-бедно скоротали всю зиму. «Значит, пробиваемся к своим!» Я глядел на восток... Все последние три месяца, как только стало известно, что коридор, соединяющий нас с армией, закрыт, я смотрел туда, на восток, постоянно — и утром, и днем, и вечером, перед тем, как лечь спать. Эти дальние увалы, открывающиеся с вершины холма, я мог пересчитать с закрытыми глазами. Внизу, по краю оврага, темнели заросли черемухи. За ними вставал частокол зубчатых елей. Еще дальше, за островерхими вершинами еловых перелесков, светились на солнце округлые шапки берез. Всю зиму березовых рощ было не видно — только по утрам, когда вершины деревьев покрывал иней, березы выкатывались вдруг белыми шарами на голубоватое поле сосновых боров, которые высились по всему горизонту. Теперь же молодая листва берез резко выделялась на темном фоне лесов: казалось, что кто-то наметал там, вдалеке, копешки сена.

«Значит, все — скоро сдвинемся!» Мысль о предстоящем прорыве не только во мне, но и в каждом бойце отзывалась радостью. Все понимали: будет бой, будут потери, но все равно это лучше, чем пухнуть здесь, в

болотах, от голода, дичать от бездействия. Ведь только отупением, животным страхом смерти можно объяснить проступок Максимова...

— Комбат! Водица стынет,— окликнули меня от стола.

Я одернул гимнастерку и, стараясь держаться как можно бодрее, пошел вниз, к разлапистой елке, под которой был оборудован обеденный стол. Ребят за столом было еще немного — батарейцы обсушивались, приводили себя в порядок. Санкин разливал по котелкам болтушку. Пеканов, сидя с торца стола, резал на кусочки максимовскую лепешку. Рядом с ним, раздвинув локти, сидел Ахмед — сочинял докладную.

— Товарищ комбат, а на чье имя писать?

Я потер ладонью усталые глаза. А черт его знает, на чье? Начштаба меня недолюбливает, и это ЧП — только повод, чтобы лишний раз позлорадствовать надо мной. К тому же я не был уверен, что Проваторов займется этим делом сам. Он поспешит сбагрить Максимова Бордадыну.

— Пиши на имя командира полка,— сказал я.

— Есть! — Ахмед аккуратен, он всегда отвечает, как положено, и хотя теперь он исполняет обязанности политрука — ничем не подчеркивает новое свое положение.

Я присел к столу, но не спешил взять свой котелок. Приглядывался к ребятам, которые, обжигаясь, молча принимались за еду.

Абдуллин писал; Пеканов, постукивая о стол лезвием ножа, разрезал злополучную лепешку. «Раз — два — три»,— чуть слышно считал он. Пеканов очень старался, чтобы дольки получились равными. Когда прекращалось постукивание ножа, то в тиши слышно было, как скулит в землянке Максимов.

— Плачет, гаврик! — сказал, подходя к столу, Тябликов.

Старшина уже переоделся во все сухое. На нем были изрядно поношенная гимнастерка и галифе, зимние, суконные, и новые кирзовые сапоги. Значит, был в его обозе кое-какой запасец!

— Бить-то не надо было,— заметил я.

— А кто его бил?! — Пеканов перестал стучать ножом.— Я его хотел за шиворот взять, а он, гад, зубами

вцепился в руку, как крыса какая-нибудь. Ну, я с левой и засветил ему, да так, слегка.

Ребята незлобиво посмеялись:

— Ничего себе — «слегка».

— Тяжелая рука у вас.

— Какая есть,— угрюмо ответил Пеканов.

Тябликов присел напротив меня, взял в руки свой котелок и, обхватив его руками, подержал в ладонях, будто старался отогреть их.

— Вы, товарищ комбат, приказали проследить за обедом,— заговорил он.— Ну, я как приказано, с огневой — первым делом на кухню. Гляжу: ведро с болтушкой на столе стоит, а самого сержанта не видно. Я туда, сюда. Заглянул в землянку, а он сидит у печки и хлебает. Увидел меня и — юрк! — спрятал что-то под одеяло. Со свету не разглядел, что у него было в руке. Говорю: «Пробу снимаешь?» Он замялся: «Да я... Я не думал, что вы так скоро вернетесь. Тут я, случаем, мучицы лишней раздобыл на складе». А сам остановиться не может — жует. «Иди,— говорю,— разливай болтушку — все вернулись!» Он мнется, егозит передо мной, но делать нечего: приказ. Подхватил котелок, пошел. Я сунул руку под одеяло — горячее что-то. Гляжу: лепешка! Я за ним следом. Увидел, что хлеб у меня в руках,— побледнел. «Это... это я для вас с комбатом испек». Ну не стерва ли?! Я его со всего маху: раз! «Это,— говорю,— за себя. А это — за комбата!»

— Спасибо!

Мне трудно было удержаться от улыбки, и я улыбнулся, хотя мысли у меня были грустные.

— Видно, не впервой ему! Недаром с каждым днем болтушка все жиже и жиже.— Пеканов закончил резать лепешку и теперь еще раз пересчитывал крохотные кусочки.— Посмотри, комбат, ровно?

— Ровно,— сказал я.

— Разбирай! — скомандовал Пеканов.

Батарейцы потянулись к дальнему углу стола, где на крохотном клочке нашей дивизионки лежали серые прямоугольные кубики хлеба, чем-то очень похожие на просвирки, которые раздавал во время причастия отец Александр — поп нашей орловской церкви. Каждый подходил, молча протягивал руку, брал «просвирку» и спешил к своему котелку.

— Чего напали на человека?! — невесело пошутил Шарипов.— Благодарить его надо: хоть перед смертью понюхаем — каков он, ржаной хлеб.— Аткай сунул кусок в рот, пожевал, блаженно закрыв глаза.— Хорош! У нас на виноградном листе пекут — лучше выходит, но и этот ничего. Хвала аллаху! — Он присел к столу и стал поспешно есть болтушку.

Я тоже проглотил свою дольку — сразу, без раздумья. Даже вкуса не почуял, настолько мала была «просвирка».

Абдуллин, как и все, протянул руку, взял свой кусочек лепешки, но отвлекаться от дела не стал. Ахмед был верен себе: даже болтушку он не станет хлебать торопливо. Любит поесть с чувством, не спеша. Положив кусочек лепешки рядом с котелком, Ахмед продолжал писать докладную. Закончив, он перечитал, подправил загнувшиеся края копирки и подал мне:

— Подпиши, комбат!

Я отставил котелок, прочел. Ахмед написал: «За неоднократное и умышленное обкрадывание своих товарищей...» Я вычеркнул слово «неоднократное» и расписался. Однако возвращать докладную Ахмеду не спешил: надо было решить, кому доверить сопровождение Максимова в штаб полка. Ребята так озлоблены на него, что, не ровен час, пустят в расход по дороге.

Повертев бумагу в руках, я протянул ее Тябликову.

— Старшина! Возьмите сержанта Санкина и сопроводите Максимова в штаб полка.

Тябликов не сказал по-уставному: «Есть доставить!» — а отозвался с ленцой:

— Ну что ж.— Потом. подумал, усмехнулся: — Сапоги у него хороши, у живоглота. К тому ж сухие.

Я понимал, что Тябликов шутит. Но все же на всякий случай погрозил ему пальцем.

12

Весь май стояла хорошая погода. Было тепло, солнечно; в лесу подсыхало. Серые пятна снега, лежавшего по оврагам, уменьшались, исчезали на глазах. По ночам вдоль берега Криушанки стлался туман; в зарослях цветущей черемухи пели соловьи, и часто во время ноч-

ных занятий бойцы подолгу вслушивались в замысловатые переливы их трелей.

Теперь по ночам мы занимались. Было приказано оборудовать макеты оборонительного рубежа — с колючей проволокой и минными полями — и тренироваться до тех пор, пока каждый боец не научится преодолевать саперную полосу в условиях ночного боя. Каждый вечер, с наступлением темноты, все мы ползали по луговине — резали «колючку» и учились по едва различимым на ощупь усикам и проволочным зацепкам находить немецкие мины.

Так было и в этот вечер.

Уже сгустились сумерки, батарейцы, торчавшие весь день на огневой, поужинали и не очень дружно собирались возле моей землянки, чтобы приступить к ночным учениям. Мы занимались повзводно. Сегодня была очередь ползать и резать проволоку бойцам первого взвода.

Мы с Абдуллиным сидели в моей землянке — пили чай. Пришел Шарипов и доложил, что взвод к занятиям готов. Я пригласил Аткая выпить с нами чаю, и он подсел к столу.

Было душно, я встал и приоткрыл дверь.

— Как всегда, не везет мне.— Аткай отпил из кружки глоток чая.— Самая темная ночь мне выпала.

— Темная ночь — хорош! — возразил ему Абдуллин.— Темной ночью самый раз пробиваться.

— Думаешь, пробиваться будем? — горячо подхватил Шарипов.— А может, наоборот, наступать на Любань будем? Может, соседей уже так укрепили, что они одолеют Любань и соединятся с нами?

Я постоял у приоткрытой двери. Темень была такая, что трудно было отличить кромку леса. В лощинах стлался туман, и черные шапки елей, росших по ту сторону оврага, казалось, плавали в воде.

— Надо позвонить на НП,— сказал я Шарипову.— Сегодня нельзя дремать.

— Может, отложим занятия?

Аткай не договорил: где-то в стороне Любани загудело — глухо, протяжно. Послышалось? Нет, вновь ударило — еще и еще, и с каждым разом гул становился все слышнее, все басовитее.

— Эге! Я же говорил! — Шарипов отставил кружку с чаем, поспешно встал из-за стола.

— Это, наверное, немцы,— неуверенно проговорил Абдуллин.— Без нас ленинградцы не начали бы.

Мы постояли, вслушиваясь. В стороне Любани вспыхнуло зарево. Черные вершины елей на какой-то миг высветлило. Подул ветер. Залепетали молодые листья берез; белые грозди черемухи склонило до самой земли. Еще миг — и вот всю северную половину неба расколола ослепительная вспышка молнии.

— Гроза, да к ночи...— обронил кто-то из бойцов, толпившихся возле землянки.

Молнии вспыхивали беспрерывно. Вершины деревьев тревожно шумели. «Тук, тук» — застучали капли дождя. Их удары какое-то время заглушал лесной шум, но неожиданно порыв ветра ослаб; черные облака, распарываемые молниями, опустились до самой земли — и хлынуло, и полило как из ушата.

Я приказал Шарипову распустить взвод: учиться резать под дождем колючую проволоку не было никакой нужды. Батарейцы разбежались по землянкам.

Абдуллин сам напросился сходить на огневую: пора было сменить дежурного по батарее Урнова. Ахмед пожужжал «жучком»-фонариком, и вскоре нескладная тень его (он пошел в дождевике) исчезла в темноте. Я постоял еще некоторое время, любуясь первым весенним дождем. «Лей, крути! — говорил я дождю.— Смывай всю нечисть с земли!» Снять бы кирзачи да босиком побегать по ручьям...

Куртка, которую я набросил на плечи, вымокла, пришлось вернуться в землянку. Спать было рано; я достал из-под нар чемодан, развязал ремень, которым он был перевязан. Дня три назад поступил приказ: каждому бойцу просмотреть личные вещи и уничтожить записные книжки, письма, фотографии. Батарейцы давно уже перетрясли свои вещмешки, а комбату, видите ли, некогда было. Теперь я развязал чемодан, вытряхнул из него свой скарб и сидел, подолгу разглядывая каждую вещичку, прежде чем бросить ее в огонь. Пока у батареи был свой обоз, личные вещи нас не обременяли. В лучшие времена, скажем под Крестами, у нас было не менее десятка саней. Мы возили ящики со шрапнелью, железные печки, светильники, сделанные из гильз, ведра, запасные прицелы, бинокли. Вместе с этим хозяйством валялись командирские чемоданы и солдатские вещмеш-

ки. Теперь мы вконец обезлошадели. От нашей транспортной роты остались только сани, да и то большую часть их бойцы изрубили на дрова. Все лишнее имущество мы сдали на ДОП, в землянках оставалось лишь кое-какое мелкое барахло вроде моего чемодана.

Открыл я его и недоуменно пожал плечами: опять полно книг! Еще по дороге на фронт, в Кургане, я отдал все книги Гале Зотовой, сестре нашего политрука. Где же это я их опять насобирал? Правда, когда мы взяли монастырь в Ракони, то среди развалин я отыскал том переписки князя Курбского с Иваном Грозным. В монастырских кельях была уйма книг, и, помню, я копался там весь день. Неужели так много нахватал?

Теперь я вынул книги из чемодана и бросил к печке, где сложены были дрова: пригодятся для растопки. Под книгами, на самом дне чемодана, лежали письма. Большинство — от братьев и матери, и лишь одно от моего друга Кости Набокова.

Мать слала мне весточки часто. Был такой день под Зеленщиной, когда я получил от нее сразу три письма. Но особенно дорого мне одно — то, которое я получил под Новый год.

Я развернул его. «Андрей был под Клином. От него два письма, но осенние, давнишние. Не знаю, где он теперя и что с ним...» — бросилось мне в глаза... Я снова сложил листок в треугольничек — не хватило сил выбросить его.

Андрей, старший брат, командовал авторотой. Перед самой войной часть их стояла в Ямнице, неподалеку от Могилева. Он отступал с войсками до самого Клина. Я часто думал о нем: где он? что с ним? почему замолчал? Я засунул материно письмо в планшетку, под помятый лист карты, и попытался представить себе, что мать должна сейчас чувствовать. К одной тревоге теперь прибавилась другая: вот уже скоро полгода, как нет писем и от меня. Напрасно я отказался от предложения Николая послать вместе с его весточкой записку домой, подумал я. Все, может, дошла бы!

Последнее время, что бы я ни делал, мысли мои были заняты одним: предстоящим выходом из окружения. Как мы будем пробиваться — эшелонами или все вместе? Что будет с Паней?..

Покончив с письмами, я достал свой трофейный не-

сессер. Коробка была тяжелой, в планшетку ее не засунешь. Я вынул помазок и безопасную бритву — у меня уже начали отрастать баки и усы, и я брился этой самой безопаской,— а сам несессер выбросил — сгорит в «буржуйке».

В чемодане еще оставалась пара белья. Белье это валялось у меня с допотопных времен. Его выдал мне старшина артсклада на Черной речке осенью прошлого года, когда меня откомандировали в полк. Я развернул узелок — белье добротное, не очень поношенное. Ничего, пригодится, решил я. Как только поступит приказ о выходе, сниму старое, что теперь на мне, и надену чистое. Такой уж у нас, у русских, обычай: и когда рождается человек, его обряжают во все чистое, и когда умирает... А то — подберут тебя на поле, а по лицу вши ползают. Или в госпиталь попадешь: грязный, раздеться стыдно. Да, мыслишки!..

Я увлекся этими мрачными размышлениями и вдруг услышал: шуршит что-то в углу блиндажа. Гляжу — по стене, между печкой и столом, бежит живая струйка воды. Бежит, лоснится маслянисто при тусклом свете плошки. Верхний край портрета Сталина, висевшего над столом, уже потемнел от воды. Подбежав к стене, я отогнул гвозди, которыми был прибит портрет, хотел аккуратно снять его, но мокрая бумага разорвалась. Правда, оторвался лишь верх картуза, а само лицо уцелело. Портрет я подобрал в первом же бою, в Ракони; это была обложка «Огонька», который я нашел в монашеской келье, где помещался красный уголок машинно-тракторной станции, и с тех пор возил портрет с собой, вывешивал его во всех землянках, в которых жил. Расставаться с ним не хотелось... Я разгладил портрет, сложил его и спрятал туда же, куда и письмо матери, под карту.

Пока возился, потекло и в другом месте — над постелью. Я быстро свернул одеяло, подушку, набитую мхом, прикрыл брезентом. Глядь, вода ручьем льет на дрова, сложенные возле «буржуйки». Это самое страшное: намокнут дрова — и обсушиться будет нечем. Схватил поленья, стал бросать их под нары.

В это время, когда я, мокрый и злой, ожесточенно швырял поленья, вошел Шкарбанов, дежуривший по расположению.

— Товарищ комбат, вас срочно вызывает начштаба!

Чертыхнувшись, я набросил на себя ватник и побежал к телефону. Дождь хлестал как из ведра. При вспышках молний на черной хвое видны были белесые полосы воды.

Трубка полевого аппарата лежала поверх минометной плиты.

— Артюхов слушает! — прокричал я.

— Срочно к «первому».— По голосу узнаю Проватова, но не спешу назвать его майором или начальником штаба, а просто спрашиваю, одному явиться или с Абдуллиным, который исполняет обязанности политрука.

— Одному! — бросает начштаба.— Возьмите с собой на всякий случай двух связных.

— Ясно! — говорю я и, положив трубку, снова прикрываю аппарат минометной плитой.

Я не знал тогда, что делаю это в последний раз.

13

До КП полка километра полтора.

Тропинка, которую батарейцы натоптали за зиму, бесследно исчезла, а новую стежку, по молодой траве, пробить еще не успели, и теперь, в темноте, мы шли не так споро.

Грозовая туча скатывалась на восток, к Зеленщине, но дождь не утихал. При каждой вспышке молнии я видел секущие потоки воды, которые били по широким плечам сержанта Санкина, шедшего впереди. Я с расчетом взял сержанта — он совсем недавно сопровождал в штаб Максимова и лучше других знал дорогу. Мокрые лапы ельника цеплялись за одежду. Сержант то и дело чертыхался и останавливался; сзади в темноте на меня натыкался Кувшинов. Напрасно так демонстративно чертыхался Санкин: я и без этого все хорошо понимал. Зимой, пока мы были в силе, батарейцы бегали на КП запросто — бегали даже, чтобы чинарик раздобыть. А теперь мы часто останавливались и подолгу стояли, чтобы перевести дыхание...

— Пошли! — чуть слышно командовал я, и мы шли — кучно, не разговаривая. Изредка, когда подолгу не было разрядов, я вынимал из кармана куртки «жучок» и освещал дорогу, чтобы не сбиться. Выручали знакомые

ориентиры. Вот завал. Посреди густого ельника валяются три огромных дерева. Они обрушились зимой, во время первого нашего наступления. Тут тогда земля вставала дыбом от взрывов, и вековые ели не устояли. Тропинка, ведущая на КП, огибала эти могучие деревья; сразу же, как только обойдешь их, надо было круто свернуть влево. Метрах в двухстах от поваленных деревьев ельник кончился, и на смену ему белой стеной высились молодые березы. На восток, к Криушанке, склон холма, который облюбовали себе березы, спускался полого, а узкий овраг, сворачивающий на запад, был крут, обрывист — он вел в сторону передовой, к насыпи.

Это самое опасное место. Косогор, поросший березнячком, просматривался с насыпи и простреливался насквозь. В полку каждый знал это место. Бойцы прозвали его «рощей Сыромятникова».

Капитан Сыромятников командовал в нашем полку вторым батальоном. Молодой, бесшабашный, Тихон Сыромятников отличился в ночном бою под Мусиным хутором. Мы подпустили разведку немцев вплотную, а когда из-за будки вышла вся их колонна, разом ударили изо всех орудий. Шрапнелью! Ох, весела была работка... Фрицы очень скоро поняли, что силы неравны. Отстреливаясь, побежали назад. А в тылу их поджидала наша засада — группа пулеметчиков, которую возглавлял комбат-один капитан Кузовлев, и батальон фашистов был уничтожен почти полностью. Оставшиеся в живых разбежались по лесу. Потом целую неделю мы их вылавливали.

За отвагу и находчивость оба комбата — Кузовлев и Сыромятников — были награждены орденами. Получить орден, да еще в самом начале, во втором бою!.. Кому радость, кому горе. Кузовлев воевал по-прежнему: самоотверженно, спокойно, с умом. А Тихона Сыромятникова после того, как он получил орден, словно бы подменили. С тех пор главной его заботой стало — выжить. Может, бойцы кое-что и преувеличивали, но о трусости Тихона ходили легенды. Ребята в шутку рассказывали, что даже по малой нужде он не вылезал из блиндажа, справлял ее в немецкую каску, а ординарец выносил.

Последний блиндаж Сыромятникова был вот тут, на опушке березовой рощи. В феврале, в день, когда мы предприняли отчаянную попытку прорваться на Любань,

на соединение с войсками Ленинградского фронта, наша первая атака захлебнулась. Командиры двух рот в батальоне ранены, а Сыромятников сидит в своем блиндаже и кричит в телефонную трубку: «Вперед! Вперед!» В эту минуту и ворвался к нему в блиндаж Сарычев. Увидел такую картину и матом его: «А ну, такой-сякой, сам давай вперед!» Тихон заюлил: сейчас, сейчас, товарищ генерал... А Сарычев знай свое: «Вылезай, трус! Вперед!» Выскочил тот из блиндажа, не успел добежать до первой цепи бойцов — а тут минометный залп. Ему бы лечь, переждать, но, напуганный криком генерала, он выхватил пистолет из кобуры: «Вперед, ребята!» Подняли головы бойцы, а комбата нигде не видать... Вечером, когда подбирали убитых и раненых, нашли лишь его валяный сапог; похоронили все, что осталось от Тихона, в братской могиле, отрытой на пологом склоне косогора, среди берез, и прозвали мысочек этот на стыке двух оврагов «рощей Сыромятникова».

Рощица поредела за зиму. Молодые березы посекло осколками; старые — спилили на блиндажи, место просматривалось с насыпи, поэтому тут было опасно. Мы старались проскочить «рощу Сыромятникова» как можно быстрей.

Однако едва Санкин вышел из ельника на поляну, как тут же попятился назад.

— Тс-с! — Санкин рукой попридержал меня. — Смотрите, товарищ комбат. Сюда, сюда, левее.

Я спрятался за дерево и пригляделся. Посреди поляны, левее братской могилы, чернели силуэты каких-то людей. Они медленно двигались от березы к березе, останавливались, что-то делали. Неужели немцы? На всякий случай я приготовил автомат. Но вот сверкнула молния, и я увидел странное... Двое снимали рогатинами провода с сучьев, а третий резал их кусачками.

— Эй, славяне! — крикнул Санкин, чтобы узнать — свои или чужие.

— Чего тебе? — отозвались с поляны.

— Вы что делаете?

— А что приказано, то и делаем. Вы — на КП?

— Туда.

— Идите, там все узнаете.

Мы пересекли поляну и спустились в овраг. Хозяйство Кузовлева — на противоположной стороне оврага,

в сосновом бору. Хозяйство большое: химрота, боепитание, связисты, автоматчики. Весь восточный склон оврага изрыт траншеями, заставлен шапками блиндажей. Обычно в этакую ночную пору тут постоянно натыкаешься на часовых, только и знай выкрикивать ответный пароль. Теперь никому не было дела до пароля. В темноте слышались отрывочные слова команд, погромыхивали котелки и каски, глухо бряцали притороченные к поясным ремням саперные лопатки. Автоматчики, несущие охрану КП полка, жгли костер. В отсветах яркого пламени мелькали силуэты людей. Среди них я узнал капитана Бордадына. Стоя в дверях землянки, он поторапливал бойцов, выносивших папки с бумагами.

— Быстрей! Быстрей! — командовал капитан.— Там, в соседнем блиндаже, еще два мешка бумаг. Несите их.

«Неужели будем прорываться сегодня? — подумал я.— В этакую непогоду, в дождь и слякоть?!»

Однако, когда, оставив связных наверху, я спустился вниз, в землянку Кузовлева, сомнений у меня уже не было: мы идем на прорыв. В землянке было тепло и душно от множества людей. Командиры и политруки рот, служб и приданных полку подразделений сидели на нарах и просто на полу. Пахло сыростью; над столом горел фонарь «летучая мышь», но стекло было плохо протерто, и в блиндаже стоял полумрак. Поэтому, войдя, я потоптался у входа, приглядываясь. Кто-то окликнул меня:

— Артюхов!

Осмотревшись, я узнал Михалыча. Сидевшие на нарах потеснились, и я сел рядом с командиром санроты.

— Что нового?

— Сейчас узнаем,— мрачновато отозвался Михалыч.

Кузовлев стоял, поджидая, пока соберутся все; на груди его поблескивал орден Ленина. По одну сторону от командира полка сидел майор Проваторов; по другую — наш комиссар Чуев. Кузовлев и начштаба о чем-то переговаривались, а батальонный комиссар приглядывался к собравшимся. Командиры входили, здоровались, однако не было при этом обычного оживления, шуточек, веселых подначек, без чего раньше не обошлось бы. Сказывалась не только усталость: видно, каждый уже догадывался, о чем предстоит разговор.

Последним в землянку просунулся капитан Борда-

дын. Ссутулившись, он прошел вперед, к столу, и сел рядом с Проваторовым.

— Ну, кажется, все? — Кузовлев наклонился к Чуеву, что-то сказал ему, комиссар согласно кивнул головой.— Значит, начнем, товарищи. Прошу приготовить карты.

Все задвигались, зашуршали листами карт, расправляя их на коленях. Я тоже щелкнул кнопкой планшета, тоже достал свою карту. Она потрепалась изрядно. В местах складок образовались прорехи — неаккуратно тронешь, и лист рассыплется на четвертушки. Я долго возился с листом, прилаживая его; занятый этим, не заметил, когда Кузовлев наколол на стену свою карту. У каждого командира подразделения было по одному листу — с боевой обстановкой нашего полка. А майор повесил на стену карту всего района, занимаемого окруженными дивизиями, и теперь все с интересом уставились на стену.

Справа, на востоке, петлял Волхов. Голубая полоса эта, которая когда-то пугала, ныне была желанной: вдоль реки стояли наши части. Вот они, черные и красные вкрапины: это наши плацдармы на западном берегу. Есть такой плацдарм и у Зеленщины — деревеньки, возле которой зимой, в лютые морозы, мы пробили брешь в немецкой обороне. В эту брешь, прокладывая лежневку по замерзшим болотам, устремились ударные части нашей армии. Заснеженные лесные просеки Апраксина бора огласились ревом моторов, взрывами снарядов, трескотней автоматных очередей. Тысячи людей, повозок, машин растеклись по лесам; роты заняли оборону вдоль опушек и железнодорожных насыпей.

Теперь обескровленные в боях части наши поредели — от некоторых из них остались лишь одни номера. Однако все они были помечены на карте командира полка: красная скоба вдоль опушки леса и под нею, под скобой, номер части; еще скоба — и еще номер...

Части эти пришли сюда, чтобы взять Любань и соединиться с войсками Ленинградского фронта. Вот он — этот самый городишко, узел железных и шоссейных дорог. Но мы не взяли Любани; мы застряли возле станции Рогавка. Вокруг этой станции я вижу три подковы — это участок трех полков нашей дивизии.

Я разглядываю все эти подковы — от Рогавки до Зе-

ленщины. Они образовали просторный, удлиненный на запад овал, стиснутый со всех сторон такими же скобами немецких частей. На миг я представляю себе, сколько за этими скобами и подковами, за этими мертвыми линиями живых людей... пока еще живых. И все они думают об одном и том же — о жизни. И о смерти.

— Итак, товарищи, мы пробиваемся! — заговорил Кузовлев; он стоял, повернувшись к карте, и мне виден был лишь его профиль: высокий лоб, копна давно не стриженных волос, нос с горбинкой, волевой, выступающий вперед подбородок.— На сборы нам дается всего лишь один час. Главная задача — сняться незаметно. Никакого шума! Надо оторваться от преследования хотя бы на одну ночь. Костров не разводить. Все, что не удастся взять с собой, бросайте в зимние блиндажи, в воду. Блиндажи — обрушить. Всем понятно?

— Понятно.

— Порядок движения: батальон Башмакова, затем штаб в сопровождении автоматчиков Васюрина, санрота, батарея Артюхова, в арьергарде — батальон Преснякова...

— Маршрут? — нетерпеливо спросил кто-то.

— Маршрут такой.— Кузовлев повернулся к карте.— Криуша, Гладь, Бор, Исканское... В Исканском сворачиваем на узкоколейку и далее все время движемся по ней. Район сосредоточения — восточная окраина станции Дуброво.— Майор указал маршрут, отмеченный на карте, бросил карандаш на стол и, как бы взвешивая тяжесть слов, которые ему предстояло произнести, помолчал.— Отход прикрывает батальон Мезенцева,— добавил он.— Так что вся надежда на тебя, Донат!

— Понятно, товарищ майор! — сказал Мезенцев и, чтобы скрыть свое волнение, зашуршал картой, складывая в планшет такой же истертый, как и у меня, лист.

Донат Мезенцев командовал первым батальоном — его, Кузовлева, батальоном! При Кузовлеве Донат был ротным. Всегда, когда выпадало трудное дело, Кузовлев доверял его Мезенцеву. Теперь все восприняли слова майора как должное, и сам капитан — тоже. Мезенцев сидел с краю нар, поближе к столу,— широкоскулый, лобастый. Он прошел с полком весь путь, от Покровского до Рогавки, и ни разу, даже под Зеленщиной, не дрог-

ну. А тут вот волнуется: никак не может сложить лист карты.

— Двигаемся только ночью,— продолжал Кузовлев.— Все дальнейшие распоряжения — через связных. Вопросы есть?

— О знамени! — подсказал капитан Бордадын.

— Да, о знамени... Мы посоветовались и решили, что знамя полка будет выносить командир взвода автоматчиков младший лейтенант Васюрин. Знамя спрятано у него под гимнастеркой. Я хочу, чтобы все об этом знали, каждый боец. В бою всякое может случиться. Так вот: все ли знают младшего лейтенанта?

— Знаем! — откликнулось сразу же несколько голосов.

Однако, несмотря на это, Васюрин встал.

Я давно его не видел и теперь не узнал бы — настолько он изменился. Знамя полка, бывшее под гимнастеркой, скрадывало его худобу. Глядя на Васюрина, я вспомнил Покровское, наш первый бой. Испуг, суетливость, боязнь смерти; крики, команды, трескотня «шмайссеров», бубнящий говор пулеметов, завывание мин над головой — все это памятно каждому, а Васюрину особенно: тогда он побежал... Никто не знает, что происходило в его душе в тот день,— только этой же ночью, под Мусиным хутором, он уже действовал расчетливо, хладнокровно. На Волхове, в бою под Зеленщиной, Васюрин был ранен, но продолжал командовать отделением до тех пор, пока батальон Кузовлева не взял деревню. Наутро его отправили в госпиталь, однако не прошло и десяти дней, как Васюрин снова был в полку. «Мне сказали,— словно оправдываясь, объяснил он,— что вы готовитесь к прорыву блокады Ленинграда. Ну, я боялся опоздать». Кузовлев назначил Васюрина командиром взвода автоматчиков, несущего охрану КП полка. Автоматчики его никогда не сидели без дела. Они часто наведывались в тыл к немцам, и всякий раз — самым неожиданным и дерзким образом. Лишь недавно, по весне, Васюрин с двумя своими товарищами приволок на КП полка немецкого обер-лейтенанта, спешившего на мотоцикле в штаб генерал-полковника фон Кюхлера.

— Приземляйся, лейтенант! — Мезенцев потянул Васюрина за планшет. И когда Васюрин садился, из-под гимнастерки у него мелькнул край знамени.

— Еще вопросы? — Кузовлев пытливо вглядывался в исхудалые лица, пытаясь по улыбкам и репликам понять, вернее, угадать настроение людей. Но все были молчаливы и собранны. Раньше даже перед атакой, в удачный исход которой мало верили, и то как-то подбадривались. Теперь же все молча засовывали карты в планшетки, никто не обронил ни шутки, ни реплики, даже вопросы не торопились задавать.

— Как быть с ранеными? — спросил наконец Михалыч.

Кузовлев помялся. Он, конечно, знал, что такой вопрос будет задан, и, судя по всему, заранее готовился к этому разговору. Но он понимал: любой ответ в подобных случаях мог утешить лишь здоровых, но не раненых,— и потому не спешил произнести страшные слова.

— Будем надеяться на лучшее. Как только пробьем коридор, первым делом эвакуируем раненых. Сейчас у нас транспортных средств нет. Кто может вынести своих — берите!

— Надо забрать всех,— озабоченно проговорил Михалыч.

— У вас, майор, есть что? — обратился Кузовлев к Проваторову

Начальник штаба покачал головой.

— Говори, Павел Кузьмич!

Чуев встал. На нем был все тот же старый, вытертый кожух. Он похудел, осунулся, наш Кузьмич. Пистолет, висевший сбоку, в кобуре, оттягивал ремень; даже портупея — добротная, довоенного образца — не в состоянии была поддержать оружие. Пожалуй, наоборот: именно она, портупея, и выдавала более всего перемены, происшедшие с комиссаром. Ремни — и поясной и наплечный — висели на нем, как сбруя на отощавшей лошади, подчеркивая его худобу и напоминая о болезни, которую он превозмогал поистине стоически... Все сдвинулись, сместились со своих мест: вчерашний командир нашего полка Сарычев — теперь генерал, командует дивизией; бывшие капитаны командуют полками; Проваторов, хоть и не повышен в звании, зато отмечен боевыми наградами... И только комиссар наш как выпрыгнул из вагона в кожушке, так и бегает в нем по окопам; всю зиму пробегал, а теперь вот и летом. Никто

из нас не может представить себе полка без Чуева: полночь, а он — в окопе; артналет или минометный обстрел, а комиссар — на НП: «Артюхов, смотри, у них новая батарея появилась...»

Да, сдал наш Кузьмич,— на чем только кожух висит.

Но это лишь со стороны казалось, что он сдал. Как только Чуев заговорил, сразу стало ясно: нет, нашего комиссара не так-то легко выбить из седла. Чуев, как всегда, говорил громко, четко, быстро. Он напомнил о том, что знамя нашего полка овеяно славой в боях с Колчаком, в схватках на озере Хасан.

— Мы хорошо дрались и под Крестами,— продолжал Чуев.— Вы все видели там, за железнодорожным переездом, немецкое кладбище. Нескончаемые ряды березовых крестов с рогатыми касками. Это мы их заставили понатыкать колья! И они еще понаставят новых! Я верю в это. Я верю в то, что мы выйдем с честью из тяжелых испытаний. Я верю, что знамя нашего полка среди других знамен не мы, так другие бойцы пронесут по улицам Берлина...

В соседнем отсеке блиндажа зуммерил телефон.

Где-то в углу тихо, крадучись стекала струйка воды.

«О Берлине-то, пожалуй, в нашем положении говорить рановато»,— машинально подумал я.

Несмотря на поздний час, на батарее никто не спал. Когда мы с Санкиным вошли в землянку, где располагался первый взвод, то застали там всех бойцов, свободных от дежурства. Ребята сидели на нарах, сгрудившись стояли возле стола.

«Ждут»,— подумал я.

Однако никто из батарейцев не повернул даже головы на стук прикрываемой мною двери. Приглядевшись, я увидел, что идет игра в карты.

Судя по всему, игра была азартной. Тябликов вел очередную сдачу. Скосив глаза на партнеров, он быстро бросал листы рубашкой кверху. Игроки не прикасались к сдаче, выжидая. Лишь один Пеканов нетерпеливо хватал каждую карту и рассматривал ее, прикидывая что-то в уме.

Я сразу же узнал колоду. Это были немецкие карты, изрядно помятые и потрепанные. Впервые я увидел их у старшины в землянке под Раконью. На рубашке, как

и у наших карт,— безобидные клеточки, а вместо валетов и дам изображены пакостные сценки. Увидев это, я приказал выбросить карты. Тябликов поклялся: «Побросаем разок и сожжем», а на поверку вышло, что не сжег.

Мне не по себе стало при виде этой колоды. Нашли в такой момент занятие!

— Отставить! — крикнул я.

Видимо, в моем окрике было что-то такое, от чего игроки все разом вскочили и повернули ко мне испуганные лица.

— Мы снимаемся...— Я сказал это уже спокойно, тихо.

Шарипов, ни слова не говоря, схватил со стола свою сдачу и швырнул карты в пылающую «буржуйку».

— Все! Братва,— скомандовал Урнов,— снимаем аппараты, свертываем НП!

— Ездовые с упряжками — наверх, к орудиям! — приказал я.— Пушки снимаем и откатываем сами. Главное: немцы не должны знать о нашем отходе.

Я не спросил даже, ясно ли приказание. Все мы давно ждали этой минуты. Едва я сказал: «Мы снимаемся...» — все разом засуетились. Тябликов побежал вниз, к оврагу, где в загонах под охраной ездовых паслись лошади; отделение связистов отправилось снимать приборы с НП и связь, а все остальные — командиры огневых взводов и расчеты — пошли наверх, к орудиям.

Огневая была метрах в трехстах от землянок. Стоило лишь пройти сквозь густой ельник, и сразу же на опушке березовой рощи, обращенной к насыпи,— наши орудия. Все мы каждый день бегали на огневую, да не по одному разу, поэтому по тропке, петлявшей меж черных стволов елей, могли пробежать даже с закрытыми глазами. И все же теперь, в оторопи, я то и дело спотыкался о жгуты корней.

Гроза прокатилась и затихла. Но дождь не переставал размеренно и скучно стучать по молодой листве. Земля набухла и осклизла. Подошвы сапог скользили; в темноте кто-то падал, вставал, чертыхался.

Орудийные укрытия — капониры — казались островерхими чумами. Полковушки наши стояли в ряжах, рубленных из бревен, а сверху, для маскировки, они были прикрыты лапником.

Расчеты подбежали к орудиям; еловые ветки тут же полетели в сторону; глухо застучали топоры: подносчики снарядов выбивали из-под сошников опорные клинья.

— Тише, тише! — шепотом закричал я. — Кто там стучит?

— Не поддается, товарищ комбат. Ведь навечно заколачивали.

По голосу узнаю подносчика снарядов Шкарбанова. Парень он старательный, но слишком нерасторопный. Я подхожу к орудию, нащупываю рукой лопату, наклоняюсь к сошнику. Шкарбанов перестает молотить топором, отходит в сторонку. Копнув два раза, я высвобождаю опорные клинья без всякого усилия.

— Вот как надо!

Шкарбанов виновато бросает топор и подхватывает станину.

Отовсюду слышатся треск ломаемых сучьев, чавканье ног по сырой земле, звон гильз — батарейцы выбирают из ниш снаряды, приготовленные для стрельбы.

— Первое готово! — докладывает Абдуллин.

— Выкатывай!

Меж стволами деревьев мелькают силуэты бойцов. Батарейцы подхватывают орудия и тянут их вниз, к лежневке, где поджидают упряжки с передками. Еще зимой мы прорубили тут, вдоль передовой, просеку. Просека была небольшая, метров двести. Но пока расчет Ахмеда катил орудия, ребята останавливались раз пять — настолько все ослабели. Помню, зимой нам не раз приходилось выкатывать полковушки на себе. Снег по колено, мелколесье, а мы подхватим — кто за станину, кто за щит — и бегом. Теперь все по-иному. Слышу, Санкин своих уговаривает: «Ну чего остановились? Раз-два — взяли!» Взять-то взяли, а сдвинуть не могут. Пришлось подсобить.

Только мы вытянули орудия из дворика, глядим — Урнов со своим взводом. Оба его отделения — и связисты и расчетчики — сняли свою аппаратуру и теперь пришли на помощь огневикам.

Я поспешил к лежневке. Ахмед со своим расчетом приторачивал к лафету инструмент. Мне стало не по себе при виде этой заботы Абдуллина: «Может, через сутки-другие придется бросить и само орудие, а бережливый Ахмед не может оставить немцу даже лопаты». Но я

ничего не сказал, только в темноте глянул на часы: пора бы появиться упряжкам. Наконец внизу, за поворотом, дробно застучали колеса передков и послышалось всхрапывание разгоряченных лошадей.

— Орудия на передки! — скомандовал я.

Ездовые, столпившись возле зарядных ящиков, осаживали назад коренников. Лошади похрапывали и поводили мокрыми боками.

Сверху, от насыпи, крича друг на друга и переругиваясь, катили орудия бойцы пекановского взвода.

— Зачэм ругаться? — вмешался Аткай.— Ругаться будэм потом, когда к своим выйдем: «Почему дорогу нам не открыли?» Ругаться там будэм. А теперь — зубы сжал и кати! Поможем, братва? — обратился он к батарейцам. И тотчас же следом за ним в темноту, где пыхтели и переругивались пекановцы, бросились бойцы первого огневого взвода

— Все снаряды забрали? — спросил я Пеканова.

— Да будто...

Безразличное его «будто» меня всегда раздражало, но сейчас я сдержался, не сделал ему замечания.

Обращаясь к бойцам его взвода, я сказал:

— Вернитесь на огневую и проверьте, чтоб ничего там не осталось. Стреляные гильзы, провода, ведра — все побросать в блиндаж с водой.

— Может, и шрапнель туда же?

— Отставить разговоры.

— Ну что ж, пошли. Санкин, Кувшинов!..

Не успели затихнуть их шаги, как на дорогу стали выходить пехотинцы. Бойцы шли напролом, лесом; хрустели ветви под их ногами, глухо позвякивали котелки.

Шурша мокрым плащом, ко мне подошел командир батальона капитан Башмаков. Тронулся, значит, наш авангард.

— Вася, нет ли у тебя щепотки табаку? — откашлявшись, спросил капитан.— Промок до последней косточки.

— Есть.

— Ну вот и хорошо. Хоть кишки согрею.— Башмаков остановился, откинул полу плаща. «Сам промок до последней косточки, а автомат на груди, под брезент спрятал»,— подумал я о комбате.

Пехотинцы черной бесформенной массой толпились

на дороге. Но вот послышались команды взводных; говор и бряцанье оружия — реже, глуше,— и наконец роты построились.

— Шагом марш! — бросил Башмаков и, выждав, пока его команду повторят взводные, повернулся ко мне.— Вот зараза — дождь! И не перестает, как назло.— Он взял у меня газету, сложенную уголком для закрутки козьих ножек, оторвал клочок.— Сыпани-ка!

Я достал свой латунный портсигар, купленный еще в Уссурийске. В лучшие времена в нем не переводились папиросы, а теперь я хранил НЗ — щепотки три махорки, раздобытой где-то Тябликовым. Думал: если ранит, будет чем отвести душу. Теперь беречь махру не имело смысла: убьют — зазря пропадет, а жив останусь — этого зелья небось на мой век хватит!

Я тоже смастерил себе самокрутку. Башмаков чиркнул зажигалкой, и мы закурили.

— Дождь — наш спаситель,— сказал я.— Вся надежда на непогоду.

Только я сказал это, как в стороне передовой, где еще недавно был наш НП, раздался одиночный винтовочный выстрел; через миг над лесом взлетела осветительная ракета. При неровном мерцающем ее свете я увидел мокрых лошадей, запряженных в передки, столпившихся на обочине лежневки батарейцев, испуганно поглядывающих поверх вершин деревьев туда, где догорала, трепеща, ракета.

— Пронюхал-таки фриц! — желчно бросил Башмаков и торопливо зашагал по лежневке догонять свой батальон.

Мы уложились вовремя. Спустя два часа батарея уже поднималась по косогору, к Криушанской поскотине. Дорога была нам знакома, и даже в дождь и темень мы шагали споро, уверенно. Не было ни отставших, ни задержек из-за неисправности упряжки.

Урнов, двигавшийся со своим взводом впереди, доложил через связного, что батальон Башмакова сделал привал на опушке леса, возле Криуши, а КП полка под охраной взвода автоматчиков поджидает нас и санроту в самой деревне.

Взвод Шарипова уже вытянулся на самый перевал, к

поскотине, когда по колонне передали: «Артюхова вперед!.. Комбата вперед!..» Я приказал Пеканову оставаться в арьергарде, а сам, как позволяли силы, побежал вперед. Обгоняя упряжки, я бросал ездовым: «Подтянуться!» Люди, месившие грязь вдоль обочин лежневки, не откликались на мой окрик. Они молча уступали мне дорогу и, как только я обгонял их, снова занимали обочину.

Когда наконец-то я обогнал колонну, то увидел в редком березнячке, где когда-то меня поджидали батарейцы, группу людей.

— Без уносных нэльзя! — горячо говорил Аткай.— Орудие, передок, зарядный ящик. Две тонны.

Я подошел и, не видя в темноте старшего по званию, просто козырнул и стукнул задниками сапог.

— Слушай, Василий! — по голосу я узнал Кузовлева.— Санрота не может поднять всех раненых. Лошади остались только у вас. Одни коренники не потянут орудия?

— Нет, товарищ майор.

— Бойцы ведь голодные. А лошади справные — паслись на лугу.

— Все равно. Нужна парная упряжь.

— Тогда давай бросим одно орудие, а освободившихся лошадей запряжем в сани. Иного выхода нет.

«Бросить орудие?» У меня от одной мысли об этом испарина выступила на лбу.

— Мы готовы нести раненых! — сказал я.

— Урнов со взводом уже пошел, но думаю, что им не справиться,— озабоченно сказал Кузовлев.

— Автоматчики...— подсказал Проваторов; оказывается, и начштаба был тут.

— Без охраны остаться тоже нельзя.

«Сани, сани,— вертелось у меня в голове.— Пожалуй, сани можно привязать к упряжкам. Ничего, потянут лошади»,— подумал я, но Кузовлеву побоялся сказать об этом.

— Хорошо, мы что-нибудь сейчас придумаем,— сказал я.

— Действуйте, только быстро! — подхватил Кузовлев обрадованно.— Нас держит лишь санрота.

Не ожидая моей команды, Шарипов приказал орудиям своего взвода свернуть с лежневки на поскотину.

Мы высвободили две пары уносных, и ездовые на рысях поскакали в расположение санроты. Надо было б и самому взобраться на лошадь, но я боялся свалиться на скаку: от слабости у меня кружилась голова. Я взял еще двух бойцов из пекановского взвода, и мы отправились следом за упряжками. Обогнув околицу, возле уцелевшей баньки мы свернули на мост через Криушанку. В болотце, поросшем ольхой, стояла вода: зыбкий кочкарник пружинил под ногами; мы шагали напрямик, не разбирая дороги. Сапоги чавкали в болотной жиже; плащишко мой давно промок, задубел; на душе было скверно и муторно.

Немцы продолжали пускать осветительные ракеты. Как наступает ночь, так они светить — мы у них в окружении, а они нас боятся! Желтый неяркий свет ракет вспыхивал то в одном, то в другом месте переднего края, и тогда гребни перелесков, невидимые в темноте, на какой-то миг обретали очертания. Заметны становились черные зубцы елей, край белесого неба над ними. Но ракеты быстро гасли, и тогда сырая темень лесов казалась непрогляднее прежнего.

За мостом, в мелколесье, мы повстречали группу местных жителей, человек десять. Впереди шла высокая женщина в ватнике, за спиной — мешок с каким-то скарбом. Одной рукой она прижимала к груди девочку, а в другой держала конец веревки, за которую привязана была корова.

Подойдя поближе, я узнал Дарью Колобову.

Дарья тотчас же признала меня.

— Слава богу, успели! — вырвалось у нее с облегчением.— Стали ваши собиратца — у меня так и оборвалось все внутри. Явится немец — всем нам, Колобовым, крышка! Андрейка, кричу, собирайся! А он набегался за день, спит. Тормошу его, а сама плачу.

— Плакать-то чего? — подал голос Андрей.

Подросток стоял позади матери — на плечах мешок, в руке — хворостина: знать, помогает Дарье гнать корову.

— А дедушка так и не пошел?

— Дед наш на ноги плох,— отозвалась Дарья.

— Ребят-то не надо было б брать.

Я хотел добавить, что нам предстоит бой и еще неизвестно, удастся ли пробить коридор, но удержался.

Не хотелось пугать Дарью и ребят. Даже Андрей, который показался мне при первой нашей встрече отчаянным парнишкой, сейчас молча жался к матери и все подправлял мешок. Ватник был велик ему; одежда на нем висела, шея — длинная, тонкая...

— Из-за них-то вот и решилась уходить,— сказала Дарья.— Одна-то я давно бы уже нашла себе дорогу.

— Берегите их! — вырвалось у меня.— Не спешите. Мы будем выходить поочередно, эшелонами.

— Мать в таких случаях говорила: «Бог милостив»,— обронила Дарья и, прикрикнув на корову, пошла.

Следом за ней двинулись и другие криушане. Ни оханья, ни причитанья — только чавкала жидкая грязь под их ногами...

Мы опоздали: санрота уже снялась. На выходе из мелколесья нам повстречалась первая группа раненых. Шли пока те, кто мог передвигаться без посторонней помощи. Бойцы брели группами по два-три человека — в шинелях, куртках, брезентовых плащах. Белели в темноте повязки на головах, тесемки, которыми подвязаны раненые руки. Промелькнули девушки с нарукавными повязками и санитарными сумками. Но Пани среди них не было.

— Василь! Артю́хов! — окликнул меня кто-то из раненых.

По мягкому украинскому выговору я узнал Тимофея Савченко, командира минометной роты. Он никогда не называл меня как положено — Артюхо́в, а всегда так — Артю́хов. Недели две назад, во время случайного артобстрела, осколок угодил Тимофею в плечо, и теперь он отлеживался вместе с Колей Зотовым в санроте. Савченко, видимо, хотел что-то спросить у меня, но я спешил — впереди, в десятке метров, виднелись мои упряжки.

— Привет, Тимофей,— бросил я на ходу.— А где Николай?

— Несут.

Из оврага показались бойцы с носилками. Ослабевшие, они едва плелись. Поравнявшись с ними, ездовые спешились. До меня долетели радостные возгласы, слова команды: «Носилки на землю». Когда я подошел, носилки

с ранеными уже стояли на обочине дороги, под лохматой елью. Батарейцы расступились — и я увидел Зотова. Наш политрук лежал на узких брезентовых носилках. Сверху заботливые санитары укрыли Николая плащом, и было видно лишь лицо, все в каплях дождя.

— Как дела, Коля? — громко, стараясь приободрить друга, спросил я.

— Ничего. Дождь вот только!..— Зотов поглядел на меня снизу, с земли, и в этом взгляде высказано было то, чего он не сказал словами: и надежда, и безысходность.

— Дождь — это наше спасение...

Пока мы с Зотовым переговаривались, из оврага, где всю зиму ютилась санрота, вынесли еще несколько тяжелораненых.

С последними носилками вышел Михалыч.

— Сани и веревки у вас остались? — спросил я.

— Должны быть,— неохотно отозвался командир санроты.— Надо у старшины спросить. Васюков! — позвал он, и тут же появился высокий, нескладный старшина.

Михалыч и старшина заговорили о санях и веревках. Оказалось, что все хозяйство санроты Васюков уже запрятал в землянку и прикопал ее. Знал это место только старшина, и ему пришлось вернуться и показать его ездовым.

Никто не курил, не разговаривал; все стояли под елкой, где меньше капало, и ждали, вслушиваясь,— не заскрипят ли сани в овраге, где скрылись ездовые с лошадьми.

— Небось Паню высматриваешь? — спросил у меня Михалыч.— Нету ее. Пришлось оставить с первым батальоном.

«Сукин ты сын!» — чуть не сорвалось у меня.

Дождь методично стучал по капюшону. Мокрый брезент уже не мог больше впитывать воду, она собиралась в складках и время от времени стекала по лицу. Я почувствовал теперь, как эта струйка побежала по щеке и ниже, ниже — за ворот гимнастерки. Но у меня не было сил, чтобы поднять руку к капюшону и поправить складку.

— Ты прости. Больше было некого оставить,— оправдывался Михалыч.

— Понятно...

Мы говорили шепотом, словно опасались, что из-за каждого куста, из-за каждого дерева за нами наблюдает невидимый враг.

И лишь лошади громко похрапывали и позванивали удилами, когда ребята осторожно ставили на сани носилки с ранеными.

15

Все, что долгую зиму пряталось в лесах, в сырых землянках, в эту дождливую июньскую ночь выползло на волю и теперь тянулось по одной-единственной дороге на восток, к Зеленщине.

От Криуши до Глади проселка не было — двигались лежневкой. По обе стороны просеки темной стеной высился мрачный еловый лес. Люди брели молча и сосредоточенно. Иногда кто-нибудь спотыкался на выбоинах и скользких бревнах, и тогда слышалась ругань, заглушаемая гулом машин. По лежневке, разбрызгивая лужи, тащились тягачи полка тяжелой артиллерии, приданного нашей дивизии, затянутые брезентом «катюши», установки со счетверенными «максимами». Гул моторов подхватывало эхо, и лес, казалось, содрогался от скрежета гусениц и стука колес. Никаких других звуков сюда, в глубь елового леса, не проникало, и сколько я ни прислушивался, чтобы уловить, не начался ли бой, не обнаружили ли немцы наш отход,— ничего не было слышно, кроме тарахтения машин и топота ног.

Тягачи облепили раненые; они сидели на лафетах и зарядных ящиках, на платформах зениток, и только одни «катюши», укрытые брезентом, плыли по просеке обособленно, сохраняя свою таинственность.

Дождь не переставал. Казалось, что движемся мы не по узкой лесной просеке, а по дну сырого ущелья. Не видно было ни мерцанья осветительных ракет, ни просветов дальних перелесков, лишь где-то высоко-высоко над головой узкой полосой серело небо, и по этому клочку его, без просветов в хмурых облаках, трудно было определить, какая часть ночи уже миновала.

Перед выдвижением я строго-настрого приказал всем держаться повзводно, при вынужденной задержке —

оповещать. Не знаю, то ли подействовал мой приказ, то ли ребята и сами чувствовали, что в этой круговерти очень легко затеряться, но батарея пока что двигалась кучно.

Я шел позади, с первым орудием второго взвода. Это мое любимое место на марше. Когда идешь со вторым взводом, то вся батарея у тебя на виду. Малейшая заминка впереди — застряло ли орудие в выбоине, заупрямилась ли уносная,— и через минуту ты уже на месте. А второй взвод постоянно ощущаешь за своей спиной. В случае чего ты всегда тут.

— Подтянуться! Подтянуться! — поторапливал я батарейцев.

Потому поторапливал, что мне казалось: немцы обнаружили наш отход и со всех сторон стягивают сюда, к лежневке, свои батальоны. В минуты, когда затихало тарахтенье орудийных колес, чудилось, что в отдаленье слышны автоматные очереди. А вдруг, размышлял я, немцы, после короткого боя, уже заставили отступить Мезенцева и теперь рыскают в блиндаже, где мы с Паней были так счастливы? Ломают нары, перебирают книги, надеясь найти карты и дневники... Думая об этом, я ругал себя за поспешность, за то, что не приказал ребятам разрушить свой блиндаж... Хотя, тут же успокаивал я самого себя, в наших блиндажах немцу поживиться нечем: ни шнапса, ни барахла. В землянках они не задержатся, тем же часом двинутся по пятам за нами... И если в батальоне Мезенцева окажутся раненые, то Пане несдобровать.

Я начинаю думать о Пане; мне вспоминается наша последняя встреча в санроте. С какой тоской и доверчивостью она глядела на меня! Она все-все знала и надеялась, что я помогу ей. А я не мог даже настоять, чтобы мы в этот час были вместе! Сердце сжималось у меня при мысли, что та наша встреча в тени берез может оказаться последней...

Орудия подпрыгивали на выбоинах. Сани, в которых лежали раненые, швыряло то в одну, то в другую сторону. Расчеты, идущие рядом, придерживали розвальни за головки; раненые постанывали, сдержанно ругались:

— Тише, мать твою! Куда гонишь? Все равно один конец.

— Лежи, знай! — незлобиво отвечали батарейцы.

— «Лежи»! Вам хорошо говорить... А тут — сверху льет, а снизу — подливает.

— Крепитесь, ребята! — время от времени подбадривал я раненых.

Где-то впереди слышался надрывный гул мотора — застряла машина. Мотор начинал с низких тонов, потом, видно набрав обороты, взвывал так, что, казалось, дрожали деревья по сторонам просеки. Неожиданно этот рев оборвался, и наступила тишина.

— Комбата вперед! — негромко выкрикнул кто-то из батарейцев.

Я не сорвался, не побежал, считая бревна лежневки, а просто убыстрил шаги. Обогнал одну упряжку, другую и, еще не поравнявшись с головным орудием, сразу же догадался, что зовут меня к Зотову. Я нарочно шел поодаль от его саней. Мне невмоготу было видеть Николая: он сознавал свое бессилие и мучился этим; я же понимал, что помочь ему ничем не могу, и переживал, и страдал не меньше, чем он. Когда мы несли его на носилках в Криушу, Николай все расспрашивал меня о том, как мы снялись, кто остался прикрывать отход. О себе он не обмолвился ни словом, но я-то понимал его состояние...

В деревне мы привязали оглобли саней к орудию. Николай закрыл лицо брезентом и, когда мы тронулись, быстро задремал. Видимо, проснувшись и не увидев меня рядом с носилками, Зотов и послал за мной. Обгоняя орудийные упряжки, я рассуждал про себя: «Что сказать, если он будет требовать оружие? Сказать, что нет лишнего автомата? Он потребует гранаты...»

Однако прежде чем я поравнялся с санями, на которых стояли носилки с политруком, я увидел Чуева, шагавшего рядом. Я издали узнал его: во всем полку только один комиссар носил кожух. Кожушок у Павла Кузьмича старый, короток ему, тесен, но он не снимал его ни зимой, ни летом. Зимой, бывало, мороз, в окопах снегу по колено, ребята в полушубках — и то жмутся в кучку, к костерку. А комиссар весь день в траншее толкается — и ничего, только портупею потуже затягивает.

Теперь кожух на Кузьмиче намок и казался не коричневым, а черным, как и ватные куртки, бывшие на всех батарейцах. Только куртки наши обвисли от дождя

и болтались чуть ли не по колено, а кожушок у комиссара как был коротким, так и остался, и Кузьмич, поджарый и сутуловатый от природы, сейчас походил в нем на какую-то степную птицу: то ли на ястреба, то ли на стрепета.

— По вашему вызову, товарищ батальонный комиссар...— сказал я, поравнявшись с Чуевым.

— А-а... Комбат? — Чуев повернул ко мне продолговатое, с остро обозначившимися скулами лицо.— Не вызывал вас, товарищ Артюхов, так уж вы воспитали своих батарейцев: едва увидели комиссара, сейчас же «Комбата вперед!»

Я понял, что он шутит, и в тон Кузьмичу полушутливо заметил, что воспитал-то не Артюхов, а капитан Лысенко.

— Правильно воспитал! — подхватил Чуев и потрепал меня по плечу.— Спасибо, дорогой, что пришел. Давай посоветуемся, что делать. Киснет политрук.

— Да не кисну я, Павел Кузьмич...— отозвался с розвальней Зотов.— А, как принято говорить, подвожу итог жизни. А итог этот грустный.

— Итог всегда грустный...— отозвался шагавший по другую сторону саней Ахмед Абдуллин.— Даже доживи до ста лет, и тогда — грустный итог.

— Пришли наши связисты,— не отвечая на замечание Абдуллина, продолжал Зотов.— Взвалили носилки на плечи и понесли меня на руках. Я не удержался — заплакал. Да, заплакал! За что мне честь такая? Девять месяцев на фронте — и не убил ни одного фрица!

— Подумаешь, через Криушанку на руках перенесли, а он уже и растрогался! — шуткой отозвался Чуев.— Александра Македонского воины несли через всю Азию. Хотя, надо думать, он тоже лично ни одного врага не убил. Мертвого несли! А ты, политрук, живой, молодой, сильный. Вылечишься — еще стольким людям добро сделаешь! И не автоматом, который ты просишь, а словом, уменьем, опытом своим.

— Македонский совсем иное дело, товарищ батальонный комиссар! — Зотов привстал, оперевшись на подстилку из хвои.— Он столько народов покорил. А я — что? Ни одного немца не убил... Прикажите дать мне автомат! Мне терять нечего!..

Николай беспокоил меня. Эта навязчивая мысль его —

о неубитом немце — к хорошему не приведет. Батальонный комиссар тоже насторожился, когда Зотов принялся выкрикивать, что ему-де терять нечего, но ничем не выдал своей настороженности.

— Македонского везли в бочке с медом,— все в том же тоне продолжал он.— А ты, политрук, едешь со всеми удобствами.

Ребята засмеялись. Всем казалось, что раз Кузьмич шутит, то все будет хорошо. Как-никак он знает больше их. В штабе полка небось рация есть! И карта в его планшете, поди, не такая, как у их комбата. Кузьмич, видимо, точно знает, собирают ли наши в районе коридора большие силы, знает, когда эти силы ударят по немцу и деблокируют всю любанскую группировку. Судя по тому, что и Зотов смеялся вместе со всеми, и он думал так же.

Чуев и в самом деле знал больше, чем знали все рядовые бойцы. Однако известия, обсуждавшиеся на последнем совещании у Сарычева, были не очень радостными. Немцы снимают отборные части с других участков фронта для уплотнения кольца вокруг окруженной группировки. Строят доты по всему коридору, особенно по берегам речек Кересть и Ловать. Наша же армия может бросить на помощь выходящим из окружения только одну стрелковую дивизию и танковый батальон, прибывшие недавно из резерва Ставки. И однако, зная все это, Чуев шутил, стараясь унять тревогу среди бойцов и командиров.

— Велик или мал — все равно один конец. И от Македонского следа не осталось, и от нас...— как всегда мрачно и грубо, изрек Пеканов.

— Вот вам еще один мрачный философ! — Чуев сдвинул пилотку, словно хотел попристальней взглянуть на Пеканова. Он знал этого командира, но не сталкивался с ним близко и, услыша его ворчливое замечание, подумал, что слишком мало бывал в полковой батарее.

Вокруг собралось уже много народа. Были тут не только батарейцы, но и пехотинцы, связисты, саперы. Шагая обочиной, каждый норовил хоть краешком уха уловить слова комиссара. Чуев знал об этом, поэтому переждал, собираясь с мыслями.

— Мы, товарищи, сделали свое дело,— заговорил он после недолгого молчания.— Всю зиму мы сковывали

немало отборных частей врага. Ленинград выстоял. Факт этот искупает наши страдания...

Чуев замолк; молчали и окружающие — и скептики и оптимисты. В тишине слышно было лишь, как тарахтят ободья передков, считая кругляки лежневки, да сдержанно пофыркивают уставшие лошади.

— Навстречу нам будут пробиваться свежие сибирские части,— заключил Чуев.— Пехотная дивизия, танковый батальон. Наша задача: как можно больше сил оттянуть на себя. Ясно?

— Ясно! — сказал я за всех.

— Отставших у вас нет, Артюхов?

— Нет.

— Минометчики впереди?

— Да.

— Я — к ним!

Чуев козырнул всем на прощанье и повернулся к розвальням, чтобы протянуть руку Зотову. Тот снова заговорил об автомате.

— Свой, к сожалению, я не могу отдать,— сказал Чуев.— Если у Артюхова есть лишний — пусть вам дадут.

— Лишнего у меня нет,— сказал я.

— Возьмите, товарищ политрук! — Абдуллин снял с плеча ППШ и протянул его Зотову.— Я и карабином обойдусь.

— Спасибо, Ахмед! — Зотов схватил автомат и, убедившись, что затвор на предохранителе, спрятал оружие под брезент.

— Оцени самоотверженность,— заметил комиссар Николаю.

— А-а! Сержант свое дело сделал: он под Раконью подбил два немецких танка да тут, на Волхове, под Зеленщиной...

— Я не прощаюсь. Мы еще увидимся! — Чуев и его адъютант прибавили шагу, обгоняя бойцов, шагавших обочиной, и скоро их фигуры скрылись в темноте.

16

Природа была против нас.

Всю ночь, мешая нашему движению, лил проливной дождь, но к утру он прекратился; тучи растащило упругим

южным ветром, и, едва над землей появилось солнце, все вокруг засияло, заиграло в ярких лучах. Засветились янтарем стволы сосен, омытая дождем молодая листва берез слепила глаза. Небо, рогожей висевшее всю ночь, сияло чистой голубизной; крохотные облачка, проплывавшие по нему, розовели, как розовеют по утрам вершины далеких гор. Сумеречный лес, казавшийся вымершим, ожил с первыми лучами солнца. Стучал дятел по стволу сухого дерева, кричали на полянах грачи, заливались в поднебесье жаворонки — и мир, мрачный и одноцветный ночью, был исполнен жизни, ярких красок и восторженных звуков.

Всю вторую половину ночи мы двигались по узкоколейке. По песчаной насыпи идти было легче. Но полозья розвальней дрыгались по шпалам, скрипели — лежать на санях стало невмоготу. Ходячие раненые повысыпали из розвальней и брели неторопливо бровкой насыпи. Иногда кто-нибудь помогал им перебраться по слегам через мосток, через язвы воронок, которых немало было на всем пути.

А Зотова пришлось нести.

Несли поочередно все батарейцы. Через каждые четверть часа мы производили смену, но все равно к утру ребята едва держались на ногах, и нам с Шариповым приходилось нести политрука по нескольку километров. Николай спал, я слышал его мерное дыхание у себя за спиной. После того как он завладел автоматом, нервное напряжение, в котором он находился все время, сменилось успокоением, и я, признаться, испытывал даже некоторые угрызения совести. Не давая ему оружие, я хоть и не говорил ему прямо о своих опасениях (в таком положении не у всякого раненого выдерживают нервы), но он-то наверняка догадывался, почему я сопротивлялся...

Плечи ломило от носилок, и я то и дело приподымал их ручки, но сил хватало лишь на одну-две минуты. Ноги подкашивались. «Вот дойдем сейчас до мостка через болотце,— намечал я себе ориентир,— и позову Ахмеда, пусть подменит». Но, видя, как медленно, покачиваясь, Ахмед переставляет ноги, я передумывал: «Нет, дотяну, пожалуй, вон до тех кустов ольшаника...»

— Василий! — вдруг позвал меня Зотов.

— Да.

— Это ты, дорогой, стараешься? Прости.

— Ну что ты, Коля! Осталось немного. Сейчас, как только подымется солнце, будет привал.

— Слушай, комбат...— заговорил Николай.— Лежу вот, смотрю на небо и думаю: как мало мы ценим жизнь! Пока ты молод, здоров — надо делать в тысячу раз больше, чем делали мы. Вот на гражданке, скажем, так осточертела мне работа в школе... Какие-то распри с директором, огорчения из-за озорства ребят... Ведь знаешь, до чего доходило дело — кочегаром готов был на паровозе ездить, лишь бы не являться в класс. А теперь вот лежу и думаю: все-таки нет ничего лучшего, чем школа. Останусь жив — непременно вернусь в школу. Ну что за работа — водить составы? Отвез один, цепляй другой. И так — каждый день. Каждый год — весной, летом, осенью. Двадцать пять лет кряду, как водит их отец. А школа — совсем иное. Каждый день, каждый час ты что-то новое даешь ребятам. Даешь им — и получаешь сам. Но прежде чем учить других, надо самому прожить жизнь. Теперь я знал бы, чему и как надо учить ребят.

— Чему же? — спросил я.

Спросил машинально, лишь бы поддержать разговор: не место и не время думать об этом. Я и вообще не люблю думать о школе — те годы связаны у меня с лишениями. Наш директор, бывало, по-всякому изворачивался, чтобы поддержать учеников. Горячие завтраки нам организовывал, правдами и неправдами выпрашивал деньги в районо, чтобы одеть голодранцев. Да что там ученики! Бедствовали и учителя. Был у нас учитель по пению и рисованию Устин Калитин. Аккуратный такой старикан. Всегда, как я его помню, ходил в толстовке и в одних и тех же ботинках с галошами. Когда он умер, решили в ботинках этих и похоронить его. Сняли галоши, а подошв-то на штиблетах нет... Да, такая-то была наша орловская школа. Поэтому я и спросил Николая так, мимоходом: чему он надумал учить своих ребят?

— Я учил бы их мужеству и любви к людям...

Я хмыкнул про себя. Николай, видимо, понял, что это слишком общо, стал что-то горячо объяснять мне. Но я ничего не сказал ему в ответ. Мысли мои были заняты другим: как бы не упасть, устоять на ногах. Я только подумал, что, слава богу, прошла хандра у него — значит, все будет хорошо.

Николай тоже замолк, и некоторое время мы шли молча.

— Слушай, Вась! — снова обратился ко мне Зотов.— Если что-нибудь случится со мной... то не пиши старикам. Напиши Гале: так и так, мол, Галчонок, братан твой погиб. Не пиши всяких слов — «геройски» или там еще каких. Просто напиши: погиб, и даже обстоятельств не рассказывай. Не надо! Погиб — и все.

— Ты опять за свое!

— Нет, это я так — на всякий случай. Просто подумал: а все-таки жаль, что не увижу ее свадьбы...

— Ахмед, подмени Шарипова! — позвал я.

Абдуллин подошел и взял носилки.

Солнце выкатилось из-за леса. Двигаться в открытую стало опасно. Надо было делать остановку. Я приказал свернуть с насыпи и, подозвав Егора Урнова, послал его посмотреть, что делается впереди. Спустя четверть часа Егор вернулся. Оказалось, что штаб полка уже расположился на отдых в районе станции Торфяная. Никто не знал толком, далеко ли до станции, но все подобрались, прибавили шагу. Вскоре на узкой просеке завиднелся полосатый семафор. За семафором лес сразу же оборвался; открылось поле, посреди которого терялся станционный поселок: вокзал, несколько деревянных бараков и, немного на отшибе,— продолговатые штабеля, прикрытые брезентом. Деревянный вокзалишко выкрашен был в ярко-оранжевый цвет; шатровую крышу, вознесенную высоко, словно церковный купол, венчал ржавый железный флюгер. И теперь, шагая по шпалам, я присматривался к вокзальчику, чудом уцелевшему под бомбежкой.

«Так вот она какая, Торфяная». Мне вспомнился рассказ Дарьи Колобовой.

Значит, именно на этом обширном поле, изрытом осушительными канавами, перед войной было большое торфопредприятие. Измельченный торф брикетировали, сушили и по узкоколейке вывозили в Ленинград. Брикетирующие машины и сушильные навесы позарастали травой и бурьяном, зияли пустыми окнами деревянные бараки, в которых жили рабочие. По слухам, тут располагались наши интендантские склады — вот откуда эти серые, прикрытые брезентом штабеля. Весной, когда стало невозможно ходить в валенках, нас переобули. Каждый сдал Тябликову свои валенки, а взамен получил новые скрипучие кирзачи.

То же самое случилось и с полушубками. И припаленные на кострах, а порой и в пятнах нашей крови полушубки, в которых мы проходили всю зиму, и наши растоптанные валенки лежат вот в этих штабелях. Видимо, интенданты все еще надеются, что, как только мы пробьем коридор, они погрузят все это на платформы и вывезут по узкоколейке на главный фронтовой склад.

От семафора и до полустанка рельсы целы, нетронуты. Как-то чудно было видеть перрон, высокую платформу, бровка которой выложена брусчаткой, и асфальтовые дорожки, ведущие к службам и будке стрелочника. Но никто не удивлялся и не радовался — ни семафору, ни вокзалу, ни платформе, все молча и равнодушно оглядывали огромный пустырь, простиравшийся по обеим сторонам насыпи. Весь он был исчерчен глубокими канавами, заросшими осокой; в канавах маслянисто поблескивала коричневая вода.

Полустанок был небольшой — три или четыре колеи. На путях — горы брикетов, обгорелые остовы паровозиков, опрокинутые вагонетки.

— Много будет дел у тех, кто придет с войны...— обронил Николай: с высоты наших плеч ему виднее было.

Однако на его замечание никто не отозвался — все норовили поскорее миновать открытую поляну. Обогнув торфяники, узкоколейка снова скрывалась в лесу. Водоотливные канавы тут пошире; через них перекинуты мостки. Горбыли, брошенные поверх шпал, проламывались; коренники поглядывали на коричневую воду в канавах, всхрапывали, опасливо ступая на шаткие мостки.

Вдоль опушки леса чернели пни — останки выкорчеванного леса. Они возвышались по всему горизонту, словно турецкий вал в степи. Корни выкорчеванных осин и берез вросли в болотистую землю; деревья дали молодые побеги — вдоль канав зеленел густой подлесок.

Все это: канавы, заполненные водой, завалы пней и подлесок — было хорошим укрытием. За ними можно было скоротать день без риска. Вряд ли немцы смогут обнаружить полк. Ну а если обнаружат, тут и отбиться от них легче. Видимо, так думал и Кузовлев, облюбовавший это место для дневки.

Едва мы въехали в лес, дорогу нам преградил помощник начальника штаба полка — молоденький бело-

брысый лейтенант в шинели, с биноклем, болтавшимся на груди.

— Артюхов, сворачивай! — распорядился он.

Расчеты, придерживая орудия, съехали с высокой насыпи. Обгоняя упряжки, сбегали вниз пехотинцы. И лишь старики, бабы, дети, которые за ночь прибились к нашей колонне, неподвластные команде, продолжали плестись бровкой узкоколейки.

На поляне кучкой стояли автоматчики — все в таких же ватных куртках, как и мы, с усталыми серыми лицами. Я не сразу узнал среди них майора Кузовлева.

— Василий! — окликнул меня майор.— Забивайся подальше в лес. Да смотри осторожней с огнем. Сейчас, поди, «рама» прилетит.

— Есть осторожней! — отозвался я.

Вдоль опушки петляла лежневка. Дорога старая, зимняя, но она была не очень сильно разбита, и мы сняли носилки с политруком с плеч, снова пристроили их на розвальнях. Все двигались не спеша; даже лошади и те чувствовали, что близок передых, они позванивали уздечками и поводили мокрыми боками.

Лес ожил: всюду мельтешили людские силуэты, слышались окрики: «Старшина!», «Первый взвод — сюда!», «Эй, где минометчики?» Похрястывали ломаемые сучья, урчали на малых оборотах моторы тягачей; кто-то рубил лапник, кто-то ломал сухой валежник... Из глубины бора, насквозь пронизанного косыми лучами утреннего солнца, несло горьковатым дымком костров. Сколь ни велика была необходимость маскировки, но бойцам, мокшим всю ночь под дождем, нужен обогрев.

Вдруг моя колонна почему-то стала. Ездовые поспрыгивали с передков и побежали в чащу леса, в густой ельник.

Я внимательно прислушался — гула «рамы» не слышно.

— Чего там застряли? — Я прибавил шагу и, взъерошенный, злой, наскочил на ребят, которые толпились на обочине лежневки.

— Да вон, поглядите, товарищ старший лейтенант, фрицы! — сказал Ахмед и кивнул в сторону леса.

Под березами на подстилке из хвои сидели немцы.

Это были пленные — десятка полтора. Судя по их одеянию, они были взяты в плен еще зимой — на головах у них были суконные пилотки и наши русские шапки, награблен-

ные, видно, в бабьих сундуках. Среди пленных — три или четыре унтера с нашивками на рукавах; они держались особо.

Курносый автоматчик из нашей охраны, сидя на коленях, раздувал костер. Сырая береста трещала и дымила; робкое красноватое пламя лизало днище ведерка, подвешенного над костром. Видимо, автоматчик готовился заварить для фрицев такую же болтушку, какой питались и мы.

— Еще кормят их! — зло сказал Пеканов.— Вон поставили бы на край канавы да одной очередью из автомата...

— Ить тоже люди...— Паренек, раздувавший костер, снизу глянул на Илью и как ни в чем не бывало снова принялся сдирать бересту с кругляка.

— Пустить их впереди колонны! Небось по своим-то стрелять не будут,— словно рассуждая про себя, обронил кто-то.

Я стоял на обочине лежневки и смотрел на немцев. Худые, изможденные лица, обтрепанная, неопрятная одежда. Были тут и истинные «арийцы» — светловолосые, с голубыми водянистыми глазами; были и так себе. Они поеживались и негромко переговаривались по-своему.

У меня не было к ним ни жалости, ни ненависти, которую, судя по его словам, испытывал Пеканов.

«Интересно, что они теперь думают о нашем и своем положении, о войне вообще?» — подумал я. Мне вспомнился тот, первый пленный, взятый нашими разведчиками под Раконью. Матерый фашист — выхоленный, самоуверенный,— он стоял на заснеженной поляне и с чувством превосходства смотрел на батарейцев. «Расстреляйте меня тут! Я никуда не пойду и ничего вам не расскажу! — кричал он.— Каждому погибшему в России солдату Гитлер обещал поставить бронзовый памятник».

«Да, памятник! — вздохнул я.— Эти, кажется, уже не думают ни о каком памятнике...» И, отгоняя ненужные эти мысли, я крикнул ребятам:

— Ну, чего остановились? Марш-марш!

17

Мы поставили орудия на опушке леса, под прикрытием завала из бревен и пней. Тут же, в мелколесье, устраивались и пехотинцы.

Мы готовились к обороне. Если заслон, оставленный нами, будет смят немцами, нам предстоит встретить и сдержать их на этом рубеже. Дула наших орудий смотрели туда, откуда мы только что пришли,— в сторону вокзальчика. По насыпи узкоколейки все еще продолжали плестись остатки подразделений. Белели повязки на руках и головах раненых; горбатились на спинах бойцов плиты минометов; скакали упряжки с противотанковыми орудиями.

Батарейцы валились с ног от усталости. Однако я позвал Тябликова и приказал ему выставить охрану — не к пушкам, разумеется, а к лошадям. Полковушки наши никому не нужны, кроме нас, а на лошадей заглядывались все. Кляч наших подстреливали из засад, подрывали гранатами. Только заглядись — мигом от любого коренника или запаршивевшей уносной останутся лишь копыта да грива.

— Усильте охрану лошадей,— сказал я старшине.— Потихоньку, под вашу ответственность, разведите костер и приготовьте завтрак.

— Есть! — бросил Тябликов и отправился хлопотать по хозяйству.

Я снял с себя куртку, повесил ее на орудийный ствол — пусть обсохнет малость. Тем временем Ахмед открыл зарядные ящики и стал вынимать из них байковые одеяла. Мы всегда возили одеяла с собой: укрывались ими в вагоне, когда ехали на фронт, стелили на хвою под Покровским; они вытерлись, прохудились и грели плохо, но расстаться с ними было выше наших сил. Пока был обоз, мы возили их в санях; а вчера ночью Тябликов наспех засунул одеяла в снарядные ящики.

Ахмед постелил эти дырявые лоскутья поверх мягкой травы, и все свободные от наряда бойцы разметались на земле.

Тут же стояли и носилки с Николаем. Мне казалось, что он спит. Но когда я опустился рядом, он вдруг приподнялся на локтях и горячо зашептал:

— Видел — еще завтрак для них готовят! А ты, командир батареи... да что ты — может, сам Кузовлев ложится отдохнуть на тощий желудок. А им — горячего подай!.. Эх, не было у меня гранаты под рукой, а диск разряжать жаль — ночью пригодится.

— Брось дурить! — оборвал я его.

Я еще слышал, как Николай ворчал что-то. Но у меня уже не было сил возразить ему, я повалился на влажное от росной травы одеяло. Какое-то время я чуял дымок костра, но очень скоро на смену этому горьковатому березовому дыму пришел сладковатый запах козеликов и иван-чая, заполонивших ослепительно ярким разноцветьем всю поляну...

Я проспал более часа; проспал бы и больше, но меня растолкал старшина:

— Товарищ комбат, завтрак готов!

Солнце уже поднялось над синеватой кромкой леса, и вся поляна, изрытая осушительными канавами, была залита светом. Высоко вознесенная крыша вокзальчика блестела на всю округу. Движение по насыпи уже прекратилось; в лесу — тихо: не урчали моторы, не раздавались слова команд, видно намаявшись за ночь, люди спали.

Прежде всего надо было умыться. Я спустился к канаве, ополоснул лицо. Холодная вода приятно бодрила. Бойцы поднимались, и только Николай продолжал спать.

Аткай Шарипов подал мне котелок с болтушкой; мы опустились на землю и принялись за еду.

— Кажется, еще не обнаружили наш отход,— сказал Аткай.

— Да, тихо,— согласился я.

— Глядишь, и с Мезенцевым еще свидимся.

Он, конечно, хотел сказать о Пане, что с Паней свидимся, но я замечал и раньше, что Аткай очень деликатный малый, никогда никого не обидит бестактным словом. И теперь я с благодарностью глянул на него — мы думали об одном и том же.

— Спасибо, Аткай! — вырвалось у меня.

На этот раз болтушка была покруче, чем та, которую варил Максимов, но совсем несоленая,— соль у нас кончилась. Котелок приятно согревал колени; ложка позванивала о бока алюминиевой посудины. Не успел оглянуться — котелок уже пустой.

Приказав Тябликову сделать пересмену часовым, охранявшим лошадей, я решил повнимательнее осмотреть поляну. Мало ли что может случиться! Надо знать соседей, предполье, ориентиры.

Подлесок здесь был смешанный и не очень густой; однако, пробираясь им, я подумал, что на случай стрельбы

надо прорубить просеки. Можно было бы вытащить орудия совсем к дренажу, но место вдоль канавы болотистое, сырое: вкатишь — да тут и оставишь.

Судя по всему, водосборный дренаж отрыт не вручную, а плугом,— уж больно ровен был вал земли. Вдоль всей этой насыпи громоздились могучие пни берез и сосен. Насыпь успела уже порасти осокой и гусиной лапкой. И когда я перебирался через водосборную канаву, то подумал, что не они, не эти ямы, наполненные болотной водой, будут служить нам защитой. Защитой нам будут завалы из выкорчеванных пней. Завалы заросли мелколесьем; на листьях хилых болотных осин и берез дрожали дождевые капли, и пока я, раздвигая руками гибкие побеги, пробирался через заросли, вымок весь с головы до пят.

Торфяники были покрыты прошлогодней травой; густая, слежавшаяся за зиму, она устилала все ровным слоем и прочна была, как войлок. Торфяник зыбился под ногами, но войлок травы был настолько прочен, что сапоги не проваливались. Можно было спокойно идти по болоту, как по степи.

И я шел приглядываясь. Меня поражали размеры торфяного предприятия. Огромное поле, пересеченное с запада на восток узкоколейкой, и никаких ориентиров, кроме станционного домика и двух-трех бараков. Оглядев болото, исполосованное рвами, я равнодушно поглядел под ноги. Что за чертовщина? — все поле усеяно какими-то черными пятнами-бусинками.

Я остановился, пораженный; поковырял мох носком сапога. Гляжу — неподалеку от меня, растянувшись на траве, лежит боец. Раздирая траву руками, он лихорадочно собирает пятна-бусинки и бросает их в рот.

— Ты чего собираешь? — окликнул я его.

— А-а, клюкву...

Я опустился на колени и растащил руками бурую прошлогоднюю траву; среди отживших стеблей и молодых зеленых листьев — красные ягоды. Клюквы было так много, что при виде этого изобилия у меня даже закружилась голова. Я лихорадочно принялся собирать сочные ягоды. При каждом неосторожном движении они отскакивали от истлевших за зиму стеблей. Я хватал клюкву пальцами, подбирал ее с земли и, набрав полную пригоршню, запрокидывал голову, ссыпал в рот. Чмокая губами, я давил сочную, с привкусом прели клюкву и, чувствуя, как терпкий

горьковатый сок заполняет желудок, блаженно мычал:

— У-у, красотища!

С колен я лег пластом на живот, и дело пошло лучше — только знай запрокидывай голову. Собрав ягоду в одном месте, я спешил переползти на другое. Спустя какое-то время гимнастерка на животе у меня стала мокрой, покрылась красными разводьями. Луговина тут, вблизи мелколесья, была сырая. Я поднялся и пошел в глубь болота. Метрах в двухстах от первой канавы была другая, поуже; я перепрыгнул через нее и осмотрелся. Место оказалось посуше, а ягод — еще больше. Я так увлекся, что не сразу услыхал тарахтенье «рамы». И лишь когда кто-то крикнул: «Воздух!», я приподнял голову от земли. В стороне бараков, над четко очерченной утренним солнцем кромкой леса, скользила тень «фокке-вульфа». Самолет летел низко-низко, наклоняясь то на одну, то на другую сторону, высматривал перемены, происшедшие в нашем расположении за ночь.

Бойцы, бывшие поближе к опушке, при крике «воздух!» разом бросились к лесу. Мне же бежать было далеко, но и лежать тут, на серой прошлогодней траве, как-то неуютно. Я привстал и, пригнувшись, метнулся к водосточной канаве, которую только что перепрыгнул, когда бежал сюда. Теперь она казалась мне спасительницей. Однако, пробежав с десяток шагов, я снова плюхнулся на землю: в канаве мелькнула фигура человека. Мне почудилось, что это немец — в пилотке, в черной шинели. Я уткнулся головой в траву; на лбу у меня разом выступил холодный пот. Расстегнув кобуру, я вынул пистолет, снял курок с предохранителя.

— Стой! — крикнул я, но от волнения мой окрик больше походил на сдавленный стон.

Тот, в яме, спрятался и замер. Подбежав, я увидел на дне канавы нашего бойца — шинель и пилотка, которые показались мне черными, были просто мокрые. Из канавы на меня испуганно глядели голубые водянистые глаза.

— Эт-то... это я, товарищ старший лейтенант.

Я сразу же узнал его, но не поверил своим глазам:

— Максимов?! Ты?

— Я, товарищ старший лейтенант...— Сержант испуганно глядел не на меня, а на дуло пистолета.

— Ты разве не в штрафной роте?

— Нет. Я поваром во взводе автоматчиков. Вот вышел

насобирать клюквы, хочу кисель сварить капитану Бордадыну... А тут эта чертова «рама».

— А-а...— протянул я, не зная, что сказать еще.— А мы по соседству тут остановились...— И, сунув свой вытертый, с полинялой оксидировкой ТТ в кобуру, я перепрыгнул через канаву, в которой сидел этот гнусный человечишка, и побежал к лесу.

Только я вломился в мелколесье, как услыхал за спиной нарастающий гул. Я упал и, падая, по привычке глянул на небо. Вдоль узкоколейки, чуть ли не задевая шасси за шатровую крышу вокзала, косяком летели «Юнкерсы-87». Эти легкие бомбардировщики бойцы прозвали «горбачами». Немцы пускали их в дело, когда нужно было навести ш у х е р. Они всегда появлялись неожиданно, летали нагло, низко; бомбили и расстреливали скопления наших войск, колонны на лежневке. И так же неожиданно улетали, скрываясь за ближайшими перелесками. Ни убежать, ни укрыться от них нельзя: где застигли, там и замирай — авось пронесет.

И я, следуя мудрому совету разума, ткнулся в луговину и замер, всем своим существом, каждой клеткой тела чувствуя нарастающий гул. На борту у «горбачей» установлены сирены; когда они начинают бомбить, то включают их, и полета бомбы не слышишь. Но сейчас они не бомбили и не стреляли даже; посвистывая винтами, пролетели над поляной, развернулись, деловито прилаживаясь к земле...

Ни одна наша зенитка не тявкнула. Ни одна счетверенная установка «максимов» не прошила небо очередями. Через какой-то миг, осмелев, я поднял голову. Самолетов было уже две группы: одна летела по левую сторону от узкоколейки, где были склады, другая — вдоль опушки леса, на батарею.

О, эти противные черные кресты в желтом круге! Сколько перевидел их, а не привык, не научился смотреть на них равнодушно, без содрогания. Каждый раз, когда видишь их над собой, тебя невольно охватывает ужас и отчаяние от своей беспомощности... Я глянул на тупо срезанные крылья и кресты на них и тотчас же снова уткнулся в землю: самолеты ударили из крупнокалиберных.

Казалось, что я лежал так, уткнувшись в землю, целую вечность. Но прошла всего минута-другая. И за эту ми-

нуту огненная колесница пронеслась надо мной и скрылась за лесом. Еще какое-то время противное карканье пулеметов слышалось четко, затем — все глуше и глуше... Но вот и совсем смолкло. Наступила тишина — люди задвигались, послышались окрики командиров, ржанье лошадей.

«Пронюхали!» — подумал я.

Вскочив, я побежал к завалу из пней и, пока бежал какую-то сотню метров, сотню раз проклял свои ноги, которые из-за слабости несли меня не так быстро, как мне хотелось бы. Впопыхах я угодил по колено в ров, и было противно хлюпать в сапогах, полных воды. Я сел на край ямы, снял сапог, отжал портянку, встряхнул и только стал наворачивать ее — вот они,— из-за леса снова «горбачи». Нависая друг над другом, «горбачи» образовали замкнутый круг вроде «чертова колеса». Тот, что был внизу, бросал бомбы — эти легкие бомбардировщики чаще всего брали на борт по две бомбы, но зато, штурмуя, бросали их метко; а те «горбачи», которые уже вышли из пике, строчили с высоты из пулеметов.

И вдруг — не знаю сам, почему — мне стал противен мой страх. Я решил: пусть убьют, но не буду больше тыкаться носом в эту тухлую болотную землю. «К черту! Не хочу!» — кричало все внутри... Я сидел на земле и, как ни в чем не бывало наматывая портянку, наблюдал за тем, как по небу катится это ревущее, стреляющее «чертово колесо». Первое, что я увидел в следующий момент,— блестевшую на солнце крышу вокзальчика. Она поднялась кверху; затемняя ее блеск, над вокзалом взметнулось черное облако, и вместе с треском разорвавшейся бомбы, донесшимся до меня, крыша стала разваливаться на части: стропила полетели в одну сторону, листы железа — в другую. Из привокзальных построек выскакивали люди. Укрыться от обстрела было негде, и бойцы ныряли в кюветы, наполненные болотной водой.

Наблюдая за ними, я думал: меня презренная вражина не загонит больше в канаву! С меня хватит! Дудки! Не спуская глаз с огненной колесницы, надвигающейся на меня, я не спеша снял второй сапог, отжал портянку, встряхнул, но наматывать ее на ногу не спешил, смотрел: умело работают фрицы! Вот «горбачи» нависли над бараками. В тот же миг с опушки леса, от мостка, где мы сворачивали с узкоколейки, застрочила счетверенная уста-

новка «максимов». Наши стреляли бронебойными, и стреляли хорошо: трассы прошивали «колесо» насквозь. Заядно стреляли зенитчики! Только напрасны были их старания: эти «горбачи» хорошо бронированы, пулей их не возьмешь. И, как бы подтверждая свою неуязвимость, «горбачи» катались и катались над поляной. Я видел, как отделялись от фюзеляжа бомбы. Какое-то мгновение они летели плашмя, как поленья; потом вытягивались носом книзу, напоминая сигару... Еще какой-то миг — и вот штабель овчинных полушубков, прикрытый брезентом, взлетает в поднебесье. Кажется, что там, вдали, выросло невесть откуда огромное серое облако и закрыло полнеба. Повисев мгновение, оно начало медленно оседать на землю, и тогда стало видно, что это падают черные лоскуты наших сибирских полушубков, в которых мы коротали всю зиму.

Сознание у меня работало четко. Похоже, думал я, он бомбит двухсотками. Значит, на борту каждого «горбача» действительно лишь по две бомбы. Если они будут их сыпать без разбору, то пока «чертово колесо» достигнет нашего угла, бомб у них не останется.

Я спокойно обулся, поднялся с земли и, цепляясь руками за корневища, взобрался на завал. И когда я был уже на самом верху, то вдруг увидел, что колесо из десятка «горбачей» с воем сирен и неизменным карканьем пулеметов неотвратимо приближается к нашей опушке леса. И хотя еще минуту назад я решил, что больше не буду тыкаться мордой в землю, увидев над собой «горбачей», я уткнулся ничком, спрятавшись под огромный еловый пень, который был бы надежным укрытием не только мне; любой медведь облюбовал бы тут для себя берлогу. Даже теперь я не могу без содрогания вспомнить тот миг. К счастью, я спрятался вовремя, ибо, едва распластался на земле, как по задубевшему боку пня забарабанили пули. Молодая листва полетела с березок; кора от пня взметнулась брызгами, и в водоотливную канаву полетела щепа. Я прижался к сырой, влажной от ночного дождя земле. Сирены выли, выворачивая душу; гордый и непреклонный в своей решимости — не думать больше о спасении своей жизни,— я обнимал землю, царапал ее руками, готовый слиться с ней. И тут же влажная земля ухнула всей утробой, сдвинулась под моим животом, заходила, как живая. Сладковатый дымок нитротолуола резанул

непривычно близким и резким запахом, и я понял, что бомба разорвалась где-то рядом.

18

Вой сирен мало-помалу затих. Значит, улетели. Я приподнялся, вылез из своего укрытия. В сотне метров от завала, посреди канавы, в которой скрывался Максимов, парила рыхлая, развороченная взрывом земля. Недоброе предчувствие подтолкнуло меня к воронке. В двух шагах от ямы на срезанной осколками березке висела пилотка. Сам Максимов лежал посреди ямы, развороченной бомбой, ноги и спина — в воде, руки вытянуты, словно он хотел в последнюю минуту выползти из канавы. Тут же, на бровке, валялся котелок; мятая клюква рассыпалась на траве, и вода в яме была такая же — неприятно розовая.

Мне стало не по себе при виде раздавленной клюквы, которой я только что набил свой пустой желудок... Убедившись, что сержант мертв, я пошел к своим, к опушке, где стояла батарея.

По ту сторону завала, в березняке, зияла еще одна воронка от авиабомбы. Болотистая земля была вывернута наизнанку, и виднелись неестественно белые жгуты корней, оголившиеся при взрыве.

На краю воронки стоял сержант-автоматчик — тот самый, который готовил пленным завтрак.

— Товарищ комбат, у вас лопаты есть? — окликнул он меня.

— Да. А что?

— Да вон...— и он кивнул в сторону.

Неподалеку от воронки, на лужайке, лежали двое немцев. У одного из них, как мне показалось, был насквозь пробит череп: все лицо залито спекшейся кровью. Другой лежал на боку, и я не видел его лица, но на спине, обращенной ко мне, чернело огромное маслянисто-липкое пятно.

— При бомбежке, что ль? — спросил я, как будто это имело какое-то значение, от чего они погибли.

— При первом обстреле. Вот зарыть надо, а у нас лопаты нет.

— Пошли. Найдем.

Мы пошли в глубь леса, где стояли орудия.

Навстречу нам выбежал Тябликов.

— Товарищ комбат! Наконец-то! Мы уж беспокоились...— Тябликов наскочил на меня, готовый, кажется, расцеловать от радости.— Тут такое творится, а вас нет и нет.

Я оглядел старшину, стараясь по его виду узнать, с какой он вестью встречает меня: с радостной или скорбной. Но по выражению лица старшины понять ничего не мог. Все мы были вымотаны до предела, и даже Тябликов, который еще два дня назад держался молодцом, выглядел прескверно. Осунувшееся, обезображенное шрамом лицо его не выражало ничего, кроме усталости.

— Что-нибудь стряслось? — обеспокоенно спросил я.

— Уносную третьего орудия ранило.

— Тяжело?

— Пришлось пристрелить. Ахмед к обеду бульон варит.

Я глотнул слюну при слове «бульон».

— Старшина, дай сержанту две лопаты,— кивнул я на автоматчика, который молча стоял рядом.

Тябликов пошел за лопатами.

От группы пленных, которые продолжали сидеть под деревьями, подошел к нам немец и что-то стал говорить сержанту.

— Чего он там? — спросил я.

— Пленный унтер просит разрешения поставить на могиле березовый крест и повесить на него пилотки убитых.

— Пошли его знаешь куда! — ответил я в сердцах.

— Знаю! — отозвался сержант.

— Ну, вот и все. Дай ему лопату в руки — и пусть проваливает!..

Тябликов вернулся с двумя лопатами. Я взял одну из них, сунул в руки унтера.

— Комм! — сказал я, не глядя в его сторону. И, переждав, пока сержант с пленным отошли, добавил, обращаясь к старшине: — Вон там, на болоте, лежит Максимов. Я с ним случайно столкнулся. Собирал клюкву для Бордадына. Убило при бомбежке. Похоронить бы надо.

Тябликов изменился в лице.

— Если это приказ...

— Я думаю, что это наш долг. Все-таки столько воевали вместе.

— Товарищ комбат, прошу, не приказывайте! Я его, скотину, зарывать не буду.

Я понимал старшину... Я вспомнил, как он приносил мне кусочек рафинада, добытый у друзей, и я отдавал его Пане. Наверное, старшина мог бы и сам попить чаю с сахарком, однако отдавал ведь! А тот, погибший, обворовывал своих же товарищей...

И я сказал:

— Попросите кого-нибудь от моего имени.

— Хорошо! — Тябликов повеселел, оживился.— Эй, Солод! — крикнул он.

Солод не очень охотно взял из рук старшины лопату и пошел искать труп Максимова. Мы с Тябликовым направились в расположение батареи. Сухой валежник похрустывал под ногами, шуршала прошлогодняя березовая листва; звуки эти раздражали; все казалось, что похрустывание валежника и шорох листьев мешают уловить гул приближающихся самолетов.

Однако гул, действительно шедший откуда-то издалека, не нарастал, не приближался, как всегда, когда в небе были самолеты, а какими-то странными толчками растекался по лесу, словно там, далеко-далеко, за неведомыми опушками и борами, кто-то колотил по земной утробе дубовой колотушкой.

Мы остановились, прислушиваясь. Тревожная догадка насторожила каждого. Пока мы стояли, я уловил, что стучало по утробе земной не только на западе, в районе Рогавки, но и на севере, и на юге. Звуки боя доносились со всех сторон.

— Все! Началось...— Тябликов зло выругался и сплюнул сквозь свои золотые зубы.

— Ругайся — не ругайся, бранью беде не поможешь,— сказал я, чтобы скрыть свое замешательство.— Идите, командуйте бульоном, а я на минутку зайду к Зотову.

Тябликов свернул налево, к костру, где хлопотал Ахмед Абдуллин, а я пошел в глубь леса. Пока я собирал клюкву, батарейцы успели нарубить лапнику и соорудить из веток навесы вроде шалашей — для себя и для политрука. Это они здорово придумали, укрыв Зотова. Потому что лежать неподвижно, и глядеть все время на небо, и видеть, как над тобой проносятся «горбачи» с обрубленными крыльями и черными крестами, видеть, как они стреляют и бомбят, и быть при этом беспомощным,— этого не выдержит даже самый мужественный человек. Ребята молодцы, что прикрыли политрука.

Полулежа на носилках, Николай строгал березовую палку с рогатиной на конце. Мне жаль было тревожить его — настолько он сосредоточенно работал штыком самозарядной винтовки: обрезал сучья, счищал кору. Стружки и куски бересты белели на гимнастерке и на траве.

Но Николай заметил меня и, отбросив палку, протянул руку:

— Доброе утро, комбат!

— Не очень доброе, Коля.

— Ничего. Живой?

— Живой...— Я забрался в шалаш и обнял Николая. В его бодром голосе мне послышалась перемена, и я присел с ним рядом.

— Вот строгаю себе костыли,— сказал Зотов.— Может так случиться, что в бою будет не до меня. Некому будет тащить носилки. Тогда я обопрусь на костыли и пойду. Думаешь, не сумею? Еще как! Ведь одна-то нога у меня здоровая! А переломаю кости — в госпитале срастят. Лишь бы выйти к своим.

— Ты не беспокойся, вынесем!

— А я и не беспокоюсь — теперь у меня есть оружие и есть одна задумка. Я не подыму при виде фрица руки вверх. Нет, они меня живым не возьмут! Я все передумал, Вася! Мы тут одни, и я скажу тебе, как на духу: если мне суждено будет умереть, то я умру как надо.

— Я думаю, что мы не только вынесем тебя, но и сохраним орудия. Кузовлев обещает, что с Волхова нам будут помогать сибиряки. Как сказал бы майор Лысенко, пробьют нам штрек.

— Штрек не штрек,— задумчиво подхватил Зотов,— хотя бы Полисть они форсировали. Две речки за одну ночь нам не одолеть.

Возразить Николаю было нечего, и мы оба помолчали.

— Говорят, при налете убило двух фрицев? — тихо спросил Николай.

— Ну и что?

— Надо же: свои угодили!

— Слишком редко они ошибаются,— уклончиво заметил я, опасаясь, как бы Николай вновь не повернул разговор на свое: мол, а я вот ни одного фрица не убил.

Но Зотов вдруг грустно поглядел на меня и неожиданно перевел разговор на другое.

— Что-то я не вижу Пани? — спросил он.

— Она с батальоном Мезенцева. Прикрывают наш отход.

— Это жестоко.

— Михалыч сказал, больше некого было оставить.

— Оставил бы хоть того же Васюкова.

— Старшина небось и перевязывать-то не умеет.

— Недолго перевязывать-то осталось. Слышишь?

Мы помолчали — звуки боя слышались все отчетливее. Нарушил нашу беседу Ахмед Абдуллин — принес Зотову котелок бульона. Ахмед напомнил, что и мне пора, и я засобирался уйти, но Николай удержал меня. Котелок был горячий, и он не спешил с едой.

— Я решил: не умирать раньше времени. Лежу и думаю: погляди вокруг — сколько бойцов! Какая сила!

— Была когда-то сила...— сказал я.— Зимой, под Крестами.

— Да, сила! Сила! — подхватил Николай. И вдруг спросил безо всякого перехода: — А знаешь, как в древние времена называлась эта земля? Чудь! В этих вот местах скликал свое войско Александр Невский. Каждая деревенька была обложена повинностью: сколько выставить пеших ратников, сколько — конных.

Поначалу этот неожиданный ход мыслей Николая насторожил меня. Но, вспомнив, что до войны он преподавал в школе историю, я понял, почему он завел разговор о Невском.

Я молча слушал Зотова.

Звуки боя доносились со всех сторон.

Этот гул, шедший отовсюду, помимо нашей воли, жил теперь в каждом из нас. Что бы ни делали мы: копали ли ровики, вырубали ли просеки для ведения огня прямой наводкой, растаскивали ли пни в завале,— каждый из нас с тревогой прислушивался к звукам далекого боя.

Кажется, где-то справа, за тем вон леском, слышна даже трескотня автоматчиков... Отойду в сторонку от ребят, которые рубят просеку в мелколесье, постою. Нет, это не похоже на автоматные очереди. Уж очень резкий звук — так и слышится: дук, дук, дук... Скорее всего немцы прочесывают рощи крупнокалиберными пулеметами. Я знаю теперь, что это за машина такая — МГ-34. Пулемет этот может строчить беспрерывно. К концу пустой, стреляной ленты присоединяется другая, заряженная; когда ствол нагревается докрасна, пулеметчик вы-

нимает его, бросает на землю — остудить; мигом вставляет запасной, и... продолжается работа.

Да, решаю я, это он стучит, МГ-34. Значит, где-то наш заслон сбит. А может, в этом месте всю зиму фронт стоял так близко — кто ж про то знает?

Послушав, я снова возвращаюсь к бойцам и вместе с ними растаскиваю пни, рублю кусты ольшаника. Батарейцы, как и я, изредка — то один, то другой,— затаившись, прислушивались к этим звукам, которые, казалось, приближались с каждым часом.

В полдень — мы уже заканчивали чистку просек — с западной стороны поляны, из-за развалин вокзала, показались люди. Они брели по насыпи — нестройно, неторопливо, то в одиночку, то небольшими группами по два-три человека. Большинство их было с оружием, были среди них и раненые. Они едва волочили ноги, то и дело останавливались, оглядывались назад, прислушивались. Что это за люди — остатки батальонов, прикрывавших наш отход, или раненные в завязавшихся боях?

Взобравшись на завал, я достал бинокль и оглядел отступавших. У многих бойцов белели перевязки... Я переводил взгляд с одной группы на другую — мне все казалось, что среди раненых я непременно увижу Паню. Она, должно быть, вон с теми, что показались из-за развалин вокзала. Без головных уборов, с окровавленными бинтами. Нет, обознался. Наверняка она вот с этой группой, которая только еще поднимается на насыпь...

Но сколько я ни вглядывался в изможденные лица бредущих по насыпи людей, Пани среди них не было. Я убрал бинокль в футляр и, привалившись спиной к замшелому стволу березы, постоял, оглядывая всю ширь болота, изрезанного осушительными канавами. Солнце било в глаза; я прикрыл их, и от недосыпания и усталости под веками запрыгали фиолетовые и желтые всполохи. Было приятно стоять так, подставив лицо солнцу, и чувствовать успокоение во всем теле. За столько дней недоедания, постоянного ожидания смерти даже самые естественные человеческие желания — желание спать, есть — притупились. Об этом думалось уже не так остро: организм привык ограничивать свои потребности. И лишь о Пане вспоминал я с прежней болью и остротой. Я думал о ней постоянно; каждое воспоминание о ней вызывало во мне какую-то невысказанную тоску. Едва я смежил веки, как

сразу услышал ее голос: «Опоздал!» Услышал голос и увидел ее серые глаза. Я вспомнил, как выходил утром к столу, за которым батарейцы собирались во время завтрака, и часто перехватывал ее нежный взгляд...

Вернувшись к батарейцам, которые продолжали работу, я приказал Урнову установить за поляной постоянное наблюдение. Не ровен час — за отступающими подразделениями могут неожиданно появиться и немцы.

Урнов — длиннорукий, сгорбившийся, в помятой, не совсем высохшей куртке — смотрел воспаленными глазами куда-то мимо меня. Когда я объяснил задачу, он вяло сказал: «Есть!» — и, не козырнув даже, пошел. Ноги у него заплетались от усталости, от бессонной ночи, и мне стало жаль Егора. Однако я вернул его, велел подтянуться. Урнов взял двух бойцов — наблюдателя и корректировщика, они подхватили коробку со стереотрубой и ушли.

Зашевелились и пехотинцы. Все утро они слонялись без дела, а теперь повысыпали на опушку — растаскивали пни, мешавшие обстрелу, рыли в насыпи водоотливной канавы неглубокие ячейки для одиночек и побольше — для пулеметчиков. Земля была рыхлая, поддавалась и саперным лопатам. Но уже после двух-трех штыков на дне отрытого окопчика выступала вода — рыть окопы в полный рост не имело смысла.

«Рама» не исчезала с неба ни на минуту. Когда она, поблескивая плексигласовым колпаком кабины, появлялась над поляной, пехотинцы бросали работу. Однако как только самолет скрывался за дальними перелесками, бойцы снова появлялись на опушке леса и работали дружно, стараясь наверстать упущенное.

Все время небольшими группами летали «горбачи». Видимо, немецкое командование считало, что наши боевые порядки еще не настолько скученны, чтобы посылать тяжелые бомбардировщики.

Незаметно солнце склонилось к западу. Опушка леса, где мы расположились, насквозь просвечивалась его косыми лучами. Над поляной колыхались еле видимые волны марева; пели, трепеща крыльями, жаворонки. В просеки, которые мы прорубили для обстрела, видно было, что отступающие бойцы идут не только вдоль насыпи узкоколейки, но и прямо по болоту. С каждым часом все яснее и отчетливее слышалось дундуканье крупнокалиберных пулеметов.

Поляна кишела людьми: это бойцы, ползая на животах, собирали прошлогоднюю клюкву. Я смотрел на них — и мне становилось нехорошо.

Меня постоянно преследовал запах прели, и очень хотелось, чтобы как можно скорее скрылось солнце и наступила ночь.

19

В сумерках из болот и лесных урочищ на поляну стал выползать туман. Еще светило солнце, и его последние лучи бронзовели на стволах сосен, а уж бора на той, западной, стороне поляны не видно стало. Слились с зубчатой кромкой леса темные стволы елей; неподвижная гряда дальних перелесков как бы плыла в клубах тумана. Белесые клочья его росли и ширились, обволакивали плотной пеленой влажную землю. Не прошло и часа, и вся западная опушка поляны потонула, захлестнутая серосизой волной. Волна эта медленно катилась, подступала к нам, поглощая одну за другой водосточные канавы. Вот уже не стало видно ни бараков, ни остатков вокзала.

Из этой пелены, которая росла и ширилась буквально на глазах, то и дело выныривали черные силуэты людей. Теперь шли уже не одиночки — шли взводы и роты: пулеметчики с жестяными коробками для лент, пэтээровцы с рогатинами противотанковых ружей на плечах. Туман настигал их — они пропадали, на их месте появлялись новые — поток отступающих был беспрерывен. Судя по всему, заслон оставляла не одна наша дивизия.

Чем больше ограничивалась видимость, тем с большим беспокойством все мы прислушивались к разноголосице боя. Стали слышны не только глухие взрывы мин, но и отдельные автоматные очереди.

Связи с Урновым не было; видимость в тумане — ничтожная, и я решил снять на ночь наблюдательный пункт. И сделал это вовремя, ибо тут же прибежал связной с КП полка и передал приказ Кузовлева: выступать и продолжать движение к району сосредоточения — к станции Дуброво.

Люди на войне, заметил я, больше всего не любят вот таких резких и порой необъяснимых перемен: готовились к обороне, вырубали просеки, делали завалы вдоль канав. Зачем? Для чего? Обычно в таких случаях батарейцы

ворчат: мол, ворочаешь-ворочаешь — и все кобыле под хвост! Но на этот раз, выслушав приказ о движении, никто не обронил ни слова. Батарейцы работали, как всегда, четко. Откатили на руках орудия, уложили в зарядные ящики снаряды, приготовленные на случай стрельбы, приторочили к станинам топоры и лопаты.

Спустя четверть часа, а то и раньше, батарея была уже готова к выступлению. Упряжки выстроились повзводно на лежневке. Ждали только нас с Ахмедом, пока мы решим, как заменить уносную, убитую при обстреле. Посоветовавшись, мы решили, что иного выхода нет: политрука надо нести на себе, а Белку, кобылку-трехлетку, которая ночью тащила сани с Зотовым, впрячь вместо уносной.

Белку впрягли; Абдуллин и Тябликов подняли на плечи носилки с политруком, и батарея тронулась. Снимался и батальон Башмакова. Прикрывать рубеж оставался Пресняков; для усиления его батальона придавалась минометная батарея.

Туман окутал весь лес. Даже в десяти шагах от лежневки стволы берез были едва различимы. Лишь в вышине, сквозь разрывы облаков, виднелось вечернее, померкнувшее небо. Из леса на просеку выходили бойцы — усталые, молчаливые. В темноте невозможно было понять — рота, батальон ли? Со всех сторон слышалось фырчание моторов, сдержанные окрики командиров, торопивших солдат.

— Марш-марш! — подал я команду.

Ободья колес лениво застучали по лежневке. Туман придавал нашему движению таинственную неопределенность. Даже мы, командиры, не знали точно ни порядка, ни маршрута движения. Бойцы шли молчаливо, стараясь не терять из виду спину впереди идущего.

В сизом ельнике мы поравнялись с группой пленных. Немцы плелись по обочине лежневки. Их жалкие фигуры в шинелях мышино-зеленого цвета были почти не различимы, и Кувшинов, ехавший во главе нашей колонны, чуть не сбил уносной одного из них. Немец посторонился, пропуская упряжку, поскользнулся на шатком бревне, упал в кювет. Остальные пленные шарахнулись в сторону от упряжки; никто из них не нагнулся, чтобы помочь упавшему. Молоденький сержант-конвоир — тот, что просил у меня лопату,— ухватил немца за воротник шинели, помог

ему подняться. Весь бок у пленного потемнел от грязи, с шинели стекала вода, и вид у немца был потерянный. Пленные стояли на обочине лежневки, пропуская батарею. У многих из них не было ремней и пуговиц, и они стояли, придерживая полы шинелей грязными руками.

Мы молча прошли мимо. Никого из нас не удивлял вид пленных. Даже Зотов с носилок посматривал на них равнодушно.

Мы с Шариповым шли следом за носилками политрука — мы должны были, когда Ахмед и Тябликов устанут, сменить их. Николай не дремал; и вообще, заметил я, после нашего последнего разговора он ожил: начал снова вникать в дела, в заботы подразделения.

— А кто ж останется тут прикрывать наш отход? — спросил он теперь.

— Пресняков. Ему приданы минометчики, да и батарея гаубиц поддержит.

— Что, танки? — обеспокоенно спросил Зотов и даже поднялся на локтях.

— Нет! Какие тут танки — на этих болотах! — пояснил Шарипов.— Хуже! Горючее у тягачей на исходе. Слили остатки со всех тракторов в шесть машин, чтобы хоть они дотащились. А остальные заминировали.

— А гаубицы?

— Гаубицы отстреляются, и...

Помолчали. Каждому ясно было, что скрыто за этими словами недосказанными.

— Помните,— вновь заговорил Зотов,— поначалу многие ребята горевали, что орудия наши на конной тяге. А оказалось, что для этих дорог лучше конной тяги ничего не придумаешь.

Николаю, видимо, не хотелось, чтобы мы его оставляли, и он решил занимать нас разговором.

— Да, нет тяги лучше своих двоих,— мрачновато подтвердил Аткай.

Неожиданно движение колонны застопорилось. Ни сутолоки впереди, ни обычного окрика: «Комбата вперед!» — просто упряжки стали. Ахмед и Тябликов, используя передышку, торопливо опустили носилки на землю. Обгоняя батарею, обочиной лежневки шагали пехотинцы.

Я побежал вперед. На песчаной насыпи, у мостка, где мы утром сворачивали в лес, толпится народ. На откосе,

разбитом колесами и полозьями розвальней, стояло, накренившись, орудие. «Так и есть — завязли! Теперь не избежать пробки»,— подумал я. Однако никого из батарейцев возле полковушки не было. Ездовой не понукал коренника, никто не толкал передок. Вся прислуга вместе с командиром орудия Санкиным толпилась на насыпи. Батарейцы обступили кого-то, размахивали руками и радостно кричали:

— Привет! С возвращением!

Матерясь в душе, я вбежал на насыпь.

Там, в окружении батарейцев, стояла девушка-санинструктор — в стеганке, в запыленных кирзовых сапогах; через плечо — лямка от тяжелой брезентовой сумки. Я опешил: неужели Паня?! Я не видел этой сумки всю зиму, с самого того боя под Рогавкой, когда не удалась наша атака. Голову нельзя было приподнять от земли — так остервенело сыпали автоматчики. А Паня бегает по полю, перевязывает раненых, оттаскивает их назад, к опушке леса. Я был на НП; выскочил из ровика, схватил ее за руку, тяну к себе, в укрытие. А она сопротивляется, бьет меня по рукам и кричит: «Сумка! Сумка!» Оглянулся, а посреди поля, где я ее подхватил, лежит на снегу санитарная сумка. Пришлось снова ползти под самый огонь...

Паня стояла радостная и, как мне показалось, немного сконфуженная возбуждением батарейцев; а ребята, обступив ее, расспрашивали о бое: когда обнаружили немцы их отход, где теперь батальон Мезенцева? Санкин теребил Паню за плечи, словно не веря, что видит ее живой; Шкарбанов снимал с нее тяжелую санитарную сумку.

— Паня! — крикнул я, не помня себя от счастья.

Все обернулись на мой голос, отпрянули от Пани, расступились, освобождая мне дорогу. Сердце вдруг заколотилось; я рванулся было к ней, но все-таки не побежал, не обнял, не стал целовать ее — не мог я обниматься при всех! Я постоял, разглядывая ее. Паня тоже изменилась в лице и, погасив улыбку, глядела на меня. Я знал, что надо что-то сказать ей — пусть при всех, но надо! Однако у меня не было сил ни говорить, ни двигаться.

— А ну, по местам! — обронил я чуть слышно.

Батарейцы побежали вниз, к орудиям. Зафыркали лошади; зашуршали, продавливая песок ободьями колес, передки. Колонна двинулась.

Я подошел к Пане, взял ее за руку и, не удержавшись, обнял.

— Здравствуй!

— Здравствуй...— Паня уткнулась в мое плечо и затихла.

Мне показалось, что она плачет.

По ту сторону насыпи, в редком березнячке, из тумана выступали очертания тракторов. Это тягачи гаубичного полка, приданного нашей дивизии. Еще ночью они везли орудия. У них кончилось горючее, и вот они стоят. Они останутся тут навсегда. Гаубицы выпустят по немцам последние снаряды; прислуга вынет из казенников замки, снимет панорамы, бросит все это в сточные канавы, до краев наполненные ржавой болотной водой, автоматы в руки — и на прорыв... «Вот так же и мы...» Я холодею от этой непрошеной мысли. Я гоню ее прочь: а может, нам повезет? Может, мы со своими орудиями пробьемся?

От мостка, перекинутого через водосточную канаву, слышатся окрики и ругань:

— Какого полка? Ранен? Нет? Почему оставил позицию?!

— Чего ругаешься? — бубнит кто-то в ответ.— В тылу-то все мы прытки. А ты пойди там, под пулями, покомандуй!

Снова брань и щелканье винтовочного затвора, а в ответ уже более сдержанное ворчание: «Разошелся...» Судя по всему, на дороге выставлен заградотряд. Бойцы отряда останавливают каждого, кто идет по насыпи. Ранен — топай дальше, здоров — сворачивай направо, копай для себя ячейку на опушке, готовься встретить немца.

— А тебя пропустили? — спрашиваю я у Пани.

— Да. Я сопровождаю раненых...— и она кивнула в сторону.

Там, под насыпью, на розвальнях, оставшихся, видимо, с самой зимы, сидели бойцы. Их было человек пять: у одного забинтована голова, у другого рука подвешена на белой марлевой подвязке.

— Ты не ранена?

— Нет. Я думаю, что Мезенцев меня нарочно отправил — пожалел. Позвал меня и официально так говорит: «Товарищ сержант, заберите раненых и отправляйтесь в санроту».

— Молодец капитан! — не удержался я.— Не то что ваш Михалыч, которого ты так нахваливала.

— Я и сейчас на него не в обиде.

— Где была наша оборона, когда ты уходила?

— По эту сторону Криушанки. Немцы не очень-то напирают. Не хотят залезать в болота. Пулеметчики на мотоциклах да эти, со «шмайссерами».

— Значит, наши землянки у них! — сказал я грустно. У меня чуть было не сорвалось: «наша землянка»... Но я вовремя сдержался, чтобы не напоминать об этом Пане.

Однако по взгляду ее, по тому, как Паня вскинула на меня глаза, я понял, что она тоже подумала об этом, о нашей землянке, где мы были так счастливы, где столько было говорено и передумано!

— Ты что-нибудь ела?

— Нет, немцы сразу же обнаружили отход. Как только затарахтела «рама», так они сразу же и полезли. Зашвыряли наши окопы минами — и пошли.

— Тогда первым делом тебя надо накормить. У нас уносную убило. Аткай мудровал над мясом. Варил его в ведерке. Виноградных листьев нет, так он какую-то травку нашел, соус из прошлогодней клюквы сделал. Небось у Тябликова осталось в заначке. Пошли скорей к нему — я попрошу.

— Пока не могу. Надо сдать раненых.

Я знал, что порядок следования подразделений никем не отменялся. Согласно этому порядку санрота должна выдвигаться следом за нами.

Я сказал об этом Пане.

— Ну, гвардия! — окликнула она раненых.— Раз-два, встали и пошли.

Усталые бойцы, хоть и без видимой охоты, поднялись, и мы пошли вместе. Пока я тут любовался Паней, батарея уже вытянулась из леса и повзводно, не спеша, подымалась на насыпь. Ездовые понукали коренников и уносных, прислуга подталкивала передки, и на нас с Паней никто не обратил внимания. Скользя по песчаному откосу, мы спустились вниз, на лежневку, и постояли на опушке, пропуская пленных немцев. Паня видела этих пленных впервые, она удивленно уставилась на них, не понимая — явь это или сон. Пока мы стояли, наблюдая изможденных немцев, которые медленно плелись обочиной, подоспел и

ный арьергард: взвод связи, Ахмед и Тябликов, несшие политрука.

— Товарищ политрук! — крикнула Паня радостно и метнулась к носилкам.

— Паня! Вот так встреча! — лицо Николая просветлело.— А мы уж тут с Василием беспокоились.

— До самой смерти ничего не будет...— Паня долго трясла его руку и, как бы извиняясь, что вынуждена выпустить ее, кивнула на бойцов, молчаливо наблюдавших эту встречу.— Вот, сдам раненых и вернусь.

— Михалыч следом за нами тащится.— Казалось, Николай, хоть и не на большое время, не хотел расставаться с Паней. Он добавил весело: — Топай, братва, осталось немного — десять верст на своих двоих да пять по коридору — на брюхе.

Бойцы посмеялись и не спеша, гуськом потянулись к черневшему невдалеке ельнику; из тумана навстречу им тащился жалкий обоз из трех-четырех розвальней: все, что осталось от санроты.

20

Ночь походила на предыдущую. Туман обернулся изморосью; куртки, автоматы, носилки с политруком — все потяжелело; кругом была темень, а мы все так же медленно двигались по узкоколейке. Орудийные колеса то дробно постукивали по шпалам, то буксовали, тащились юзом, увязая по ступицу в песчаном месиве. Иногда мы спускались с насыпи, чтобы объехать застывший посреди дороги тягач, у которого кончилось горючее. По обе стороны дороги в лесах, окутанных туманом, неяркими пятнами мерцали костры. В их красноватых отсветах виднелись серые стволы елей; мельтешили преломляемые огнем тени людей: кто-то отдыхал, зажав горячий котелок меж колен, хлебал болтушку...

А мы все шли.

Иногда лес отступал — и из тумана выплывали островерхие тесовые крыши домов. Трудно было понять в темноте, что это — поселок лесхоза или бараки рабочих торфяного предприятия,— ни одно окошко в домах не светилось, не лаяли собаки, не скрипели калитки. После каждого такого поселка на насыпи становилось все теснее и теснее. Обочиной плелись раненые; тут же, вперемешку с пехо-

тицами, шли незнакомые минометчики — с трубами, опорными плитами, с коробками для подноски мин. Откуда-то из сырого серого месива возникали силуэты баб и стариков, несших скарб в заплечных мешках. Они останавливались, заслыша вблизи тарахтение орудийных колес, и молчаливо стояли с краю откоса, провожая нас взглядами. Я всматривался в их скорбные лица: где-то в этой толпе шла и Дарья Колобова с ребятами и коровой. Бойцы поглядывали на толпу беженцев, а мужики и бабы — на нас: надо же — и лошади у них справные, и упряжь вся есть, как положено! Старики тайно вздыхали; бабы шептали молитвы и крестились.

А мы все шли.

Ноги, отекшие от недоедания и усталости, слушались плохо. Казалось, ну еще сотню шагов продержишься. Отсчитал сотню, ну еще десяток... Вот и этот десяток продержался, не упал... Очень хотелось спать. Каждый из батарейцев норовил ухватиться за ствол орудия. Кладешь руку на влажный от измороси ствол полковушки; он ныряет то вверх, то вниз, уходит от тебя, когда лошади убыстряют шаг; но постепенно приноравливаешься к этим скачкам, успокаиваешься, смежаешь веки, и все перед тобой плывет, как в непрерывно качающейся зыбке. Через десяток-другой шагов, споткнувшись о шпалу, открываешь на какое-то время глаза — все так же мерно покачивается перед тобой дуло, затянутое брезентовым чехлом. Постукивали о шпалы колеса, всхрапывали лошади. Кто-то, заснув, упал, и упряжки следовавшего сзади орудия чуть не растоптали ротозея. Командиры кричали и матерились, слипались глаза, подкашивались ноги.

А мы все шли.

Уже засветлело небо на востоке. Туман ходил полосами — полоса темная, полоса светлая, но темных полос становилось все меньше и меньше. Вяло, нехотя светлело небо, будто кто-то сдергивал с него одну повязку за другой. Стали видны облака, и появились в них разрывы, и в этих разрывах, казавшихся черными, зияли, как проboины, бесцветные звезды. Они помигали-помигали да и погасли. Звезды погасли, но зато засветились, засверкали, словно церковные купола, вершины сосен. Свет этот раздвинул хмарь, и стали видны зубцы дальних перелесков, засвиристели лесные птицы, запели жаворонки.

А мы все шли...

Мы остановились лишь тогда, когда совсем рассвело. Где-то, еще невидимое за лесами, вставало солнце; еще клубился над болотами туман, таял, повисал каплями на молодых березовых листьях, на лепестках желтых цветов мать-мачехи, которой были усыпаны скаты песчаной насыпи, но быстро светало, и двигаться в открытую стало опасно.

По левую сторону узкоколейки завиднелся поселок. Громоздкие, с подклетями избы разбросаны просторно. У самой насыпи домов было мало — все больше чернели высокие, как шеи жирафов, печные трубы, да одиноко глядели в поднебесье колодезные журавли. На задах изб, в затишке сараюшек и бань, стояли машины со счетверенными «максимами», горели костры, суетливо и беспокойно сновали люди.

Судя по всему, это была станция Дуброво — район сосредоточения, и я приказал батарее остановиться. Бойцы в изнеможении валились на землю. Мне стоило немалых усилий заставить командиров взводов рассредоточиться и замаскировать орудия. Сворачивали с насыпи и спешили укрыться в лесу минометчики, саперы, химики. С каждой минутой заметно пустела насыпь узкоколейки. Не урчали тягачи, не стучали колеса полковушек, не топали по шпалам сотни людских ног; лишь поводили мокрыми боками лошади, стараясь стряхнуть с себя влажную коросту росы.

Но эта тишина, как всегда на марше, была обманчива и непродолжительна. Не успел я отдать необходимые распоряжения о том, как лучше рассредоточиться, а уж появился связной: «Товарищ комбат, срочно к первому!»

Я снял с себя куртку, отсыревшую за ночь, бросил Шарипову: «Устраивайтесь. Кормите людей!» Затянул покрепче ремень и побежал. На песчаной обочине насыпи, поросшей белоглазой повиликой и кашкой, сидели и лежали бойцы. Кто-то курил; кто-то стягивал кирзачи, чтобы отдохнули ноги; но очень многие пехотинцы спали, подостлав шинели.

Бессонная ночь свалила служивый люд. Не спали только автоматчики взвода Васюрина, несущие охрану штаба полка. Они сидели в сторонке от насыпи возле какого-то железнодорожного сарая. Двери сарая были сорваны с петель; под дырявым навесом, насквозь проби-

тым снарядом или миной, тлел костерок — автоматчики готовили завтрак.

Васюрин — в распахнутом ватнике, без пилотки — сидел на опрокинутом ящике из-под гаубичных гранат и курил. Я спросил у него о Кузовлеве, где его КП, думая, что вызывает командир полка.

— Вон, внизу, у вокзала,— кивнул в сторону Васюрин.— Сам генерал собирает...

Внизу, под насыпью, чернели развалины вокзальчика. Крыша его была снесена взрывом, не было в помещении ни оконных переплетов, ни дверей. В пристанционном скверике валялись бревна и листы жести — все, что осталось от крыши, снесенной взрывной волной. Но небольшая платформа и кирпичная лестница, ведущая от нее вниз, к залу ожидания, сохранились, и теперь, в затишке, на ступеньках лестницы, обогреваясь скупыми лучами утреннего солнца, сидели командиры подразделений.

Командиры сидели на ступеньках, а перед ними, внизу, стояли генерал Сарычев и два каких-то незнакомых мне полковника.

Генерал нетерпеливо посматривал на часы.

— Через две минуты начинаем, товарищи! — жестко, с раздражением заговорил Сарычев.— Ждать мы больше не можем.

Я торопливо спустился по песчаному откосу — в том месте, где насыпь была развалена воронкой,— и, проходя мимо Сарычева, козырнул.

— Артюхов? — козырнув ответно, произнес генерал.— Живой?

— Живой, товарищ генерал.

Я не видел Сарычева месяца три — с того самого дня, когда мы предпринимали первую атаку на станцию Рогавка, и теперь приглядывался к комдиву. Сарычев не похудел, как все мы, грешные; выглядел свежим, был побрит, подтянут. Кожаный реглан плотно облегал его грузные плечи, и генеральская фуражка шла к крупным чертам его лица.

— Садитесь! Садитесь! — Сарычев кивал головой в ответ на приветствия командиров.

Я прошел к лесенке и сел. Рядом со мной оказался майор Звездин, командир гаубичного артполка, приданного дивизии. Обычно общительный, веселого нрава, майор был мрачен: видно, потеря тягачей и орудий далась

ему нелегко. Он хорошо знал меня, но теперь только сдержанно кивнул в ответ на мое приветствие. Я оглядел собравшихся. Когда-то такие оперативки, где собирались почти все командиры, не обходились без шуток, радостного шума, анекдотов. На этот раз все сидели молча — усталые, осунувшиеся. Я отметил про себя, что было немало новых, незнакомых мне командиров: значит, многих мы потеряли за зиму.

— Василь, Артюхов! — окликнул меня кто-то.

Я оглянулся — сверху ко мне пробирался майор Лысенко.

— Майор? — крикнул я и, обрадованный, приподнялся ему навстречу.

— Он самый...

Лысенко протянул мне руку, но я не удержался — обнял майора. Обнял, похлопал ладонями по его исхудалым плечам и, отстранившись, еще какое-то время держал его ладонь в своей, всматриваясь в лицо бывшего комбата. Это лицо было знакомо мне до самой последней морщинки... Он похудел, как и все мы, наш майор, но был хорошо выбрит, что — знал я — всегда стоило ему большого труда. Глубокие язвы оспин на лице майора никогда не покрывались растительностью, зато по краям их, словно трава на обочине костров, каждый день выступала густая, с золотым отливом отава. Щетина плохо поддавалась безопаске, он ожесточенно намыливал и смурыгал щеки и часто срезал края оспин, и порезы потом кровоточили.

«Где-то нашел наш майор укромное местечко, чтобы побриться в этакой-то сутолоке?» — думал я.

Лысенко тоже разглядывал меня, и во взгляде его было обычное спокойствие и лукавство. Не хитрость, а грустная, едва уловимая ухмылочка, скрытая в глубоких морщинах рта. Он глядел на меня, чуть сощурившись, и было такое впечатление, что рассматривает он не меня, а свой большой нос, который, как и щеки, был истыкан оспенными язвами. Глаза его, полуприкрытые большими веками, подрагивали — от недостатка сна и нервного напряжения.

Мы сели рядом.

— Ну, как у вас, все живы? — первым делом спросил майор.

— Пока ничего. Максимова убило. Вчера, на торфянике. Клюкву собирал Бордадыну.

Лысенко промолчал, не высказал ни огорчения, ни сожаления.

— Галкин здесь? — раздраженно спросил Сарычев.

— Я! — командир медсанбата привстал, и все невольно поглядели на него, думая, наверное, как и я, о том, какая ответственность легла на его плечи.

— Тогда начнем. Больше ждать не можем ни минуты.— Генерал недовольно поморщился: из всей дивизии собралось десятка два командиров. Когда-то в одном его полку собиралось больше. Верхняя губа генерала, рассеченная самурайским тесаком, вздулась, и нижняя половина ее задвигалась отдельно: верный признак плохого настроения.— Прошу приготовить карты, товарищи.

Послышался шорох, щелканье кнопок на открываемых планшетах, шуршание листов бумаги. Однако у многих командиров, как и у меня, карт этого района действия не было: каждый норовил заглянуть к соседу.

Сарычев взял в руки свой планшет — необычно широкий, с целлулоидным боком, какие бывают лишь у летчиков; вскинул его на ладонь.

— Товарищи, задача всех подразделений — одна: соединиться с основными частями армии...— заговорил Сарычев своим характерным, четким и быстрым говорком.— Начало артподготовки в девятнадцать ноль-ноль. Наши позиции — по ручью Вертечно. Первая линия немецкой обороны, по сведениям разведки, вдоль восточного берега Керести. Оборона глубоко эшелонирована: доты, «лисьи норы», колючая проволока, минные поля... Отметили?

Я скосил глаза на лист карты, который лежал на коленях майора Лысенко, и отыскал Вертечно. Ручей был неширокий, но, как и все здесь ручьи, в эту пору, когда еще не сошла весенняя вода, каверзный. Он петлял вдоль нашей передовой, пересекая обе дороги, по которым нам предстояло двигаться — и лежневку и узкоколейку,— и впадал в Кересть где-то посреди коридора. Ясно было, что весь этот треугольник — от Вертечно до Керести — непроходим из-за болот. Не то что упряжкам — на руках-то орудия по топям не выкатить! «Значит, все: с орудиями придется расстаться»,— подумал я. И мне стало не по себе при одной лишь мысли об этом. Так я расстроился, что какое-то время до меня не доходило то, о чем говорил

Сарычев: где будут стоять гаубицы майора Звездина, где минометчики,— я думал о своем. «Бросить орудия? Нет-нет! Ни за что!» И лишь когда генерал сказал, что выходить будем по узкоколейке, у меня отлегло на душе: по узкоколейке мы наши полковушки можем на руках катить следом за пехотой.

— Первый удар принимает на себя наш сосед,— продолжал Сарычев.— Наша дивизия следует во втором эшелоне. Мы должны вступить в дело в двадцать один час. Штаб дивизии выходит с полком Фокина, фланги закрепляет Кузовлев. Никаких промедлений! Только вперед и вперед! Навстречу нам по немцам ударят свежие части армии. Они помогут.— Генерал посовещался о чем-то с полковниками, стоявшими рядом, и, отбрасывая набок планшет, продолжал: — Теперь последнее... Не распыляйте сил, не теряйте друг друга из виду. Если какому-нибудь подразделению не удастся пробиться к своим, просачивайтесь в немецкий тыл, вливайтесь в партизанские отряды. Итак, в нашем распоряжении целый день. Надо использовать его для того, чтобы побеседовать с каждым бойцом. Чем лучше уяснят бойцы сложность обстановки, тем больше шансов на успех.

— Надо еще выстоять этот день,— подал голос Кузовлев; майор сидел рядом с Чуевым и даже не привстал.

Сарычев набычился и неодобрительно глянул — кто это говорит? Заметив своего преемника, генерал нисколько не подобрел, только бросил:

— Выстоим! Больше стояли. Только прижимайтесь ближе к немцам. Под их боком меньше риска пострадать от бомбежки.

— Хорошо, коль подпустят! — пошутил кто-то.

Генералу явно было не до шуток.

— Вопросы есть? — спросил он.

— Слухом мы пользовались...— заговорил незнакомый мне капитан,— будто три дня назад дорога была пробита.— Он встал: высокий, угловатый, большая голова его походила на тыкву, хрящеватые уши торчали из-под пилотки.

Сарычев пошевелил губами; лицо его стало квадратным, непроницаемым.

— На прошлой неделе сквозь боевые порядки немцев удалось просочиться одному полку,— сказал генерал неохотно.— Но фланги закрепить не успели.

Все помолчали.

— Нет ли продовольствия на дивизионных складах? — заговорил майор Звездин, и по интонации трудно было понять — вопрос это, или майор собирался выступать, ибо он встал и, чтобы привлечь к себе внимание, поднял руку.— Бойцы едва держатся на ногах. Я слышал, начфин даже деньги сжигает. Может, и склады так же...

— На складах ничего нет. Выход один: станут полковые батареи на позиции, забирайте лошадей. По одной уносной на батальон хватит?

— Хватит! — подхватил белобрысый капитан.

— А как же быть с орудиями? — крикнул я.

— Надо смотреть правде в глаза,— сухо отозвался Сарычев.— С орудиями через эти болота нам не пробиться. Выйдете живыми-здоровыми — получите новые. А люди... люди дороже орудий. Да если б мне сейчас такую дивизию, какой она была, когда мы только выгрузились из вагонов, под Крестами. Да что дивизию — полк, каким мы штурмовали Покровское. Я б одним полком смял немцев в коридоре!

Никто не отозвался, все молчали. В дивизии было много новых командиров, пришедших с пополнением после взятия Крестов. Они молчали потому, что не знали той старой, кадровой дивизии. А старожилы, вроде Кузовлева и Лысенко, молчали оттого, что невольно вспоминали те, первые, бои: наше неумение, горячность. Да, если б можно было вернуть ту старую дивизию с двумя приданными ей полками АРГК! Но ее нет, и нашего кадрового полка нет. И его уже никогда не вернуть! Ведь именно он, Сарычев, и не уберег тогда, в первых боях, свой полк. Горяч был, хотел показать себя, хотел взять Покровское приступом. Ан не получилось.

Да... Думал об этом, видимо, не один я, думал каждый из «стариков», потому-то молчали и Кузовлев, и Лысенко, и Чуев...

— Ну, если все ясно, тогда — по местам! — скомандовал Сарычев.— Вот комиссар подсказывает: всем побриться, подтянуться! — квадратное лицо генерала на какой-то миг осветилось улыбкой, но тотчас же снова стало замкнутым и жестким.— Итак, товарищи, до встречи на Большой земле!

Этой Большой землей был крохотный плацдарм на левом берегу Волхова, в районе Зеленщины. Именно отсюда, из-под Зеленщины, в лютую крещенскую ночь двинулись мы в немецкий тыл.

Теперь в памяти многое сгладилось, и я с трудом припоминаю подробности той ночи. Помню только, что мы очень спешили — гнали упряжки чуть ли не на рысях. Спешили потому, что обе дороги — и лежневка, по которой мы двигались, и узкоколейка, снабжавшая группировку сухарями и боеприпасами,— все время находились под обстрелом. Сразу же за Зеленщиной — деревенькой, которую взял батальон Кузовлева в ночь под Новый год,— шла железная дорога на Ленинград. Слева виднелись бараки и дома небольшой станции Спасское Городище. Отсюда, от этого полустанка, уходила в глубь Апраксина бора, на торфопредприятия, узкоколейка, построенная перед самой войной.

В сумерках мы перебрались через железную дорогу и, обгоняя пехоту, помчались по поляне, заросшей ольшаником. И там, в конце поляны, увидели шоссе Новгород — Ленинград, изрытое и исковерканное взрывами. Этот крохотный клочок земли по нескольку раз за неделю переходил из рук в руки — и на асфальте не было живого места. Броском мы пересекли шоссе и углубились в лес. Орудийные колеса глухо застучали по бревнам лежневки. Тогда эта гать была новая — ее только что настлали саперы. По обочинам зияли глубокие кюветы, их еще не забило снегом и не залило водой. Всю ночь двигались мы, соблюдая самую строгую осторожность: запрещалось курить, разводить костры. Ни обогреться, ни прилечь на розвальни — только знай понукай коренников: марш-марш!.. Когда мы пришли в Дуброво, солнце уже поднялось. В небе стыли морозные, радужные столбы. Перерезая их, над кромкой леса уже летел первый косяк «юнкерсов».

Но как ни старался я теперь вспомнить особые приметы дороги от Дуброва к Спасскому Городищу, ничего восстановить в памяти не мог. Ясно одно: зимняя ночь вдвое длиннее теперешней. И сумеем ли мы, голодные, усталые, да еще с боями, пробиться за короткую летнюю ночь сквозь немецкую оборону — сказать трудно. Един-

ственный источник наших сведений о неприятеле — карта, и мы теперь изучаем ее.

Мы сидим в ровике на опушке леса. Пригнувшись, я держу одной рукой край карты; лист ее разостлан на коленях майора Кузовлева; слева от майора, вобрав голову в плечи, притулился Аткай Шарипов, держа наготове карандаш и линейку. На мятом листе трехверстки — ошметья земли. Только что улетели «юнкерсы». Бомбили где-то далеко, позади наших позиций в районе Дуброва, бросали крупные галушки — пятисотки,— и рыхлая земля сыпалась нам на колени.

Стряхнув с листа землю, Кузовлев уставился на карту. Зелень лесов и «копытца» болот разбиты просеками на квадраты. Мы — артиллеристы, мы знаем, что эти просеки специально для нас и прорублены; мы знаем и расстояние между ними, и теперь каждый прикидывал, разглядывая карту... Между Дубровом и Городищем селений нет. Нет ни узкоколейки, построенной перед самой войной, ни лежневки. Значится лесной кордон Теремец, но и он, надо полагать, не уцелел. Хорошо видны лишь голубые извилины рек — Керести, Полисти и ручья Вертечно, на берегу которого, в ровике, мы теперь и сидим.

— Доты есть у них? — озабоченно спрашивает Кузовлев.

— Да. По всему ручью. Особенно велика плотность огня вдоль насыпи узкоколейки,— докладываю я.— Аткай у нас мастер по дотам. Клянется-божится расстрелять их прямой наводкой.

Кузовлев разглядывает карту — исхудалый, нос с горбинкой, черные брови срослись на переносице; он то и дело морщит их: или недоволен моим докладом, или размышляет.

— А эти речки, товарищ майор, очень глубокие? — спрашивает Тябликов.— А то я не умею плавать. Бабушка моя (тут все глянули на Аткая и засмеялись), бабушка моя, чалдонка, Ангару вольным стилем переплывала. А меня не научила.

«Черт ты золотозубый! — обругал я мысленно старшину.— Нашел время для шуток!»

— Не горюй, старшина! — Кузовлев толкнул Тябликова в плечо.— Саней в лесу много. Посадим тебя в розвальни, как в Ноев ковчег. Переплывешь! Речушки — это что! Тут есть места похуже этих речек...— Майор

взял из рук Аткая карандаш и постучал им по листу карты.

Я скосил глаза на то место, где он постучал. Вижу: большое зеленое пятно с копытцами — болото Михайловские мхи.

— Но насыпь-то есть по болоту,— говорю я.— По насыпи и пробьемся.

— Немцы не дураки: прикроют насыпь минным полем, и не подступишься.

Кузовлев, задумавшись, умолкает.

Молчим и мы. Взгляды всех невольно обращаются на восток, в сторону ручья.

Я не раз читал, что перед боем — даже перед самым обычным, когда роте предстоит взять крохотную деревеньку,— все бойцы думают и говорят о чем-то возвышенном, значительном. Предстоящий прорыв был главным боем, в котором должна решиться судьба не только нашего подразделения, но и судьба полка, дивизии. И, однако, все мы думали и говорили о простом, будничном.

Неужели так трудно будет пробиться? Ведь всего-то тут каких-нибудь полтора десятка километров!

— Сколько у вас осталось упряжек? — спросил Кузовлев.

— Три.

— Отдайте еще одного коня пехоте Башмакова. Ослабли ребята. Едва на ногах держатся.

— Распадется упряжка.

— Ничего. Получите взамен мототягу.

— Когда-нибудь получим. А сейчас как быть?

— Отстреляетесь — и взрывайте пушки.

— Может, не взрывать? — неуверенно возражаю я.— Просто побросать замки в блиндаж, залитый водой, и заметить. Не ровен час — вернемся.

Аткай не дает договорить мне:

— Мой взвод взрывать не будэт! Лошадэй нэ останется — на руках покатим!

Кузовлев глядит на Аткая и молча кивает головой.

— Посмотри ты на себя! Разве таким ты был под Новый год, когда катал свои пушки? — Майор поднимается, складывает карту и прячет ее в планшетку.

Поднимаюсь и я.

— До встречи, боги войны! — Кузовлев пожимает всем

нам руки, говоря каждому какие-то добрые слова.— Значит, я с Башмаковым. Вы вступаете в дело сразу же за нами. Связные ваши при штабе есть?

Я отвечаю, что да, есть. Майор, пригнувшись, выпрыгивает из окопчика. Из соседнего ровика, где отдыхают бойцы расчетного отделения, появляются автоматчики — ординарцы командира полка.

Мы остаемся одни, «боги войны». Все слышали, что говорил Кузовлев, еще раз растолковывать его приказ излишне. Сколько ни толкуй, сколько ни объясняй, а всего, что случится в бою, предусмотреть нельзя. В бою вся надежда на то, что каждый из нас будет самозабвенен и находчив.

В густом подлеске, где стоят наши орудия, Кузовлева окликает часовой. Ординарцы отвечают часовому, и хруст валежника стихает. Возле орудий несет караул ездовой Кувшинов, и мне приятно от сознания, что все у нас пока по-уставному. Я приказал всем отдыхать после бессонной ночи. Спят командиры орудий, заряжающие, наводчики, подносчики снарядов. И Паня спит. Не спят лишь командиры огневых взводов, старшина да Егор Урнов, который ползает со стереотрубой по самому берегу ручья — высматривает огневые точки немцев.

— Идите отдохните! — говорю я командирам.— Ночь будет трудная.

Тябликов и Пеканов уходят, а Шарипов остается.

— Я все равно не засну. Вы бы отдохнули, товарищ комбат, а я бы подежурил.— Отыскав в своем форменном ватнике дырку, Аткай вытягивает клок ваты.

Я догадываюсь, что Шарипов собирается мастерить самокрутку. У меня в заначке есть еще щепотка махорки. Последняя. Мне становится жаль Аткая — я подаю ему свой алюминиевый портсигар.

— Бэрэги, бэрэги! — отказывается Шарипов; но я прошу его оставить мне чинарик, и он соглашается.

В окопчике приятно запахло махорочным дымком. Сидя на корточках, Аткай курит, смотрит на лес, на ручей; поверх поваленных и искалеченных при бомбежке деревьев видно небо — голубое, без единого облачка.

— Смотрю вот и думаю,— говорит задумчиво Аткай.— Плохо, что тут нэт гор. В горах все ясно, в горах каждый камэнь — союзник. А тут — болот, сиро. Бр-р! Кури лучше.— Он подает мне самокрутку, и я тоже затягиваюсь и,

пуская колечками дым, гляжу на Аткая и вспоминаю родную деревню.

— Нет,— говорю я,— наша, рязанская земля самая лучшая. Поля, бугры, овраги, а над ржаным полем — крест полузабытой церквушки. Ох, красота! — Я не нахожу слов, чтобы выразить всю красоту нашей земли, и у меня вырывается что-то вроде стона.

Вдруг слышу шаги. Оборачиваюсь — Паня. Без сумки, без автомата.

Аткай, как все горцы, подчеркнуто тактичен. Он тут же придумывает причину, чтобы уйти.

— Вздремну мал-мала! — одернул гимнастерку, прихорашиваясь, козырнул и пошел.

Паня прыгает ко мне в ровик. Чернеет бруствер, и из-под свежевыброшенной земли выглядывают фиолетовые цветочки лесных колокольчиков.

— Ты поспала?

— Да. Хорошо выспалась. Видала во сне, как будто горит соседний с больницей дом. Вижу пожар, хочу крикнуть, позвать на помощь, а рта разинуть не могу.

— Мама говорила всегда, что пожар во сне — к хорошей погоде, к солнцу.

— А я думала, что-нибудь другое. Уж очень мне хотелось крикнуть.

— Во сне всегда так: хочешь убежать — ноги не слушаются, хочешь сказать — слов нет. Как у нас теперь с тобой.

— Это правда...— Паня засмеялась.— А знаешь, что я хотела сказать? Пока мы вдвоем, давай дадим друг другу клятву, что будем в бою всегда-всегда вместе! Ни на шаг чтобы!..

— Клянусь! — отвечаю я, не раздумывая ни секунды.

— И я тоже.

Я снимаю с себя автомат, бросаю его на бруствер; лиловые головки колокольчиков примяты ложей ППШ. Я обнимаю Паню и целую ее. Губы у нее солоноватые, влажные и очень теплые. Теплые-теплые.

Разомкнув руки, мы стоим рядом, молча.

— Если выйдешь живой и пройдешь всю войну, навести мою мать в Озерах.

— А я как-то не думаю об этом: выйду — не выйду. Думаю только, что нам помогут свежие части.

— У наших, знать, тоже сил маловато.

— Найдутся силы!

— Найдутся! Найдутся! — подхватил чей-то голос.

Мы с Паней разом встрепенулись: голос этот показался нам знакомым. Еще миг — и мы увидели майора Лысенко.

— Товарищ майор! — радостно воскликнула Паня.

— Он самый...— Увидев Паню, Лысенко помялся.— Извините, не помешал?

— Нет, ну что вы! — возразила Паня.— Какими судьбами?

— Прикомандирован.

— На время выхода? — воскликнул я.

— Да. Весь мой персонал будет выходить со штабом дивизии, а я попросился к вам.

— Спасибо, товарищ майор! — Я не знал, чем выразить свою признательность Лысенко. Будто стопудовая тяжесть свалилась с моих плеч. С приходом Лысенко я мог быть спокоен за судьбу батарейцев. Не сдержавшись, я обнял майора.

— Где Николай? — спросил майор, помогая Пане выбраться из окопчика.

— Рядом, во взводе связи.

— Пойду поздравствуюсь. Как он?

— Ничего, крепится. Он сделал себе костыли,— рассказывала Паня,— и готов идти в атаку на костылях.

— Лады! — майор оживился, повеселел.— А то, как к нему ни заглянешь — только разговор, что, мол, ни одного немца не убил.

— Сейчас он об этом не вспоминает,— сказал я.— Он попросил автомат, и Чуев приказал ему дать его. И Николай успокоился сразу...— Мы уже подошли к окопчику, в котором прятали Зотова.

Неожиданно для меня в ровике, возле носилок, сидели — так, видимо, и не спавшие,— Тябликов, Шарипов и Санкин. Николай приподнялся, заслышав наши шаги.

— Лысенко! Рябой черт! — крикнул он и, схватив самодельные костыли, попытался стать на них — настолько ему не терпелось.

Но майор опередил его: спрыгнув в ровик, он обнял политрука:

— Здоров, Коля... дружище!

— Здоров, здоров! — подхватил Николай.— Хватит, отлежал свое. Пришла пора воевать.

— Потерпи, не горячись...— Лысенко уложил его на

носилки и присел на бруствер.— Знаете что, друзья,— добавил он вдруг, блестя повлажневшими глазами,— давайте обменяемся адресами.— Щелкнув кнопкой планшета, майор достал блокнот, карандаш.— Запишите мой: Горловка, проспект Сталина, двадцать четыре.

— Так в Горловке же немцы! — удивился Николай.

— Нехай, недолго им там быть! Записали? Теперь давайте запишу ваши.

Мы с Колей дали свои адреса, Тябликов — дядюшки Якова, что в Танхое, Санкин — адрес матери в Омске, Аткай назвал свой аул.

— Все, кто выйдет,— заговорил вдруг Николай,— не забывайте этого бора. Пусть с этим лесом у нас связаны не всегда приятные воспоминания, но о дружбе нашей мы помнить должны всегда.

— Ну что ты, Коля! — Лысенко поглядел на Зотова из-под своих больших ресниц.— Зачем помирать раньше времени? Все мы выйдем!

В окопчике было тихо: все слушали майора. И почти незамечаемая сыпалась звонкая, непрерывная трескотня автоматных очередей.

22

Была пора белых ночей, и хотя солнце давно уже скрылось, отсветы его не гасли. Заря полыхала по всему небу, и было светло как днем.

Мы уже отстрелялись, и пехотные батальоны первой линии после артподготовки скрылись в лесу за ручьем. Нам выступать было еще рано, и батарейцы сидели в ровиках неподалеку от пустых орудийных ящиков. Снарядов у нас не осталось. Лошадей не осталось. Сил тоже не осталось: они были отданы стрельбе. Мы знали, что стреляем в последний раз, и старались вовсю. Все расчеты стреляли хорошо. Казалось, от такого плотного огня немецкие доты и пулеметные точки, которые они оборудовали за зиму по ручью, все до единого должны были бы взлететь на воздух. И теперь каждый из нас невольно вслушивался в звуки боя за ручьем. Что-то не отдаляется, не затихает стрельба. Неужели фрицы уцелели? Но определить, где идет бой, было нелегко: треск «шмайссеров» и дундуканье крупнокалиберных пулеметов слышались со всех сторон. То и дело взлетали осветительные ракеты.

В их мерцающем сиянии зеленые кроны деревьев казались желтыми, а страдальчески сосредоточенные лица бойцов — бескровными. Взлетали мины и шлепались тут же, за ручьем: по звуку их полета трудно было понять — кто стреляет: наши или немцы.

Плотность наших порядков возрастала с каждой минутой. Отходили батальоны, оставленные нами для прикрытия. Плотность возрастала, но вместе с этим увеличивалась и неразбериха. Запыхавшиеся, в мокрых гимнастерках, бойцы бежали мимо нас, падали, спотыкаясь на брустверах и рвах; батарейцы матерились, швыряя им вдогонку оброненные при падении каски. Даже в окоп, на дне которого стояли носилки с политруком, втиснулись пехотинцы. Трое ухитрились втиснуться. Они торопливо хватали руками патроны из цинковой коробки и совали их в диски автоматов.

Земля гудела и содрогалась. В грохоте гаубичных выстрелов, в шипении осветительных ракет, в треске рвущихся мин я не сразу услышал гул приближающихся «юнкерсов». А когда услышал — они были уже над головой. Самолеты летели низко, без прикрытия и казались черными. Они всегда кажутся черными, когда нет солнца.

Днем бомбардировщики не раз появлялись над нашим расположением, но бомбили только колонны отходящих полков. Нас они миловали. По совету Сарычева мы оборудовали свои огневые настолько близко к передовой, что летчики, видимо, опасались нанести бомбовый удар по своим. Немцы хорошо знали, что мы готовимся к броску, что основные наши силы расположены в лесу, вдоль ручья, и они решили нанести массированный удар.

Все потонуло в гуле моторов, завывании падающих бомб, в треске взрывов. «Юнкерсы» сыпали бомбы без подготовки, с лету. Немцы знали свое дело. Каждый самолет нес на борту по меньшей мере дюжину небольших осколочных бомб, рассчитанных на поражение живой силы, и обязательно одну тяжелую, для устрашения.

Земля дыбилась от взрывов. Казалось, что даже деревья, как и люди, жмутся к земле, ища спасения. Но спасения не было. Прижавшись к стене ровика, я смотрел на небо и видел, как то у одного, то у другого «юнкерса» зловеще раскрывались пасти бомбовых люков.

— По воронкам! — коротко, но властно крикнул майор Лысенко.

Он первым выскочил из своего окопчика; за ним — Тябликов. Не сговариваясь, на бегу, они схватили носилки с политруком и побежали под гору, к ручью. Мы с Аткаем, как сидели рядом, так вместе и выпрыгнули и, пригнувшись, кинулись следом за ними. На огневой, где рядком стояли наши орудия, зияла огромная воронка с неровно вывернутыми краями земли. Ни лошадей, запряженных в передки, ни орудий... Из земли виднелись лишь обод колеса да край щитка с прорезью для панорамы. Но самого прицела не видно; да что прицела — станины не видно.

— Скорей! Скорей! — торопил всех майор.

Я подбежал к Паниному ровику, выхватил из ее рук сумку с красным крестом, и мы спрыгнули в воронку следом за Лысенко и Тябликовым. За нами, приговаривая что-то по-своему, свалился Аткай. Пеканов подбирался ползком, на брюхе. Последним тащился ездовой Кувшинов. Он нес оцинкованную коробку с «лимонками».

Взрывы, стрельба, треск падающих деревьев; ругань, крики, обрывки команд. Вся поляна вдоль ручья забита людьми — пехотинцы, саперы, беженцы из оставляемых нами деревень.

Кто-то ударяет меня в бок сапогами. Гляжу: Санкин... Наконец все батарейцы скатываются на дно огромной воронки, наполненной удушливым запахом взрывчатки.

— Гады! — никак не может успокоиться Аткай.— Ни одного орудия не осталось!

— Обожди, через час и нас не будет! Это капкан! Западня! Они всех нас перебьют тут! — выкрикивает Пеканов; губы у него трясутся, он знает, что вид у него жалкий, но никак не может совладать с собой.

Воронка глубокая; в ней так же безопасно, как и в дзоте. Батарейцы, притихнув, осматриваются: сколько же нитротолуола было в этой «галушке»?

— Прячьте головы — сейчас начнут строчить из пулеметов,— советует Тябликов.

Однако не успели еще «юнкерсы» отбомбиться, как в небе откуда ни возьмись возникает шестерка наших «ястребков». Истребители появляются так неожиданно, что «юнкерсы» не успевают даже перестроиться для отражения атаки. Небо расцвечивается фосфорическими трассами. Истребители расчленяют клин бомбардировщиков пополам. Бойцы высовываются из воро-

нок — давно не слыхали мы ласкового гула своих самолетов.

Очередь — и вот один из «юнкерсов» уже горит. Черный шлейф дыма стелется по всему небу. Подбитый «юнкерс» вспыхивает, и стремительно несущийся факел, высвечивая вершины дальних перелесков, скрывается в стороне Дуброва.

— Ура! — кричит Аткай.— Наши живы! Наша берет!

— Чего горло дерешь? — обрывает его Пеканов.— Подумаешь, прилетели...

Побросав в беспорядке бомбы, «юнкерсы» улетают. Истребители, словно торжествуя, проносятся над коридором; разворачиваются, кружат над нами, показывая звезды на крыльях. Из окопчиков и воронок выскакивают бойцы, кричат, машут руками.

— Гляди, наши!

— Ну, берегись теперь, немчура!

— Ничего, еще повоюем! — радостно шепчет Зотов.

Истребители перешли на бреющий. Что-то щелкает там, в вышине,— и вот над вершинами деревьев белыми крыльями замелькали бумажные листы. Всякие брошюрки и «пропуска» часто подкидывали нам немцы. Но чтоб наши разбрасывали листовки — такого еще не бывало. Поэтому каждый норовил схватить листовку.

— Глядите: красным напечатано...— Тябликов развернул листовку, читать не спешил — вытер грязь с ладоней.

— Читай, старшина! — не терпелось Пеканову.

— «Доблестные воины генерала Сарычева! — осипшим от волнения голосом начал читать Тябликов.— Вы сковали отборные части врага, и он не смог сломить героических защитников города Ленина. Ленинград борется. Ленинград победит!.. Выходите с боями к своим. Уничтожайте технику. Не оставляйте ее врагу. В случае, если кому-либо из вас не удастся пробиться на соединение с частями фронта, просачивайтесь в немецкие тылы, вливайтесь в ряды партизан — народных мстителей... Взрывайте мосты, нарушайте движение эшелонов, уничтожайте врага!

Наше дело правое!

Победа будет за нами!»

— Так. Ну-ка покажи! — Николай недоверчиво протянул руку.— А кто подписал — Сталин?

— Нет, подписано Военным советом фронта.

— Никаких просачиваний, будем выходить вместе со всеми! — говорит Аткай.

— Со всеми — значит, на верную смерть идти...— Пеканов выхватил листовку у политрука, аккуратно сложил ее и засунул в нагрудный карман.— Я... я... возьму с собой...— торопливо, сбивчиво продолжал он.— В коридоре нам не пробиться. Тут немец всего нагородил за зиму. Вон первый эшелон застрял... Застрял...

— И что ты предлагаешь? — Меня привела в бешенство эта трусость.

— Просачиваться к партизанам. Иного пути нет.

— Илья! Ты в своем ли уме? — строго, сдерживая себя, спросил Зотов, приподымаясь с носилок.

— Я-то в своем! — продолжал выкрикивать Пеканов.— Это вы все рехнулись! Вон в листовке сказано: уходить в партизаны. Это же приказ Военного совета...

На какое-то время в воронке наступила тишина.

— Да что вы слушаете его?! — крикнул Николай: не выдержал спокойного тона.— Я думал, что у нас в батарее нет вшивой овцы. Выходит, ошибся.

— Лежи, знай! — огрызнулся Пеканов.— Ты хочешь, чтобы я под огнем еще тащил тебя?!

— Ну и гад! — изумился Тябликов.

— Отставить! — спокойно приказал Лысенко.— Может, еще кто-нибудь считает, что лучше пробираться к партизанам?

— Выходить!

— Со всеми! — кричали батарейцы.

У меня, признаться, даже и мысли не было — п р о с а ч и в а т ь с я. Когда я услыхал об этом от Сарычева, я не подумал, что это относится к нам, артиллеристам. Говорилось — «в случае безнадежности», но ведь у нас еще есть надежда.

— Ясно! — Лысенко выждал, осмотрел собравшихся.— Значит, все за то, чтобы выходить с боем?

— Выходить! — Все в едином порыве подняли над головами карабины и автоматы.

— Со всеми! — в один голос сказали Тябликов и Абдуллин.

— Вместе! — лежа на носилках, взмахнул автоматом Николай.

Мимо нашей воронки вприпрыжку пробежал Кузовлев. Выставив перед собой атомат, командир полка бежал широко, размашисто. Я не успел окликнуть его — пора ли нам? — как увидел, что следом за ним, подминая еловый сушняк, бегут бойцы из взвода автоматчиков. С ними был еще кто-то из штабистов. Последним легкой трусцой семенил Проваторов.

— Артюхов, пора! Пошли! — Сутулый, нескладный, начштаба бежал налегке. Видимо, боясь отстать, он сбросил с себя даже шинель, оставив лишь планшет с документами и пистолет.

— Пошли так пошли! — Лысенко поднялся на край воронки, оглядев бывших своих подчиненных.— Ребята, помните! — голос его зазвенел на непривычно высоких нотах.— Помните: спасенье наше в одном — если мы будем держаться вместе. Все вместе! Кто первым берет политрука?

Тябликов и Абдуллин подняли носилки со дна воронки.

Наши истребители еще раз пронеслись на бреющем полете.

— За мной! — И, перепрыгнув через комья земли, вывороченной взрывом, Лысенко побежал первым.

Он бежал не очень быстро, а словно бы с ленцой, вразвалочку. Следом за майором, осыпая сырую землю с краев воронки, полезли вверх остальные. Я помог Абдуллину и Тябликову.

— Вы сменяете первыми! — предупредил я ездовых, чтоб они знали об этом и не отходили далеко от носилок.

— Хорошо, товарищ комбат,— отозвался Кувшинов; ездовые понимали, что я не случайно назначил их в первую смену. Огневики еще час назад работали, стреляли, а ездовые еще утром лишились лошадей; им и нести политрука.

Наконец и мы с Паней выбрались из воронки. Выбрались — глядь, мимо бежит Чуев, а с ним человек пять автоматчиков. На Кузьмиче все тот же кожушок, туго стянутый портупеей. На ногах — новые кирзовые сапоги; знать, за весну расколотил уже одни. Ничего лишнего на комиссаре — ни противогаза, ни планшета; за борт кожуха засунут пистолет, в правой руке автомат.

— Не отставать! Держите правее, к насыпи! — то и дело бросал Чуев автоматчикам, дружно бежавшим с ним рядом.

Легко перепрыгивая через поваленные деревья, бойцы не отставали от Кузьмича. Глядя на них, я невольно подумал о том, что во всем этом кажущемся беспорядке, оказывается, был определенный порядок.

Аткай, горячо взявшийся поначалу, сбавил; приноравливаясь к нам с Паней, пошел скорым шагом.

— Паня, брось ты свою брезентуху! — указал он на санитарную сумку, которая оттягивала ей плечи.

— Пригодится!

Мы с Паней не бежали, а шли, примериваясь к шагам Ахмеда и Тябликова, несших политрука.

— Ты привяжи меня к себе,— сказала Паня.— Я ведь и врукопашную ввяжусь в случае чего. Как тогда, под Зеленщиной.

Я радуюсь (если в моем сознании еще осталось место для этого чувства), радуюсь тому, что Паня шутит. Значит, не все потеряно. Значит, есть еще у нее силы. В нашем положении присутствие духа — едва ли не самое главное.

Метрах в двухстах правее насыпи, куда мы свернули по совету Чуева, было посуше. Лес в этом месте меньше пострадал от бомбежек и минометного обстрела. Ели росли просторно, раскинув черные ветви. В бору, видимо, всю зиму стояли какие-то тылы. Всюду валялись ящики, розвальни; зияли дырами полуобвалившиеся землянки. Перепрыгивая через ящики, бежали пехотинцы, саперы с миноискателями, брели раненые. Под елями чернели тени людей в гражданском — беженцы, ожидавшие той минуты, когда мы пробьем коридор. Вдруг среди этой пестрой толпы я увидел корову.

— Пересмена! — крикнул я Кувшинову, а сам свернул в сторону, к беженцам.

На поляне, окруженной елями, сбились старики и бабы — с берестяными туесами, с заплечными мешками. Они держались обособленно; старики курили, женщины сидели под деревьями на подстилке из хвои. Одна из них кормила ребенка. Рядом на длинной веревке паслась корова.

— Смотри! — крикнул я Пане.— Не Дарья ли Колобова?

Паня бросилась к женщине.

— Дарья!

Женщина отставила миску, сняла с колен девочку, которую кормила, и встала. И когда она встала с земли, я сразу же узнал ее: да, это была Дарья. Девочка подбежала к Пане.

— Тетя Паницка. Зацем стреляют? — лепетала она.

— Целы? — Дарья сокрушенно покачала головой.— Бомбил-то как! Живого места на земле не осталось.

— Андрей-то где? — спросила Паня.

— Вон, ящики проверяет. Наган где-то достал. Говорит: «Пошли на прорыв — нам теперь фриц не страшен...»

Заметив нас, из-за штабеля ящиков вышел Андрейка. «Бутылки» галифе топорщились и отвисали: судя по всему, он не только револьвер припас, но и набил карманы патронами.

— Пойдемте с нами! — предложила Паня.— Мы в третьем эшелоне идем. Раненого выносим.

— Вы бегите. Ваши уже прошли. А мы тут к своим, криушанским, приставши.— Дарья не могла стоять без дела, разговаривая с нами, она прилаживала шаль, чтобы удобнее было нести на закорках девочку.— Дед один с нами, Евлампий, до войны лесником служил на кордоне. Говорит, что надо выходить не по узкоколейке, а вдоль лежневки, на Теремец. Просека, говорит, вдоль насыпи узкая. Ваши-то как решили?

— Приказано — по узкоколейке,— сказал я не сразу. Подумав, я добавил: — Не спешите, Дарья. Через час все решится. Прислушивайтесь — затихнет бой, значит, мы пробились вперед. Тогда и вы двигайтесь.

Паня ничего не сказала, только обняла сначала девочку, а потом и Дарью Колобову.

И мы побежали догонять своих. Отставать нам было нельзя.

Ручей Вертечно мы перешли по мосту узкоколейки. Сразу же за ручьем была довольно большая вырубка, а может, и не вырубка вовсе: просто лес был повален при артобстреле или сведен на перекрытия дзотов — по ручью долгое время проходил передний край. Место вдоль ручья оказалось открытым, и роты первой линии, ворвавшись в немецкие траншеи, выбили их передовые части. Немцы отступили, и мы без единого выстрела пересекли эту вырубку.

Сразу же за вырубкой лес вплотную подступал к узкоколейке. Ели стояли черной мрачной стеной; стена эта лишь изредка, при вспышках осветительных ракет, высвечивалась неяркими, мигающими всполохами. В эти короткие мгновения видно было, как вдоль насыпи, по кюветам и лесным вырубкам, бежали бойцы. На земле был разлит отсвет неяркой белой ночи. В лесу стоял серый полумрак. Потные лица бегущих бойцов, стволы берез, кусты ольшаника — все было одного серого цвета. Лишь россыпи разрывных пуль, которыми стреляли немцы, да взрывы мин выхватывали из темноты полусогнутые силуэты майора Лысенко, Аткая, Урнова и других батарейцев, идущих впереди.

Мы углубились в немецкое предполье метров на пятьсот, не более, когда нам стали попадаться свежераненные.

— Куда прете! — закричал кто-то из командиров, которому на насыпи девушка-санинструктор перевязывала руку.— У них в лесу на деревьях «кукушки»*!

А сзади напирают все новые и новые взводы атакующих. Бойцы, запыхавшись, рвутся вперед. Автоматчики, кажется, строчат совсем рядом. Падают срезанные пулями сучья с вершин деревьев; трещат, оседая на землю, стволы берез и елей, перебитые осколками мин. С каждым шагом идти становится тяжелее, опаснее. Кто-то зовет на помощь, кто-то приказывает рассредоточиться. Ездовые, несущие политрука, опускают носилки на землю. Тяжко идти под обстрелом через лесные завалы, с громоздкой ношей в руках.

— Подымите меня с носилок! — просил Николай.— Я сам пойду...

Голос Зотова обрывается: с раздирающим свистом над нашими головами пролетают мины, и просека наполняется удушливым дымом. Оседая на вершины деревьев, шипят осветительные ракеты. Никто уже не бежит вперед: бойцы, выжидая, скатываются по обе стороны насыпи, в кюветы.

— Жива? — спрашиваю Паню. Я отыскиваю ее среди батарейцев, лежащих на откосе песчаной насыпи, подползаю, утыкаясь лицом в ее брезентовую сумку.

— Жива! — отзывается она.

Осветительная ракета, шипя, догорает в вышине; мы вновь вскакиваем и, пригнувшись, бежим вперед.

---

* Снайперы.

— Выйдем! — говорю я, будто в моих силах оградить Паню от мин и разрывных пуль.— Выйдем, Паня!

Пехотинцы обгоняют нас. Бойцы бегут молча — только позвякивают подвязанные на поясных ремнях «лимонки» да котелки; поблескивают в отсветах разрывов каски. Взвод ли, рота ли? — не понять: ни окриков, ни команд, лишь тяжелое дыхание да сдержанный мат.

— Язви его в душу! Строчит и строчит.

Бойцы бегут кучками: то насыпь пуста — лишь, осыпая иглы, падают на нее срубленные осколками сучья хвои, то вдруг откуда ни возьмись нас вновь обгоняют десятка полтора бойцов. Бегут шибко — только стучат каблуки по шпалам. И с каждой новой волной атакующих, которую проглатывает дымная просека, впереди снова вспыхивает треск автоматных очередей.

Вдруг на какой-то миг наступает тишина, и я ясно слышу голос Чуева:

— Всем залечь и рассредоточиться! Вилков! Саперы! Вперед!

«Значит, наскочили на минное поле»,— догадываюсь я. Мы снова скатываемся с насыпи. Лысенко и Шарипов уже внизу. Подходят с носилками Санкин и Тябликов, они уже сменили ездовых. Опускают носилки на дно кювета и садятся. Откосы кювета густо поросли осокой, на дне хлюпает вода, но мы не обращаем на это внимания.

— Утопите, черти! — кричит Зотов.

Припав к земле, по-над насыпью крадутся бойцы. Пули чиркают по рельсам, по насыпи, со свистом рикошетят.

Паня садится рядом со мной. Я слышу ее частое дыхание. Мины рвутся по другую сторону узкоколейки. Видимо, Кузовлев пытается все-таки потеснить немцев на флангах. Когда же это кончится? На сколько мы пробились — на километр, на два?

— До Керести еще далеко,— говорит Паня.— Она через наш поселок протекает. Мостки у нас. Мама белье стирала на задах. Рядом... А как далеко! — вздыхает она.

Я молча глажу ее руку.

Перестрелка впереди вспыхивает с еще большим ожесточением. Синие стежки трассирующих пуль прошивают лес, скрещиваются в небе. Немцы очень близко: порой слышатся даже слова их команд. Но где они, куда стрелять? — понять невозможно, и мы лежим выжидая. Так

длится четверть часа, а может, и больше. Наконец нервы у нас не выдерживают.

— Пошли! — Лысенко поднимается.

— Я вперед не пойду! — узнаю я голос Ильи Пеканова.— Олухи! Стадо! Выходите как хотите, а я пойду в немецкий тыл, к партизанам. Вы еще обо мне услышите!

Он поднялся и со сноровкой, которой я не ожидал в нем, стал карабкаться на насыпь.

— Куда он побежал?! Пустите ему пулю вдогонку! — бросил с земли Николай.

Но Пеканов уже исчез из виду.

— А-а! — махнул рукой Тябликов.— Пусть бежит, сволочь! Далеко тут не убежишь.

Уход Пеканова действует на нас удручающе, и мы не сразу идем вслед за майором.

Теперь наша с Аткаем очередь нести Зотова. Мы с Шариповым подхватываем носилки; Паня поддерживает меня, когда я подымаюсь из кювета.

Неожиданно небо раскалывается на две половины. Та — верхняя часть его стала темной-темной, а нижняя заискрилась, заиграла ярким дневным светом. Засияли вершины сосен, а стволы берез стали белее, чем днем. Все инстинктивно валятся на землю. В небе слышится гул. Это прилетели немецкие самолеты и подвесили осветительные ракеты. Нам свет не нужен. Мы нарочно дожидались ночи. Значит, фрицы вызвали себе поддержку.

Тени от деревьев перекрещиваются с тенями бегущих бойцов. Еще миг — и я вижу, что сосны на той стороне просеки начинают валиться, словно кто-то скосил их гигантской косой. Треска падающих сосен я уже не слышу: его заглушают взрывы. Горячей воздушной волной обдает меня, Аткая, лежащего на носилках политрука.

— Они пустили в дело бризантные...— шепчу я.

Мне приходилось не раз видеть залпы «катюш», когда по небу, прочерчивая косматые дуги, летит сразу десяток снарядов, но слышать противное завывание бризантных еще не доводилось. Ослепленные взрывом, люди лежат на земле. А немцы, подвесив осветительные ракеты, швыряют и швыряют мины — по шесть сразу. Ни головы поднять, ни переползти в менее опасное место.

Едва прекратился обстрел, вижу: снова бегут пехотинцы. Рядами, волнами — повзводно. Одна волна, вторая,

третья... Но бегут уже не вперед, не в сторону немцев, а назад — к ручью.

Батарейцы тоже вскакивают; мы с Аткаем берем носилки и стоим в нерешительности: идти вперед или поворачивать назад?

— Товарищи! — на насыпи, в окружении автоматчиков из взвода Васюрина, стоит Чуев. Кожушок на груди распахнут, правая рука с зажатым в ней автоматом поднята высоко над головой.— Кузовлев с трудом удерживает фланги. По насыпи нам не пробиться. Повсюду фугасные завалы и минные поля. Поворачивайте на лежневку!

24

У всякого боя свои законы. Бывают обычные бои, когда у тебя есть и командир батальона, и командир роты, и взводный есть, и отделенный; когда между ними четко поддерживается связь, и каждый знает, где свои, где противник, когда, в какое время и с какой стороны его атаковать. Иными словами, когда во всем есть порядок и логика.

Но бывают и другие бои — когда эта взаимосвязь и логика нарушены. Казалось бы, есть все: и комполка, и комбат, и ротные, и взводные. Но нет между ними привычного контакта. В таком бою все равны, каждый сам себе и командир и воин. В таком бою важно, не кто ты по положению и по званию, а кто ты по сноровке и храбрости, по умению организовать людей.

Именно таким был и этот бой...

— Разобраться! Разобраться! — повторял одно и то же Чуев.

Комиссар стоял у моста через ручей — в том самом месте, где мы его переходили. Но стоял он не на насыпи, а внизу, в немецком окопе. Окоп был наполовину обрушен нашей артподготовкой — в нем зияла глубокая воронка. Вокруг Чуева толпились автоматчики.

— Проваторов! — кричал Кузьмич.— Кто видел майора Проваторова? — спрашивал он каждого, кто спускался с насыпи.

Из темноты, из узкого ущелья просеки, задымленного от взрывов мин и осветительных ракет, выходили все новые и новые группы бойцов.

Вышли и мы и, обойдя воронку, спустились в немец-

кий окоп. Следом за нами, сдержанно ворча, спрыгнул вниз и майор Проваторов — я узнал его по очкам, стекла которых блестели в темноте.

— Майор, вы здесь? — обрадовался Чуев.

— Да. Я ранен.

— Санинструктор! — позвал Чуев.— Перевязать!

Мы двинулись вперед, к лежневке, а Паня, подхватив свою сумку, протиснулась по тесному окопу к воронке, где стояли Чуев и Проваторов. Я попросил, чтобы меня подменили, и, передав носилки, пошел следом, не спеша, то и дело оглядываясь. Мне не хотелось выпускать Паню из виду. Майор сел на край воронки, и Паня, достав из сумки неестественно белый бинт, занялась перевязкой. Майор был ранен легко — осколком или пулей ему пробило запястье, и держался он хорошо, терпел боль, даже не постанывал, как другие, при перевязке.

С насыпи спускались все новые и новые группы командиров и бойцов. Бойцы тут же растекались по немецким окопам, а командиры задерживались возле Чуева.

Тихо, вполголоса, докладывали:

— Капитан Башмаков.

— Лейтенант Васюрин.

Докладывали не за тем, чтобы получить новое распоряжение, а просто напомнить о себе: мол, жив, здоров, в строю. Можете, товарищ комиссар, рассчитывать на меня...

— Командирам собрать всех своих бойцов! — спокойно, как всегда, распоряжался Чуев.— Не терять друг друга из виду. Переходим в сторону лежневки.

Бойцы, обгоняя нас, скрывались в узких ходах сообщения. Немецкие траншеи глубокие, можно идти в полный рост, не пригибаясь. Через каждые полсотни метров — блиндаж. Перекрытия разворочены, двери распахнуты настежь. Аткай сдержал свое слово: доты первой линии он поднял на воздух. Пехотинцы заглядывали в блиндажи: видимо, надеялись отыскать что-либо съестное или передохнуть. Но поиски были напрасны: доты уже обследовали бойцы из полка Фокина, действующие в первом эшелоне.

— Кто принял приказ Кузовлева — пробиваться вдоль лежневки? — слышу я голос Чуева. Он идет следом — сух, подобран, шагает широко, и я с тайной завистью к нашему комиссару думаю: сколько энергии, сколько выносливости в этом щуплом с виду человеке!

Я принял приказ...— Узнаю по голосу Васюрина.— Мы побежали рядом: я, майор Кузовлев и капитан Пресняков. Двум ротам с трудом удалось оттеснить немецких автоматчиков от узкоколейки. Тогда немцы вызвали огонь бризантных. У майора КП под мостом в насыпи. Говорит: «Мы сдержим фланги, но по узкоколейке не пробиться. Отходите к лежневке».

Ясно! — бросает Чуев.— Мы их не оставим, поддержим.

Разрешите моему взводу,— умоляет Васюрин.

Почему вашему? У вас же знамя!

Мы земляки, товарищ комиссар.

Ответа Чуева я уже не слышу: над окопами рвутся мины. У немцев — порядок: позиции, которые они оставляют, всегда пристреляны, и теперь фрицы бросают сюда мины, чтобы мы не чувствовали себя в полной безопасности. Но что значат эти шлепки после кошмара на насыпи! Тогда, на насыпи, был такой миг, когда я подумал даже, что Пеканов прав — в коридоре нам не пробиться. Да, Илья... вот каким человеком он оказался. Век живи, век учись! Опасность на какое-то время отступила, и я сразу же подумал о Пеканове. Неужели он подался к немцам? Как он мог так жить! Долгие месяцы есть с нами хлеб, спать бок о бок и все время думать об одном: как бы выжить! Любой ценой! Какая ненависть была у него в голосе, когда он кричал на нас: «Олухи!» Наверное, трудно ему было все время притворяться. Хотя он иногда открывался: брюзжал, излишне нервничал, но мы относили это за счет его сварливого характера. А дело, выходит, не в характере. Но ему не уйти далеко, сомнут выходящие части, увлекут за собой. Хотя — ему и не надо идти далеко: стоит забиться в блиндаж, высидеть в нем час-другой, и вот они — немцы. Они ведь по пятам следуют за нами.

Мины все рвутся. Удушливо пахнет толом. Звенят гильзы под ногами — автоматчики не жалели патронов. Узким окопом протискиваются еще бойцы с носилками. Не одни мы, выходит, идем с носилками...

— Приглядывайтесь. Запоминайте систему их окопов,— говорит на ходу майор Лысенко.— На Керести у них такая же чертовщина. Только тут мы их выкурили снарядами, а там придется на «ура». Гранаты у нас есть?

— Розданы,— бросает Тябликов.

Людской поток заполняет все траншеи. Отдыхая, бойцы идут расслабленно, не спеша.

— Ахмед, сменить Санкина! — командую я.

— Уже сменились,— докладывает Абдуллин.

Лес редеет; небо открывается все шире и шире. Еще две сотни шагов, и мы на лежневке. Лежневка — та же гать. Чтобы сколотить гать длиною в добрый десяток километров, нужны тысячи и тысячи кругляков — и саперы не жалели деревьев. Они пилили все, что росло поблизости от дороги: береза — березу, сосна — сосну, ель — тоже слетит! Бревна очищали от суков, сплачивали в звенья, а чтобы гать не всплыла, на бровку сыпали землю из кюветов, вырытых рядом.

Вот в этих полузалитых водой кюветах — наше спасение. Ямы вдоль лежневки вырыты были зимой канавокопателем. Это, конечно, не окопы — кюветы неглубоки, осыпались во многих местах. Но если ты ранен или ослаб в бою, если ты очень хочешь жить, увидеть товарищей, мать и отца, выжить, отлежаться в госпитале, потом снова получить оружие и теперь уж воевать лучше, чем воевал,— одним словом, если ты хочешь жить, бороться, то плюхайся в залитый болотной жижей кювет и ползи, ползи вперед. Бойцы не очень шустро и не очень охотно вылезали из немецких окопов и, оглядевшись, сворачивали на лежневку.

— Не терять друг друга из виду! — напутствовал Чуев каждую группу бойцов.— Раненые продвигаются вдоль кюветов. Башмаков. Васюрин. За мной!

Пригнувшись, комиссар побежал обочиной лежневки. Откуда-то с левого фланга короткими очередями пострелывал крупнокалиберный пулемет; то и дело рвались мины. Но все, кто способен бежать, устремились вперед за комиссаром. Просека вдоль лежневки широкая — обзор хороший; то и дело перекликаясь, передавая по цепи приказы командиров, бойцы вновь собирались в роты. То тут, то там слышались слова команды: «Вперед! Вперед!»

Я был доволен батарейцами. Ребята сами, без уговора, держались расчетами, и только второй огневой взвод, оказавшись без командира, метался туда-сюда. Тогда я оставил майору Лысенко, как любил выражаться Сарычев, «общее руководство», а сам как бы стал на место Пеканова. Присмотреть за всем было очень трудно. Обстановка менялась каждую минуту — один ранен, другой приотстал.

Особенно трудно было уследить за носилками с раненым политруком. Все стремились вперед, и в бою могли оставить Николая. Я приказал Абдуллину ни на шаг не отходить от носилок и стараться, чтобы бойцы вовремя сменяли друг друга. На лежневке стало легче — носилки не несли на руках, а проталкивали вдоль кювета. Двое батарейцев по очереди находились с политруком, а остальные бежали рядом. Никто не отдалялся от дороги, хотя автоматчики и «кукушки» не поражали нас прямым огнем, как было на насыпи, минометный обстрел почти не прекращался. Пехотинцы обгоняли нас. Изредка кто-то падал, споткнувшись о бревна гати или края воронки, ойкал, ругался, поднимаясь, и снова бежал.

Я не спускал глаз с майора Лысенко. Он осторожный и расчетливый мужик — зря рисковать не станет. Бежит майор, и я бегу; он бросается на землю, и я ничком валюсь рядом.

Пригнувшись к самой земле, мы перебегаем от кустов ольшаника к березовой рощице; от березовой рощицы — к кустам. С каждым шагом бежать становится все трудней. Кюветы все забиты людьми. Под каждым кустом, под каждой складкой местности, сбившись в группы, прячутся бойцы. Щелкают затворы, бряцает оружие. Пулеметчики лихорадочно работают малыми саперными лопатками — окапываются. Что случилось? Я не понимаю и все норовлю протиснуться вперед, где в небольшой воронке от мины укрылся Лысенко.

— Ложись! — вдруг кричит кто-то.

Я тыкаюсь лицом в землю и затихаю. Рядом распластался Аткай. И в тот же миг в лесочке, который чернеет впереди, вспыхивают рваные языки пламени. Я еще раздумываю, что бы это значило, а над моей головой уже хлещет пулеметная очередь.

«Пулеметы? И так близко?» — четко работает сознание. От березового пня, под которым я спрятал голову, во все стороны разлетается щепа. «Эге, нет, это не укрытие»,— решаю я и, улучив момент, переползаю в кювет. В кювете не протолкнуться, но я исхитряюсь и валюсь на дно грязной ямы, подбираю под себя ноги, освобождаю место Пане, которая ползет следом за мной.

Теперь пулеметы бьют без передыху. Ольховые кусты и мелкий подлесок на моих глазах редеют — настолько плотен огонь. Сзади напирают. Все ползут по кюветам.

Но неглубокие ямы не в состоянии вместить всех; ругань, споры, толкотня. Я подползаю к Лысенко. Рядом с ним — еще кто-то из наших командиров, кажется, капитан Пресняков. Уткнувшись в бинокль, майор разглядывает лес. Капитан достает из планшета карту — как будто можно что-то разглядеть в темноте и дыму.

— Чуев! Чуев! — шепотом передают по рядам бойцы.

Мы расступаемся. Тяжело дыша, к нам подползает комиссар.

— Мы вышли на берег Керести,— говорит Чуев.— Пулеметы стреляют с противоположного берега. Это их главная оборонительная линия. Блиндажи и окопы в полный рост.

Чуев советуется с Пресняковым и Лысенко — что делать? Просачиваться ли небольшими группами к самому берегу или при поддержке станковых пулеметов подыматься в атаку отсюда. Пока они переговариваются, я высовываюсь из кювета. Над Керестью стелется туман; а может, это и не туман вовсе, а дым и гарь от осветительных ракет и мин. Немцы пускают ракеты безостановочно. В дрожащем и неярком свете их виден берег до самой воды: плоский, с невысокими, как опрокинутая сковорода, песчаными наносами. Скатываясь за прибрежные кусты, к берегу ползут бойцы. У всех карабины и винтовки. Скатившись, замирают — возле самой воды головы поднять нельзя.

«Аткай прав: надо было катить на руках хоть одно орудие,— думаю я.— Сейчас бы мы их быстро выкурили из блиндажей».

— Пулеметчики! Станкачи! Пригибаясь, Чуев идет по кювету. Бойцы, сторонясь, пропускают комиссара, а он повторяет лишь одно слово: Станкачи! Он пробирается среди бойцов, спрятавшихся в канаве. В темноте я не узнаю даже своих батарейцев. Он узнает всех.

— Ловцов, не храбрись: надень каску! бросает одному.— Кунгуров, ты что — ранен? спрашивает у другого.

— Да так, царапина, товарищ комиссар.

— С нами сержант Зайцева. Пусть перевяжет.

Незаметно, мало-помалу, Чуев стал, по существу, командиром всех нас, окруженцев. Только он появился — среди бойцов оживление:

— Кузьмич с нами!

— Станкачи! — кричит комиссар.

— Есть,— отзывается голос с другой стороны лежневки.

Чуев перебирается на ту сторону. Мучительно долго тянется время. Все мы лежим в кювете, вобрав головы в плечи, а над нами, распарывая темноту ночи, проносятся пулеметные трассы. Но проходит эта минута, с нашей стороны начинает четко и громко разговаривать «максим»: та-та-та...

Бойцы повеселели:

— Савченко! Уколов! — командует капитан Пресняков.— Пошли!

Он подымается, за ним встает десяток, а может, и больше бойцов. Миг — и они короткими перебежками устремляются к берегу. Немецкий пулемет бьет в упор. Кто-то из атакующих падает, слышится стон и крик: «Сест-ра!»

Паня с сумкой ползет на крик. Я — следом за нею. С высоты песчаного увала хорошо видна вся излучина реки. Левее, в трехстах метрах от лежневки, стоит обгоревший немецкий танк — видимо, подбит еще зимой, при очередном нашем прорыве. Надежное укрытие! Пока Паня перевязывает бойца, я все время не свожу глаз с танка. На самом берегу стоит. Широка ли тут Кересть? При яркой вспышке осветительной ракеты я всматриваюсь в черный силуэт танка, в серую гладь воды, затянутую дымом. «Пожалуй, если собраться с силами, то из-за танка можно добросить до блиндажа и связку гранат».

Оставив Паню, подползаю к Лысенко, указываю ему на танк. Майор рассматривает его, потом кивает мне головой: добро!

— Санкин! — кричу.

— Здесь! — сержант подползает ко мне.

— Видишь танк? — объясняю я.— Подползем к нему и попробуем забросать блиндаж гранатами. Ясно?

— Ясно.

— Гранаты есть?

— Две «лимонки».

— Мало.

— Иван, давай сюда твои,— обращается сержант к ездовому Кувшинову.

Ездовой снимает с ремня подсумок с гранатами, подает его Санкину. Теперь на двоих у нас — шесть гранат.

— Приготовиться! — командую.

Паня догадывается о моем решении. Она спешит с перевязкой. Я знаю ее одержимость: ей хочется пойти с нами. Но я опережаю ее намерение, киваю Санкину — пошли! Первым выпрыгиваю из кювета и бегу к танку. Но расчет мой на неожиданность броска не оправдался. Земля в этом месте была сырой; ноги вязли в болотном месиве. Пробежав десяток шагов, я упал на истыканную воронками землю. Укрыться тут, кроме воронок, было негде. Деревья и кусты срезаны огнем автоматчиков — от подлеска осталась лишь одна щетина.

— Санкин! Готов?

— Готов. Мне небось не привыкать,— отзывается сержант.— Под Сафоновом выходили — еще не то было! Он полсотни танков на нас пустил.

— Пошли!

Мы одновременно вскакиваем и бежим... Небо просвечивают автоматные очереди. Значит, расчет мой точен: до немецких окопов тут очень близко. «Максим» отвечает автоматчикам, и под эту перестрелку мы пробегаем еще с полсотни метров. Снова падаем и снова вскакиваем и бежим — только вода из-под ног во все стороны. Рубашка прилипла к телу; лицо заливает пот: слабость, черт возьми. Так и гранату не бросишь!

Чирк — пилотку с головы словно ветром сдунуло. Но я не подбираю ее — рвусь вперед.

— Фу-х,— со вздохом облегчения я валюсь на землю возле гусениц танка.

Санкин плюхается рядом. Теперь можно и осмотреться.. Молодая трава уже проросла сквозь траки гусениц. Видны лишь катки — резиновые ролики выгорели, и гусеницы без их поддержки обвисли. В невысокой густой траве, щетиной вылезшей из земли, чернеют шлемы и сапоги. Мне это соседство противно, но я не могу даже сдвинуться. Броня танка — надежная защита. Я приподнимаю голову. Хорошо видно, как из-за туманной дымки МГ-34 выхаркивает рваные языки пламени. Туман или дым скрадывает расстояние. Но ясно одно, что вешняя вода на реке еще держится. Воды много, думаю я. Связку, пожалуй, до другого берега не добросить...

Мы с Санкиным совещаемся; он тоже такого мнения. Лучше разом бросить по одной гранате. Сержант переби-

рается на другую сторону танка, и я слышу, как он достает запал.

Я встаю, кладу автомат на гусеницу, отцепляю от поясного ремня гранату и вынимаю запал. Слева меня прикрывает закрылок; чуть впереди — опущенное к земле орудие. Всмотревшись, вижу крутой берег впереди, дерновую кладку на доте, автоматчиков в рогатых касках. Сейчас я вас угощу! Но чтобы бросить гранату, мне надо выйти из своего укрытия. Я делаю шаг вправо, с тем чтобы дуло орудия не мешало для броска, и не успеваю сделать замах, как по ржавой окалине брони начинают чиркать разрывные пули.

Стреляют два пулемета — перекрестным. Мгновенно осознаю, что это моя роковая ошибка: танк у немцев пристрелян. «Ты же артиллерист! — зло выговариваю я себе.— Ты должен знать, что все отдельно стоящие предметы должны быть пристреляны. Как же ты мог забыть об этом?» Но отступить, исправить ошибку уже нельзя, и я командую:

— Пошел!

Я замахнулся; но в тот самый момент, когда разжал ладонь и граната, блеснув латунной трубкой запала, полетела через реку, почувствовал резкий удар в левое плечо. Меня оттолкнуло назад, и я, еще не понимая, что со мной случилось, присел. Той же ладонью, которая только что держала гранату, ощупал место удара.

Все плечо у меня было липким от крови...

25

Взрыва гранаты я не слышу. В глазах вспыхивают разноцветные кольца: красные, голубые, фиолетовые; уши заложило, и я слышу только однотонный шум. Но это — и огни в глазах, и шум в ушах — продолжается лишь какое-то мгновение. Я снова ощупываю плечо: у ватника выдернут большой клок. По выходному отверстию пули я догадываюсь, что рана серьезная, большая. Я шевелю кистью руки — пальцы сгибаются. В сознании вдруг вспыхивает радость: ничего, главное, жив! Кровь течет по рукаву куртки, по телу. Меня познабливает. Но я снова встаю и, прислонившись спиной к холодной броне танка, снимаю с ремня вторую гранату. По рукаву

моей гимнастерки течет небось не рыбья кровь. Нет, эта кровь густо замешена! В этой крови по капле собрано все лучшее, что было в предках моих — деде и прадеде, пахавших землю и воевавших с иноязыкими; все лучшее, что есть в отце и матери. Эта кровь стучала в моих висках, когда я сочинял рапорт интенданту, чтобы меня отчислили из артмастерских и добровольцем направили в действующую армию. Разве я не знал, что меня тут ожидает?

Ничего, я еще держусь на ногах. И пока вся моя кровь не вытечет из меня капля за каплей, пока есть силы, я должен бороться. И буду бороться! Я снимаю гранату с ремня. Вставляю запал... Выдернуть ограничительную чеку нечем. Я выхватываю ее зубами и, размахнувшись, бросаю.

Теперь я вижу, что брошенная мною граната булькает посреди Керести.

От бессилия, от беспомощности своей я откидываюсь на обгорелый закрылок танка и валюсь на него с глухим стоном.

Ко мне подбегает Санкин.

— Товарищ комбат, вы ранены? — Сержант помогает мне опуститься на землю, осматривает рану.— Выходное отверстие рваное, товарищ комбат. Не разрывным ли? Сейчас. У меня есть индивидуальный пакет.

— Ничего, ерунда! — превозмогая боль, я спрашиваю: — Гранаты остались?

— Я свои все саданул! — говорит сержант.— Да что толку? У него блиндажи-то небось в три наката.

— У меня осталась одна, возьми! — приказываю я.

Санкин ощупью находит мою гранату и сноровисто, не выходя из-за укрытия, бросает ее.

Я сижу, привалившись спиной к катку гусеницы. Пулеметов не слышно, но автоматчики бьют в упор, без передыху. Пули стучат о броню; рикошетя, поют на все лады... Я прислушиваюсь к этому неприятному стуку, звону и закрываю глаза. Стучат, звякают пули. Вот так же стучит град. Звякает по стеклу окон. Стучит по земле. Мне не раз доводилось слышать этот стук. Мать очень боялась грозы и града. Всегда, отправляя в ночное, не забывала подсунуть мне ватник. «Возьми, возьми,— уговаривала,— а ну как град!» Однажды мы стерегли лошадей возле Дуба — так называют место неподалеку от нашего села. Это любимое место н о ч н о г о. Утром, глядим, из-за увала выпол-

зает туча. Тяжелые, черные облака с белесыми крыльями по краям. «Эге, робя! — говорит старший среди нас, подросток по прозвищу Бубо.— Как бы града не было. Смываемся от греха подальше». Мы торопливо складываем свои пожитки на спину лошадей. Пока мы собирались, с опаской вслушиваясь в перекаты грома, туча уже тут как тут! «Скорей, скорей, успеем!» — торопит всех Бубо. Мы вскакиваем на лошадей и несемся в село напрямик — полем, по жнивью. Рожь на лучших полях, у Дуба, скошена; снопы сложены в крестцы. Уже завиднелось село: мельница с деревянными крыльями, церковь со скособоченным крестом, ракиты на задах огородов. Молнии огненными шарами катятся за нами вслед. Вдруг — вихрь, гром, ливень. Ничего не видно, все скрылось за тучей — и мельница, и церковь, и ракиты. Ливень проносится, а впереди вырастает белая стена. Еще миг — и вот по стерне, по черным бороздкам междурядья покатились, подпрыгивая, куриные яйца. Белые-белые. «Робя, стоп! кричит Бубо.— Град! Прячемся в крестцы!» Бубо первым спрыгивает с лошади. Мы на полном скаку скатываемся следом за ним. Снопы — в кучу, залезаем под навес, жмемся друг к дружке. Как обезумевшие мечутся лошади. Ржут, встают на дыбы, и силуэты их растворяются в ледяном мраке. Вместе с лошадьми исчезает из виду Гришка Горбачев, не успевший соскочить со своего пегого меринка.

Недолго неистовствовала стихия. Пронеслась, ушла с земли грозовая туча. Переждав, пока растает град, мы повылезали из-под снопов: босые, грязные, мокрые; гуськом, перебираясь через потоки воды, побежали в село. В Морозкином логу в потоке воды мужики вылавливали овец и ягнят, унесенных из стада ливнем. Матери встречают нас на околице; скорей домой, в избу, поить горячим молоком, липовым медом. В суете не сразу хватились Гриши. А когда хватились, что его нет дома, мужики побежали в поле, искать. Нашли его — горемычного: лежит в меже, полной ледяной воды. Меринок сбросил его с себя, и остался Гриша один — посреди поля, босой, без картуза. Укрыться негде — он побежал по полю, по льду, пока держали его ноги. Рубашонку на нем, как шрапнелью, градом порвало.

Долго болел Гриша. Измучилась с ним мать, таская его по больницам и ворожеям — старухам, умеющим заговаривать хворь. А когда все от него отступились, стал

он выползать из избы на завалинку, на солнце. Ходить Гриша не мог; сядет он на завалинку и сидит день-деньской, прикрытый дерюжкой. У Гриши не только ноги свело, но и горб на спине расти стал. И никто в Орловке его не называл уже по-иному, а лишь — Гришкой Горбуном. И в школу он не ходил больше, и в армию его не призывали вместе со сверстниками. Спит теперь Гришка на печке, в родной деревне... А я лежу под немецким танком, и чудится мне, что это стучит тогдашний град.

А это цокают по броне пули автоматчиков...

— Одного индивидуального пакета мало! — услышал я сквозь забытье голос Санкина.— Где ваш пакет, товарищ старший лейтенант?

— В левом кармане.

Сержант бережно положил меня на спину, достал из кармана пакет.

Кто-то подползал к нам. Я открыл глаза — невдалеке шевелился кустарник.

— Паня, комбат ранен! — закричал сержант. Он взял у Пани сумку, высвобождая ей руки.

— Ранен? — Паня на минуту замерла, перестав ползти.— Когда? Давно?

— Вот только что.

Паня оставила сержанту сумку, автомат и бросилась ко мне. Она хотела обнять меня, но руки ее сразу же почувствовали, что весь бок — липкий и мокрый от крови.

— Я знала... чувствовала, что тебе без меня плохо. Меня все отговаривали. Но я доползла.— Паня от волнения, от оторопи глотала концы слов.— Вася, милый... Я с тобой... с тобой! Потерпи, хороший...

Пули со звоном отлетали от башни танка и стальных закрылков. Когда приходилась очередь разрывных, то броню высвечивало россыпью фиолетовых вспышек. В этих вспышках я видел рядом Паню и, чувствуя тепло ее дыхания, крепился, чтобы не вскрикнуть от боли. Паня привычно делала свое дело: сняла с меня куртку, распорола рукав гимнастерки и принялась забинтовывать рану.

— Готов. Сержант, помоги! — Паня приподняла меня, закинула мою здоровую руку себе на плечо и поволокла меня по мокрой траве.

Санкин тащил сумку и оба наших автомата, Панин и мой

Не помню, сколько времени Паня выносила меня из-под огня. Помню только ощущение ее тепла и внутренней моей расслабленности. Я все время твердил одно: «Погоди, Паня. Я сам. Я сам»,— и пытался приподнять голову, но Паня вполголоса ругала меня: «Не смей подыматься! Они нас видят...» — и, не снимая моей руки со своего плеча, тащила меня за собой. Иногда на помощь ей приходил Санкин, и они волокли и проталкивали меня по кустарнику вдвоем, и щелкали пули, разрываясь о листья, и колючая кора деревьев сыпалась на наши лица и руки. Наконец Санкин осторожно опустил меня на дно какой-то ямы.

Бывшие тут люди расступаются, и я слышу шепот: «Комбат ранен. Артюхов ранен». Опираясь на здоровую руку, я приподымаю голову: все ясно — я снова в кювете.

— Паня, где мой автомат? — спрашиваю первым делом.

Паня медлит с ответом: она с кем-то советуется и кивает Санкину, чтобы он вернул мне автомат. Сержант протягивает мне ППШ. Я закидываю ремень на шею, а сам автомат прилаживаю на груди. Мне становится спокойнее: вот я и снова в строю.

По кювету, отстраняя бойцов, протискивается майор Лысенко.

— Василий, идти сам можешь? — спрашивает.

— Могу.

— Аткай! — зовет майор Шарипова.— Не оставляй комбата ни на минуту. Ясно?

— Ясно! — коротко бросает Аткай, подползая поближе — ко мне и Пане.

— В руку ранение — это пустяки...— слышу я голос Зотова.— Если в ногу, как меня, тогда, считай, все — крышка.

Оказывается, и Николай рядом. Мы снова вместе. Это хорошо. Плохо только, что в кювете с каждой минутой становится все больше и больше бойцов. Сзади напирают все новые роты. По радостным возгласам Чуева («Капитан! Донат! Разреши, я тебя обниму!»), которые доносятся до меня с другой стороны лежневки, я догадываюсь, что и Мезенцев со своим батальоном присоединился к нам. В полку я не знаю другого Доната, кроме Мезенцева. Видимо, на прикрытие нашего отхода оставлены более свежие части. Лениво, отрешенно, думаю: «Много ли ребят осталось в батальоне? И тоже, наверное, есть раненые?»

«Максимы» стреляют по-прежнему. Но когда стреляют наши, немцы молчат выжидая. Только замолкают «максимы», начинают палить вовсю ихние, крупнокалиберные. А мы все лежим в кювете, ждем конца перестрелки — час, а может, и больше. Над черной кромкой леса — на той, немецкой, стороне Керести — засветлело. Небо словно бы выцвело, стало не темно-синим, а белесым. Звезды виднеются только в высоте.

Значит, скоро совсем рассветет, и тогда нам — каюк. Как только просветлеет небо, над лежневкой появятся «горбачи». Они перелопатят бомбами весь этот уголок земли — от ручья Вертечно до реки Кересть,— и к полудню выходить из окружения будет некому.

Чуев, видимо, тоже думает об этом. Он собирает на совет командиров, оказавшихся в первой линии. Вперед, к комиссару, пробирается и майор Лысенко. Зотов ворчит:

— Чего советоваться? Надо действовать! Ахмед, протолкни вперед мои носилки.

Ахмед что-то возражает политруку, но слов его я не слышу из-за стрельбы. Проходит минута-другая, гляжу, бойцы вылезают из кювета, освобождая дорогу, а Абдуллин и Кувшинов проталкивают вперед носилки с политруком. Мучительно тянется время; сейчас оно работает на немцев. Впереди то и дело раздаются голоса, молящие о помощи: «Сестра! Где сестра?»

Паня оставляет меня, уползает по кювету вперед. Наконец по ту сторону лежневки происходит какое-то движение, и я слышу сдержанную команду: «Сани! Протянуть вперед розвальни!» Никто толком не может объяснить — зачем понадобились сани. Однако трое или четверо бойцов вылезают из кювета на поиски розвальней.

Аткай, которому приказано не покидать меня, мучительно переживает бездействие.

— Плохое дэло мы сдэлал, брат,— рассуждает он, сидя рядом со мной.— Лошадей лопали, пушку рвали. Плохо без пушки.

— Кто «рвал»? — возмущенный, переспрашиваю я.— Ты же видел воронку на месте нашей огневой? Он как метнул пятисотку, так от наших орудий даже станин не осталось.

— Что — воронка! Нэ уберегли, значит. Всю зиму берегли, а тут одна бомба...

Абдуллин возвращается от реки обеспокоенный.

— Придумали хорошо, но все-таки жестоко,— говорит он.

— Что «жестоко»? — взрывается Аткай.— Бой есть бой!

— Политрука нашего... раненого...

— Николая? Что с ним? — спрашиваю.

Абдуллин подползает к нам, сбивчиво и торопливо рассказывает: отобрали добровольцев. Каждый берет с собой по три противотанковые гранаты. Бойцы садятся в розвальни, их отталкивают от берега. В тумане они переплывают неширокую реку и забрасывают немецкие доты гранатами.

— Политрук приказал нам принести его на совещание к Чуеву,— рассказывает Ахмед.— А когда отбирали добровольцев, он уговорил Чуева, чтобы и его взяли. «Ходить не могу, а сила бросить гранату есть!»

Наступает тишина. Я думаю о Николае: что это — шаг отчаяния? Самоотверженность? Сердце отстукивает секунды. Теперь, после ранения, оно стучит все торопливее и торопливее.

Вот бойцы проволокли вперед розвальни. Сейчас смельчаки сядут на импровизированные плоты. Наверное, вот в эти широкие розвальни с остатками соломы в передке поставят носилки с политруком. Добровольцев снабдят гранатами — и они поплывут. Я рассчитал время точно — именно в тот миг, когда я сказал себе: «И они поплывут»,— заговорил наш берег. Прикрывая вылазку, в упор по блиндажам ударили «максимы»; расчетливо, короткими очередями, стреляли ППШ, щелкали винтовочные выстрелы.

Немцы какое-то время молчат; затем по плотности нашего огня они, видимо, догадываются, что нас, отчаявшихся, слишком много. Ясно им и другое: своим огнем мы подготовляем начало операции по форсированию реки, и они вызывают на помощь минометы.

Я лежу в кювете, привалившись затылком к мокрому торцу бревна, и не слышу, а затылком чувствую тупой удар о землю — там, на немецкой стороне. И тотчас же, коротко и противно взвизгнув, рвется посреди лежневки мина. За нею — другая, третья... Фрицы сыплют мины беспрерывно.

Наш огонь расстраивается, слабеет. Стреляют лишь станковые пулеметы, но и они вскоре замолкают. И как только замолкли «максимы», так разом берег осветился

хвостатыми кометами: начали работу МГ-34. Немцы не жалеют патронов. Особенно страшен вот этот, что бьет в упор по лежневке: загнал всех нас в кюветы — головы из ямы не высунешь... Но что такое? Неожиданно, сотрясая землю, грохают взрывы, и в черно-красных вспышках видно, как вздыбились и летят кверху бревна немецких блиндажей.

Тотчас же впереди, метрах в двадцати от меня, на противоположной стороне лежневки, поднимается Чуев.

— Товарищи, вперед! — кричит он осипшим голосом.

Был какой-то миг растерянности, замешательства, но только единый миг, ибо тут же, следом за Кузьмичом, поднялся Лысенко — такой же щупленький, как и комиссар. А за ним — медлительный Пресняков, Ахмед, Тябликов, Васюрин, Паня... По всему берегу Керести — от немецкого танка, где ранило меня, и до самого дальнего, правого угла, до узкоколейки — вставали все новые и новые ряды изнуренных, ожесточившихся бойцов.

— Пошли! — коротко бросает Аткай и бежит к реке.

Я вылезаю из кювета и бегу вместе со всеми. Странно: пулеметы впереди молчат. Ободренные их молчанием, к реке устремляются сотни бойцов.

И если бы даже многие поколения русских — наши отцы, деды и прадеды, в разные века, по разному поводу — не воевали б против Мамая, против Наполеона, против англичан в Севастополе, против японцев в Маньчжурии, против Колчака и Деникина, против всех — крещеных и нехристей — против ханов, императоров, генералов всех мастей, посягавших на свободу и независимость русского народа... Даже б никто из наших предков не воевал бы до этого, то все равно в эту ночь, в этот миг помимо людской воли родился бы этот многотысячный людской вопль, который крепчал и рос с каждой минутой:

— Ур-а-а!

26

Ободренные молчанием немцев, все бегут к реке. Keресть вскипает от человеческих тел.

Майор Лысенко со всего маху прыгает в реку. За ним, не раздумывая, бросаются остальные батарейцы. Подгоняемые азартом первого успеха, крича, стреляя на ходу,

разгоряченные бегом люди входят в холодную воду. И я — тоже. Я не знал, что Kересть — глубокая речка, что болотистое дно засасывает ноги; я просто не думал об этом. Вижу только, что Шарипов, которому майор приказал смотреть за мной, уже плывет, подняв над головой автомат; гимнастерка на спине его вздулась, планшетка и скатка плащ-палатки плывут с ним рядом.

— Вася, не спеши. Постой! — Возле меня — Паня. Ухватив за здоровую руку, она тянет меня назад, к берегу. Ноги мои погружаются в топкое, податливое дно. Паня вцепилась, не отпускает меня, кричит:

— Ребята! Батарейцы! Плот нужен! Плот!

Никто не отзывается на ее крик: батарейцы уже на том берегу. Все новые и новые роты атакующих месят возле нас воду. Однако проходит какое-то время, слышу: «Чух»! — с лежневки в реку сталкивают еще одни розвальни. На подстилке из лапника в санях уже сидят трое или четверо раненых.

— Кто просил плот? Забирайся! — боец с забинтованной головой, сидевший сзади, потеснился, освобождая мне место.

Паня помогает мне забраться на розвальни — и добрый десяток рук толкает их вперед, к противоположному берегу.

На берегу — наши!

В немецких окопах — рукопашная схватка. Слышатся удары прикладов, треск гранат, одиночные винтовочные выстрелы. В разных концах немецких окопов — то затихая, то вспыхивая вновь — слышится «ура!». Обескураженные неожиданностью и дерзостью нашей атаки, немцы бегут из окопов. Лишь с флангов — слева, против того места, где стоит сгоревший танк, и справа, от насыпи узкоколейки, перекрестным огнем, неприцельно, бьют МГ-34. По-прежнему позади нас, на лежневке рвутся мины. Немцы знают, что следом за нами, тем же путем, бегут сотни бойцов.

Розвальни тупо утыкаются в берег.

Аткай — мокрый с головы до ног — придерживает сани, чтобы их не отнесло течением. Паня помогает раненым сойти на берег. Я покидаю розвальни последним. На песчаном мысочке возле самой воды безопасно: пули щелкают высоко над головой. Подниматься отсюда на гребень высокого берега не хочется. Но я все же поднимаюсь.

Наверху, в кустах ольшаника, полукружьем стоят батарейцы. Узнаю по фигуре майора Лысенко, Ахмеда, старшину... Пошатываясь от слабости и потери крови, я подбегаю к ним.

Батарейцы расступаются, заметив меня, и, подойдя, я вижу распростертого на траве Николая Зотова. Он лежит, уткнувшись русой головой в траву, которая кажется черной. Руки раскинуты в стороны; левая нога в гипсовой повязке неестественно вывернута. Рядом белеют его самодельные костыли. Видимо, Николай, не замеченный немцами, выполз из саней на берег, встал, опираясь на костыли, и метнул гранату в амбразуру блиндажа. Бросил, но залечь, спрятаться, не успел, и автоматчики изрешетили его всего.

Бойцы, выходя из воды, останавливались, чтобы поглядеть на политрука: не их ли товарищ? Не их ли роты? Нет, незнакомый... И бойцы бежали дальше: рядом чернели немецкие траншеи — желанное, сухое место, где можно присесть, отдохнуть, вылить воду из чавкающих сапог.

Майор Лысенко что-то сказал, и Николая бережно подняли и понесли вверх, к окопу. Мокрые сапоги скользили и, поднимаясь по откосу, Тябликов, шедший первым, спотыкался и ворчал. Санкин сдержанно всхлипывал, однако никто не проронил ни слова. У меня не было сил сдвинуться за ними следом. Я тупо и бесчувственно глядел на куст, примятый телом Николая. Кто-то из пехотинцев схватил зотовский автомат и, пощелкивая предохранителем, побежал за батарейцами. Сам не зная зачем, я поднял с земли костыли, которые Николай старательно, до блеска, выстругал, и побрел следом за батарейцами, несущими на руках политрука.

Вот и блиндаж, в который угодил Николай. Противотанковая граната ударилась о бревна накатника. Крышу с дзота снесло взрывной волной — торчат лишь торцы бревен. Блиндаж обрушен. Под бревнами навсегда похоронены пулемет и его прислуга. Сколько было тут немцев — не знаю. Знаю только, что Николай исполнил свое желание — убить хоть одного немца.

Зотова опускают на дно окопа.

Превозмогая слабость, приваливаюсь спиной к холодной стене окопа, в двух шагах от Шарипова. Аткай снимает с себя свиток плащ-накидки и накрывает Николая. В «лисьей норе», возле которой мы стоим, удушливо пахнет

толом, смрадом, которым пропитаны все немецкие окопы; слезы давят мне горло.

Вспоминается стоянка нашего эшелона в Кургане. Мы с Николаем бежим заснеженными улочками города к нему домой. Дома его сестра — Галя. Почему мы тогда не дождались мать? Пусть еще бы час простоял эшелон, но мать обняла бы сына напоследок. Теперь в Кургане, наверное, утро. Галя пришла домой с дежурства в госпитале. Опять нет письма от брата. А может, пришла, а мать — радостная — показывает ей письмо. То самое, которое Николай писал в Криуше, возле шалаша санроты.

В окопе — не протолкнуться. Присев на цинки из-под патронов, бойцы набивают диски автоматов.

— Славяне, у кого есть саперная лопатка? — спрашивает Тябликов. Старшина шныряет по окопу — от одной «лисьей норы» к другой.

— Жеребцов, дай старшине лопатку! — кричит младший лейтенант с разорванным на локте рукавом гимнастерки. Он сидит на дне окопа, перезаряжает ТТ — расстрелял всю обойму.

Жеребцов — немолодой, с лицом, заросшим щетиной, пулеметчик — заправлял ленту в приемник «максима». Ни слова не говоря, отстегнул от ремня лопатку, подал ее Тябликову.

Старшина возвращается с лопаткой. Батарейцы неохотно расступаются. Я тоже отхожу в сторонку. В сапогах у меня неприятно хлюпает. Паня усаживает меня на бровку полуобвалившегося окопа, стаскивает с меня сапоги. В правом — сухо; а когда она снимает левый, у нее вырывается что-то вроде стона.

В левом сапоге полно крови.

Паня достает из сумки сразу два бинта, делает тампон и перебинтовывает заново рану.

— У тебя ранение в самое плечо. Нельзя наложить жгут,— говорит она, а сама стягивает мне плечо так, что я чувствую, как каждый удар сердца отдается в глубине раны.

Я креплюсь, чтобы не вскрикнуть от боли.

— Вася, ты молодец. Крепись!

— Ничего, ничего. Стягивай сильнее,— говорю я, а у самого глаза заволакивает туман; в ушах шумит, как там, под Зеленщиной, и сквозь этот однотонный шум я все же различаю какой-то резкий стук. Это Тябликов сту-

чит саперной лопаткой. Все равно что штыком полосует мне сердце. Я пытаюсь вырваться. Паня в сердцах крепко затягивает узел на повязке.— Иди!

Я рвусь к самой могиле. Все расступаются, пропуская меня. Я подхожу к окопу, который засыпает старшина, но ничего не вижу — только край зеленой плащ-палатки, полузасыпанный песком, да белую, в гипсе, ногу, которая по-прежнему неестественно вывернута в сторону.

— Документы взяли? — спрашиваю я, не обращаясь ни к кому в отдельности.

— Да, они у меня,— отвечает майор Лысенко.

— Мы еще придем к твоей могиле! — говорит Аткай и стреляет из автомата.

И еще кто-то стреляет. А у меня нет сил даже выстрелить. Меня пошатывает. Я стою, облокотившись о бруствер, и смотрю на то, как под фиолетовой землей исчезают останки человека, с которым связана вся моя фронтовая жизнь.

Спали в одной землянке. Мечтали об одном и том же. И вот — его нет больше и никогда-никогда не будет...

Так, захолодев и тупо глядя перед собой, я стоял, пока Тябликов малой саперной лопаткой не сровнял окоп. Все пошли — не спеша, пришибленные горем. И я пошел. В левом сапоге снова хлюпает.

Я холодею от догадки, но теперь уж не жалуюсь на мокроту Пане, и когда в дальнем углу окопа слышится голос Чуева: «Вперед, товарищи! Вперед!» — я выскакиваю на бруствер и бегу вместе со всеми.

27

Чуев знал, что в одиночку ему не совладать с разноликой, полуголодной волной бойцов, идущих на прорыв. Он знал, что только при четкой организации и дисциплине можно рассчитывать на успех. Организация же эта — штаб полка, командиры батальонов, рот, взводов — организация эта нарушена. Ее надо было восстановить. Восстановить сейчас же, немедленно, в процессе самого боя. Воссоздать организацию могли лишь командиры, случайно оказавшиеся поблизости, под рукой. И не столько по опыту других боев, где ему не приходилось самому организовывать атаки, а инстинктивно комиссар чувствовал, что надежда только одна — на тесную

связь с командирами. Пусть каждый из них сумеет сколотить возле себя небольшое ядро: человек десять — не больше. Но если опереться на опыт десятка командиров, то в атаку организованно пойдет сотня бойцов. А эта сотня увлечет другую, третью...

Сначала мне казалось, что Чуев без особой цели окликает командиров:

Пресняков!

И тут же, сквозь треск автоматных очередей, слышится отклик:

Живой...

Башмаков?

Есть!

Васюрин?

Бегу!

Лысенко?

Наш бывший комбат всегда отвечает, как положено по уставу:

Я!

Убедившись, что командиры живы, на месте, Чуев бежит себе трусцой. Он не кричал ни на кого из командиров, никому ничего не приказывал. Ему важно было одно, что они тут, рядом,— и он бежал во весь рост, не пригибаясь к земле, только полы короткого кожушка трепыхались.

Но и бойцы — измученные, обескураженные потерями на узкоколейке — заметили вдруг, что среди этой неорганизованной на первый взгляд толпы есть человек, который сумел сорганизовать командиров, которому подвластны судьбы людей, стремящихся бороться и жить.

Жить, снова слиться воедино с полком, дивизией, армией. Снова очутиться под строгим надзором ротного, несносного старшины-ворчуна. И люди — это я уже заметил раньше — в минуту смертельной опасности помимо своей воли тянутся к сильному человеку, не потерявшему самообладания. А если собирается воедино десяток таких людей, то, считай, дело выиграно. Такие люди подобны снежной лавине, сорвавшейся с вершины: по мере движения снежный ком обрастает, превращаясь в глыбу, которую уже ничто не в силах удержать. К хладнокровным командирам прибиваются бойцы, растерявшиеся в трудную минуту. Рядовые снова обретают былое самообладание, надежду на спасение. И тогда наступает слитность

в бою; командир чувствует, что он не один, что ему можно не оглядываться назад; и Чуев не оглядывался: он знал, что следом за ним бегут и Пресняков, и Васюрин, и Лысенко, и все, кто подвластен этим командирам.

Только в короткие минуты передышки, какая наступила теперь, когда все три линии окопов были очищены от немцев, Чуев скликал всех командиров, бывших поблизости, и коротко, четко ставил ближайшую задачу.

— Капитан,— обратился сейчас он к Преснякову.— Пока мы в окопах, сколотите группу — человек сто. Проникните вдоль окопов до самой узкоколейки. Задача: соединиться с Кузовлевым. Укрепить фланг и продержаться минимум часа два, чтоб могли выйти раненые и местное население.

— Есть закрепить фланг!

— Выполняй, голубчик.— И тут же к другому: — Башмаков!

— Я.

— Возьмите самых надежных ребят — и на правый фланг. Пробейтесь к Сарычеву, скажите ему, чтобы сворачивали на лежневку. Тут мы ему поможем.

— Ясно! — отзывается Башмаков.

Рядом с Чуевым стоит Донат Мезенцев. Видимо, тоже ждет распоряжения. Но Чуев знает, что первый батальон измотан в арьергардных боях, и оставляет Мезенцева при себе. Комиссар провожает взглядом бойцов, которые уходят с Пресняковым, к узкоколейке, и, только убедившись в том, что приказание его выполнено, бросает взгляд на командиров, оставшихся с ним:

За мной. Нельзя фрицам давать передышки!

«Врагу, понятно, нельзя давать передышки,— лениво работает мое затуманенное сознание,— отойдет, укрепится вновь. Но своим-то бойцам надо передохнуть?» Наверное, так думал и каждый. Чуев остановился на минуту-другую, а бойцы уже по-своему использовали заминку. Рыскали по блиндажам в надежде отыскать что-либо съестное. Однако блиндажи были пусты, а на дне окопов валялись только стреляные гильзы, сменные стволы пулеметов да ржавые ленты. Бойцы снимали сапоги, отжимали портянки, неспешно переобувались. Они слышали команду Чуева, понимали, что комиссар прав, но не спешили выпрыгивать из окопов: казалось, что это свыше их сил.

Но побежал Чуев; побежали командиры, сержанты, пулеметчики с «максимами», саперы с дугами миноискателей; побежали и Аткай, и Лысенко, и Паня... Побежал и я, стараясь не отстать от них. Правда, угнаться за своими я уже не смог. Прижимая ладонью раненую руку, я потихоньку семенил сзади всех.

Хвойный лес был иссечен осколками, обезображен воронками. На каждом шагу валялись хлысты деревьев. Их то и дело приходилось перепрыгивать. Хвоя царапала лицо, руки, но люди, не замечая этого, бежали, падали на землю, перелезали через лежащие деревья. Паня, приотстав, помогала мне, бросая коротко: «Обойди тут!» или поддерживала меня, когда я перебирался через поваленную березу. Но от этого легче мне не было. При каждом прыжке в левом плече отдавалась острая боль. Но я бежал, стараясь не терять из виду широкую спину Аткая, все время маячившую перед глазами.

Мы не пробежали и двух километров, как впереди снова вспыхнули рваные языки пламени: снова стреляли пулеметы. Еловый кряж, под которым я укрылся, сразу же оголился от коры — так плотен был огонь. Ползком я перебрался в воронку, к Аткаю. Уткнулись в землю и лежим. Даже выругаться с досады нет сил. Значит, мы еще не пробились!

Неужели каждый километр коридора придется брать штурмом?

Сил у нас не хватит.

Снова доносится голос Чуева: «Мезенцев!» — и отклик где-то рядом: «Живой!» — «Майор Лысенко!» — «Я!» — «Васюрин!» — «Тут». Командиры ползут к Кузьмичу. Под огнем, не поднимая головы. И хотя Чуев не окликал раненых, в том числе и меня, но я тоже выбираюсь из воронки и ползу вместе со всеми.

Мне плохо, кружится голова. Не только светящиеся трассы пуль, но и деревья кажутся мне фиолетовыми. Но я пересиливаю недомогание и ползу. Следом за мной, молчаливо и упрямо, пробираются Паня и Аткай.

Чуев сидит на откосе огромной воронки. Глыбы земли вывернуты вместе с деревьями. Белые, обмытые вешними дождями корни канатами свисают к траве. Но березки и ели, которые разбросало в разные стороны, зеленеют, хотят жить. На дне воронки вода, однако никто не замечает ни воды, ни грязи по краям.

Распластавшись за глыбой сырой земли, Лысенко в бинокль осматривает лес.

— Тут метров триста,— говорит он.

Все молчат — каждый понимает, что надо на что-то решаться. Система обороны у немцев хорошо продумана. Пристреляны все секторы коридора. Пока минометные батареи переносят свой огонь на эту сторону Керести, немцы постараются сдержать нас легким оружием. Поэтому надо выиграть время.

— Лезть на пулеметы бессмысленно,— роняет капитан Мезенцев.

— Да нам и не поднять бойцов...— соглашается с ним Чуев.

У нас нет ни минометов, ни орудий. Все сходятся на том, что выход один — гранаты. Командиры решают: нужны добровольцы.

Первым вызывается Шарипов.

Чуев слышит слова Шарипова, но не спешит с ответом — комиссар мало знает Аткая. Тот пришел в полк сравнительно недавно. Но, надо думать, Чуев был наслышан о дерзости Аткая при взятии Лесной Полисти. Вспомнив горца, комиссар согласно кивает головой. Васюрин называет еще двух бойцов своей роты — Сапожникова и Краснова.

— Хорошо! — решает Чуев.— Снаряжайте гранатометчиков.

Аткай отползает в сторону, и я слышу, как он окликает бойцов, спрашивая у них гранаты. Гранаты остались у немногих, а противотанковых вообще не оказалось — тащить их нет сил. Бойцы передают Аткаю «лимонки». Появляются Сапожников и Краснов. Под присмотром Аткая они готовят связки гранат.

Мы из воронки молча наблюдаем за ними.

Наконец Аткай с товарищами уползает. Мы вслушиваемся. Чиркают пули, похрустывают впереди ветви валежника... Мы все напряженно ждем.

Рядом копаются пулеметчики: расширяют воронку от мины, чтобы спрятать «максим».

— Последняя лента,— говорит один, смурыгая саперной лопаткой.

Второй не отзывается — сосредоточенно прилаживает короб ствола.

Немцы строчат без передыху. В короткие мгновения,

когда над нашими головами не проносятся разрывы, мне кажется, будто впереди, далеко-далеко, бухают орудийные выстрелы. Неужели части нашей армии все же пробиваются нам навстречу? А может, мне лишь кажется? Может, это не выстрелы и не разрывы вовсе, а шум у меня в голове? Может быть. Все может быть... Но надежда так радостна. И я вслушиваюсь вновь и вновь, и слышится мне, как гудит земная утроба: — Бу-у... Бу-у...

Неужели никто не слышит?

— Наши! Там — бой! — кричу я.

Крик мой всех будоражит. Все зашевелились, прислушиваясь. Но, как назло, немцы усиливают огонь. Наверное, заметили Аткая с ребятами.

Мгновения тянутся мучительно. Не пробились ребята! Да разве можно подползти к пулемету на бросок гранаты при таком фейерверке?!

Светает. Небо становится белесым. Кроны деревьев кажутся черными. Это еще ничего, что черными, думаю, через час-два кроны сосен зазолотятся — и тогда нам крышка. Неужели все? Нет, мы пробьемся, пробьемся!

Паня сидит рядом. Она по-прежнему несет оба автомата — свой и мой. Сумку она сбросила с плеча, подложила под бок и, привалившись к ней, смотрит в сереющий мрак леса. Я нахожу ее руку, сжимаю.

— Ты правда слыхал выстрелы?

— Да, будто.

Паня ответно пожимает мою руку, словно прикосновением своим хочет сказать: все будет хорошо.

Вдруг впереди с оглушительным треском рвутся связки гранат: одна, вторая, третья...

Словно по команде, мы выскакиваем из воронки и бежим. Важно не упустить момент, не дать врагу возможности опомниться.

Впереди, в десятке шагов от меня, маячит сухопарая фигура Чуева. Я впервые вижу комиссара в деле и теперь не свожу с него глаз. Меня поражает его ловкость и находчивость. Он бежит легко, трусцой — не прибавит шагу, пока молчат немецкие пулеметы, не убавит, когда они начинают строчить,— так как выскочил из воронки, так и бежит. Поваленное дерево на пути — он легко перепрыгнул через него; воронка — обежал стороной. Ничего лишнего в нем, ни одного нерасчетливого движения —

ни жеста, ни командного окрика. Бежит и только чуть слышно выкрикивает как молитву, как заклинание: «Мезенцев?» — «Жив». — «Лысенко?» — «Я!» — «Васюрин?» — «Бегу!»

Я начинаю сдавать. Мне за Чуевым не угнаться. Каждое поваленное дерево мне в тягость. Я не могу перепрыгнуть его с ходу, а сажусь на бревно, свешиваю ноги, переваливаюсь и бегу снова. Все тело покрылось испариной; по лицу течет пот, словно в парной меня паром окатывают.

Останавливаюсь, иду шагом. Меня обгоняют десятки разгоряченных бегом бойцов. Они шлепают по росистой траве мокрыми сапогами, сопят, отхаркиваются — и исчезают за серой занавесью леса. Ни команд, ни криков — только топот ног и бряцание оружия. Каждый знает: успех — в стремительности. Насколько там, на берегу Керести, крик «ура!» был единодушным и мощным, настолько тут, в лесу, все свершалось тихо.

Усталый, бреду по лесу, обходя воронки и поваленные деревья. Гляжу: трусцой бежит Чуев. Кожух на груди расстегнут, и видны петлицы со шпалами. Бежит и твердит свое заклинание:

— Мезенцев?

— Жив.

— Лысенко?

— Я!

— Васюрин?

Молчание.

— Васюрин! — кричит Чуев, останавливаясь.— Вы не видели Васюрина?

Все бегут; никто не отзывается.

Я подхожу к комиссару.

— Лейтенант все время бежал,— говорю.

Следом за Чуевым я переваливаюсь через бруствер, спускаясь в окоп. Ишь, оказывается, у немцев и посреди леса оборудованы промежуточные позиции.

— Васюрин! — громче кричит Чуев.

Обеспокоенные молчанием лейтенанта, мы начинаем звать в один голос:

— Васюрин! Васюрин!

Наконец к комиссару подходит сержант из взвода автоматчиков и докладывает, что последний раз он видел лейтенанта в мелколесье, на опушке осиновой рощи.

Чуев приказывает сержанту взять трех-четырех автоматчиков и осмотреть лес. Автоматчики скрываются в негустом мелколесье. Уходят на поиск и батарейцы. Даже Паня уходит со всеми.

— Может, ранен...— говорит она, заметив мой тревожный взгляд.

Привалившись к брустверу, Чуев вслушивается в хруст веток под ногами бегущих бойцов.

Каждого, кто спрыгивает в окоп, комиссар спрашивает: не видел ли он Васюрина?

— Нет.

И опять:

— Не видел ли Васюрина?

— Нет.

Кое-кто останавливается, бросая «нет!», а большинство молча прыгает через окоп и скрывается в еловой чаще. Пока немец не обстреливает, надо успеть проскочить хоть эту рощу! Никто не знает, сколько нам осталось пробиваться.

И Чуев не знает.

Он кладет планшет на бруствер, разворачивает карту и ориентирует ее по компасу; долго что-то вымеряет, разглядывает лист. Наконец комиссар не спеша складывает лист и прячет карту на место.

Рядом столпились командиры — ждут, что он скажет.

Любая половина — наша! — говорит он, и я не могу понять, с каким выражением сказаны эти слова.

В лесу слышатся шаги и приглушенные голоса: «Осторожней... осторожней».

Чуев легко выпрыгнул из окопа и остановился, пораженный недобрым предчувствием. Из серого, поредевшего от пулеметных очередей осинника показалась группа бойцов, несших Васюрина. Лейтенант лежал на плащ-палатке, которую, взяв за углы, несли автоматчики. Казалось, что он спит.

Бойцы согласно опустили палатку на землю и отошли. Чуев шагнул было к лейтенанту, да так и застыл: гимнастерка на Васюрине была черна от крови. Разрывная пуля прошила его насквозь. На спине, где она вышла, торчал клок бахромы от полкового знамени, которое вынес лейтенант.

Чуев склонился над Васюриным...

— Лейтенант...

Васюрин был еще жив. Он открыл глаза и долго глядел на Чуева, словно не узнавал его. Потом узнал склонившегося над ним комиссара, и лицо Васюрина, искаженное предсмертными муками, словно бы просветлело.

— Не дошел...— проговорил он.— Хорошо у своих...— Он хотел, видимо, сказать, что хорошо — знамя-то у своих,— но не договорил: кровь темной струйкой полилась у него изо рта — по лицу, по шее, за ворот гимнастерки.

Подбежала Паня, расстегнула ворот. Тябликов, пришедший в себя быстрее других, помог Пане отыскать рану. Пуля вошла чуть ниже сердца и на груди почти не кровоточила. Зато со спины вся гимнастерка была черной от крови.

Паня еще готовила тампон, когда Васюрин начал вдруг хватать руками сырую траву...

— Все... отходит...— Паня поднялась с колен.

Майор Лысенко и Тябликов приподняли холодеющее тело. Сержант-автоматчик размотал знамя и положил полотнище на землю, рядом с Васюриным. Все молча глядели на отошедшего лейтенанта и на знамя. По рваной дыре в полотнище можно было судить, как разворотило все на спине у Васюрина.

Кисти на знамени были спороты, чтоб облегчить полотнище, и если бы не силуэты Ленина и Сталина, шитые золотой тесьмой, то полотнище трудно было бы принять за полковое знамя.

— Старшина Тябликов! — глухо заговорил Чуев.— Принимайте знамя. Майор Лысенко! Батарейцы! Друзья! Не оставляйте ни на минуту старшину. Знамя полка это не только символ. На этом полотнище, как видите, кровь наших друзей, павших в боях. Сохраним его как святыню.

Тябликов сказал: «Есть!» — и торопливо стал снимать с себя портупею. Он был сверхсрочник, наш старшина; портупею он шил или подбирал себе на складе — давно, и она была изрядно поношена. Ремень вытерся и лоснился. Зато гимнастерка, летняя, и легкое исподнее белье на нем были новые. Берег небось до лучших времен, но в окружении никакой надежды на лучшие времена не оставалось, и он надел на себя все новенькое.

Сняв гимнастерку, Тябликов стал прилаживать знамя. Санкин помогал ему.

«Надо было бы поручить знамя Санкину,— думал я, наблюдая за тем, как сержант помогает Тябликову потуже обернуть полотнище вокруг тщедушного старшины.— Санкин в рубашке родился: три раза выходил из окружения».

И, как бы уловив мою мысль, Санкин сказал, поправляя на старшине портупею:

— Ну, теперь вся надежда на тебя!

— Сержант! — окликнул Чуев автоматчика.— Возьмите документы лейтенанта Васюрина.

Сержант нагнулся к погибшему, достал комсомольский билет и протянул его Чуеву. Комиссар раскрыл билет, посмотрел. В книжицу была вложена фотокарточка. Чуев бросил взгляд на фото: сестра? невеста? Но ничего не сказал, сунул документы в планшетку.

— Захороните лейтенанта. Отдайте ему последние воинские почести. Вперед, товарищи!

28

Все снова устремились за комиссаром. Но я бежать уже совсем не мог. В левом сапоге хлюпала кровь, голова кружилась, боль в плече не утихала. Тайком от Пани я на ходу сжимал и разжимал левую руку. Попробовал: повинуются пальцы или нет? Пальцы повиновались. Однако, посмотрев на ладонь (она вся в пятнах запекшейся крови), я похолодел. Мне показалось, что ладонь стала чернеть. Неужели газовая гангрена? Я уже совсем едва плелся...

Как я ни старался скрыть от Пани свою тревогу, она заметила, что я тайком от нее поглядываю на руку.

— Вась, как ты себя чувствуешь? — спрашивает она.

— Ничего! — отвечаю.— Дай-ка сюда мой автомат. Устала небось.

Я беру у Пани свой автомат и, чтобы у нее не оставалось сомнений в том, что со мной ничего не происходит, надеваю ремень на шею и лихо забрасываю ППШ за спину. Но мушка, коснувшись плеча, ударяет по ране. Я едва сдерживаю стон.

— А чего ты все посматриваешь на руку? Болит?

— Болит, зараза. Но терпимо, Паня. Ей-богу. А как ты?

— Как видишь...

В этих словах я улавливаю не только безразличие и усталость, но и скрытый упрек в свой адрес. Паня всем нужна: скольких она перевязала только за одну нынешнюю ночь! А о ней никто не подумал, не предложил понести, хоть на время, ее тяжелую сумку, автомат. Все относились к ней, к этой хрупкой девчонке, как к ровне, к сержанту Зайцевой, которая обязана каждому... Обязана перевязывать раны. Обязана говорить ласковые слова. Обязана успокаивать. А ей никто ничем не обязан.

Едва держась на ногах, я ласково привлек к себе Паню и погладил ее по плечу; какое-то время мы шли рядом.

Мы приотстали от наших. Но ненамного. Только Чуев и майор Лысенко были впереди. А остальные батарейцы уже не могли бежать. Передо мной маячила широкая спина Аткая; удачная вылазка словно придала ему силы, и теперь он шагал споро, широко. Рядом с ним — Егор Урнов. Егора всегда можно узнать издали. При ходьбе он раскачивался из стороны в сторону, как парусник на волнах. За своим комвзвода неотступно спешил связист Чихачев. Слава богу, подумал я,— живы!

К нам с Паней прибилось еще человек пять или шесть пехотинцев — все раненые, с окровавленными повязками. Никто из них не хныкал, не скулил, все шли молча, сосредоточенно.

Серел рассвет. В еловых рощах, искалеченных и изреженных, над болотами, заросшими кугой и ряской, стелился туман. Кусты ольшаника выступали из серой, влажной пелены черными горбами, как лошади, пасущиеся на лугу... А может, мне казалось, что вокруг туман,— просто туманилось в моей голове.

Небо становилось все прозрачнее. Чернели хребты дальних перелесков. Шагая, я то и дело с тревогой поглядывал поверх этих хребтин. Еще час, от силы — два... Как только займется заря, так они прилетят.

И как бы в подтверждение этих моих мыслей над лесом раздался гул самолетов. Никто не кричал «воздух!», но и без команды лежневка опустела. Бойцы стали раз-

бегаться в разные стороны, прячась в кустах ольшаника и редких перелесках.

Абдуллин, отыскав старую воронку с оплывшими краями, присел на самое дно.

— Комбат! Паня! — окликнул он нас, когда мы пробегали мимо.— Давайде сюда. Летят!

Паня бросила на дно воронки свою брезентуху, помогла мне спуститься вниз. Я сел на сумку, привалившись спиной к холодным бокам воронки, и стало мне хорошо, спокойно. Не надо никуда бежать, падать на землю, прятаться. Так сидел бы и сидел. Неподалеку от воронки стояла сухая или сгоревшая при бомбежке сосна. Я посмотрел на нее: странно. Вершина почему-то не стоит на месте, а плывет по кругу, появляясь то слева, то справа. Вдруг я осознаю, что это у меня кружится голова.

Я закрыл глаза, и наступило такое успокоение, что даже рана моя перестала болеть. Ничего мне не хотелось; одно желание — лежать вот так, ощущая потной спиной сырую землю, и чувствовать рядом дыхание Пани. Да и жить не хотелось. К чему эти муки? Все равно мне отсюда не выйти. «Еще вчера была надежда...» — вертится в голове фраза. Увы, сегодня — никакой. За одну ночь нам не пробиться, а до второй ночи я не дотяну, потеряю слишком много крови. «Еще вчера была надежда...» Уж рванула бы бомба, что ли! Похоронила б всех сразу. Так хорошо лежать вместе с самыми дорогими людьми: Паней и мудрым Ахмедом... Нет, пусть Ахмед живет. Он не ранен. Он сильный. Он выйдет, будет еще воевать. Ахмед еще нужен людям. И Паня... И Паня нужна. Пусть и она живет. «Еще вчера была надежда...» Это стихи, что ли? А может, это и не стихи. Может, так стучит мое сердце.

Шум в ушах нарастает. Однако, раздирая и шум и мысли, все явственнее слышался гул самолетов. Но гул был какой-то странный: без посвиста, который всегда оставляют за собой «мессершмитты», и без натужного рокота, характерного для «юнкерсов». Деревья не клонило к земле и не раскачивало, как всегда их раскачивает, когда идут на бреющем «горбачи». Гул нарастал как-то вяло, медленно, и когда наконец-то над вершинами перелесков появились самолеты, раздался радостный крик:

— Наши! Глядите, наши!

Я невольно приоткрыл глаза.

Низко-низко, едва не задевая крыльями вершины деревьев, летели наши ночные бомбардировщики. На других фронтах их пренебрежительно называли «кукурузниками», а для нас они были спасители. Сколько раз за эту зиму мы с затаенной радостью вслушивались в их неторопливый, мерный гул. Мы знали: раз прилетели «кукурузники», значит, завтра каждый из нас получит по лишнему сухарю, а может, прибавят даже норму мучицы, и наша болтушка станет покруче.

Самолетов было немного — звена два, не больше. Слева, из-за опушки леса, разрезая надвое серое небо, взметнулись трассы выстрелов, затявкала автоматическая пушка.

Пилоты видели, что это стреляют немцы, однако они не спешили сбросить бомбы. «Кукурузники» пролетели над лежневкой, вдоль всего коридора, пробитого нами; где-то в районе Дуброва развернулись и все так же низко-низко снова прошли над нами и скрылись на востоке. Сколько радости вызвало лишь одно их появление! Бойцы повскакивали с земли, вылезли из воронок; подняв над собой винтовки и автоматы, они кричали: «Наши! Наши!»

Мы тоже выбрались из воронки, заспешили вперед. В это время на востоке, в районе Зеленщины, ясно стали слышны взрывы: это наши ночные бомбардировщики бомбили немецкие позиции. Но вот бомбежка кончилась, и через какое-то время снова стали слышны взрывы. Сомнений не было: стреляли орудия.

Наши орудия!

Паня швырнула на землю свою сумку.

— Пустая. Чего ее тащить!

Повеселели бойцы.

Прибавили шагу командиры.

Теперь уже шли во весь рост, не пригибаясь. Повсюду слышались окрики: «Второй батальон? Есть тут из второго батальона?» — «Сержант Климчук!» — «Я!» — «Топай сюда!»

И я споро шагал вместе со всеми. И силы во мне откуда-то появились. И я уже не повторял: «Еще вчера была надежда...» Надежда и вчера была, и сегодня она есть.

Есть! Есть!

Не прошли мы и километра, как лес стал заметно редеть, все чаще стали встречаться осины — низкорослые, с кривыми замшелыми стволами. Вскоре мы почувствовали, что ноги наши чавкают в воде и словно бы проваливаются.

— Что за чертовщина! Никак, снова болото? — удивленно воскликнул вслух Ахмед.

— Болото...

В стороне от лежневки, на поваленном дереве, сидели командиры. Они о чем-то оживленно разговаривали, и я уловил в голосах тревогу.

— Были бы саперы...

По мягкому украинскому выговору я узнал в одном из них майора Лысенко. Мы подошли к бывшему нашему комбату. В окружении командиров на бревне сидел Чуев. Планшет его был раскрыт, и он шуршал листом карты.

— Да, болото...— проговорил Чуев.— Михайловские мхи. Вправо — до самой узкоколейки, а в эту сторону — выходят к Керести.

— Но лежневка-то вдоль болота должна быть? — осторожно спросил Шарипов. После того как его заметил Чуев, Аткай ни на шаг не отставал от комиссара.

— Лежневка вон она — плавает,— мрачновато отозвался Мезенцев.

Пока Чуев и другие командиры по очереди разглядывали, изучая, карту, я прошел вперед, на поляну. Я все понял сразу, без карты.

Лес редел и в сотне метров кончался. Открывалась поляна. Ее нельзя было охватить взглядом, чтобы сказать точно — сколь она обширна. Заросли ольшаника — словно копны сена на лугу — выглядывали из тумана. Я поискал за ними островерхий частокол дальнего леса, его нигде не было видно. Болото и вправо и влево. Через зыбкий кочкарник горбатился лишь узкий мосток лежневки.

К этому зыбкому мостку и устремились теперь люди. Едва держась на ногах, бойцы, подбадриваемые звуками канонады, доносившейся с Волхова, бежали, обгоняя друг друга. Кто с винтовкой, кто с автоматом; раненые — без оружия.

Посреди лежневки, растопырив руки в стороны, стал Чуев:

— Товарищи, не спешите! Надо разведать лежневку!

Но на его предостерегающий окрик никто не обратил внимания. Бойцы бежали и бежали по лежневке. Разбитая за зиму гать утопала под ногами. Плохо скрепленные бревна зыбко ходили, то погружаясь, то всплывая вновь. Из-под бревен фонтанами вздымалась вода и пузырилась болотная жижа. И все же никто не останавливался, чтобы переобуться или перевести дух.

Впереди ухало, бухало, стреляло.

Впереди были свои; впереди были сухари, махра, письма из дому — и бойцы, увлеченные надеждой, бежали по лежневке.

Чуев призывал: «Мезенцев! Лысенко!» Но ни Мезенцев, ни Лысенко остановить бегущих не могли. Комиссар махнул рукой и сошел с гати. Не он ли час назад сам подгонял этих голодных, усталых ребят: «Вперед! Вперед!»

Вдруг на лежневке что-то глухо треснуло. Каким-то необычным показался мне взрыв — ни выстрела, ни полета снаряда не слышно было, откуда же эти желто-красные языки пламени? И хотя мне не случалось иметь дело с противопехотными минами, я сразу же решил: минное поле! Только они — противопехотные мины в деревянных коробках — должны давать при взрыве такие глухие шлепки.

Почти одновременно с этими шлепками с лежневки послышались стоны раненых.

— Назад! — кричал Чуев, но его крик терялся среди новых взрывов.

Бойцы продолжали рваться к лежневке, сзади напирали новые волны окруженцев, и остановиться, отхлынуть назад уже не было сил.

— Ротозеи! Овцы! — ругался майор Лысенко.

Все, у кого хватало благоразумия, задерживались в мелколесье, граничащем с болотом. Оглядывали кочки, заросшие кугой, зеленый и зыбкий рясник. «Понятно,— думаю, наверное, не я один,— расчет немцев прост. Они хотят заставить нас идти в обход болота. Хотят, чтобы мы снова сбились все на узкоколейку. А там у них, в насыпи, — блиндажи и доты. И в каждом доте — эта машина со сменным стволом, МГ-34».

Сначала все сбиваются в осиннике, неподалеку от лежневки. Наталкиваясь один на другого, падают; лежат

в сырой траве. Потом вдруг вскакивает один, подался вправо, в сторону узкоколейки. За ним топает другой, третий...

И вот уже несется сотня. Топот, пыхтенье, чавканье ног. И сквозь эти привычные звуки слышу строгий окрик Чуева:

— Стой!

И Мезенцева:

— Назад!

И Лысенко:

— Ложись!

Но даже целой группе командиров не удается остановить бегущих. Не проходит и четверти часа, как справа, от насыпи, начинает четко говорить крупнокалиберный пулемет. Его выговор отличишь и от ручника, и от автомата. «Бу-бу-бу...» — бубнит он, все равно что картошку сыплют осенью в погреб по деревянному желобу.

И вот бегут обратно потерянные бойцы. Бегут влево от лежневки, в лесную чащобу. А в этой чащобе — то же болото.

Бегут назад.

Я сижу на бревне, где только что, четверть часа назад, сидел Чуев в окружении командиров. Сижу и тупо, отчужденно наблюдаю эту кутерьму.

Почему-то возле меня никого нет.

— Паня! — зову я.

Наверное, убежала перевязать кого-нибудь... Меня снова одолевает безразличие... Чего они бегают — туда-сюда? Мы в западне. Пути отсюда нет. Пеканов прав. Прав Илья: надо было рассыпаться всем в разные концы, соединяться с партизанами и бить и мстить немцам в тылу. Все сдались, устали — вон не слышно голосов ни Мезенцева, ни Лысенко. Только один Чуев не сдался. Из автоматчиков охранного взвода и командиров, оказавшихся поблизости, он создает что-то вроде заградотряда. Автоматчикам наконец-то удается приостановить это суетливое, никчемное бросание из стороны в сторону.

Бойцы залегли.

Лежат.

Ну а что дальше?

Наконец вижу: кто-то пробует отыскать брод в болоте. Ловкий выбрался человек! Взял в руку жердь и, перепры-

гивая с кочки на кочку, побежал по зыбкой трясине. «Хваток, черт!» — думаю я с завистью, наблюдая за легкими прыжками смельчака. Всмотревшись, я вдруг улавливаю что-то знакомое — и в его фигуре, и в сильных прыжках. Пригляделся: это же наш Аткай! Балансируя шестом, он прыгает с кочки на кочку. Автомат мешает ему. Он отбрасывает его за спину и снова бежит.

Путь указан — за Аткаем лезут в болото и другие.

Зыбкий кочкарник кончился. Впереди — ровный зеленый ковер — луг, залитый водой. Стелется туман — и ничего, что предвещало бы опасность. Аткай бросает под ноги жердину и осторожно перескакивает на сухое место. Нагнувшись, поднимает хлыст, снова бросает... Идет... Вдруг его мокрые ноги соскальзывают с кругляка, и он валится в ряску. Нет, Аткай не был бы горцем, если бы упал, как мешок. Он все же изловчился, встал на ноги. Зеленый ковер травы, который он принял за луг, оказывается ряской, плавающей на поверхности воды. Откуда было знать это горцу, привыкшему ходить по каменистым тропам? Аткай погружается по пояс в воду. Он цепляется за жердину, силится выбраться из трясины.

Туман застилает мне глаза. Я вскакиваю и подхожу к самому краю болота. Народу в ольшанике — не протолкнуться. Каждый кричит, советует:

Сапоги снимай!

Автомат! Бросай автомат!

Бойцы, бежавшие следом за Аткаем, растерянно потоптавшись на кочках, поворачивают обратно.

Тут в мае выходил полк...— рядом со мной, опершись на винтовку, стоял мрачноватый с виду боец.— Сказывают, кто видел, целое отделение, одиннадцать человек, засосало. На виду у всех. Как шли с винтовками, так и провалились.

Барахтаясь в трясине, Аткай что-то кричал, может, ругался, может, звал на помощь.

— Аткай, держись! — Отделившись от толпы зевак, бросился на помощь майор Лысенко. В руках у него свежесломленная жердина с метелкой хвои на конце. Майор ловко перепрыгивал с одной мохнатой кочки на другую, не сводя взгляда с ослабевающего Аткая.— Держись!

Лысенко был уже близок к цели — до Шарипова оста-

валась какая-нибудь сотня шагов, когда по болоту полоснула россыпь трассирующих пуль. Майор залег, выжидая. Пулеметы стреляли справа, от насыпи узкоколейки. До насыпи тут было метров шестьсот — не меньше, и пристрельного огня пулеметы вести не могли. Болото все покрыто ряской, но по краям топорщились кусты, высились мохнатые шапки кочкарника, и они-то мешали прицельному огню. Срезая траву и сучья, пули вспыхивали, светились, и казалось, что немцы не стреляют, а зажигают без конца бенгальские огни.

Теперь уже все не спускали глаз с майора.

Лысенко понимал, что одним неосторожным движением он может погубить и себя и Аткая. Выставив вперед жердь, он пополз по-пластунски. Метелка хвои, бывшая на конце хлыста, сразу же засветилась, как светились кусты ольшаника и вершины кочек. Значит, немцы били все-таки прицельно — раз они заметили верхушку елки.

Руки Аткая слабели.

Слабел и его крик.

— Нет, не успеет майор. Сдает парень,— сокрушенно сказал кто-то.

— И правда, не убитый ли? — отозвался другой.

— Кто?

— Да рябой майор. Напрасно полез — не поможешь парню. Гляди, уже по плечи ушел.

Я старался не смотреть туда, на болото. Нет силы у меня, чтобы видеть мучительную смерть Аткая.

Но не таков был наш майор; не в его характере — остановиться на полпути, сдаться. Увидев, что Аткай слабеет, Лысенко бросился к нему. Подполз к горцу, подхватил его под мышки.

И в это время полоснула вторая очередь, и пули, вспыхнув, скрестились над ними.

29

Измотанные, голодные, в ссадинах, с наспех перебинтованными ранами, люди подходили к краю болота, валились на землю. Бойцы лежали в кустах ольшаника, сидели на стволах поваленных деревьев. Каждый жался поближе к своим, к командиру взвода, роты.

Все сидели кучками, группами; редко кто выходил один, как есть бобылем, отбившись от своих. Садились на землю, на бревна, отжимали портянки, переобувались; меж делом переговаривались.

— Иван!

— Чего?

— Где сержант? Когда ты его в последний раз видел?

— На Керести.

Рядом лежит еще одна группа. Все сбились возле командира с повязкой под картузом. Картуз с лакированным козырьком, с высоким околышем. Значит, артиллерист. Наверное, из полка Звездина. Они вступали в дело после нас. Пока мы пробивались на узкоколейке, они еще вели огонь по главному оборонительному рубежу немцев — вдоль Керести. И вот они уже нагнали нас. Значит, мы изрядно задержались на этом болоте.

Я прохожу мимо ребят, майора Звездина с ними нет. Я ищу своих: Паню, Тябликова.

От лежневки, из-за кустов ольшаника, бредут люди в гражданском. Как им-то удалось пройти через этот ад? Приглядываюсь: нет ли Дарьи Колобовой? Ни Дарьи, ни ребят, ни коровы.

Тщедушный пехотинец, привалившись спиной к черному пню, разматывает обмотки.

— Вот обува так обува! — говорит он.— Я нарочно скинул кирзачи: легче бежать. Ей-бо!

Вдруг меж деревьями черными тенями мелькнули немцы. Мелькнули — и скрылись. Боец, хваставший своей смекалкой, подхватился и побежал. Товарищ его, сидевший рядом, поймал обмотку, которую тот не успел размотать, и пехотинец ткнулся носом в землю.

— Да это же пленные!

— Пленные?! Да! Вот их-то и послать первыми!

— Их и так трое осталось! — Из-за кустов ольшаника стремительной походкой вышел Чуев.

Окружение его поредело — не было рядом с комиссаром ни Башмакова, ни Лысенко. Но были тут и новые — командир саперной роты Вилков и майор Звездин.

— У меня в роте большие потери,— докладывал Вилков.— В наличии восемнадцать бойцов и три миноискателя.

— С миноискателями мы тут до самого утра прово-

зимся! — нетерпеливо, на ходу, говорит Чуев.— Надо действовать немедленно. Хлысты! Нужны самые длинные хлысты. Эти немецкие деревяшки соединены друг с другом проволокой. Порвем проволоку хлыстами и взорвем мины! Майор,— обратился он к Звездину.— Выделяйте людей. Операция — под вашу ответственность! — сухо бросает Чуев Вилкову.

Потребовалось какое-то время, чтобы мысль, подсказка комиссара побудили бойцов к действию. Три или четыре группы, человек по пять в каждой, вооружились длинными-предлинными хлыстами, очищенными от веток. Бойцы ползли по лежневке, проталкивая перед собой жердины. Какое-то время все шло гладко. Но вот впереди взметнулось вверх желто-красное пламя — мина!

— Молодцы! — восхищенно сказал пехотинец, который перехитрил всех и намотал обмотки вместо сапог.

Вместе со всеми я наблюдал за подрывниками. Конечно, молодцы. Храбрецы — да и только. Противопехотные мины у немцев разных систем. Есть одиночные, с усиками. Они ставят их в траве, на лугах. Бежишь росным лугом — ничего не видно: трава и трава. Наступил на крохотный усик — и... На дорогах, где ожидается скопление пехоты, немцы соединяют проволокой ряд мин, и взрываются они сразу, как фугас. И хотя теперь каждый хлыст, которым бойцы прощупывали лежневку, был длинный, все равно надо иметь мужество, чтобы двигаться и двигаться вперед, всякую минуту ожидая взрыва мины. А если хоть одна мина уцелела, не взорвалась, то ты взлетишь на воздух.

Зная это, саперы все же ползли вперед. Ползли медленно — намного медленнее, чем хотелось бы людям, сбившимся на краю болота.

Потеряв всякую надежду найти своих возле лежневки, я снова повернул в сторону узкоколейки. На опушке леса, обращенной к болоту, столпилось столько народу, что, если бы наши были тут, я все равно бы их не увидел. Не увидел, не заметил бы среди этих серых, одноликих теней, которые лежали под каждым деревом, под всяким кустом.

С опушки я свернул в глубь леса и неподалеку от лежневки увидел костерок и силуэты людей, толпившихся возле огня.

Поближе к огню вешайте. Не сгорит — мокрая насквозь...— Ее, Пани, голос.

Я так обрадовался, что даже не мог выкрикнуть ее имя. Подойдя поближе, я увидел, что в кругу батарейцев, ближе всех к огню, сидит я не поверил своим глазам — майор Лысенко. Он был без гимнастерки; правая рука его забинтована по самый локоть.

Май... майор! — от неожиданности, от радости у меня перехватило дыхание.

— Я! Я! Лысенко поднялся от огня, и мы с ним обнялись, будто только что впервой за эту ночь увиделись.

А где Аткай?

Лысенко отвел в сторону глаза:

— Одной пулей... Мне прошило руку, а его убило.

— Горяч был лейтенант, обронил Санкин.

Кавказец! подтвердил Тябликов.

Паня от огня пересела ко мне.

А мы все сбились в осиннике. И глаз оторвать не можем, и помочь не знаем как,— продолжала она разговор, оборванный на полуслове. Она поглядела на меня, и, видимо, мое обескровленное лицо и вялость не понравились ей.

— Вася,— ласково и сокрушенно сказала она.— Ты теряешь много крови. Пока тихо, есть время, давай я сменю перевязку. Паня привлекла меня к себе и, обняв, затихла на мгновение.

Когда-то ее объятия доставляли мне радость. Теперь теплые Панины ладони причиняют мне лишь неудобство и острую боль.

— Потерпи! Потерпи, милый...— Она достает из кармана куртки индивидуальный пакет; умело, одним движением, надрывает его и начинает бинтовать.— Последний... Теперь ни к чему. Осталось лишь вот это болото. Там, глядишь, наши помогут. Помогут! Обязательно! А то как же? Неужели отступятся? — говорит, а сама продолжает бинтовать.

«Значит, последний пакет,— думаю я.— Для себя берегла. И отдала мне...»

— Готово. Я затянула покрепче. Можешь прыгать через кочки...— подбадривает меня Паня.— Вставай — уже побежали.

Я с трудом приподымаюсь. Встают и батарейцы. Майор

Лысенко надевает гимнастерку, которая так и не высохла над огнем.

Пошли. От слабости подкашиваются ноги. Но я не подаю виду, перебарываю себя. Взрыва мин на лежневке не слышно. Все принимают это за сигнал, что путь свободен. Никому не приходит в голову, что смельчаки могли и погибнуть. Никто не хочет думать именно так.

Вперед вырываются бойцы повыносливее, посильнее, покрепче.

Батарейцы с трудом втискиваются в людской поток. Лежневка разбита. Бревна погружаются в топь, поверх их выступает вода. Но люди не замечают этого — для них главное сейчас то, что дорога свободна, что бегущие впереди не падают, не подрываются на минах — на остальное наплевать!

Пулеметы от узкоколейки постреливали, но расстояние было слишком велико, чтобы вести прицельный огонь. А шальной, рассеянный — никого не пугал. Разрывные пули фейерверочными огнями вспыхивали над болотными кустами; посвистывая, пролетали над головами. Кто-то падал на бегу; может, поскользнулся на мокром кругляке, может, убит или ранен — кто знает? Остановиться, чтоб помочь упавшему, нет возможности: задержишься — мигом сбросят в болото, растопчут.

Мы бежим с Паней рядом.

И я теперь бегу. Стараюсь из последних сил. Даже если бы совсем не было сил, даже если б ни капли крови не осталось в моем сердце,— то и тогда бы я бежал. Так сильно было стремление выйти к своим. Так неотвратим был бег окружающих меня людей.

Лежневка прогнулась от тысяч бегущих ног. Поверх бревен плыла, пенилась болотная жижа. Но люди не замечали этого — ими владело одно желание: вперед! Черная, молчаливая толпа растянулась на добрый километр: и впереди — люди, и позади — люди. Мокрые, в порванной одежде, с окровавленными, как и у меня, повязками...

Мы были, видимо, посреди болота, когда над лежневкой трескуче и словно бы случайно пронеслась пулеметная очередь. Через мгновение — еще и еще раз. На этот раз раскатисто, басовито. Пулемет бил с того края бо-

лота — навстречу, в упор по бегущим. Но никто уже остановиться не мог.

Кто-то падает; кто-то стонет, распластавшись на лежневке, но сзади напирают все новые и новые волны окруженцев.

Подвластный этому неудержимому движению, бегу и я, не чувствуя уже ни усталости, ни боли в плече. Нет и сознания опасности. Лишь клокочет внутри ожесточение: «Ну обождите, вражины, будет и на нашей улице праздник!»

Еще один рывок. Я уже вижу окоп, откуда стреляет немецкий пулемет.

Где-то за болотом, в стороне узкоколейки, вспыхивает «ура». Видимо, и там наши прорвались.

— Ура! — кричу я. Но мой крик никто не подхватывает. А может, у меня и крика-то не получилось, а стон один. Губы у меня спеклись — от жажды; в горле все пересохло.

Соседи мои, как и я, бегут из последних сил.

Пулемет все стреляет.

А люди бегут и бегут.

Еще триста... двести метров. Снова по обе стороны лежневки показались кочки и кусты ольшаника. Туман уже не клубится, и кусты не кажутся мне серыми гривами лошадей. Я гляжу мимо кустов — на черную пасть немецких окопов.

Пулемет стреляет.

А люди все бегут и бегут.

Плюхаются в воду, бултыхаются, выбираются, бегут, перепрыгивая с кочки на кочку. Кто-то кричит: «Генка, гляди: кювет!» — и бойцы прыгают с гати в кювет. Но я не прыгаю, продолжаю бежать по мокрым круглякам.

Я не спускаю глаз с немца-пулеметчика. Один, гад, управляется, без напарника. Небось погибли все помощники. Без кителя, в одной исподней рубахе. Работничек. Жарко ему. На голове, однако, каска. Боится. «Ну обожди, вражина, ты сейчас получишь!» Я достаю из-за спины автомат. Целюсь, как могу, и стреляю длинной очередью. Мимо... Мне бы только срезать вот этого пулеметчика. О, я теперь хорошо понимаю состояние раненого Коли Зотова! Жаль только, что мало осталось патронов в диске.

Сдерживая себя, я стреляю короткими очередями. «Я тебя достану! Я тебя срежу сейчас!»

— Ура-а! — кричит кто-то над ухом.

Смотрю: Чуев.

— Ура-а! — орет во все горло пехотинец, сменявший сапоги на обмотки: живой, черт!

Клич этот разносится над лежневкой; его подхватывают и бойцы, бегущие по болоту. Кажется, не от топота тысяч людей, спешаших к своим, к жизни, содрогаются ободранные кругляки гати, а от этого мощного крика.

Немец-пулеметчик вдруг выскакивает из окопа, заламывает руки над головой, и над лесом раздается его жуткий утробный смех. Этот странный смех никак не вяжется с тем, что немец только что вершил на песчаной косе, где кончалась лежневка.

— Ах ты гадина! — Я снова выпускаю очередь, жму на спусковой крючок до тех пор, пока автомат не умолкает.

Немец поворачивается лицом ко мне, к сотням людей, которые бегут ему навстречу, и, как засохшая вершина осины, срезанная осколком снаряда, падает на землю. Я вскакиваю на бруствер. За невысоким валом земли — в обе стороны змеится окоп. По окопу, по узкой черной щели, бегут в оба конца черные рогатые немцы. Я нажимаю на спусковой крючок — автомат молчит. Бросаю свой ППШ, выхватываю из кобуры пистолет, стреляю сначала в одну, потом — в другую сторону.

Силуэты бойцов вырастают на бруствере и исчезают в черной щели окопа.

Я облокачиваюсь на бруствер и закрываю глаза.

30

Выстрелы и топот ног затихают.

Я с трудом открываю глаза. На бруствере стоит эта чертова железяка: МГ-34. Словно паук. Тонкие лапы треноги глубоко воткнуты в землю. Дуло смотрит на меня. Я толкаю сапогом надульник, но пулемет не опрокидывается: так я ослабел. Тупо разглядываю «рабочее место» моего врага. Весь окоп вблизи пулемета засыпан стреляными гильзами. На дне окопа, полузасыпанный этими

гильзами, лежит немец. Глаза открыты, руки разбросаны в разные стороны: очевидно, второй номер. Первый-то стрелял до самого последнего момента.

И я в одно мгновение отчетливо представил себе, как все это было.

...Окоп был отрыт в полный рост. Пулеметчик стрелял стоя. Гильзы мешались под ногами, и немец носком сапога отгребал их в сторону. А они — сыпались и сыпались — люди по лежневке все шли и шли... Некогда стало отгребать — фриц присел на колени, поверх вороха гильз, и стрелял, давая отдых себе и своей страшной машине лишь на одну-две минуты: чтобы сменить докрасна раскаленный ствол или прицепить очередную ленту из жестяной коробки. Было жарко от горячих гильз под ногами, и немец снял с себя китель. Еще никогда не приходилось ему стрелять так долго без передыха.

А русские все шли.

Когда они были уже совсем рядом, кто-то из русских бросил ручную гранату. Она разорвалась сбоку. Напарник ткнулся лицом на коробку с лентами. Пулеметчик оттолкнул его, и тот упал на дно окопа. А сам все продолжал стрелять. Пулемет уже выхаркивал из себя пули, и не было секунды заменить ствол: русские были совсем рядом.

Теперь немец не стоял и не сидел за пулеметом, а лежал на ворохе гильз.

А русские все шли, крича свое «ура», которое наводило ужас. И тогда немец вскочил из-за пулемета и бросился бежать.

«Но зачем он хохотал, смеялся? — думаю я.— А-а, небось в голове помутилось».

Я смотрю на ворох стреляных гильз. Они еще горячие — жгут подошвы сапог.

Мимо меня, перепрыгивая через окоп, бегут люди. Некоторые останавливаются, чтобы перевести дух, но большинство бежит. А у меня нет сил бежать; даже вылезти из окопа нет сил, и я тихо бреду траншеей.

— Комбат? Жив! — окликает меня кто-то.

Я вскидываю глаза: Тябликов. Как всегда, туго затянут портупеей; автомат на изготовку; спокоен, только шрам порозовел от натуги. Следом за старшиной через бруствер переваливаются человек пять автоматчиков бывшего васюринского взвода, а с ними и наши — Санкин, Абдуллин,

Чихачев... Последним вваливается в окоп майор Лысенко. Перелезает через бруствер вяло, бочком, боясь потревожить раненую руку.

— А Паня где? — спрашивает майор.

— Паня?! — вскрикиваю я. Пошатываясь, я поднимаюсь на бруствер. У меня нет сил сдвинуться с места.— Она тут была. Мы бежали вместе. Рядом.

Лысенко поднимается следом за мной, и мы стоим на земляной насыпи, смотрим назад, на лежневку.

— Не могла же она так, сразу сгинуть? — обеспокоенно говорит Лысенко.— Она бы крикнула. Позвала.

Подходят Ахмед и Санкин.

— Подождем. Сейчас объявится,— говорит добрый Ахмед.

«Ждать? Нет!» По песчаному откосу окопа я бегу в сторону лежневки. Черная, живая толпа заполонила всю гать. Обтекая меня, бегут разгоряченные бойцы. Я всматриваюсь: может, мелькнет лицо Пани? Паня! Па-ня! — стучит у меня в висках.

Я торопливо шагаю навстречу нескончаемому людскому потоку. Чем ближе к лежневке, тем плотнее серый, живой вал.

— Пустите! — кричу я, протискиваясь вдоль лежневки.

Бойцы смотрят на меня как на сумасшедшего. Пробиться нет сил. Но я должен пробиться! Я свирепею от своей беспомощности. Хватаю одного бойца, другого, отталкиваю в сторону, с дороги. Третий хватает за шиворот меня. Я сбрасываю со своего плеча его руку, занесенную на меня, и рвусь вперед.

— Комбат! Комбат!..

Я оборачиваюсь — узнаю Ахмеда. Сержант кладет обе руки на мое плечо.

— Куда вы — один? Разве пробиться сквозь эту толпу? Собьют, растопчут — как пить дать! — Не снимая рук с моего плеча, Абдуллин увлекает меня за собой, в сторону от лежневки.

Я все понимаю, да и сил мне хватает ненадолго. Разом одолевает слабость, и я подчиняюсь Ахмеду.

Абдуллин тоже все понимает, но успокаивает меня.

— На лежневке ее нет,— торопливо говорит он.— Мы только что шли. Увидели бы! Она где-то тут. Отбежала в сторону. Найдется.

Я растерянно смотрю по сторонам. «Паня тут! Паня найдется!» — уговариваю я себя.

Мы сворачиваем к узкоколейке. Черные кусты ольшаника плавают посреди болота. Я смотрю на них и не понимаю: почему они плавают? — все равно как зонтики над толпой на набережной Владивостока. Во Владивостоке весной всегда дождь... А Паня была во Владивостоке? Не знаю. Не спросил. Надо спросить.

Мы идем по краю болота. Лохматые кочки — словно немецкие трупы на косогоре у Мосина хутора: они черные, и их очень много... Молодые березки срезаны пулями; вершины их валяются на траве, на песке, на кустах осоки. Однако мы далеко уже от лежневки. Паня не могла уйти так далеко.

Ахмед, шагавший впереди, неожиданно останавливается. На земле, уткнувшись лицом в зеленую мураву, лежит боец. Абдуллин нагибается, приподымает убитого. У меня все так и замирает в груди: девушка. Нет, не Паня. Русоволосая, в гимнастерке; ремень командирский, не брезентовый. Знаков различия в петлицах не видать. Санинструктор другого полка? Телефонистка? Я помню: при штабе дивизии работали и девушки на связи. И на полевой почте работали. Мне вспоминается рассказ Николая Зотова о том, что девчата с полевой почты обещали переправить его письмо домой. Возможно, она с почты. Взять бы документы, но вся грудь у девушки — в сгустках крови. Вряд ли уцелели какие-нибудь документы.

На смену кустарникам встает лес. Светлая березовая рощица упирается в самое болото. В роще — никого, ни живых, ни мертвых.

Дальше идти бессмысленно: Паня забиться сюда не могла. Я поворачиваю назад, к лежневке. Ахмед идет за мной по пятам, тенью.

Людской поток на лежневке не ослабевает. Переждать его нет возможности. Я понимаю это. Но и уйти отсюда у меня нет сил.

— Ну що, не видать? — В окопчике, под навесом лежневки, сидят Лысенко и Чуев.

По моему виду они обо всем догадываются. Однако майор предлагает посмотреть еще по другую сторону гати. Перевалив через кювет, мы идем влево. Под ногами — зыбко, слякотно; мох на земле словно живой: дышит.

Перевернув еще два или три трупа, мы возвращаемся.

Чуева и Тябликова с автоматчиками уже нет. Оно понятно: им задерживаться нельзя. А все остальные, окружив майора, сидят в окопе, поджидают нас.

Никто не роняет ни слова.

Молчим и мы с Ахмедом.

Я спрыгиваю в траншею. Усталый, опустошенный, сажусь вместе со всеми. Сижу минуту, другую. Батарейцы понимают мое состояние.

— Идите. Я подожду...

Никто не шелохнулся. Все сидят молча.

Меня одолевает безразличие: не хочу жить! Зачем, если нет Пани? Зачем она мучилась, мерзла лютыми зимними ночами? Сдирала кожу с рук, стирая нам рубахи? Зачем, чтобы вот так погибнуть?

Тихо.

Вблизи никто не стреляет.

Только хрустят ветки валежника да звенят гильзы под ногами.

Люди все бегут.

Впереди, на Волхове, куда стремятся бойцы, кромка леса освещается орудийными выстрелами. Прошивают лесную гущу звонкие пулеметные очереди. Это «максим». Его выговор отличишь от любого другого оружия. Но почему так хорошо слышно? Неужели полки, которые помогают нам пробить коридор, так близко?.. А-а! Я тут же успокаиваюсь: когда сидишь на дне окопа, звуки боя всегда слышатся лучше.

Батарейцы прислушиваются к этим звукам, поэтому и молчат.

Санкин стягивает жгутом руку майора. Делает это старательно, но неумело — не то что Паня.

Паня... Неужели она не вскрикнула? А я-то... Нужен мне был этот сумасшедший пулеметчик... Я смежаю веки. Мне спокойнее так, с закрытыми глазами. Не надо ни кричать, ни стрелять, ни прыгать по-заячьи с бревна на бревно.

А люди все бегут.

Чудаки...

Но почему — чудаки? Люди хотят жить. А может, и Паня жива? Может, вынесли раненого Кузовлева, и она помогает ему... Эта мысль вселяет в меня надежду. Я от-

крываю глаза. На срезе окопа видны белые сухожилия корней. Значит, где-то поблизости и само дерево. Я с беспокойством ищу взглядом это дерево, но его нет. Срублено зимой, когда саперы мостили лежневку. Остался пень — белый, с черными шершавыми крапинками — береза. Была береза. Нет березы. В расщелине, где уходят в землю жгуты корней, видны два продолговатых ярко-зеленых листочка. Они растут из одного корня и раскрыты, как ладони. Меж ладоней — гибкий стебелек, увешанный белыми колокольчиками. На колокольчиках, переливаясь, поблескивают капли росы.

Туман сошел. Значит, рассвело, коль видно так хорошо... Я поднимаюсь, подхожу к бровке окопа. Нет, из окопа цветка не достать. Выпрыгиваю на бруствер, склоняюсь над цветком: ландыш! Не растоптан, не смят каблуками солдатских сапог.

Паня так любила ландыши...

Хотел сорвать, но передумал: раз уцелел — пусть растет.

— Пошли, что ли? — говорю я и первым шагаю в ту сторону, где по-прежнему звонко работает «максим».

31

Я иду, но все, что происходит вокруг, меня словно бы не касается. По лесу бродят немецкие автоматчики? Пусть! Авось не убьют, а убьют — туда и дорога. Минометный обстрел; все ложатся. Пусть ложатся! Я иду себе спокойно, даже голову не вбираю в плечи, слушая завывание мин. Ахмед, который теперь неотступно сопровождает меня, поднял с вороха стреляных гильз мой автомат, перезарядил и несет. Ахмед считает, что автомат хоть и оружие, но тоже ноша. А мне все равно: раз он уверен, что без автомата легче идти,— пусть несет. Может, и легче. Даже наверняка легче! Правда, с одним пистолетиком на поясе чувствуешь себя как-то неуютно. Хотя к чему мне автомат: я догадываюсь, что ребята уговорились меж собой не пускать меня вперед, туда, где идет стрельба.

Стрельба не затихает ни на миг. Но она уже не в состоянии заглушить раскаты орудийных выстрелов. По звуку, по слабой отдаче на землю я догадываюсь, что стреляют танки.

Чьи — немецкие или наши?

Бойцы останавливаются, вслушиваясь. Я не останавливаюсь. Я иду следом за Ахмедом; приглядываюсь к бойцам, которые обгоняют меня. Каждый третий — ранен. Видны окровавленные повязки. Многие — без повязок. На месте ран темнеют сгустки крови.

Паня всем бы кричала: «Скажите в госпитале пусть первым делом уколют вас против столбняка!»

Над лесом низко-низко проносятся «юнкерсы». Санкин кричит: «Воздух!» Батарейцы спешат к воронкам, падают на землю, прячут головы под поваленные деревья. Я не лезу в воронку, не ложусь на землю, не прячу голову. Наоборот, я задираю голову кверху и гляжу на эти омерзительные кресты на крыльях хищников: а-а, проснулись, гады! Куда же вы? Бомбите, стреляйте! Однако немцы не бомбят и не стреляют. Видно, считают, что мы не стоим того, чтобы на нас изводить бомбы. А может, они уверены, что коридор еще в их руках, и потому боятся нанести бомбовый удар по своим. Спроси у них, что они думают. Небось сами знают, что делают.

От напряженного взгляда вверх у меня кружится голова.

«Вася, ты много теряешь крови...» — так и слышу голос Пани.

Проходит пять или десять минут, и впереди четко слышатся разрывы бомб. Сомнения нет: немцы бомбят части, которые рвутся нам навстречу.

— Молодцом, товарищ старший лейтенант! — говорит, вылезая из воронки, сержант Санкин.— Я тоже твержу себе каждый раз, что не буду прятаться больше при бомбежке. А вот, леший их возьми, боюсь.

— Кланяйся чаще — генералом станешь! — говорю.

— Так воспитали ведь! — Санкин вскидывает на плечо автомат и осторожно, поглядывая на небо, шагает лесом.

Самолеты возвращаются. Но теперь уже никто не прячется: «юнкерсы» пусты — они бомбили и обстреливали наши передовые части, те самые, что помогают нам пробить коридор. Бойцы оживляются; многие снова пускаются бежать. Скорее! Скорее! Вон за тем перелеском — свои.

То и дело дорогу преграждают воронки. Воронки свежие. Развороченная взрывом земля парит. Наши стреляли! Только-только... Значит, огонь наших орудий дости-

гает сюда. Начнется сейчас артналет — и свои же могут убить. Однако никто не опасается быть убитым. Бойцы возбужденно перекликаются, переговариваются, отыскивая своих.

На обширной поляне, куда мы наконец выходим, выжжена трава. Стоят обгорелые, обуглившиеся сосны. Вершины их еще дымят. Стреляли «катюши». Я видел их работу под Зеленщиной, знаю. Ясно, что стреляли «катюши»,— иначе нашим не пробиться бы так далеко.

На поляне звуки становятся громче, яснее.

Ясно слышу очередь «максима»: та, та, та... Огрызаются автоматчики — это немцы. Где-то вспыхивают сигнальные ракеты: зеленая и красная. Ракеты тоже наши. И уже какие-то радостные возгласы слышатся впереди. Теперь все бегут, даже раненые. Бойцы обгоняют меня, а я все так же безразлично и вяло переставляю ноги по рыхлой болотистой земле.

Так, отрешенный ото всех, я шагаю до тех пор, пока не утыкаюсь грудью в корявый ствол сосны. Лежит это дерево-великан — длиной не меньше сотни шагов. Комель в два обхвата. Нет, через такое дерево мне не перебраться. Забираю влево, в обход, вижу: сосна вывернута из земли взрывом. Неужели наши подтянули сюда дальнобойные пушки калибра 203? Не может быть. Да и от 203-го такой воронки не будет. Догадываюсь: бомба. Значит, вот где бомбили «юнкерсы»! И какие галушки сыпали: пятисотка, не менее. Вековое дерево, словно соломинку, из земли вышвырнуло. Земля вокруг воронки метровым валом лежит. Парит бедная и пахнет удушливо, взрывчаткой.

Выхожу из-под шатрового навеса кроны и застываю в радостном недоумении: в воронке стоят два бойца. Молодые парни, вроде тех, что мы получали с пополнением в Оскуе. Во всем чистом — не то что наш брат, окруженец. Вороненые кожуха автоматов, которые бойцы держат в руках на изготовку, не потускнели еще от времени и матово поблескивают. Двое их. Стоят, спокойно смотрят на бегущих, бредущих, едва переступающих окруженцев.

— Наши! — во все горло кричит Санкин.— Ура! Наши!

Со всех сторон сюда, к поваленному дереву, бегут окруженцы И я бегу к воронке, бегу из последних сил... На глыбе земли, вывернутой бомбой, сидит лейтенант Вилков — снимает сапоги. У него пулевое ранение в ногу, и он стягивает кирзу осторожно, сдерживая стон. Под деревом, распластавшись на траве, лежат вповалку человек пять или шесть окруженцев: отдыхают. Кто ранен и кто не ранен — все норовят повалиться или присесть на сырую от росы землю.

— На-ши! Фу-х! Наконец-то вышли...— какой-то лейтенант с окровавленной повязкой на голове сует свой пистолет в кобуру и, переведя дух, бросается к бойцу. Курносый ты мой, дай я тебя расцелую!

Мне радость людей, изнуренных ночным боем, понятна. Однако «курносый» не лезет лобызаться к лейтенанту. Наоборот, он отстраняет его от себя и кричит звонким голосом:

— Товарищи! Рано присаживаться — не расслабляйтесь! Мы — первый заслон. Тут еще просачиваются автоматчики. Топайте на КП. Километра полтора еще будет. Увидите наши танки — он и есть!

Куда, зачем идти, когда вот они — наши! Уже через пять минут у передового дозора — не протолкнуться. Грязные, замызганные, в дырявой — разорванной и пробитой осколками — одежде, окруженцы толпились возле молодых бойцов.

«Курносый» твердил свое:

— Не расслабляйтесь! Идите!

— Пошли, товарищ комбат,— говорит Санкин.— Батарейцы, пошли!

Батарейцы отделяются от толпы; я оглядываю кучку своих ребят: что-то мало их осталось... Тащусь и я помаленьку. Санкин идет вместе со мной, заботливо не покидает меня.

— Ну и ночка! — сокрушенно вздохнув, говорит сержант.— Век жив буду, век помнить буду! Дети будут — детям закажу, чтоб в память о наших муках курган насыпали. В ладонях землю должны носить.

Я мрачен. Не поддерживаю разговора. Санкину это не нравится, и он тоже замолкает. Мы идем молча. В сосновой рощице народу поменьше, чем на дороге. Но все равно

нас то и дело обгоняют бойцы, которые споро шагаю по мелколесью.

За редким сосняком открылась поляна. Среди поляны виднеются остатки какого-то строения — не то сарая, не то лесного кордона. Странно: ни печной трубы, ни колодца, только чернеют по всей поляне обгорелые бревна.

- Глядите, товарищ комбат! — Санкин останавливается и удерживает меня, чтобы я не шел вперед.

Смотрю: на черной хребтине бревна сидит такой же черный и неподвижный, как само бревно, немец. Я останавливаюсь и инстинктивно вбираю голову в плечи.

Санкин торопливо снимает карабин, кричит:

Фриц!

Однако немец даже не шевельнулся. Он сидел, обняв руками колени,— в шинели, но без пилотки и без оружия; ветер трепал русые волосы. Красные, воспаленные глаза его слезились.

Мы постояли, разглядывая плачущего немца. Всего навиделись за ночь: и мы ходили между немцами, и немцы ходили меж нас; и с ума на глазах сходили. Наконец немец заметил нас — вздрогнул и поднялся. Мы с Санкиным растерялись, замерли в оторопи. На краю поляны из подлеска показалась долговязая фигура нашего бойца. Он бежал, перепрыгивая через воронки и поваленные деревья. Автоматы свой, ППШ, и немецкий — закинуты за плечо. Руки прижаты к груди, и в ладонях — сухари. Я не сразу узнал парня и, лишь когда он подошел поближе, догадался, что это тот самый сержант, который выпрашивал у меня лопату, чтобы похоронить убитых при обстреле пленных.

Сержант подошел к немцу, сунул ему в руки два или три сухаря.

— Ешь, фриц!

«Пленный,— догадываюсь я.— Один остался».

Немец снова опускается на бревно. Он жадно грызет сухарь. Крошки сыплются на полы шинели; немец подбирает их неопрятными, заскорузлыми руками и, запрокинув подбородок, сыплет крошки в рот.

Рядом присаживается сержант. Сухари, которые он раздобыл, подмокли и рассыпаются. Которые посохраннее, сержант прячет в карман куртки, а сырые тут же съедает.

Наконец он замечает нас.

— А-а, комбат... Ранило, значит! — Сержант достает из кармана пару сухарей, протягивает мне. Узнал, выходит.

Взяв сухари, я отдаю один Санкину; мне неловко высказывать перед пленным голод, и я не спешу приниматься за еду, хотя слюна комом встает в горле.

— Сержант,— говорю я,— вон там, поближе к лежневке, должен быть наш КП. Небось там должны быть люди и из особого отдела. Сдал бы ты своего пленного. Или он тебе за ночь не надоел?

— Где из особого отдела? — сержант вскакивает.

Я еще раз передаю, что сказал «курносый».

— А ну, фриц, шнель!

Немец неохотно поднимается. Сухари он съел и, будто не веря этому, подбирает крошки с замызганной шинели.

— Вот видите, ребят из своего отделения растерял всех,— грустно, будто самому себе, объяснил сержант,— а этот вот выжил. Счастливчик.

— Все мы счастливчики.

— Это вы про рану-то? На рану не смотрите. Сейчас быстро нашего брата ремонтируют.

— Сухари-то где раздобыл? — спрашиваю я, тронутый его участием.

— А вон — идите, берите сколько надо! — Разведчик кивает в сторону леска, откуда он появился.— На узкоколейке разбомбило платформу.

И откуда у меня взялись силы! Правда, мы не побежали, но пошагали довольно быстро. Однако, как мы ни спешили, все равно опоздали. Еще издалека мы догадались об этом. Возле насыпи узкоколейки чернела огромная толпа народа. Митинг? Вполне возможно. Вышел еще какой-нибудь счастливчик, вынес полковое знамя — вот и митингуют. Но когда мы подошли поближе, то увидели ясно: никакого митинга. Просто мы с Санкиным опоздали.

На насыпи, вздыбившись, валялось три или четыре платформы. Металлические рамы изогнуты и поржавели, а вся насыпь вокруг засыпана рыжими сухарями. Видимо, еще в апреле, когда нам на какое-то время пробили коридор, по узкоколейке везли сухари. Но налетели, очевидно, «горбачи», бомбами снесло платформы с рельсов; мешки

с сухарями разбросало вокруг. Кто-то из окруженцев наткнулся на гору сырых, размокших от дождя сухарей. Сказал одному, тот другому — и вот уже огромная толпа голодных людей собралась возле насыпи. Откуда-то из-за дальнего перелеска постреливали немцы. Пули чиркали и противно повизгивали. Но люди не пугались пуль — они лезли на верх насыпи, расталкивая друг друга. Весь откос усыпан бумажными кулями. Кули размокли; размокли и сухари — и от насыпи тянуло сладковато-кислым квасным духом. Но дух этот никого не отпугивал, наоборот, он притягивал. Со всех сторон сюда спешили бойцы. Бомбой не прошибить — где там нам, раненым, пробиться.

Я побоялся даже подойти поближе к этому шумному сборищу. Обошел толпу сторонкой, приглядываясь, откуда лучше подступиться.

— Пойдемте, товарищ комбат,— успокаивает меня Санкин.— Небось у своих — накормят.

Я уже махнул рукой на сухари и следом за сержантом шагнул было от насыпи, как вдруг увидел подростка в знакомом клетчатом картузе. Парнишка лет тринадцати в изодранной, грязной телогрейке и армейских, не по росту, галифе нес на закорках девочку. Карманы галифе у него топорщились. Видно, набил сухарями. Шлепая широкими подошвами кирзачей по мокрой от росы траве, подросток одной рукой поддерживал девочку на спине, а второй — совал в рот себе сухарь.

— Андрей! Колобов! — окликнул я мальчика.

Он остановился, перестал жевать сухарь и пристально поглядел на меня: кто бы это мог его узнать.

— Вышел? — обрадованный, я шагнул к нему.

— А-а, товарищ старший лейтенант,— обронил Андрей; он опустил руку, которой поддерживал сестренку, скосил плечо, и девочка ловко соскользнула на землю.— Вышел вот...

— А мать? — с тревогой спросил я.

Андрей, потупившись, смотрит в землю. Девочка — не вспомню сразу, как зовут ее. Кажется, Таней. Девочка перестает жевать сухарь, хнычет, размазывая слезы ручонками:

— Мамка!.. К мамке хочу.

— А ну не хныкать! — прикрикивает Андрей на се-

стренку и, повернувшись ко мне, добавляет: — Матери нету.

Он не договаривает, веснушчатое личико его начинает морщиться. Того и гляди, сам разревется.

— И корова?

— Да вот, все из-за этой самой коровы и вышло,— по-взрослому поясняет Андрей.— Дедушка отговаривал, чтоб не брала, и вы — помню. Немец у Керести как саданул эти самые мины. Помните, перед самой речкой? (Меня передернуло всего: еще бы мне не помнить Керести!) Головы не подымешь! Все попрятались. Мы тоже залезли в кювет. А корова, известно, животное: рванулась, побежала. Мать за ней. Их обеих одной миной...

— Куда же вы теперь?

— А к своим.

Андрей поднял глаза от земли и посмотрел на меня не моргая. Мне тяжко видеть его осунувшееся лицо. Как же они вышли? Они, дети? Я вспоминаю первую ночь, когда мы под проливным дождем тащились от Криуши до станции Торфяное. Потом этот день у Дуброва, жестокая бомбежка. Последняя ночь: Kересть, минное поле, ряска на болоте, Михайловские мхи. Мы, солдаты, и то едва стоим на ногах. Но они же — дети. Хотя за одну ночь Андрей повзрослел. Это был уже не тот долгорукий подросток, которого я встретил там, в овраге за Криушей, а маленький мужчина, знающий, почем фунт лиха. Перевожу взгляд с Андрея на его сестренку. Таня продолжает всхлипывать, но мать больше не зовет. Поверх платьица на ней надета шерстяная вязаная безрукавка, усыпанная рыжими крошками сухарей. Я понимаю, что надо приласкать, успокоить девочку. Но чем, как? У меня ничего нет: ни кусочка рафинада, ни того, плесневелого сухаря. «Затеряются, погибнут в этой круговерти,— думаю.— У них теперь одна дорога — в детский дом». Мне вспоминается рассказ Дарьи о том, как они с Петром, перед войной, любили ездить к Прохору на хутор. Ездили и прошлой весной, перед началом войны. Ребят надо сопроводить в Горушку, к Прохору Колобову, решаю я. Но как это сделать? Я не знаю, как это сделать, но для меня всегда самое главное — принять решение.

И теперь, когда решение было принято, я повеселел даже.

— Ну вот, друзья! — Я потрепал по головкам детей сначала Таню, а потом и Андрея.— Как хорошо, что мы встретились! Теперь мы пошагаем вместе. Сержант, ну-ка помоги нам!

Санкин взял на руки Таню; девочка притихла, но не заплакала. Он вскинул ее себе на закорки, и мы пошли, не спеша, обходя воронки и поваленные деревья.

32

Вздыбившись над воронкой, стоит танк. Наш танк, тридцатьчетверка, с красной звездой на башне. Люк открыт, но экипажа не видно. Может, подбит? В стороне от танка, в наспех отрытом ровике, стоят люди. Не танкисты, однако: не в замасленных комбинезонах и шлемах, а в гимнастерках шерстяных, цвета хаки чистых, наглаженных; картузы на них с малиновым околышем.

«Не КП ли»? — думаю я, вспоминая слова «курносого» из боевого охранения.

— Какого полка? — спрашивает меня высокий сутуловатый капитан с автоматом на груди.

Я отвечаю.

— Когда последний раз видели Сарычева?

Я говорю.

— Где Чуев — живой?

— Живой. Недалеко тут. Уже болото прошли... видел.

— Ранен?

— Нет, комиссар не ранен.

— А капитан Бордадын?

— Не видал.

— Спасибо!

По моему виду капитан догадывается, что собеседник я никудышный — едва держусь на ногах.

— Молодец, артиллерист! Теперь все, дома! — Ко мне подходит какой-то майор в каске и с черными артиллерийскими петлицами.— Тут, за шоссе, полевой госпиталь. Тебе перевязка нужна, топай! — И вдруг, позабыв про меня, майор бросается вперед, где показалась новая группа окруженцев.— Лысенко! Друг! Ранен?

Я узнаю начальника артиллерии армии Сукновалова. Друзья обнимаются. У Лысенко — всегда спокойного, сдержанного — на глазах выступают слезы.

Мне вспоминается Новый год. Вечеринка в блиндаже под Зеленщиной. Какие мы были тогда счастливые! Сукновалов все приглашал Паню танцевать.

— Без орудий? — расспрашивает теперь он своего друга.

— Какое там! Хорошо, сами-то ноги вынесли.

— А Звездин?

— Был тут. Топает где-то.

Друзья отходят в сторонку. Они давно не виделись, у них есть о чем поговорить.

Капитан в фуражке с малиновым околышем подзывает к себе все новых и новых окруженцев: расспрашивает их о Сарычеве, Чуеве. Я понимаю, что разговор со мной окончен, отхожу от капитана.

— Подожду, может, выйдет Паня.— Я помогаю Санкину снять со спины девочку, которая заснула, сидя у него на закорках.

Мы укладываем Таню на траву. Я присаживаюсь рядом с девочкой, осматриваюсь.

Все вокруг искалечено, изуродовано, истерзано. Искалечен лес; иссечены осколками стволы деревьев. Вершины берез валяются на земле, прикрыв ярко-зелеными листьями черные воронки от мин и бомб. Кусты верб и ольшаника истоптаны гусеницами танков, иссечены пулеметным огнем.

Изуродована земля; вся она истыкана оспинами воронок, исполосована окопами и колеями тяжелых гаубиц. Вздыблена, полита кровью, и зияют на ней, как на живом теле, раны.

Истерзаны люди. Грязные, с окровавленными бинтами, с кровоточащими ранами без повязок; с автоматами, винтовками, карабинами, миноискателями, пулеметами; идут сами, несут на самодельных носилках раненых.

Все вокруг искалечено, изуродовано, истерзано...

И лишь одно небо было таким, каким положено ему быть ранним июньским утром: чистое, голубое, безмятежное. На востоке, над горбатыми увалами дальнего леса, лежали продолговатые курчавые облака — белые, с розовыми закрайками. И по этим закрайкам можно было

судить, что где-то на той стороне Волхова из лесов и пашен мирно выкатывалось солнце.

Выйдя из леса, бойцы оглядывали поляну: танк! наш! Радостно вскрикивали, подходили. Скоро возле танка собралась толпа разноликого народа. В этой толпе я узнаю своих батарейцев — Егора Урнова, Ивана Солода, Ахмеда Абдуллина...

— В четвертый раз выхожу — и жив! — радостно говорит Санкин.

Надо бы подняться, подойти к ребятам, пожать всем на прощание руки. Теперь нам — в разные стороны: мы с майором Лысенко направимся в госпиталь, а батарейцы — на сборный пункт полка.

Неожиданно из-за невысокого ельника появляется Тябликов. Он идет в окружении группы автоматчиков. Их человек пять; двое или трое — легко ранены, товарищи помогают им — несут их оружие. Но Тябликов не ранен: ни царапинки на нем, ни болотной грязи на гимнастерке. Пилотка небрежно отброшена на затылок, золотые зубы светятся во рту. Счастливый, удачливый наш старшина. Недаром в теплушке, когда мы ехали на фронт, он говорил, что его ни одна пуля не возьмет.

Я подымаюсь, протискиваюсь к Тябликову. Но его уже обнимает майор Лысенко — здоровой, левой, рукой.

— Я говорил, что наш старшина кончит войну генералом! — шутит майор.

Тябликов — все с той же улыбочкой — козыряет Сукновалову, как старшему по званию и в некотором роде старому знакомому,— и уж потом подходит к капитану в картузе:

— Капитан, закурить у вас найдется?

Капитан недовольно морщится: не затем он здесь, чтобы угощать папиросами каждого встречного! Но, оглядев настырного старшину, достает портсигар. Тябликов берет папиросу, прикуривает от капитановой зажигалки, дымит не жадно, с достоинством. А сам своим лукавым глазом, так похожим по цвету на кору кедра, подмигивает сержанту-автоматчику: вот, мол, как с их братом особистом обходиться надо!

Подымив, сколь требовало приличие, Тябликов протягивает недокуренную папиросу мне:

— Затянись-ка, комбат!

Беру папиросу, затягиваюсь раз-другой. Во рту по-

чему-то першит. Откашлявшись, я продолжаю курить. Дух табака приятен, но мы отвыкли от настоящего табака. От слабости меня подташнивает, и я возвращаю чинарик старшине. Тябликов, не глядя, передает его Санкину, а сам начинает снимать портупею. Отстегнув перевязь, старшина распускает свой комсоставский ремень. Небрежно бросает Ахмеду: «Подержи!» Расстегнув ворот, он стаскивает с себя гимнастерку.

Капитан-особист, с недоумением наблюдавший за старшиной, застывает от неожиданности: под гимнастеркой вместо нижнего белья — намотано полковое знамя.

Капитан бросается к Тябликову, кричит кому-то:

— Доложите генералу!

Из блиндажа, который я сразу не заметил, вышел генерал. Высокий, безусый, с двумя звездами в полевых петлицах.

И когда генерал шагнул к Тябликову, я узнал в нем бывшего нашего комдива, Ряженцева. От изумления и радости я вскакиваю с земли и протискиваюсь поближе к старшине.

«Теперь-то я не оставлю ребят. Замолвлю за них словечко перед генералом.— Эта мысль придает мне силы и решительность.— Главное, улучить подходящий момент».

— Полк? — спросил генерал Ряженцев, подойдя быстрым шагом к Тябликову.

— Кузовлева.

— Поздравляю! — генерал протянул руку Тябликову.— Благодарю вас от имени командования фронтом.— Не удержавшись, Ряженцев обнимает старшину и целует его — крепко, всамделишно, как сына.

Потом, оглядев смущенного, полуголого Тябликова, его хрупкую фигуру, спрашивает, какого он подразделения.

— Старшина полковой батареи Тябликов!

— Запишите, капитан! — говорит Ряженцев.— За доблесть и мужество старшину Тябликова представить к ордену боевого Красного Знамени.

— Есть! — Капитан раскрывает планшет, записывает.

Тябликов ничего не говорит. Он растерянно топчется на месте. По-моему, старшина не очень хорошо понимает,

…чему к нему такое внимание. Надев гимнастерку, Тябликов берет из рук Санкина портупею. Затянулся, прихорошился — и вот он снова готов к действию.

Капитан забирает полотнище знамени, по-деловому складывает его и на вытянутых руках бережно несет к танку.

— Сборный пункт вашего полка в Зеленщине,— напоминает генерал Ряженцев.— Спешите: сейчас опять прилетят.

— Да уж теперь успеем!

— Пошли! Потопали...— раздаются отовсюду голоса.

Однако никто не спешит: ни здоровые, кому надо идти в Зеленщину, ни раненые, путь которых — к Теремцу, где развернут полевой армейский госпиталь. Я тоже не спешу, хотя Санкин торопит меня: «Идите, товарищ комбат. Вы совсем слабы». Я все хорошо понимаю — что я слаб, что слишком много потерял крови, и слышу приказ: идти! Но я не могу уйти отсюда! «Надо устроить ребят»,— говорю. Но ребята — это только предлог. Мне все кажется: вот сейчас, через миг, через минуту из-за лесных завалов появится Паня...

Мы уж попрощались, обнялись друг с другом, но никто не торопился уходить: ни здоровые, ни раненые. И только когда генерал Ряженцев прикрикнул, чтобы расходились все, Санкин наконец подошел ко мне, помог мне привести себя в порядок, заправиться.

— Может, проводить вас, товарищ комбат? — предлагает сержант.

«Санкин этот все-таки трогательный парень,— думаю.— Жаль, что я его мало знал раньше».

— Нет, нет! Я сам доберусь! — И, осмелев, наконец подхожу к генералу Ряженцеву — бывшему нашему комдиву, а теперь начальнику оперативного отдела штаба армии.— Товарищ генерал! Командир полковой батареи старший лейтенант Артюхов... Разрешите обратиться? — Пилотки на мне нет: ее сорвало пулей на Керести, и я не козыряю, а стою и выжидательно разглядываю сухое, изрезанное глубокими морщинами лицо генерала.

— Да! — говорит он.

— Мне в госпиталь надо,— говорю.— А со мной дети командира Ольдрежского партизанского отряда Петра

Колобова. Мать их не могла оставаться у немцев — ее уже вызывали в полицию, пытали... Шла вместе с нами, ла, говорят ребята, погибла. А в Горушке — помните, где немцы от нас улизнули? — живет брат Петра, Прохор Колобов. Он председатель колхоза. Прикажите переправодить ребят к нему.

— Хорошо! А где малыши?

— Вон, спят под деревом.

— Капитан! — позвал генерал.

— Я!

— Где ваш порученец? Пусть возьмет детей. Старший лейтенант укажет,— распорядился Ряженцев.— Скорейшего выздоровления вам, Артюхов! Идите, дорогой. Вы едва стоите на ногах.

33

Пока я разбудил ребят, пока подвел их к танку, пока все растолковал капитану, глядь, над лесом — новый косяк немецких самолетов. На этот раз прилетели «горбачи». Немцы уже знали, что коридор пробит, и старались помешать выходу наших бойцов. Задача у врага в таких случаях одна: посеять в рядах выходящих панику. А наводить панику лучше всего умели «горбачи». Теперь их «чертово колесо» катилось из глубины леса, приближалось к нам.

Генерал отправил ребятишек в танк, приказал задраить люк и переждать налет. Бойцы, толпившиеся возле тридцатьчетверки, разбежались, попрятались в воронки. Я тоже забрался в воронку, над которой вздыбился танк. Чувствуя себя в безопасности, я наблюдал, как «горбачи» вершили свой шабаш. Зависая друг над другом, самолеты выстроились колесом, и это гигантское колесо — с воем сирен, стрельбой из пулеметов, с падающими бомбами — двигалось вдоль лежневки прямо на нас. «Горбачи» очень долго ходили над Михайловскими мхами — и боезапасов на нас у них не хватило.

Самолеты, обстреляв нас для острастки, улетели. Но они сделали свое дело: поток бойцов, выходящих из окружения, поредел. Я все еще ждал, надеялся: вот-вот выйдет Паня. Но ее не было. Да и вообще — теперь выходили одиночки. Ждать было бессмысленно. Я еще какое-то

время постоял, всматриваясь в серую стену леса, и потихоньку побрел в сторону Теремца. Я не знал точно, куда идти, где госпиталь. Помнилось, что узкоколейка должна пересекать шоссе, идущее в Ленинград; рядом с шоссе — железная дорога широкой, нормальной колеи. Но куда она ведет, откуда? — не знаю, не помню. Знаю только со слов генерала, что госпиталь — сразу же за дорогой.

Солнце поднялось над лесом. Стало жарко. А может, и не жарко вовсе: просто меня одолела слабость. Пот катил по лицу, застя глаза. Гимнастерка липла к телу Сапоги, казалось, камнем висели на ногах.

Я шел и время от времени поглядывал на раненую руку: чернеет! Попробовал пошевелить пальцами — ничего, работают.

Только теперь, оставшись один, я понял, насколько опрометчиво поступил, отказавшись от предложения Санкина проводить в госпиталь. Уже давно бы сделали мне укол от столбняка и сменили бы перевязку. А то дойду ли один?

Я твердо знал одно: надо держаться узкоколейки. Тут всегда народ. Будет худо со мной — упаду, потеряю сознание,— подберут. Но я не хотел, чтобы меня подбирали, и, чтобы приободрить себя, стал вспоминать всех любимых мною людей, которым было вот так же худо. Как они вели себя при этом?

...Стою я над краем земли,
Стреляйте вернее и прямо!

Кто написал эти слова? Сколько в них вложено силы, самоотреченности, ненависти к врагу!

Вспоминаю, как мы с матерью зимой 1930 года шли на станцию. Ночь, темень, лютый мороз. Мы шли, чтобы отправить телеграмму отцу, в Павлово-Посад, куда он уезжал на приработки. В полночь дед пришел с сельской сходки. Все записались в колхоз, а дед не хотел. «Вот что, Палага,— сказал дед.— Иди отбивай депешу Андрею. Пусть приезжает, командует сам. Хочет — пусть пишется в колхоз. Я свое откомандовал». И вот мы идем с матерью. Холодно, жутко, метет поземка. Я все держался за руку матери. Она шагала упрямо, не ропща и не прячась от ветра. И лишь когда колючий ветер налетал уж очень

шибко, она поправляла полушалок на голове и чуть слышно, про себя, шептала: «О, господи! Спаси душу мою!»

Сколько мне было в ту пору лет? Я начинаю считать: выходит, мне той зимой шел восьмой год. Но я все хорошо помню, хоть и не все тогда понимал. Я понимал только одно, что ночь, холод, и очень жутко идти заснеженным полем.

Потом мне почему-то вспомнилась опушка леса под Зеленщиной. Вспомнилось, как я, оглохший от контузии, гляжу вокруг и поражаюсь: тишина

Да будет ли конец этому?

Будет ли на земле мир, тишина?

Узкоколейка пересекает шоссе. Возле шоссе, на высоком, сухом месте,— батарея зениток: пушки, блиндажи, ячейки для укрытия бойцов. Зенитные пушки длинноствольные, со стаканами надульных тормозов,— высовываются из глубоких капониров. Старшина-зенитчик и еще кто-то из прислуги сидят на зеленой бровке капонира, греются на солнышке.

Увидев меня, старшина испуганно вскакивает. Видимо, я очень плох.

— Ефрейтор Куренков! — говорит старшина, обращаясь к кому-то из зенитчиков.— Проводите товарища лейтенанта до госпиталя.

— Не беспокойтесь. Я сам. Скажите только, куда забирать?

— Никуда не забирайте! — говорит зенитчик с лычкой на рукаве.— Все прямо и прямо. Перейдете железную дорогу — и тут, в лесу, госпиталь.

Я спускаюсь с шоссе; впереди, метрах в двухстах, маячат телеграфные столбы, а за ними видна невысокая насыпь. Это и есть железная дорога. Какая высокая трава в полосе отчуждения! Не косят. Теперь, поди, нигде не косят. Однако очень трудно идти, когда трава некошена. Долго бреду полосой отчуждения. Наконец-то вот она — насыпь. Я взбираюсь на нее. Она мне кажется очень высокой. А песок — неимоверно сыпучим. Карабкаюсь из кювета. Поднимаюсь. Вижу: шпалы. Много шпал. Не слишком ли часто они уложены? На шпалах — рельсы. И рельсов тоже много — не две в колее, а шесть.

Как же тут, по шести рельсам, ходили поезда?

Вяло переношу ногу через один рельс.

Знойно.

В небе заливаются жаворонки.

Загребая сапогами гравийную подстилку, пересекаю колею. Это — второй рельс.

Я заношу ногу и... падаю.

Прихожу в себя от сдержанных голосов: кто-то рядом со мной разговаривает.

Открываю глаза — и вижу небо.

Только небо.

Теперь оно не голубое, как утром, а белесое, выцветшее и очень высокое. Ощутив под собой гибкость брезента, догадываюсь, что я лежу. Кто меня несет? Почему не слышно шагов? Оперевшись на здоровую руку, приподнимаю голову... Я лежу на носилках, которые стоят на открытой платформе. На ней еще пять или шесть носилок, и толкают ее два санитара в белых халатах и ефрейтор-зенитчик. Все-таки это он заметил, что я упал, и вызвал санитаров.

— Мне старшина говорит,— узнаю я голос ефрейтора.— Куренков, проводи товарища лейтенанта до госпиталя. А он — ни в какую: сам, мол, дойду. Только про дорогу спросил. Ну, мы указали. А сердце все неспокойно. Стою, поглядываю на него. Гляжу: упал. Я бегом. А тут вы как раз со своей платформой.

— К хирургической, сразу,— говорит санитар.— Лежи! Лежи! — прикрикивает он, заметив, что я зашевелился.

Солнце пробивается сквозь листья берез, и вершины деревьев светятся.

«А тут, за железной дорогой, меньше, знать, бомбил, коль березы остались целыми»,— думаю я.

Наконец платформа останавливается. Санитары поочередно подхватывают носилки и относят их в сторону от узкоколейки, в тень деревьев. Снимают и меня. Снимая, они наклоняют носилки, и я вижу палатки в лесу, и возле каждой из них — раненые: лежат на носилках, как я; сидят, спрятавшись от жары в тень деревьев.

— Спасибо, ребята! Спасибо, ефрейтор! — говорю я, стараясь выказать свою бодрость.

Ефрейтор уходит. Ему надо спешить к орудию: кажется, опять летят.

Санитары хлопочут, стараясь навести порядок в очереди.

— Я ходячий,— говорю,— у вас много раненых и потяжелее, чем я. Я, пожалуй, встану.

— Как вам угодно,— отвечает пожилой санитар, тот самый, который предлагал нести меня прямо к хирургической.

Я выбираюсь из носилок, присаживаюсь в тенечке, чтобы отдышаться. Следом за мной и еще двое отказываются от носилок. Среди них — и командир минометной роты Савченко.

— Артюхов! — узнает он меня первым.— Живой, друг?

— Живой.

— Где это тебя? Он кивает на забинтованное плечо.

— На Керести.

— Еще кого-нибудь наших видел?

— Батарейцы вышли. Тут где-то должен быть майор Лысенко,— говорю.— Он раньше пошел.

— Майор тоже ранен?

— Да.

— Пойдем поищем,— предлагает Савченко.

Мы идем к палатке, мимо носилок, мимо сидящих, разговаривающих, постанывающих бойцов. Вдоль очереди расхаживают санитары в белых халатах; в руках — чайники, кружки; санитары предлагают раненым чай. Савченко берет кружку, присаживается. Я от чая отказываюсь; пошатываясь, иду вдоль опушки, заполненной ранеными. Разве отыщешь тут майора Лысенко? Говорят, что в этой роще много разных санитарных заведений — полковые, дивизионные, армейские. Иду и вижу только окровавленные повязки.

Красное... красное... красное...

Красная листва на березах. Красная трава. Красные палатки... Я понимаю, что мне снова плохо. Я опускаюсь на землю и торопливо расстегиваю ворот гимнастерки. Санитары, раздававшие раненым чай, подбегают ко мне, подхватывают меня под руки и ведут к палатке.

— Товарищ военврач! — говорит один из них, приподняв полог, заменяющий дверь.— Вот товарищ стар-

ший лейтенант. Очень плох. Второй раз на наших глазах сознание теряет.

— На стол! — раздается голос из глубины палатки.

Я стою у самого входа — в нерешительности. Палатка большая, в ней множество столов. Горят яркие лампы, и на каждом столе я вижу сапоги. Разве есть свободный стол?

Оказывается, есть. Ко мне подходит сестра — волосы и рот закрыты марлевыми повязками. Может, поэтому она ничего не говорит мне, а берет за руку и ведет в глубину палатки. Боец-санитар, боясь, что я снова упаду, идет рядом. Меня подводят к высокому столу, на котором поверх клеенки еще лежит раненый. У него забинтована ступня ноги — может, поэтому он осторожнее, чем надо, свешивает ноги с топчана и ждет, пока ему помогут.

Санитар помогает ему, и они уходят.

— Ложитесь, лейтенант,— говорит сестра. У нее хриплый голос и сутуловатая, не девичья, осанка.

Она помогает мне взобраться на высокий топчан. Я ложусь, чуя спиной теплую и влажную клеенку.

— Ну-с, юноша! — Ко мне подходит военврач: немолодой, широколицый, с усиками.

Какой-то миг хирург глядит на меня, изучая; я гляжу на него. Шпала в петлице (хорошо видна из-под чистого, отглаженного халата); приятное лицо, глубокие морщины под глазами: поди, не спал ночи три кряду. У меня теплеет на душе: хороший врач. Небось на гражданке заведовал хирургическим отделением в районной больнице.

— Ножницы! — командует он, и тут же я чувствую, как энергичные, сильные руки хирурга разрезают мою гимнастерку вместе с исподней рубахой — всю: от подола до воротника.— Снять повязку.

— Больной, потерпите...— говорит сестра.

Ничего, потерплю: я уже начинаю привыкать к своему положению. Теплые руки приподымают мой локоть, и я стискиваю зубы от боли, когда сестра начинает отдирать спекшуюся повязку.

Военврач осматривает рану.

— Где ранены?

— На Керести.

— Время?

— Часа два ночи.

— Так. Кто вам делал перевязку? Товарищи? Сами?

— Нет. Наш батарейный санинструктор сержант Паня Зайцева.

— Ночью? В бою?

— Да. Она потом подправляла несколько раз.

— Молодец Паня! — говорит хирург. Умело сделано. Считайте, лейтенант, что вы обязаны жизнью сержанту Зайцевой. Только хорошая перевязка спасла вас. Не будь ее, вы истекли бы кровью. И теперь не лежали бы на моем столе, а лежали бы в другом месте.

— Я знаю.

Я хотел добавить, что да, я-то вот вышел, а Паня — нет... Но я сдержался, не сказал этих слов. Да если бы я и хотел сказать, не мог бы. Глаза мои наполняются слезами. Мне не хочется перед незнакомым человеком выказывать свою слабость, и я стискиваю зубы.

— Тампон! — просит хирург.

Взяв пинцетом кусок марли, он прощупывает рану. Мне нестерпимо больно. Хирург знает это, знает, что при осмотре раны удержать слезы невмоготу. Но его что-то настораживает, и он полушепотом советуется с сестрой.

— Капитан, дорогой...— умоляюще начинаю я. Рука. Моя рука... Сохраните!

— Ну что вы,— говорит он.— Не беспокойтесь! Все будет в порядке. Еще будете пушку свою выкатывать на руках!

— Выкатывал.

— Вы просто потеряли много крови. Сейчас мы вам добавим... и молодой организм сделает свое дело. Через месяц вы снова будете в строю.

— Спасибо...— шепчу я.

— Потерпите малость. Кажется, раздроблена ключица. Мы проверим сейчас. Надо будет — удалим осколки, очистим рану.

Я терплю. Я готов терпеть вдесятеро большее, лишь бы снова на руках выкатывать свою полковушку. Однако здорово они меня проверяют: болит не только в плече, но и в других местах.

— Паня говорила, чтоб первым делом сделали укол от столбняка.

Военврач улыбается краешком губ.

— Готово.— Потом вдруг спрашивает: — Группа крови?

— Первая,— говорю; говорю так потому, что слыхал от Пани, будто человеку с первой группой крови можно вливать только такую же кровь. Тогда несовместимости не будет.

— Ампулу! — властно бросает хирург.

А в ответ — сестра шепотом:

— Первой у нас нету, Анатолий Иннокентьевич.

— Как так — «нету»?

— Так. Вспомните, Анатолий Иннокентьевич, сколько часов кряду вы уже стоите у этого стола! И каждому — крови, крови...

Видимо, в моих глазах военврач прочитал ужас. Последняя моя кровь леденеет в венах. Теперь уже Паня не поможет...

— Взять пробу!

Сестра ищет вену в запястье; берет кровь. Ожидая результата пробы, хирург снимает с головы белую шапочку и широкой ладонью вытирает пот со лба. Волосы у него русые, пострижены ежиком; вытерев пот, он гладит ежик, Впрочем, без особой нужды.

Вновь появляется сестра.

— Да, первая,— роняет она.

— Что будем делать? — военврач мнет в руках белый колпак.

Сестра снимает марлевую повязку со рта. Без повязки она лучше. У нее большой рот и в складках губ уже залегли первые морщинки.

— Анатолий Иннокентьевич,— говорит сестра,— у меня кровь первой группы. Возьмите.

— Хорошо! — бросает военврач, и через мгновение — новая властная команда: — Приготовить аппарат для переливания крови!

Говорят, что мужчины слабее женщин. Я не хочу возводить поклеп на всех мужчин, но о себе я твердо знаю: да, я слабее. До войны, до того, как я попал на фронт, я боялся уколов; лишь один вид крови вызывал у меня тошноту. На фронте, казалось, ко всему привык — к холоду, голоду, к боли. И все-таки от одного слова «кровь», брошенного хирургом, мне стало не по себе, и, чтобы не ви-

деть приготовлений, я закрываю глаза. Когда я не вижу мне легче.

Кто-то ищет на локтевом сгибе моей здоровой руки вену. Но у меня, видимо, так мало осталось крови, что вену трудно отыскать. Стучат, гладят, сгибают мою руку — напрасно.

Военврач вскрывает вену скальпелем.

— Готово.

— Я тоже готова! — говорит сестра.

Я открываю глаза. Рядом со мной — лицо девушки. Волосы у нее закрыты марлевой повязкой, и я не вижу — блондинка она или брюнетка. Но глаза у нее хорошие, серые, и нос прямой. Я гляжу на девушку. Мне хочется запомнить каждую черточку ее лица, каждую морщинку, каждую бусинку пота. Еще четверть часа назад, когда я увидел ее впервые, лицо это показалось мне и строгим и увядшим. Гляжу сейчас — и оно вдруг напоминает мне лицо Пани... От тепла чужой крови, капля за каплей вливающейся в меня, меня колотит озноб, все лицо мое покрывается холодным потом; пот заполняет глазные впадины, я чувствую, что вновь возвращаюсь к жизни, и забываюсь.

— Маску! — узнаю голос хирурга.

Слово это мне ничего не говорит, и я продолжаю лежать спокойно с закрытыми глазами. Лежу и думаю: долго ли будут готовить эту маску? И зачем? Вдруг чую, как на щеки и на верхнюю губу, под ноздрю, кладут мне что-то влажное, холодное.

Я сжимаюсь весь от напряжения, от неприятного запаха эфира.

— Курите? — спрашивает военврач.

— Последние полгода — только вату да болотный мох.

— Пьете?

— Только наркомовский паек.

— Давно?

Я еще не знал тогда, что такое наркоз. Не знал, что хирургу нужно было, чтобы я просто глубоко дышал. И про алкоголь не понял, почему он спрашивает, и потому с некоторой обидой даже сказал:

— Военврач... дорогой... Мне же все-таки только двадцать лет!

Хирург не смутился, продолжал расспрашивать:

— Тверской?

— Рязанец.

— Из самой Рязани или из глубинки?

— Из Орловки. Это знаете где: в самом дальнем углу, у Куликова поля, недалеко от того места, где Непрядва впадает в Дон и где когда-то Дмитрий Донской собирал свое знаменитое ратное войско. Ратное войско...— повторяю я...

И тогда военврач бросает резко:

— Считайте!

Я начинаю считать:

— Раз, два, три...

Почувствовав подвох, что-то недоброе, я пытаюсь открыть глаза. Но сил моих на это уже не хватает. Еще какой-то миг я чувствую, как шевелятся мои губы...

И меня поглощает темнота.

Эпилог

Каждый, кто воевал, вольно или невольно создаст о себе определенную легенду. Чаще всего в этих легендах встречаются неимоверные трудности, жестокость битв, немецкие танки и конечно же героические поступки его, ветерана.

Была такая легенда и у Артюхова. Она заключалась в том, что никакого подвига в войну он не совершил. Поэтому в президиумы Василий не лез и не ходил по селу, чтоб грудь колесом, как другие. Война вызывала у него тревожно-грустные воспоминания. Даже теперь, спустя тридцать лет, он не мог думать о тех днях без содрогания.

Но война была его молодостью, и часто, особенно с наступлением зимы, Василию хотелось побывать в тех местах, где начинался его боевой путь,— под Покровским, в Крестах, на Волхове.

Артюхов провел на фронте четыре года. Он освобождал Белоруссию, воевал на сандомирском плацдарме, где порой было горячее, чем в Апраксином бору,— и все-таки его никуда так не тянуло, как в места, связанные с первыми боями. Василию часто снилась опушка леса возле села Покровского, первая бомбежка.

Однажды поздней осенью он получил вдруг приглашение приехать в Кресты, на празднования, посвященные 30-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Приглашение было солидное — от городского комитета партии. И Артюхова охватило волнение: значит, его не забыли, помнят!

Артюхов засобирался в дорогу.

Ему очень хотелось побывать в Ходцах, на разъезде, где они выгружались из теплушек; под Покровским, на месте первого боя. И, решив так, Артюхов поехал тем самым путем, каким везли их на фронт.

Василий вышел из вагона на глухом полустанке. Поезд приходил рано, и после теплого купе — с настольной лампой, с матовым ночником, с теплой постелью — на заснеженном перроне полустанка было холодно, одиноко. Вскинув на плечи рюкзак, Василий пошел к вокзалу. «Ходцы»,— прочитал он на вывеске. Вспомнилось, как сразу же, едва выпрыгнув из теплушки, Тябликов подхватил: «Хотца не хотца, а вылезать прядется!»

В вокзальчике было не топлено, одиноко; Артюхов побрел по поселку — в надежде отыскать место, где располагался первый фронтовой командный пункт полка. Но, видно, и в этих лесных местах после войны шел такой же процесс, что и на родной его Рязанщине: скудело село, люди валом валили в город, на станцию. Поселок разросся; там, где было три-четыре домика лесхоза, теперь простиралась целая улица. Присматриваясь к большим аляповатым домам, Василий вышел на опушку леса. Он с трудом отыскал глухую лесную просеку, которой они выдвигались к Покровскому, на первую огневую. Трелевочные тракторы вывозили из леса сосновые хлысты. Идти по глубоким колеям, проложенным гусеницами, было трудно, но он шел и шел, пока не увидел колокольню со скособоченным крестом.

Артюхов провел на этой опушке весь день. Охваченный воспоминаниями, он все хотел отыскать окопчики, отрытые наспех, воронки от мин и бомб. Но окопы обвалились, позарастали мелколесьем. Жиденькие побеги берез и осин заполонили и все картофельное поле, вдоль которого бежали тогда пехотинцы. Только желтел на опушке свежевыкрашенный охрой обелиск — их первая братская могила...

Артюхов вернулся на полустанок в сумерках. Он успел на вечерний поезд. Поезд был старенький, тащился медленно, считая все полустанки. Продышав глазок в окне, Артюхов вглядывался в темные силуэты станционных построек. Как и в войну, полустанки были загромождены штабелями дров, завалены хлыстами леса. Чем ближе к Крестам, тем большее нетерпение овладевало им. Он дул и дул на заиндевевшее стекло, вглядываясь в очертания города.

На вышках станционного освещения горели прожекторы; сияли вереницы огней вдоль улиц; свистели маневровые паровозы; из динамиков, установленных в разных концах платформы, звучала музыка.

Вот они какие — теперешние Кресты...

Артюхов спрыгнул с подножки вагона, огляделся. На путях — ни души. Только где-то за спиной, сотрясая мерзлую землю, мчал вереницу вагонов тепловоз.

— Вы к нам, на праздник? — Откуда ни возьмись, к Артюхову подбежал юноша. Он был в демисезонном пальто, но на руках у него — овчинные рукавицы.

— Да! — оторопело отозвался Василий.

— Я член оргкомитета,— представился юноша.— Вы что-то задержались. И потом — этим поездом... Вас ждут в горкоме. Поехали! — Он подхватил из рук Василия рюкзак и, поскрипывая по заснеженной платформе легкими полуботинками, легко пошагал по перрону.

Артюхов едва успевал за ним и все пытался углядеть приметы старого. Но на месте старого, обгорелого вокзала, который они увидали утром, после ночного боя за депо, высилось новое здание — со стеклянной шатровой крышей, с легкими навесами над пассажирскими платформами. Да и сами платформы были новые; над колоннами висели светильники с продолговатыми плафонами дневного света. Не Кресты, а Европа... И лишь когда вышли на привокзальную площадь, Артюхов увидел сквер, обнесенный невысокой чугунной оградой, и вокруг сквера росли старые тополя, а посреди заснеженного газона высился гранитный обелиск — памятник железнодорожникам, погибшим при бомбежке Крестов осенью 1941 года.

Парень открыл дверцу «Москвича», бросил артюховский рюкзак на заднее сиденье, и они поехали. Мелькали фонари, дома, незнакомые улицы. Что-то узнавалось: «Вон, кажется, торговые ряды!» Что-то не узнавалось. Светились стеклянные фрамуги цехов какого-то нового завода, мимо которого они ехали очень долго.

Наконец машина остановилась у подъезда дома — нового, ярко освещенного, с большими рамами, с легко развевающимися флагами над дверью. Предупредительно подхватив артюховский мешок, водитель по-

придержал дверь, пропуская Василия в фойе. Тут было просторно, строго, стояли по углам мягкие кресла, цветы на столе. «По случаю праздника»,— решил Артюхов.

В углу была отгорожена конторка.

— Откуда прибыли? — спросил молодой человек.

Артюхов сказал.

— О, Скопин! Далековато...— молодой человек открыл широченную книгу, лежавшую перед ним на столе.

Артюхов догадался, что это была книга регистрации гостей. Молодой человек тут же отыскал его, Артюхова, фамилию, черкнул на артюховском приглашении пару слов, крикнул водителю, встречавшему его: — Игорек, возьми! В Гостиный двор...

Артюхов уже отступил было от окошечка, но в самый последний момент поборол свою нерешительность.

— Будьте добры, посмотрите — не приехал ли майор Лысенко? — спросил он.

— Лысенко? — переспросил молодой человек.— Гм... Что-то фамилия знакомая.— И он стал перелистывать страницы книги.

Облокотившись на подоконник, Василий до неприличия просунул голову в оконце: настолько ему не терпелось узнать, кто приглашен. Он внимательно всматривался в страницы — не мелькнет ли знакомая фамилия: Абдуллина, Кувшинова, Санкина, Тябликова... И вдруг на одной из страниц он ясно прочитал: «Зайцева». Артюхов похолодел. Неужели жива? Имя и отчество разобрать не успел: молодой человек перевертывал страницы очень быстро. Казалось бы, все было в прошлом. Он давно женат; у него двое детей — в общем, своя семья, своя жизнь. Но при виде лишь одной фамилии — Зайцева — кровь прилила к его лицу. Артюхов так разволновался, что не нашелся, чтобы сразу спросить имя Зайцевой. Не мог совладать с собой. Он даже не расслышал, что сказал молодой человек про Лысенко. Кажется, сказал, что майора нет среди приглашенных.

Артюхов буркнул: «Спасибо!» — и, расслабленный, разбитый, направился вслед за шофером к выходу. Его повезли обратно, в центр города. Но теперь Артюхов уже не приглядывался к домам, к улице: ему было не до это-

го. Его мучила лишь одна мысль: неужели это она, Паня?

«Москвич» подкатил к самому крыльцу с чугунными колоннами, и Артюхов, подхватив рюкзак, вышел из машины, поднялся по ступенькам. Постоял, провожая взглядом мигавшую огнями машину. И пока стоял, подумал, что Гостиный двор, как и торговые ряды, в войну пострадал от бомбежки и артобстрела. Но стены, которые делали деды, не так-то легко разрушить, и поэтому, наверное, Гостиный двор — первое здание в городе, которое было восстановлено.

Артюхов вошел в фойе. В тесном помещении со сводчатым потолком было темно. Старый, вылинявший от времени медведь, стоя на задних лапах, держал в передних лапах бронзовый светильник; лампа горела тускло. При этом тусклом свете Артюхов едва различил справа филенчатую дверь с вывеской «Ресторан», из которой вышло человек пять-шесть запоздалых посетителей. Все они были хорошо одеты, при орденах, навеселе; Артюхов обогнал их.

— Батареец! — обратился один из них к Артюхову.— Топай наверх, к нам в девятнадцатую комнату!

Поднявшись на второй этаж по широкой мраморной лестнице, Артюхов очутился в большой комнате с двумя высокими венецианскими окнами. В комнате стояло десятка полтора коек, большинство которых, судя по разобранным постелям, было занято. Никто еще не спал — все были возбуждены встречей с боевыми друзьями, обсуждали план предстоящего праздника. Трое или четверо ветеранов, сидя за громоздким столом, пили чай; тоже, видно, приехали недавно. Среди ветеранов особенно живописен был высокий старик с окладистой бородой. В полной форме, в кителе и галифе; грудь увешана орденами и медалями. Все обращались к нему не по званию, а по старой, военной поры, должности, которая, поди, теперь в армии и не бытует: н а ч х и м.

— Присаживайтесь за компанию! обратился к Артюхову начхим, наливая в стаканы кипяток из увесистого жестяного чайника.

— Спасибо! — отозвался Василий.— Поздно. Где тут можно обосноваться?

— Располагайся, где душе по нраву. Вон занимай хоть эту койку, за печкой. Небось пар костей не ломит.

— Это так, не ломит...— Артюхов сунул рюкзак под койку и принялся разбирать постель.

— Ты какой дивизии? — не оставлял его в покое начхим.

Артюхов сказал.

— А-а! Наши помощнички! — подхватил бородач.— Ваши два полка помогали нам брать депо. Мы-то эти Кресты по камушку грызли! Целый месяц! Вон Сашка со своей ротой — ажно подкоп под монастырь совершил...

Начхим кивнул на немолодого уже человека, сидящего напротив, в галифе, но без гимнастерки, который пил чай вприкуску.

— Мы, это, как кроты,— с улыбкой объяснил Сашка.— Зато потом, как мы взяли монастырь, сам полковник — благодарность нам перед строем.

В это время с шумом ввалилась компания, которую встретил Артюхов в фойе.

Увидев седобородого начхима, все принялись его обнимать, похлопывать по плечам — видимо, он был настоящим ветераном, ибо каждый его знал.

— Ну, какие тут дела? — тем временем расспрашивал дед у подвыпивших однополчан.— Какое действо готовят нам Кресты?

— Поездки по местам боев. Открытие памятника на площади...

— А банкет будет? — беспокоился начхим.

— Банкет будет, а вот медальки в честь юбилея не будет.

— Ай-ай, поскупились,— сокрушался начхим.— Ну ничего! Скоро тридцатилетие освобождения Чудова. Вот там будет праздник! Будет открытие обелиска в честь нашей дивизии. Чеканятся медали. Во всю грудь, как орден Победы!

Артюхов отказался от чая; отказался и от рюмки водки, которую принесли с собой вернувшиеся из ресторана. Он лег в постель, воспоминания о прошлом, об увиденном за день нахлынули на него, и он не очень вслушивался в шумные выкрики однополчан начхима, рассказы их о себе, о друзьях — наверное,

интересные. Василий с тоской думал, что он один тут, не с кем будет обмолвиться словом, вспомнить прошлое...

После ранения Артюхов попал в тыловой госпиталь. Его увезли далеко, в Новосибирск, и он ехал той самой дорогой, по которой их везли на фронт. Еще из госпиталя Василий написал несколько писем. Написал Гале Зотовой в Курган и кое-кому из ребят, надеясь, что батарейцы, вышедшие с ним вместе из окружения, откликнутся. Артюхов не знал, что бывшая их полевая почта перестала существовать; батарея получила новую технику, на мототяге, и вместе со всем кузовлевским полком влилась в другую дивизию. Сам Артюхов после госпиталя очутился в гаубичном дивизионе; Курская дуга, освобождение Белоруссии; второе ранение... Завертелся, закружился и уже только после войны вновь принялся разыскивать друзей по Апраксину бору.

Первым откликнулся Санкин. Он работал трактористом в своем родном селе, неподалеку от Омска. Бывший сержант прислал грустное письмо. Он сообщал, что ведет переписку со многими однополчанами и даже завел специальную картотеку, чтобы следить за их передвижением. И как бы между строк добавлял, что, по его картотеке, живых из полка осталось лишь двенадцать человек, что и Артюхова он считал погибшим и теперь с радостью заносит в свою картотеку тринадцатым. Артюхов забросал Санкина письмами: кто жив? Живы ли Кузовлев, Лысенко, Чуев, не нашлась ли Паня?.. О Чуеве и о Пане у бывшего сержанта не было сведений, а Кузовлев хоть и не числился в его картотеке, но будто бы жив — говорят, генерал-лейтенант, заместитель командующего каким-то военным округом.

«Да, вот оно как бывает,— думал теперь Артюхов. Печка пылала жаром, и он сбросил одеяло.— Все думали, что Алексей Иванович погиб, прикрывая фланги, чтоб могли выйти раненые и гражданское население, а он, оказывается, жив, генерал! Может, и Паня жива? Может, это она была в списке?..» Василий повез бы ее в Покровское. Там, на опушке леса, где он встретил ее впервые после эшелона, и сейчас, как и тогда, стоят стога сена, припорошенные снегом. А там, где Кузовлев

обосновал свой первый НП... нет, пожалуй, поближе к дороге — старый, военных лет, окоп — правда, обновленный, подправленный малость — взят в бетон. В серый откос бруствера навечно замурована чугунная плита: «Это самая крайняя точка на северо-востоке нашей страны, куда в ноябре 1941 года дошли немецко-фашистские оккупанты. Отсюда началось наступление наших войск».

«Далеко они зашли!» — думал теперь Артюхов.

Его уже начало клонить ко сну, и, если бы не начхим со своими друзьями, он наверняка уснул бы...

Вдруг дверь широко распахнулась (в деревне говорят, чуть с петель не слетела), и в полудреме Василий услыхал сильный голос:

— Артюхов! Артюхов тут?

— Да! — откликнулся Василий и, приподнявшись на локтях, глянул на дверь.

В комнату вошел генерал — высокий, выхоленный. Василий с оторопи не разглядел, сколько у него звезд на погонах,— его удивило только обилие красного: красные петлицы, красные канты на шинели, красные лампасы на галифе.

— Василий?! — Генерал шагнул к артюховской койке, и в тот же миг, лихорадочно перебирая в уме всех своих боевых друзей, Василий узнал в вошедшем бывшего командира полка Алексея Ивановича Кузовлева.

— Алек... Алексей Иваныч! — Артюхов приподнялся, но опускать ноги на пол мешкал: в нательном белье обниматься было как-то неприлично.

— Я за тобой, Василий! Одевайся, я подожду. Чего ты тут один будешь ночь коротать. Поедем ко мне,— сказал Кузовлев.

— Ого! — восторженно произнес захмелевший начхим, когда Кузовлев, выйдя в коридор, закрыл за собой дверь.— Генерал-лейтенант. Боевой!

Артюхов оделся, подхватил мешок и, тихо прикрыв за собой дверь, вышел в коридор.

Кузовлев поджидал его. В коридоре попахивало

дымком хорошей сигареты. Услыхав скрип закрываемой двери, Кузовлев обернулся, шагнул к Артюхову.

И тут, в узком коридоре старой гостиницы, они обнялись.

Генерал-лейтенант Кузовлев занимал «люкс» в Доме приезжих комбината автоматического литья, построенного в Крестах после войны. В «люксе» — три комнаты: зал, кабинет, спальня. В зале — телевизор, мягкие диваны; в кабинете — письменный стол, телефон; в спальне — две кровати, накрытые дорогими атласными покрывалами. Но кровати эти так и остались неразобранными. Боевые товарищи провели в разговорах всю ночь.

Кузовлев приехал на «газике»; он привез с собой коньяк, закуску — и теперь все это: пузатые бутылки «Плиски», сероватые жгуты сухой колбасы, ломтики сыра, шоколад — все это лежало в тарелках на круглом столике гостиной, а они — Кузовлев в распахнутом кителе, чуть-чуть захмелевший, и Василий в старомодных галифе и в рубашке с подвернутыми по локоть рукавами — сидели в креслах, ходили, курили и разговаривали. Выяснилось, что Алексей Иванович тоже специально интересовался судьбой бывших однополчан и успел уж побывать в этих местах.

Кузовлев вышел тогда из Апраксина бора только на исходе второй ночи. Он с остатками первого батальона держался до тех пор, пока их, окопавшихся в насыпи, не отыскал Чуев. Кузьмич сказал, что в лесах уже не осталось ни одного раненого, ни одного гражданского и надо отходить. Алексей Иванович был дважды ранен, но бойцы помогли ему выйти из окружения. Вылечившись, Кузовлев продолжал воевать. Окончил войну в Венгрии, командиром гвардейской дивизии. Учился в академии; командовал корпусом — и вот, два года назад, выдвинут заместителем командующего одним из военных округов.

О чем бы они ни говорили: о последних боях, о семьях, о празднике, который свел их через столько лет,— разговор неизменно возвращался к Апраксину бору. Вспоминая тот далекий ночной бой, друзей, вышедших и невышедших, Кузовлев и Артюхов сходились

на том, что если они теперь живы, и сидят в «люксе», и пьют коньяк, то это только благодаря тому, что тогда, при выходе из окружения, как никогда крепки были товарищество и взаимовыручка.

— Я молил бога, чтоб хоть кто-нибудь приехал из дивизии,— признался Кузовлев.— Спрашиваю, а мне тебя называют. Говорят, Артюхов из вашего полка значится...

— Слушай, Алексей Иванович,— осторожно заговорил Василий.— А кто такая Зайцева? Видел в списке приглашенных. Не наш ли санинструктор?

— Нет. Это Татьяна Зайцева — жена героя-танкиста, погибшего в Крестах. Будут открывать памятник танкистам — вот и пригласили ее.

— А-а!..— Артюхов погас, сразу навалилась усталость.

Все три дня, пока продолжались торжества (посещение боевых мест, открытие памятника героям-освободителям, вечер в городском театре, митинг трудящихся на площади),— все эти три дня генерал-лейтенант Кузовлев и сельский учитель Артюхов не расставались ни на минуту.

Кузовлев спешил — в понедельник он должен быть на заседании Военного совета, и поэтому они решили на банкет, который горком устраивал в заводской столовой, не оставаться. Они задумали устроить свой банкет — на Волхове, в Апраксином бору, если туда удастся проехать на машине.

Они выехали сразу же, как только закончился городской митинг. Шофер Кузовлева, молодой солдат, отоспавшийся за праздничные дни, пока генерал его заседал в президиумах, истосковался по баранке, как кучер по своей упряжи, и рулил легко, красиво, уверенно. Они ехали на запад — той самой главной дорогой, которой рвались сюда, на северо-восток, немцы. И хоть дороги наши плохи, как и во времена Пушкина, но эту — единственную в болотном краю дорогу — все-таки привели в порядок: асфальтовая лента ровна, километровые столбы побелены, на мостках, как и в военную пору, чернеют метелки вешек.

Стоял такой же декабрь — морозный, вьюжный, и это еще больше усиливало близость военных дней.

— Жаль мне нашего старика...— заговорил Кузовлев. Они сидели рядом, позади шофера, и Артюхов приглядывался к Алексею Ивановичу, и в лице его — постаревшем, изрезанном глубокими морщинами,— все больше узнавались те, молодые, черты.

— Ты о Сарычеве? — спросил Артюхов.

— Да.

— Мне писал один мой батареец, что Сарычев не вышел.

— Мало того — пропал без вести! — подхватил Кузовлев.— Комдив, генерал, и пропал без вести... Тут был я как-то с инспекторской проверкой в одной дальней части. Командир попросил выступить перед бойцами и офицерами. Я очень люблю такие беседы. Рассказал о войне, о поездках за рубеж. После беседы, после того как ответил на все вопросы, подходит ко мне капитан: «Товарищ генерал-лейтенант, вы служили на Дальнем Востоке?» — «Да,— говорю,— но давно, перед войной».— «А в какой дивизии?» Я сказал. «Значит, вы должны меня помнить,— говорит капитан.— Я сын Федора Степановича Сарычева».— «Сын?!» Тогда, на Дальнем Востоке, Игорьку было всего три года. А теперь передо мной стоял капитан, высокий, костистый — весь в батю. «Ну как же! — говорю.— Федор Степанович очень много для меня сделал. Как он?» — «Нам сообщили, что отец пропал без вести летом сорок второго...» Да, погоревали мы тут вместе, а через неделю вдруг получаю письмо от вдовы. Трогательное письмо. Пишет, что на Хасане — она была в числе женотделок — всегда была рядом с Федором. А тогда даже проводить его не могла — лежала в роддоме. Дочь растет — ровесница войны. И далее с укором: что же вы не усмотрели за моим Федором! Вы рядом были, командир полка — и не могли его уберечь?! Всего, конечно, не объяснишь. Но я все же написал ей, что комдив решил выходить с полком Фокина. Фокинский полк — помнишь, он лучше сохранился. Но Сарычева бойцы мало знали. Надо было б выходить со своим старым полком. Мы бы его и мертвого вынесли... А так, конечно, нехорошо получилось: даже ваш предатель объявился, а комдив пропал без вести.

— Какой предатель? — испуганно встрепенулся Артюхов.

— А ваш комвзвода Пеканов.

— Пеканов?!

— Да. Разве ты не знал? Он при выходе попал к немцам и служил у них в зондеркоманде.

— Он не выходил с нами,— пояснил Артюхов.— Он струсил. Когда на узкоколейке немцы забросали нас бризантными, Пеканов махнул через насыпь. «Вы еще обо мне услышите!» — крикнул он и словно сквозь землю провалился.

— Да, вот и услыхали! — подхватил Кузовлев.

— Ну, чего ж ты тянешь! Рассказывай! — нетерпеливо воскликнул Артюхов.

— Долго рассказывать.

— А что делать в дороге: только слушать да рассказывать.

— Ладно...— Кузовлев достал пачку сигарет, и они закурили.— Ты со своей батареей когда вышел?

— В ночь на двадцать пятое.

— На двадцать пятое...— повторил Кузовлев, пытаясь восстановить в памяти события тех дней.— Да. А утром, не очень рано, часов в десять, мы с Пресняковым обосновались в насыпи узкоколейки. Отбиваем атаки немецких автоматчиков. Вдруг объявляется Кузьмич — комиссар Чуев. С ним — пять или шесть бойцов. Представляешь нашу радость! Кузьмич говорит, что не все еще вышли, что надо удержать коридор до ночи. Ну, день с трудом продержались. Ребята дрались геройски. Отчаянно дрались! Ночью пошли на выход. Собралось нас тысячи полторы, если не больше. Пресняков прикрывал отход. Кузьмич — помнишь его? — сухопарый, в кожушке, все время бежал рядом со мной. Только пробежали лежневку по болоту, как оно там называлось?..

— Михайловские мхи,— подсказал Артюхов.

— Да. Пробежали Михайловские мхи, глядь — нет комиссара. Мы туда, сюда, искать — нет! Как канул... И встретился с ним,— добавил Алексей Иванович,— через двадцать лет после войны, когда меня пригласили на открытие памятника комиссару Чуеву...

Кузовлев помолчал — они ехали улочкой небольшой деревеньки. Корявые стволы ракит, росших по обе стороны шоссе, присыпаны снегом. Уныло раскачива-

лись бадейки над колодцами. Чернели избы. Но людей не видно было, и поэтому деревенька казалась вымершей. На околице — заснеженный холмик и обелиск: памятник погибшим в войну.

— Я долго искал своего комиссара,— помолчав, продолжал Кузовлев.— Помню: в сорок третьем, летом, меня ранило под Курском. Ранение серьезное, в ногу. Отвезли меня далеко — в Казань. Лежу неделю, другую. Неожиданно, в разговоре с сестрой, узнаю, что на третьем этаже, в палате для тяжелораненых, лежит комиссар по фамилии Чуев. Я подхватил у соседа костыли — и вприпрыжку на третий этаж. Оказалось, однофамилец...

— И что ж, Кузьмич погиб при выходе?

— Да. Но как погиб — послушай! Провел нас через болото и снова вернулся в Апраксин бор — один, даже ординарца не взял с собой. Мне показалось, что мы выходили последними, что в коридоре уже никого не осталось. Ан нет! Кузьмич обшарил весь коридор. Ему удалось отыскать подразделения — среди болот, за Керестью,— которые, не получив приказа об отходе, сражались до последнего. Чуев снял их. Там же, в лесу, отыскал сотрудников дивизионной газеты, блуждавших среди болот. В общем, набралось их сотни полторы, бойцов и командиров. Кузьмич организовал их повзводно, и они пошли — лежневкой — дорогой, которая всем нам спасла жизнь. Но немцы уже накрепко закрыли коридор. Обессиленные, голодные, бойцы не смогли здесь пробиться. Тогда, посоветовавшись с командирами, Чуев повел их на север — он знал, что в районе Лезно был наш плацдарм. Десять дней они пробирались к своим. За эти десять дней ни у кого во рту не было ни сухаря, ни кусочка хлеба. Питались щавелем да зеленой травой. Представляешь, какая была у них радость, когда наконец они увидали колокольню лезненской церквушки. За железнодорожной насыпью — шоссе, лесок, а за этим лесочком — наши! Решили действовать наверняка. Надо было разузнать точное расположение немецких окопов и блиндажей. Чуев послал трех бойцов в разведку. Командовал группой сотрудник дивизионки политрук Саженев. Ты знал его — он часто бывал у вас в батарее. Он еще вел рубрику в «Натиске»... Как она называлась? Позабыл. Кажется, «Из былей сержанта Сиволапа» или что-то в этом роде.

Разведчики ушли. Чуев выставил охранение; всем свободным от караула приказал отдохнуть, а сам, устроившись на опушке леса, наблюдал... До железнодорожного полотна было не более километра. На насыпи работали люди — человек десять—пятнадцать: засыпали воронки, подбивали костыли и рельсы. Судя по одежде — наши, пленные. Железная дорога находилась все время под обстрелом. Ночью, однако, немцы ухитрялись все же пропускать по ней дрезину с вагонами — на передовую подвозили снаряды, мины, а в тыл переправляли раненых. Проходит час — разведчики возвращаются радостные. Им удалось разговорить одного из пленных, который сошел с насыпи в кусты, по нужде. Он все в точности рассказал. Сразу за насыпью, в роще, у немцев окопы и доты. Но плотность огня невелика. Прямо перед селом — минометные батареи, и пробиться тут трудно. Надо брать левее, поближе к Волхову... Вдруг Саженев и говорит: «Товарищ комиссар. Среди тех, кто охраняет работающих на насыпи, есть один из вашего полка».— «Кто?» — «Командир огневого взвода полковой батареи Пеканов».

— Не может быть! — воскликнул Артюхов.

— Так вот,— продолжал Кузовлев,— Саженев только сказал, что видел Пеканова. Чуев, как и ты, тоже не поверил политруку: принял это за ошибку. На всякий случай спросил: «Он вас не видел?» — «Нет».— «Ну и хорошо. А то он мог узнать вас...» Чуев сменил посты и, успокоенный докладом разведчиков, прилег отдохнуть... Не знаю, час спал он, два. Проснулся от трескотни мотоциклов. Фашисты мчались по шоссе, окружая со всех сторон лесок, в котором отдыхал его отряд. Чуев, придя в себя спросонья, приказал занять круговую оборону. Куда там! Мотоциклисты — вот они! На каждой машине по три автоматчика, турельные пулеметы... Что могла сделать сотня обессиленных бойцов? Фашисты тут же смяли наших — кто убит при перестрелке, кто ранен. Трое или четверо автоматчиков, расчленяя толпившихся окруженцев, рвались к Чуеву. Они уже знали: тот — сухопарый, в кожушке — комиссар. Кузьмич отстреливался до последнего патрона. А последний — сберег для себя...

Артюхов долго молчал, потрясенный тем, что услыхал.

— И кто же все это тебе рассказал? — спросил наконец он.

— Твой коллега — учитель местной школы — Иван Павлович Коротков. Он организовал из учащихся школы группу следопытов. Ребята облазили весь Апраксин бор, собрали редчайшие документы, рассказывающие о героизме наших бойцов. Им удалось отыскать нескольких окруженцев, бывших с Чуевым. Они уцелели в немецком плену. Местные старожилы указали могилу, в которой старики и бабы похоронили бойцов, погибших при перестрелке с немцами. Могилу вскрыли. Нашли каски, застежки от ремней трехлинейки и... орден Красной Звезды. Сохранился его номер. Ребята-следопыты и послали орден в Москву. Долго ждали ответа. Наконец получили бумагу: «Орден Красной Звезды принадлежит Павлу Кузьмичу Чуеву, награжденному за героизм, проявленный в боях на озере Хасан».

Иван Павлович рассказывал, что и предателей разыскали. Судили и повесили!

— Интересный это человек — Иван Павлович,— продолжал свой рассказ Кузовлев.— В прошлом — летчик, ныне учитель в Лесной Полисти. Он заразил своей любовью и ненавистью тысячи людей.

Любовью — к жизни и ненавистью — к войне.

Как только наступает лето, Коротков со своими школьниками отправляется в поход. Они обшарили всю округу, проникая в самые глухие уголки Апраксина бора. Иван Павлович высвободил в школе классную комнату и создал в ней музей боевой славы.

Тебе обязательно надо побывать в этом музее. Там один «экспонат», на который нельзя смотреть без волнения. Это шпала, найденная ребятами на узкоколейке. Обыкновенное бревно двухметровой длины. Оно, наверное, было трухлявым еще тогда, во время боев. А теперь в этом истлевшем от времени бревне поблескивают шляпки винтовочных гильз. Если внимательно присмотреться, то из гильз составляются слова: «Мы погибаем. Но не сдаемся врагу Пухов Старцев Гладких Царапкин Береза Чечнев». Все — бойцы батальона Башмакова, которые два десятилетия считались пропавшими без вести...

Они шли вдоль опушки по направлению к Апраксину бору. Вдали, на залысинах луговин, чернели стожки сена. Поле рядом с мелколесьем хоть и не огорожено плетнем, но убрано, ухожено.

— Поле-то убрано,— сказал Артюхов.— А я думал, что после войны все порастет бурьяном.

— Поле-то? — задумчиво подхватил Алексей Иванович и не мог идти дальше, остановился.— Отсюда вот и до самого Волхова все оно было начинено минами. Два года работали минеры. За ними — гусеничные тракторы с тяжелыми боронами. Как пройдут сто метров, так остановка. Все палки, все лыжи. Просмоленные доски долго не гниют...

Артюхов вспомнил про лыжные батальоны, которые каждую ночь уходили в тыл немцев, и ему стало как-то не по себе. «Просмоленные палки не гниют... А человеческие жизни исчезают бесследно»,— думал он.

А Коротков уже шагал дальше, в сторону Апраксина бора. Едва они вышли из мелколесья, как сразу же открылись дали. Синие хвойные боры стыли на морозе. Березовые перелески, белые от снега и инея, вдали сливались с серым небом; и лишь белели четкими квадратами крыши дальних деревенек... Древняя, исконно русская земля. Дорогие, трогающие душу места. Вон там, за этой сосновой рощей, село Пересвет. Там покоится прах его боевого друга — Ивана Малахова. Получив известие о гибели Ивана, той же зимой приехала сюда Тоня Колобова. Еще шли бои; как всегда в прифронтовой полосе — не до бабьих слез и хлопот. Но Тоня все ж добилась своего — перезахоронила Ивана. Его прах перенесли в село Пересвет, и теперь неподалеку от древней Пересветской церкви, под сенью лип, среди заснеженных холмиков могил, темнеют три мраморные плиты: две — красного карельского мрамора, под ними покоятся братья-декабристы Андрей и Юрий Лопуховы; и рядом с ними — младший лейтенант Иван Малахов.

Справа от села, на развилке шоссе, откуда они теперь идут, на высоком постаменте стоит бронзовый памятник их комиссару Чуеву. Кузьмич стоит все такой же, каким он остался в памяти Артюхова: в коротком кожушке, в картузишке,— и без пистолета даже — с

автоматом на груди. Стоит и смотрит на сияющую от снега равнину, на дальние перелески, на дорогу, по которой проносятся машины: из Москвы — в Ленинград, из Ленинграда — в Москву. Кто воевал, тот, может, сбавит скорость, посмотрит, кому это поставили памятник в поле, на опушке леса... А еще дальше, в глубь Апраксина бора, куда они теперь идут,— коридор: место, которое вспоминает Артюхов ежедневно, просыпаясь и ложась спать.

Вот он — коридор!

Окопы обвалились; их с трудом можно узнать, угадать, как и саму лежневку. Кюветы затянуло тиной, они заросли осокой и иван-чаем; и лишь ребра лежневки, присыпанные снегом, горбатились над землей.

Кузовлев остановился и долго стоял молча; повлажневшие глаза его обращены были к Апраксину бору.

Артюхов заметил, что Алексей Иванович стоит без папахи, и тоже снял шапку.

Прощаясь с героями...

(Вместо послесловия)

Как неумолимо бежит время! Час. Год. А вот уже и десятилетия...

Никому не дано остановить бег времени. Остановить, чтобы каждый наедине с самим собой или вместе с друзьями мог всмотреться в то, как все это было, проследить, где, когда он (или все мы) совершил ошибку, а где, наоборот, проявил силу воли, характер, настоящий героизм.

Казалось бы, никому не дано властвовать над временем. Но литература может время воскресить.

Думаю, что никто из нас, писателей, прошедших Великую Отечественную войну, ни о чем другом и не мечтает, как только о том, чтобы в своих произведениях воссоздать то неповторимое время, те героические события, свидетелями которых нам суждено было стать.

Литература способна не только воссоздать прошлое, но и увековечить его. Увековечить в слове.

Тогда — в начале войны — не было легких участков фронта: победа доставалась нам дорогой ценой. Но наша 92-я стрелковая дивизия, в которой я служил артиллеристом, оказалась тогда в особо сложном положении.

Мы прибыли на фронт в тревожные дни октября 41 года. Прибыли под Тихвин, с падением которого вокруг Ленинграда замыкалось второе кольцо сухопутной блокады. Начались упорные, кровопролитные бои.

9 декабря штурмом наши войска освободили Тихвин. Немцы отступили за Волхов.

Преследуя фашистов, Вторая ударная армия, в состав которой входила и наша дивизия, в начале 42-го прорвала сильно укрепленную оборону немцев и двинулась вперед, на Любань. Однако немцам удалось перекрыть коммуни-

кации, связывающие нас с главными силами Волховского фронта. По сути — это означало окружение.

На долгие дни и месяцы мы оказались отрезанными от своих, оказались в глухих, непроходимых лесах и болотах, почти без продовольствия, без боеприпасов... В этих тяжелейших условиях нужно было не только выжить, выстоять, но и, отвлекая на себя крупные соединения фашистов, рвавшихся к Ленинграду, отражая их беспрерывные атаки, прорвать кольцо окружения и выйти к своим.

Наша группа — разрозненные остатки 92-й стрелковой дивизии — выходила из окружения в конце июля. «Выходила» — это, пожалуй, не то слово. Голодные, измотанные в боях люди б е ж а л и по лежневке — деревянному настилу, проложенному на болоте в узком, простреливаемом с двух сторон коридоре прорыва близ деревни Мясной Бор. Бежали, отстреливаясь, под бомбежкой; бежали, неся на себе раненых и ослабевших от голода товарищей.

Память о пережитом все эти годы не давала мне покоя: я чувствовал себя в долгу перед павшими, словно виноват был в том, что остался жив... Думал: уж коль остался я жив, коль дано мне в руки перо, кому же, как не мне, рассказать о подвиге этих людей, рассказать о нашем политруке Николае Родине из Кургана, погибшем от ран в окружении, о добродушном увальне Саше Румянцеве, который так хотел и так спешил жить, и о многих, многих других фронтовых друзьях-товарищах?

Так рождался замысел романа о войне.

Работа над ним отняла почти десять лет. Первая книга трилогии — «Лейтенант Артюхов» — появилась в журнале «Москва» в 1968 году. Затем последовали «Кресты» (1975 г.) и третья, завершающая часть трилогии — «Окружение» (1976 г.).

С окончанием работы над этим романом о т б о л е л, ушел в прошлое очень большой и очень дорогой для меня жизненный материал.

Как я уже сказал, в основе романа лежит пережитое. Но оно подчинено определенному замыслу. А замысел «Апраксина бора» построен по принципу всевозрастающего драматизма: от раздумий о жизни и смерти в «Артюхове», от осознанного подвига одного человека (Малахов, «Кресты») — к рассказу о массовом героизме тысяч бойцов и командиров в «Окружении».

В свое время, вскоре после появления «Лейтенанта Артюхова», кое-кто из рецензентов упрекал меня за некоторую пассивность главного героя. Однако все дело в том, что мысль автора была совсем в ином: показать всю страну, показать, как поднимаются на борьбу с жестоким врагом советские люди, мирный народ, вроде Гали Зотовой или Григория, отца Малахова...

В «Крестах» мне хотелось показать, как рождается осознанный подвиг. Как идет на смерть человек, у которого, казалось бы, все есть: любовь, молодость, счастье...

В «Окружении» — тысячи людей, объединенных одной целью: выстоять и победить.

От книги к книге все убыстряется темп действия. От книги к книге — все сужается его «территория». В «Артюхове», как я уже сказал,— это вся наша страна: с востока до запада — по которой медленно, останавливаясь на полустанках, идет состав с батарейцами, едущими на фронт. В «Крестах» — районы боевых действий батареи, пешие переходы. В «Окружении» — единый «железный поток», мчащийся к одной точке: к узкой горловине прорыва.

Мне казалось, что такая композиция и должна передать драматизм всей вещи.

Замысел диктовал и метод работы над романом. Часто, написав начальные главы книги, сразу же писал конец. Причем выписывал заключительную сцену очень тщательно, начисто и выверял все остальное по этой заключительной главе. Так было со сценой гибели Верхогляда («Лейтенант Артюхов») и с подвигом Малахова («Кресты»). Фраза «Начинался первый фронтовой день», которой заканчивается первая книга трилогии, написана сразу же за начальными главами. То же самое было и со страницами, посвященными подвигу Малахова. Чтобы написать их — перед началом работы над «Крестами»,— я специально ездил на Волхов — посмотреть на поле перед Зеленщиной, на котором тогда, в день под новый, 1942 год, щетиной торчали из-под наста головки неубранного льна...

Вообще, надо сказать, что в своей работе я больше полагаюсь на собственную память и на какие-то непосредственные впечатления, нежели на книжные источники. Хотя — без изучения архивных материалов, без чтения исторической и мемуарной литературы в таком деле не

обойтись. Например, мне очень много дало чтение «Военного дневника» начальника штаба немецких сухопутных войск генерала Ф. Гальдера, изданного у нас в 1968 году. Но, повторяю, больше всего — больше архивов и книг — для меня важны были поездки по знакомым местам. Так, работая над «Артюховым», я снова проделал весь этот длинный путь от Владивостока до Москвы; работая над «Крестами» и «Окружением», побывал в селе Петровском, что на самом стыке Ленинградской и Новгородской областей. За это село в октябре 1941 года наш полк вел свой первый бой. Я был и в Тихвине, на празднике, посвященном тридцатилетию со дня освобождения города. Целую неделю бродил по берегам Волхова, куда вышла наша дивизия после завершения Тихвинской операции.

Особенно памятно первое узнавание знакомых мест.

Помню, мы шли тогда берегом заснеженного ручья. Снегу немного — совсем не то, что в сорок первом. Правда, ночью навьюжи́ло, и в низине, вдоль ручья, изрядно намело.

Впереди, прокладывая след, шагал Сергей Владимирович Марков — егерь и знаток этих мест. Следом — управляющий отделением совхоза «Пионер» Алексеев.

— Вон, видите, слева — кусты ольхи? — Марков останавливается и, поправив ружье, кивает в сторону редкого ольховника.— Там сидели немцы. А по ту сторону леса — наши. Пойдемте, я покажу вам окопчик...— И Сергей Владимирович торопливо зашагал от кустов ольхи в сторону наших окопов.

За ним двинулся Алексеев.

А у меня не было сил идти. Я стоял и думал: сколько тысяч людей за два года, пока вот эта полоска земли была п е р е д о в о й, не смогли перешагнуть этой черты. А они, мои спутники, перешли ее запросто, за две минуты. Перешли — не сняв шапок.

Справившись с первым волнением, и я пошел следом за ними.

Вот она — наша передовая.

Окопы обвалились, заросли осокой. Блиндажи, в которых укрывались пулеметчики, осели — даже накатника не осталось. Припорошенные снегом, они походят на воронки от снарядов. А может, это и в самом деле воронки — разве различишь их теперь?

Вдоль узкой, полуобвалившейся траншеи, по которой

на передовую носили патроны и еду, мы спускаемся вниз, к Волхову. На залысинах луговин чернеют стожки сена. А за ними, за опрятными стожками, тянутся вверх белоствольные березы и осины.

«Тут? Нет! Кажется, ближе к реке...» — рассуждаю я сам с собой, приглядываясь к окрестности. Я с трудом узнаю ручеек, опушку, поросшую мелколесьем, луг в оспенных язвах воронок.

А место-то это было памятное.

Преследуя фашистов, выбитых из Тихвина, наша дивизия вышла на берег Волхова. С ходу форсировав реку, мы создали тут, в районе деревни Зеленцы, небольшой плацдарм. Пехотинцы закрепились в крохотном лесочке. На помощь им мы переправили на западный берег реки свои полковушки. Наша батарея стояла на песчаном мысу, поросшем корявым, низкорослым сосняком, а наблюдательный пункт — на опушке осиновой рощи. Впереди, метрах в шестистах, виднелась деревенька. За нею — перерезая поляну — железнодорожная насыпь. Немцы разобрали полотно железной дороги и из рельсов понаделали в насыпи доты. В бетонированных дотах стояли пулеметы, а в ходах сообщения, вырытых вдоль насыпи, засели автоматчики.

Немцы не жалели патронов и мин.

За неделю боев лесочек настолько поредел, что в нем трудно было укрыться нашим подразделениям. Пехотинцы вынуждены были зарыться в землю. В один день всю рощу вдоль и поперек изрезали узкие щели ходов сообщения.

Теперь, много лет спустя, щели эти пообвалились, засыпались.

Перепрыгивая через канавы, оставляя в стороне воронки, заросшие ольховником, мы вскоре вышли к Волхову.

Открылась река — величавая, спокойная.

Тогда, в дни боев, лед был черен от взрывов мин, пучилась вода из проломов от авиабомб.

Теперь нетронутый лед, слегка припорошенный снегом, искрился на солнце.

Я огляделся. Слева, на западном берегу, чернел низкорослый соснячок, а справа, по другую сторону, высились вековые дубы.

— Вон там, в сосенках, стояли наши пушки! — сказал я.— Где-то неподалеку тут должен быть блиндаж, где находился КП полка. Интересно — сохранился или нет?

И теперь уже не Марков, а я шел впереди. У самого берега — заболоченный луг; потом — кусты ракит, ольховника, оплывшие края воронок, полуобвалившиеся окопы... Раздвигая кусты, я не шел, я бежал. Попутчики едва успевали за мной.

В глубине лесочка я остановился.

— Вон он!

Посреди мелколесья — обособленно, кучкой, стояли дубки. Иссеченные осколками мин, израненные пулями — они почти не поднялись за эти годы. У их подножья снег вздыблен — словно серая папаха. И из-под этой папахи торчали замшелые бревна дота, в котором был КП полка.

— Вот! — Я остановился и указал на торчавшие из-под земли бревна. И в тот же миг заяц-русак, видимо замешкавшийся спросонья, выскочил откуда-то из-под бревен и, неуклюже подбрасывая зад, поскакал в осинник.

Мы постояли возле полуобвалившегося блиндажа, потом не спеша пошли на опушку, к Зеленщине.

Сколько раз, сидя в окопчике нашего наблюдательного пункта, я вглядывался в очертания этой деревеньки!

Заснеженное поле... Головки неубранного льна... Вблизи, в двух шагах от окопчика, они ясно различимы, а вдали сливаются с серым небом, и там, на фоне серого-серого неба — цепочкой вдоль всего горизонта,— избы. Белые квадраты крыш. Колодезные журавли. Крытый шифером коровник...

Я знал каждую избу в этой деревне.

Тут, в землянке на берегу Волхова, мы встречали новый, 1942 год. Фашисты были разбиты под Москвой и на юге, под Ростовом. Мы пугануди их из-под Тихвина. Казалось, еще немного, еще одно усилие — и вот она, победа!

Может, поэтому мы с таким упорством штурмовали эту крохотную деревеньку...

Тем временем стало темнеть: наступал вечер. Слегка подмораживало. И было очень тихо. Я подумал: «Вот если бы сейчас мне сказали: окопайся, сегодня ты здесь будешь ночевать...» При одной этой мысли стало как-то неуютно... Но сколько их было — ночей, проведенных на морозе, в завьюженном окопчике, в котором ни лечь, ни встать, ни поднять головы из-за непрерывного обстрела. Было холодно, а порой — и голодно. Случалось, бойцы в день

по нескольку раз ходили в атаку, а потом, вот таким же морозным вечером, хоронили своих товарищей...

В числе павших на этой священной Волховской земле был один человек, о котором мне хочется рассказать особо.

Я имею в виду политрука Ивана Васильевича Зуева, во многом послужившего мне прообразом комиссара Чуева.

Чрезвычайно сложная обстановка, в которой мы оказались, требовала от каждого бойца и командира предельного напряжения сил, мужества, героизма, всего того, на что он способен. И люди действовали самоотверженно и героически. Но все-таки среди этих героев, среди тысяч бойцов и командиров, выходивших из окружения, был один человек, чья воля, чье самообладание объединили всех, вселили уверенность в успех их подвига. Это и был батальонный комиссар, при выходе из окружения слово комиссара, его действия имели первостепенное значение для всех, на чью долю выпало тяжелейшее испытание. Комиссар — это олицетворение партии. И когда для меня встал вопрос о том, кто должен объединить тысячи и повести их за собой, на подвиг,— ответ пришел сам собой: комиссар.

Уже во время работы над «Окружением» я знал о подвиге члена Военного совета армии Ивана Васильевича Зуева. Я не был с ним близко знаком. Но я видел его в том ночном бою. Это он, Иван Васильевич Зуев, отменил ранее принятое решение — выходить по узкоколейке — и повел всех нас по лежневке. Это ему, раненому и тяжело больному, бойцы предложили снять с себя знаки различия — ромбы и спороть звезды с рукавов гимнастерки. Но Зуев ответил, что даже с мертвого он не позволит снимать с себя комиссарские звезды...

И с него не сняли их. И по этим знакам его опознали двадцать лет спустя. На том месте, где он погиб, теперь возвышается мраморный памятник-монумент.

После публикации романа я получил много писем, среди которых особенно дороги мне были письма участников тех событий. Один из них — полковник медицинской службы в отставке Григорий Иванович Горбунов (Подольск), в прошлом командир медицинского взвода 53-й лыжной бригады, форсировавшей Волхов и участвовавшей в кровавых боях за Спасскую Полнсть,— между

прочим, писал: «Вы написали в «Эпилоге», что комиссару Чуеву поставили памятник. Но этого мало. Нужно в этом месте поставить величественный монумент Мужества тысячам неизвестных героев».

И, словно откликнувшись на это письмо, исполком Новгородского областного Совета депутатов трудящихся принял решение: «...воинам Волховского фронта в районе Мясной Бор — Спасская Полисть будет установлен мемориальный комплекс, увековечивающий память воинов... которые в 1942—1943 гг. стояли насмерть в боях с немецко-фашистскими войсками, стремившимися прорваться к г. Ленинграду».

Хорошее дело! Я рад, что в этом есть и частица моего участия.

Сергей Крутилин

Библиографические сведения о романе

Первая публикация

«Лейтенант Артюхов», повесть.— Москва, 1968, № 10.
«Кресты», роман.— Москва, 1975, № 7, 8.
«Окружение», роман.— Наш современник, 1976, № 11, 12.

Первое издание

1. Крутилин С. Лейтенант Артюхов: Повесть. М.: Сов. писатель, 1970.
2. Крутилин С. Апраксин бор: Роман. (Книга первая «Лейтенант Артюхов», книга вторая «Кресты»). М.: Молодая гвардия, 1976.
3. Крутилин С. Апраксин бор: Роман в трех книгах. М.: Молодая гвардия, 1978.

Впоследствии роман неоднократно переиздавался.

Содержание

Крутилин С. А.

К84 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 2. Апраксин бор: Роман.— М.: Современник, 1984.— 735 с.

В пер.: 2 р. 90 к.

«Апраксин бор» — трилогия о Великой Отечественной войне. Книга первая — «Лейтенант Артюхов», книга вторая — «Кресты», книга третья — «Окружение». Время действия в романе — 1941—1942 гг. Наряду с главами, в которых раскрывается массовый героизм защитников Родины, оказавшихся в труднейших фронтовых условиях, большое место в трилогии занимает рассказ о жизни колхозного крестьянства того трудного времени.

ББК84Р7
Р2

К $\frac{4702010200-110}{М106(03)-84}$ подписное

Сергей Андреевич Крутилин

Собрание сочинений в трех томах

Том 2

Апраксин бор

Военная трилогия

Редактор
И. Плахотникова
Художник
В. Аладьев
Художественный редактор
А. Никулин
Технический редактор
Л. Анашкина
Корректор
В. Лыкова

ИБ № 3484. Сдано в набор 20.09.83. Подписано к печати 14.02.84 Формат 84×108[1]/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 38.64. Усл. кр.-отт. 38,64. Уч.-изд. л. 40,77 Тираж 100 000 экз. Заказ № 3782. Цена 2 р. 90 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

P. 90 K.

PHOTOS BY ANDREY G AKA DONUT190